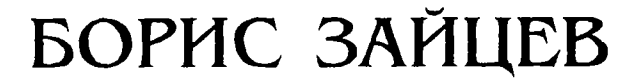
Борис Зайцев
ТИХИЕ ЗОРИ

БОРИС ЗАЙЦЕВ



СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТИХИЕ ЗОРИ

РОМАН
ПОВЕСТИ
РАССКАЗЫ

Москва
<< РУССКАЯ КНИГА >>
1999

УДК 82
ББК 84Р
З-17

Составитель, автор вступительной статьи и примечаний
Т. Ф. Прокопов

Издание осуществляется при участии дочери писателя
Н. Б. Зайцевой-Соллогуб

Разработка оформления
Ю. Ф. Алексеевой

Шрифтовое оформление
В. К. Серебрякова

ISBN 5-268-00403-4(т. 1)
ISBN 5-268-00402-6

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Литературное наследие Бориса Константиновича Зайцева огромно и остается доныне недостаточно исследованным. Пятьдесят названий его книг на русском языке и более двадцати на других языках описаны в библиографии Рене Герра (Париж, 1982). Кроме того, Зайцев опубликовал в журналах и газетах многие сотни рассказов, эссе, очерков, статей, писем, заметок, не вошедших в книги, но заслуживающих внимательного изучения и издания, ибо в них отражен наш бурный XX век, отражен глазами человека умного и наблюдательного, активного участника многих важных событий литературной и общественной жизни России и русского зарубежья.

Издание Собрания сочинений Б. К. Зайцева предпринималось не однажды, но впервые оно выходит в таком значительном объеме, с достаточной полнотой охватывая все многообразие его творческого наследия. Первый семитомник Зайцева был выпущен в 1916—1919 гг. «Книгоиздательством писателей в Москве»; второй — в 1922—1923 гг. издательством З. И. Гржебина в Берлине. Оба этих собрания представительно подводили итог всему, что было создано выдающимся русским прозаиком за двадцать лет работы, до его вынужденного изгнания.

В эмиграции Б. К. Зайцев за труженические полвека создает едва ли не самое свое значительное. «Я рано начал писать,— вспоминает он,— но зрелости художнической достиг поздно. Все, что написано более или менее зрелого, написано в эмиграции... И ни одному слову моему отсюда не дано было дойти до Родины». Вот почему особо следует отметить, что Собрание сочинений Зайцева, выпускаемое издательством «Русская книга», выполняет ответственную и огромной важности задачу — впервые знакомит читателей с десятками произведений писателя, никогда в России не издававшихся или изданных лишь в последние годы. Это в первую очередь его семь романов: «Дальний край» (1912), «Золотой узор» (1923), «Дом в Пасси» (1933),

автобиографическая тетралогия «Путешествие Глеба» («Заря», 1937; «Тишина», 1948; «Юность», 1950; «Древо жизни», 1953), книги странствий «Италия» (1923), «Афон» (1928), «Валаам» (1936), художественные жизнеописания «Преподобный Сергий Радонежский» (1925), «Жизнь Тургенева» (1932), «Жуковский» (1951), «Чехов» (1954), книги мемуаров «Москва» (1939), «Далекое» (1965), «Повесть о Вере» (1967) и «Другая Вера» (1968).

Во все периоды его большого жизненного и творческого пути очень многое из того, что он создал, становилось предметом острых споров и обсуждений среди критиков, литераторов, читателей. Поэтому написанное о нем — это тоже сотни названий. О его рассказах, повестях, романах, пьесах высказывались Г. Адамович, Ю. Айхенвальд, Л. Андреев, А. Белый, А. Блок, В. Брюсов, И. Бунин, З. Гиппиус, А. Горнфельд, М. Горький, П. Коган, Е. Колтоновская, А. Куприн, А. Луначарский, М. Морозов, К. Мочульский, Б. Пастернак, Ф. Степун, Г. Струве, И. Тхоржевский, Г. Чулков, К. Чуковский, Эллис (Л. Л. Кобылинский) и др. «Число отдельных печатных отзывов и рецензий, юбилейных статей и пр. необозримо, как в России, так и в зарубежной прессе»,— писал Зайцев.

Отбирая для данного Собрания сочинений лучшее из написанного Зайцевым и наиболее характерное для его творческой манеры, составитель руководствовался прежде всего тем, в какой последовательности сам писатель размещал свои произведения в большинстве сборников и в томах собраний сочинений (главным образом, соблюдая хронологический принцип, но изредка и вполне объяснимо нарушая его). Авторский принцип построения книг подтвержден многократно в письмах, автобиографиях, в его работе над композицией и составом сборников. Учтены также суждения его критиков, литературоведов.

Составитель провел максимально возможную сверку текстов первоизданий с последующими изданиями (эта работа в ряде случаев затруднялась тем, что в библиотеках России рукописей и книг Зайцева — особенно тех, что вышли в зарубежье,— крайне мало). Почти каждое его произведение имеет свою издательскую историю, интересную с текстологической точки зрения: когда и какого характера вносились в них автором редакторские изменения. Вот некоторые примеры: при жизни автора рассказ «Волки» переиздавался и у нас, и за рубежом 8 раз, повесть «Аграфена»— 6 раз; также по 6 раз перепечатывались и редактировались «Белый свет», «Голубая звезда», «Авдотья-смерть», «Путники»; 9 раз — «Тихие зори» и «Улица св. Николая», 5 раз — «Преподобный Сергий Радонежский».

В текстах собрания в основном сохранены авторская орфо-

графия и особенно пунктуация, на своеобразие которой обратил внимание еще Ю. И. Айхенвальд: «Показательна в этом отношении одна внешняя деталь у него: знак остановки, знак препинания, запятую он ставит там, где грамматика на это его не уполномачивает. Зачем, например, отдыхать писателю и читателю, зачем медлить обоим перед столь маленьким и нетрудным мостиком, как «и», в сочетаниях: «было солнечно, и тепло», «прекрасная жизнь, и любовь», «милый, и грустный звук», «пахло духами из комода, и липовым цветом», «она все приняла, и поняла», «славный, и кроткий русский вечер»? На таких коротких расстояниях запятые как будто неуместны; но всякий почувствует, однако, что ими осуществляемые паузы — не пустоты, которых боится природа и искусство, а наполнены они каким-то душевным содержанием, имеют свой психологический смысл» (Айхенвальд Ю. Силуэты русских писателей. Т. 3. 4-е изд. Берлин, 1923. С. 220).

В примечаниях к каждому произведению Зайцева указывается, где оно впервые опубликовано и по какому изданию текст воспроизводится в собрании.

В подготовке собрания многообразное и заинтересованное участие приняли дочь писателя Наталья Борисовна Зайцева-Соллогуб, его внук профессор Сорбонны Михаил Андреевич Соллогуб, предоставившие составителю более двухсот материалов из парижского семейного архива, а также многолетний друг семьи Зайцева, тонкий знаток и ценитель его творчества профессор Евгения Кузьминична Дейч. Составитель и издательство «Русская книга» выражают им искреннюю признательность и благодарность.

ВОСТОРГИ И СКОРБИ ПОЭТА ПРОЗЫ

БОРИС ЗАЙЦЕВ: ВЕХИ СУДЬБЫ

> Скорби, слез при этом я не видал, а была лишь умножавшаяся как бы до восторга любовь, но до восторга спокойного, восполнившегося, созерцательного.
>
> *Ф. М. Достоевский.* Сон смешного человека

> Цветут ли человеческие души,— ты даешь им аромат; гибнут ли,— ты влагаешь восторг. Вечный дух любви — ты победитель.
>
> *Б. К. Зайцев.* Спокойствие

Из долгого небытия, незаслуженного забвения длиною в семь десятилетий возвращается в нашу культуру имя Бориса Константиновича Зайцева (1881—1972), мастера акварельной, поэтической, мудрой прозы, которой восхищались и самые взыскательные из современников писателя. Сегодня мы можем прочитать, с каким неравнодушным вниманием следили за стремительным ростом его таланта Чехов и Короленко, Блок и Брюсов, Андреев и Бунин. В последние полвека своей долгой жизни (а прожил он девяносто один год и умер в Париже) самой светлой мечтой Зайцева было хоть что-нибудь из своих, как он выражался, «писаний» увидеть изданным в России. Не дождался. Как не дождались и многие, чье творчество составило «ту полосу,— по выражению Зайцева,— русского духовного развития, когда культура наша в некоем недолгом «ренессансе» или «серебряном веке» выходила из провинциализма конца XIX столетия к краткому, трагическому цветению начала XX-го».

Наконец-то мы открываем для себя наследство, от которого, обкрадывая российскую культуру, десятилетия нас принуждали отрекаться. Вспомним, как агрессивно выкорчевывались все ростки не только инакомыслия, но и простейшего разномыслия: всё выравнивалось в духовной сфере, выстраивалось по ранжиру, окрылялось лживым оптимизмом. И вот теперь только,— огор-

чаясь, что так поздно, и радуясь, что дождались,— мы все глубже осознаем: русская литература XX века немыслима без тех, кто обогащал ее, находясь в изгнании,— без Ивана Бунина и Вячеслава Иванова, Ивана Шмелева и Алексея Ремизова, Дмитрия Мережковского и Зинаиды Гиппиус, Александра Амфитеатрова и Михаила Арцыбашева, Георгия Иванова и Владимира Набокова, Владислава Ходасевича и Георгия Адамовича... И, конечно же, немыслима она без Бориса Зайцева, большого русского писателя, возглавляющего скорбный список замолчанных и оболганных.

* * *

В интереснейшую пору вступил Борис Константинович Зайцев на свою творческую стезю. Только что отсиял, отшумел девятнадцатый — золотой! — век русской литературы, навсегда вписавший в мировую культуру имена своих гигантов. Наступил век новый. Что-то будет? В апреле 1897 года Л. Н. Толстой записал: «Литература была белый лист, а теперь он весь исписан. Надо перевернуть или достать другой»[1].

«Надо перевернуть...» Эта всеобщая обеспокоенность выплеснулась прежде всего в формотворчество, ставшее по крайней мере на три десятилетия едва ли не самым характерным качеством всего русского искусства. Чтобы запечатлеть взрывной бег эпохи трех революций, прозаики, поэты, драматурги с невиданным дотоле энтузиазмом взялись за выявление новых качеств своего главного инструмента — слова. Именно с этой формотворческой окрашенностью шло «пересоздание жизни» (А Белый), велось построение новых философско-эстетических позиций, с высот которых обозревалось, осмысливалось и отражалось бурлящее время. Одни изобретательно раскрывали еще не использованные возможности реалистического метода (М. Горький, И. Бунин), других увлек художественный опыт символизма (Д. Мережковский, В. Брюсов, А. Блок), третьи уходили в глубь синтетизма и экспрессии (А. Белый).

Верховный судия всему, что тогда происходило в литературе, время сегодня нам показывает: те полярные силы, что так страстно ратоборствовали между собой не менее четверти века, не только не истребили друг друга (и в этом созидательная особенность «войн» в искусстве!), но, наоборот, обнажили свои самые жизнеспособные качества, отбросив наносное, случайное, эмоционально-субъективное. И вот теперь, на финише века

[1] Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: В 90 т. Т. 53. М., 1953. С. 307.

двадцатого, мы с еще большей наглядностью видим, что внутри здравствующих и процветающих модернистских течений наряду с реалистическими рождались высокой значимости духовные ценности, с которыми не считаться нельзя. Убеждаемся еще раз в том, что личности в искусстве проявляют себя не взирая на то, на каком философско-эстетическом фундаменте они созревают и утверждаются. Символист Блок, футурист Маяковский, реалист Бунин остались «великанами на все времена» потому, что создавали великое и вечное, хотя и исповедовали ни в чем не сходные творческие принципы, провозглашали непримиримые литературные манифесты.

Борис Зайцев оказался в числе тех, кто, если воспользоваться словами Е. Замятина, вспахивал свои страницы «доброй старой сохой реализма». И вместе с тем он осознанно продолжил — только на другом витке — традиции чеховского импрессионизма.

Вот что об этом написал Зайцев в Москву в конце 1960-х годов Ольге Порфирьевне Вороновой, известному искусствоведу (1924—1985): «В Советской Литературной Энциклопедии 30-х гг. есть статья (если не ошибаюсь, Михайловского): «Импрессионизм»[1]. Автор считает первым по времени импрессионистом в русской литературе (в прозе) Чехова, а затем меня — как бы продолжателем, еще утончившим чеховский импрессионизм. Самому судить трудно, но что все мое — раннее в особенности — относится к импрессионизму, это для меня бесспорно. Считали меня «поэтом прозы». Несомненно также, что лирический оттенок есть во всех моих писаниях. Думаю, что черты реализма, сквозь которые проглядывает и мистическое ощущение жизни, с годами усилились. В общем же сейчас, на склоне лет, я очень бы затруднился ответить на вопрос точно: к какому литературному направлению принадлежу. Сам по себе. И в молодости был одиночка, таким и остался» (письмо в моем архиве).

И все-таки в зайцевской стилистической манере была ярко выраженная индивидуальность, которая вызвала у его современников единодушие в оценках и характеристиках: «лирика в прозе» (В. Брюсов); «Борис Зайцев открывает пленительные страны своего лирического сознания: тихие и прозрачные» (А. Блок); «восхитительный поэт» (К. Чуковский); «прекрасные в своей тихости печальные, хрустальные, лирические слова Бориса Зайцева» (Ю. Айхенвальд); «поэтический колорит зайцевских писаний... о его реализме хочется сказать: то, да не то» (Г. Адамович).

---

[1] Автор статьи в Литературной энциклопедии «Импрессионизм в русской литературе» — Б. Михайловский (М., 1930. Т. 4. С. 484—490).

«...Я начал с импрессионизма,— вспоминал на склоне лет Борис Константинович.— Именно тогда, когда впервые ощутил новый для себя тип писания: «бессюжетный рассказ-поэму», с тех пор, считаю, и стал писателем. Мучительны томления юности, когда себя ищешь, не находишь, временами отчаиваешься, впадаешь во мрак и все кажется бессмысленным. Но уж очевидно, через это надо пройти».

* * *

В пору юношеских исканий Б. К. Зайцеву не было и двадцати. Он только что окончил реальное училище в Калуге и стал студентом Императорского Технического училища — одного из лучших в Москве высших учебных заведений. Сбылась мечта, но не самого юноши, а его отца, талантливого горного инженера, успешно управлявшего рудной конторой в Жиздринском уезде Калужской губернии. Здесь, в селе Усты, прошло детство будущего писателя. «С детских лет инженеры, заводы... Отец был уверен, что и сын его будет инженером,— сын учился, выдерживал конкурсные экзамены — каких только не выдержал!.. и томился потаенными попытками литературы...» — напишет о себе Зайцев позднее. В 1899 году за участие в студенческих беспорядках юноша был исключен из училища и поступил в Горный институт в Петербурге, как мы догадываемся, опять же не без настояния отца, которого Борис горячо любил и ослушанием огорчать не решался.

Однажды девятнадцатилетний студент-первокурсник оказывается в приемной столичного журнала «Русское богатство». «Официоз интеллигенции русской» редактировался маститым критиком Н. К. Михайловским и находившимся в зените славы В. Г. Короленко. Им на суд и отважился послать свою первую рукопись Зайцев. «...Навсегда запомнилось, как Михайловский поднялся, протянул руку довольно величественно:

— Молодой человек, благословляю вас на литературный путь!

Можно ли было после этого «продолжать» сопротивление материалов, кристаллографию? Я все бросил и уехал в Москву к родителям»,— вспоминал Б. К. Зайцев. Отец к этому времени возглавил огромный завод Гужона (ныне «Серп и Молот»). Так завершилась, не начавшись, инженерная карьера Бориса Зайцева: верх взяли музы.

А о Владимире Галактионовиче Короленко, который принес в его юношеское сердце «свет теплый, ласковый, и там остался», Зайцев в некрологе, опубликованном 28—29 мая 1922 года в

московской «Однодневной газете Комитета академических театров помощи голодающим», напишет благодарные строки: «Тени благостной, скромной в жизни, деятельной в любви, благородной в славе, страннолриимной, заступнической,— низкий поклон от нас, чье детство, юность он озарял, чьи годы взрослые наполнил чувством почтительного изумления».

И еще две встречи, два имени, оставившие в творческой судьбе Зайцева след неизгладимый: Чехов и Леонид Андреев.

«...Вызвали меня однажды к телефону,— вспоминал Зайцев много лет спустя,— низкий глуховатый голос сказал:

— Да, да, получил рукопись... Приезжайте, потолкуем.

Он назвал меня по имени и отчеству. Я был в восторге: «Помнит, не забыл!»

Часов в пять подвозил меня ялтинский парный извозчик к даче Чехова... Минут через двадцать выходил в ту же дверь, окрыленный, сияющий, навсегда окончательно уже Чеховым «взятый».

«...Я Чехова всю жизнь любил (и люблю),— сделает Зайцев еще одно признание, 7 февраля 1967 года, в письме краснодарскому писателю Виктору Ивановичу Лихоносову.— Некогда показывал ему полудетские свои писания. А когда умер он, в 1904 г., нес гроб в Москве с другими студентами. Тело прибыло из Петербурга. Мы с женой ехали с Арбата на Николаевский вокзал на извозчике («ваньке») и всю дорогу плакали».

А с Леонидом Андреевым дружба началась как раз в ту пору, когда «все существо его летело вперед: он полон был сил, писал рьяно». Москва зачитывалась фельетонами Андреева в газете «Курьер» с таинственной подписью — «Джемс Линч». В «Курьере» же 15 июля 1901 года состоялся и писательский дебют Бориса Зайцева — конечно, благодаря Андрееву, провидчески распознавшему в своем новом товарище восходящую литературную звезду. В декабре 1970 года, выступая по французскому телевидению, девяностолетний Борис Константинович скажет исследователю своего творчества Рене Герра: «Помню огненное впечатление, произведенное на меня, когда развернул я в тот далекий день газету «Курьер». Судьба моя решилась. Никаких инженерств — литература»[1].

В беллетристическом отделе этой газеты, возглавлял который Андреев, печатались произведения М. Горького, И. Бунина, В. Вересаева, А. Серафимовича, Скитальца, К. Станюковича,

[1] Интервью Б. К. Зайцева/Публ. Рене Герра//Русский альманах. Париж, 1981. С. 461.

Д. Мамина-Сибиряка, Е. Чирикова, Н. Крашенинникова. Только за один 1902 год в этом органе демократической печати дебютировали восемнадцать еще никому не известных авторов. Среди них — ссыльнопоселенец из Вологды Алексей Ремизов (выступивший под псевдонимом Н. Молдаванов), с которым Зайцева впоследствии надолго соединит общая судьба парижских изгнанников.

В 1902 году Леонид Андреев привел в литературный кружок «Среда» «молоденького студента в серой форменной тужурке с золочеными пуговицами»— Бориса Зайцева, поступившего на юридический факультет Московского университета. Кружок стал для него второй семьей, где он обрел задушевных друзей, близко сошелся с Иваном и Юлием Буниными, Н. Телешовым, В. Вересаевым, С. Глаголем (Голоушевым), М. Горьким, К. Бальмонтом, В. Брюсовым. «Юноша всем понравился,— вспоминал Н. Телешов.— И рассказ его «Волки» тоже понравился, и с того вечера он стал посетителем «Сред». Вскоре из него выработался писатель — Борис Зайцев»[1].

Самым близким «по духу и по душе» оставался для него в течение семнадцати лет Леонид Николаевич Андреев. В очерке о друге, скоропостижно скончавшемся в сентябре 1919 года, Зайцев напишет скорбные и светлые строки: «Не могу я говорить с холодностью и объективностью об Андрееве, ибо молодая в него влюбленность на всю жизнь бросила свой отсвет, ибо для меня Андреев ведь не просто талант русский, тогда-то родившийся и тогда-то умерший, а, выражаясь его же словами, милый призрак, первый литературный друг, литературный старший брат, с ласковостью и вниманием опекавший первые шаги. Это не забывается».

Было еще одно имя, сопутствовавшее Борису Зайцеву всю его долгую жизнь,— Владимир Соловьев (1853—1900), крупный русский философ последней четверти XIX века. «Многое, очень многое сдвинул в моей душе, от пантеизма ранней юности моей повел дальше»,— вспоминал Зайцев. В 1953 году он опубликует в парижской «Русской мысли» очерк «Соловьев нашей юности», в котором скажет: «Соловьев оказался водителем». Водителем не только для него, но и для Блока и Белого. Для нескольких поколений открывал он «новый и прекрасный мир, духовный и христианский, где добро и красота, знание мудро соединены, где нет ненависти, есть любовь, справедливость. Казалось, следовать за ним — и не будет ни национальных угнетений, ни войн, ни революций. Все должно развиваться спокойно и гармониче-

---

[1] Телешов Н. Записки писателя. М., 1980. С. 101.

ски. Конечно, только казалось так. Но вечная память и благодарность Соловьеву именно за юношеский подъем, может быть, за излишнее прекраснодушие. За разрушение преград, за вовлечение в христианство — разумом, поэзией, светом».

* * *

Первые шаги Зайцева-писателя — это семь рассказов, этюдов, стихотворений в прозе, опубликованных за два года в ежедневной газете «Курьер», это новеллы, появляющиеся одна за другой в журналах «Правда», «Новый путь», «Вопросы жизни», «Золотое руно», «Перевал», «Современный мир»... Среди опубликованного — произведения, которые автор, уже будучи зрелым художником, не постыдился включать в свои собрания сочинений: «Волки», «Тихие зори», «Хлеб, люди и земля», «Священник Кронид», «Миф». В раннем творчестве Зайцева — это действительно лучшее. И. С. Тургенев как раз о таких произведениях сказал, что «они не придуманы, а выросли сами, как плод на дереве»[1].

«...И повторяется», — проницательно подметил однажды Блок, читая Зайцева. Действительно: Зайцев словно бы снова и снова пробует те или иные приемы построения фразы, периода, сюжета, ищет свой ритм в каждом этюде, рассказе, повести. Да, при этом явственно повторяется. Но если вглядеться в эти «повторы», не без удивления обнаруживаешь: при отдаленной похожести они отнюдь не то же самое, что уже было,— появились новые художественные качества.

Этот творческий прием в разных модификациях можно обнаружить у каждого художника слова. Здесь пристальный читатель встречается с едва ли не самым удивительным явлением: как благодаря творцу, «изобретающему» всякий раз заново содержание, преображается, вспыхивает ярким огнем и самая «старая» форма, сбрасывая оковы косности, оживая, становясь подвижной, тонко приспосабливающейся, словно бы подыгрывающей тому, что ее содержательно наполняет. В итоге рождается целостность, в которой попробуй выдели, что в ней тектоника, структура, каркас. Все это органично, естественно вплелось в содержание и поглощено им.

В эту раннюю пору своего писательства Зайцев создает новаторскую повествовательную форму: бессюжетный рассказ-впечатление, рассказ-раздумье, рассказ-стихотворение или, по авторскому определению,— «небольшие поэмы в импрессионис-

[1] Тургенев И. С. Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 4. М., 1980. С. 525.

тическом роде» (из цитировавшегося выше письма к О. П. Вороновой). Ритм — душа стиха, но также и лирической прозы. Зайцев обладал талантом поэта — врожденным чувством ритма, лада, гармонии. «Сердце у него лирное»[1],— скажет о своем друге через много лет Г. Чулков.

* * *

Все увереннее Зайцев обживается в кругу литераторов. Это вхождение в новый и такой желанный для него мир начинается с малого: он идет корректором в марксистский журнал «Правда», где литературной частью ведал И. А. Бунин. «Я получал за это 50 руб. в месяц, пропускал много ошибок,— простодушно признавался Зайцев,— и напечатал там два собственных рассказа — «Мглу», «Сон». Издавался журнал инженером, математиком и фантасмагористом В. А. Кожевниковым. «Этот скромный и своеобразный человек со странностями взял да и всадил чуть не все свои средства в издание, где сотрудники — Луначарские, Скворцовы, Базаровы ему же и доказывали, что он эксплуататор, буржуй, темная личность»,— язвил Зайцев.

Вскоре, однако, из корректоров он был изгнан, но пересажен в кресло редактора новоиспеченного детища того же В. А. Кожевникова — журнал «Зори». Всего одну весну 1906 года существовало это уникальное издание, но след в душах молодых литераторов оставило навсегда. «Что-то от светлой зари, юношеское и чистое было в этих «Зорях»,— вспоминал много лет спустя Зайцев,— и навсегда они для меня овеяны светом весны, тех особых неповторимых чувств... Через всех нас прошел какой-то романтически-весенний ток: «Зори» сделались не только лишь журналом, но и умонастроением и какой-то душевной направленностью... Восторг — одна из важных черт «зоризма». Мы так иногда называли свое настроение. ...У нас было что-то вроде братства, секты романтиков... Конечно, мы всё со всем «соединяли», «примиряли», разумеется, не обходилось без Владимира Соловьева. В то же время был у нас и особенный «русский» уклон и христианский. С христианством нас сближал как бы с в е т наших душевных устремлений и их музыка».

Романтизм, негромкая, словно бы стесняющаяся заявить о себе послышнее восторженность, нетрудно переходящая в сочувственную, сострадальческую скорбь,— эти качества души писателя, так полно и определенно проявившиеся затем во всем его творчестве, как раз отсюда и родом, из времени «Зорь»,

---

[1] Ч у л к о в Г. И. Годы странствий. М., 1930. С. 266.

где они окончательно сформировались, стали для его вдохновения родниковой свежести ключом. Они из трагической эпохи первого в двадцатом веке крупного взрыва народного негодования, ненадолго погашенного плетьми и расстрелами, но успевшего неузнаваемо переворотить всю духовно-нравственную атмосферу в России.

Хотя, как он говорил, судьба всегда отводила его от исторических событий, политических схваток, но они сами то и дело врывались в его жизнь. То он отдает свою квартиру под «явки», то у него на Арбате скрываются «таинственные личности с «паролями», «литературой», иногда шрифтами и обоймами», то становится очевидцем разбойного шествия по городу «черной сотни». А однажды случай привел его на окраину Москвы — на собрание революционного юношества, где «ораторствовал молодой человек — самоуверенный, неглупый, с хорошей гривой». Это был его университетский однокашник Л. Б. Каменев, с которым еще не раз сведет его тот же господин случай, когда Каменев возглавит Моссовет. Но это будет уже другая эпоха, с трагическим исходом для Зайцева, и не только для него.

Однако «бурь порыв мятежный» был все-таки чужд Зайцеву, он более склонялся и в жизни, и в творчестве к поэтической созерцательности, любил часы размышлений о жизни и смерти; его персонажи по-христиански не боятся ухода, но и не сопротивляются ему, ничего не делают для того, чтобы продлить свои земные часы. Эта их пассивность, эта их созерцательность сродни той, что свойственна и чеховским «хмурым людям». Более того, Зайцев, для которого Чехов был кумиром, здесь его прямой продолжатель. Но есть существенное качество-свойство, которое разнит, различает героев Чехова и Зайцева,— это степень связанности и с земным, и с горним, космическим. У Зайцева индивидуальное, личное, отдельное как бы поглощается общечеловеческим, надмирным, пантеистическим, лишаясь естественности, жизненной узнаваемости и превращаясь в символ, знак.

Потому-то и его художнический отклик на все более разгорающиеся вокруг него революционные события носит характер отвлеченный, в нем чрезмерны обобщения, высок уровень абстрагирования, события для него как бы фон, жизненный антураж, а не сама жизнь, от которой бегут его персонажи, как, впрочем, и он сам. «Незадолго до московского вооруженного восстания, зимой 1905 года, я уехал в имение родителей,— вспоминает он.— Жена и все друзья мои оставались в Москве и были свидетелями, сочувствующими революции. Меня занимали больше религиозные и метафизические вопросы». Теперь нам в какой-то

мере становится понятно, почему бушевавшие в эти дни баррикадные бои, уличные перестрелки звучат в его рассказах нарочито приглушенно, не выходя на первый план и тем более — не возвышаясь до героико-романтического отражения. Только в романе «Дальний край» он разрушит свой идейно-творческий канон и покажет нам с высокой долей реалистичности судьбы восторженных молодых людей, захваченных идеями перестройки общества под знаменами Свободы, Равенства, Братства.

«Конечно, в писании моем,— вспоминал он,— остались глухие отзвуки революции. В романе «Дальний край» они даже явные, явное сочувствие революции (размеров и конечного облика которой никто из нас тогда не представлял). Совсем недавно я получил из России сведения, что меня привлекали даже к суду по серьезной статье Уголовного Уложения. Высшая судебная инстанция отменила заключение прокурора. Но роман во время войны был на несколько времени конфискован».

* * *

Осенью 1906 года в Петербурге З. И. Гржебин и С. Ю. Копельман основали издательство «Шиповник». Открыть издательскую деятельность решили книгой рассказов молодого москвича Бориса Зайцева.

В истории литературы не много отыщется примеров, когда бы первая же книга писателя принесла ему громкую славу. Это случилось с книгой Зайцева — неожиданно и для него самого, и для его издателей. Понадобилось переиздавать его рассказы и во второй (1907), и в третий (1908) раз, чтобы удовлетворить читательский спрос.

Сразу же отозвался на выход книги Зайцева «кандидат в вожди» того времени Валерий Брюсов в журнале «Золотое руно»: «Рассказы г. Зайцева вовсе не задаются целью доказать какой-либо тезис, как то часто бывает у Л. Андреева или г-жи Гиппиус; нет в них и повествовательного замысла, мощной логики событий, которая увлекает в первых рассказах М. Горького; нет, наконец, и попыток, как у Ф. Сологуба, проникнуть в психический мир человека, в тайники души». И далее — точные, ясно сформулированные характеристики оригинальной писательской манеры новичка: «идея», «сюжет», «характеры» — это три элемента, которые часто считаются самыми существенными для рассказов, совершенно отсутствуют у г. Зайцева. В его рассказах большею частью ничего не происходит», они относятся «к роду не повествований, но описаний», «это лирика в прозе, и как всегда в лирике, вся их жизненная сила — в вер-

ности выражений, в яркости образов». Сделав несколько существенных, на его взгляд, замечаний и пожеланий, литературный метр заканчивает словами уверенной надежды: «...вправе мы будем ждать от него прекрасных образцов лирической прозы, которой еще так мало в русской литературе»[1].

Александр Блок, судя по его записной книжке, прочитал «Рассказы» Зайцева в вагоне поезда, возвращаясь из Москвы в Петербург 20 апреля 1907 года. Свое впечатление он записал так: «Зайцев остается еще пока приготовляющим фон — матовые видения, а когда на солнце — так прозрачные. Если он действительно творец нового реализма (в каковые его уже зачислила критика.— *Т. П.)* то пусть он разошьет по этому фону пестроту свою»[2].

К оценке рассказов Зайцева Блок возвращается еще дважды — в статьях «О реалистах» и «Литературные итоги 1907 года», опубликованных в «Золотом руне». В первой он уважительно замечает: «Есть среди «реалистов» молодой писатель, который, намеками, еще отдаленными пока, являет живую весеннюю землю, играющую кровь и летучий воздух. Это — Борис Зайцев. Единственную пока книжку его рассказов можно рассматривать как вступление к чему-то большому и яркому»[3].

Эту же надежду высказала и Зинаида Гиппиус: «Борис Зайцев, хотим надеяться,— еще в будущем», предварив этот вывод критическими замечаниями, но и похвальным отзывом. В частности, таким: «Язык простой и круглый, современный — но без надрывных изломов, а действительно живописный, иногда очень яркий. Так видел бы природу с о в р е м е н н ы й Тургенев»[4].

Десятки книг выйдут у Зайцева в будущем, сотни похвальных отзывов прочитает он о себе потом, но незабываемым событием останется для него первый скромный сборник из девяти рассказов, оформленный такой же восходящей звездой, как и он сам,— Мстиславом Добужинским.

* * *

В годы между российскими революциями, считавшиеся временем «мрачной реакции», «литература, поэзия (в особенности), религиозно-философское кипение — все это находилось в бурном

---

[1] Золотое руно. 1907. № 1.
[2] Б л о к А. Собр. соч.: В 6 т. Т. 5. М., 1982. С. 115.
[3] Б л о к А. Собр. соч.: В 8 т. Т. 5. М.; Л., 1962. С. 124.
[4] Весы. 1907. № 3.

и обильном подъеме,— напишет Зайцев об этом времени.— Возникали «течения», возникали писатели, поэты, издательства. Напряжение было большое и творческое». Зайцев становится завсегдатаем, помимо «Среды», еще и Литературно-художественного кружка, собиравшегося сперва в скромном помещении в Козицком переулке, а затем переселившегося в роскошные апартаменты дома Востряковых на Дмитровке (зал на шестьсот слушателей, читальни с библиотекой в двадцать тысяч томов). «Это была некая кафедра литературная предреволюционных лет. Сколько бурь, споров, ссор, примирений, сколько ночей наверху в ресторане...— это молодость моя, уже определившаяся, уже литературная и более легкая»,— писал Зайцев.

В эти же годы вошел в его жизнь и Петербург, где он бывал теперь довольно часто, главным образом по делам «Шиповника». От переполненности впечатлениями Зайцев спасался в отцовской усадьбе в деревне Притыкино — «что в 70 верстах от Ясной Поляны Толстого». Здесь, в уединении, написаны многие сотни страниц произведений, которые станут событиями литературной жизни: повести «Аграфена» (1907) и «Спокойствие» (1909), пьеса «Усадьба Ланиных» (1911), с успехом ставившаяся в сезон 1915 и 1916 годов в московском театре Корша, рассказы «Студент Бенедиктов» (1912), «Грех» (1914), «Изгнание» (1914), «Мать и Катя» (1914), «Маша» (1916).

Вячеслав Иванов, прочитав «Аграфену», тотчас пригласил гостившего в Петербурге автора к себе. Началось спокойное и благожелательное «учительство». «Тут и почувствовалось,— рассказывал Зайцев,— насколько предан этот человек литературе, как он ею действительно живет, какая бездна у него понимания и вкуса. Я был молод, но не гимназист, а уже довольно известный писатель, но чувствовал себя в этот вечер почти гимназистом. Не таким, однако, кому инспектор долдонит что-то начальственное, а как младший в руках благожелательного, много знающего, но не заискивающего и не боящегося говорить правду старшего. Трудно вспоминать больше чем через полвека, что именно он говорил, но вот это впечатление благожелательного наставничества, не обидного, сочувственного и не дифирамбического, видящего и свет и тени, так и осталось в душе». Впоследствии, готовя «Аграфену» для переиздания в белградском однотомнике «Избранные рассказы» (1929), Зайцев внес в нее существенные исправления. Не под влиянием ли той далекой встречи в «Башне» В. Иванова?

Необычная по замыслу и художественному исполнению повесть первоначально вызвала в печати «и бурные похвалы, и бурную брань». Но победило мнение, что «повесть «Аграфена»

все-таки остается обаятельно прекрасной по своей форме, своим тихим, спокойным, надземным тоном». В ней есть «подлинное мистическое настроение, важное и серьезное, столь понятное и родное для темной крестьянской души» (М. Морозов)[1]. «В грустную историю Аграфены автор как бы вдохнул частицу мировой жизни. Повесть словно раскрывает перед читателем книгу бытия, дает возможность ощутить стихию жизни, вспомнить, а может быть, и увидеть в новом свете собственные переживания»; «это вдохновенная поэма — симфония на тему о человеческой жизни, написанная так свободно, что кажется импровизацией» (Е. Колтоновская)[2].

Остановила читательское внимание и большая новелла (скорее, повесть) «Спокойствие», которой завершался второй сборник (1909). «Философия рассказа — спокойствие, просветленный оптимизм, еще более законченный, чем в «Аграфене»,— справедливо утверждает Е. Колтоновская.— Это рассказ о рыцарской любви, о слабых и тоскующих людях, об одиночестве, от которого страдают даже дети. «Я люблю болеть»,— неожиданно признается отцу умирающий ребенок. «Почему же любишь болеть?» — Женя взглянул стыдливо.— «Подойди сюда».— «Ну?» — Он придвинул его к себе, потом тихо шепнул: «Ты со мной больше бываешь».

Главный вывод «Спокойствия» оптимистичен: верить в жизнь, где «все мы, родные любовью, соединены нерасторжимо». «Ты думаешь, легко жить? — спрашивает один из героев. И сам же отвечает: — Нет, милый, не думаю, и не надо, чтоб легко было. Кто мы такие? Люди. «Светочи». И нам дано не тушить себя, пока нас не потушат. Драмы есть, ужасы — да; но живем мы во имя прекрасного; коли так, нечего на попятный». «Чем горше, круче, тем больше он должен жить... человек». «Поэмой Жизни, полной гармонии и музыки», назвали современники этот действительно один из лучших рассказов Зайцева.

В «Спокойствии» многие эпизоды происходят в Италии, в которой Зайцев впервые побывал еще в 1904 году и которая с той поры вошла в его жизнь «голубым своим ликом», оказалась для него «замечательным вдохновителем». Ей посвятит он сотни восторженных страниц, она же подвигнет его на неслыханной сложности труд, который скрасит ему самые трудные годы, наполнит их счастьем творчества — он увлеченно примется за

---

[1] Литературный распад. Критический сборник. Кн. 2. СПб., 1909. С. 142—143.

[2] Колтоновская Е. А. Новая жизнь. Критические статьи. Поэт для немногих. СПб., 1910. С. 77—79.

перевод дантовской «Божественной Комедии». Италия обогреет, приютит, ободрит героев первого романа Зайцева «Дальний край» (1912). Этой гостеприимной стране посвятит он также одну из лучших книг о своих земных странствиях — «Италия» (1923).

* * *

Образ мира, создаваемый Зайцевым в рассказах и повестях, романах и пьесах, поэтичен, возвышен. И, кроме того, он полон добра, простых человеческих радостей, любви. Даже в печалях, даже в мгновения смертные он, этот мир, светел и ободряющ. Вот откуда та солнечная сила (солнце для него всегда Бог, источник поклонения), так завораживающе действующая на всех читающих его поэмы в прозе. Если, например, у Ф. Сологуба солнце — злой дракон, змей-искуситель, пробуждающий в человеке темные силы зла, то у Зайцева солнце — источник восторга. «Чудесно растопить души в свете»,— мечтает герой новеллы «Миф». Во всем предреволюционном творчестве писателя ясно прослеживается стремление к торжеству оптимистического — солнечного — начала, к победе светлого над темным, жизни над смертью. Здесь он категорически не приемлет прямолинейных отрицателей жизни, все более множившихся и обретавших популярность в эти годы: они переходили из книги в книгу даже у крупных мастеров — его современников.

У Сологуба смерть — утешительница, возвышающая человека над пошлостью земной жизни. У Андреева она бездушный великан, вызывающий мрачное отчаяние. Ужас перед могильной бездной выразил Арцыбашев. Встречать смерть смехом и забрасывать ее цветами призывает Сергеев-Ценский. В отличие от них, у Зайцева она — «лазоревая, несущая глубокое знание», вводящая «в страны мудрости», и поэтому не страшиться ее надо, а спокойно, благостно готовиться к переходу в иные миры, в инобытие, в жизнь духа.

«Жизнь или смерть — это все равно. Не это важно»,— размышляет герой зайцевского рассказа «Гость» Николай Гаврилыч, читая сочинения древнего философа Филона Александрийского. «Что же важно, он не отвечал,— добавляет автор,— может, и нельзя было словами сказать; но одно он чувствовал наверное: радость и холод наджизненного, светло-ключевого. Нетленного бытия, процветающего на высотах». В разгар этих осенних мудрствований пожаловал нежданный гость — «молодой человек в полицейской тужурке», становой, просившийся на ночевку. За ужином размякший, отогревшийся гость разговорился о своей нелегкой доле, о том, что грозятся его убить. Это

вызвало у Николая Гаврилыча новый прилив размышлений. «...В великой драме мира вставали перед сердцем дальние края той ужасной земли, где идет жизнь становойская, тех пустынь и скорбей, что лежат за селами и хуторами. «Все будет попалено, сгорит жизнь и ее мерзость». В вышине шли холодные токи. Луна леденела, и некто строгий и кристальный говорил: «Все у вас погибнет». Но это не было страшно».

В другом рассказе — «Сестра» — Зайцев снова подчеркивает мысль о естественной неизбежности смерти, о том, что относиться к этому следует без трагизма: «Нам дано жить в тоске и скорби, но дано и быть твердыми и с честью и мужеством пронести свой дух сквозь эту юдоль неугасимым пламенем и с спокойной печалью умереть: отойти в вечную обитель ясности».

Художественным контрапунктом всех книг Зайцева является Жизнь и Смерть человека вообще. Этот «человек вообще» показывается нам не в заботах житейских, мы не всегда знаем, добравшись до последней страницы той или иной новеллы, кто он по роду занятий, где служит,— для писателя-лирика это не имеет значения. Люди из зайцевской России просто живут, всяческие обстоятельства земные их соединяют и разлучают, некоторые из них уходят из жизни — уходят безбоязненно, спокойно, исполненные смирения и мудрого понимания естественной, предопределенной неизбежности конца всего сущего. Как заметил К. Чуковский, они, умирая, «при этом еще улыбаются: ах, как приятно таять!» Зайцев, как никто другой, философски передал нам, читателям, поэзию бытия человека и его ухода, умирания — в противовес своим современникам Л. Андрееву и С. Сергееву-Ценскому, глубоко раскрывшим трагизм человеческой жизни и смерти. Во всю — немалую! — силу своих талантов они показали, как неизбежность конца, неотвратимость ухода порождают вседозволенность, приводят подчас к необузданному разгулу страстей, в огне и вихрях которого многие сгорают. Земные люди, они и страдают, и радуются, и гибнут здесь же, на земле, не помышляя ни о чем другом.

У Зайцева его герои, казалось бы, тоже живут и действуют в земных обычных условиях, и вместе с тем есть у каждого из них свой микрокосм, отрешенный от конкретного быта, от повседневья — как бы второй глубокий план, возникающий в раздумьях наедине с собой. («Разное умещалось в нем одновременно,— замечает Зайцев об одном из своих героев,— как бы жило в слоях души на разной глубине».) Благодаря этой своей особенности они чувственно, эмоционально сливаются с природой, становятся, по воле автора, ее органичной частью, но мыслят себя в надмирном пространстве, где они возвышенно

любят и светло страдают, наслаждаются праздниками жизни и умиротворенно приемлют свои юдоли и саму смерть. Неспроста критики — современники Зайцева — единодушно отмечали в его прозе пантеистическое мироощущение и мистицизм, укрытые в прекрасную поэтическую оболочку. Но с годами мистицизм все более пробивал эту оболочку, и вот уже Зайцев сам вынужден был заметить: «Вместо раннего пантеизма начинают проступать мотивы религиозные — довольно еще невнятно («Миф», «Изгнание») — все же в христианском духе. Этот дух еще ясней чувствуется в первом романе «Дальний край», полном молодой восторженности, некоторого наивного прекраснодушия — Италия вносит в него свой прозрачный звук. Критик назвал бы «Дальний край» романом «лирическим и поэтическим» (а не психологическим)». К этой же поре относится его пьеса «Усадьба Ланиных», «с явным,— как утверждает Зайцев,— оттенком тургеневско-чеховского (всегда внутренне автору родственного), и также с перевесом мистического и поэтического над жизненным».

Еще одна примечательная особенность зайцевских произведений: в них нет отрицательных персонажей. Есть герои, не вызывающие симпатий у одних читателей, но находящие понимание, сочувствие, поддержку у других. Кто-то осудит страсти и беды Аграфены, попытку самоубийства студента Бенедиктова или бедолажную жизнь Авдотьи по прозвищу «Смерть», а кто-то решит все же разобраться, что их такими взрастило и что выстроило их судьбы именно так, а не иначе. И, наверное, большая правда у вторых — у размышляющих, у неравнодушных, а не у тех, кто упрямо задержался на позициях прямолинейной хулы и бескомпромиссного неприятия такой жизни, не пытаясь проникнуться сочувствием, состраданием, не говоря уже о том, чтобы возвыситься до мысли о разрушении зла, уничижающего человека. Прав будет тот, кто придет к выводу, читая рассказы Зайцева, что он художник-миротворец, что его герои чаще всего люди, не приспособленные к активной жизни и борьбе. Вот и в романе «Дальний край» попытались они проявить себя в большом и важном — и потерпели крах.

Мы постоянно встречаемся у Зайцева также и с тем, что его тихие восторги и светлые скорби глядятся в зеркало природы. На дворе солнце, в небе россыпи звезд, весна разбушевалась — и душа человека распрямляется, веселится, ликует, любит до самозабвения: возвышается. Но вот явилась хлипкая осень, потухли звезды, мокрый туман застлал поля, ветрище зло треплет деревенские непрочные крыши — и замкнулись сердца людей, напитались хмурью, наполнились скорбью, затаились в

ожидании света и тепла. Таковы у Зайцева злые, недобрые сумерки в новеллах «Мгла» и «Волки», слякотная, промозглая пора в «Черных ветрах», в «Госте», когда «тускл и скорбен месяц», когда всюду «бездонный траур осени».

Природа и ее проявления интересно используются и в характеристиках действующих лиц. Вот как говорит один из персонажей «Голубой звезды» — Ретизанов о другом герое повести — Христофорове: «Вы действуете на меня хорошо. В вас есть что-то бледно-зеленоватое... Да, в вас весеннее есть. Когда к маю березки... оделись». Перечитайте едва ли не любой рассказ Зайцева: человек у него включен в природу эмоционально, переживанием, то есть естественно, органично,— он становится ее частью. Природа, таким образом, у него не фон, не место, где происходят какие-то события, а сама жизнь человека, погруженного в природно-космическое. В природе, утверждает своим творчеством Зайцев, разлито настроение, которое улавливают поэты и выражают его в слове — в полном согласии с Тютчевым:

Не то, что мните вы, природа —
Не слепок, не бездушный лик:
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык.

И еще одно важное наблюдение критиков, изучающих творчество Зайцева: в его задушевных лирических исповедях всегда присутствует атмосфера недосказанности и размышления, в них больше настроения, чем поступков, больше философского созерцания и поэтического изображения, чем сюжетно организованного отражения жизни. В нем всегда преобладает интимный лирик, поэт-созерцатель, певец уединения.

* * *

Не часто встречаешь книги, читая которые видишь и самого автора таким, каков он есть в своих трудах и днях. За спокойным, неторопливо развертывающимся действием многих произведений Зайцева раскрывается и он сам — человек несуетный, нравственный, мудрый. Узнаются без труда и многие факты из жизни писателя, узнаются его друзья и близкие. Автобиографизм книг Зайцева — одна из главных их особенностей.

Исследователям творчества Зайцева еще только предстоит выполнить увлекательную работу, которая позволит определить, кто из ближайшего окружения писателя стали прототипами

героев его романа «Дальний край». В частности, не себя ли он вывел в образе Петра Лапина, а Лизавета, самая обаятельная среди всех его женских персонажей,— не сама ли вдохновительница этого романа Вера Алексеевна Зайцева? Ведь она из семьи тех самых Орешниковых, о которых с такой теплотой вспоминает жена Бунина Вера Николаевна Муромцева-Бунина: «Все Орешниковы были остроумны, талантливы, некоторые очень живы, а потому с ними всегда бывало весело: одна расскажет анекдот, другая представит кого-нибудь, третья сыграет на рояле вальс, да так, что заслушаешься, четвертая пропляшет, а мать, высокая полная женщина необыкновенной красоты, все повторяет: «В моих дочерях столько разной крови, что они все талантливы, а некоторые — как шампанское»[1]. В этом обобщенном портрете семьи Орешниковых легко узнаются характерные черты Лизаветы.

«Дальний край» писался начиная с лета 1911 года, сперва в Притыкино, а затем был продолжен зимой во время путешествия (по счету пятого после 1904 года) по Италии. Летом 1912 года работа над первым крупным эпическим произведением завершается. Роман выходит в свет в двух выпусках альманаха издательства «Шиповник». Однако издание его отдельной книгой, как уже упоминалось, встретило препятствия — последовал цензурный запрет, публикацию романа о судьбах молодых людей, увлеченных идеями революционного переустройства мира, сочли крайне неуместной и нежелательной в разгар начавшейся первой мировой войны. Впрочем, уже через год книга вышла в издательстве К. Ф. Некрасова (печаталась в его ярославской типографии). На титуле посвящение: «Вере Алексеевне Зайцевой» — дань признательности автора своему преданному другу и помощнику в работе.

«Дальний край» всколыхнул новую волну споров вокруг творчества Зайцева. Со статьями-разборами в одном только 1913 году (не просохла еще типографская краска в толстых книжках «Шиповника») выступили Ю. Айхенвальд в «Речи», С. Андрианов в «Вестнике Европы», А. Бурнакин в «Новом времени». В числе первых отозвались также «Современный мир», «Современник», «Заветы». Своеобразный итог разноречивым суждениям подвела Е. Колтоновская — автор большой статьи о Зайцеве в восемнадцатом томе «Нового энциклопедического словаря» Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона. Она

---

[1] Бунина В. Н. Беседы с памятью//Лит. наследство. Т. 84. Кн. 2. М., 1973. С. 164.

пишет: «В способности подходить к предмету непосредственно и сразу захватывать кроется обаяние зайцевской манеры, которая, несмотря на усиленное тяготение Зайцева к реализму, остается импрессионистско-лирической даже в большом романе «Дальний край». Отдельные картины этого романа свежи и поэтичны и вполне могли бы рассматриваться как самостоятельные произведения (например, все итальянские эпизоды). Но в целом роман не отличается полнотой, стройностью и широтой захвата». С последним категоричным суждением можно спорить, ибо «Дальний край» — произведение чисто зайцевское («лирическое и поэтическое»), а значит, и подходить к нему следует вовсе не с мерками канонических жанровых признаков романа («полнота, стройность, широта захвата» и т. п.). Уместнее было бы услышать голос самого автора, который с первых же своих вещей «ощутил новый для себя тип писания: бессюжетный рассказ-поэму» и этому, как мы теперь можем убедиться, был верен на протяжении всего своего долгого (семидесятилетнего!) творческого пути.

В дальнейшем, уже находясь в изгнании, Зайцев напишет и издаст еще шесть романов, но первый останется в душе и памяти как важная веха его творческого пути. «Из ранней полосы писания,— писал он О. П. Вороновой,— думаю, главное — роман «Дальний край» (Москва, 1913) и большая повесть «Голубая звезда».

* * *

Предвоенную весну 1914 года Зайцев провел в деревне, по его словам, «в нервно-болезненном напряжении, запершись во флигеле, докуриваясь до таких сердцебиений, что казалось, пришел мой последний час. Писал пьесу («Пощада».— *Т. П.*), необычайно мрачную и казавшуюся замечательной. Писал по ночам, в подъеме, все, как полагается... А получилось нечто мучительно-безводное, неплодоносное. Смута была в душе и в моей жизни — страшные предгрозовые месяцы». Остро, болезненно переживает он этот неожиданно обрушившийся на него творческий кризис, когда ясно осознал: ранняя импрессионистская манера изжита, «тургеневско-чеховская линия — повторение пройденного», в то же время сил еще много, «жизнь не кончается еще, может быть, только вступает в настоящее...». В какой-то мере утешением было то, что не он один оказался тогда на перепутье. «Сколько горечи,— вспоминал Борис Константинович,— в дневниках Блока этого времени! А в каком сумраке был Андреев... Самими собой обнаруживали они внутренний мрак и опустошенность России».

По совету старого друга П. Муратова (автора трехтомного труда «Образы Италии», посвященного Зайцеву: «в воспоминание о счастливых днях») Борис Константинович принимается за перевод «Ада» — первой части «Божественной Комедии» Данте. Эта работа отныне будет сопровождать его всю жизнь и явится для него спасительным прибежищем в самые ненастные годы: первая мировая война, революция, фашистская оккупация Франции... Перевод «Ада» вместе с очерком об изгнаннической судьбе великого флорентийца Зайцев издаст отдельной книгой только в 1961 году в парижском издательстве ИМКА-пресс.

В деревенском уединении писатель обретает душевное равновесие, восстановившее и его творческую активность. «Великая война,— вспоминал он,— внешне не отразилась на моем писании. Внутренно же эти годы отозвались ростом спокойной меланхолии (книга рассказов «Земная печаль»), еще ближе подводившей к Тургеневу и Чехову». Этот сборник, шестой по счету, составили произведения зрелого мастера: «Мать и Катя», «Кассандра», «Петербургская дама», «Бездомный», «Богиня», «Маша», «Земная печаль». Кооперативное товарищество «Книгоиздательство писателей в Москве» выпускало книгу Зайцева (одну из лучших) трижды — таков был ее читательский успех.

В 1916 году Борис Константинович принимается за работу над большой повестью, которая и подведет итог всему дореволюционному периоду его творчества,— «Голубая звезда». Автор считал ее «самой полной и выразительной» из первой половины своего пути. По его словам, «она прозрачнее и духовней «Земной печали». Вместе с тем это завершение целой полосы, в некотором смысле и прощание с прежним. Эту вещь могла породить лишь Москва, мирная и покойная, послечеховская, артистическая и отчасти богемная, Москва друзей Италии и поэзии».

«Голубая звезда» выйдет в свет в 1918 году, но до этого в судьбе писателя произойдет немало неожиданных событий. Главное из них — летом 1916 года тридцатипятилетнего ратника ополчения второго разряда призвали в армию, а 1 декабря он стал юнкером ускоренного выпуска Александровского военного училища. Об этой поре, когда ему было уже не до писательства («Неужели я писал когда-то книги? Неужели и сейчас в столе на Сущевской лежит начатая рукопись «Голубая звезда»?»), Зайцев рассказал в очерках «Мы военные... (Записки «шляпы»)» и «Офицеры (1917)», вошедших в книгу «Москва». В февральскую революцию «только за то,— пишет Зайцев,— что я писатель и «шляпа», выбрали меня и в ротный комитет, и потом в «комитет семи» от всего училища — мы вошли в Совет солдатских и офицерских депутатов Москвы».

В июле 1917 года артиллерийский прапорщик Зайцев серьезно заболевает («Кашляю уже кровью. Доктор выслушал — воспаление легких, гриппозное и сильнейшее, запущенное»). После трудно протекавшего выздоровления он в сентябре получает шестинедельный отпуск. «В последние его дни, когда я жил в деревне,— вспоминает Борис Константинович,— разразилось Октябрьское восстание. Мне не дано было ни видеть его, ни драться за свою Москву на стороне белых».

Черные бури ворвались и в семью Зайцевых: в первые дни революции погиб, растерзанный обезумевшей толпой, племянник Юрий Буйневич (ему посвящено стихотворение в прозе «Призраки»); расстрелян обвиненный в участии в заговоре сын Веры Алексеевны Зайцевой от первого брака Алексей Смирнов; не выдержало напряжения времени сердце отца писателя; уходят из жизни по разным причинам многие из его друзей и соратников: Леонид Андреев, Сергей Глаголь, Юлий Бунин, Николай Тимковский, Василий Розанов, Александр Блок...

В эти годы Зайцев пытается найти свое место в новой жизни. Сотрудничает в еженедельнике своего давнего друга Г. Чулкова «Народоправство», участвует вместе с Н. Бердяевым, Б. Вышеславцевым, Г. Чулковым в Московской просветительской комиссии, активно выступает в «Итальянском обществе», возглавил которое П. Муратов. Зайцев — один из организаторов Книжной лавки писателей, среди пайщиков которой были философ Н. Бердяев, филолог Б. Грифцов, профессор-историк А. Дживелегов, искусствовед П. Муратов, поэт В. Ходасевич. «Книгоиздательство писателей в Москве» в это же время выпускает одну за другой книги Зайцева: «Волки», «Смерть», «Сестра. Гость», а также продолжает издание его Собрания сочинений (первый том «Тихие зори» вышел в 1916 году).

Сразу после Октябрьского переворота Зайцев счел необходимым выступить с заявлением-протестом, в котором выразил мнение многих деятелей культуры, осуждавших желание новой власти максимально ограничить право художника на свободу слова. Вот что он сказал, выступая 10 декабря 1917 года в однодневной газете Клуба московских писателей «Слову — свобода»:

«Гнет душит свободное слово. Старая, старая история. Кто станет спорить, убеждать, доказывать? Убеждать не в чем. Все ясно! Но еще раз, как всегда было и всегда будет, мы подымаемся и говорим: «Сейчас, именно вот теперь, делается дурное дело, совершается насилие над человеческим словом. Не забывайте, что дурное — дурно!» Вот наши слова. Жить же, мыслить, писать будем по-прежнему. Некого нам бояться — служителям

слова. Нас же поклонники тюрем всегда боялись. Ибо от них и их жалких дел останется пепел. Но бессмертно слово. И осуждает. Ни сломить, ни запугать его нельзя».

В 1921 году московские писатели избирают Бориса Константиновича председателем своего Союза. Товарищами председателя были избраны Н. Бердяев и М. Осоргин. В июле этого года руководители Союза приняли предложение вступить в Комитет помощи голодающим (Помгол), возглавил который Л. Каменев. В состав комитета вошли А. Рыков, А. Луначарский, М. Горький, Вера Фигнер. Писатели под руководством М. Осоргина наладили выпуск газеты «Помощь». Однако не прошло и месяца, как однажды вечером в разгар заседания писательской группы комитета, обсуждавшей вопрос о выезде делегации в Европу для срочного сбора средств, «в прихожей раздался шум,— вспоминал Зайцев.— Неизвестно, что за шум, почему, но сразу стало ясно: идет беда. В следующее мгновение с десяток кожаных курток с револьверами, в высоких сапогах, бурей вылетели из полусумрака передней и один из них гаркнул:

— Постановлением Всероссийской Чрезвычайной комиссии все присутствующие арестованы!»

С горестным — «черным» — юмором вспоминал Зайцев в книге «Москва» о сидении в подвалах Лубянки — «в грязи, убожестве, кровавой слякоти отверженного места». В «историко-литературном углу» камеры они читали друг другу лекции: профессор Б. Виппер — о живописи, П. Муратов — о древней иконописи, Зайцев — о русской литературе... Солнечным утром в разгар зайцевской лекции в камеру вошли двое... «В руке одного была бумажка,— рассказывал Зайцев.— По ней он так же громко и бесцеремонно, прерывая меня, прочел, что я и Муратов свободны, можем уходить».

Можно представить, какой страшный след оставили эти несколько тюремных дней в ранимой душе Зайцева. Он уезжает в Притыкино и в Москву возвращается весной 1922 года. И здесь настигает его новое несчастье: сыпной тиф. Обессиленный болезнью и полуголодным существованием, Зайцев принимается за хлопоты о визе для поездки за границу на долечивание. Неожиданно хлопоты увенчались успехом благодаря вмешательству Луначарского, Каменева и Балтрушайтиса. В июле он с женой и дочерью благополучно выезжает в Берлин. И началась его долгая добровольно-принудительная ссылка, ибо обратный путь на родину оказался невозможным: там уже прогремели выстрелы, унесшие жизнь поэта Николая Гумилева, начались массовые высылки за границу деятелей культуры и науки.

Тимофей ПРОКОПОВ

ПОВЕСТИ
и
РАССКАЗЫ

Борис Зайцев открывает все те же пленительные страны своего лирического сознания: тихие и прозрачные.

А. БЛОК

ИЗ КНИГИ «ТИХИЕ ЗОРИ»

ВОЛКИ

Там рощи шумны, фиалки сини...
Гейне

I

Это тянулось уже с неделю. Почти каждый день их обкладывали и стреляли. Высохшие, с облезлыми боками, из-под которых злобно торчали ребра, с помутневшими глазами, похожие на каких-то призраков в белых, холодных полях — они лезли без разбору и куда попало, как только их подымали с лежки, и бессмысленно метались и бродили все по одной и той же местности. А охотники стреляли их уверенно и аккуратно. Днем они тяжело залегали в мало-мальски крепких кустиках, икали от голода и зализывали раны, а вечером собирались по нескольку и гуськом бродили по бесконечным, пустым полям. Темное злое небо висело над белым снегом, и они угрюмо плелись к этому небу, а оно безостановочно убегало от них и все было такое же далекое и мрачное.

Было тяжело и скучно на полях.

И волки останавливались, сбивались в кучу и принимались выть; этот их вой, усталый и болезненный, ползал над полями, слабо замирал за версту или за полторы и не имел достаточно силы, чтобы взлететь высоко к небу и крикнуть оттуда про холод, раны и голод.

Белый снег на полях слушал тихо и равнодушно; иногда от их песни вздрагивали и храпели мужицкие лошаденки в обозе, а мужики ругались и подхлестывали.

На полустанке у угольных копей иной раз слышала их

молодая барыня-инженерша, прогуливаясь от дому до трактира на повороте, и ей казалось, что поют ей отходную; тогда она закусывала губу, быстро возвращалась домой, ложилась в постель, засовывала голову между подушек и, скрипя зубами, твердила: «Проклятые, проклятые».

II

Был вечер. Задувал неприятный ветер, и было холодно. Снег был одет в жесткую сухую пленочку, чуть-чуть хряскавшую всякий раз, как на нее наступала волчья лапа, и легкий холодный снежок змейками курился по этому насту и насмешливо сыпал в морды и лопатки волкам. Но сверху снега не шло, и было не очень темно: за облаками вставала луна.

Как всегда, волки плелись гуськом: впереди седой, мрачный старик, хромавший от картечины в ноге, остальные — угрюмые и ободранные — старались поаккуратнее попадать в следы передних, чтобы не натруживать лап о неприятный, режущий наст.

Темными пятнами ползли мимо кустарники, большие бледные поля, по которым ветер гулял вольно и беззастенчиво,— и каждый одинокий кустик казался огромным и страшным; неизвестно было, не вскочит ли он вдруг, не побежит ли,— и волки злобно пятились, у каждого была одна мысль: «Скорее прочь, пусть все они там пропадают, только бы мне уйти».

И когда в одном месте, пробиваясь по каким-то дальним огородам, они вдруг наткнулись на торчавший из снега шест с отчаянно трепавшейся по ветру обмерзшей тряпкой, все как один кинулись через хромого старика в разные стороны, и только кусочки наста помчались из-под их ног и шурша заскользили по снегу.

Потом, когда собрались, самый высокий и худой, с длинной мордой и перекошенными от ужаса глазами, неловко и странно сел в снег.

— Я не пойду дальше,— заикаясь говорил он и щелкнул зубами.— Я не пойду, белое кругом... белое все кругом... снег. Это смерть. Смерть это.

И он приник к снегу, как будто слушая.

— Слышите... говорит!

Более здоровые и сильные, впрочем тоже дрожавшие, презрительно оглядели его и поплелись дальше. А он все сидел на снегу и твердил:

— Белое кругом... белое все кругом...

Когда взобрались на длинный, бесконечный взволок, ветер еще пронзительнее засвистел в ушах: волки поежились и остановились.

За облаками взошла на небо луна, и в одном месте на нем мутнело желтое неживое пятно, ползшее навстречу облакам; отсвет его падал на снега и поля, и что-то призрачное и болезненное было в этом жидком молочном полусвете.

Внизу, под склоном, пятном виднелась деревня; кое-где там блестели огоньки, и волки злобно вдыхали запахи лошадей, свиней, коров. Молодые волновались.

— Пойдем туда, пойдем, все равно... пойдем.— И они щелкали зубами и сладострастно двигали ноздрями.

Но хромой старик не позволил.

И они поплелись по бугру в сторону, а потом вкось через ложбину, навстречу ветру.

Два последние долго еще оглядывались на робкие огоньки, деревню и скалили зубы.

— У-у, проклятые,— рычали они,— у-у, проклятые!

III

Волки шли шагом. Безжизненные снега глядели на них своими бледными глазами, тускло отблескивало что-то сверху, внизу поземка ядовито шипела, струясь зигзагами по насту, и все это имело такой вид, будто тут, в полях, наверно знают, что никому никуда нельзя добежать, что и нельзя бежать, а нужно стоять смирно, мертво и слушать.

И теперь волкам казалось, что отставший товарищ был прав, что белая пустыня действительно ненавидит их; ненавидит за то, что они живы, чего-то бегают, топчутся, мешают спать; они чувствовали, что она погубит их, что она разлеглась, беспредельная, повсюду и зажмет, похоронит их в себе. Их брало отчаяние.

— Куда ты ведешь нас? — спрашивали они старика.— Знаешь ли ты путь? Выведешь ли куда-нибудь?

Старик молчал.

А когда самый молодой и глупый волчишка стал особенно приставать с этим, он обернулся, тускло поглядел на него и вдруг злобно и как-то сосредоточенно куснул вместо ответа за загривок.

Волчишка взвизгнул и обиженно отпрыгнул в сторону,

проваливаясь по брюхо в снег, который под настом был холодный и сыпучий. Было еще несколько драк — жестоких, ненужных и неприятных.

Раз последние двое отстали, и им показалось, что лучше всего лечь и сейчас же умереть; они завыли, как им казалось, перед смертью, но когда передние, трусившие теперь вбок, обратились в какую-то едва колеблющуюся черную ниточку, которая по временам тонула в молочном снеге, стало так страшно и ужасно одним под этим небом, начинавшимся в летящем снегу прямо над головой и шедшим всюду, в посвистывавшем ветре, что оба галопом в четверть часа догнали товарищей, хотя товарищи были зубастые, голодные и раздраженные.

IV

До рассвета оставалось часа полтора. Волки стояли кучей вокруг старика. Куда он ни оборачивался, везде видел острые морды, круглые, блестящие глаза и чувствовал, что над ним повисло что-то мрачное, давящее, и если чуть шелохнуться, оно обсыплется и задавит.

— Где мы? — спрашивал кто-то сзади тихим, сдавленным от бешенства голосом.

— Ну-ка? Когда мы придем куда-нибудь?

— Товарищи,— говорил старый волк,— вокруг нас поля; они громадны, и нельзя сразу выйти из них. Неужели вы думаете, что я поведу вас и себя на гибель? Правда, я не знаю наверно, куда нам идти. Но кто это знает? — Он дрожал, пока говорил, и беспокойно оглядывался по сторонам, и эта дрожь в почтенном, седом старике была тяжела и неприятна.

— Ты не знаешь, не знаешь! — крикнул все тот же дикий, непомнящий голос.— Должен знать!

И прежде чем старик успел разинуть рот, он почувствовал что-то жгучее и острое пониже горла, мелькнули на вершок от лица чьи-то желтые, невидящие от ярости глаза, и сейчас же он понял, что погиб. Десятки таких же острых и жгучих зубов, как один, впились в него, рвали, выворачивали внутренности и отдирали куски шкуры; все сбились в один катающийся по земле комок, все сдавливали челюсти до того, что трещали зубы. Комок рычал, по временам в нем сверкали глаза, мелькали зубы, окровавленные морды. Злоба и тоска, выползавшая из этих ободранных худых тел, удушливым облаком подымалась над этим

местом, и даже ветер не мог разогнать ее. А заметюшка посыпала все мелким снежочком, насмешливо посвистывала, неслась дальше и наметала пухлые сугробы.

Было темно.

Через десять минут все кончилось.

На снегу валялись ободранные клочья, пятна крови чуточку дымились, но очень скоро поземка замела все, и из снега торчала только голова с оскаленной мордой и закушенным языком; тусклый тупой глаз замерзал и обращался в ледяшку. Усталые волки расходились в разные стороны; они отходили от этого места, останавливались, оглядывались и тихонько брели дальше; они шли медленно-медленно, и никто из них не знал, куда и зачем идет. Но что-то ужасное, к чему нельзя подойти близко, лежало над огрызками их вожака и безудержно толкало прочь в холодную темноту; темнота же облегала их, и снегом заносило следы.

Два молодых легли в снег шагах в пятидесяти друг от друга и лежали тупо, как поленья; они не обсасывали окровавленных усов, и красные капельки на усах замерзали в жесткие ледяшки, снегом дуло в морду, но они не поворачивались к затишью. Другие тоже позалегли вразброд и лежали. А потом они опять принялись выть, но теперь каждый выл в одиночку, и если кто, бродя, натыкался на товарища, то оба поворачивали в разные стороны.

В разных местах из снега вырывалась их песня, а ветер, разыгравшийся и гнавший теперь вбок целые полосы снега, злобно и насмешливо кромсал ее, рвал и расшвыривал в разные стороны. Ничего не было видно во тьме, и казалось, что стонут сами поля.

1901

ТИХИЕ ЗОРИ

I

То лето я жил в городе. Днем работал, а к вечеру возвращался в полупустую квартиру. Я не велел снимать портьер на лето, и они висели прямыми складками, чуть запыленные и меланхоличные. Тонкая, палевого оттенка пыль проникала снаружи: она занавешивала своим нежным налетом все внутри; казалось, будто все здесь облегала воздушная кисея.

Среди этих больших, светлых комнат я жил уединенно, никого не видя, кроме старушки-прислуги, никуда не стремясь.

В один из тихих летних вечеров, почти у подъезда своего дома, я встретил Алексея Золотницкого, старого друга. Я встретил его при тяжелых обстоятельствах — больного, измученного. Мы обнялись, целовались на улице, и я сейчас же повел его к себе наверх.

— Как я рад,— говорил он, улыбаясь своей все той же давнишней, светло-печальной улыбкой.— Как хорошо, что я тебя нашел!

Я обнял его за талию и помогал всходить. Взбираться было высоко, он ступал с усилием, и на площадках останавливался, переводя дух.

У меня в передней он несколько минут сидел, отдыхая: потом мы вместе, все так же под руку, обошли мою пустынную квартиру.

— Ну вот, мы будем жить здесь, я никуда не отпущу тебя отсюда!

Мы вышли на балкон; отсюда, с высоты, было видно далеко, и древний, любимый мой город шел к горизонту и

тонул колокольнями в синеве. Солнце садилось. Неясные — то пыльно-золотистые, то паутинные полосы растягивались над городом. Темно зеленели сады пятнами по склону вдали, кой-где ярко блестели жгучими нитями телеграфные проволоки, ястреба реяли в воздухе. Кресты и купола горели.

— Больше года назад я потерял здесь жену,— говорил я,— и она, и я, мы родились здесь, здесь я любил ее и был счастлив. Здесь ее отняли у меня; здесь я страдал и погибал — умру, верно, тоже здесь.

Мы молчали долго. Вечерело.

Алексей сел в кресло.

— У тебя здесь как-то чинно в квартире, как-то важно, торжественно. Но хорошо... И внизу там тоже хорошо!

Внизу под нами был переулок, тихий и старый. Налево в нем подымалась церковка — почти до той же высоты, на какой были и мы. Она тоже была старая и смирная церковь; сейчас, в зачинавшемся оранжевом полусумраке, она вычерчивалась тонким и благородным силуэтом на небе, и в этой русской ее незаметности, в пирамиде над колоколами, в городках, глубоко уходивших в пирамиду,— было что-то вековое; почти черные, июльские липы охватывали ее кольцом; они цвели; их сладкий запах шел оттуда струями и растекался по переулку.

Мы сидели и разговаривали. Темнело. Церковь с липами сливалась в одно, и липы стали еще черней.

— Алексей,— говорю я,— я не верю в твою болезнь!

Он улыбается.

— Не верь. Но она есть.

Я гляжу в церковный садик. Там мы бродили с ней раз поздней ночью, и тихий красный огонек виднелся в церкви тогда; за решетчатым, важным окном он мигал, пустынный и жуткий. Вспомнилось вдруг, как тогда, сразу и у меня и у нее, прошло под сердцем что-то ледяное, точно мы предчувствовали нечто, точно под той тихой церковью была бездонная, черная тьма; мы прижались друг к другу и долго сидели в том маленьком сквере, не говоря ни слова; а сумрак ночи реял вокруг.

Алексей как будто отгадал, о чем я думаю.

— А-а, ты боишься. Боишься! А между тем все они не страшны, поверь, совсем не страшны.

Он все сидел в кресле — большой, кроткий и усталый. Мы долго говорили с ним в тот вечер.

В моей памяти все это навсегда заняло свое место:

спускавшийся на землю, будто живой, вещий мрак, черные липы вокруг церкви и маленький, припомнившийся огонек; сам Алексей, нежданный, дорогой гость, и его тихие слова в мглистом воздухе под трепет жуткого, мерещившегося мне света; весь вечер на высоте, пред ночью и небом.

II

Жизнь с Алексеем чрезвычайно радовала меня. Что-то детское, давно отшедшее, вновь вошло в эти комнаты. Алексей был тяжко болен, но мог ходить и только временами страдал. Теперь я больше бывал дома, читал, говорил с ним, иногда возил его в парк и за город, но чаще вечерами мы бывали дома, в прохладной большой комнате с балконом, отведенной ему.

Алексей был покоен.

— Мне даже странно, что мы живем тут так,— как ждал я этой тишины... простых, нежных звуков, такого неба...

— Но все это в тебе самом, ты везде и всегда будешь таким.

III

Случалось, что по ночам он не мог заснуть. Это чувствовалось еще с вечера по какой-то особенной сухости его тела, как будто слегка терявшего в весе, по особенному, тихому возбуждению, какое я встречал лишь у него. Тогда он будто отделялся от своей болезни, терял различие между днем и ночью, и часами мог бродить по пустым комнатам, неслышно ступая туфлями и дожидаясь рассвета. Обыкновенно мне сообщалось нечто в этом роде, и даже старая моя прислуга Анфиса нередко просыпалась в эти ночи бодрствования, крестилась и шептала пред своими лампадками.

Какие это были странные, смутные ночи! Раз неожиданно Анфиса принесла нам кипящий самовар, и в комнате со сладковатым, душным запахом лекарств, в полумгле летней ночи, я поил Алексея малиной и чаем... Тихо было на улицах, ночь сторожила нас, и в церковной ограде, среди июльских лип, стояла тьма.

IV

В наших комнатах, за полуспущенными гардинами, в прохладе каменных стен было нежарко, но город изнемогал.

Садилось солнце, жар стихал, приходила бледная, робкая ночь. Сидя с Алексеем поздним вечером на балконе, мы любовались далями; все слегка затуманено, сухая, бело-пыльная дымка стояла над городом; некоторые улицы внизу, пустынные уже, как бы отдавшиеся чему-то, смутно белели недвижными лентами; и наш переулок, обвеянный за день известковою пылью от строившихся домов, дремал и мерещился мне белесоватым каналом.

В один из таких вечеров, после полуночи, я ушел от него в комнату к себе. Я прилег и спал смутно; через час проснулся; в промежутках между портьерами чуть брезжило. Я встал и прошел в комнату Алексея. Там никого не было — дверь на балкон открыта. Я тихо подошел к двери,— Алексей стоял ко мне спиной и смотрел вдаль, на город.

Бледно-зеленый, девственный, тихий рассвет. Гардины висят беззвучными складами. Что-то томное в комнате.

Странное чувство охватило меня: вдруг, беспричинно и наверняка, я почувствовал, что Алексей обречен. Он стоял такой большой, неравноплечий, положив свою некрасивую ладонь поперек на влажные перила; перед ним вдали млело и дымилось слегка все, благодатная влага утра сходила на землю, и он был обречен, быть может, этим рассветом.

Я стоял молча. Он не видел меня и сел в глубокое кресло, ко мне в профиль. Тогда я подошел; он видел меня и пристальным взором глядел мне в глаза. Я не мог отвернуться.

— Хорош рассвет. Как бледно, чисто, славно там.

Я не плакал. Что-то сияло на лице моего друга; слабо золотел крест на церкви; сумрак утра был зеленоват и тонок.

V

Раз ночью, в час, дверь моя скрипнула: вошел Алексей. Он подошел к моей постели и присел на ней.

— Я хочу немного пройтись. Может быть, и ты со мной?

— Охотно.

Я оделся, взял его под руку, и мы отправились.

На лестнице было сумеречно; в пирамидальном стеклянном колпаке для света виднелось небо; оно серело, звезды ломались и дробились в стекле.

Медленно, чтобы не утомить Алексея, мы двигались по

тротуару к скверу за церковью. В городе, где-то далеко и глухо, шумело; как будто все вдали было затоплено гудящим морем, и только здесь, в сквере, у старой церкви, стояла глубокая тишина.

Мы сели на скамеечку. Деревья вокруг стояли черные; и несколько переулков, сходившихся к скверу, были безлюдны: город спал, и его каменный сон был жуток. Темные дуновения налетали откуда-то сверху.

Тот же сквер. Я оглянулся на церковь. Что она там чернеет, многодумная, закутанная в ночные одежды? Не подслушиваем ли мы тут кого?

Мы молчали тоже. Потом Алексей встал.

— Пойдем.

Мы обошли вокруг церкви. Густая темная трава росла за оградой; у паперти, у старой, коричнево-черной иконы, краснела лампадка. Веночек полузасохших цветов висел над ней. Ризы других святых под стеклом слегка поблескивали золотом. И все дремало во мраке.

— Как я устал,— говорит Алексей,— даже идти тяжело.

Мы подымаемся с усилием по лестнице. Наверху, у себя в комнате, Алексей покорно снимает ветхую серую куртку со стоящим воротником, трет лоб, что-то мучительное появляется в его взгляде; жалобно бьются жилки на висках — мелкие, утомленные жилки. Но он смирен, медленно он раздевается и ложится в постель. Я шагаю. Он закрыт одеялом до подбородка, и ноги его торчат прямо и неподвижно.

— В одну из таких пустых ночей я и умру.

Это верно, ночь пуста. Не знаю почему, но она *пустая* ночь. Но отчего он не боится?

— Алексей, ты веришь в то, что будешь жить и дальше?

— Не знаю. Да мне и так не страшно.

Не страшно! И правда, ему не страшно.

Выхожу на балкон. Сумрак редеет и как будто колышется. Небо стоит над нами, над городом и надо всем миром. Что оно стоит там, что слушает наш разговор? Дальнее, глубокое небо, в котором тонем все мы; но молчит и слушает.

VI

Верно: Алексей больше не встал. Что-то сдвинулось в нем навсегда в ту ночь; какая-то упорная сила с тех пор

безостановочно, почти вежливо, вела его к концу. Конечно, его лечили, конечно, боролись, но было ясно, что все должны молчать.

VII

Дремлю в кресле у Алексеевой постели. Вдруг просыпаюсь. Ночь, второй час.

— Алексей!

Молчит. Дверь на балкон отворена, оттуда тянет зарей.

— Алексей!

Опять молчит. Беру его за руку. О-о, как холодна! Значит, конец, замолк.

Я никого не позвал. Я запер дверь на ключ и до утра сидел с ним, с усопшим Алексеем.

Тихо звучала в небе заря, внимательная, нежная заря. Ночь смолкает: неопределенный свет в комнатах через шторы.

Я плакал, но мои слезы не были кровавы и больны, и то, что случилось с Алексеем, в сознании моем не была смерть. Я не знал, что это было; я ничего не знал, ни о чем не думал, но в то же время я глубоко знал, что Алексей неприступен.

Светлело. Бледно-зеленые тона тянулись по небу, свежело слегка. Легкий и покойный лежал Алексей на кровати.

Я стою перед ним. Он лежит молчаливо, мой тихий, нежный друг!

VIII

Дни потом были странны, единственны. Стоял гроб в моей квартире, скромные монашки из монастыря читали поочередно высокими, монотонными голосами.

Но солнце к вечеру и небо — по-прежнему были золотисты и прозрачны; в балконную дверь виднелся четырехугольник света с темными липами и крестами церкви на нем; я не помню отчаяния в своем доме. В эти дни я ни с кем не разговаривал; все время я жил с ним, и его образ, омытый светлыми слезами, прояснел — стоял передо мною нетленный, недосягаемый.

Помню монастырь, где его хоронили; далекий, прилетающий из-за города, с реки и вольных полей ветер, вечерние солнечные лучи. Тихий звон на колокольнях, бе-

лые соборы, бледно-голубая с золотом живопись, безбрежный шум ветра в липах на монастырском кладбище.

Висят в небе серовато-молочные купола, чернеют гладкие памятники и кресты внизу; белые ангелы распростерли крылья и замерли. На могиле Алексея крест и лампадка; я сижу на скамеечке у могилы, мне хочется плакать, но плакать сладко и светло, мечтать...

В эти дни, просыпаясь беспричинно ночью, я неизменно вспоминаю Алексея, я брожу по комнатам, мне снова хочется туда, к его могиле, я выхожу на балкон и долго гляжу на небо: жду зари и знаю, что вечером буду там; это мое паломничество, никому не нужное, да, никому не нужное, кроме меня самого.

IX

Так идет время,— спокойное, славное время. Его ход усыпителен и чарующ.

Вот вечер за городом. Уединенная дача в березовом лесу; с полукруглого балкона, недалеко внизу я вижу озеро; оно лежит меж чистых, нежно-белых стволов берез. Дом полон гостей, шумят, ходят вокруг, а озеро лежит немое и бледное; бессолнечный, неветреный день, облака перламутровы; крупными массами они застыли в озере, и если пристально глядеть туда, начинает казаться, что выйдешь куда-то насквозь, глаз тонет в этом зеркале.

Сзади в комнатах играют и поют. Ходят молодые студенты и девушки в светлых платьях.

Внизу, как говорят, детский приют-дача. Все время я слышу ровный, однообразный шелест тихих голосов — должно быть, необыкновенно смирные дети. Вот они уходят на прогулку; все они пяти — семи лет, одеты в голубенькие, желтенькие и белые платьица. Не торопясь, бредя вереницами, удаляются среди берез по дорожке вдоль озера.

Голоса сзади умолкают; все собираются в лес. Это хорошо, пусть идут, радостный молодой воздух девичьих платьев, свежести и любви, веявший сегодня весь день, уплывает с ними в глубь леса. А уж сумерки близки, и белые березы сонны. Подозрительная тишина. Озеро околдовывает, тянет. Взор в нем, в нем далеко, и деревья вокруг как будто слегка заволакиваются нежною паутиной; сладкая боль плывет в сердце из озера, из тех далей в воде, что уводят неизвестно куда; из тех зеркальных ту-

манов; в них растаял облик моего друга, но они видны вон там. Качайтесь, качайтесь, сонные березы, дремли душа сладко, люби...

Минуты идут. Снова с другого конца озера негромкие детские голоса; то там, то тут, вокруг светлых вод, выныривает из зелени ребячья головка; вереницами, сплетающимися цепями бродят маленькие дети вокруг вечернего озера; а дальше идут и те, снова в доме люди, жизнь. Озеро становится обыденнее, наша тайна только для нас.

Меня спрашивают, почему я молчу.

X

И снова время. Его набралось уже год со смерти Алексея.

В моей жизни перемены: это лето я в деревне, в старом нашем гнезде, над русской рекой, под мягким русским солнцем. Все здесь уходит для меня в туман детства.

Ребенком я, или кто-то другой, на меня похожий, сидел у этой же калитки в частоколе, под дубом, из сада на реку, и так же река вилась мерцающею лентой; так же ползли вниз по ней сонные пароходы; так же благоухал жасмин у балкона, тот же дорогой, затхлый воздух в старом доме.

Тогда и Алексей бегал тут мальчиком, а теперь мой собственный мальчик, сын-сирота, сидит у няньки на руках и чему-то хлопает глазенками.

В этот свой приезд, в первый же день, после крепкого полуденного сна, я выхожу, слегка отуманенный, в сад. Песок скрипит под ногами, и так бесхитростно, так свято пахнет травой, зеленью, опять тем же жасмином. Странно... Все зелено. Зеленеют небо, деревья, песок,— хотя они и не зелены: кто-то могучий и безымянный, чьего имени не разгадаешь, затопил все вокруг своей безмерною силой; он выдавливает из мозга мысли, он заливает все своей от-вечной, прозрачной зеленью; и небо и воды послушны ему. И тебя нет, хотя ты идешь и видишь.

Вот на лавочке мой Гаврик с нянькой, доброй, коричневой мордовкой, похожей на ирокеза. Они сидят и глядят, мордовка шепчет что-то старыми губами. Гаврик ощущает свое, неопределенно машет ручонкой, покрикивает временами, как молодой зверенок.

Что они там думают, в этой зелени? Куда они глядят?

Что видят? Не они ли в той зелени, и то зеленое не в них ли?

Веет ветер из далеких мест, о счастье — улыбаться так, глядеть туда.

Иду дальше. Вот он, старый дуб. Он мало изменился с тех пор. Ветер шумит в нем тем же шумом, что и тогда, что и в тех деревьях над Алексеевой могилой. Такою же безбрежной кажется жизнь мира и отсюда, если лежать под дубом, закрыв глаза, слушая шум приречных лесов, созерцая тихий ход реки. Тогда сливаешься снова с этими неповторимыми лесными запахами, что запали в детстве; снова летят в мозгу небыстрые чайки-рыболовы, которые перевелись уж тут. Перламутровая, чуть серебристая, непонятная, ведет откуда-то река свой ход, плетет свои струи, исполняет сердце великим миром. Сердце немеет и лежит распростертое, оно открыто любви; прошлое, настоящее и будущее в нем переплетаются; встает нежная радость о давно минувшем. Ползут сонные пароходы, стучат колесами. Из зеркальных далей, по реке, нисходит благословение горя.

Москва, 1904

ХЛЕБ, ЛЮДИ И ЗЕМЛЯ

Среди полей станция: красный дом из кирпича, рядом водокачка. Мимо станции железный путь; разъезды, фонари, склады, вагоны. Поездов за сутки мало — дорога новая,— но они основательны: едут тихо, много пыхтят, долго стоят на полустанках; в пути действуют слабо: под уклон безнадежно летят, на взгорки взбираются с трудом. Само полотно жидко, но поезда очень тяжелы; вагоны полны мукой, иногда там топочут лошади, или видна белая пыль камня. Эти угрюмые товарные приходят ночью; в темноте издалека видны желтые огни, и что-то гудит по железным полоскам. Очень скучно и неприятно выходить к поезду. «Начальник» спит, вместо него юноша; он тоже в красной фуражке, но на ней меньше кантов.

Под паровозом бежит свет, станция подрагивает, и рельсы гнутся в скрепах, когда проползают вагоны — один за другим, сырые, с надписями мелом. Они только что пришли из необычайной тьмы, вокруг них очень долго выл ветер, и скоро они опять уйдут в этот холод и слякоть; скучно смотреть на них, лучше вернуться во второй этаж станции, лечь в постель и заснуть горячим сном. Но жаль, надо что-то писать, что-то считать и выдавать кондукторам разные бумажонки, которые никому не нужны. Потом что-то будут отмечать на вагонах, стучать снизу молоточком, ругаться; поезд будет дергаться вперед, назад, как будто бы бесцельно, но в конце концов все эти машинисты, кондуктора, черные смазчики с фонарями отцепят из середины два вагона с мукой и поставят у навесов.

Все сделали, но все же стоят; помощник спит, телеграф постучал сколько нужно и успокоился,— пора бы и ехать; дернули раз, другой, двинулись; ползут, едут. Перед стан-

цией пусто, ветру теперь свободней лететь в лоб на платформу. Влево вдаль ушла тяжелая змея, набитая хлебом, с красноглазым хвостом.

До рассвета санция спит; с ней говорят только ветры, что кружат над вихрастыми деревушками вокруг, над усадьбами, помещиками, мужицкими церквами. В трактире у Гаврилыча, тут же вблизи, жуют сено лошади, а постояльцы смрадно спят, клокоча горлом.

Иногда над горизонтом подымается пламя — пожар: мужики ли жгут помещика, сам ли помещик горит, или сами мужики? Пламя час и два и больше бьет кверху, но никто не слышит. Все щели, бугры и косогоры земли полны сна; ниоткуда не выгонишь ни лошади, ни человека; десятками верст идут поля, отъемы лесов, зеленя. Деревенский мир разлегся широко — и молчит в ночной час.

Но светлеет на востоке, начинается жизнь. Через овраги и вершины, где еще сумеречно и клочьями осталась ночь, со всех сторон ползут мужики, кто за чем. Выезжают к утреннему поезду, приходят за письмами с войны, узнать, что и как где; скоро ли «тронут» уезд. Везут от помещиков хлеб, молоко, и на дальних платформах идет суета. Платформы испачканы белыми мучными пятнами; люди тоже в муке: тут же телеги с мешками; и кули все таскают, таскают на людских спинах в товарные вагоны.

Мужиков набивается больше, полплатформы под ними; они стоят коричневые, в армяках и полушубках, сплошной стеной; многие с кнутами; у трактира масса их кривоногих лошаденок, похожих на репейник, в нелепой упряжи.

Поезд всегда опаздывает; он называется пассажирский, хотя для людей в нем всего три-четыре вагона, остальные товарные, для скотов и груза. Подходят вагоны; в них душно, кисло; сзади ночь нечистого дыханья, грязной одежды, икоты, сопенья. Едут тоже мужики, а во втором классе подрядчики, трактирщики и люди в поддевках, с золотыми кольцами на руках. Вот толстый человек с чемоданчиком; широко расставляет ноги, подошвы у него громадные, лицо в волосах; усы могучи, маленькие желтые глазки спокойны и сонны, как у медведя-муравьятника. Вероятно, медвежьи, ровные мысли ворочаются в шерстистой голове, желудок за обедом вбирает фунты тяжелой пищи, днем полагается жаркий сон. Неизвестно, не двинет ли он со станции прямо на четвереньках куда-нибудь к себе в берлогу, в глухом барсучьем овраге.

Мужики набрасываются — кого везти? Куда? Столько-то. Машут кнутами, от ветра шлепают на них воротники армяков; фуражка «помощника» плывет здесь и там красным пятном. Сзади кирпичная новостроенная станция, с большими окнами, и водокачка.

Перед праздниками поезд набит своими же, кто работает в городе; тогда на платформе много баб; встречают, целуются и парами бредут в ближние деревушки; это значит, будет днем гульба, будут бегать к Гаврилычу за водкой, петь песни, нехитро острить, галдеть, любить и ругаться; а вечером у того же Гаврилыча граммофон: люди закоптелых хибарок слушают смешной, важный хрип, оперу, Собинова. На улице пахнет канифасами и кумачами, бродят полупьяные гости в городских куртках и новых галошах, а лохматое, мшистое дедье слушает с завалинок. Семидесятилетние деды помнят, когда не было еще ни станций, ни жиденьких рельс, ни граммофона, ни Гаврилыча. Но их лица в складках сплошь заросли мочалой, серо-рыжими космами; они похожи на сухие грибы, что растут на истлевших деревьях; глаза у них слезящиеся и усталые, а сзади, за горбом, длинная жизнь, в хижинах, которые прохватывает насквозь ветер, с плетневыми навесами, курами, метелями и попами.

Справа и слева, по обеим сторонам полотна, вдали и вблизи расселись эти люди тесными селами, гнездами из нетолстого лесу и соломы; узенькие проселки сетью связывают их друг с другом — зимой и летом,— а весной большая вода бывает по оврагам; земля веселится и играет своими силами. Тогда ездить надо вплавь, и то, кто не боится.

Но железнодорожных это не касается: их поезда в бурные ночи, весной, так же тащут через мужицкие поля вагоны с хлебом; все хлеб и хлеб, с юга на север. Грузные поезда ползут среди простора, мимо людей и деревень, грохочут на мостах, блещут фонарями, пускают искры из паровозов, и один за другим катят дальше, вперед, на север.

А когда праздники кончаются, те же бабы идут провожать мужей, братьев в город, и тогда опять вся платформа полна деревней.

Нищий, старик, бродит и просит. Снимает шапку с лысой головы, бормочет, наполовину напевает что-то давнее, всероссийское. В нем длинные дороги, размокшие избенки, многолетняя жизнь. Он топчется у буфета, смотрит на селедку и грязные рюмки, ломтики ситного; за спиной у него

холщовый мешок; оттуда пахнет хлебом — деревенским, бабьим, как и палка его здешняя, обмозоленная грубой рукой.

Бабы сморкаются, кой-где плачут, подают старичку. Вдруг колокольчики у подъезда: барин. Тащут за ним чемоданы, пледы; помощник делает под козырек, сам «начальник» пробирается в первый класс, занимать разговорами.

Мужики тоже много говорят; их разговоры угрюмы; летом отдавали лошадей, а теперь подходит к людям: соседний уезд двинули уже; все чаще, чаще проходят поезда с людьми в товарных вагонах, с севера на юг и восток. Шинели выглядывают из полураздвинутых дверец, сидят на деревянных лавочках, временами хохочут, хлебают что-то, острят, орут песни. На платформе на них часто смотрят мужики в армяках, подпаски с кнутами, девки; хмурый коричневый народ молчаливо провожает их, и бабы кой-где всхлипывают. А поезд с человечьим телом недолго застаивается на станции, ему нужно дальше, надо дать место следующему — тот тоже с солдатами и солдатами.

Со станции люди бредут в разные стороны, бороздя лицо праматери, думая грузные думы; и потом, взворачивая сохами ее пласты для светлых яровых хлебов, они так же серьезны и важны, точно тысячеверстные просторы передали им свою силу. Упорные и спокойные, они затемняют на полях правильные куски — четырехугольные, узкие и квадратные, точно ломти чернейшего хлеба. Сзади ходят грачи, неизвестно откуда взявшиеся, дети и внуки тех, что бродили за отцами пахарей; как будто они знают друг друга, человек не пугает птицы, а она выбирает из земли червей, ненужную дрянь, благословляет его работу полетом черных крыльев.

Из деревень девки вывозят на поле навоз в колымажках; лошади идут шагом, как жуки; навоз дымится в весеннем воздухе, точно горячее кушанье, девки с измазанными ногами шагают рядом; разложив его кучками по полю, скачут назад, стоя в двуколках, как в боевых колесницах. И рядом с той землей, где пашут и раскладывают золотисто-коричневый навоз, вылезли уж полосы зеленей; они ждут тепла, чтобы наливаться, зреть, передвигаться в деревни; там они застрянут частью, подтапливая мужицкие тела, потом пойдут дальше, в хлеботорговый город неподалеку, и в красных вагонах медленно будут пробегать

среди родных полей, мимо знакомых «верхов» и широкораздольных речек.

Но уже мало одного хлеба; уже нужно на замену съеденных где-то человечьих тел, которые везут все по той же дороге,— новые. Опять отвечает земля, и по разным проселкам ползут подводы «в уезд», «в управу» — в неизвестное и темное место, где сортируют людей, обучают ходить, стрелять и убивать.

Мрак и тьма стоят над землей. Станция работает правильно, день за днем. Больше и больше проходит поездов с солдатами, часто из-за них приходится задерживать помещичье молоко или встречный хлеб. Товарные платформы заставлены вагонами с мукой, но остановить ток людей нельзя. И не раз теперь из вагонов выглядывают свои же, бородатые лица в темных шинелях, а на платформе бабий мир избывает свое горе и опять расходится по селам, разносит по домам скорбь.

Поезда же в назначенное и неназначенное время, с полупьяными людьми, дикими песнями, тяжелыми драками запасных, уходят в черноту ночи, выставляя сзади красный фонарь. В вагонах мужики-солдаты скоро засыпают. Тогда они совсем похожи на кули с мукой, что везут им навстречу. В бурном поле идут поезда; ветер хмуро играет придорожными рощами, носится над полями, отпевая черную русскую деревню. На глухих полустанках и разъездах ждут встречные с хлебом; обмениваются гудками, и каждый идет в свою сторону. Опять погружаются в ночь; опять отклики далей, гигантской, патлатой земли с уродливыми деревушками и запахом печеного хлеба. Великая страна опоясывает железный путь с обеих сторон; миллионы людей и десятин вокруг, тысячи сел.

На телеграфных столбах гудят проволоки: поезда бегут, семафоры зеленеют, вычерчивая полудуги. Дорога работает безостановочно.

1905

МИФ

В третьем часу дня Миша отворяет калитку молодого сада и входит. Прямо, справа, слева правильными рядами яблони. В золотистом воздухе они поникли ветвями и несут свой прозрачный, теплеющий груз, как молодые матери. Миша идет мимо них. На него веет глубокий воздух; в нем как бы светлое цветение, безмолвные, полуденные струи; точно все наполнено тихим дрожанием, и очень высоко в небе расплавляется солнце. Мишин пиджачок нагрелся на спине особенным, живоносным теплом.

Вот он у шалаша. Перед дверью сидит в валенках старый сторож Клим. Глаза его бледно-сини. В них отражается небо. И весь он, в белых портах, с высохшими руками, напоминает пустынножителя. Ветхими, усталыми ногами он встает и кланяется.

Миша идет впереди, Клим слабо ступает сзади и все время бормочет про себя что-то; восьмидесятилетние его мозги еле движутся на припеке и шевелят привычными мыслями: в прежние годы яблок бывало больше, много уродилось налива...

Миша прислонился к стволу яблони. Над ним ходят в легком ветерке ее листики, будто осенняя своей лаской. Прямо перед глазами прозрачно наливается яблоко; вот оно с краев просветлело, точно живительная сила размягчила его; и кажется, что скоро в этих любовных лучах сверху весь этот драгоценный плод истает, обратится в светлую стихию и уплывет — радостно, кверху, как солнечный призрак. Другие яблони густо тучнеют по дереву, через забор видна деревушка и вдали ржанище.

«Боже мой,— думает Миша,— хорошо лежать в чистом поле, при паутинках, в волнах ветра. Как он там тает, как чудесно растопить душу в свете и плакать, молиться.

Быть может, после полудня над жатвой пролетают наши ангелы, особые, таинственные русские ангелы».

В это время сзади, между деревьев, медленно движется Клим в белой рубахе. Сделав несколько шагов, он останавливается, переводит дух и тоже глядит на яблоки. Потом, добредя до шалаша, садится и длинно кряхтит. Миша возвращается, около огородов греются желтые дыни; они теплеют, струят сладкий запах, и над ними колышется ласковый зной. Калитка, щеколда — и тихий рай остался сзади — млеть и лучисто жить, вынашивая плоды. Отсюда видны только на низеньких деревцах сонно-желтеющие купы яблок, от которых гнутся книзу ветки; а Клим, взяв палку, опять встал и зачем-то смотрит высоко в небо, будто видит что-то или рассматривает солнце.

В поле перед Мишей лежат жнивья — в тишине, как золотистые покровы. Светящейся сеткой протянулись тоненькие паутинки, и в воздушном просторе, по полям, у перелесков разбросаны деревни. Над головой облачка; вдалеке беззвучные возы с овсяными снопами; они ползут едва заметно, как далекие жуки, а под ногой слабо ломаются слюдяно-золотые колосики. Дойдя до нетронутых крестцов, Миша ложится и слушает, как молчит горизонт в солнечном дыму.

На дороге фигура женщины; сразу он узнает ее — это жена, рыжевато-сияющая Лисичка. Издали он улыбается ее плавному телу на длинных ногах; она мягко ступает ими, потом весело подхватывает юбку и, как милый страус, полулетя, доносится к нему; вот она здесь — вихрь тканей, ласковое загорелое лицо и теплое, прозрачно-персиковое тело. Миша глядит на знакомую плывучую фигуру. «Какая большая и какая легкая!»

А она обнимает его и целует в лоб, блистая, со славным, солнечно-полевым и радостным запахом. Ему кажется, будто пахнули горячей воздушной волной.

— Нынче никого нет, все уехали! Мы одни, без хозяев!

Миша берет ее за талию; и, правда, ему кажется, что она может сейчас опять побежать, поплыть по воздуху...

— Мой дорогой, не торопитесь улетать!

Она тоже обнимает его, и они идут. Нет хозяев, людские пусты, только липы, напоенные летом и золотом, в молчании слушают что-то; далеко на горизонте ползут возы с поблескивающими снопами, сторож Клим все сидит и о чем-то думает в своем парадизе.

Миша с Лисичкой минуют старый пруд, в нем тепло зеленеет вода, и кажется, если уйти под поверхность, сразу опустишься в полусказочную тину.

За садом на скамеечке они садятся. Золотой приятель — солнце — смотрит прямо на них; он теперь ниже, и его лучи любовней. Лисичка снимает шляпу, и в рыжеватых ее волосах сразу зажигается сияние; оно охватывает голову волнистым кольцом и мягко обтекает по контурам тела, точно лаская его.

— Я устала! Я засну.

В глазах ее бегают те же чудесные световые зайчики. Миша кладет ее голову себе на колена, а она вытягивается во всю длину на скамье. Он щекочет ей лоб травинкой, и она смолкает.

Лисичка спокойно и невинно спит. Острое лицо ее тонет в свете, только на глаза Миша навел тень коленкой. И в этих ласково-воздушных поцелуях он видит все маленькие и жалкие пушинки на ее лице, что отливают теперь теплым золотом. Под ними ходит и играет кровью нежно-розовая кожица, как живодышащее существо; и мельчайшие родинки, поры, жилки пронизаны какой-то особой жизнью. Миша с любовью глядит на большое тело Лисички, и она кажется ему обаятельной, светло-солнечной рыбой, каких нет на самом деле; в ней должна быть сияющая влага и кораллово-розовая кровь, тоньше и легче настоящей.

Он снимает фуражку. Потоки света заливают его. Голова делается теплей, и все вокруг начинает течь в медленном движении. Миша улыбается. Оперев голову на руку, он неподвижно смотрит на тонкие паутинки, что одели сеткой скат и бегут к нему своими переливами. Это похоже на золотистый призрачный ковер, тянущийся откуда-то издалека, чуть не с неба.

«Хорошо идти по нему, неслышными шагами, взбираться выше, к тем облакам, плавным купам в небе».

Время идет.

Лисичка блаженно бормочет во сне и вдруг — тонкая, заспанная и прозрачная — вскакивает и глядит. Потом хватает его за руку, и, смеясь, сбегают они вниз по скату, к речке и, не останавливаясь, дальше, в березовую рощу.

— Я заспалась,— кричит Лисичка,— я ничего не понимаю! Как пьяная! Миша, смотри, свет, свет, я пьяна светом!

И она дышит лицом к солнцу, и Миша видит, что она, правда, слегка обезумела, но он рад, он сам задыхается в странном, дивном блеске. Вот он падает под белую березу, как под нежно-зеленое успокоение. А Лисичка кружит вокруг, будто в легком танце.

— Ну, будет, пойдем, нынче я счастлива, я хочу поцеловать солнце...

И они идут рощей в горку. Сквозь тихие березовые стволы видно озеро бледно-зеленой майолики. Потом белые березы чаще, чаще, только они одни вокруг, и спокойная, глубокая ясность как-то просветляет мозг.

— Когда я думаю о христианах,— говорит Миша,— мне всегда представляется вот такой успокоенно-белеющий хор... Какие милые березки.

Лисичка слушает, кивает, и теперь он видит, что и ее осенила эта тишина, и она уже не кажется ему стихийной танцовщицей.

— Конечно, правда, милый,— она кладет ему на плечо голову, как приветливый жеребенок,— правда, даже я както благочестивей сейчас... Ну, не смейся... я не знаю, как сказать... все равно, я глупая...

Она вспыхивает тем же пенно-розовым румянцем и в смущении мнет ромашку.

— Нет, дорогой,— Миша целует ее в лоб,— ты не глупый и ты прав. Здесь в самом деле целомудренное место. И мы с тобой уже не дети. Вот мы сейчас выйдем на опушку, оттуда будет видна наша страна, священная, гигантская наша страна. Чувствуешь ли ты ее?

Действительно, они выходят к краю рощи. Здесь довольно высокое взгорье, канава, и к ней тесным строем подходят березы.

За березами клонится книзу солнце. Миша с Лисичкой садятся на опушке, у края канавки.

— Теперь, должно быть, уже шесть. Как светло в небе!

— Вон голуби вьются тучей над поповскими ометами! Гляди, Миша, как они сверкают... как-то переливаются в воздухе! Милые птицы!

Пока Лисичка радостно захлебывается, солнце наводит свой свет на церковь в лощине, внизу, и окно горит ослепительным зеркалом.

— Как будто какие-то волны в небе... прямо зеленоватый хрусталь. Необычайный вечер!

Они молчат. Далеко по склонам и перелогам видны поля в радужной дымке; окно церкви сияет, как в алмаз-

ном венце; смиренные деревушки, распростершись под небом, льют кверху влажные и благовонные столбы-гимны.

— Иногда со мной бывает,— говорит Миша,— как сейчас вот, что я ясно чувствую, как все мы, живя, мысля, работая, как тот мужичонко... вон, пашет под озимое, что все мы вместе плывем, знаешь, как солнечная система. Куда? Бог знает, но к какой-то более сложной и просветленной жизни. Все мы переход, и мужики, и работники, и человечество теперешнее... И то, будущее, мне представляется вроде голубиного сиянья, облачка вечернего. Ведь люди непременно станут светоноснее, легче... усложненней... и мало будут похожи на теперешних людей. И теперь это есть в них, но мало, искорками.

— Миша,— робко говорит Лисичка,— ты рассказываешь будто про ангельскую жизнь...

— Во-первых, ангелу вовсе не так трудно пролететь вон по той лазури. Во-вторых, людям незачем становиться бесплотными духами,— наоборот, они будут одеты роскошным, плывучим и нежным телом... такое тело, Лисичка, и портиться-то не может. Оно будет как-то мягко кипеть, пениться и вместо смерти таять, а может, и таять не будет, и умирать не будет.

Они молчат. Лисичка с любовью смотрит на Мишу, на голубей и солнце, и все ее золотисто-рыжеватое существо вдруг поникло в особенной нежности, точно поддалось музыке.

Вечером они возвращаются в пустую усадьбу. Лисичка утомлена, но легко опирается на Мишин локоть.

— Нынешний день я никогда не забуду: никогда раньше я не видала такого света, как сегодня! Бывают солнечные дни, а вот этот... золотой! Милый, золотой день! Милый день!

И ночью она рано, по-детски, засыпает. Миша же долго читает, долго ходит, и смутные мысли владеют им. Перед рассветом он ложится. Но сон нейдет, только возрастает тишина и звонкость утра. Наконец, в светлом волнении, он приоткрывает глаза и сквозь окна видит фон бледного золота, на котором чернеют ракиты. Роса затуманила траву, и к шалашу плетется Клим, как старый, белый утренний петел.

Больше нельзя выдержать. Он одевается, приоткрывает дверь, чтобы не разбудить Лисичку, и садится на велосипед. Странно. Ноги сами бегут, шины чуть-чуть шуршат и задумчиво несут куда-то. Как легко и как быстро! Он

вольно дышит и выносится в поле, опять в жнивье. Вот он и простор, и мир. Золотой бог невысоко стоит на небе, а Миша скользит по земле неслышной птицей.

Он пьянеет. Дорога идет под гору, вдали деревни припали к земле, озеро тумана разлеглось по лугам, где вчера была соседская усадьба, и дымно-золотистый воздух кружит голову: спицы слились в сверкающий круг, дышать все легче, и огненный диск растет, разливается, заполняет небо, влечет к себе.

Через час Миша медленно въезжает во двор, с летящим и светлым сердцем; этот отрывок времени он пробыл будто во сне, в солнечном безумии, и теперь ему кажется, что если б он вошел в темную комнату, она осветилась бы.

Он проводит шиной по росе темную ленту и вплывает во флигель. На пороге еще раз оглядывается назад, потом входит. В его комнате мирно спит Лисичка; она как бы в облаке сна и ласки; под одеялом чувствуется тихо пышущее тело, в розоватом дыму. Две боковые косицы слабо поблескивают, и во всю длину темени, между ними идет белый, жалобный пробор. Миша улыбается.

— Пеннорожденная!

Тоненькую ногу, высунувшуюся слегка, ласкают лучи из окна. На ней слабые жилки, и вся она приветливая и прозрачная.

Притыкино, 1906

ЧЕРНЫЕ ВЕТРЫ

I

Холодно, слякоть. От дождя все встемнело. На площади стальные лужи, и сумерки кружат, веют темной птицей. На вокзальной площади кольцо мясных лавок. В них висят свежие туши, рубят мясники, и кое-где огромные подвешенные рыбы — как жирные плавни. Посреди площади, у водокачки, сбились кучей ломовики — громадные, в белой муке; красные глаза у них сверкают.

— А-а, сволочь! Мы им покажем!

Поездов с вокзала нет, товарные склады безмолвствуют. Ломовики свирепо кричат. Их лошади грызутся, дыбятся, и по временам возчики жестоко бьют их кнутовищами в морды; и все эти белые гиганты, железный грохот телег, кулаки, драные одежды и распухшие веки — все сливается в одних злобных, земляных духов.

— Только сунься, мы им покажем! Только пусть попробуют!

Приказчики из мясных склабятся и сучат рукава. Мрачная кровяная туча стелется по земле, ползет, как тяжелый пар. Элеваторы на путях железно отблескивают.

Вдруг из-за станции движется что-то; глухо чернеющей лентой тянутся рабочие; поют, вверх летят шапки; эта горячая волна ближе, ближе.

— Идут, идут, не зевай!

Черный поток все виднее. Ломовики бурлят; наскоро выламывают слеги, появилось дубье, бегут приказчики. Взметывают батоги, и как орда скифских зверей рушатся они на противников. Тусклый ветер кружит над площадью, сумрак реет; мучные вихрастые волны злей; точно огнен-

ная буря охватила всех, гигантская масса воет, бьет, кромсает; тело хляскает, бьют по живому, рвут. Лошади мечутся, телеги грохочут.

— Узнали, как бунтовать?! Узнали?! Узнали?!

Красная мгла застилает глаза. Хочется бить друг друга, бьют своих, себя. Уже черных забастовщиков нет, как раздавленные муравьи сгинули они куда-то, и теперь ломовые бьют союзников. Мясные трещат, стекла выскакивают, засверкали длинные ножи — около освежеванных туш.

— Разбой! Помогите!

Казаки — сухой вихрь. Узкие поджарые лошаденки вонзают седоков, как стрелы, в глубь свалки; снова хлест, нагайки, свист.

II

Прошло полчаса — никого нет. Дождик сечет голую заплаканную площадь. На ней клочья крови, сбитые шапки, и по углам таится горячее страдание: боль изувеченных скул, расквашенные носы, глаза, зубы. В свисте ветра кричат черные вороны, предвещая мрак; фонари жалки, и все лавки угрюмо заперлись. Тяжелый, тучный и сытный город лежит вокруг; по тихим улицам рядами дома купцов и лабазников — хлеботорговцев, булочников, бакалеев. Ставни заперты, захлопнуты щеколды, и изнутри, со дворов, лают собаки. Близок час сна; пелена жирного сопенья охватывает эти углы; перед тем как отойти к постелям, отягчавшая от денег, пеньки, бочек мысль ворочается в головах; волосатые тела накаляются изнутри жаром съеденного за день; кулебяки, гусь с капустой переходят в темно-пламенные желания, и перед ночным отдыхом волна наслаждений закипает в этих домах, где пахнет снедью, лампадками и накопителями-предками.

— А здорово нынче наши ребята этим сукиным детям показали!

— Вот бы студентов еще, да этих шлюх стриженых!

Подымается злоба. Вспоминают убытки, застой в делах; и беспощадное, громоздкое выходит из самых дальних углов, помрачая умы.

— Я молодцам накажу; ежели у лабаза увидят стриженую — без разговоров, тащи сюда!

А потом мозги мутнеют, и тяжкий сон погружает всех в одну безвестную хлябь. Спят собаки, лошади в

теплых конюшнях жуют овес, и в глубине их тел идет свое невидное, смутное бытие. Что-то медвежье раскинуло свои лапы и пыхтит, храпит, клокочет в разбросанных людях. Кажется, что в этой ночной хмурой жизни в спящих тварях вновь сгущается тьма, злоба, тяжесть.

III

Грязное и туманное утро: праздник. В городе звонят в церквах, и туда идет темный народ. У часовен, икон шныряют монахи, с амвонов попы читают проповеди. А на улицах сплошной грохот — плетутся допотопные пролетки, провозят в рыдванах иконы; стоят дюжие дворники, воняют нечистоты дворов, мутнеют трактиры, хлюпает грязь под ногой — кипит тяжеловесное тело, всероссийская сыть. Над гигантским становищем людей, как облако, клубятся их желания, мысли; и где-то глубоко в душах начинает зудеть новое, неприятное, без чего жили же отцы десятки лет.

Железные дороги не работают; подорожала снедь, и нет подвоза водки. Прежняя жизнь, косолапая и развалистая, глухо рычит в подпольях; оттуда оскаливаются ее зубы.

— Они восстают на святую нашу церковь, намерены православие изъять, храмы осквернить и замышляют свергнуть Богоданного Государя! Анафема им! Изводите их, православные, где можете!

Православные молчат; их тугие мысли тихо движутся под бычьими черепами. Кучера в черных чуйках с маслянистыми волосами отирают пот, заплывшие их глазки кровянеют, и что-то глухое закипает внутри.

— Все студенты!

И через час у выхода с остервенением бьют человека в синей фуражке. Избив, разбредаются по домам; но все те же едкие думы плавают над сердцами: кто намутил?

И старые камни домов, мокнущие под дождем, стены и башни древних укреплений ничего не отвечают, они затянуты плесенью, их повил плющ; но мысли купцов, лабазников, мясников все же льнут к ним, как к стариннейшим знаменам. Вот проходит час обеда; головы тяжелеют, мутно-пьяная волна затопляет тела; кровь старых скифов горит в красноносых кучерах со стрижеными затылками; кулаки сжимаются, и посоловелые глазки кого-то ищут. Темными кучами бредут они к давнему Кремлю,

на углы больших улиц и площадей; как будто черная сила обкладывает город. Пешеходы робче, женщины прячутся, а черные горящие пятна растут. Точно гигантское тело народа выгнало ядовитую сыпь, темную, злую болезнь.

— Лови их, держи, бей!

Черные отряды липнут друг к другу, как стаи мух; в косом, мглистом дождичке вечера набрасываются жаркими оравами на одиночных, подминают, храпят и, как мерзкие цепы, молотят кулаками по живому. Сумрак все ниже; он дает хлюпающую пелену; в ней едва желтеют фонари в слезах дождя. А банды черняков скопляются, бродят, рыщут. В бурной тьме ветров их швыряет из улицы в улицу; они ломят стекла, двери жилья; их бросает в глубь домов, и, как мрачные волны, топят они жизнь в стонах, боли, муке.

В это время на старых колокольнях города ревут ветры, и мощные колокола гудят; они гудят страшным полуночным воем, как трубы бед. В дальнем мраке полыхают зарева, медный гул катит в воздухе на могучих колесницах; и в четырех концах города и дальше над великой страной встают четыре грозно-пламенных факела, четыре дикие жертвенника, где горят люди, девушки, дети.

— Да будет!

Высоко в черной тьме лицо Скорбной Матери; Старой Матери, что безмолвно точит слезы над великим страдалищем. Буря и тьма бунтуют вокруг, вихри кричат железными и звериными голосами, мрак клубится; над вспененной рекой, на железно-сетчатом мосту засели небольшие черти и визгливо голосят; потом камнями падают вниз, с резким стрекотом мчатся над водой быстрее куропаток и захлебываются в кровавых наслаждениях.

IV

Утром, в хмури рассвета, на площади у вокзала снова копошатся: ломовые поят лошадей. Облака цепляются за шпили, в воздухе пар и мгла; и, как дикие предутренние существа, ржут лошади; их страшный рык идет из хлябей облаков, земли, тысячепудовых складов. В жилистых руках натянулись вожжи, битюгов дергают, рвут, они хрипят и грызут удила в окровавленной пене. Подхватывают, дыбят и с резким грохотом мчат по мостовой.

Вот их укротили; снова шагом, вокруг пустые улицы. Пробуждается избитый город, кровоточа раной в сердце; ветер рвется в разбитые окна; валяются трупы изнасилованных; тлеют сожженные кварталы. Но телеги ломовых гремят о булыжник, они держат путь к лабазам; и, как белые машущие тени, шагают возчики рядом с косматыми лошадьми. По временам свирепый битюг косит окровавленным глазом на мучнистого хозяина, и ему отвечает сверлящий взор и сбоку кнут. Сверху, снизу наползает муть.

1906

ЗАВТРА!

Миша выходит на площадь. Вдруг он ощущает странный, зрительно-душевный удар. Вдали, у водокачки, где раньше стояли ломовики, темнеет что-то; оно как будто и стоит, но шевелится, и в нем есть своя жизнь и свое биенье — точно горячий, черный, живой ком.

«Толпа!» — и по его телу остро и пламенно бегут струйки, а в груди стучит. Правда, это толпа. На тротуарах стоят кучками, бульвар уходит в вечернюю хмурь, и тонкими темнеющими змейками подбавляются новые чуйки, поддевки. Миша подходит и тоже становится. И тотчас то жгучее, что испытал он на другом краю площади, хватает его, будто душу затопила их волна, а мозг облили дурманом.

— Что они такое говорят там?

Но разобрать трудно. Над толпой торчит фигура и летят звуки. Мрачное море глухо гудит где-то вокруг, вглуби, будто под мясом и черепами кипит тяжелая динамитная работа; Мише кажется, что едут груженые обозы и идет корчевка старых пней. И это невидимо-ощутимое распаляет и калит его самого. Сопят, пыхтят, и пахнет черноземом, скифской силой — потом хлопанье, крик, и говоривший слез. Долго не расходятся еще, разбившись на группы и угрюмо темнея засаленными блузами, картузами. Потом медленно разбредаются. Миша тоже идет — с опьяненным и клокочущим сердцем. Нюхая воздух, он чует дрожь и огромный занесенный размах: точно над этим гигантским, грязным и диким городом остановилось что-то, ждет, и вот-вот рухнет сухим грохотом.

Взволнованным шагом проходит он по нешумной улице к своему любимцу-музею. Меркнет. Хмурые предвечерние струи обтекают здание, и его голова-купол с колон-

ками спокойно и надменно вздымается над кипами книг. Миша с любовью, но мимоходом, взглядывает на этого мудрого великана — ноги бегут мимо, а глаза все ждут, когда зажелтеют вечерние фонари. Но их все нет. «Ага, отлично, нынче будет тьма, и, может быть, все немножко рехнутся». И эта веселая, стихийная мысль покоряет его, он шагает быстрее и насвистывает. Кажется, что и все вообще ускоряют шаг, потому что одно, общее гонит всех. Улицы, дома насупливаются и мрачнеют, где-то вдали громыхает,— вот все ближе и ближе, грохот растет, и кажется, что скачут какие-то шальные батареи; и действительно, из-за угла вылетает галопом обоз фур, платформ; орет над ушами и гинет в полутьме, как железно-каменный поезд. Людей же все больше, и их потоки гуще, сдавленней. Странное чувство заливает Мишу; у него все меньше ног, точно эти ночные волны подмывают его и несут. А в глухом кипении вокруг растет власть, могучий, взметающий шторм.

«Если б была стена, меня хватило б об нее, и я с радостью размозжился бы и отдал себя». И глаза тянут вверх, точно оттуда кто-то строгим и точным компасом направляет движения людей.

«Завтра не будет воды»,— слышится сбоку, и на перекрестке у водоразборной будки бросается в глаза кучка женщин с ведрами; они тащут, гнутся, охают; ждут светопреставления; человеческие водопады все ревут, тьма густеет. Миша окунается в длинную узкую улицу; здесь еще круче от людских тел, это какая-то сумрачная сумятица. Огромные зеркала в стенах зияют без огней, только кое-где в булочных сальный огарок и вереницы жаждущих хлеба, боящихся, торопливых.

«Черная кишка»,— радостно мелькает в Мишином мозгу. И в этом есть сладкое униженье для нее — столько всегда роскоши, электричества! Волокут деревянные щиты, трусливо, с болью закрывают ими дорогие стекла и витрины; а темный, новый ветер, вливаясь Бог знает откуда, ходит на раздолье и несет свой запах, микробов огня, и рождает бунтовские волны.

Миша поводит носом: «Нынче весь наш город поливают с неба серной кислотой, и мы дымимся, начинаем затлевать... Глубоко, изнутри. Нас прожигает до костей». И сам он, на ходу, обдает встречных пылающими токами. А *их* мысли, как по телеграфу, отзываются где-то глубоко в нем.

Последний аспидный гигант — улица кончена. Он сворачивает. Это бульвар — длинная прямая стрела. Холоднеет. Опять ветер, но здесь пустынно. Свиваются воронками листья по земле, шире пошушар неба; ни огонька.

«Когда все ошалеют, здесь будут устраиваться сборища. Да. Люди устанут от квартир, от затхлости, буден, им захочется общего... Какие будут толпы... Погодите, выйдет еще из берегов! Хлестнет!»

Вдруг бульвар кончается, его пересекает снова улица. Здесь уже много черней, здесь бегут в одну сторону, неясной, торопливой рекой. Почти нос с носом Миша сталкивается с товарищем.

— Идем!

Он поворачивается и идет. Впереди мелькают две барышни, и рядом с ними человек, которого он знает близко; но теперь чьи-то сумные тени то и дело заслоняют и туманят его.

— Будут нас гнать?

— Должно быть, будут. Может, будут стрелять.

«Стрелять»,— Миша внутренно, холодно улыбается. «Зачем все это? И для чего я иду на какой-то митинг? И почему в тех двух барышень впереди будут стрелять?» Но мысли тонут и так и остаются законно недосказанными. А в ногах как-то весело и по-чужому легко.

Вот все они вместе ныряют под ворота в черный корпус. Отблескивают факелы, льются струи людей, и кажется, что в этом огромном, старинном здании легко заблудиться и сгинуть в разных залах, лабораториях, переходах. По лестницам тусклые свечи и полосы бурлящего, молодого тела: папахи, курсистские шапочки, синие блузы, взбодренный говор; а сзади за ними большие, машущие тени от стеаринового пламени. Миша, студент, барышни, сидят в крутом амфитеатре, и со всех сторон нахохлились сотни спин, кудлатых лиц, как одно тяжкое существо; его головы наклоняются друг к другу, гудят. Внизу, с трибуны, начинается речь; нельзя сказать, *кто именно* говорит,— *кто-то.* Две свечи бросают тени рук на боковые и задние стеы. Это похоже на крылья уродливой птицы. А в аудитории по временам проносится огненный вихрь: бьют в ладоши, кричат.

Миша сходит во двор. Здесь толпа давит еще сильней; он пробирается к средине; в отсветах костров торчит что-то, и над ним машет руками кучка людей. Красные знамена шуршат и роятся, как тихие морские волны.

«Может быть, на нас нападут сейчас — но если и не нападут, то все равно, наверно, большинство погибнет в борьбе, к которой мы готовимся. Клянемся же умирать смело. Время подходит. Завтра все будут на улице! Завтра не будет работ, завтра не будни, а праздник, новый праздник народа. Кто за него, кто любит свободу больше, чем жизнь,— сюда, к нам! Здесь мы наклоняем знамена, и пусть тут будет дана братская клятва!»

Сразу с двух сторон расступается человеческое море; бурный клич охватывает его; и тесной волной, как к великому жертвеннику, плещут люди к узкому проходу под знамена; знамена спокойны, и мрачны, в кроваво-красном молчании принимают они моления народа; и только пурпур алее переливает под светом факелов, освещая пламенным крылом проходящих внизу. А им, в чьих сердцах клокочет туман, эти огненные орлы кажутся строгой и несмываемой печатью. Миша захлебывается. «Боже мой! Боже мой!» И покорно, радостно он отдает себя волне людей.

— Завтра! — слышится справа.— Завтра! — говорят впереди, сбоку, жмут руки, и кажется, что завтра старые дома, улицы, люди, жизнь, сдвинется с места и пойдет в новом, невероятном хороводе...

Случайно, в какой-то взмывшей к воротам группе, он оказывается наружи. В ушах вращающийся шум и стон, всюду черные улицы. Они как будто колышутся от сплошных людских масс; или это тронулся огромный черный корабль и везет с собой здание, Мишу, людей?

Безразлично, куда идти, все равно — идет не он, а *они*, *оно*, и мыслит гигантское раскаленное *оно*. «Завтра? Да, вероятно, завтра улицы пролягут иначе... Невозможно? Нет, очень возможно, и даже, пожалуй, иначе не может быть».

Ноги сами бредут. Вот из тьмы выныривает площадь, потом здание — прежде это была Дума! Из окон снопы света, и, как повсюду, туда льют и выливают люди. По-видимому, весь город вышел из своих нор, на площади горят костры, произносят речи. Из глаз сыплются искры, и метеоры прорезывают ночь.

Так идут часы. Лава бурлит, блещет, но горла устают, утихают души, и со словами «завтра» люди понемногу разбредаются. Миша приходит в себя. Давно уж потерял он товарища и барышень, все это уплыло, и теперь надо к дому. Медленно он блуждает, курит; минуты текут.

Тише и тише. Вот он сидит на бульваре и слушает. Океан смутно дышит. Шуршат волны, но уже темное успокоение простирает свои крылья. А ночь все слышнее. Она струит и прядет влажные сумрачные кружева; ветерок сонно вспархивает. Это все засыпают; кончился Первый день.

Миша встает и тихонько бредет по панели. «Теперь мы похожи на огромный, трепетный шатер, раскинутый под небом».

В глубоком молчании он подымается к себе наверх, в пятый этаж. Вспыхнула спичка — два часа. Отворив дверь, он выходит на балкон. Вот он, неизвестный, горячий, мудрый город! Великий бунтарь, костер, вихрь, огонь и мощь. Что дано ему? Что будет завтра?

Миша всматривается. Здесь же, внизу, в редком летучем мраке лежат эти разгадки — Миша смотрит, слушает, стараясь разобрать чью-то поступь. Но взор никнет, и лишь какие-то пламенные круги перед глазами, и колеблются людские хляби.

«Ты, великий дух, ты месишь, квасишь, бурлишь и взрываешь, ты потрясаешь землю и рушишь города, рушишь власти, гнет, боль,— я молюсь тебе. Что бы ни было завтра, я приветствую тебя, Завтра!» Миша снимает шляпу и низко кланяется.

1906

3 Заказ 262

ИЗ КНИГИ «ПОЛКОВНИК РОЗОВ»

ПОЛКОВНИК РОЗОВ

Наконец-то свернули с шоссе, город остался за рекой, колеса тележки сразу въехали в землю,— теплую, чуть пыльную. Вот он и ветер — в лицо пышет, под ним так чудесно лететь вперед, все вперед, к милому Розову. «Ходу, ходу, Скромная! Наддай!»

Кучеренок Петька и сам не дурак: струной натянул вожжи, сидит, как влитой. Скромную выпустил полным ходом,— еще немного, и собьется на скок — но это уже позор: хороший кучер не допустит.

Куда уж наддавать! И так летим, клубим пыль за собой, целует нас ветер, пахнет вольными полями, березняком откуда-то и роскошно — пылью и дегтем. «Джон, тубо! Не ярись, Джон, тубо!» Джона удержать, пожалуй, потрудней, чем Петьку со Скромной,— а у Петьки глаза горят. Джон, в сущности, даже и не *он*, а сучка сеттер, но огневая, и сейчас, когда ее бросает в тележке от быстрого хода, она вся танцует и мызгает,— я знаю, чего ей хочется: сжаться комком,— и потом вылететь стремглав наискось, а может, и вперед мимо Скромной и ну-ну-у, молнией по полям, кругами, зигзагами, или волчком,— должно быть, все-таки мой Джон немножко сумасшедший, но это ничего, я одобряю, даже жаль, у самого нет сейчас этих четырех упругих лап.

Нет, удержать нет возможности,— гоп! Только этого и ждала. Теперь до самого полковника не посадишь, обносится по всем овсам, ржам, а к охоте устанет и будет плестись с высунутым языком. Знаем мы эту собачью породу. Мой друг Брец, кузнечный мастер, мохнатый охотник, говорил про Джона: «Ну разве же можно такую же собаку держать! Ведь ее же нужно орясиной!»

Он прав, конечно, но только тогда и нас с ним временами тоже надо орясиной.

«Шагом, кобылу загонишь, шагом!» — Петьке бы до самых Будаков марш-маршем. Положим, если плестись трухом, нынешнюю зорю и пропустишь, а с другой стороны — Господь с ними, с этими тетеревами, пускай клюют ягодки, нам и без них хорошо. Вот Ока с левого бока легла вольным зеркальным телом, как величавая молодка. И от ней ветер уже не тот — древний, спокойный, великий ветер. Хорошо ей лежать в вечерней солнечной славе, с вековым бором на той стороне, с духом воли и радости, с белыми рыболовами, песнями плотогонов.

Интересно, как застану полковника: прошлый раз сидел над сажалкой, ловил карасей. Так он мне как-то запомнился: в отставной военной тужурке, в туфлях, недалеко от своей избы. Впрочем, скоро уж и Будаки: вот Егорьевское, там Степанов Камень.

Други мои унялись несколько: Петька все же боится со Степанова Камня пускать во весь дух, можно и шею свернуть, да и Скромная обошлась. Едем солидно, «как большие».

«Эй-эй, ягодка малинка, берегись, верное оглохла?» — Петька избоченился, две молодухи шарахнулись в стороны, а он молодцом мигнул вправо, влево загорелым их лицам: знай наших!

Полковник сидел на крыльце на корточках у самовара и дул: свет блистал в самоваре и обдавал волной розовую со сна щеку с седыми волосами,— вдруг подкатили мы, и Джон с размаху перепрыгнул через все — понесся по деревне, взметывая пыль, а Скромная остановилась.

«Душка — вы?» — и я уже охвачен милейшим Розовым, мы целуемся, предо мной щетинка его усов, зеленый кант тужурки — военно-мирно-лесной, и давно знаемые выцветшие глазки — из самых мирнейших. «Ах, полковник, полковник, дай вам Бог, голубчик, не стареете!» — «Эге-с, это, знаете ли, от тихой жизни. Я тут, как жужелица, прозябаю, вот как-с. Доживете до моих годов, также удалитесь в Монрепо».

Это правда, полковник процветает тихо. Много лет живет здесь, снимает избу, сад разводит, охотится, с мужиками дружит, лечит, возится с ребятами, и когда на

деревне бывают драки, он один унимает все. Хорошо забраться к нему, пожить, помечтать, посмотреть и послушать в полях, в лесах, на рассветах.

И снова все мы — даже Скромная, кажется, чуем, что здесь нам вольно дышать, что тут мы любим солнце золотеющее, вербы, тишину, полковника.

«Ради Бога, полковник, чай на улице!» — «Конечно, конечно». Розов хлопочет, он радостно взволнован — не хочется ударить лицом в грязь, у него тоже ведь все есть, и мед, и варенье. С горячим чаем мы едим мед — белый, пьяный, он кристально капает с ложки, и там, в кружевных сотах он так бессмертно чист. «У меня нынче ульев четыре, вот посмотрите». Воображаю его в сетке, как он возится там с пчелами своими! Картина, должно быть.

«И заметьте себе — всегда так: чаю не дадут допить пострелы!» Что же, каждому свое: полковнику чай пить хочется, а тут уж заявилась депутация «голопузых» от семи до десяти годов: «Змея, дяденька, обещались сделать», «Барин, барин, дай булочки!» Маленькие рыльца в светлых волосенках выглядывают из-за решетки палисадника: надо дать. Еще эта братия любит сахар: так и грызут, как белочки.

Пускать змеев с трещотками — это дивно, я нахожу. «Погодите, многоуважаемые, видите, полковник чай пьет. Нельзя же старенького так каждую минуту теребить. Допьет — пойдем». Но вот полковник допил, перевернул большую свою чашку с золотыми звездами вверх дном — «Не отстанут-с теперь, обещал!».

Знаю я эту его длинную фигуру, и высокие сапоги, и куртку со штрипкой, и ветхие очки. Разумеется, вокруг нас скачут собаки, ребята прыскают, один даже на руках прошелся в экстазе, а «дяденька» посмеивается себе и идет, не торопясь, со змеем в руках,— кажется, встреться сейчас стадо бизонов или диких ослов — так же бы спокойно, с улыбкой старческих глаз прошел он среди них. «Тут, изволите ли видеть, бугорчик есть, мы оттуда чаще пускаем». На бугорчике мы сидим — тс-с, смирно, детвора, полковник скрестил ноги, как турка, и внимательно чинит, приделывает хвост к змею. А заводить должен я — «Голубчик, у вас ноги порезвей, ублаготворите шельмецов!». О, да, да, ублаготворить, превосходно! Солнце на закате, поля клеверов — и кашкой веет и еще чем-то — не липы ли цветут, или это снова соты,— а главное,

воздушное какое-то вино пьянит, ох как опьяняет, хочется мчаться по ветру, в дивном забвении, дальше, дальше, в эти страны благорастворения. Ну, ясно, змей взвивается,— как ему не взвиваться, когда здесь по земле я скачу 30 узлов в минуту, когда сзади летит детвора оравой, мой Джон ошалел от простора и от сальто-мортале, даже тяжеловес Бисмарк полковника пустился марш-маршем; а главное — как ему не лететь, когда сам бы я улетел с ним в восторге вон хоть к тем небесным бродягам, до каких он, пожалуй, и доберется. Вперед, все вперед, и ветру, пожалуйста, ярости и ветру.

Так мы бесимся и носимся у бугорка, на котором полковник — как он заливается тихим своим смехом! Змей ушел уже высоко в облака, теперь его держат сами ребята, а с другими мы просто стрекаем в догонялки, и только солнце с прежней любовью льет на нас прелесть, да змей над нами парит. Здесь внизу был мочальный, смешной, а теперь брат синевы, потрескивает в высоте, пощелкивает — подумаешь, орлиный клекот, голос себе приобрел какой-то.

Ох, силы больше нет, невмоготу,— приляжем у полковника, полежим, поглазеем на небо, поболтаем. «Душенька, а выводки? Избегаетесь в лоск, что на завтра останется?»

«Вы еще Бисмарка нынче показать обещались, ваше превосходительство!»

Полковник отирает со лба пот, и вид у него слегка неуверенный; потом вдруг улыбка засвечивает на лице. «А я, собственно, и не полковник, всего-то капитан-с! Так уж, человек вы хороший, вам можно сказать: все меня «полковник», «полковник» — а я просто капитан в отставке». Хитрый полковник, чрезвычайно хитрый, сколько времени меня морочил! А я-то думаю — вон с кем знаком — с настоящим полковником.

«С Бисмарком пройтись можно, он дубоват несколько, но работник честнейший».

Полковник вынимает маленькую табакерку, красный платок, и запускает в свои многовековые ноздри щепотку яду — чих, чих, это глаз омывает, лучше видишь, и голова светлей.

А уж ребята наши разбежались по домам, солнце село в тучку, смеркаться будет, облака взгромоздились темными клубами, и стало тише: июльский сумрак с перепелами, жаркий. Вот звездочки проглянули из-за мохнатых туч —

не задавили бы их эти медведи. И пьяно заструило над полями ночными запахами, перепела не унимаются.

Полковник хвастает своим Бисмарком: кобелище четырехугольный, пойнтер, а вымуштрован здорово.

Верхним чутьем, дрожа, тянет он по овсу к притулившемуся перепелу, и мы замираем, только овес чуть шуршит. «Ту-убо!» Но магическая сила заворожила его. Можно делать и говорить что угодно, он будет мертво дрожать, собачье его сердце бьет, о, чует, знает своего невидимого врага, вон там, за десятком колосьев, он приник к меже... Тр-р-р... мягкий, ровный лет. Бисмарк валится на землю, ждет выстрела. Мы не стреляем. Мы смотрим, как легко и вольно уносится милая птица в июльскую мглу, вытягивая ровную прямую над овсами. «Как повел! Вы замечаете? Шельмец высокой пробы!»

Бисмарк виновато мызгает — что же, он сдал экзамен чудесно, стыдиться нечего — но собаки вообще стыдливы; когда их хвалишь, всегда краснеют.

Ночь уже, стемнело. Мы собираемся ужинать. «Душенька, редиску очень любите?» — «Конечно, прекрасная вещь».— «Покажу вам парник». Полковник загадочно улыбается. В садике его, у беседки, играют в шашки при садовых подсвечниках гости: Орефий Сильвестрович — Орешка попросту, приказчик из имения, и сыровар Бирге. «Я этих идолищ с собой не возьму-с, вам покажу, а им нет: вообразите, Бирге этот, слон, тетьего дня всей своей ступищей на мои настурции!»

Мы с Розовым потихоньку — на огород; вот под парниковой рамой, при свете фонаря — редиски; они молодые, сидят в теплой земле, все распаренные слегка и нежно-розовые. Полковник осторожно выдергивает с десяток, я упиваюсь их запахом и запахом парной земли на кореньях — а высоко над нами уже высыпали звезды, ночными легионами. И все от земли до неба тихо, очень тепло, только наверху там слабо реет золотая их слава. Даже странно подумать: от нас, от убогой избенки полковника, этих бедных редисок, Бирге и Орешки вверх идет бездонное; точно некто тихий и великий стоит над нами, наполняя все собой и повелевая ходом дальних звезд.

Орешка, кажется, обдует сыровара. Очень уж он ловок; похож с лица на Гоголя, но постоянно потеет, и жировая

его сущность струится по лбу после каждого стакана чая. Весело и вкусно сидеть плутоватым глазенкам на такой сочной ниве. А Бирге сосет сигару — «Regalia capustissima»[1] — полковник утверждает, что это все на капусте,— сосет и поддается хитрому Орешке. Очень уже хитроумен Орешка, хихикает себе: «Ки-хи-хи-хи, вот когда я служил у князя Курцевича... вот князь Курцевич...» — «Пф-ф-ф! Пф-ф-ф! Вы видели когда-нибудь сэлэный пэс? Нет, вы никогда не видели сэлэный пэс?»

Что уж там насчет зеленых псов, плохо ваше дело, герр Бирге, маслянистый Орешка вас объедет, он уж объезжает вас, забирает вашу армию, в дамки лезет. «Хе-с! Хе-с, это как у князя Курцевича, быстрота, натиск». Орешка залился рассыпчатым смешком, лицо сияет блином, на носу выступили капельки, как Божья роса, и он от восторга сейчас обратится в жирный ком и покатится мелким бесом, вприпрыжечку.

Ужинаем мы тут же, на том самом столе, где была битва. Редиска полковничья с маслом — восторг; он изжарил еще «клетцечки» — он говорит «крючечки» и потчует с видом старого кухонного маэстро. Орешка усасывает творог; Бирге взгрустнул что-то, видно, о проигрыше затосковал.

«Вы, хороший мой, куражу не теряйте: этот Орешка без мыла между балясинами пролезает, его на том свете, хе-хе, как клетцечки поджаривать будут». А в самом деле, идея: поджарить Орешку на чертовом огоньке, воображаю, что за славный сок он даст. «Им, вообще, иностранцам, против нас здесь трудно: языка не знают, словно в лесу дремучем, сердяги». И полковник рассказал, как еще в гимназии немец объяснял им залоги: «Волк ел коза — действительный, коза ел волк — страдательный».

Мы веселимся. От бутылочки портеру Бирге тоже прояснился и задымил с тройной силой. Далеко на деревне пели песни, взвизгивали временами — это мой Петька не дает спуску девкам, а мы отхлебываем темной влаги с сыром, смеемся, дышим. Но, как и раньше, бархатный шатер над нами, девичьи взоры звезд,— и так странно: хохочешь над толстым сыроваром, его лысиной, и вдруг поднимаешь глаза выше,— и увидишь его звезду; стоит над ним, как над полковником, Орешкой, мною; его

---

[1] «Царственная капустнейшая» *(лат.)*.— ироническое переосмысление названия сорта сигар.

сыроварская звезда, не стесняясь тем, что, может быть, он совсем и не знает, что такое залог. Ее тонкие лучики отсвечивают в его лысине, а другие обтекают все филистерское тело, брюхо,— но ничего, не стыдятся.

«Полковник, голубчик, завтрашних тетеревов опять прозеваем, будет вам яриться, право».— «И нам-с пора, и нам-с, ки-хи... еще много завтра дел...» Орешка надевает широкополую шляпу, бандитскую: «Нам-с еще нужно бы тут на деревню пройтись — ки-хи-хи, тут у вас вечером относительно прекрасного полу превесело бывает-с. Вы как находите, господин Бирге?» У Бирге только живот поколыхивается от смеху: «А вы думаэте, нас не побьют?»

Ну, с Улиссом, как Орешка, хоть куда можно. Мы же с полковником долго еще сидим, курим, ведем разговоры. Понемногу все смолкает на селе: разбрелись визжавшие девки, Петька мой лазает где-то за плетнем в коноплях, а над всем мягко льет сумрак, ночь млеет.

«Шлафен»,— говорит полковник. Спать, так спать. Розов сам возится, приготовляет,— а спать все же в его комнате трудно: жара. Висят ятаганы, винчестеры, блохи скачут эскадронами, и там, на большом турецком диване, белеется сам полковник, и краснеет его папироска. Заснул, наконец — теперь можно и улизнуть. Начинает сереть небо, звезды побледнели, это час белых утренних духов, туманов, птиц небесных.

Хорошо — устроиться на телеге с сеном; сено щекочет, но пахнет, и в темноте навеса близко жует теплая лошадиная морда. «Вот тебе раз! Было сено, а вдруг теперь человек»,— морда фыркает, и на своем лбу я чувствую ее встряхивающиеся губы. Тихо, тихо; почивайте, полковник, Петька, Бирге, Орешка, Джон и Скромная,— я послушаю раннее утро, подышу запахом сена, погляжу, как вечные куры гомозятся на насесте — подремлю сам, может быть, в прохладе утренника.

Мы спим. Но что такое? Вот открываю глаза, и во все щели струями свет, свет! Скорей на воздух, не упустить минуты, за сарай, к саду. Оттуда тянет огненный бриз, точно шелковые одежды веют в ушах, и, кажется, сейчас побежишь навстречу, и пронижут всего, беспредельно, эти ласкающие лучи; волосы заструятся по ветру назад, как от светлого, плывучего тока. О, солнце, утро!

Полковник мой спит еще, розовый отблеск покоится на сухоньких его чертах, вся изба поседела от росы — и так хочется припасть к этому старому старикану, поцеловать его в лоб, как отца,— жаль будить: стареньким и спать-то только под утро.

В семь часов мы готовы. В беседке Розов «сервирует» чай, мы наливаем с густейшими сливками, вокруг повилика обняла тонкими кольцами решетку, и высоко в небе чешуятся облачка: баранчики. Это уж скромный, трезвый день. Полковник умыт, нас ждут собаки и тетерева. Хорошо ли я спал? Отлично. Философствуем слегка. «Вас, полковник, в генералы бы должны произвести. Признавайтесь, очень ведь свирепый?» — «Ду-шка, война вздор; самое лучшее в войне — домой ворочаться и пенсии ждать. Наилучшее-с». Ну Пальмерстон! Я-то думал, десятка три турков на своем веку укокошил.

А потом, когда выступаем в поход, полковник даже похож на Следопыта: «длинноствольная винтовка» какая-то. Я тоже с ружьем, но на сердце у меня весело и несерьезно до последней степени: не похоже что-то дело на тетеревов, совершенно не похоже. И проспали слегка, да и солнце, дай Бог ему здоровья, растопило воздух: пышущие волны плавают над полем, как напоены они глубочайшим, шелковым духом, ароматами, нагретым сеном, вóлей! Джон с Бисмарком давно друзья: в овсах только хребты их выныривают — носятся, как сумасшедшие.

«Тут, батенька, в этой курпажине выводкам быть да быть: замечаете, линяли, помет, а земляничка плоха?»

Правда, мы бредем уж струящимся в ветре березняком. Здесь в ранней тиши утра тайными тропами бродили все эти славные тетеревята за своей мамашей, и глупый черныш «монах» сидел где-нибудь в кусте и тарахтел, чуфыкал, раздувая красные брови. Только — было, да сплыло. Теперь жарко, все в чаще,— а потом, Джон! Джон безумный! «Джон, куда тебя черти носят? Джон, анафема!» Но Джон в солнечном трансе,— вместо того чтобы чинно разнюхивать тетеревиные следы, носится, как угорелый — тр-р-р, тр-р-р — ну, конечно, поразгонял в чаще всех косачей, цыплят, мамаш. Надо б тебя орясиной, как Брец советовал, да уж видно твое счастье — самому разве побегать, высунув язык, в этих кустах, берез-

ках, огненном аромате? Нынешний воздух ведь это «ром неба». Нехитро и человеку ошалеть.

А у полковника через плечо фляга — понимаю, в чем дело,— это «огненная вода». Слушайте, Розов, невозможно все же на охоте ни разу не выстрелить?

Ах, глупо несколько, но хорошо, как хорошо, забежать вглубь, в лес, и палить — раз, раз, так, на воздух, с добрыми намереньями, в честь неба, солнца, полковника, Джона!

«Голубушка, вы того... насчет головы у вас как? Не очень нагрело?» Следопыт думает, что я рехнулся, говоря короче,— нет, я могу еще посображать. Например, с удовольствием выпью «воды жизни», позавтракаю с полковником здесь, в лесу, в тени раскидистого баобаба, даже Джона покормлю чем-нибудь. А потом солнце перейдет меридиан, полковник разомлеет, я уложу его вздремнуть, буду улыбаться неизвестно чему, Бог знает о чем мечтать, чего никогда не будет,— и отмахивать веточкой мух от полковничьего лица.

Все-таки — надо домой. Свечерело, и тележка моя подана, у крыльца. «Прощайте, дорогой, крепко, крепко вас целую. Дай вам Бог».— «Нельзя-с, провожу вас пять минут» — это полковник сел на козлы, прямо с земли шагнул длиннейшими своими ногами — корабль наш поплыл. Как мы устали, у всех кружатся немного головы — это от деревенского вина — неба и воздуха. Но приятно ехать с чуть затуманенной головой, полтора десятка верст мимо зелени, в нивах, большаками.

«Вот-с, с горы осторожней, а за сим Господь с вами. Спасибо, не забыли старика». И снова поцелуй, и потом сразу мы катим под гору, а полковник сверху машет, похожий на высокий четырехугольный крест или на Соколиного Глаза. Прощайте, прощайте, Соколиный Глаз — привет вам за волю, за сердце чистое — привет!

Он тонет в зеленеющем небе. Мы же катим. Мы едем с пустыми руками, все наши тетери мирно дремлют сейчас под кустами, мы неудачники,— но это ничего: Джон ласково жмется, и зеленые поля раздвигаются пред нами великими покровами, и небо несет свой купол без конца, без конца — все они сводят нам в души глубокий мир. О, шуми, шуми, ветер, говори о просторах, дальних звездах, радости. Прощайте, полковник, привет!

1907

МОЛОДЫЕ

Глашка подхватила Горбатого за ногу, вправила за постромку и тронула борону сильным, ровным ходом. Борона зашуршала, из-под нее задымилась сентябрьская свежая земля и полетели комья. Сзади пошла бархатная полоса, атласистая, влажная. Но Глашке интереснее вперед, чем назад. Вон там, у дубовой рощи, где кончается господское поле, двинулся навстречу с бороной Гаврила. С самого раннего утра нынче, еще как алела заря за барской усадьбой и чернели в ней поредевшие березы, вышли они с Гаврилой на это поле и не покладают рук. Идти по чернозему тяжко, Глашуха запыхалась, но все же весело,— молодое, могучее, что залегло в ее пышущем теле, гонит вперед, к этой середине, где они встретятся: верно, у Гаврилы что-нибудь развяжется в упряжке, а, может, и у ней самой, а то просто взглянуть друг на друга — тут и разговора не надо, само понятно.

— Но, любезные, не плошай!

У Гаврилы кони здоровей — Старый Молодой и Рыжка; вон он как прет, за ним не ускородишься, из-под зубьев дым коромыслом.

— Эй, ты, тетеха, заснешь еще!

Но карий его глаз ласков, сразу Глашка узнает в нем свое, милое, неотразимое, отчего замлевает по ночам ее девичье сердце.

— Пры-ыткий, леший!

Но уже его и нет; волна мужественности, жути и радости проплыла, снова они расходятся в разные стороны,— она к дубам, он к дороге, взрывая за собой бархатные пелены. Так они ходят взад-вперед часами, кружат,

тянут один за другим, вздирая непокорную землю, чтобы легче и теплей было расти в ней семенам. И когда Гаврилина борозда заворачивает, Глашкины лошади сами знают — им тоже заворачивать, и самое Глашку несет вперед, все вперед к нему та же сладкая волна: как легок, пахуч чернозем под упругой ногой! Теплый день выдался, слабо-солнечный, тихий, с глубоким вольным духом; усадьба там где-то за рощей, никого не видать кругом — можно и приостановиться на минутку. Да и лошади так ловко стали — закрывают своими мягкими тушами.

— Гы-ы!

Солнце, внутренняя прелесть распустила их рожи в улыбку, молодой жар захватил, а Гаврилины глаза близко-близко, весь он тут, сильный, молодой ярила.

— А, попалась птица!

Где же тут уйти, да и куда уйдешь от дорогих темных губ,— только замрешь вся, бормочешь, а он целует, целует, и лошади смирно стоят — ждут, пофыркивают, да пахнет земля, солнце теплеет из-за облачков.

— Измял всю, идол, насилу вырвалась!

Но глаза пьяно блистают, и легкой рысью гонит Глашка лошадей, она побежала б, помчалась с ними в светлом скоку, да тяжко беднягам с боронами, да и полдни скоро, надо в усадьбу. Вон как солнышко уже высоко.

И в усадьбе, пока выпрягают лошадей, зубоскалят с работниками, обедают в людской — все то же сияющее сливает их вместе, и хоть Гаврила ушел в барский дом за рюмкой водки, все же он тут, совсем близко — куда он может деться? Пусть они там смеются: «Глашка заневестилась» — мало ли чего брешут, ей не до того. Вот вышла из избы, и солнышко тепло обдало всю до последней косточки,— даже сладкая дрожь прошла, и вдруг стало ужасно важно, точно вся полна чего-то самого большого,— двинулась медленно, чтобы не расплескать. Выезжать еще не скоро, можно прилечь вон там, под ракитой, отдохнуть с поденщицами. Гомон, хохот. Пляшут, веселятся,— но она устала, сладкая жмурь пробегает по телу, хочется улыбнуться — милому дню, Гавриле, девкам,— и знаешь, что сейчас утонешь в пылающем темном сне. А Гаврила бегает, хлопочет: огромный, молодой, он похож в свои двадцать лет на ивовый побег — несуразный и длинный, еще зелено-сочный. Вдруг не туда пошлют скородить? Глашка разлеглась, толстая, знать ничего не знает, а если с ней пошлют Митрофана? Петушок маленький да бой-

кий — Гавриле тогда прямо зарез. Лысый Иннихов, управляющий, смотрит на него строго:

— Баловать будете, знаю я вас!

Где там баловать, выскородят все за милую душу — вон до обеда как скородили, пусть бы посмотрел...

Ну, все-таки можно, ух, слава Богу,— Гаврила мчится к конюшне, взметнул по дороге ногами, как косолапый молодой кобель,— надо часок еще отдохнуть.

После сна выходят на работу розовые, томные; сразу даже не очень поймешь, куда идти, что делать; но уж сами собой улыбаются друг другу, где ж сдержать счастье? Повернули бороны вверх зубьями — снова туда же, на милую пашню, где и утром были. Вокруг даже лучше: солнце совсем вышло из облачков, день смирный, золотой, и по пашне на прощанье гуляют грачи. Какие они старые — с седыми носами! Важные, роют, приподымают головы, чтобы взглянуть на Глашку с Гаврилой; все видят, понимают.

А те опять за свое. Опять кружат вслед за боронами, вслед друг за другом, точно связанные светлой силой, и густо загорелые Глашкины щеки рдеют вишней. Но стало быть, так уж дано — и стыдно и сладко — в светло-огненном тумане попирает она своей девичьей ногой землю.

«Опять лысый...» — правда, из усадебной рощи на низком иноходце, в шляпе — Иннихов. Едет плавно, как на стуле сидит. Ну что ж, они скородят — как скородят. Вот до вечера осталось, все нынче кончат. Что, взял? Выкусил? Думал, так и поймаешь? Не на таких напал.

Глашка тихо трясется от хохота. Гаврила кажет вдогонку дули. Лысый хрен! Поди, тоже с Глашкой бы пройтись не прочь.

Так она и подпустит. Дурак этот Гаврюха, тоже. Одно дело с ним целоваться, другое Иннихов. Придумал!

— Кати, кати, любезный, и одни управимся.

В самом деле, разве трудно скородить?

Подведут лошадей к опушке рощи,— там овраг, и если соскочить с Глашкой два-три шага вниз, то не только Иннихов, сам Господь Бог ничего не увидит. Да, конечно, целуются не считая, но пойдет ли она за него? Это всего важней; мало ли с кем он не возился на покосе, но тут серьезней...

— А, Глашуха, пойдешь? Пойдешь?

И Глашуха снова вспыхивает и тонет в смущении,

потупляет милые свои глаза и в стыде «обымает» Гаврюшкину шею: его она, его, что тут говорить, она прячет кумачное лицо на его груди, твердой, сухой, с запахом цигарки и мужчины.

— Как папанька скажет...

Но уж где там папанька. Понятно — он ей муж, только он, дорогой, косолапый Гаврюха. Все равно ни за кого другого не пойдет, хоть ты тут убей. Разве не ждала давно этого, разве не мечтала,— по-деревенски, по-девичьи, возвращаясь с поденной домой в Копенки, распевая песни в праздник, в церкви в воскресенье? О, девичье сердце, молодая душа,— закрутись, взыграй, взмой на великое свое счастье и радость...

Так обручились они друг дружке в светлый осенний день, при ласковом солнце, в двух шагах от пашни, в роще. И назад вышли спокойнее, уже гораздо важнее — молодой четой. Больше не козловали, не мяли друг друга и споро ходили до заката за боронами, попирая пашню-сваху. Только издали глядели друг на друга карим, любовным взором, да мечтали, как будут жить, любить.

Когда же закраснело солнце, подошло к черте и осенний вздох прошел над полями,— они съехались у дороги, повернули бороны вверх зубьями и тронулись. Гавря ловко подхватил Глашуху, дорогую свою невесту, на руки,— взбросил на Рыжку. Она оправилась, села боком, и шажком, чуть дымя пылью, они тронулись.

Сизело и багровело над полем; каждый шаг уводит их от пашни. Заскорожено все мягко и глубоко, даже Иннихов одобрил бы; но и пашня, и скородьба, поцелуи — все сзади, лошади шагают вперед, в неизвестное, в жизнь — жены, матери, мужа.

Гаврила прислонился головой к Глашкиной ноге, шагает медленно, в такт Рыжке; Глашуха гладит его по голове, и так тихонько они двигаются: будто ввозит он свое сокровище в священный город.

1907

СЕСТРА

Когда мы с Машей после ужина сошли с балкона, нас охватила сразу такая тьма, что, казалось, мы не найдем дороги к флигелю. Было уже поздно, в усадьбе спали; вблизи деревня тоже дремала, и только березы на канаве ровно шумели — тихим, беспредельным шумом.

Около флигеля пришлось лезть за спичками; вспыхнуло, осветилось Машино лицо, и вся ее фигурка, так давно любимая, маленькая и усталая.

«Помнишь этот флигель? Тут мы спали, когда были ребятами, и все он так же стоит».

Да, конечно, я помню. И эту Машу, что тогда была девочкой, а теперь у ней самой девочка — тоже помню.

«Я не хочу еще спать. Только Танечку пойду гляну, а потом выйду к тебе и пройдемся. Ничего, что темная такая ночь?»

Маша ушла, а я дожидаюсь ее. Она права; надо нам пройтись, поговорить, побыть вдвоем; уже три года не видались, много за это время воды ушло. А с ней мы старые друзья: жили вместе детьми, вместе дрались и ревели, потом учились вместе, и когда приходилось расставаться, все же чувствовал, что откуда-то издали идет на твою жизнь ласковый ветерок — любви и дружбы.

«Спит моя сердешная, только волосенки растрепались. Слава Богу, не хворает давно, это такая ведь мука».

Я беру Машу под руку. Ничего, что темно, пройдем до большой дороги, вот у меня палка с набалдашником, я буду рыцарем этой маленькой женщины.

Мы идем по усадьбе: направо людские — белеют стены, ночник светится в окошке — отдыхают от дня работы рабочие люди; молочная, где вечерами гудит сепаратор, и скотный двор; все давно знакомое, давно привычное; и одинаково все стелет безбрежная ночь.

Здесь когда-то мы встречали Костю. Он тогда был студентом, сидел в тюрьме за беспорядки, и мы с красными флагами бежали по этому полю от молочной. Как тогда чувствовалось! «Маша, помнишь, к горлу подступали слезы, кажется — вот едет герой, и мы тоже герои, бежим по этому клеверу как-то необычайно, сердце рвется к великому. Хороша молодость!»

Маша молчит.

«Хороша, но *была*... Знаешь, брат, все это было. А время себе идет... и ничего не остается от наших с тобой слез, и чувств... благородств».

Мы попираем ногами ту же дорогу, где не раз выходил так же поздно в великий храм полей к ночи: молча бредешь тогда, ни о чем не думая, лишь касаясь того непонятного и темного, что стоит перед тобой в молчании; в усталой душе что-то родимо приникает к нему, как к вечной праматери. А сейчас ночь почти жаркая: это июль, и вдали стали крестцы ржей, а вот тут, рядом, копны клевера: сладкий и томный дух идет от них.

«Что же, Маша, это правда; как там ни говори, как себя ни обманывай — мы стареем; ничего не поделаешь; так, перевалило за какой-то бугорок дороги чуть заметный, и дорожка книзу: книзу, книзу, и ничем ты ее не воротишь».

«А про что же я и говорю? Помнишь, жили мы, когда учились? Разве такие были! Господи, как это все было давно! Катались на катке — с гимназистами, гимназистками... Я была влюблена. Помнишь, был такой велосипедист отчаянный в гимназии? А ты в актрису влюбился и даже не был знаком».

Мы смеемся, и в нашем смехе есть что-то трогающее нас самих и сжимающее сердце: никогда, никогда не увидеть уж и не полюбить этого курносого гимназиста-сердцееда, и самый этот город стал другим, в нем живут другие люди и другие актеры и актрисы играют; а той уже нет, или если есть, так теперь покажется она обыкновенной, скучной барыней.

«А я, брат, кроме того, просто очень устала в жизни... очень, очень...— Маша смолкает, и в ее голосе я чувствую щемление горла — точно сейчас брызнут у ней из глаз слезы.— Я за последнее время столько намучилась, столько наплакалась — кажется, дом можно выстроить на этих огорчениях».

Да, это так и было, разумеется; хотя мы и не видались,

но когда любишь, трудно не угадать: и давно я угадывал, как сестре туго.

«Брат, ничего, что я ною, может, это тебя расстраивает? — Но тут же Маша видит, что это неправда; и она продолжает. Много рассказывает она мне о своей жизни этого времени, о провинции, городе, где работает. О крахе своего сердца, одиночестве и беззащитности; о пропажи личной жизни.— Знаешь, все, что есть лучшего в существовании для такой, как я — ну, хоть женщины, все это сзади; а и есть оно, по правде говоря, одно: любовь. Мне ее уже не знать, никогда мне не жить и не любить, кого еще любила,— а вот, буду только работать, работать на девочку, да прошлое вспоминать».

Эти ее слова осаждаются в сердце тяжелым туманом. Разве это она? И так ли, так ли должно было все это сложиться?

Тяжко, больно и серо.

Мы доходим, наконец, до дороги. Не хочется идти назад, лучше бы посидеть, послушать эту ночь вдвоем, передумать свои думы. На крестце овса мы расположились довольно удобно: я верхом, Маша в стороне, протянувшись во весь рост.

«Вот ты мне и скажи: так, родились мы с тобой, жили сестрой и братом и любили друг друга, и люди мы ничего себе; а, однако,— главным образом страдаем... и умрем, над нами все будет такая же ночь, да могила еще сверху. Как ты думаешь, к чему все это? Так себе, зря или не зря?»

Ах, сестра, сестра,— она мне попадает в самое больное место: да, к чему все это? И ее печаль, и скорбная жизнь, данная ей, и смерть, и наша беспомощность?

Она смотрит на меня и ждет. Я ведь должен сказать что-нибудь. Но молчу, сижу — какие слова я могу сказать?

«Как, и ты не знаешь? Слушай, брат, неужели и ты живешь так же, тоже и ты в потемках... и ничего, ничего?..»

Голос Маши срывается и трепещет, вдруг вся она приникает ко мне в дрожи и беззащитности, и сквозь острые слезы бормочет: «Брат, брат, неужели же ничего? неужели и ты?» Я молчу, целую ее лоб, и едкие слезы стоят в моем сердце: слезы и упадка и гибели.

Так мы сидим, придавленные и тихие, как два полевых сурка, прикорнув друг к другу; полог ночи над нами, как прежде, густ, безмерен; вся наша усадьба, дорога, совсем сгинули в нем. И пока мы раздумываем, поле по-своему живет, в нем стоят его звуки, Бог знает откуда взявшиеся,— тихонько иной раз налетает на нас ветер; то полынный, то — далекий и тонкий — ржами. Вот шуршит что-то на меже, все быстрее, быстрей: чей-то ровный, сильный скок. В пятидесяти шагах от нас остановился; тихо, неприятно. Мы тоже не двигаемся, глаза стараются прорезать тьму, бьется сердце, и точно что-то пустое, напряженное появилось между ним и нами. Кто он? Что ему надо? Волк, собака? Неизвестно — снова прыжок, снова тот же ровный, прямой галоп. И через две минуты так же непонятно и бесследно исчез этот странный путник, как и явился.

«Пойдем,— говорит Маша,— темно»... Я опираюсь на палку, мы шагаем. «Что это было, как ты думаешь?» — «Собака бездомная, верно». Маша молчит. И хотя мы наверное знаем, что была или собака, или лиса, волк, и ничего в этом нет особенного — все же тяжкая тень легла на сердце, и не хочется думать, говорить. Вот мы пойдем к усадьбе, и тот же мрак будет окутывать ее, как и нас; старится все в ней, ветшает, дряхлеет; в такую ночь, верно, сама смерть тихо разгуливает по нашим службам и старым «личардам», и около тети Агнии она гуляет и вся тянется дать ей свою чашу: темную чашу гибели.

«Брат, скоро светает?» Вынимаю часы, освещаю папироской. Да, теперь скоро. Но пока еще на небе грузно и хмуро, березы поют свою тьму, и в усадьбе лают собаки: не вор ли? Или та, приблудная?

Мы ускоряем шаги.

Совсем уже около дома стал крапать дождь. Как-то затихло все, чуть посветлело, помутнело предрассветным туманом, и когда мы подошли к флигелю, на березах висели светлые капельки, а дождик уже перестал. Снова, и по-другому теперь, тянуло рожью — влажным и нежным запахом, и стало так слабо и звонко в воздухе, что, кажется, скажи «а», и кто-то, как живой, отзовется из-за речки за усадьбой: «а-а»...— точно протянет свирель.

Спать еще не хочется; пускай сестра ушла во флигель,

и перед глазами последний раз мелькнуло похолодалое лицо, бледное в полусумраке утра, с потемневшими губами — можно еще посидеть на скамеечке у ее окна. Старый Полкан, огромный, похожий на побуревшего медведя, подошел и сел рядом: мы сидим с ним, как два нахохленных ночных сторожа, перед этим флигелем, усадьбой, утром. Стало быть, все мы погибнем. И он, и я, и сестра Маша, и старая тетя Агния — в этот тихий утренний час это кажется ясным особой, прочно покойной ясностью. Да будет. Нам дано жить в тоске и скорби, но дано и быть твердыми — с честью и мужеством пронести свой дух сквозь эту юдоль, неугасимым пламенем — и со спокойною печалью умереть, отойти в обитель ясности. Это непреложно, и это дает сердцу мир и твердость. И тишина теперь, не есть ли и она отображение той вечной тишины, что ждет нас?

Боже, Боже, пусть будет всегда так в нашем усталом сердце.

«Мне не спится все, да и душно тут». Окно остается открытым. В нем белеет слабый контур сестры. «Знаешь, брат, я никак заснуть не могла. Господи, я смотрела на девочку на свою и такую я к ней любовь чувствовала... слушай — это ничего, что нам плохо, право это ничего... я не знаю, я не умею говорить, но когда раскроется так сердце... знаешь, я вдруг такую любовь к ней и жалость почувствовала — ну, пусть, пусть мы умрем все, но мы так любили, так любили»...

Может быть, сестра и заплачет сейчас, но уже не теми слезами, и я чувствую это тоже проясневшей душой — вдруг из детской слабенький писк. И через минуту Маша снова выходит — с Танечкой. «Гулька ты моя, беленькая моя Гулька, что пищишь? Гулечка ты моя».— Она целует детку в лоб, в щечку, а этот маленький человек понимает, тянется к ней лапками, «обымает» за шею.

«Ах, брат, если бы ты знал, что это за чувство...» — Она не договаривает. Да, конечно, так. Я ничего не отвечаю; но долго смотрим мы друг на друга и читаем друг в друге нечто; а потом она свешивает из окна белую руку, и я целую ее в ладонь. Она встает, закрывает окно, и еще мгновение вижу я сквозь стекло ее облегченный, как бы просветлевший и одухотворенный образ. Снова все

тихо. Начинает светать. Роса задымилась по траве. Полкан задремал. Отойдя к открытому скату усадьбы, я негромко кричу «а-у-у!». И с той стороны кто-то тоже негромко, протяжно-таинственно отвечает: «а-у-у!»

1907

ГОСТЬ

I

Надвигалась осень — седыми туманами. Вечером у пруда было сыро, краснели осиннички и старые вязы по аллее забагровели. На зорях к пруду прилетал огромный коршун и садился на березе: засыпал, и дремал в прозрачных сумерках, вырезаясь грудастым профилем.

Николаю Гаврилычу нравилось читать по вечерам у пруда; как всегда, и нынче он полулежал под яблоней, у спуска, с французской книгой: о философе Филоне.

Это было хорошо; в голове глубоко, ясно, и хрустальные мысли, как предвечное божество гностиков. Когда глядел он в воду,— плавное зеркало,— там рождалось то же спокойствие и звучность,— казалось, пруд холоден как кристалл, и даже в красном закатном небе и стоне дальней выпи виделось то высшее и мудрое безмерно, в чем плыл его мозг.

И он, отложив книгу, встал.

— Жизнь или смерть,— думал он,— это все равно. Не это важно.

Что же важно, он не отвечал; может быть, не знал слов, а быть может, и нельзя было словами сказать; но одно он чувствовал наверное: радость и холод наджизненного, светло-ключевого. Нетленного бытия, процветающего на высотах.

В это время из дома аллеей бежал к нему босоногий Климушка, мальчишка с кухни. Николай Гаврилыч заметил его только в последний момент, когда он подбежал, с белым своим коком, слегка запыхавшись, и крикнул:

— Ужинать пожалуйте! А еще — приехали!

Николай Гаврилыч поднял книгу.

— Кто?

— Господин становой!

II

Николай Гаврилыч подымался в горку к дому по темной аллее; в ногах листья шуршали, в просвете стволов блестел пруд. А на балконе ждал молодой человек в полицейской тужурке; переминался с ноги на ногу и видимо стеснялся.

— Извините, пожалуйста,— говорил он,— я вас побеспокоил. Может быть, можно у вас где-нибудь переночевать. Изволите ли видеть, я был тут в волости по делу, а до дому верст тридцать, лошадь устала.

— Что же, пожалуйста.

Внутренне Николай Гаврилыч усмехнулся: будет ужинать со становым! Этого еще недоставало.

Становому показали где умыться, он покорно умылся и опять вышел на балкон. Николаю Гаврилычу бросилось в глаза, что он не на тройке с бубенцами, не крякает по-становойски и не крутит усов. И стало опять как-то внутреннее грустно-смешно; вспомнилось, как в детстве он боялся попов, и когда они приходили с молебнами, то прятался.

— Трудная-с наша служба,— говорил становой.— Поверите ли, сколько дней по деревням трясусь, даже домой захотелось. И лошадку угонял.

Закат гас. Он разлился последним, обольщающим пурпуром и бросал красноватый отсвет на все. Скоро должны были посыпаться звезды. Становой скромно сидел на стуле, потирая руки; по временам говорил кой-что, и Николай Гаврилыч старался быть вежливым; между прочим узнал, что становым он полгода, а раньше был писцом, в канцелярии губернатора.

— Вам нравится вечер нынешний? — спросил Николай Гаврилыч.— Правда, хорошо?

— Да-с, замечательная природа, и такой легкий воздух...— Он смутился, замолчал. Николай же Гаврилыч пыхал папироской, дымил, глядел на закат, на осенний вечер; его мысли шли далеко. Красная тьма сгущалась, в доме зажгли огонь, и они со становым медленно тонули в ночи и так же чувствовали себя странно и неловко друг к другу.

Между тем был уже готов ужин; снова Климушка подтвердил это, и они перешли в столовую.

— Водки вам угодно?

Становой поблагодарил. Николай Гаврилыч налил себе и ему и выпил. Становой глотал остро, как усталый человек, и перекатывал молодым кадыком. Выпили еще. Николаю Гаврилычу вдруг показалось, что можно пить много и долго, чтобы все стало другим, ни на что не похожим и жутким; но становой размяк быстро и отогрелся. «Пьян,— подумал Николай Гаврилыч с неодобрением,— верно, пьет по праздникам». И он хмурился; темное нечто вставало и подливало к сердцу; малые глазенки станового указывали на жену-становиху, становят сопливых, кур, гусей, которых жертвуют им, бедную смрадную жизнь в грязи и гадости. Правитель канцелярии брал взятки; подыгрывая и либеральничая слегка, рассказывал становой, как платят губернаторскому чиновнику все становые, все урядники, исправники, все пустые сошки — и там за его рассказами вставало беспощадное. В туманном мозгу Николая Гаврилыча вдруг глянул Филон, с тоской и щемлением; глянул и уплыл, а становой не́ уходил: рассказывал теперь про «земского», продававшего свою рожь в управу по двойной цене; про то, как сам он голодал, бывши писцом, и что и теперь сам выгребает навоз из конюшни, где лошадь стоит,— «по честности, потому стражников своих не имею права употреблять на свои надобности; а они курят цигарки-с и посмеиваются, как я работаю».

— Много вы людей секли за это время? — спросил вдруг Николай Гаврилыч. И сразу побледнел.

— Нет, никого.

Что-то задергалось в лице у него, он сказал:

— Вы думаете, все полицейские звери?

Николай Гаврилыч посмотрел с тяжелой улыбкой; оскорбительная улыбка заливала его лицо; нужно бы было противиться — он не мог.

— А вы вот скажите, если бы волнения аграрные были, вы бы ведь секли?

Становой опустил глаза и покраснел густо. Он это чувствовал, и на молодом его лице, не привыкшем еще к гнусности, было отчаянье. Глухо он сказал:

— Наша служба трудна. еще тем, что многие нас не уважают. Особенно образованные.

Николай Гаврилыч захохотал.

— Будете еще драть!

III

После ужина становой с Николаем Гаврилычем вышли в сад — дорогой к флигелю. И сразу же хлынула на них ночь: черная, с золотыми сонмами — звезды. Они пылали, пылали, сквозь холод осени, и сразу соскочила хмурь и гадость с Николая Гаврилыча. Стало ясно внутри и скорбно-покойно. «О, судья!» — думал он на себя и улыбался — улыбкой тоски и самопонимания.

Становой плелся сзади; он шел враскоряку, как кавалерист; и их шаги одиноко звучали во тьме, да краснел вдали костер сторожа яблочного; иногда он палил из своей пищали «навыпуг», тогда огненная ракета рвалась среди яблонь и гулко гудело в воздухе, будто кто-то раскусил антоновское яблоко.

— Не сердитесь на меня за мои слова,— сказал Николай Гаврилыч,— это я нездоров и говорю злые вещи. Ваше положение трудное, но все же не думайте, что я дурного мнения лично о вас.

— Покорно благодарим... Много обязаны.

— Бросьте, право, не сердитесь!

Становой вздохнул; подошли к флигелю. Николай Гаврилыч зажег спичку, лампу в своей комнате и сел; напротив — становой — побледневший чуть и усталый; звенящая пустота была во всем — в пустынном флигеле, комнате с металлической сеткой от мух в окнах, в усадьбе и междузвездных степях; одинокий вид имели в этот час стены; книги на полках как бы подернулись печалью — или тонкой пылью? — и смотрели на вошедших, как казалось, строго.

— Можно у вас взять что-нибудь почитать?

— Можно.

Становой поглядел, перебрал несколько, потом отложил и сел: не нашел себе что надо.

— Так что вы все науки знаете?

Николаю Гаврилычу вдруг стало стыдно. Слегка даже он покраснел.

— Нет, что там, какие науки... Читаю от нечего делать...

Становой посвистел. Вид у него был такой, что, мол, не верю.

— Господа студенты всегда книжки читают, а потом нам в глаза тычут нашим необразованием и народ с толку

сбивают. А между прочим, если бы сами столько работали...

«Работали, работали»...— повторял про себя Николай Гаврилыч. Теперь ему было все равно: и становой, и обиды, и сам он, и все. Что-то тяжелое и хмурое надвигалось на него и задергивало флером лампу, комнату, книги.

— А вместо работы подбивают на убийства. Вот и мне грозятся убить.

Николай Гаврилыч вздрогнул.

— Убить? Вас убьют?

— Не знаю,— становой сказал холодно,— быть может.

И немного погодя прибавил:

— Мне жену преимущественно жаль. Детей тоже. А самому мне весело не бывает. Живешь и думаешь: к чему? Вот разве вы, человек ученый (он усмехнулся) — скажете. К чему?

Николай Гаврилыч встрепенулся, снова.

— Да, скажу.— К смерти. Вот к чему.

И сказав, сам он побледнел, и побледнел становой.

— Я пойду спать, извините меня.

Становой ушел. Он ежил плечи, и видно было, что ему холодно. А Николай Гаврилыч сел, потушил лампу. Оцепенение взяло его. Из ночи, через стенку лился холод, пустынное безмолвие было там, и из-за крыши дома слабо поднялся месяц: желтый, ущербный. Он был тускл и скорбен. Он осветил мертвым светом огромный клен перед флигелем, стоявший в глубоком убранстве огненных листьев, в бездонном трауре осени.

И тогда, в те минуты, ощутил Николай Гаврилович *ее*. Теперь слышал он ясно, внутренним слухом ее ход неземной по пространствам, и ее божеский лик чувствовал, ее голос звучащий-звучащий, звучащий в нем и раньше, все той же трубной нотой — и скорбный. Глубокое знание несла она ему. И он сидел, быв очарован ею, смотря в глаза своей погибели, не имея сил подняться. Сладким ядом он наполнялся.

IV

По небу текла луна, как предводительница звездных караванов. И звезды шли за ней, восходя с горизонта, описывая данные им дуги и удаляясь за края земли. В холодном хоре исполняли все на небе свои назначенья.

Вниз же шел свет — плавный и осенний. Поля и доро-

ги земли были одеты этим лунным холодом, сталью блестели колеи с водой, и воздух был почти ломкий; удар — и он расколется.

В очень поздний час Николай Гаврилыч медленно шел по полям, обратив к луне лицо. Был он довольно бледен, а в сердце — звучность, простор. В безбрежной дали неба эоны звенели хрустально, Филон проплывал в горних, и загадочная, и печальная улыбка миру шла оттуда: миру тесноты и тьмы. Николай же Гаврилыч был ровен: точно перешел грань смерти и жизни и смотрел далекими глазами на деревни и лесочки, и поля, огороды, которым так же, как ему, надлежит погибнуть. «Смерть есть дочь Бога; она ведет нас к престолу,— так он думал.— Мы теперь за порогом, и мы равны». И ему виделось, как спит сейчас становой, и какой он маленький и трепаный; не было злобы, а в великой драме мира вставали перед сердцем дальние края, той ужасной земли, где идет эта жизнь становойская, тех пустынь и скорбей, что лежат вдали, за селами и хуторами. «Все будет попалено, сгорит жизнь и ее мерзость».

В вышине шли холодные токи. Луна леденела, и некто строгий и кристальный говорил:

«Все у вас погибнет».

Но это не было страшно.

На туманном рассвете вернулся домой Николай Гаврилыч. На дорожном кресте спали лицом друг к другу два ворона; они были как бы отлиты из чугуна и чернели могильными памятниками. Из усадьбы выезжал верхом становой, отряхивая капельки росы, крапнувшей его с усадебных берез.

— Прощайте,— сказал Николай Гаврилыч кротко и подал ем руку. Становой взглянул с удивлением, но тоже протянул свою.

— Не сердитесь на меня, и не дай вам Бог дурного.

Становой поблагодарил и поехал в свои необъятные владенья.

⟨1908⟩

АГРАФЕНА

I

На дальней заре своей жизни, семнадцати лет, стояла Груша в поле, ранней весной. Пели жаворонки, было тихо и серо — апрель, под пряслом бледно зеленела крапива. Груша слабо вздохнула и пошла тропинкой от деревни к большаку. И когда она до него дошла, издали, от лесочка лёдовского зазвенели колокольчики. Сквозь светлую мглу утреннюю трудно было сразу разобрать, кто едет, но, видимо, тарантас, тройка; вероятно, из усадьбы господской кто.

Груша скромно шла сбоку большака, по тропинке богомолок; почему-то заиграло и забило ее сердце. Вот уже ближе, можно рассмотреть Азиата на пристяжке, как он шеей дугу вычерчивает, кучер Иван — ясно: едут со станции, везут... Через две минуты увидала и кого везут: в синей студенческой фуражке с белым верхом и темно-голубыми глазами «он» — худой и тоненький, с острым лицом и нежным цветом на щеках. Как ни быстро все было, успели они все же увидеть друг друга, обменялись вспыхивающим взором — и укатила тройка, только веселую серую пыль подняла. А Груша вдруг покраснела густо, малиново, когда уже никого не было, и стала что-то смеяться; обрывала полынь с канавки и пугала воробьев на дороге.

День же светлел, над озимью текли стекловидные струи; овсы зеленели, были черны пары.

II

С этих пор началось для нее новое. Та усадьба, куда раньше ходила она на поденную, стала особенной. Там сидел «он», синеглазый и тонкий, занимался своими книжками, но каждую минуту мог выйти к молотильному сараю, где возили солому, в поле, к скотному.

Идя по полям, где весна расстилала свои зеленеющие одежи, думала Груша все об одном: вдруг его встретит. И это давало задумчивую силу путешествию с холстами к сажалке, где плескались утята — желтые, в пуху; или бродяжничанью в березовом леску за вениками.

Иногда по ночам он ей снился — в синеющей дымке; утром она просыпалась счастливая и измученная.

А потом опять шла на работу, вспыхивая и глубоко рдея, и тайком высматривала, где бы можно было его видеть. Оказалось — он взялся бродить с ружьем за усадьбой; особенно по вечерам, на тягу. Уже не раз видали его над речкой или на бугре у мельницы, там он сидел, и охотился ли, ястребов стрелял или про что думал свое, сказать было нельзя: сидит и смотрит, бродит, песенку насвистывает и глядит далеко, точно и не сам он тут.

Так было и в тот вечер апрельский, алый и нежный; чуть вились комары, березки стояли в зеленом дыму, а Груша с бьющимся сердцем перебиралась через речку в рощу березовую, по шатучим кладкам. Было прозрачно: в плавной воде мелькнуло слабое Грушино отраженье, легко она перемахнула и с холодом в ногах пошла, похрустывая веточками под ногой, туда, где он. Он опирался на ружье — тоненький ствол чернел в деревьях — и ждал вальдшнепов...

— Здравствуйте, Груша!

— Здравствуйте!

Она засмеялась. Точно что-то сказать хотела, да не могла.

— За охотой ходите...

Он улыбнулся. Стоял, краснел тоже, и вблизи от него, в зеленой мгле цвели ее милые карие глаза.

— Да, за охотой. Вальдшнепов караулю.

Он все улыбался, потом вдруг взял ее за руку. Она чуть отшатнулась, он прислонил ружье к березке, обнял ее и глубоко поцеловал в губы.

III

Краснел май, пролетая в огненных зорях, росах; кукушки медово куковали, точно окуковывали молодую жизнь. Солнце вставало пламенным и пахучим, глубокими ароматами дымились луга под ним, и скаты розовели, окровавившись «зарей», медвяно-липкой пурпурной травкой.

Очень ранними утрами нарывала Груша ландышей, белеющих и одуряющих, и бросала тихонько в «его» окошко во флигеле; ей казалось, что с ними идет от нее особенный душевный привет. И целый день в одинокой комнате сладко пахло белым, нежным.

Встречались они мало; больше он сидел за делом — «книжки читает», как говорили в усадьбе: около флигеля запрещалось громко разговаривать.

Но в июне начался покос, и он иногда приходил работать. Это было немного смешно — слишком он не умел справляться с вилами, навивкой возов, но когда на лугу, где Груша с девками сгребала сено, появлялся он, в белом кителе и с опаленным зноем лицом, сердце Груши, как всегда, падало. «Господи, надорвется»,— думала,— а он, напрягая все тонкое тело, с раскрасневшимися щеками, подымал на вилах стопу сена. «Ахнет, сразу сердце оборвется, и конец». Но он не умирал, а посмеивался ей ласковым взглядом, и хоть она и от того раза почувствовала к нему тайную, трепетную близость, все же был он и безмерно далек. И когда после полного блестящего дня она возвращалась домой и ложилась спать в риге, мечтая о нем, грусть наполняла ей душу; весь он казался ей тогда тем, чего не бывает и о чем томятся.

Уже кончался покос, часто по небу июньскому плыли белые, круглые облачка. Им выпало вместе ехать за реку, за оставшейся копенкой.

Убирая бедную копенку, целовались они, шалили, вздрагивая и краснея.

Воз был почти уже навит, они устали и рядышком сели в тени за ним. Лошадь стояла покорно, душно пахло сеном, солнце сгибалось книзу. Незаметно наступил тот короткий предвечерний час, когда золотее все, умиреннее, и в зеркальной глубине светлого неба как бы чуешь правду чистую и бесконечную.

— Умучились вы очень, ветерком бы обдуло,— сказала Груша и глянула робко, будто стесняясь, что он так работал.

— Ничего, пустое.

Молча сидели они под тихую жвачку Прахонного. И снова, как в ночных мечтаниях, вдруг охватила ее томная печаль.

Он сорвал травинку и откусывал кусочки. Потом сказал:

— Отчего так бывает, смотришь на небо и облачка такие,— кажется, когда-то в детстве видел это,— а когда, не помнишь. И как тогда чудесно было... Вот и лето, и все, а тогда было другое.

Груше с этими словами показалось, что опять он не веселый и смеющийся, а тайный, далекий — такой, как когда читает книги или смотрит подолгу вдаль.

— Вы на лето опять приедете? — вдруг спросила она.

Он не ответил, потом произнес:

— Может быть.

«Может быть». А может, и нет?

Груша молчала. Долго они сидели так, без слов, а потом вдруг теплые слезы, светлые и соленые, подступили ей к глазам.

Он улыбался ласково, печально, и гладил ее по затылку. Потом слабо поцеловал и встал.

IV

В августе убирали овес; было тихо, тепло, даже душно; много сереньких дней, когда куропатки срываются в кустах из-под ног и чертят воздух острыми крылами; а вечером спокойная луна, лилово-дымчатая, всходит над полями в меланхолии. Тогда унылей и пахучей полыни над дорогами, и над кладбищем деревенским низко плывет лунь.

«Он» в такие вечера блуждал по дорогам на велосипеде; заезжал вдаль, к одинокому лесочку на взгорке, среди нив, клал коня рядом и глядел подолгу на гибнущий закат, на деревню, где жила Груша, и вид безмерных родных равнин вызывал одно, всегда одно и то же. Иногда поджидал у сворота тропинки Грушу, когда она возвращалась домой; спрятав велосипед в овсах, шел с нею рядом. Она напевала, а спелые овсы шелковели вокруг, сухо шелестели; иной раз тихую ночную птицу вспугивали они из-под ног.

Убывали дни, становилось их меньше до конца. Чаще пело Грушино сердце о разлуке. Точно сильнее и глубже

вошел он в нее от этого, и когда, распрощавшись у риг, добредала она до дому, то глядела на загадочные облака над солнцем угасающим, и думала, что так же растает и он, так же золотой, недосягаемо-чудесный.

В последний вечер обняла она его колени и не могла оторваться. После он уплыл в вечернюю мглу, а она стала на коленях и молилась вслух полям, овсам, небу, Богоматери кроткой и милостивой, посетившей в тот вечер нивы.

Он же покинул те края, не возвращался больше и пребыл таинственным посетителем, пришедшим в жизнь Аграфены на ее ранней заре, чтобы растаять синеватым туманом, оставив за собою любовь, томление, тихие восторги и несколько не слишком щедрых поцелуев.

V

Прошло четыре года. Аграфена жила в маленьком городе, занесенном снегом и тихом, у молодой барыни. Она была замужем, но с мужем разошлась и детей не имела; жить же в этой квартирке, где всюду были белые отсветы снега из окон, ей нравилось.

Сильно топили, было тепло. За стенами далекие снега, полусонный город, метели; здесь же ходила легкой походкой маленькая барыня, выкармливая грудного, а другой мальчик ходил в гимназию — первый класс.

Аграфене думалось, что, живя здесь, хлопоча в кухне, таская дрова, свежепахнущие, веселые, она ведет благочестивую, спокойную жизнь.

По субботам, отпросившись у барыни, бегала она наискось в церковь, через заснеженную улицу, увязая, обдаваемая острым и жгучим зимним духом. В церкви скромно становилась сбоку, слушая «Свете Тихий...».

Пел хор гимназистов; светло мерцали и струились свечи, золотели, мигали. Сердце ее обнималось тогда благоговейной ясностью; и среди тихих напевов, нежданно вставал некто дивный и грозный; случалось — вдруг перед лицом этих риз на иконостасе, от голоса отца Дмитрия, высокого, тонкого, веяло таким безмерным, что она в ужасе спрашивала себя: верю или не верю? Вдруг, если не довольно верю, не живу с мужем, посты плохо чту,— вдруг тогда и конец и спасенья нет, ад и проклятье?

С этими вопросами обратилась она раз к барыне.

— У вас, может, у господ, и вовсе в Бога не веруют, а нам как?

Барыня улыбнулась, как всегда задумчиво и к Аграфене ласково:

— В Бога я верю, Аграфена, вы не думайте. Насчет ада плохо умею сказать; объяснить не могу, а наверно думаю, что нет. Нету такого ада, незачем: и здесь, на земле, достаточно.

Аграфена ушла к себе мыть чашки, все о том же думая: «На земле достаточно...» Так и барыня: спокойная, не сердится никогда, детей ласкает, а сама думает, и точит в ней что,— под глазами круги, блекнет здесь одна в этой тиши. Ночью, крестясь на лампадку, Аграфена слышала, как ворочалась, вздыхая, барыня. Аграфена вздыхает, широким мужичьим крестом крестясь «за спокой» доброй барыни.

VI

Подошли Святки. Барыня делала елку Коле; никого не было, кроме Аграфены; елка светло сияла в скромной квартирке. Барыня улыбалась, радовалась, что нравится Коле, и, как всегда, бледная тень ходила по ее лицу, а соседки-кухарки говорили Аграфене: «Вот смотри, к вам и отец Дмитрий не пойдет, потому твоя барыня безмужняя». И дальше рассказывали — все по-разному — одно: сзади лежала сердечная история.

Отец Дмитрий, однако, был; служил молебен, кропил, и не только Аграфена молилась, но крестилась и барыня.

Разоблачившись, отец Дмитрий завтракал; они с барыней говорили — как два вежливых и всегдашних противника.

— У вас здесь весьма тихо, напоминает женский монастырь.

Барыня улыбалась.

— Это и есть монастырь.

Во взглядах отца Дмитрия было одновременно почтительное и внутренно-неодобряющее.

Потом опять забелели снега; синела по ночам лампадка в большой детской, барыня целые ночи бродила с грудным: он пищал, кис, было безмолвно, и если ночь выпадала лунная, голубело и там, в тихо сверкающем снеге; таинственное, слышное только ей одной, наполняло тогда квартиру и город; вспоминалось о далеких днях, и хотелось сесть в этой светлой ночи в волшебные сани, унестись по белеющим полям вместе с тем, который...

В кухне спала Аграфена; барыня, подходя к двери, улыбалась на нее; иногда даже смотрела по нескольку минут. «Знала она, или не знала такое?»

И ходила подолгу с грудным из угла в угол, погружаясь в лунные колонны и выходя из них. Седая печаль повивала ей голову: печаль — ровесница самому миру.

VII

Ветры подули, потекли снега, мощный и веселый дух ходил над землей, трубя и играя. Масленица была пышная, с роскошными лужами на улице, весенними ночными бурями и дождями. Не могла уже Аграфена быть монашкой зимней; томилась она и заплакала даже раз — ручьями, неизвестно о чем.

В те же дни встретилась она с кучером Петькой, только что попавшим сюда на службу. Он был молод, черноус и остр. На дворе его боялись и не любили; очень больно умел сказать, сплевывал гениально, и когда мчался в санках на Звездочке, глядеть дух занимало.

Аграфена так и зевала на него раз, когда он въезжал домой на взмыленной лошади, а он цыкнул, ловко перебрал вожжой, чтобы не задавить, и прорезал у самых ее ног, так что она шарахнулась даже в подъезд.

— Эй, ты, малина!

И по тому, как он сказал это, поняла она: что бы ни велел этим голосом — удаль, наглость, сила в нем,— все она сделает.

К вечеру понадобилось достать дров из сарайчика; сумеречилось, сиреневело, чуть желтели огоньки фонарные; легким ходом пробежала Аграфена к знакомому месту, вся вздрагивая, внутренно холодея; вот и дрова пахучие — и там, у каретного, кто-то возится, пахнет оттуда дегтем, шорником, шлеей...

— Али потеряла что, молодка?

Острый запах цигарки, картуз ловкий, крепкие, как из жил, руки.

— Так уж, потеряла или нет, про то вам знать не приходится...

— Ой ли?

Дверка захлопнута, и как он дрожит, как целует...

Через четверть часа бежала Аграфена через двор с дровами домой, легко-пьяная и не себе уж принадлежащая. А Петька сплевывал, курил цигарку у ворот, и жадный, победный огонь лился из его глаз.

VIII

Летели дни, так же ходила барыня с ребенком, теплом веяло с неба, зазеленело все,— Аграфена горела. Казалось, не было лет сзади, нету впереди ничего, да и не надо — вся полна собой, кровавой своей любовью.

Поздно вечером, когда все засыпало, она тушила огонь на кухне и сидела в забытьи, глядя на звезды; а потом, ведомая властью светил любовных, выскальзывала на двор и, крадучись, к сеновалу. Здесь волны сена. О, как оно пахнет! И пока она лежала, в трепете ждала, майский месяц выползал из-за сада, заглядывал золотым лучом в слуховое оконце: там он видел слушавшую Аграфену,— потом ловкие шаги — он.

Так, в майской тьме, задыхаясь на сене, трепеща от любви, зачала Аграфена новое бытие. Она почуяла это в такую же жгучую ночь, и Петру не сказала. Но, уйдя от него, когда забелел восток, пошла не к себе на кухню, а за сарай, в сад. Тут было тихо; матовой пеленой одели росы траву, молодые яблони стояли все в цвету — белыми предутренними кораблями. Только вдали, где старая береза подымалась у забора, вдруг слабо завела свое курлыканье горлинка. Под сердцем Аграфены билась жизнь. Она стояла, точно предстала перед Богом, как покорный сосуд, скудельный сосуд Его благости и ужаса, и некто тихою десницей навсегда отмахнул от нее время, когда была она беззаботной.

IX

С того дня Аграфена стала спокойнее, строже; даже барыня удивлялась. «Вы, будто, Аграфена, поумнели»,— говорила и посмеивалась. Аграфена краснела слегка, молчала. Но в душе у нее вставало нечто, чего раньше она не знала: будто тень от дальнего, жуткого доходила ей до ног и стремилась охватить всю: «Петя меня любит, надо б свадьбу сыграть, а чего-то боязно».

На дворе над нею зубоскалили, говорили, что вешается Петьке на шею, да Петька не такой дурак, чтобы дать себя бабе в кабалу: пусть бы глядела, не равно другую подцепит.

— Все, милая, изменщики они, все ироды, была б моя воля, всех бы их на каторгу наладила.

Аграфена сердилась:

— Пеня не изменщик.

Лысая кухарка охала. Мало верила Петру, как и другим.

— Присматривай, девушка, присматривай. Наше дело женское.

И правда — этого Аграфена не могла отрицать,— Петр стал как-то ускользчивей, мимолетней; в его острых глазах мелькало как бы чужое, тайное и скрываемое.

— Петя, знаешь ты, я за тебя в огонь и в воду, на адскую муку согласна. Вот дослужим здесь, повенчаемся, в деревню поедем... Господи, мальчик наш будет розовый, назову его Кириллом, буду люльку качать, ясного моего сокола поминать.

И она припадала к его ногам, плакала, целовала руки, но он был равнодушен.

— Наживу денег, уйду на Волгу. Эк ты, кура, кура.

Аграфене нравилось все, даже то, что ее не замечал. Надрожавшись от восторга, жути за ночь, она шла в белую кухню и слушая, как медленно ходит из угла в угол с грудным барыня, тяжело и сладко засыпала.

X

В ночь начала июня, как назначено было, накинув платок и дрожа, озаряемая тем же месяцем, что в дни счастья и зачатия заглядывал на сеновал,— Аграфена кралась туда же, к лесенке на сенник; как раньше, сопели внизу коровы, телята бормотали детскими губами и чуть скрипели доски лестницы. Вот и сено — душное и пьянительное, как сладкое луговое вино,— и то место, за поперечной балкой, что было ими облюбовано, и где любили они так бурно. Но что это? Или слух изменяет? Движение. Возятся, хохочут. Поцелуй, такой же, там же...

— Петя!

Смолкли.

Голос — злой, чужой:

— Какого дьявола по сеновалам шляешься? Или на службу нанялась?

— Петя...

Но остановилось сердце, нету ему ходу — видит она с ним там другую девку, Федосью, и он лезет от нее лохматый, с сеном в волосах.

— Прочь пошла, слышишь — вон!

Он не слушал. Столкнул вниз с крутой лесенки, так что упала оземь, разбила верхнюю губу. Он запер дверь.

Позже встала она медленно и пошла домой. Там сидела тихо у окна; было безмолвно в ее душе, стояла пустота, палимая бесплотным огнем... Потом слабо задремала, перед рассветом, сном тонким и больным; проснувшись — сразу вспомнила, что выедено все у ней внутри и одна зияет огненная рана. Тогда стала плакать — медленными, безграничными слезами. Так застала ее барыня, выйдя утром в сереньком своем халате, бледная и сухенькая.

И как была она женщина, сразу поняла все.

— Не плачьте, Аграфена, не тужите. Вот полюбите еще, новое счастье узнаете.

Так познала Аграфена первую свою женскую муку, огнепалимую и ненасытную. Муку отверженной.

XI

К новому году Аграфена родила. В это время она уже не жила у прежней барыни, которая уехала куда-то и навсегда пропала с ее глаз. Также не было и Петра; он ушел оттуда еще летом, чужой и недругом. Но теперь все это было для нее далеким, щемящим, над чем время возводило свои усыпляющие терема.

С девочкой на места не брали; поэтому пришлось отдать ее в деревню. Это тоже было горько, но необходимо.

Оставшись одна, она стала внутренно собранной, готовой на нелюдимую тяжелую жизнь, и вступила в кочевое состояние женщины, переходящей от хозяев к хозяевам, видящей разные семьи, разные драмы, счастья и предательства,— но хранящей суровую отчужденность и только временами плачущей, в одинокие ночи.

Так блуждала она довольно долго. Понемногу годы, утомляя своим волнообразным всплеском, ввели ее в возраст, когда жизнь кажется наполовину прожитой, в голове пробегает волос серебряный, глубже в лоб врезается морщина.

XII

Теперь место Аграфене вышло в доме госпожи Люце, в том же городе. Она служила кухаркой; жила в подвальном этаже, в тесной кухне и видала оттуда медленную жизнь, протекавшую вокруг и наверху.

У госпожи Люце была мастерская; в ней шили и вязали чулки, жили мастерицы, и сама «тетушка Люце» вела скромное существование, весь день работая над сматыванием ниток. Хотя все с ней были приветливы, Аграфена дичилась и старалась быть в стороне, внизу у себя. Там жила старая няня, взрастившая госпожу Люце, и ее старик муж, Мунька. Он походил на снежно-серебряную копну; двигался медленно, иногда в низенькой закопченной кухоньке разговаривал с Аграфеной. На нее это действовало тяжело: стоит Мунька восьмидесятилетний, как древнее привидение, и бормочет:

— Было это в пятьдесят пятом году. В Останкине тогда жил покойный император, Александр Второй.

Или:

— Много наших под Силистрией легло. И мы там с барином были.

Темная тень — годов, императоров, битв, войн — ложилась тогда на душу Аграфены. Казалось страшным дожить до такой старины; и когда не спалось, мысль настойчивей направлялась к тому: как же? когда? что будет «там»? И вначале как ни билась, дух немел перед возможностью не быть, перед тем, что же будет, когда не будет ее? Прежние мысли об аде, о том, что «вдруг есть Бог» и покарает за грехи, ушли давно; с течением времени стал также проходить тот дикий ужас — а если убьют, от болезни внезапной умрешь, сгоришь,— от которого она холодела раньше.

Теперь, с годами, смерть представлялась надвигающейся мерным и торжественным ходом. Она шла неотвратимо, звуча бархатно-черным тоном. Но на фоне этого мрака просветленнее, трогательней сияли видения прежних лет: дальний роман среди полей, с полузнаемым им, весною тихой, апрелем: слабо мерцающая где-то сейчас детская жизнь. Как давно было все это!

Теперь Аграфене казалось, что ее жизнь примет ровное и бедное течение, будучи отдана этой девочке; но ей было назначено за первым переломом бытия узнать еще огни и печали передвечерия.

XIII

В ноябре, среди ранних метелей в дом госпожи Люце приехала барышня Клавдия с братцем. Клавдия приходилась тетушке родственницей, сняла комнату себе и братцу

отдельно — и стала ходить в музыкальное училище; а братец в гимназию. Клавдии поставили пианино в комнату, и теперь нередко в пустынной квартире раздавался Бетховен.

Оттого, что барышня умела играть, она казалась Аграфене не совсем обыкновенной: точно жило в ней смутное и слегка загадочное. А в то же время и простое: сбега́ла вниз к ней, могла хохотать, картошку ела с плиты недоваренную, наверху же вносила в жизнь тетушки некоторый кавардак. Но страннее всего был братец, совсем молоденький. Тоненький, тихий, часами просиживал он в своей комнате, что-то всегда рисовал, тщательно прятал, молчал и иногда вдруг густо и беспричинно краснел.

— Нашего Костю никогда не слыхать,— говорила тетушка.— Право, жив ли, мертв ли, не узнаешь.

Клавдия улыбалась — точно была с ним в заговоре.

Братец же, если слышал, что при нем о нем говорят, имел неопределенный и полуневидящий вид, а потом, допив чай или кончив обед, вежливо благодарил и уходил в свою комнату. Занимался уроками, потом много мучительно рисовал, потом читал, ложился спать.

Утром в потемках вставал и шел в гимназию; и ноябрьские дни, заметая снегами улицы, свинцовой вереницей брели над городом, ведя нить жизни дальше, в глушь, в черноту ночей.

XIV

Аграфена уставала. Сзади стояли годы, оттуда сочилась черная влага, стекала в душу и скоплялась едкими каплями.

Мысли о смерти приходили чаще; что-то недвижное и седое загораживало дорогу, тускнело все прежнее; прожитая жизнь казалась ненужной. Временами приятно было глядеть на камни, стены — как они тихо лежат, и как долго! как покойно! А иногда вдруг, перед вечером, когда бедные, северно-розовеющие тучки нежданно разлегались над закатом, что-то манило. Становилось возможным невозвратное; на минуту сердце замлевало, будто ожидая чего. Но закат гас, и опять только закопченная кухня, темень, Мунька. Сверху музыка Клавдина, томная и родная тучкам умирающим, да невидимый братец.

Мунька умер в очень глухую ночь. Уже много дней был он плох, лежал и стонал, закатывая глаза. Всем было

ясно, что нельзя ему жить больше: отмерил восемьдесят лет — и уходи. Няня давно приготовила ему смертные одежды, но по ночам о нем плакала. Он же лежал, как серебряная копна, что-то бормотал и слабел, слабел.

В три часа с четвертью Аграфена вдруг, в беспроглядной тьме соскочила с постели; жарко было, колотилось сердце.

— Бабушка! — крикнула она няне.

Не ответили.

В соседней каморе хрипело и возилось что-то, свет вдруг резко ударил сквозь щель, лег тоненькой жилкой, и оттуда быстрые слова:

— Кончается. Барыню буди.

Она кинулась наверх.

— Барыня, голубушка, Мунька кончается!

Тетушка Люце спала в широкой постели, с слабым отсветом лампадок; старинно и печально было в этой комнате. Стояло древнее трюмо, резное и в ночном поблескиванье призрачное; пахло сладковатым.

— Царство небесное, Господи, упокой душу!

Сразу зашумели в доме, и, пробегая мимо комнаты братца, Аграфена машинально отворила дверь и вошла. Он сидел на кровати, тоненький, встревоженный; сзади мгновенно пал кусок света, бросил его в глаза Агрефене, и потом, когда она притворила, худенькое белое виденье с голыми ногами запало ей вглубь, вызвав странный темный удар.

— Что такое?

— Мунька помер.

Но теперь она не думала уже о мертвом; смутная сладость пронзила ее глубоко, и на черном фоне ночи, смерти, страха, вдруг поплыло нагое тело, девичьей белизны.

Аграфена выскочила и сбежала вниз; увидев в кухне огонь, свет в Мунькиной комнатке, его самого недвижно лежащим с тонкой повязкой смерти — она зарыдала, сама не зная отчего.

Няня молилась, в дверь выглянула Клавдия в ночной кофточке, потом проковыляла тетя Люце. Ночь шла. Ее великие панихиды простирались завыванием ветров, свистом метели и безмерным мраком. Так продолжалось до утра.

XV

В сороковой день смерти Муньки няня с Аграфеной ездили на кладбище. Извозчику было шестьдесят, он знал все про всех в городе, и ему можно было бы не говорить, куда, собственно, едут. День был зимний. Глубокий снег, как и прежде, укрыл город; санки плыли по нем. Аграфена глядела по сторонам. Давно не была она так далеко от своей норы, и теперь, когда с окраинных улиц виднелась вдали Ока, зимне-синеющие просторы и горизонты, леса в снежном инее,— ей вдруг представилось, что жизнь широко раздвинута, там на огромных пространствах также обитают люди, также можно куда-то уйти, стоять в снеговых полях, дышать острым и опьяняющим воздухом прежнего.

От этих мыслей у ней затуманилась голова. Между тем близко было кладбище. Оно лежало почти за городом, на широкой возвышенности, господствуя над всем. От инеевых деревьев оно казалось белым облаком.

На воротах кладбища не было ничего написано, но сразу другой воздух охватил; еще прозрачнее, суше, таинственней. Особенно деревья обольщали; о, как они замлели под белейшими ризами! Они рождали тишину и мир, холодный мир.

«Какой там Мунька теперь?» И нельзя было поверить, что не такой же, не хладно-серебряный, не пронизанный молчанием снегов и инеев.

Аграфена бродила меж могил и чувствовала себя в странном, морозном раю; точно вся полегчала и опрозрачнела. У ограды дальнего конца она остановилась. Над ней вились щеглы, она оперлась на снежный парапет и глядела долго на заречные дали. И вдруг в тишине снегов нежащее, острое виденье выплыло из глуби и наполнило ее сладкой болью.

Назад с кладбища Аграфена возвращалась одна. Проходя по плотине мимо катка на пруду, осененного вязами, она увидела братца; он скользил уверенно и стройно на американских коньках, а перед ним, убегая, несясь, летела девушка в бархатной шапочке. Аграфена чуть приостановилась; затем продолжала путь.

XVI

В воскресенье, с самого утра, Аграфена ощутила тоску. Она была одна, все ушли, и ее мысли, бродя за плавными

снежинками, летевшими с неба пеленой, погружались во мрак. Тогда ей пришло на ум, что она может пить. Первый раз в жизни в тот день она пила.

К вечеру хмель ушел. Но остался трепет и как бы буйность. В полусумерках вернулся братец, и, как ей показалось в передней, острая мужская дрожь пробежала по нем. С тайной сладостью стала она мечтать, сидя в своей комнате, вспоминала, как хмур и беспокоен он, как таит в себе вскипающее, и опять плыли перед ней голые ноги, белые, как у девушки.

В поздний час, за полуночью, она, задыхаясь, кралась через черный дом, полный сна, к его комнатке. Как и тогда — отворила, замкнула и дрогнула: заскрипела пружина на постели.

— Кто тут?

— Я.

Стало тихо, она подошла, прильнула, потопила его в себе — режущей сладостью утоляла свою любовь — такую плотскую, темную, непонятную любовь.

XVII

Очень скоро узнала, что не на радость. По-прежнему был братец худ и жалобен с виду, а теперь стал еще и стыдиться. Когда, встречаясь днем, она длинно взглядывала на него, он вспыхивал и нырял скорее в свою комнату, а еще хуже получалось, когда приходил кто-нибудь.

К Клавдии часто забегали подруги: молодые барышни и гимназистки. Была между ними и та, с кем она его видела в зимний день на катке. С нею он почти не говорил; бледнел в ее присутствии, смущался. Аграфена, подавая, унося, рассматривала их обоих тяжелым взором, и мутное чувство появлялось в ее сердце; сидят, смеются, может, любить уж начинают друг дружку, а того не знают, с кем он по ночам... Медленная злоба затопляла ее. О, как ненавидела она этих легоньких барышень, с духами и тонкими ножками,— кому и жить только, чтобы целоваться да на балах плясать — пусть бы сошли к ней, в кухню.

Когда братец бывал в гимназии, она, убирая его комнату, не раз разглядывала его вещи, и скоро увидала, что в бумагах появилась карточка, портрет той. Аграфена сдержалась и молчала, он же, как прежде, трепетал и бледнел, ходил на каток чаще, и по тем улицам, где ничего ему не надо было.

Перед масленой однажды к вечеру налетели рои барышень, гимназисток: устраивался бал. «Стрекочут,— думала Аграфена,— все стрекочут». Как всегда, в этом было крайнее неодобрение. Весь вечер после них Клавдия с братцем разговаривали; волновались, спорили даже, что и как снаряжать. Аграфена же хмуро ворочалась, не могла заснуть, и опять мысль о вине и хмеле вставала в ее мозгу.

В день бала братец с утра был не свой: точно решалось что-то для него. Напяливал мундир, доставал белые перчатки и душился. В восемь часов заехала та, и как вошла в комнату в платье своем белеющем, с легким духом вокруг и тоненькими девичьими ножками,— показалась Аграфене невестой: сияющей и ослепительной.

— Ну, хороший мой человек, покажись! — Доброе лицо тетушки Люце расцвело улыбкой.— Хорошо оделась, ангел мой, очень хорошо!

Потом она лукаво глянула на братца:

— Вот бы, Костя, тебе невесту такую. Я бы благословила.

Костя вспыхнул и выскочил из комнаты.

Через четверть часа они уехали. Аграфена была бледна.

Белое облако молодости, сияний, люстр приняло их. В бледно-зеркальном воздухе они носились до утра среди блистающих колонн, в вальсах и нежных танцах. Робко благоухала любовь. Ее окутывали ткани, прозрачные и мятущиеся, и вся эта юность была одним взлетывающим существом, в золоте огня.

Аграфена же томилась в черном прозябании, без сна. Тяжкие волны били в ее мозгу; сердце источало кровь. И когда силой воли унимала она его на мгновенье, с великой силою чувствовала, что иначе быть не может; надежды ей нет.

Братец возвратился на рассвете туманный счастием и полупьяный им. Аграфена деревянно отворяла дверь.

— Хороша невеста-то?

Он ничего не ответил, прошел к себе.

XVIII

Братец не имел сил рвать, уступал голосу тела пробуждающегося, и днем ненавидел еще острей, еще жестче был.

А уж в доме знали о их связи — кто посмеивался, кто шипел, не было недостачи в шпионах. Сама Клавдия

стала серьезней; раз Аграфена услышала кусочек фразы, которая не ей предназначалась, Клавдиной подруге, сидевшей с ней в столовой:

— Одну любит, а с другой живет.

Прошла неделя; стоял Великий пост. Снова, как тогда, в роковой день, Аграфена осталась одна в доме. В первый раз походило на весну. За день растопило даже лужи, розовый закат сиял в них пятнами, и опять багрянец над липами голыми сквозь сетку грачей говорил о несбыточном, пронзительном...

Вдруг звонок в прихожей. Аграфена кинулась. Он, братец. Но какой! Что с ним? Отчего губы дрожат и такой блеск в глазах?

— Мне тебя нужно, Аграфена.

Молча прошли к нему в комнату. Аграфена взялась за ручку кровати.

— Я должен тебе сказать... я... я люблю не тебя... понимаешь, не тебя... Мучился... Хорошо это — тебе и ей разом в глаза смотреть? Легко? О-о...

Она все стояла, все смотрела, и стеклянели ее глаза. Как чужая понимала она его, будто из другого государства.

А, однако, поняла. Да, душа его давно томилась одиноко, но теперь загажена его любовью, та тоже знает, чем был он, не мог он больше так, впотьмах, сказал...

Тут упал он на подушки, рыдая мальчишескими рыданиями. Аграфена же стояла, онемелая и мертвая, и не знала, что делать.

XIX

Стояла ранняя весна; звонили к вечерне, от тихого звона тянуло давно забытым, детским, что безвестными тропами ведет к покаянию.

Аграфена говела. Скромным вечером, купив вербочек с белыми пушками, она пошла к исповеди. Небесные отсветы, розовые пятна облаков бродили по иконгостасу. Там она на коленях перед стареньким отцом Досифеем поведала свои печали, плакала и взывала к Богу, прося дать сил. Отец Досифей крестил ее крестом в светлом курении ладана, и дал облегчение душевных тягот.

— Возвратись к дочери, ты мать, твое сердце полно любви к ребенку. Проведи оставшуюся тебе часть жизни в служении ему.

Аграфена ушла. Дома лежало письмо из деревни, где писали, что там становится трудно, девочка выросла, нуждается в уходе.

Аграфена сочла это за голос Провидения, таинственно воззвавшего к ней и направляющего в ему лишь ведомый путь.

Она пошла к госпоже Люце и сообщила, что оставляет место. Потом взяла свои вербочки, погрузила в стакан с водой и снесла в комнату братца, поставив на стол. Этим молчаливо хотела она дать чистое ныне, братское и страдальческое лобзание юноше, тайно сжегшему ее сердце. Она постояла довольно долго так, около этого бедного букета, и ее душа в тот миг расставания таинственно обручилась с душою жениха, прихода которого она так долго, тщетно ждала.

Опустившись на колени, она поцеловала край одеяла с постели, те места пола, где ступали его ступни, перекрестила все углы комнаты и вышла. Больше в эту сладкую и больную комнату она не возвращалась. Через два же дня, когда госпожа Люце нашла себе вместо нее другую, она, собрав убогий свой скарб, навсегда покинула тетю Люце, и этот дом, и этот город.

XX

Уже в вагоне третьего класса, проезжая мимо полей и дымно-зеленых весенних лесов, она поняла, что тяжелое и огромное осталось сзади; а сейчас так тихо и просто покойно на душе, как не запомнит давно. «Ну, были разные дела, а теперь ничего нет», вот под яровое пашут, грачи ходят по комьям, зеленя взошли. Хорошие зеленя, нельзя ничего сказать, хорошие.

Напротив на лавке сидела баба во вдовьем платочке, черном с белым. Аграфене показалось, что и она теперь такая же вечная вдова. С этим нечто бело-траурное, ясное произошло в ее сердце.

От Станции Ферязи до ее родной деревни считали тридцать верст. Она купила на базаре вдовий платочек, надела зипун, как богомолки, палку выломила толстую, и боковой тропкой большака, священным путем странников, меряющих родимые пустыни, тронулась в путь.

О, ты, родина! О, широкие твои сени — придорожные березы, синеющие дали верст, ласковый и утолительный привет безбрежных нив! Ты, безмерная, к тебе припадает

усталый и загнанный, и своих бедных сынов ты берешь на мощную грудь, обнимаешь руками многоверстными, поишь извечной силой. Прими благословения на вечные времена, хвала тебе, Великая Мать.

Так брела Аграфена, широко ступая ногами в лаптях, упираясь рукой в длинный посох. И ее душа была раскрыта, детскими глазами глядело в нее вечно синеющее небо, и ветерок-ласкатель звенел в ушах, опьянял. В горле стояли слезы; временами они текли из глаз, падали на землю и были очень, очень соленые; а их спутниками на лице шли морщины, прокладывавшиеся по нем, как овраги.

На полпути, у взгорья, откуда были видны с детства любимые Усты, село-приход, она приотдохнула под екатерининской березой. Вынула хлеб, пожевала и слегка заснула. Не прилегла даже, а полусидя, прислонясь к зеленому откосу. На лице ее в это время была спокойная улыбка, чуть печальная.

И в тот весенний час, в полудне пути от дому, случайно задремав на большаке, она видела торжественный сон: мимо, по бледно-зеленым зеленям, медленно и нестрашно шла черная монашка. В руках у ней сосуд.

Подошедши спросила: «Ты раба Аграфена?» Она ответила: «Я». Монашка постояла, медленно голову склонила, как бы приветствуя ее, и, неся свою чашу, как она ясно помнит — полную до краев, последовала дальше. Все это длилось недолго, через мгновение она проснулась. Солнце шло уже книзу, надо было торопиться. Взяв котомку и палку, полная странным сном и ясностью великой, Аграфена зашагала далее.

XXI

Она пришла в Кременки на закате дня. По-прежнему лежала маленькая деревня на склоне косогора, в одну линию домов и глядела окнами за овраг, в сады арендатора. Такая же липкая и черная грязь была на улице, гусиная травка пустила свой зелененький ковер под вербами, ковыляли желтые утята и неизвестные Аграфене дети кучкой глядели на нее, как желторотые скворцы.

А вот дом, что взрастил ее,— старуха мать к ней кинулась:

— Красавица ты моя, думала ль тебя увидеть уж? Все ждала, все глаза выплакала, тебя ждучи. Эх, состарилась, ласточка, уходилась.

— Теперь навсегда к вам, маменька.— Аграфене слад-

ко и жутко, что ее, такую пожилую, обнимают и плачут с ней, как с ребенком.— Буду век свой с вами коротать. Что Анютка-то? Здорова ль?

А Анютку она не узнала б, если бы не здесь встретила. Только на мгновенье опять острым ножом полоснуло былое, Петр... но сейчас же ушло, и она матерински ласкала ее.

Ужинали, захлебываясь в рассказах; тут узнала она, как было трудно матери, как билась, недоимки выплачивала,— но теперь Аграфена решила: на свои мужицкие, могучие плечи она возьмет хозяйство и выведет на путь.

После ужина долго не могла спать. В небе слабо сияли звездочки весенние, она вышла и прошла к ригам. Здесь тогда отуманивал конопельный дух, до этих риг провожал он ее тайной тропой. Теперь они угласто вырезались на закате гасшем, что алел с прежней нежностью, обольщением. Струйка дальних журавлей тянула к западу; их клекот, утопавший в красной мгле, был похож на зов: из дней далеких, прекрасных.

Аграфене жилось дома хорошо. В давно незнаемой работе, под вольным небом, она трудилась честно; ее тело, уставая за день, казалось ей легким. Как бы сохнуть начинало оно. Загорало под солнцем, принимало прекрасную силу крестьян. Она легко вскакивала в колымажку, держала ручки сохи, и босиком, полурысцой поспевала за боронами. Крылатые дни неслись вереницей, благоухающей и здоровой. Колосилась рожь, догорал красный май; июнь жег сочным пламенем, вспаивал луга поемные, куда выезжали всей деревней повозками на несколько дней; там жили, как цыгане, косили и везли все сразу. Потом сухой июль: месяц белого жара, страды, бабьей муки. В длинной белеющей рубахе, обливаясь потом, жала Аграфена свою полосу, а Анютка подсобляла, таскала жбаны кваса из деревни и потом вязала. А дальше, в летне-золотеющие вечера июльские, они навивали снопами огромные возы и везли их в риги. Анютка сидела наверху, напевала, кусала колосики, внизу шагала Аграфена, ласково и с думой глядела на нее: вот виден милый ее очерк, тонкой двенадцатилетней девочки. И пройдет четыре года, пять, как мать погрузится она в муки и восторги любовные, как мать припадет к чаше,— что дано будет испить ей там? Кто скажет?

Подобные мысли туманили голову Аграфены; но о себе

она знала, что такая жизнь, как она ведет,— без счастия и мыслей о нем, суровая рабочая жизнь женщины, отдающей себя,— есть наилучшая, честнейшая и самая ясная жизнь, как ни глубока печаль, коренящаяся в темных ее истоках.

XXII

В звонкий сентябрьский день, когда дымчаты дали, опалово-лиловое разливается в воздухе и кротки поля сжатые, Аграфена вела Анютку в усадьбу; старая барыня вызвалась отправить ее в город в школу вместе со своей воспитанницей. Ночью Анюта плакала, и сейчас покрасневшие ее глаза были овеяны ветром, на них набегала слеза.

Аграфене странным казалось подходить к той усадьбе, где когда-то, так давно, протекала ее любовь. Все обветшало; но бессмертно пахло осенью, амбарами, ссыпаемым зерном, молотьбой; барыня встретила их у мучных закромов, в черной кофте, с всегдашне спокойным и умным лицом. Аграфена поклонилась.

— Здравствуйте, вот девочку привела.

— Ну и хорошо.

Анютка стеснялась немного, но барыня опытно-ласковой рукой погладила ее, ободрила:

— Вот и хорошо. Кончит школу — место получит, в учительницы или еще куда.

Аграфена провела в имении с час; встречалась со знакомыми рабочими, признала даже Дамку. Чувство тишины и тонкой печали, бледной и бесплотной, стояло в ее душе. Жаль было Анюту, она нежно ее целовала и, наконец, сдав верной женщине Саше, поблагодарив барыню, тронулась.

Чуть видные, молочно-пепельные облачка тянули в небе; гроздья рябин краснели, внизу лежал пруд: кристальный, глубокий — зеркало. У его берега не могла Аграфена не остановиться, и, смотря на прозрачные отражения в нем — деревьев, облаков, на свой зыбко-облегченный облик, глянувший из глубины, прожила она мгновения бессознательной мудрости, когда вся жизнь взглянула в ответ оттуда, чуть заволокнутая легкой слезой, но также обожествленная и просиянная. Ее дни, скорби, утраты, та печаль расставания, что глодала ее сейчас, на мгновение были приняты в светлое лоно. И там преобразились.

Помолчав, вздохнув, она продолжала путь. Когда подходила к Кременкам, розовая заря разлеглась на западе; от нее веяло тонкой, скорбной осенью.

XXIII

Наступила зима, с ней деревня стала строже и монотонней. Мать много болела, Аграфене одной приходилось нести бремя тягот. Это ее закаляло. Волосы ее седели, но нечто морозное и суховатое в ней проявлялось. Будто становилась она прозрачнее, всегдашний внутренний траур выводил на лицо ясные морщины, спокойную приветливость.

По Анюте она скучала, хотя знала, что ей живется неплохо; получала от нее иногда письма, которые читать было большой радостью. Но приходилось искать чужой помощи в чтении. «Пусть, пусть свету глотнет,— думала,— не то что мы, темные, будет».

А сама работала. Зима вышла тяжелая. Уже в ноябре лег снег, и к Святкам Кременки были занесены по уши. На улице ухабы изрыли дорогу так, что у самой Аграфениной избы была крутая яма; все хаты ощетинились соломой, которую набивали от крыши до полу, прорезая в ней для окон узкие люки; через них бедно лился внутрь свет. И долгие ночи проходили в завываниях метелей или грозном блистании звезд на небе, чуть не трескавшемся от морозу. Большие морозы выпали на тот год; странники, число которых увеличилось заметно, замерзали на дорогах. Погибло шестеро детей из Осовки, шедших за три версты в школу.

Нередко по ночам Аграфене не спалось. Много дум приходило ей в голову, и характер их бывал серьезен. С большою силою она убеждалась, что эта часть ее жизни есть и последняя, но сколько ни думала о Боге, смерти и будущей жизни, никогда не могла додуматься до ясного. Иногда выходила на мороз, и зрелище синих, пылающих светил и глубокой порфиры неба, священных костров-созвездий говорило о великом и ангелическом. Чувство твердости, вечности наполняло ее.

Вспоминала она также свой дорожный сон; образ темной монахини, встретившейся на большаке, принял в ее сознании образ апокалипсиса.

Главной же точкой, как и в прежнее время, все была Анюта, дорогая и единая дочь, светлое упование старею-

щей жизни. О ней думала она еще чаще, нежели о смерти. Ее судьба была неизвестна и минутами радовала, минутами пугала.

XXIV

Так прожила она — ровно и холодно — пять лет. Успела за это время схоронить мать, видела, как безбрежная река уносит одних, старит других, сводит на брак юные пары, поселяет страдания в крепко сжившихся, увлекает с родины, привлекает давних бобылей и скитальцев,— и в своем безмерном ходе не знает ни границ, ни времени, ни жалости, ни любви; ни даже, как казалось иногда, вообще какого-нибудь смысла.

Анюта тем временем вернулась милой девушкой и по хлопотам барыни получила место — сиделицей винной лавки в деревне Гайтрово, в пяти верстах.

XXV

Аграфена оставила свой дом и поселилась у ней. Смотрела за хозяйством, была как бы престарелой ключницей-матерью.

С Анютой жила подруга — Маня. Обе служили. Обе носили похожие голубенькие платьица, выдавали красноносым мужикам водку, хохотали весело, а потом Аграфена степенно поила их чаем из пузатых чашек: синих с золотыми крестами. На Святках ездили по очереди в гости, летом гуляли с учителем, пели во ржах «Укажи мне такую обитель». «Хохотушки, молоды.— Аграфена улыбалась.— Ну, дай им Бог, дай Бог». Но этот учитель стал ей неприятен.

«Долгогривый,— решила,— и что патлы жирные — нехорошо».

— Мамаша, знаете, Иван Васильевич замечательно образованный человек. Он читал даже Каутского.

«Читал, читал.— Аграфена соображала свое, и мнения не меняла.— Хоть бы Господа Бога».

Девушки над ней смеялись. Анюта прибавляла:

— У меня мать консервативного образа мыслей. А он демократ.

Друг Каутского мог говорить разные вещи, и бывал у них часто. Аграфена находила — чересчур часто. Анюта сначала хихикала, потом стала тише и серьезней, краснела

и по ночам не спала долго — ворочалась, вздыхала. Аграфена соображала все это и тоже отмалчивалась. Но тревога подымалась в ней. Перед утром просыпалась она иногда, отирала пот со лба и внутренно крестилась: «Дай Бог Анюте, дай Бог».

XXVI

Хорошо в светлом лете ласточкам носиться над полями, ржам шуметь сухим шорохом и глубокие думы думать тысячью колосьев; так же счастливы темно-синие васильки в хлебах. Так же девичье сердце овеяно вечным и сладким безумием любви. Сплетя венок из васильков и скромной кашки душистой, девушка ходит тайными тропами среди ржей, обнимая его, и в ее глазах — Анютиных — цвет анютиных глазок; давно выцвело ее голубое прежде платьице, одевая серо-синеватым тоном. Ее жизнь раскрыта перед ней, как небесная книга; за руку с милым, с другом Каутского, она убежала бы на край света. Но лучше сбежать с зеленого откоса просто к иве, пруду серебряному и туда бросать венок и хохотать...

Венок тонет. Почему? О, думать об этом некогда, столько еще счастья впереди.

Так идет в полях, отражая вечные образы любви, любовь дочери — там почти, где много лет назад, загадочно и обольстительно любила мать. А мать все это видит старою душою — как мелькает Анютин венок васильковый во ржах, как всегдашняя Офелия сидит у пруда; и матери кажется, что это ожили ее года, пришла далекая ее весна, и многолетние глаза вбирают со слезой — прощальный свет полей, солнца, которых скоро не будет.

XXVII

«Ты жила свои дни, девушка Анна, в любви; это были твои ранние дни — и опьяняющие. Но они прошли. Великое предначертанье повернуло от тебя лицо любви, любивший тебя полюбил другую. Это горе упало на твою детскую душу огненным попалением; а уже ты носила под сердцем росток нового человека. И не смогла снести этого. Кидалась к старой матери. Мать прокляла принесшего тебе несчастье; она ласкала тебя и утешала; и на бледной заре сторожила твой сон. Ты спала бредя. Мать же в этих твоих стенаниях узнавала свою прежнюю муку и черные

дни; острые ножи резали ее сердце. Так ты лежала сутки, в то время как твоя подруга уехала с человеком, любившим тебя ранее, и обручилась с ним кольцами».

«На вторые сутки, также перед зарей, мать задремала; проснувшись слегка, она увидела у твоего изголовья черную женщину в одеянии монашенки, в руках у которой был сосуд с темной влагой. И ты, Анна, припала к этому сосуду, жадно и долго пила. Он был опорожнен. Тогда монашенка медленно отошла и сказала матери: «Подаю тебе знак». Мать снова заснула. Ты же встала и прошла в предутренней росе к серебряному пруду — к той ветле, где сидела с ним. Там, подойдя, ты бросилась в светлую водную глубину. Она приняла тебя, и ты погибла. Мать же продолжала дремать в странном сне, как бы зачарованная. Когда проснулась, то сразу все поняла и ринулась искать тебя. Нашла твой белый платочек у омута и остановилась как вкопанная».

XXVIII

Любовь и смерть Анюты были для Аграфены как бы сном. Но и протирая глаза, не могла она не убедиться, что все это на самом деле. Мужики сбежались, с лодки достали багром труп Анюты. Прибежал батюшка; охал, утешал, но Аграфена не слушала. И не могла плакать. То, что наполняло ее, не равнялось слезам, а стояло за горизонтом человеческих слов и чувств.

Два дня лежало тело Анюты у матери. Она сидела с ним рядом, молчала, и не пускала никого. Ей казалось, что сейчас она знает нечто, чего сказать никому нельзя и чего все равно никто не поймет. Бледный же взор покойницы, быть может, понимает. Так сидя, она смотрела, как несколько дней назад, когда Анюта была еще больна. Тайна их немого разговора осталась между ними.

Потом надо было хоронить. Священник отказался. Аграфена отнеслась к этому равнодушно. На краю кладбища, за оградой, вырыли могилу.

Туда, без креста сверху, легла Анюта. Мать собственными руками засыпала над ней землю, вырубила из бедных берез два стволика, в белой естественной одежде, сбила крестом и водрузила. На него повесила малый венок. Затем долго ходила, ища дубовых ветвей. Нашедши, прибавила туда рябины и повесила также. Рябина алела вечной кровью на зелени дуба. Это нравилось Аграфене.

И еще нравилось — старый святой обычай — насыпать зерен скромных на гребень могилы и давать ими пищу птицам. А самой — сидеть поодаль и видеть, как вечные ветры овевают это место, как заходит солнце и прощально золотит дубовый венок — лавры смерти.

Так испила Аграфена последнюю чашу жизни. После долгих лет, мук любви, ревности, рождения и материнства, страха смерти и печали прохождения она узнала скорбь разлуки.

XXIX

Было утро. Солнце медленно вышло к миру и сквозь бледные облака одело землю в светло-перловые облачения. Они реяли над полями бледно-зелеными, бродили мягкими пятнами.

Аграфена, возвращаясь в Кременки, все не могла вспомнить, где, когда было то же. И вдруг на повороте дороги, сразу волшебным манием раскрылась перед ней ее жизнь и предстала светлая заря, семнадцатилетняя, когда на этом месте впервые увидала она синеглазого посетителя ее жизни. Сейчас, немолодой женщиной, подавленной тягостями, она вдруг затрепетала, как от таинственного тока, пришедшего к ней из тех дальних глубин. Волнение ее росло. Задыхаясь, Аграфена остановилась: вдруг показалось ей, что земля под ногами легче, все легче, волны божественного, ослепляющего нисходят навстречу.

Тогда она пала на колени, и внутреннее видение осенило ей душу; вся жизнь явилась ей в одном мгновении; все любви и муки понялись одинокими ручьями, сразу впавшими в безмерный и божественный океан любви, и данными ей как таинственные прообразы Любви единой и вечной. Из-за знакомых, дорогих когда-то лиц, к душам которых ее душа была прилеплена земной основой, восходя небесной к небу, выплыло новое, потопляющее всех единым светом Лицо, принимающее в сверхчеловеческое лоно.

«Господи, Господи, ты явился мне, ты все у меня взял, вот я нищая перед тобой, но я познала тебя в великой твоей силе, Господи, я вижу твою славу, Господи, возьми меня, я твоя, я тебя люблю».

XXX

Весь тот день, весь вечер провела Аграфена в молчании.

Она умылась, надела чистую белую рубашку и легла на ночь, скрестив руки.

Перед зарей закричали петухи. Стало сереть, серебриться, дымно-розовые пятна выступили над садами. Улица была тиха. Спали собаки, куры; пыль в серебре росы лежала на улице толстым слоем.

Тогда сквозь утреннее безмолвие неспавшая Аграфена услыхала приближение. Повернув голову, так что стал виден угол переулка, она заметила, что, не поднимая уличной пыли и не будя собак, под молчащими ветлами к ней идет черная фигура. Она ее узнала. И еще ступенью ровнее стало в ее душе. Монахиня приближалась. В руках держала сосуд: «Здравствуй, раба Аграфена».— «Здравствуй».— «Готова ли?» — «Готова». Монахиня ей поклонилась: «Вкуси». Аграфена медленно приподнялась, припала губами к чаше и долго пила. «Слышишь ли мою сладость? Идешь ли?» — «Слышу,— ответил наполовину не ее голос.— Иду».

Монахиня подала ей руку, она взяла ее — медленно-медленно затянулось все туманными завесами, как бы сменились великие картины, бренные на вечные, и чей-то голос сказал: «Вот идет та, которую называли бедным именем Аграфены, вкусить причастие вечной жизни».

Это были последние слова.

Москва, 1907

СПОКОЙСТВИЕ

I

Знакомый носильщик подошел и сказал:

— Пожалуйте, садиться можно-с.

Константин Андреич встал. Он показался себе тяжелым и высокого роста; однако, прошел по «залу первого класса» ровно, и только когда с перрона пахнуло зимой, утром, снегом, он от усталости немного пошатнулся. Но воздух вдыхал остро. Даже боль доставляло — глотать этот чудеснейший зимний дар.

— Цельное купе для вашей милости.

Он поблагодарил; снял шубу, расплатился. Артельщик ушел. Никого не было в светлом вагоне; на дверях отсветы снега, снизу струит свежим теплом. Затворив дверку, отразившись в небольшом ее зеркале, Константин Андреич сел. Опять ему показалось — так он просидит часы — если не годы? — и ничто его не сдвинет. Придет ли кондуктор, поедут ли, нет ли — это силы не имеет. Сильно то, что произошло.

С этой мыслью он оглянулся,— и зрелище вокзала, знакомых зданий, людей, вагонов напомнило ему, что видит он это в последний раз. «Ну что же,— сказал он себе,— идет снег, заносит следы вон тех служащих; и меня занесет. Если покинула и забыла та, кому отдано полжизни, то Артем и начальник станции забудут через час». Поезд тронулся. Поплыли склады, элеваторы, водонапорные башни, монастырь с кладбищем, фабрика,— и глубоко раскрылись декабрьские поля. Поезд канул в них; снег, казавшийся в городе симпатичным, свивался здесь метелями, суровый, недобрый.

«Крути, крути! — думал Константин Андреич.— Заметай». И прошлая его жизнь одевалась саванами; все выл, выл ветер. Чем дальше шел поезд — глубже погружалось сердце во мглу.

II

На станцию Ольгино приехали в полдень. Метель разыгрывалась. Точно спросонья вышел Константин Андреич из вагона и в буфете съел отбивную котлету. Как всегда, блестели холодно пирамидки вин; искусственные пальмы нагоняли тоску. Двое помещиков глотали борщ, на маленьких столиках гнездилась мелкота железнодорожная, за пивом.

Вот отворилась дверь,— заметенный снегом, с узлом в руках появился Кондрат.

— Ехать бы нам, не запаздывать!

Константин Андреич поднял голову.

— Рано еще. Куда спешить?

— Так мы думаем, барин, что шалят нынче по дорогам,— темноты не надо бы захватывать.

«А-а!» — Он усмехнулся.

— Ну ладно, ладно, только чай допью.

И когда Кондрат ушел,— громадный, стыдящийся своего роста,— он опять посмеялся: кажется, совсем новые чувства — «бандиты» будут по дороге грабить.

Через четверть часа, в облаках снега, они катили гуськом по большаку. Звенели колокольчики, дорогу передувало метелью; в лицо летели колючки снежные. Опять поля лежали вокруг,— веяло с них суровым! Будто говорило: «Заблудись, попробуй! Захвати темноты. Пусть лошади твои станут,— мы тебя укроем, возьмем мы тебя, закоченеешь на нашей груди». Он глядел на них холодно. «Пусть». И его дорожные мысли шли, как всегда, по тропе горькой, знакомой: что есть он? что ему дано, в чем его жизнь? Прошлое, может быть, никогда не умрет, как не умирают волны светлой стихии, раз всколыхнутой. Но теперь сердце немо; можно ехать дорогою, как сейчас,— но можно наугад блуждать, под знаком... неизвестности. Не правильней ли всего это?

Кондрат обернулся.

— Деваться им некуда. Кто из тюрьмы, кто еще откуда; ну и лазают по большакам. Намедни тут купца утюкали — вот, в ложочке.

Через минуту прибавил:

— Да и сами дохнут немало. Поди в пургу такую... Замерзают даже очень.

Нырнули в деревню. Пришлось ехать шагом — ухабы громоздились несметными горами, выше окон избенок: к дверям были прокопаны траншеи, окна напоминали люки; под самую крышу стены укутаны соломой. «Там внутри чернота, угар, холод; грязь, нищета, тупость столетняя,— ужас! Русь!» Соленая волна подступала к глазам; точно припало сердце к забытому, всегда родному. «Русь, Русь! — повторял он, когда выехали из Наумовского.— Горькая Рассея!» И ему казалось в ту минуту, что хорошо отдать за нее себя.

III

Жизнь в деревне охватила ровным, вольным течением. Стояли морозы. Просыпаясь по утрам, довольно рано, он видел, как багровое солнце вылезало из-за деревьев. На стеклах оно горело огненными рисунками, в инее; в комнату лучи ложились прозрачно, и что-то прохладно-звонкое стояло тогда в этой спальне, в гостиной рядом, где на портрете сияли красные пятна.

Топящиеся печи, мороз, стеклянность, пушисто-белый день впереди, полный искр, снега, тишины!

Около девяти он пил кофе. «Прадед мой,— говорил он себе,— курил трубку с чубуком длиннейшим. Вставал в четыре часа, казачок готовил для него уголь; и ходя взад и вперед, куря, он проводил годы. А в один день, восьмидесяти лет, заснул навсегда над этой трубкой».

И в мозгу потомка медленно шли мысли — о временах давних, курьезных помещиках, крепостничестве, годах Венецианова.

Пробегали часы; можно было взять лыжи,— над садом, на высоте двух аршин прошествовать по снегу в лощину; там березы белеют, прозрачные, как бы нежно-застывшие; облако инея одело их; синее небо между стволами, колкий, хрустальный воздух. Временами плывут ястребы; они похожи на северные видения, скользят тихо, по густому воздуху, и потом кричат одиноким криком. Может быть, им тоскливо здесь, на торжестве погребальном?

Вот человек на лыжах выбрался на подъем.

Поля вокруг пылают под солнцем — ослепляет смотреть. Если крикнуть, звук утонет в них; только ястребы

услышат, да пара воронов, полюбивших эту рощицу; возможно, заяц всколыхнется из-под кучи хвороста, даст стречка.

Звон. Это колокол соседнего села: раз, два,— двенадцать. Пора домой.

IV

Серым, пушистым днем Константин Андреич ехал в гости, к племяннице Любе. Чуть ходил ветерок по полям тихим, пели придорожные вехи. Немец шел остро; потрогивая его вожжой, Константин Андреич видел, как вырастал впереди небольшой заказ, тонувший в снегу.

Когда он в него въехал, тишина зимы поразила его; понял это и Немец — пошел шагом. Вероятно, и он вдыхал это кристальное благовоние, воздух, как бы сгустившийся в дивный зимний напиток.

Вдруг ему вспомнилось: такой же день, лес, но *ему* десять лет; и в эти же часы он стоит в двадцати шагах от отца на лосиной облаве. Загадочна чаща инеевая,— но вдруг оттуда выбредают странные существа, с горбатыми носами. Кто это? Лоси? Козы? И дальше — лихорадка, прицеливанье,— выстрел, сбоку другой, потом сумятица, кровь, убитые звери, туман, азарт...

«Все это *было*. Как давно!»

Стало видно имение Любы. Немец понял, что скоро будет овес — прибавил ходу. Обогнув парк, у которого сугробы закрывали ограду, Константин Андреич проехал вдоль молодого сада, выбегавшего глубоко в поле, и остановился у крыльца.

— Дядя Костя! Вот не ждала!

Он смеялся, целуя Любу, горевшую молодостью, румянцем.

— Ты, кажется, «веселая вдова»,— говорил он, снимая шубу в передней.— Не видал я тебя пять лет, ты теперь купчихой стала!

В доме Любы было грузно, домовито; эта женщина умела править тройкой, ездила на ярмарки, торговала лесом и при случае могла бы спустить с лестницы. Усадьба ее была в порядке; скотный, людские — каменные; десятки коров, молочное хозяйство, сады, сложный севооборот; на реке мельница-крупорушка.

Константину Андреичу даже нравился этот прочный, чуть кулаческий склад.

— Дядя, угощаю вас, нет, нет, как угодно, вы должны моих настоек попробовать! Вы этого не знаете, у меня удивительная наливка!

И она стала рассказывать, как одобряет их председатель управы.

А потом — пироги, грибы, пенящийся квас.

— Ты ведь, Люба, медицинских курсов не кончала?

— Какие там курсы! Замуж успела выйти, разойтись, а петербургское все побоку.

— Что ж, и «анархистов-коммунистов» тоже? Кадетов по-прежнему ненавидишь?

— Как тебе сказать...— Люба немного покраснела.— У них много даровитых, но, согласись... аграрная программа...

Ему вдруг стало весело. «А не поступить ли в земские начальники? Право?» Выпив несколько рюмок, он заговорил о том, как хорошо жить попам. И внезапно ему показалось, что это, может быть, правда, что нужно сделаться попом, бросить прежние горести, мечтания, а кадить, петь в церквах, ездить с требами, ждать часа своего незаказанно.

— Ты знаешь,— говорила Люба,— к нашему батюшке недавно экспроприаторы явились,— все взяли, что нашли. Я всегда думала, что в России революция примет страшные формы и ни к чему не приведет. Если б правительство своевременно сделало уступки...

Константин Андреич не слушал. Он уставился в одну точку, и вдруг заболело его сердце — издали глянуло забытое, давно любимое.

— Дядя Костя,— спросила Люба,— Наташа надолго уехала? Она за границей, кажется?

Он сказал холодно:

— Да, надолго.

Люба взглянула; видимо, поняла, на сколько именно. И захотела отвести разговор.

— Вот все дела, вы знаете, я сама никогда в Париже даже не была.

Константин Андреич стал рассказывать о Париже, Кельне. Но думал о другом — говорил неинтересно. Подали самовар, и зимний малый день пошел на убыль. Стекла запотели от самоварного пара, в комнате помутнело.

— Люба, милая, распорядись насчет лошади!

Прощаясь, она вздохнула:

— Счастливый вы, везде были. А я все только соби-

раюсь.— Потом прибавила: — Немца своего потрогивайте. Старайтесь домой до темноты.

Но как раз он ехал шагом и застал ночь. Он смотрел ей в глаза, как старой подруге. В ее черных складках бродили сейчас по равнине эти «человекозвери», грабящие и гибнущие, перекликаясь стонами с волками; замерзая в канавах.

«Если б при тебе запаливали Любины амбары?.. А твои собственные?»

Что такое? *Его* амбар? Вздор! «Правительство должно сделать уступки»...

Он дремал. Подъезжая к усадьбе, вдруг вспомнил, что кроме глупого еще о чем-то говорили за обедом. «Ах, да! Я не рассказывал ей нарочно ничего про Италию,— она бы все равно не поняла». Потом, через несколько времени, мысль: «Буду я еще *там?*»

Он вдруг улыбнулся и сказал про себя: «Италия» — и еще погодя: «Италия». Это доставило ему радость.

V

После обеда Константин Андреич ходил маятником; почему-то старался, чтоб звук шагов был слабый. Но это никому не мешало: со смерти родителей, о которых он сейчас думал, все было пустынно.

И его мысль .шла все туда же: где они теперь? В этих стенах протекла жизнь — долгая-долгая, так родная его сердцу. Здесь проходили любви, рождения и душевные боли, болезни, смерть. Сторожат ли жившие свое обиталище? Слышат ли сейчас его? А может быть, сами они не нашли покоя? И глух он, любивший их нежно?

Чуть взглянула луна, в комнате легли ее светлые ковры; на старых лицах портретов замерцало, бледно зажило.

Странное мление охватило. Луна подымалась, серебряно-дымней делалось в комнате. Он сел. Показалось, что сейчас будет остро-прекрасное, такое, чего никогда он не видел. Он ждал. Прошла минута — вдали ему послышались колокольчики. Ближе, ближе, он ясно знает, что тройка: остановились у крыльца, отворяются двери — он не может подняться. Но и не нужно — как задыхается сердце! Дверь открылась, да, Наташа. Как легка! Такой он не знал ее в самые высокие минуты.

«Ну вот видите,— говорит она, улыбаясь слегка, бледно

и ласково,— видите, вы тосковали, я пришла к вам. А вы думали, все между нами кончено?» И протягивает руки — светлые, светлые руки. Все дрожит в нем. Стал на колени, приложился к этим рукам. «Знаете ли,— сказал,— что вашего слова достаточно — я умру? Взгляните на меня, велите — и я сгину?» Она улыбается. «Какой вы милый, все такой же бедный рыцарь».

Потом она становится серьезней. «Не думайте, что я чужая; знайте, я вас люблю вечно». И трогается. «Вы мой — мой, в моих краях!»

Он не мог двинуться: потом склонил голову — к месту, где она стояла. Там никого не было; вдали звенели бубенчики.

Не скоро пришел он в себя. «Ага, я сон видел». Но тут же не поверил этому. Захотелось пройтись. Достал лыжи, всунул ноги в ремни, зашагал. Снег синел, лился огнями. Выше и выше всходила луна. В роще золотели инеевые березы. Дойдя до склона,— оттолкнулся, понесся вниз мягким, беззвучным ходом; точно летел в пустоте — все тонуло с ним. Лыжи ткнулись в березу; обсыпалась туча серебряная, он едва удержался; сверху, тяжко свистнув крыльями, слетели два ворона. Как чугунные ядра неслись они в воздухе; каркали глухо, на всю окрестность.

Константин же Андреич взобрался на следующий изволок и зашагал широко, под светилами пылавшими, по полю. Теперь он понимал, куда идет. В версте впереди маячили ветлы кладбища. Стало ровнее на сердце. А купол неба, раздвигаясь, блистая, был как бы великий голос, гремевший мирами, огнями. «Звезда волхвов,— твердил он,— звезда волхвов». Новая сила гнала его вперед.

Вот и кладбище — в светлых снежных волнах; могилы укутаны, кресты как бы лежат главами на снегу. Странно было проходить над усопшими. Точно медленный, зимний хорал восходил от них кверху.

Родные могилы рядом, в одной ограде; прошлогодний венок. Крест с блистающей позолотой. Здесь он долго сидел. Молчание вокруг было все золотее. В его чистоте подымалась, омываясь, душа; область, заслонявшаяся прежде мелким, выступала свободней; и в ней, медленно и решительно, стал он понимать связь бывшего час назад с теперешним. «Спите мирно,— думал он, глядя на могилы,— спите, дорогие души; там, где еще блистательней свет, все мы, родные любовью, соединены нерасторжимо».

И безмолвно его дух тонул: в далеком, безглагольном; где тишина и беспечалие — эфир вечный.

Возвращался с кладбища он ясным.

VI

— Я вывожу вас в свет, дядя Костя, вывожу, как хотите! Должны подчиняться.

Константин Андреич с Любой смеялись, подъезжая вечером к усадьбе Людмилы Ильиничны. Повернули два раза — наконец, подкатили.

— Любочка! Да не одна еще! Милости просим, очень, очень рада.

Людмила Ильинична сияла, полнота ее весело играла под платьем.

Приехали вовремя; клубил самовар, были гости,— лица поблескивали там и тут.

— Позвольте познакомить — Иван Поликарпович, Анна Львовна, господин Пересыпин... милости прошу, у нас тесный круг знакомых, соседи преимущественно.

Явились барышни — с видом рыжевато-розовым, открытыми шейками, намереваясь лететь в эмпирей; держались под ручку. Оживление, шум усиливались. Люба погрузилась в разговор о молочном хозяйстве; вдали, на фоне закоптелых стен с висящим оружием ярился «местный становой» с переломанным носом, как бы двустворчатым.

— И представьте себе (он багровел) — целюсь, бац, что вы думаете, четырнадцать дупелей!

Плавный Пересыпин качал головой — скорбно, но без злобы.

Становой вдруг затрясся, ударил кулаком по столу:

— Клянусь честью!

Он волновался потому, что давно никто ему не верил.

— Этот становой,— шепнул Константину Андреичу сосед, длинноносый, семинаро-либерального вида человек,— живой анахронизм. Пережиток дореформенного.

«Милейший народ, забавно,— думал Константин Андреич.— В свет выехали. Ну-ну!»

Высокий лоб соседа, таинственно-курчавые волосы его и очки говорили за то, что «трудовик» и многое такое понимает, о чем здесь нельзя говорить.

— Земство в руках дворян, купцов. Всесословная волость, мелкая земская единица,— вот база...

«Если бы правительство вовремя пошло на уступки»,— вдруг вспомнил Константин Андреич и почувствовал, как и тогда, все начинает сплываться; тонет, обращается в медленный вихрь, где трудно разобрать слова, физиономии, мысли...

— Нет, милая, не могу вам эту корову продать, не могу, только что с телу.

— Кирпича эти подлецы так и не вывезли.

— Экспроприаторы — клянусь мундиром военного — все трусы до единого. Берусь пять штук живьем взять, как зайцев в торока.

Из чайного поле битвы обращалось в ужинное. Алчно горели посреди графинчики, английская горькая подымала журавлиное горлышко; водка простая была скромна, твердо знала свою силу.

Людмила Ильинична захлопоталась. Но натравливать мужчин на водку не приходилось: слишком большой магнит был в ней. К закуске отсортировались рьянейшие, рюмки ходили внутрь с кряками, прибаутками, хрустеньем огурцов.

Всех замутил хмель. И теперь на самом деле сливались голоса, смех походил на оркестровое исполнение. А для Константина Андреича из этого временами выползал голосок соседа — господина Пересыпина:

— Давно изволили в деревню приехать?

Потом, через равные промежутки:

— А зайчиков у вас много?

. . . .

— Так вы к нам довольно надолго?

И дальше: водятся ли волки, «лисички», вальдшнепы и прочее,— с тихим, толсто-бабьим видом и тоном полнейшего благодушия. Казалось, если спросить о политике, любви, войне, он подумает, скажет:

— Так вы говорите, зайчиков у вас достаточно?

После ужина были танцы; лихие помещики, молодые, типа поддевочно-нагаечного, завивали ус, вращаясь с барышнями в «венском», разных «чардашах».

Константин Андреич отбился. Он сидел в углу и глядел в окошко мимо белых оклеенных рам. Свет падал наружу, узким куском; в нем свистала, все свистала метель, такая же буйная, дикая, как прежде.

Временами так била она где-то железо, так сыпала в стекла, что, казалось — вот сейчас подхватит, размечет в легкие щепки этот дом, вскинет в разные стороны доре-

форменных, послереформенных,— свет загасит, и сердце, устающее от трепака, заморозит.

«Ну-ка, ну, ну! — подгонял он ее.— Махни!» Но ничего не было. Подошла хозяйка, стала его занимать. Он отговаривался как умел. Однако, Люба и другие думали, что ему скучно. Константин Андреич не протестовал (хотя это была неправда). Люба сказала, что чувствует усталость, и, несмотря на метель, упрашиванья, через полчаса они уехали.

VII

Отодвинув ящик стола, Константин Андреич разбирал карточки: охотничья группа — из детства, брат верхом, мальчиком; когда очень шибко пускали лошадей, он кричал в отчаянье: «Не удержал, не удержал!»

А вот — сразу огромный перерыв: открытка итальянская; пляж, кабинки, сбоку рыбачий поселок.

Он вздохнул.

Завтра увижу я башни Ливурны,
Завтра увижу Элизий земной!

Это близ Пизы. Там они жили летом, вдвоем, в захолустье. Комнату брали у содержательницы fiaschetteri'u[1], среди рыбаков, на канале. После обеда, валяясь по широкой постели, видели, как брели красными крыльями паруса рыбацких суден — в тридцати шагах.

С набережной мальчишки бросались в воду. А вечером горы — нежные, бледно-фиолетовые, подымали венцы свои; они были задумчивы, прозрачно-плывущие.

Когда темнело, маяк зажигался; шипит море — но ласково; а они в ресторанчике, на берегу, всегда одни в нем; «chianti bonissimo»[2], жаренные на вертеле бифштексы, грибы-fungi.

«Неужели не увижу никогда? Неужели...»

Под этим чувством прожил он весь день. А назавтра глянуло солнце февральское, погрело; стало капать. То же было через день, и еще. Что-то подмывало его. Наскучили деревня, невылазность, одиночество. В это время Кондрат привез с почты письмо. В нем Федя, молодой друг

---

[1] пивной *(ит.)*.

[2] «превосходное кьянти» *(ит.)*.— Тосканское виноградное вино.

Константина Андреича, сообщал ему, что «любит и уезжает». Он внутренно поулыбался.

«Ну конечно, влюблен. А куда едет-то?» Оказалось — в Венецию. Неужели Hochzeitsreise[1]? Все немцы в таких случаях в Венецию. Глупо. Но вышло, что не Hochzeitsreise. Это немного его успокоило. «Все-таки, очень уж «поэтически»: наверно, будет на гондолах ездить, серенады слушать по каналам». И он написал ему, спрашивая о подробностях. Федя ответил, что уезжает один, что любит, это верно, но что дела его весьма темны — ничего толком сказать нельзя. «Костя, дорогой,— приписал он сбоку,— не соберешься ли со мною? Как бы это было хорошо! Восторг!» Он задумался довольно серьезно. Гадал, гадал, наконец ответил: «Через неделю, не раньше».

VIII

За день до выезда, часа в два ночи, Константин Андреич проснулся. Лаяли собаки. Они часто лаяли ночью, но сегодня особенно. Взяв палку, одевшись, он вышел.

Была луна.

Светло синея, падала тень от дома; яблони оплетались узором ветвей, как легкой сеткой; белели следы.

Глядя на Сириус огнистый, вольно дыша, Константин Андреич шел ко флигелю. Его удивило, что дверь отворена. Собаки стояли полукругом. «Есть там кто-нибудь? Свой? Чужой?» Он приостановился. «Вернуться, взять револьвер?» Но внезапно легкая, внутренняя веселость прошла по нем, как бы подталкивая, и, велев собакам молчать, он вошел в сени. Тут же стало ясно, что *есть*, и еще раз внешний голос сказал: «Уходи», но более сильное, склонное к решительному, толкнуло войти. Во второй комнате, освещенной луной, стоял человек, роясь в комоде. Услышав шаги, заметя вошедшего, он передернулся, сразу отпрянул в угол, и в его руке метнулось что-то. Константин Андреич не успел рассмотреть — огнем разорвало сумрак, ударило, незнакомый бросился в другой угол. Константин Андреич замер: «А-а, это меня убивают». Снова то же чувство, ясное и мирное, прикрепило его к месту. Неизвестный вторично щелкнул, но не выстрелил. «Осечка! Все равно, сейчас третий...» Человек бросил оружие. Кинулся к стулу, тяжко сел, подперев голову руками.

— Бейте меня,— сказал глухо.— Берите.

[1] свадебное путешествие *(нем.)*.

Потом вдруг закричал:

— Дворню зовите, вяжите, что ли. Надоело мне. Околевать надо. Будет.

— Это вы хотели меня убить,— сказал Константин Андреич.— А я вовсе не собираюсь.

— Да, я два дня не ел... Нисколько бы не пожалел, если б вас подстрелил.

— Время есть еще. Можете исправить ошибку.

— Не глумитесь надо мной, вы! — вскрикнул неизвестный, подойдя совсем близко. С виду он походил на «сознательного рабочего»; бледный, тусклые глаза. Под пальто синяя рубаха.

— Надоело все, слышите? Прятаться устал.

Константин Андреич удивлялся: смерть, выстрелы, револьвер — сразу отошло и осталось сзади, а сейчас перед ним молодой и довольно нелепый человек, с большою тоской — просто кто-нибудь из его прежних знакомых, «товарищ Семенов».

— Ах, Боже мой, Боже мой! — произнес он только.

Семенов помолчал, потом спросил:

— Что ж вы меня не берете?

— Бросьте глупости! Куда там еще вас брать... Ваш пистолет не устрашает меня... хотя стрелять по мне бессмысленно...

Не зная, что делать, они мялись.

— Дайте мне поесть,— сказал Семенов.

— Идем.

Семенов шел сзади. Он, видимо, пал духом, и сейчас его мог бы взять малый ребенок.

— Что же вы думали найти в комоде?

— Мало ли что. Впрочем, это глупо было, конечно. Я просто умираю от холода... вообще от всего. С большой дороги завернул. Нет ли у вас водки?

Константин Андреич зажег в столовой лампу. Посетитель сел, выпил несколько рюмок. На вопросы отвечал угрюмо.

— Не все ли вам равно? Был политическим, матросом, за границей... Сидел. Бежал, теперь ищут. Где-нибудь дорогой сдохну.

— А товарищи?

— Нету товарищей.

Посидев немного, улыбнулся.

— Мне теперь каюк пришел. Я знаю. Много на своем веку колобродил, в каких историях ни бывал... только вы-

ходит мне конец... Впрочем — скучно, если б иначе. Я иду сейчас вперед, размышляю: вот она меня хватит — и лягу. Бывают старые собаки: вздыхают по вечерам, как люди. Конец свой знают. Я такой же.

— Да можете ж работать... ну просто, по-человечески?

— Нет. Состою под судом, скрываюсь. И суд — военный.

Константин Андреич глядел на него. Правда, в нем было роковое. Тусклость глаз и легкость, с какою он говорил, напомнили ему, как он сам входил во флигель.

«Что ж, пожалуй, прав он».

Семенов закурил. В глазах его было теперь желание бравировать.

— Когда вешают, вовсе не страшно. Говорят, даже приятная смерть. А признайтесь, струсили, как я в вас запалил?

— Не особенно. Почему вы думаете, что только у вас привилегия... насчет смерти, всякой такой вещи? Хотя, конечно, я выстрелов не люблю.

Семенов смеялся.

— А знаете, у меня в кармане еще револьвер есть, другой?

— Ну?

— А если я...

Он вдруг вынул его и положил с собой рядом.

— Если я вас все-таки убью.

Константин Андреич обозлился.

— Вам угодно меня пугать? Извольте убрать сейчас же, слышите вы?

Он ударил костяшкой пальца по столу, схватил Семенова. Но тот уже сдался. Опять усмехнулся — теперь мягко, чуть конфузясь даже.

— Нет,— сказал тихо,— зачем вас убивать? Глупость это.

Через несколько времени стихли оба. Семенов сидел понуро. Что-то в нем стало роднее, как бы ближе и мягче.

— А иной раз думаешь: ведь всем собой шел... на лучшее! Понимаете? Ну, погибну,— а ведь сколько во мне было? Неужели ничего из крови моей не выйдет? Из земли, кровью удобренной? Ведь за *всех* шел... Это я теперь... так... отчаялся!

Константин Андреич молчал. Ему вспомнилось: маленький еврей-социалист, раненный из засады в столице. Перед тем долго скрывался у *них* в городской квартире.

в очках, робкий,— геройски прикрывавший товарищей собственным телом. Ему прострелили живот; он не мог переваривать пищу, лежал с почернелым лицом, с кругами синими, крепко пожимал руку навещавшим. Задыхался и говорил, улыбаясь: «Движение растет, бессомненно». И кроме легких — задыхался от счастья. Но когда полубольной, чуть оправившись, уезжал на родину, в старом пальто Константина Андреича,— на прощанье поцеловался с Наташей, заплакал по-детски, сказал:

— Спасибо за гостеприимство. Больше уж не увидимся. Бессомненно.

Все тогда ревели. Он умер через два месяца от раны.

Семенов встал.

— Я иду, прощайте. Спасибо.

Константин Андреич предлагал ночлег. Он отказался. До большака шли вместе.

— До свиданья,— сказал Семенов.— Вы провели странную ночь. Правда?

Он дал ему денег. Тот взял, поблагодарил, зашагал под блистающим небом навстречу Медведице. Луна зашла. Ночь темно синела. Константин Андреич возвращался. Ему казалось, что сегодня ему дан последний напутственный привет родины. Голос этого привета был внятен. Так слышал он его, что клубок подкатывал к горлу, на глаза шла едкая слеза. Упал бы на эту землю мерзлую, дорогую, бедную землю, прижал бы к сердцу...

«Мать,— когда раскроется твоя правда?»

IX

Из Вены поезд отходил утром, в семь часов. Константин Андреич с Федей лезли в вагон.

— Venedig?.. gerade? — бормотал Федя.— Aber, Herr Träger...[1]

Но «хэрр трегер» мало обращал внимания на человека третьего класса; да и вещи Федины были плохи: чемоданчик и плед в ремнях, который он никогда не мог толком завязать.

Маленький человек в глубине вагона поершился слегка: «Ну, конечно, русские, языков не знают». Он был довольно полн, выглядел шестидесятником.

— Не можешь себе представить, как мне трудно дают-

---

[1] Венеция?.. Прямо?.. Но, господин носильщик... *(нем.)*

ся эти немцы, вокзалы...— Федя отирал лицо, успокаивал волосы. Но сиял, видимо, радовался езде, Италии.

— Gerade-gerade, а ныне вечером в Венеции будем!

Константин Андреич тоже радовался. Воздух плеснул в лицо — светлый, вольный; дали раскрылись; направо замок, впереди Земмеринг, поезд марш-маршем.

В полупустом вагоне чисто, совсем славно, только жестко немного — третий класс. Зато дух бедности, здоровья.

— Ну, хорошо, когда же ваши будут?

Федя сразу заиграл.

— Думаю, дня через два.

Подошел шестидесятник.

— В Понтеббе придется брать доплату. Там до Венеции вторым надо. Вы туда же? Давайте знакомиться.

Он улыбался. Их беззащитность умягчила его.

— Как все почти русские, вы едете без достаточной подготовки. Это сразу видно.

Константин Андреич вздохнул.

— Вот Федор Иваныч любит Леонардо.

Шестидесятник глянул на Федю,— ласково, но не поверил.

— Волынского читали, наверно. Молодежь всегда так. Классиков не знают, а все только бы помоднее. Леониду Андрееву поклоняетесь?

— Конечно, я не подготовлен,— сказал Федя.— Но... меня ужасно тянет сюда. Ведь только двое — Данте да Леонардо (а Микель-анджело?) — ведь это... это, мне кажется, половина мира.

Шестидесятник подымил.

— Правильно.

— Хорошо, я неуч. Да, ведь, Италия не хуже от этого?

Шестидесятник акцептировал. Вообще он скоро обошелся, бросил ершение,— оказался даже приятным шестидесятником.

Назвал отель в Венеции, давал советы; дорогою рассказывал.

— Это река Мур. Горы называются Земмеринг — замечательные туннели; видите лесопилку внизу? Мы три раза объедем ее, все в гору.

Так шел день; на станциях выбегали, тянули пиво с сосисками на лету, Федя путал крейцеры. В Тироле принимал немцев за охотников,— у всех были зеленые шляпы с пером.

— Это Вильгельм Телль так носил,— сказал Константин Андреич.

Шестидесятник хохотал, глумился над Федей, «охотниками».

— Вы здесь, батюшка, этих охотников до самой Понтеббы увидите.

За Леобеном стало хмуриться; виднелись Альпы, дальние, со снегом. Все немного устали. Болтали немцы, сизел трубочный дым. Федя задремал. Его лицо было бледно, еще тоньше и как бы трепетней; под глазами обозначились провалы. Константин Андреич смотрел на него — что-то было в этом юноше не совсем обычное. «Как он спит, точно надолго уснул, надолго». И вдруг ему показалось,— такой же он будет в смертный свой час. «Фу, я вздор все думаю». Он отвернулся, стал глядеть в окно. Вдали шли горы; перед глазами были огромнейшие, в снежных верхах; из-за них клубились в облаках солнечные лучи; беспрерывно ходило что-то над ними, переливались цвета, и горы внезапно золотели; потом оранжевели. «Верно, Бог являлся на таких горах, наверно так... И Моисей, вероятно...»

— Вы ментор этого молодого человека? — спросил шестидесятник.

Константин Андреич улыбнулся.

— Да, я тень, сопровождающая его.

После он спрашивал себя: почему сказал: «тень». И не мог объяснить. Но чувствовал, что сказано верно.

X

Облака на небе были бледны; в канале они отражались слабым реяньем: жемчугом отливала вода — на всем тусклый, бессолнечный день, смягчавший гамму Венеции.

У Риальто пароходик, где плыли Федя с Константином Андреичем, застопорил; среди вошедших был худой человек в берете; костюм его из грубой ткани, серый, изящный; чуть рачьи глаза.

— Константин Андреич! Да вы же ведь это!

Константин Андреич тоже вскочил — кинулись целоваться: так, от удовольствия встречи.

— Я смотрю, вижу: он! Ну, бывайте здоровы.

Знакомясь с Федей, он назвал себя:

— Климухин.

Константин Андреич прибавил:

— Венецианец.

Климухин захохотал.

— Ты держись теперь, Федя,— сказал Константин Андреич,— он тебя убьет, если плохо скажешь о Венеции.

Климухин заложил ногу за ногу, закурил; показал при этом необыкновенную обувь.

— Это верно. Я хоть и скучаю за Россией (я сам из Полтавской губернии), а Венецию люблю. Пятнадцать лет знаю.

И стал рассказывать — жестикулируя, вставая, садясь; иногда вдруг вскакивал, придвигал близорукие глаза в пенсне к самому Федину носу; несколько секунд глядел на него так, для убедительности.

Константин Андреич давно знал его и любил; даже повеселел, встретившись; потянуло родным.

— Благоприятная звезда свела нас,— сказал он.

Климухин в это время от волнения сел на лавке почти на корточки, рассказывая о Беллини; берет его съезжал, он упорно держал Федю за пуговицу.

— Да, благоприятная... Так вот, когда я видел его, процессию монахов...

«Не до того теперь Климуше,— надо историю досказать. И наверно помнит, в котором году это было, сколько тогда в отеле платил».

Встреча с Климухиным была, действительно, счастлива. Отправились в ресторанчик. По закоулкам Климухин привел в знакомое учреждение, где под стеклянной крышей, среди кадушек с цветами, они должны были «пробезумствовать» один, два десятка лир. Климухин кланялся со всеми.

— Vittorio,— сказал он лакею.

Витторио подошел.

— Ecco amici russi![1]

В его лице так неотразимо было убеждение, что Витторио это тоже крайне интересно, что лакей поддался, одобрительно, быстро забубнил что-то. Климухин снова засыпал по-итальянски — вероятно, еще приятнее.

Оба хохотали.

---

[1] Это русские друзья! *(ит.)*

— Хороший старик. Я его знаю лет десять.

Vittorio служил с азартом, чуя награду. После «веронского» пили асти, вспенявшееся, сладковатое. Чуть заструило в голове, пробежал легкий огонь. Показалось,— все теперь пойдет быстрее, занятней.

— Скоро здесь будут еще русские,— сказал Константин Андреич.— Госпожа Туманова с мужем.

Климухин склонился к нему через стол, остановил глаза в вершке расстояния.

— Не из Киева ль?

— Да.

— А что? — спросил Федя.

Климухин быстро глянул, что-то мелькнуло в его лице, но, мгновенно собравшись, он спокойно сказал:

— Ничего. Знавал ее — коли не однофамилица. San-Giorgio видали? Допивайте, идем.

San-Giorgio была знаменитая церковь; ни Федя, ни Константин Андреич ее не знали.

Ходили не зря; хороша была старая церковь — маленькая, в сумраке, квадратная; по стенам скамьи; картины Карпаччио: святой Георгий разит дракона. Георгий темный, резкий, летящий на коне, с копьем.

— Artista celeberrite,— шамкал старичишка, двух аршин росту.— Tutti ritratti, tutti, tutti...[1] — Дрожащей рукой наводил свет зеркала, показывая палкой, кто чей портрет.

А уже сверху лег розовый отблеск: заря. И когда вышли, утишенные, став серьезней, венецианский вечер разметнулся: облака ушли, ясное, бледно-желтеющее небо залило верх, внизу краснело. Взморье к Лидо стеклянело, легко колебля влагу. Тонко гнул весло гондольер; оно вздымало зеркальную пену. Белый крейсер зарумянился, утихала водная гладь, плавнела, оцепившись по берегу золотыми фонариками.

Все молчали. Казалось, небо, дворцы, башня — перед вечером объялись сном: задумались, задумались, вспоминая.

Гондола понимает с полуслова, даст ей знак гондольер — скользнет, вздохнув водяным вздохом; летит вправо, влево.

Катались до темноты.

---

[1] Знаменитейший художник... Все портреты, все, все... *(ит.)*

XI

Утром на Сан-Марковой пьяцце пили кофе — Федя, Климухин, Туманова и еще желтоватый человек лет под сорок, в дорогом платье, усталый.

Константин Андреич подходил. «Да, да»,— думал он, пожимая руку Тумановой — тонкую, с огненным бриллиантом. «Да, это женщина». Но как *он* защищен от нее! Федя не выбьется. А ему до этой светлой дамы, со смеющимися углами глаз — как далеко, какой к ней холод.

Играло солнце, неяркое, опаловое, блестя в голубях, хрустале витрин, в волосах и жемчужных гребенках Тумановой. Сияли мозаики.

Она обернулась.

— Мне Федор Иваныч много про вас говорил. И все же никогда не угадаешь. Я представляла вас с большой бородой, почему-то.

Феде страшно нравилось, что она сказала «с бородой». Блеск ее аграфа сверкал у него в глазах.

Константин Андреич смотрел длинно — с любопытством и объективно.

— И я о вас много знаю.

Усталый человек разговаривал с Климухиным. На последнем слове вдруг остановился; вежливо, с малой насмешкой повел глаза вбок, взглядом встретившись с говорившим.

— А про меня тоже много?

Константин Андреич ответил также вежливо:

— Нет, про вас мало.

Засмеялись. Климухин выбивал из трубочки табак, необыкновенно закладывал ногу за ногу; казалось, он мог скрестить их, как руки.

— Господа,— сказал он,— ведь вот бражничаем, а к Дожам надо же сходить.

Муж устало, но твердо поддерживал. Пошли. Бледножелтый муж с Климухиным, трое сзади.

— Федя есть ваш Ланчелот,— сказал Константин Андреич, посмеиваясь, но и серьезно.— Вы знаете, он не наших времен уроженец.

Туманова тоже смеялась. Федя краснел.

— Кто же он?

— Средневековый человек.

Федя молчал, только глаза его сияли; действительно,

его юность блистательная, тонкость линий, как бы девичество, делало его пажем.

Так дошли до Дожей. Константин Андреич остался. Он сел на пристани, у льва Венеции,— смотрел на воду. Теперь она была светло-сиреневая. Чуть рябил ее ветер, шхуна с оранжевыми парусами брела безвольно.

Ему вспомнились стихи; он забыл в них все, кроме последней строчки: «Che va dicendo all'anima: sospira»[1]. Эта строка сливалась со шхуной, сиреневым, еще чем-то дальним, чудесным, чего нельзя было назвать.

Он ее повторял.

Во дворце Дожей сумрачно. Медленно уходят бородатые Дожи один за другим, под тихий марш.

Весь глухой дворец, вытертые ручки кресел, брошенный Веронез, роскошь, баталии, дрожащий пол — марш разлуки Дожей. И две красные колонны среди белых на балюстраде — оттуда говорили смертный приговор — покидание Дожей.

Постоянно уходят они, бородатые, высокие Дожи в беретах, под свой марш.

Гигантская реставрация Тинторетто загородила поперек залу. Муж и Климухин прошли вперед. Стояли подставки, леса — Федя с Тумановой забрели в закоулок, откуда не было выхода.

— Плен,— сказал Федя.— Некуда.— И засмеялся.

— Ну, что же вам, вы человек средневековый... там у вас часто, ведь, так?

Туманова смеялась; углы губ ее вздрагивали.

Федя вдруг замолчал.

— Знаете вы, как я вас ждал?

Она села на пыльный подоконник, стала глядеть наружу. Рисовала пальцем по пыли. Потом вдруг сверкнула.

— Вы влюблены в меня? Ах, как вы любите! Я знаю. И ваш друг ко мне враждебен. Все равно.

Федя не отвечал.

— А вам жить очень нравится?

---

[1] «И говорил душе: «Живи, вздыхая» *(ит.)*. *Данте.* Сонет из книги «Новая Жизнь». Гл. XXVI.

— Да,— сказал Федя твердо.— Если...

— А «если» — нет?

Федя молчал. Она поняла.

— А за меня... Впрочем, нет... не надо.

Вдруг она поблекла.

— Уходите лучше. Вздыхайте. Вы молиться, наверно, любите?

Федя подошел на шаг.

— Я вас люблю. И...— мы должны вместе быть. Кто б тут ни был, что бы... Я знаю,— почти крикнул он, но тихим голосом,— моя жизнь у вас.

Она подняла глаза, потом зажмурилась.

— А в канал прыгнешь?

Федя придвинулся.

— Мне выбора нет.

Она нагнулась — обняли его две руки, мягко повисли на нем; он понял: этого не могла она сказать.

XII

Пароход шел к Лидо. Сверкало по воде солнце, клубы пены, зеркально-белой, рвались за кормой, убегая легкой струйкой.

На носу горела в солнечном огне Туманова, в ярко-красном платье; ветер ее облекал, хватал, ласкал. В нем летели концы шелковой вуали. Константину Андреичу нравилось смотреть на нее. «Отлично, вперед, вперед, с пароходом, солнцем, ветром. Пусть в глазах отблеск воды, на лице блики, пускай так, очень хорошо».

Рядом с Федей, напряженная до высшего, излучая пламень,— казалось, она вдруг закричит звеняще, дикой, чудесной нотой, кинется в пену, водоворот, как ярая наяда.

Но уже поздно было бросаться; машина стопорила, канаты подтягивали к пристани. Здесь собирались купаться. Муж с Климухиным смотрели в этот день стеклянные фабрики — они были только втроем.

— Сегодня большая волна,— сказал беньер.— Господа должны быть осторожны.

Засмеялись. Туманова двинулась налево, к дамам. При раздеванье, Константин Андреич любовался тонким белым Фединым телом. «Тростинка хорошая, больше ничего».

Черные трико сделали их еще тоньше. Берег был усеян кабинками, людьми; в тени мамаши с вязаньем, около

детей; ребята тройкой влетают в море со старшим; десятки толстяков на песке, полузасыпанные, жарятся в солнце. А море Адриатическое, синее, с белыми валами, без удержу бьет. Легкое, бело-кипящее! Схватить человека, выбросить на гребень, ошипить миллионом пузырьков — с радостью, весело похоронить под следующей горой.

За канатом, куда выходят лишь пловцы, встретились все. Туманова была в чепце, снова в красном, глухом костюме. Только руки алебастровые голы, и сияют, блестя водой.

— Плывем?

Кинулись. Даже Константина Андреича увлекло. Рваться вперед, ждать, задыхаться под валом и взмывать на следующем! «Я лягу в дрейф,— решил он, и пошел вбок волнению, отделяясь от Феди с Тумановой.— Пусть идут в море, пусть схватит их там, кинет друг к другу... ну, потопит... разве это важно? — И он смеялся на себя.— Вот если хлопнет сейчас меня, что будет? Напишут в «джорналях», что неосторожный русский погиб».

И с радостью, слабостью, он отдавался. Лег на спину. Теперь было видно небо, в валах наступил перерыв: лишь слегка его покачивало. «Наташа, когда я умру, я тебя увижу». С этим он закрыл глаза, как бы собираясь куда-то. Большой мир был в нем; хотелось плыть тихо, ничего не видя, пока не настанет... «Утонете, назад! назад!» — это кричал в десяти шагах наблюдатель-беньер. Он очнулся. Набегал гигант, веселый, зыбкий; едва успел опомниться — грохнуло по голове, ушам, залило, утушило на минуту человеческий огонек; но и скакун разбился — полетел дальше светлой пеной. Константин же Андреич снова видел волны, и на горизонте глубоко нырявшую шхуну,— уходившую. «Ах, ты уходишь!» — он вздохнул. И так как очень устал, поплыл к берегу.

В ресторане пили кофе. Подали бенедиктин — душистую жидкость, глубоко настоянную самой природой.

Туманова вздрагивала.

— Дивная вода. Все тело избито, как остро, солоно! Если б не вы, я совсем уплыла бы. Как дельфины. Что за чудо — нырять дельфином!

Ветер усилился. Теперь волны ухали, руша кипящую силу на берег. Пыль, соленая, жгучая, взлетала туманом.

Федя тоже пылал. Давно не видел его таким Константин Андреич.

— Константин,— говорил он,— знаешь Капри? Monte Solaro[1] видел? Там цикламены цветут на самом верху, в камнях... И Сицилию видно. Вниз — отвес. Понимаешь? Бог мой, иногда, засыпая (когда бывает очень хорошо), думаешь: лечь там на край, и с края... вниз. Как захватывает дух! Весь замлеешь. Верно, задохнешься... пока долетишь. Как метеор!

Константин Андреич ответил не сразу.

— Туда надо идти с той, кого любишь. И в лучший момент...

Он показал рукой вниз.

Помолчали.

— Так.

Все глянули друг ну друга. Потом сразу опустили глаза,— точно перед чьей-то большой правдой.

— «Потому что есть минуты твоего торжества, человек».

— «И твоей смерти».

Долго еще не сходил с них штиль. Это секунды пробыли они в общении; а когда очнулись, разговор порвался. Стали собираться. Константин Андреич уезжал отдельно,— пожимая ему руку на прощанье, Федя нагнулся, шепнул: «Мы решили с ней все. Понимаешь?»

Он кивнул.

XIII

Вечер выдался красный. S. Maria[1] тонула в пламени: ее абрис был тоньше, круглей, заливаемый огненным потоком.

Кровавела и вода.

Константин Андреич сидел один в своем отеле, у вокзала. В окно виднелся закат, дворик, белье висящее, черепичные крыши, коты, пара прачек внизу, травка. Это резко напоминало о чем-то, надвигая тяжесть на душу. И вообще ему было плохо. Пробовал валяться на постели, зажег свет, читал. Но мешал бередящий красный цвет, и, промучившись часа два, он спустился вниз. Никого не хотелось видеть, ни Климухина, ни шестидесятника, с которым

---

[1] Гору Соларо *(ит.)*.

[2] Церковь Санта Мария *(ит.)*.

вчера они были в соборе. Он ужинал один, в пустой столовой отеля. Ел суп, запивал ризотто вином, но знал, что все не так, не то.

Довольно поздно вышел. Была луна. «Какая гадость,— думал,— Венеция при луне!» — и вдруг улыбнулся, вспомнив, что именно такую Венецию видел в Москве, в одном трактирчике: с гондолами, луной.

«Маскарад, опера!» Действительно, в узких уличках висели фонари таверн, матросы сновали, и, закутавшись в шали, на деревянных каблучках, постукивали ножками венецианки. Он смотрел на двух таких,— они шли под руку; луна блестела в маслянисто-черных волосах; от фигур падали тени. «А, тени... вот как». Он соображал. «Тени...— это я». И теперь ему стало ясно. «Натали,— сказал он себе,— Натали!» От этого слова захватило дух. «Да, я призывал вас тогда, на море, думая, что тону. Я вас хотел видеть». Но сейчас ему смертно захотелось взять ее руку теплую, прижать к щеке, поцеловать. *За* жизнью она с ним вечно; но ведь он *человек*! «Хорошо, а волос ее не увижу? Родинку на руке?»

Тысяча мелких, телесных черт встала: голос, запах, слова, где столько прелести женской,— в их несвязности, а вместе — уме. Ничего нет.

Тьма, чужбина, водяной этот город, и до утра ты будешь слоняться по закоулкам. Видишь — отразилось небо в канале, он полон звезд, глубина его сияет. Может быть, тебе пойти туда? Но ты сядешь у парапета, сожмешь голову руками и будешь твердить одно.

И он сидел, в глухой час, когда все уже спали — пустынна Венеция ночью! — один изнывал над водой. «Натали, Натали!» Потом вставал, прохаживался, вновь садился.

Лишь к заре немного утих. Пред восходом, усталый, облегченный слезами,— увидел светло летевшего голубя. Не быстро неслась птица, как бы зная свою непорочность. Скрылась на востоке. Он следил за ней. Потом пошел домой. «Есть поверье,— думал,— что голубь — это человеческая душа. Дай Бог, что так!»

XIV

Климухин сердился. Было поздно, скоро запиралось кафе, а никто не знал, сколько выпито вод, кофе, ликеру.

— Русские всегда так. Ну что бы запомнить... Alfredo!

Кроме Феди, мужа, была еще русская компания. Климухин устал, был раздражен — сегодня весь день помогал дамам в покупках, выручал земляка деньгами,— тысяча дел.

Alfredo не надул. Пошумев, посмеявшись, расплатились. Поднялся и Федя. Его удивило, что сидит муж,— Туманова давно спала в отеле. Когда он протянул ему руку, тот удержал ее и сказал: «Можете вы остаться со мной? Я недолго задержу вас».

Федя остался. Туманов спросил еще ликера.

Уже светало, электрические шары бледнели. Светлокофейный тон лег на все. Лицо мужа казалось желтее, он надвинул шляпу на лоб.

— Я скажу вам весьма немного (правой рукой он гладил пальцы на левой). У меня есть жена... которую любим... оба... мы...

Шляпа сдвинулась. На Федю смотрели большие глаза, с кругами внизу.

— И если мы двое, то надо решить, кто же именно...

Федя отхлебывал. Ликер золотел. Пальцы мужа стали вздрагивать.

— Я хочу сказать: кому надлежит соединить свою жизнь с ее жизнью.

— Тому, кого она любит.

Зеленовато, как бы электрически, блеснули глаза мужа.

— То есть, *разумеется,* вам?

— Если прямо говорить: да.

— Вы ошибаетесь. Она любила меня восемь лет, и, пока я жив, вам не видать ее.

Он стал красен и видимо сдерживал себя.

Федя сказал:

— Пусть выскажется то, что сводило с нею меня... вас.

— Не понимаю.

— Судьба. Угодно вам дуэль?

Муж поклонился. Снова стал спокоен, вежлив.

— Я этого и хотел с самого начала.

— Значит, война,— сказал Федя задумчиво.

Они пожали руки, разошлись. Муж кутался в крылатку и казался сгорбленней. Федя вышел к набережной, «Что же,— сказал он себе,— будем драться».

Взморье туманилось. Бледно-сиреневело в воздухе. «Прекрасная Елизавета, знаешь ли ты сейчас, что за тебя мы будем погибать?»

Он улыбнулся, туманно, счастливо. «Что за тебя мы будем погибать».

Башня, подымаясь из воды, бросала тень; в воде луна серебрилась; поздняя, бледная, она была омыта слезой.

XV

— Мой теперь, мой! Пусть попробуют!

— Да, вечно.

Венецианская заря нежным огнем заливала их.

— Все твое — честь, жизнь моя, на вечную муку готова. Если смерть — вместе.

Дохнула на него пламенем. Никогда не была лучше прекрасная Елизавета.

— Так, хорошо. Простимся. Скоро солнце выйдет. Дайте мне поцеловать вас.

Она сняла цепочку, быстро надела на нее кольцо, повесила ему на шею.

— Всегда носи... пока меня любишь.

Он подарил ей маленький нательный крест. Потом они медленно, глубоко поцеловали друг друга.

XVI

Гондольер не понимал, зачем понадобилось так рано. Ему обещали прибавку, сказали, что едут смотреть восход солнца. Он забормотал, как бы одобрил, и слышно было слово: «inglesi»[1].

«Инглези» все можно.

Константин Андреич с Федей сидели на переднем месте; у локтей бежала вода. Утреннее дыханье стояло над всем: гондола влажнела, светлый пар затягивал дверцы; легким зеркалом море тянулось; по нем рассвет провел жемчужные, бледно-персиковые ковры.

— Мне кажется,— сказал Федя,— что мы выплываем далеко в море, в Адриатику эту... и будем с рыбаками ловить рыбу. Знаешь, у них оранжевые паруса.

Он улыбнулся.

— Как мало похоже на стрельбу! Если б ты знал, как тихо сейчас во мне.

Когда выехали в море, стало покачивать. Раздвинулись далекие, низкие берега; песок сиял, вдаль шли шелковые пелены моря. Везде блистал свет.

---

[1] «англичане» *(ит.)*.

Федя вздохнул.

— Ах, прекрасно, прекрасно! Велика жизнь, Константин, безмерна! Там Равенна, там южнее целая Италия... а потом Эллада, Константин, Итака Одиссеева. «По хребту беспредельно-пустынного моря...» А оно вовсе не пустынное. Милое море, Адриатика милая.

«Как возбужден! Как возбужден!» — Константин Андреич молчал. Он был бледен и ему не нравилось море.

В условленном пункте пристали. Там нашли противника, секундантов, доктора. Здоровались, пожимали руки. «Я принимаю участие в убийстве... дикость!» Секундант мужа предлагал мириться. Туманов покачал головой.

— Нет,— сказал тихо Федя, опустив голову.

Константин Андреич, в раздражении, подошел к нему, стал шагах в десяти вбок.

— Отойдите,— закричал секундант.— Могу попасть.

Он взглянул злобно.

— Не извольте беспокоиться. Я не маленький.

Первый выстрел был Федин. Подняв пистолет, он видимо вел вправо. Выстрелил. Слетела чайка в тридцати шагах, у самого моря. Море шипело, тихо, как плещущее шампанское.

— Вы намеренно сделали промах!

— Я не буду больше стрелять,— сказал Федя и бросил пистолет.

Туманов поднял свой. Константин Андреич нагнулся. О, как *тогда* легче было! Вспомнил ночь, деревню, выстрелы Семенова. Тихо. «Целит мерзавец!» — сжав руки, поднял голову. Федя стоял недвижно, упорно, точно додумывал. Мгновенно — блеснуло. Туманов опоясался дымом. Федя не двигался. «Мимо»,— вздохнул Константин Андреич, сделав шаг. Но сейчас же понял, что нет, Федя стоял странно, расставив ноги; к нему бежали секунданты. На губах его показалась красная пена.

— Ранен, кажется,— он сказал растерянно, точно плохо понимал. Стал слабеть, склонился на колени. Его положили на песок.

— Пусть Костя подойдет.

Константин Андреич взял его за руку. Изо рта текла теперь кровь тонкой нитью.

— Плохо мне, Константин,— сказал,— смерть. Дай воды.

Он глотнул, потом повернулся боком. Лицо его стало светлей.

— Константин, пожми мне руку. Я... люблю. Скажи ей — за нее гибнуть мне — счастье. Слышишь?

Он улыбнулся.

— Счастье. Прощай.

Началась агония. Полумертвый Федя улыбнулся снова. Качнул головой, несколько раз явственно сказал: «Счастье», потом умолк. Оттискивая следы, Константин Андреич шел по берегу. Пена, как мыльные пузыри, шелковея в солнце, лопалась у ног. Встретился человек. Это был Туманов. Константин Андреич остановился, он также. Долго смотрели они друг на друга. Муж схватил руками голову, побежал. Константин Андреич сел. Летали чайки, голубели берега Киоджии. Он рыдал.

XVII

«Да, верно меня гонит Бог, некуда мне приклониться» — так он думал, трясясь в вагоне. День был жаркий, он два раза уже пересаживался; болела голова и тяжесть последних дней в Венеции все стояла. «Он убит,— сказала Туманова,— ну, ладно». И ее тон не предвещал хорошего.

Поезд шел медленно. Это был тот проселок, по которому редкие странники заезжают в Равенну. Константин Андреич направился туда же.

«Что ж,— говорил он, шагая по платформе на последней пересадке,— я теперь еду, через два часа буду в Равенне, завтра займусь городом — и все *то* забудется? Неделя, месяц, год — и все уйдет!» Может быть, надо повернуть, неизвестно куда ехать? ни о чем не думать?

Но пришел поезд, увез его. Наступал вечер. Солнце темно-красно закатывалось. Начинались равнины, слегка болотистые, плодоносные. Пахло сыростью.

«Вот и эти едут.— Напротив сидел молодой человек с тонкой, английского типа девушкой.— Ну, любят друг друга... но и те любили. Зачем едут? Ах, не нужно, никого, никого».

Темнело. Пахло покосом,— внезапно вспомнилось родное; проплыла церковь: в ее куполе, грузности — византийское. От подсевших крестьян, их курева, синих курток, непонятной речи пестрело в голове. Остановились у станции. Стояли, стояли — поезд не трогается!

Девушка в кофейной вуали засмеялась.

— Как у нас!

— Да, уж итальянцы.

«Русские!» — Константин Андреич с раздражением отошел к окну. Высунулся из него злым — и смолк. Втекал сладкий запах, медвяный, так давно любимый. «Липа цветет,— сразу в душе посветлело.— Липы, чудесные вы липы!» Над лугами взошла луна. Пахло сеном, теплом; казалось, въезжаешь в новую и тихую страну. Константин Андреич отбросил Федю, смерть, тоску — только слушал, вдыхал эту жизнь вокруг — такую благозвучную, цветущую жизнь. «Может быть, ничего и нет,— лишь это луговое сено, липы, луна... Может, это самая большая правда».

Между тем тронулись. С легким сердцем ехал он теперь.

Пустынно, светло было в нем. «Мы бредем под дальней звездой, незнаемо куда... каждую минуту гинем».

Так въезжал он в Равенну. С русскими познакомился. Оказалось, бродяги, как и он, неплохие, влюбленные. «Ну, отлично, пусть любят»,— решил про себя, как бы позволив им это. Носильщик схватил вещи. «Albergo?»[1] Знает все — «Leone d'Oro»! И под луной, опять в густейшем липовом благовонии, они пошли.

— Машура, не торопитесь, устанете!

Машура блистала на своего Игнатия,— белая равеннская пыль вставала столбом. Было душно. Сбоку на бульварчике гулял народ, непрерывно благоухали липы. Прошли по узкой улице, с невысокими домами — очень скромными, вышли на площадь. Здесь кафе, свет сияет, сидят равеннские офицеры, торговцы, десятки велосипедистов. «Живут и здесь, копошатся!»

Дальше вступили в уличку — щель; тротуара нет, сбоку сады, домишки; в глубине свет — «Leone d'Oro»!

— Верно тут не без Дон-Кихота,— сказал Константин Андреич.

— Не посвятиться ли нам ночью в рыцари?

Молодые смеялись.

Хозяйка, кубического вида, отнеслась к ним радушно. Покормила, отвела комнаты; хлопотала от души. Посетители ее трактира (в первом этаже) рассматривали чужеземцев.

«Боже мой, как легко!»

Константин Андреич ходил по своей комнате, раздеваясь. Лунные полотна лежали на полу. Открыта дверь на

---

[1] «Гостиница?» *(ит.)*.

балкон. Вот он у ног, этот маленький таинственный город, полный истории, тишины, липового цвета, громадных странных церквей. Он дышит жаром, благовонием. Сколько звезд!

Положив голову на решетку железную, Константин Андреич слушал, как радостные голоса шептались за стеной.

«Прекрасна жизнь,— вспомнил он,— непобедима».

Ему представилось лицо Феди, перед смертью, когда он говорил: «Гибнуть за нее — счастье».

И в эту минуту ясно и тихо-радостно он почувствовал,— бесповоротно побеждает по всей линии кто-то, страшно близкий, родной.

«Цветут ли человеческие души,— ты даешь им аромат; гибнут ли,— ты влагаешь восторг. Вечный дух любви — ты победитель».

Взволнованный, слегка задыхаясь, он сошел вниз. До полночи бродил он по улицам.

XVIII

Следующий день был очень жарок; необычайный зной, беловатый, раскаленный, стал с самого утра. Безлюдные улицы, низкие дома с черепичными крышами; местами трава из-под мостовой.

Константин Андреич посетил храм святого Виталия. Под сложным пересечением аркад, держащих купол, видел мозаику: Юстиниана, Феодору, епископа Максима — пышнозеленых, в сияющих изумрудом одеждах. Потом отправился к мавзолею Плацидии, здесь же во дворе; двор зарос травой, желтел одуванчиками; кирпичные постройки, гуси, бродившие у монумента, июнь, липовый запах — снова напомнили родину.

— Ecco![1] — сказал старичок, отворяя дверь.

«Вот тебе и ессо!» — подумал он, входя. Они стояли в низкой, с толстейшими стенами часовне-усыпальнице. Три саргофага, узкие окна, темно-синий полусвет — от глубокого тона мозаик, облепивших внутренность. Тут в спокойствии лежит императрица Плацидия,— «которой жизнь была полна превратностей, ужасов, восторгов».

Он услал кустода, сидел один. Здесь можно было почувствовать ее сердце—одинокое, твердое сердце, несшее через жизнь свой огонь. Было тихо. «Добрый пастырь» — юноша римского типа, с посохом, окруженный овцами — Христос,— глядел с мозаики. Зной втекал через дверь. Маленькая девочка скакала по дорожке.

---

[1] Вот! *(ит.)*

Наружи звякал ключами кустод — верный знак, что пора. Он возвратился в альберго.

Завтракал внизу, в пустой зале. Ему прислуживал сын хозяйки. За другим столиком сидел приятель молодого человека, видимо француз. С каким восторгом «равеннат» слушал о Париже, Версале, мечтая туда попасть!

Константин же Андреич пил вино, молчал, наслаждался тем, что так непохоже на Париж, никого нет, за окнами зелень, а внутри двора курятник; что так мил этот юноша.

— Скажите, далеко до могилы Теодориха? Можно пешком?

— О да, господин, двадцать минут ходьбы.

И он рассказал, как идти.

Умывшись, посвежев, Константин Андреич в пятом часу вышел. Это было за городом. За воротами начались пшеницы, с яблонями по межам. Белая пыль лежала на дороге; пахло сеном. Ошмурыгивая травку, Константин Андреич шел под молочно-бледнеющим небом. Навстречу, на двух волах, крестьянин вез огромнейший воз сена. Он все это внутренно одобрил — неизвестно почему. Потом перешел у шлагбаума железную дорогу, и новый кустод, у калитки, впустил его на полоску Теодориха.

Как гигантский гриб сидел в конце загона монумент; от древности он врос в землю. Его шляпой был монолит, полушаром глядящий вверх. А вокруг, из-за изгороди, отведенной королю, шумели нивы; полные, мирные, ходившие волнообразно. Верно понимали колосья его старость, и гуляли под ветром плавно, с уважением; неся свое зерно с тою серьезностью, какая бывает у знающих жизнь.

Константин Андреич лег в тени. Скоро к нему подошли молодые.

— Отдыхаете?

— Да, тепло.

Они тоже устроились под яблоней. Трава в жаре пахла пряней, трещали кузнечики.

— Знаете ли вы,— спросил он,— что Теодорих этот был арианин?

Они не знали. Лежа, глядя в облака, вдыхая горячее благоухание, он рассказывал про Теодориха; про троичность, богословие тех лет, про странный момент, когда чуть не было поборано христианство; и сейчас на него тянуло *теми* мыслями, раскалывавшими людей на лагери.

«Мог ли бы я бросить нашу теперешнюю жизнь — простым монахом жить *тогда,* отстаивая Бога?»

Казалось — мог бы.

Потом он задремал. Одним глазом видел, как тонкая Машура протянулась, выставила ножку, обняла Игнатия Игнатьича. «Какое счастье!» — сказали ее глаза. Она тоже прикорнула.

Вечером же, когда снова они сидели втроем в кафе, под открытым небом, и сбоку блестели огни, а сверху звезды светили, он прочел в газете о смерти госпожи Тумановой, в Венеции. Это его не удивило и не огорчило. Напротив, сердце стало биться чаще, ясней, как будто все исполнялось по его желанию.

XIX

Константин Андреич знал, что пора трогаться, но медлил. Машура с женихом уехали, он был один, и светлое, просторное настроение не покидало его. Даже возросло со дня смерти Тумановой. Теперь их разговор на Лидо был еще дороже, иными были воспоминания о России, Наташе. Все, что ему было мило, запрозрачнело за иным горизонтом.

Равенна цвела; сладко пахло в воздухе липой; во дворе альберго вился виноград; голуби болтали на черепицах, пачкая крыши белым; иногда влетали в коридор к Константину Андреичу.

Решив ехать на другой день, он прощался с городом; под вечер взял коляску, поехал мимо гробницы Данте, по малым, бедным улицам, к S. Apollinaro Nuovo, где так ветх потолок и круглая башня в таких трещинах, что можно вздохнуть, как о родном: скоро развалится! Рухнут мозаики — ряды святых мужчин и женщин, и негде будет показывать портрет Юстиниана.

За городом началась равнина; дорога обсажена яблонями, по ее белой пыли катят велосипедисты-равеннаты; снова пшеница.

Светло-серое небо. Вдали — уродливый, жалкий контур: гибнущая церковь. Прежде была в черте города, но прошло время,— ее окружили поля: мох и трещины завладели ею.

Путь лежал к другому старцу: св. Аполлинарию в порте. Подъезжая, не увидишь этого порта: давно стал он сушей, море отошло. Святой же Аполлинарий держится. Громоздкий, с круглою башней, выступает он на закате. Вдали пинии маячат.

Оглядев его, постояв перед белыми овечками абсиды, посмотрев саркофаги, Константин Андреич вышел. Наступал вечер.

За шоссе, на лугах косили косцы; низины туманились; и даже горы, видные издали, были невысоки, необидны. Он отошел от коляски, сел. Подперев голову, слушал. Эта страна чужая, но как он близок ей! Удивительна, радостна такая мысль. Открыл глаза. «Да, я в чужой, но и в своей стране,— потому что все страны одного хозяина, и везде он является моему сердцу. И здесь я его чувствую».

Тогда косцы, возившиеся с сеном, сами луга, пьяненький кустод, Аполлинарий, Равенна, каменевшая вдали, засветились для него вечной, святой жизнью. «Кажется, могу теперь прилечь, послушать. Не откажет мать, не станет прятаться».

Вечером, поздно, был он у моря. Новый месяц взошел, слабым рогом. Берег был пустынен. Далеко в море зеленел огонь, пинии темнели по берегу плоскими шапками.

Надо было зачерпнуть адриатической воды и плеснуть ею к месяцу: в честь любви, друга, погибшего за нее на этих берегах, женщины, ушедшей с ним; в честь иного — далекого сердца, иной страны.

XX

К осени вернулся он в Россию. Не зная, что будет и куда себя пристроить, он остановился в Москве. Здесь думал кончить дела по продаже крестьянам имения, сбыть деньги куда-нибудь и начать бедное, легкое существование человека, от всего свободного. Но поселившись на дальнем бульваре, в доме Лисицыной, он застрял, вошел в новые связи с людьми,— прожил это время не так, как собирался.

XXI

Дом вдовы Лисицыной был небольшой, деревянный, с двумя флигелями; в одном жил Константин Андреич, в другом дама Марианна Николаевна,— самый дом занимал Яшин, доктор. Двор под травой, старые стройки, липы, вязы; через проезд густой бульвар, а сбоку свой сад, тоже заглохлый, разгороженный забором: одна часть флигельская, другая домовая.

Начинался август; стояли хорошие дни — свежей ясности; за бульваром сиял купол; осень, тишина, бедность дворика бросали на все отсвет. Нередко Константин Андреич забирался в этот сад и лежал там — в гамаке или читал. Но читалось мало; больше он глядел в небо, вдыхал вянущий лист, наблюдал клены. На улице шумели пролетки, дети гомонили за забором; часто на дворе бегал мальчик, с ним две девочки. Случалось, они мешали ему криком; но было приятно, что вокруг есть жизнь.

Раз, когда он обычно висел в гамаке, из соседнего сада к нему залетел мяч. Через минуту дети подбежали к забору.

— Будьте добры бросить нам назад,— сказал мальчик.

Константин Андреич был весел, ему хотелось шутить.

— А-а,— ответил он,— вы попали на мою территорию, кроме того, вы ранили меня мячом,— теперь ваш мяч мой, пленный ваш мяч.

— Нет, пожалуйста.

— Война, ничего нельзя поделать. Выкуп, выкуп.

Мальчик побледнел.

— Конечно, вы сильнее меня. Вы можете не отдать мне мяча, но... вы не имеете права этого делать!

Он прекрасно сверкнул глазами.

Константин Андреич сконфузился. Встал с гамака, поднял мяч, подошел.

— Простите, голубчик, я смеюсь, неужели вы думаете, что я хочу его взять!

У мальчика вздрагивали губы.

— Извольте, вот он. Ну, а кто вы такой, по крайней мере?

— Моя фамилия Яшин.

Константин Андреич познакомился, позвал их к себе; он догадался, что это сын доктора, девочки же — Марианны Николаевны. Говорили о игре в лапту, Константин Андреич рассказывал, как он был в детстве охотником.

— Вы говорите, у вас было маленькое ружье, одноствольное? Попрошу папу купить!

Женя сиял.

— Да, шомпольное. Тогда центральных еще не было.

— А что такое «центральное»?

— Можно на ваших качелях покачаться?

Константин Андреич качал детей на качелях, повел к себе, показывал камушки с Урала, бывшие у него случайно, вообще работал добросовестно, стараясь загладить

мяч. Дети нравились ему. Женя хотел быть большим, говорил литературно и с весом; девочки блистали глазами; в этой молодой радости было столько живого, что приходилось покоряться.

Чай пили у него; прощаясь на крыльце, под вечер, он увидел и Яшина: это был человек с высоким лбом, впалыми глазами; суховатый, прямой.

Константин Андреич с ним познакомился.

XXII

В вечер, когда он посетил Яшина, у того сидела Марианна Николаевна. На перилах балкона висел студент, бледный, с черными глазами; что-то индусское было в нем.

— Вот, знакомьтесь,— сказал Яшин,— прекрасная Марианна, Константин Андреич,— Пшерва, подходи сюда, что ж ты? Это Пшерва Тетмайер.

— Хм... Яша, не глупи!

Пшерва смеялся, слегка конфузясь.

— Я и Тетмайера вовсе не так люблю!

— Рассказывай. Когда я с ним познакомился, он только поляками и бредил. Марианна, будьте хозяйкой, чаю наливайте и прочее.

Вечер был красный. Настурции, обвившие балкон, горели. Клумбы пылали прощальными цветами. Пшерва кашлял,— узкими шагами ходил по балкону.

Марианна имела усталый вид.

— Вот вы говорите,— сказала она Яшину,— что они ничего не могут сделать, раз дети у меня. Может быть. А муж мне сказал: «Возьму силой». Кроме того, он процесс затевает.

— Легко сказать, пришел, взял силой! А если и попробует — сделай одолжение. Найдем адвоката, ну, уехать на время придется.

Марианна улыбнулась.

— Уехать! Вы знаете, я и так маятником, то Париж, то сюда.

— Ничего, ничего, держитесь, Марианна. Вы отличная женщина, смотрите, у вас луиниевские глаза, вы мадоннообразная женщина, и вдруг вы будете поддаваться какому-то бревну.

Яшин начал раздражаться.

— Мы, славяне, мягки очень. Не нужно этого. Лезут на вас подлецы — нужно отбивать. И между прочим,

должен вам заявить, я считаю, что правда, вообще говоря, *есть*.

Марианна затуманилась. Ее чудесные глаза, в темной оправе бровей, сияли.

— Я и не говорю. Я тоже в правду верю. Но все же понять жизнь... и всегда иметь силу принять ее... Все-таки, это очень трудно. Например, если б у вас Женю взяли...

Яшин молчал.

— Яша, Яша,— сказал Пшерва, подошел к нему и прислонился, будто оперся,— поговори теперь о твердости, хм... твоя любимая тема. У-у.— Он зевнул.

— Вот, видите, уж облокотился на меня, потому что устал. Нежный поляк, зябкий! А про твердость не замолкну —что ты ни выдумывай.

Яшин вдруг встал, и прошелся.

— Ты думаешь — легко жить, Пшерва? Нет, милый, не думай, и не надо, чтоб легко было. Кто мы такие? Люди. «Светочи» — и нам дано не тушить себя, пока нас не потушат. Драмы есть, ужасы — да; но живем мы во имя *прекрасного:* коли так, нечего на попятный.

— Верно.— Марианна вздохнула.— Я в главном с вами согласна... только сил надо... я, ведь, не собираюсь обжираться.

— Все «за жизнь»,— сказал Константин Андреич.— Я бы с вами тоже, да все вот не знаю: может, когда очень хлопнет, так и пятки покажешь.

Пшерва беззвучно хохотал.

— Вы знаете, Яша когда разойдется, он такой строгий, даже страшно.

— Вздор мелешь, Пшерва. И Марианна на себя напускает, и Константин Андреич. Марианна живет честно, сурово живет, бедно, и сил у ней хватит, вздор-с. А минутами все слабнут, конечно. И даже очень...

Марианна ушла. С ней удалились — духи тонкие, вуаль на шляпе, свет глаз, бледность.

— И с вами бывает? — спросил Константин Андреич.

— Что?

— Да вот, вы сказали: «слабнут».

— Конечно.

Яшин задумался. Показалось, давние, смутные тени прошли по лицу его.

— Нелегкая вещь, существованье-то! И все-таки: чем горше, круче, тем больше он должен жить... человек.

Пшерва опять потянулся.

— Будет, Яша, страху нагонять. Пойдем лучше куда-нибудь, выпьем вина.

— Пить не желаю нынче. Пройтись можно.

Взяв шляпы, вышли. Довольно долго ходили по бульварам, при красном закате, фонарях золотых, куря, разговаривая.

XXIII

Иногда, в светлые дни, Константин Андреич брал ялик и уезжал в парк. Тихая была река; медленно воды лились, отражая лес на той стороне, как бы в огненно-желтом зеркале. Летали белые рыболовы, виднелось жнивье, со сложенными крестцами. Эта осень, прохлада, яркая желтизна кленов и крестцы ржей волновали его. Лишь Италия вызывала то же, но там точно можно было сказать, что именно хорошо, и почему.

Здесь же все плохое, отсталое, над чем всегда смеются,— и тем оно милей. «Кто заступится за наше? А обидит всякий».

В парке он подолгу бродил, лежал. Находили минуты, когда казался себе вольным охотником, которому никуда не дано вернуться, да и незачем: выйдет в поле, к родной земле, и осенним днем сложит голову на распутии. В другие разы вспоминал Наташу. Где она? Любит ли? Кого? И вдруг когда-нибудь они встретятся? Она — дама блестящая, уже иная, чем он знал, с новым мужем, промелькнет мгновением, а он останется; и когда смертный его час наступит, кто приложит к его лбу руку?

Раз, когда он сидел на любимой скамейке, смотрел дроздов, клевавших рябину,— в парке показалась Марианна; с нею девочки, Женя.

— Дядя Костя, дядя Костя! Говорил я, он здесь! — кричал Женя.— Вон он, на скамейке...

Девочки визжали, все втроем кинулись на него и повисли.

— Почему вы нам не говорили, вы скрывали, что тут хорошо так; дядя Костя, это с вашей стороны нечестно! — кричали девочки, смеялись и повели его к Марианне Николаевне.

— Бросьте, задушите! — Марианна улыбалась, видимо хотела что-то сказать.

Освободив его, передала письмо.

— Это без вас получено. Ну, дети, марш, Константин Андреич прочтет, тогда вместе будем гулять.

Он взял — и лишь глянул на почерк — замер. Наташина рука. Отойдя, сел, и, удерживая сердце, стал читать. В концах рук его и ног был холод. Наташа писала:

«Дорогой друг, кажется, мы еще раз встретимся (если вы не против). Я жила в Крыму летом, лечилась, но чувствую себя нехорошо. Верно, на осень придется опять ехать. Я не знаю еще куда, но не в холод. Примете ль вы меня? Не могу писать много, но хочу вас видеть, говорить. Я вспоминаю нашу с вами жизнь, как далекую радость, весну,— но невозможную. То же, что вы лучший человек из виденных мной, в этом я уверена.— Ответьте.— Жду». Внизу, на уголке, малыми буквами, напомнившими ему детей, было приписано: «Костя, как я несчастна! Прости».

Эта строка прежнего ударила его в сердце; он вскочил, кусая губы, почти бегом стал ходить по дорожке, взад-вперед, взад-вперед, стягивая кулаки, собирая все силы.

Вечером он ей телеграфировал.

XXIV

У Жени поднялась температура, его слабило, и в два дня он похудел. Но, имея природно бодрый дух, не унывал.

— Я люблю болеть,— говорил.— Папа, помнишь, еще при маме у меня была корь: весь в шелухе-в шелухе, и ее можно сдирать.

— Почему же любишь болеть?

Женя взглянул стыдливо.

— Пойди сюда.

— Ну?

Он пригнул его к себе, потом тихо шепнул: «Ты со мной больше бываешь».

— Дурачишка ты!

— Слушай, пап, помнишь, у нас был такой «Рог Оберона» — сказка, когда я был еще маленький (Женя любил, чтоб его называли «вы» и даже по отчеству). Я наизусть знал две первых страницы. Вдруг приезжает немец этот, Бок, и говорит: «Ну-ка, герр профессор, почитайте вслух!» — а мне было пять лет. Я раскрыл книгу, и прочел без ошибки. А помнишь, я чуть не застрелил его из пушки?

— Помолчал бы лучше. Что желудок-то?

Женя морщился.

— Вот не дашь о хорошем и поговорить!

Через минуту побледнел.

— Что?

— Да больно...

Яшин хмурился. «Холера не холера, верно дизентерия». Сам он человек сильный, но дети, боли...— тяжело.

Вспомнил жену, ее мученическую смерть от почек — захолодало в груди.

Когда пришел Константин Андреич, он сидел у себя в мансарде и курил. Это верный знак, что нехорошо. Две комнаты были бедны и пустоваты. Стол, обтянутый сукном, на стене Ибсен, голый диван.

Яшин позвонил.

— Кофе черного. С лимоном.

Принесла старушка в очках.

— Вот, видите перед собой доктора Яшина, у которого там внизу сын...

— Что сын?

— Ничего, конечно, ничего! — Он будто рассердился.— Просто болен сын, с ним Марианна.

— Отчего же вы не идете?

— Не хочу сейчас.

Он хлебнул кофе.

— Я сух, должно быть. Ему плохо, нужна ласка, я же... ну, вы понимаете, я не очень хорошо себя чувствую сейчас — так вот-с я и холоден с ним.

Потом он замолчал, и Константин Андреич понял, что теперь от него не добиться слова. Он сложил руки на груди, сидел истуканом. И в бледном свете — вечер был серый — казался еще тяжеле.

Яшин сошел вниз. Марианна была встревожена, сказала, что явления желудка резче.

— Ничего, благодарю вас,— ответил он.— Идите спать. При этой болезни всегда так.

Марианна ушла, он остался. Одна свеча горела в комнате; Женя заснул. Осенняя пустота почуялась. Он вышел на балкон. Налетел ветер — неприятный, резкий. Сквозь деревья желтело зарево: блеск города в облаках. Яшин вспомнил пустынные улицы, где в темноте тот же ветер пылит,— вдруг тоска сдавила его жестоко. Все — пустота, черный, мертвый сентябрь.

«Нет, нельзя отдаваться.— Он скрипнул зубами, перемог себя.— Стой, человек, держись!» Горько улыбнулся Яшин. Что была его жизнь? Молодость — порыв к любви — ее нет; женитьба с усмешечкой; когда прочно полюбил жену, ее смерть. Наука — в ней неудача. Сзади года, тяжесть, одиночество. Женя — далекий привет того, что могло бы быть. Он тер себе пальцы, щелкал ими: вот, он носит сухой, резкий дух, коренящийся в крепкой оболочке. Долг, человечья гордость его держит.

Ночь он почти не спал. Заснул поздно, на час, видел плохое: будто ходит по кругу, как в молотильном приводе, а сзади ровно идет лошадь и хохочет: «Гы-ы-ы!» Если остановиться, она схватит зубами за шею — по-прежнему будет хохотать.

XXV

По бульвару шли втроем, под руки: Константин Андреич, Яшин и Пшерва.

— Двинулись три аскета великие к питейному заведению,— говорил Константин Андреич.— Там лягут они белыми костьми, показав дорогу верблюдам.

Яшин хлопал Пшерву.

— Веселие Руси пити, Пшервушка. Ты не кряхти, когда по спине хлопают. То-то вы, поляки, народ ненадежный.

— Хм... хм... Яша, не сердись.

— Что там сердиться — нынче пить желает Яша. Устал он. Возможно, он сумеет сделать это лучше мастерового.

Их несвязный ход по бульвару напоминал гульбу рабочих. Закат пылал сквозь деревья. Сизело, теплые сумерки надвигались. Золотыми жуками светили фонари.

Зашли в ресторанчик, прямо к стойке.

— Здравствуйте,— сказал Пшерва распорядителю.

Агатовые глаза его, продолговатые, вырезались на бледном лице.

— Пожалуйста, три зубровки.

Его знали как завсегдатая, наливали почтительно. Синел чад. Красный луч, солнечный, пронзительный, упал на Яшина, загоревшись в зрачке.

— Ясно вижу все, ясно,— говорил он, прикладывая ко лбу руку.— Хорошо пить. Все вверх дном.

Пшерва опрокидывал рюмку.

— Не слушаешь меня, Яша, презираешь зубровку. Все за трезвость.

— Ты поляк, что тебя слушать.

— Пся крев.

Трещали где-то на бильярде шары. Лакеи носились, шумели у стойки молодые люди; набегавшие хмельной ватагой студенты вносили гвалт, спрашивали пива — улетали. По бульвару несся трам, вспыхивая зеленой искрой. Они ужинали.

Лица Пшервы и Яшина стали зыбки для Константина Андреича, нестройно текло все, весело, точно свистал легкий водопад, крутящий, заливающий.

— Да, пьем,— говорил он,— да, становимся на скользкую точку, головокружащую, забвенную. Все забвение, водоворот. Пшерва, это самая весело-грустная забава, какую я знаю.

— Я желаю, пить, ладно,— кричал Яшин.

Пшерва подсвистнул, сделал глазом «иронию».

— Хе-хе, вся жизнь — чертов танец.

Он любил страшные выражения: «пляска любви», «синагога сатаны».

Снова пили, пили.

Но сидеть долго в кабачке было душно. Расплатившись, вышли.

Направлялись к «душке». Душка жил недалеко, в этих же краях, занимая верх небольшого дома. Это был рантье, любитель живописи, холостяк. Знали его и Яшин и Константин Андреич.

«Господи,— подумал он,— к душке! Когда я у него был?» И оказалось, давно, давно не подходил он к этому домику одинокому, где раньше собирались каждый четверг — бывал здесь еще с Наташей.

«Вот еще когда! Еще с Наташей!»

Переулки были знакомы и глухи. Сейчас все уже безмолвно,— на окраинах рано ложатся спать; луна взошла и осияла кротким светом дома, местами вязы во дворах, не мешая слабым огонькам кое-где в окнах.

Душка был дома. Старый, красивый, как и раньше, вышел он весело, метнув из-под пенсне быстрый взгляд.

— Эге, мамочки, целых трое!

Потом стал в позу певца и запел с величием: «Невольно к этим грустным берегам меня влечет неведомая сила».

— И кажется, все трое подшофе. Ну ничего, старым друзьям позволяется. Костенька, нехорошо, винцом пахнет.

Яшина он назвал испанцем и тоже побранил за дебош.

— А вам, Пшерва, и совсем нельзя.

— Они, поляки, все так,— сказал Яшин.— Они сил много теряют.

— Душка, это дорогой материал.

В столовой у душки лампа была затянута голубым. Сам он разглядывал гравюры, а кстати соображал насчет реформы офорта.

— Есть коньяк, но небогато,— сказал он,— вам на похмелье, с чаем.

Константин Андреич сел в качалку. Как умягчает она! Стены, портреты покачиваются, полусумрачно, светлозабвенно. Утекают боли, только щемит-щемит, сладко, нерезко. В окно виден плац, за ним барский дом, огромный, белый.

— Мальчик болен? — (Голос душки.) — А-а, ну, даст Бог, выздоровеет.

И в голосе ровная ласка — опытного, знающего человека, видевшего много, и теперь идущего мимо.

— А Костенька фантазируют? На белый дом зазевались. Лучше про жену бы рассказал — хорошая была у него жена.

— Скоро приедет,— сказал Константин Андреич.

— То-то пора.

И опять не дослушивал, совсем ли приедет, зачем, что.

Так просидели часа два. Пшерву душка оставлял ночевать. Яшин с «Костенькой» уходили. На прощанье присели, Пшерва играл на рояле, бледный, с бессветными агатовыми глазами. Дрожало, билось в нем что-то, точно рыдало.

— Мы идем,— сказал Яшин.— Прощай, Пшерва, расстроил ты меня музыкой своей, Бог с тобой.

Они вышли. Снова были тихи улицы. Хмель проходил, казалось, догорал фейерверк.

Константин Андреич усмехнулся.

— Хорошо двадцати лет «безумствовать в кабачках и клоаках». А? А нам?

Яшин стих. Шли молча. Константин Андреич все не мог забыть белого барского дома, освещенного луной. «Так же был он освещен весной, ночью, *тогда*. И Натали играла на рояле, я сидел, так же, у окошка... Так же любил ее».

Дух захватило, когда понял, *как* любил.

— Эх, Яшин, Яшин,— сказал он,— какие мы с вами воеводы Пальмерстоны.

— Молчите,— ответил тот,— пожалуйста, помолчите, Константин Андреич: иногда я бываю мрачен.

— Слушайте, вы сына своего очень любите?

Яшин посмотрел, не ответил. Через минуту сказал:

— Очень. Мое дело плохо.

Они подходили к дому.

XXVI

Девочки Марианны были в ужасе: у подъезда их флигеля буянил взлохмаченный человек. На крыльце стояла мать. За лохматым безумцем виднелись: чужой швейцар, два дворника — тоже неизвестных.

— Я послан от вашего мужа, вы не имеете права задерживать здесь его дочерей: если вы не отдадите их, мне поручено взять силой...

— Не знаю, кто вы,— говорила Марианна.— Уходите. Детей не могу никому отдать.

— А-а, так — берите их,— завопил вдруг ярила,— в мою голову!

Швейцар и дворники мялись. В это время подошел Яшин с Константином Андреичем. Яшин был сер, злобен.

Марианна кинулась к ним. Дворники пошептались и двинулись.

— Что такое? — спросил Яшин.

Швейцар сказал:

— Вот, не хотят детей мужу ворочать.

— А-а!

— Безобразие-с,— кричал лохмач,— я был у господина градоначальника, это самоуправство!

Константин Андреич побледнел, сдержал себя, подошел к безумцу и придвинул к самому его носу кулак.

— Извольте убираться. Слышали?

Яшин же действовал так: медленно взял валявшуюся лопатку, железную, с острым краем, и сказал:

— В руках у меня лопата. В кармане револьвер. Если вы не уйдете мгновенно, я раскващу две-три головы, потом открою из револьвера огонь.

Безумец отпрыгнул от Константина Андреича, кинулся к Яшину.

— Это разбой,— кричал он,— я сейчас пошлю за полицией!

Яшин бросился на него, лопата свистнула. Тот успел нагнуться.

— Вон! Вон, мерзавец!

Голос Яшина так был дик, так стало ясно, что еще минута — он начнет крошить в обе стороны, что началось бегство: первым летел швейцар, за ним дворник, безумец отступал последним. Изгнав их, Яшин запер калитку.

— Жаль,— сказал он,— что я никого не убил. Весьма жалею. Трудно с этим народом.

Константин Андреич отпаивал Марианну.

— Не плачьте,— сказал Яшин.— Они напуганы. А я сейчас еду к градоначальнику.

Он действительно уехал, поручив Константину Андреичу надзор за женщинами и Женей.

XXVII

Болезнь Жени усиливалась. Внутренности обратились в язвы, непрестанно гноившиеся. Он худел и едва двигался; обритая головка чуть держалась, придавая вид маленького, бедного куренка.

— Положение сына моего плохо,— говорил Яшин.— Мало надежды.

При этом принимал вид безразличия. Но Константин Андреич знал его теперь.

Так же внезапно сух он стал к Марианне, уезжавшей на днях.

— Без женщин лучше. Слезы пойдут...

В день отъезда Марианна зашла к Константину Андреичу.

— Прощайте,— сказала, пожав руку.— Когда теперь увидимся!

— Вы куда ж, собственно?

Ответила не сразу.

— Бегу, вы знаете. Грозится отнять... Пожалуй — отымет.

Она вытянула по столу светлую руку, молчала; все выражало в ней усталость.

— Отчего у вас рука сквозная? — спросил Константин Андреич.

Ему вообще казалось, что Марианна устроена облегченней, светлей других. Она усмехнулась.

— Бог знает. Впрочем, я вегетарианка, мне противно вообще тяжелое... мясо.

Константин Андреич вспомнил,— она теософическая женщина, верит в астральную душу.

— Да. Скитаться будем. Зато, если девочек не отберут, я их выращу хорошо... Понимаете? Всю себя положу. В моей жизни было мало радости — я не жалею об этом. Даже не хочу, чтобы они были слишком счастливы,— как понимают счастье обычно. Так и вести буду.

— Мне кажется,— сказал Константин Андреич,— я вас чувствую. Пожалуй, мог бы ваш девиз назвать.

— Да?

Он подумал.

— «Печаль и твердость».

— Ах, может быть, но я слаба. Если они со мной,— живу, а вдруг не будет так?

Прощаясь, он обнял ее, поцеловал в лоб.

— Сил вам желаю, огня, света.

— Вы целуете меня как девочку (она засмеялась): а мне уже за тридцать. Я старая женщина, желтая, замученная.

Морщины у глаз, тяжелые веки говорили об этом, но тонкость вуали, духи, бледно сиявшие глаза указывали на иное.

«Нет,— подумал Константин Андреич,— она не будет побеждена».

XXVIII

Было жарко. Даже странно-жарко для осени. Пахло грозой. К вечеру она надвинулась. Блистали зарницы, чаще, чаще, трепеща бледно-зеленым.

Константин Андреич зашел к Яшину. Тот опять сидел в светелке, наверху, снова пил кофе. Теперь он был еще желтей и сдавленней.

— Должен вам сообщить, что положение моего сына Евгения безнадежно. Умрет дня через два, максимум.

Он отошел, сел на диван, оперщись на спину головой, так что лицо смотрело вверх. Глаза его закрылись — Константин Андреич увидел синеву век. Держа в руке, худой и желтой, мундштук с папиросой, он сказал:

— Сегодня Евгений говорит мне: «Папа, я боюсь, как бы мне не умереть».

От слов Яшина и его синих век тянуло холодом.

— А потом Евгений обнял меня и говорит: «Папа, теперь я смерть вижу. Она вон там...» — Яшин открыл

глаза и с такой уверенностью показал в угол, что Константин Андреич обернулся. Яшин опустил веки.— «Папочка,— говорит,— у меня холодают ножки. Погрей мне ножки, не давай меня смерти. Очень,— говорит,— прошу тебя: не давай!» Так. Вот он мне и сказал это.

Яшин встал, подошел, улыбнулся холодно.

— Вы, наверно, расчувствовались от моего рассказа? Отправляйтесь домой. Я иду к Жене. Приходите в двенадцать, если угодно, конечно.

Константин Андреич ушел — с большой тяжестью.

Пройдя к себе, он лег, отворил окно. В бледных вспышках чернели деревья, потом снова тьма, и только в доме Яшина огонек. «Борьба. Последняя!» Он знал, что Яшин не отдаст сына даром.

В час он пошел к нему. Было темно, иногда разрывалась молния — теперь совсем близко. Внезапно, с бешенством ударил дождь; как молотами бил по крыше; стало холодней: вероятно, с градом.

Яшин сидел рядом с комнатой Жени.

— Ну? — спросил Константин Андреич.

— Папа!

Яшин вошел.

— Зачем ты выходишь? Слушай, мне страшно без тебя... А кто в столовой? Дядя Костя? Пусть бы вошел.

Женя, полусидя, блестящими глазами глядел на Константина Андреича. Тень рисовала на стене кругленькую голову, плечи острые.

— Здравствуйте. Отчего вы редко заходите?

Константин Андреич не мог забыть этого взгляда. «Почему он, такой маленький, уже чувствует?» Женя *знал*. Это было ясно; трепет пробегал по его лицу, он видимо искал третьего. Посидели с четверть часа. Вдруг он ослаб, захотел спать.

— Немножко бы мне поспать, так, немножко... Дядя Костя,— спросил он вдруг,— а как звали объездчика на Касторасе... с которым вы еще охотились?

— Ильей, кажется. А что?

— Нет, зачем говорить неправду... совсем не Ильей.

Он чуть не расплакался.

Чай пили в столовой. Женя заснул; была та скучная тишина, сдвинутые с мест предметы, слабость, которая указывает на присутствие больного.

Внезапно ударило изо всех сил. Яшин улыбнулся.

— В такие ночи молния влетает иногда в виде шара в дом.

— Это редко случается.

Яшин помолчал. Потом неожиданно встал и направился к окнам — отворять.

— Что вы делаете?

— Уйдите отсюда,— сказал Яшин.

Константин Андреич пожал плечами.

— Я вам говорю: уйдите.

«Сходит с ума»,— подумал он. Удар снова грохнул, чуть не расколов флигеля.

Яшин задул огонь; во тьме ветер влетел ярой струей.

Константин Андреич встал.

— Сквозняк привлекает молнию,— произнес Яшин.

С туманной головой ушел Константин Андреич. С неба валились возы грохочущего железа, дождь хлестал. Дома он лег.

К нему постучали рано утром. Это был Яшин — серый, холодный.

— Ничего,— сказал он.

— Женя?

— Умер.

Молчание.

— А я жив.

Снова молчание.

— Я буду жить.

По его лицу шли слезы — первые за время их знакомства; весь он как бы раздвинулся, отдалился, стал тише; ровный свет означился в нем.

Константин Андреич пожал ему руку и впустил к себе.

XXIX

Отцвели настурции. Астры, мягкие левкои указывали на милую пору: сентябрь. Бледный день. В доме Яшина открыты окна, идет синеватый дым: панихида.

К крыльцу Константина Андреича приблизилась дама. Медленно всходит, звонит. Кажется, рука ее удивлена, что звонок, дверь — чужие.

На пороге Константин Андреич; смотрит минуту, пятится.

— Наташа.

Дама улыбается.

— Да, я.

— Бог мой, неужели...

— Здравствуйте, Костя.

— Натали, живая?

— Да, мой друг. Вы принимаете меня? — Она улыбнулась.— Не гоните?

— Вы с ума сошли... Как можно думать.

— Нет,— она гладит его по рукаву,— нет, я не думала о вас дурного ни минуты.

Оба взволнованы, слова нейдут; кажется, сама прежняя жизнь встала, сентябрьской слезой улыбается им.

— Я одна теперь, как вы,— говорит она.— Хорошо это? Куда я еду? Зачем? — Вопрос!

Она садится — сразу комната полна для него светом юности.

— Я одна, снова, друг мой, как и вы. Теперь я вижу жизнь и куда-то иду. Начиная новое, хотела на вас взглянуть,— на мою раннюю, чудесную икону. (Костя, помните, я на вас молилась.) Хотела сказать вам...

Он не дал ей говорить.

— Натали,— взял ее руку.— Я не верю еще, что это вы, живая, настоящая Натали, которая произносит эти слова. Если бы я мог собрать их, как слезы или драгоценности, я бы их зашил в ладанку и носил на груди, вечно. Натали, этой зимой я вас видел: вы приходили ко мне в деревне, когда я тосковал. Вы сказали: «Ты мой — в моих краях!» Правда это?

Она наклонила голову.

— Правда. Я теперь ясно и твердо вижу. Друг мой, я уеду отсюда, уедете вы — мы не будем жить вместе. Это понятно? — Она улыбнулась.— Но в наших сердцах, так глубоко, что никто, кроме нас, не мог бы увидеть — вечно будет жить эта любовь... таинственная наша любовь, устоявшая против всего. Мы свободны, бездомны. Костя, мы можем встречаться и будем это делать. Но в мире земном всегда будут между нами преграды...

— Благословите меня,— сказал Константин Андреич,— на новую жизнь. Теперь я ваш бедный, далекий рыцарь.

Благословив крестом, она поцеловала ему лоб, он ей руку.

— Я дам вам цветов, на прощанье,— сказал он. И пошел за левкоями. Принес букетик.

— Что это, панихида?

— Да, умер, маленький сын у моего знакомого, Яшина,— ответил Константин Андреич.— В ночь его смерти этот человек дошел до крайнего отчаянья — чуть не лишил себя жизни. Но теперь тверд. Может быть, вы положите цветов на гроб?

Вышли. Бледный свет реял из облаков. Панихида окончилась. Натали подошла к гробу и вложила два левкоя, белый и красный. Яшин поблагодарил. Он был бледен, тих.

XXX

Уехал Яшин, уехала Натали, Константин Андреич тоже выселялся. Он отправился в лодке за город. Там бродил в лесах заречных, снова скликаясь с осенью, любуясь стволами осин, плавными и круглыми, взлетавшими как змеи. Небо бледно голубело,— вдруг на нем макуша вяза, как красное вино.

Вид открылся: город. Тихо блистал он, мерцая куполами; ширина и русская, светло-осенняя даль расстилалась, видимая спокойно. «Там живут тысячи людей, и я живу, плету с другими бедную свою нить. Отсюда же кажется — все мы безмолвны, и ровно лежим, ровно, только даль над нами веет».

Он стоял. Тихо было в сердце. «Осень, осень!» Уйти в мир бескрайний, светлый, скорбный; в безвестность, бедность, одинокую жизнь. И зная час свой, принять его с улыбкой — незримая свеча в глубине сердца.

Жизнь, смерть — привет! Любовь — благословенье.

Долго махал он: золоту церквей, бледному солнцу, реке, носившей его. И с сердцем прохладным стал спускаться к пристани.

1909

ИЗ КНИГИ «СНЫ»

СНЫ

I

Туманно, сине утро. Едва проснувшийся Никандр, желтый и хмурый, вылез из каморки, где живет с женой. Надо убирать лестницу. Его молодое лицо выражает брезгливость; это скучно, но необходимо — и он трогается.

Лестница кажется ему большой семьей: есть старшие, молодежь, дети. На каждой двери карточка, каждая указывает на значительность или малость живущего. Вот в нижних этажах плотно засели Рафаил Лусегенович Кандалаки, против него доктор Назаров. Это тузы. Лучшие квартиры, ездят всегда на лихачах, один в банке получает десять тысяч, у другого большая практика. Вечерами в купеческом клубе. Дают по пяти рублей. Этажом выше дама — так себе (Никандр пофыркивает), что называется — фети-мети. Рядом адвокат, слегка толстеющий, тридцатилетний, «начинает выдвигаться». Иногда должает в лавочку, Никандру. Это второй сорт. Третий сорт, юноша-ветер, совсем наверху. Никандр даже любит его за простоту и словоохотливость, но барином считать не может. Во-первых, снимает он всего мансарду; чем занимается — неизвестно, кажется художник. Зиму и лето ходит в крылатке, всегда без калош, живчиком, стригунком. Фамилия его Курциус.

Кончив лестницу, Никандр отворяет парадную дверь. Сколько страдает он из-за нее ночью, когда возвращаются из клуба Рафаил Лусегенович, фети-мети, или еще кто из жильцов! Но сейчас пахнуло свеже-ноябрьским, легким. Никандр вздохнул.

Первый снег! Лихачи на углу выехали на санях; в со-

реднем подъезде, у толстого Фролыча, который его ненавидит и «подкапывается» под него, «плетет про него всякое», запорошило дверь. Фролыч без пиджака пыхтит и обметает ее. «Посопи, дьявол,— думает Никандр,— разжирел, клещ нехороший».

Лихачи здороваются с ним; на углу закурена дружественная папироска; пересмеиваясь, мигая горничным, Никандр притоптывает от свежести. В девятом выходит гимназист Петя, затем два студента из пятнадцатого номера, господин Чиликин, дамы, Рафаил Лусегенович. Машина тронулась.

II

Как по утрам бывает отлив жильцов, так же равномерно они приливают к четырем. Никандр не успевает отворять и заметать следов снега, натащенного калошами. Волоча на ремешке ранец, приходит Петя. Толстая барыня Настасья Романовна подъехала на извозчике, с покупками. Охает на высоту лестницы, и что нет лифта. Никандр помогает ей, одобряет погоду, тащит вверх покупки.

Ввалившись в переднюю, сгружается и крутит ус, с видом слегка довольным и покровительственным.

— Опять приходил этот... безобразник. Ничего с ним не поделаешь, Настасья Романовна, так что пришлось к помощи дворника прибегнуть.

— Ирод царя небесного! Неужели ж опять пьян?

— До последней степени. Невозможно с ними, Настасья Романовна.

Никандр ушел, и он рад, что не похож на этого Кузьму, мужа барыниной Аннушки, с которым скандалы происходят раз в две недели: он ломится к жене, а та боится. Настасья же Романовна, по мягкости, не может ее прогнать.

Подъезжает господин Чиликин. Этому не надо никакой «почтительности». Только отворяй дверь. Он желтый, с рыжими усами, скучный, и такая же измора его жена. Когда случается заглянуть к ним в квартиру, кажется, что сейчас околеешь с тоски. Рафаил же Лусегенович подкатит с шиком; ему шумно распахивать, поклон тщательный, почту подает Никандр.

К пяти все обедают. Об этом можно знать по чаду на лестнице. Начинается вечер. Пройдет мимо, по улице, знакомый фонарщик, заблестят бледно-зеленым фонари; свер-

ху сбегут две-три барышни, в снежном сумраке потрещат в телефон. «В восемь начало? Непременно, да, да! Почему не состоится? Скажите Ване, что в студенческом нельзя, пусть штатское наденет!»

Эти приезды, отходы, клочки разговоров, белые платья из-под накинутых шуб (в восьмом, когда извозчики без спросу подают «в театр») кажутся обрывками другой жизни, на которую можно улыбнуться сквозь сон. И он улыбается. Сидя у столика, глядя, как заметает на улице, он будет дремать долго, часами; смотреть на прохожих, зевать, записывать номера телефона, откуда звонили; в десятый раз развернет «Листок», все края которого исписаны адресами. Снова сидит и сидит, ожидая ночи. Ночь же придет не скоро, метель разгуляется, будет неприятно, хмуро. Первый прилив жильцов выпадет на двенадцать (театры), затем в два, и последний, мучительнейший для Никандра, между пятью и шестью. Гуляки, из разных «таких» мест.

III

Хотя ему далеко до Кузьмы, но и сам Никандр не безупречен. Иногда сильно клонит его к вину. Когда подходит праздник, он тщательней подбривает щеки, закручивает хохол и старается улизнуть от жены Лены, оставив за себя брата. Пальто накинуто, на ногах блестящие калоши, картуз на голове, Никандр имеет вид вольного парня, не лишенного средств. Иногда за двугривенный он летит со знакомым лихачом прокатиться; метель сечет лицо, но это нравится; ранне-зимний воздух так радостен после каморки. Когда очень мчатся, и лихач орет на встречных, ловко прорезая под носом у какого-нибудь толстяка, сердце Никандра тоже бьется. Как-то веселеет оно, раскрывается, летит.

Уже сумерки. Взвывает метель, таинственней кажутся люди, женщины. Никандр в «Богемии». Здесь он habituě[1], его даже уважают. Это зависть от того, что лишь один он в «Богемии» не должал. Напротив, он ведет себя барином, на чай дает пятиалтынный. Сейчас еще рано. Заходит в бильярдную. Человек без пиджака, с грязным воротничком, полулег на борт; на лице его особая жестокость: бильярдная. Суть его минуты в том, чтобы бешеным

---

[1] завсегдатай *(фр.)*.

ударом срезать десятиочкового в лузу. Любопытствующий субъект в углу предвкушает что-то.

Трах! Шар метнулся по зеленому, пролетел по пятну света. Стрелявший отскакивает.

— А, дьявольщина!

Маркер потной рукой белит кий.

— Горячитесь очень, господин Финогенов. Оно и оказывает.

Этого Финогенова Никандр знает. Он малый чиновничек, вроде землемера; костистый и неудачливый. Говорят даже в «Богемии», что жена его...

Часов в девять Никандр садится за пиво. К этому времени подходит его друг, портной Павел Захарыч. Павел Захарыч немолод, кривоног, в очках и очень волосат; его маслянистые космы расчесаны пробором, придавая благообразие.

— Пивом балуете? — спрашивает он, садится.

Ему дали «пару пива». На стене напротив объявление: «За бой бокала с посетителя двугривенный».

— Анафемы-с,— говорит Павел Захарыч.— Вы обратите внимание: двугривенный! Например, если я, человек рабочий, и к тому же у меня трясутся руки, выронил бокал, и этот бокал, будучи дурным, разбивается. Вследствие чего я должен платить двугривенный! Где же тут правда?

Никандр слушает с уважением.

— Вероятно, Павел Захарыч, они разумеют бесчинствующих...

Но тут же осекается: сам Павел Захарыч после трезвой и рабочей жизни впадает иногад в такой «транс», что только держись...

— Нет, этого сказать нельзя. Все это истекает от неустроенной жизни.

И Павел Захарыч начинает обычные речи. Под растущий прибой он проповедует Никандру, как надо «устраивать» жизнь:

— Все должны сообща, и кто сколько наработал — дели. На станции Варшава у меня зять носильщиком служит. Так там, милый человек, все артелью. Тебе дали хоть пятак, хоть рубль — неси в артель; а не отдашь — вон сейчас. Друг за другом смотрят.

— И во всем так. Вот и устрой ревизоров. Пусть по всей России ездят, и, значит, все им должны повиноваться. И всех могут проверять: меня ли, тебя, или хоть са-

мого министра. Вон оно куда загибает. Однако иначе нельзя.

Никандр молчит. Ничего не возразишь о ревизорах, но мысли не здесь. Конечно, хорошо так, сообща,— но сейчас в голове хмель; кажется, куда лучше вскочить, запеть всем, размахнуться душой...

— Э-эх, Павел Захарыч, чу-удесный ты человек!

Хочется обнять его.

— Скажи слово! Скажи ты мне такое слово...

Он и сам не знает, какое слово, но чего-то нужно, чтобы взять всех под руки, двинуть...

— Пронзи ты меня, Павел Захарыч! Хвати по сердцу!

Острота и горечь подступили.

— Трижды в угол резал, все дарма! Все! — Это Финогенов кричит с другого стола.— Распроклятая моя головушка!

— Носом короток!

— У тебя займу!

— Все вино, вино! — вздыхает Павел Захарыч.

— Р-разлюбезная голова!

— Что-о?..

— Пошел ты к...

— Он, значит, кэ-эк дал...

Никандр уже на улице. Свистит метель, хватает его, и рыдающими шагами бросает из стороны в сторону. Жадно глотается воздух, снег липнет, липнет на губах, и то же беспокойно-горько-сладкое мятет душу.

— Жизнь ты наша копеечка! Вперед! Павел Захарыч, дорогой мой!

Кажется, сейчас хватит его метель, одним взмахом домчит домой, сквозь кивающие строенья, деревья, приветствующие его на бульваре.

Он старается не будить Лену. Если она увидит, вряд ли это будет хорошо.

IV

Когда жилец меняет квартиру, бывает и хлопотно, и весело. Целый день у подъезда стоит фура. Здоровенные ребята таскают наверх комоды, кровати, зеркала. Вместо выбывшего квартиранта, который теперь как бы умер для Никандра, новый явился. Через год, верно, и он умрет; но сейчас любопытно, кто он, не привез ли с собой нового, к чему здесь еще не привыкли. Сколько будет давать, какие знакомые.

И Никандр возбужден. Часто сам помогает, особенно когда тащут пианино. В углах лестницы всегда выходят драмы; пыхтя, обливаясь потом, вывозят мужицкие плечи эту кладь, как из трясины.

Освободился пятнадцатый номер. Много народу ходило смотреть: две старушки, и дама с гимназистом, и студент, и муж с женой; но неожиданно явилась барыня, одна, сразу дала задаток. Ее-то Никандр и не видел.

— Ничего, обходительная,— сказал дворник.— Рубль дали, и вещи хорошие.

— С барином?

— Не видать, чтобы очень.

К вечеру зашел к Никандру Павел Захарыч, Волосы его были расчесаны, но лицо серо-зеленое, мутные глаза. Он снял картуз, сел в темном уголку у телефона и погладил бороду. Никандр посмеивался.

— Или гуляли вчера, Павел Захарыч?

— Не в очень сильной степени, однако внутри жжет. Я полагаю, надобно прибегнуть к капусте, огурчику, и опохмелиться, конечно!.. Не найдется ли у вас полтинника до субботы? И без всякого сомнения.

Никандр дал. Если Павел Захарыч говорил что-нибудь, то дело было верное. Невозможно, чтобы он обманул.

— Благодарю. Так-с, вот сидите вы тут и господ караулите... дело хорошее. Тихое дело. Собственно, и дела-то никакого? Так я говорю, или нет?

— Не скажите. Тоже хлопотно.

Время было бойкое. Подъезжали на извозчиках, приходили пешком; в передней натоптался след, и от часто распахиваемых дверей было свежо. Сверху, также без перерыва, сходили. Павел Захарыч впал в задумчивость.

— И все прет народ, прет, нет ему ни конца, ни начала. Цельный день так-то?

Никандр отмахнулся.

— Куда день! Даже всю ночь.

— Сильно кипит народ, весьма. Сейчас по Облупу иду — и тебе навстречу, и тебе кругом, и в санях катят, и на машинах.

— Ничего не поделаешь, Павел Захарыч, всякий за своим делом спешит.

— Нет, очень уж много. Непорядок это, я полагаю.

Никандр усмехнулся.

— Вы бы устроили.

— Хотя и трудно, однако есть возможность.

Уже было полутемно. Сквозь зеркальную дверь белел снег, задернутый синим. На лестницу легли бледные пятна. В это время со второго этажа сходила дама, которую Никандр не мог узнать.

Сверху крикнули:

— Мариэтт!

— Да?

— Надолго?

— Часов до восьми.

Она спустилась легко, в черном, большая шляпа.

Никандр выпрямился и подошел к двери.

— Если меня будут спрашивать, скажите, чтобы звонили; двадцать пять девяносто два.

— Слушаю.

Два глаза мелькнуло, и пахнуло духами. Дверь захлопнулась. Павел Захарыч встал.

— Прощайте-с, значит, до пятницы. А это кто ж будет барыня?

— Сегодня только переехали. Наша же, жилица.

Это «наша» Никандр произнес с гордостью.

— Даже очень приятная дама,— одобрил Павел Захарыч.

Потом он ушел. Никандр постоял, свистнул, побарабанил пальцами по стеклу и улыбнулся. Вышел на улицу. Было темно. Налетел снежный ветер, резнул морозом, зимой. Никандру вдруг захотелось закричать и галопом помчаться по улице. Но он ничего не сделал, опять улыбнулся, глянул вверх, где бушевала тьма, вернулся.

Подъезжал господин Чиликин, и надо было отворять.

V

По утрам почтальон Федотов приносит письма. Заказные тащит наверх сам,— особенно любит Федотов денежные переводы: всегда дают на чай. Простую же «корреспонденцию» оставляет у Никандра.

Сегодня мороз; солнце, все сияет, гнедой жеребец лихача Сергея в попоне, и едва стоит. Перебирает ногами, косится на туманный костер у перекрестка.

Федотов ввалился, багровея от мороза. Его бакенбарды оледенели, щеки вспухли, и он кажется еще грузнее.

— Морозец,— говорит Никандр.

— Никаких сил нету! Что за зима проклятая!

Башлык Федотова похож на намерзшее жабо.

— У-ух, служба, будь ей неладно! — Федотов хлопает руками, рычит.— В пятнадцатом-то новая, что ли?

— Да. Новая квартирантка.

Федотов вылетел на мороз, индевея в клубах пара. Никандр же всходит по лестнице и тихим, вежливым голосом говорит горничной господина Кандалаки:

— Два письма.

Но самое главное впереди. И чем выше — медленней он ступает, а в ногах легче, тела все меньше. Верхняя площадка. Направо Курциус, налево она.

— Вот... письмо.

Взор блеснул, длинная рука взяла конверт.

— Да, кстати, не поможете ли мне, Никандр, тут надо гардины повесить...

Мариэтт читает. Никандру видны вблизи эти черные завитки, белая рука с длинным ногтем на мизинце — и на шее алмазная стрела.

— Вот здесь, в гостиной.

Влез на стул, подымает гардину. Но куда глядит она? От кого это письмо?

Ушла. Даже легче стало без нее — теперь обыкновенная комната, крюки, скобка на гардине, которая, как всегда, не приходится на место. Из окна видны крыши, город, снежное блистание, облака пара. Сейчас это заурядно.

Но вот в комнате рядом шорох. Приближается она. Все изменилось. И стоит на пододвинутом столе не он, швейцар Никандр, а другой человек, который не волен над собой и не может поднять глаз.

— Крюки вбиты неправильно,— говорит он глухо.— Немного не приходится.

Мариэтт смотрит.

— Придется.

Мариэтт говорит не зря. Она бледна и думает о другом, но наверно знает, что придутся какие-то бедные крюки, которые так далеко от ее молодой жизни, блистательной, победоносной.

Конечно, придутся! Как он мог думать иначе? Ударил несколько раз молотком сбоку, погнул, портьера повисла мягко и покорно.

— Видите, я говорила же!

Опять за окном блестит снег, и теперь солнце так отразилось где-то, что золотой зайка вбежал в комнату и ударил в лицо Никандру.

Мариэтт смеется.

Но вот сама она попала в свет и, вынимая серебро из кошелька, сверкнула им в огненном луче.

— Благодарю вас, Никандр.

С полученным полтинником он спустился вниз. Там встретил Лену. У ней засучены рукава, и видно крепкое тело рук. Глаза слегка подпухли.

— Куда шляешься? Внизу звонят, телефон, квартиранты спрашивают, а он...

Лена смотрит злобно.

— Ну и что ж такое? Меня наверху зовут. Можешь за меня сказать.

Браниться здесь нельзя. Они знают это и смолкают. Но оба раздражены. Никандр уверен, что дома, в каморке, еще будет баталия.

VI

Кто она? Как живет? Неизвестно. Даже трудно понять, куда ходит, что делает, но она Мариэтт, она прекрасна.

— Никандр, позвоните моему другу Лизе, вы помните номер? Чтобы не ждали меня нынче.

Больше он ничего не знает. Приходил такой-то, такая-то. Письма есть.

Вот забыла Мариэтт белый платочек. Никандр может поднять его и вернуть ей. Это его малое удовольствие. Она же поблагодарит, взглянет черным глазом, быстро удалится. Куда, зачем? Оставаясь один в настающих сумерках и машинально отворяя входящим, думает он о ней. К кому счастливейшему она придет,— глянет глазом темным? «Милый!» Это слово произнесет. Так же пахнут ее волосы, и она может положить две свои руки, две легких птицы ему на плечи.

В стекло двери видно улицу, ворота, и в глубине большой дом. В сквере перед ним сидят в шубейках две горничные, и знакомый реалист из того же дома как привязанный ходит вокруг, все вокруг, переговариваясь, заигрывая. Кажется, он никогда не оторвется. Никандр улыбнулся. Но тихо щемит сердце. Уйти, раздуматься, глядя на ночь.

— Паша!

— Ну!

— Посиди полчаса, мне надо тут, дойти.

Бело и сухо. Снег скрипит, небо черно-синее, раскаленные звезды. Хорошо идти переулком: никого. Громадными лапами легли деревья из-за забора. Сквозь их иней сверкнет звезда. Лихач пронесется. Неизвестно, куда он летит. Возможно, так же мчится сейчас она, в снежном огне, опираясь на руку любимую?

Кончился переулок. Бульвар. В боковой аллее протоптана дорожка, где трудно разойтись встречным. Идя по ней, чувствуешь тихое осенение дерев нависших; их хлопчатый иней укрывает, погружает в свой сон. Вдали сияют огни кафе.

Вот на углу поперечной тропинки фигура. Женщина. Ее рука в мужской руке, тонкая женщина, черная шляпа. Она. Повернуть, спрятаться? Но некуда. Пройти незаметно нельзя. Летит трам. В его зеленой искре блеснули ресницы в снегу, вздрагивающее лицо, глаза темные, напитанные счастьем.

Заметили. И уже никого нет, она за снежной изгородью, на улице, снова тихая дорожка, в кафе огни, мороз, искры трама. Если выглянуть, наверно, никого уже нет, и ее догнать нельзя. Вся она колдовская, ноги у ней ветер.

О, Мариэтт!

Он возвращается. Идет неторопливо, будто соображая. В городе пустынно.

VII

Февраль. Метели бушуют, но раз, другой проглянуло тепло. Снова снежные бури. Трудно по утрам продираться дню.

На заре Никандр вскакивает от звонка и, накинув пальто, бредет. Что-то обидное есть в этом. Вечно вертится шестерня, каждый зубец в свое время тебя заденет. Вспыхнуло электричество,— толчок, первая дверь, со второй влетел всегдашний утренний ветер: остро-сырой, вкусный. А, вот это кто! Слегка холодеют коленки. В перчатке сверкнуло серебро, три быстрых шага,— мимо глаз мокрые завитки волос, шляпа черная, разрисованная снегом. Снова знакомый дух.

— Ой, ой, как поздно! Никандр, снимите калоши.

Он стаскивает, слегка стесняясь.

— Я вас бужу, Бог знает когда, вы, наверно, меня ненавидите, правда? Ну, тушите, я дойду.

— Никак нет, почему же...

Мариэтт смеется.

Электричество гаснет, она бежит вверх. Никандр же сел на стул в своей прихожей и смотрит. Бледно мутнеет за стеклом, скоро выйдет утро.

Тихо и наверху. Почему она не вошла к себе в квартиру? Или неслышно было? Медленно поднялся наверх. В полусвете, со второго этажа, виден купол Иоанна Евангелиста, повитый снегом. Знакомые крыши синеют, прерываясь куполами дерев.

Мариэтт сидела на ступеньке. Подперла голову и смотрит далеко. Что видят ее глаза? Почему слезы на них стоят?

— А, это вы? Не собралась еще в квартиру звонить.— Она улыбнулась.

В этом взгляде он читает: «Знаешь?» Он молчит. Но мог бы сказать: «Да».

На второй звонок дверь отворяют, и она уходит.

VIII

— Что фыркать-то? Думает, не вижу! Знаю, милый, все знаю, не такая я, чтоб меня объехать...

Лена полулегла на локть; ему видны сильное плечо и спутанные волосы. Глаза блестят.

— Ну, и ступай к ней, может, возьмет за деньги. Хоть куда молодец...

Лена смеется, но принужденно.

Надо молчать. Он знает, если сейчас скажешь слово, то сдержаться не будет силы. Что делать? Взять эту крепкую женщину с круглыми глазами — выбросить в окно? Все ложь. И злоба ее ложь, и ревность ложь. Он отлично знает, что сама она его обманывает. Где, с кем, неизвестно. Но она лжет.

Лучше всего надеть картуз, идти.

— Ну, держись, Никандрушка, недолго в швейцарах просидишь! Намедни Фролыч опять барину жаловался.

Не хочется слушать. Пусть останется дома Фролыч, Лена, жизнь, Мариэтт... Все вздор. Выйдешь на улицу, вдохнешь ранне-весенней сладости, услышишь чмоканье калош по тротуарам, бег ручьев, Тонкая полоска на закате. Масленица развернет объятье, затуманит, пронзит. Обгоняя Никандра, катят извозчики, нагруженные мастеровыми; на углу вваливаются в лужу. Весело, хмельные седоки гогочут, пищат гармоники. Кажется, надо ударить

среди бела дня дикого трепака, потопить трезвых, оставить пьяниц и уничтожить все дома, всех жильцов, и швейцаров, порядок...

Понемногу оказывается — он идет к Павлу Захарычу. Это не очень далеко. Павел Захарыч живет за рекой, снимая угол. Тут он работает, лысеет, выдумывает свои проекты.

— Дома,— говорит хозяйка.— Куда ему деться, еще работы не носил. Пропивать нечего.

— Никандру Иванычу почтение! Человек, если который поможет товарищу в трудное мгновенье,— всегда ему уважение. Как поживаете?

— Не спрашивайте лучше!

Портной подымает глаза.

— Домашние неурядицы, вероятно. Против этого мы знаем одно средствие. Извольте подождать полчаса, покуда работу кончу. Тогда к вашему распоряжению.

«Средствие» Павла Захарыча состоит в том, чтобы идти в «Богемию». Никандр знает это и ждет конца работы. Наконец Павел Захарыч встал, распрямил спину, снял очки. Теперь видно, какого он маленького роста, как светится на темени плешь. Примаслившись, надев пиджак, фуражку, Павел Захарыч выходит.

— В нашем быту без этого невозможно, Никандр Иваныч. Встряхнуться надо, душа просит простора.

В «Богемию» являются довольно поздно. Много веселья кипит уже здесь. Финогенов в выигрыше и выставил дюжину пива.

— Паша пришел! М-милейший человек! Никандр Иваныч!

Финогенов обнимает их. От него пахнет табаком и водкой.

— Бутылку пива за Финогенова, счастливейшего смертного, приглашаю!

— Трудно так выражаться, господин Финогенов.— Павел Захарыч пьет.— Нельзя нам сказать, который из нас счастливейший, который нет. Вам улыбнулась судьба, а завтра, быть может, она сразит вас в самую середку.

— Пускай потрафляет, я м-моей судьбе не препятствую. Что мы? Нет, вы скажите, что мы, Павел Захарыч? Утлые челны-с! Утлейшие челны на стихиях морей!

— Важно выразил.

— Не без головы.

— Вам бы, скажем, министром надлежало быть, а,

однако, вы на бильярде по маленькой забавляетесь.

Голос из глубины:

— Жену стережет.

— Как жену? Кто сказал жену? — Финогенов багровеет.

— А по морде хочешь?

— Я и тебе-то, может, набок сверну.

— Бросьте, господа!

— А? Кто про жен? — кричит Никандр.— Нет, сами посудите... Я честный человек... Я честный человек, а она меня же... Да я ей... Я как... человек... И, однако, она лжет.

Подходит хозяин.

— Господа, прошу не выражаться!

Никандр с Павлом Захарычем отсели.

— Туманит мое сердце, Никандр Иваныч. Сосет. Чувствую, близки дела великие. Вы-то что? С вами-то чего случилось?

— Лучше и не говорить! Пропащая наша жизнь, Павел Захарыч.

— Этого также сказать нельзя. Но, действительно, большую головоломку нам выставили сюда для решения, вы правы.

— А я думаю — и не головоломку... Эх, Павел Захарыч, по мне — сгинь все, пальцем не ударю. Надоело. День за днем, день за днем... Все там будем.

— Выходит как бы и правильно, но в существе ошибка. Только мы сейчас не будем... Выпейте, Никандр Иваныч, на меня тоже так находит...

Сзади сели трое немчиков. Через стол от них две «девицы». Немчики строили им рожи, что-то говорили. Одна вскакивала, бегала вокруг, хохотала, вертелась за стулом немца.

Вдруг тот обиделся.

— Пс-ть,— обратился он к хозяину.— Эта персона позволяет себе шутки. Я разговариваю с той персон, вдруг эта привесил мне на спину бумажный язык. Я прошу ее выводить.

Девица сконфузилась. Подошел хозяин, стал шептать ей. Рука его явно указывает на дверь.

— Это не я ему привесила, ей-Богу, не я! Я даже еще и не виновата!

— Постыдились бы,— говорит другая,— все-таки кавалер!

— Я прошу вышибать эту персон из заведения, если мы находимся в порядочном месте.

Пиджачок немца выражает презрение к дикарям, трактиру, необразованной сволочи.

— Ну-ка, вы, поспокойнее, сударь!

Голос Павла Захарыча теперь иной, странный.

На минуту затихают. Немец негодует. Ершатся товарищи.

— Я не знаю этот человек, я требую, чтобы удалили ту персон!

— Удалили? Да ты кто сам-то? А? Кто ты, мразь несчастная? А?

Павел Захарыч весь малиновый, на губах пена.

— Это разбой! Я буду позывать...

— Вон! Сволочь! Вон!

Летит стол, бутылки, Никандр дико визжит, вцепился в немецкий галстук, хозяин задыхается, Павел Захарыч колотит кулаками, свистят из угла, девицы вылетели, в дверях виден городовой.

Никандра и Павла Захарыча везут в участок. Очень тихо, никого на улицах, в ясном небе полыхают звезды. Пахнет весной и лужами.

Голова Павла Захарыча окровавлена. Она свесилась вниз, на снег с нее падают красные капли. Спину ему придавил коленом дворник.

В участке их ведут к дежурному и вталкивают в низкую комнату подвального этажа. Павле Захарыч говорит полицейскому:

— Когда будут ревизоры, вас упразднят-с. Правду невозможно спрятать.

Дежурный ударяет его кулаком по лицу. Кровь идет сильнее. Павел Захарыч падает.

Лежит и Никандр у решетчатого оконца, рядом с блевотиной пьяного татарина. Сквозь решетки виден угол неба. Колоссальная звезда, золотая, взошла на нем. Глядя на нее, Никандр о чем-то думает. Потом он плачет.

IX

Гимназист Петя, черпая полой шинели в ручье, пускает с друзьями кораблики. Давно уже на резинах лихач Сер-

гей, и знакомая горничная во дворе, напротив, бегает без калош.

Это тот самый день, когда, кажется, что, выйдя из дому, можно уйти Бог знает куда. Неизвестно, вернешься ли? Так бледно-золотисто небо, прозрачны бульвары. Вот девушка в черной бархатной кофточке, на груди ее свежие фиалки. Зеркальное стекло особняка; за ним белые гиацинты. И солнце медленно спускается. Оно улыбнулось покорной, девичьей улыбкой.

Как всегда, Никандр сидит в прихожей. Глаз его завязан; он бледен, молчит. Каждый входящий подумает про него: бит. Впрочем, все равно. Пусть думают. Все подло, все очертело. Вчера он получил письмо без подписи: «Жена ваша гуляет». И еще разная дрянь.

Пусть гуляет. Если б это было два года назад, он страдал бы, ревновал, у них были бы сцены; но теперь безразлично. Вот сейчас ее нет дома. Неизвестно, где она, а он думает совсем о другом.

Он привык разбирать шаги всех по лестнице со второго, третьего этажа. Нет сомнения, это она. Сейчас блеснет на последнем марше серебряный мешочек в черной перчатке, пахнёт знакомым.

На голове Мариэтт бледно-сиреневая шляпа, сверху длинный вуаль-шарфик.

— Здравствуйте, барыня.

— Здравствуйте, Никандр. Что это с вами? Ушиблись? — Мариэтт взглядывает участливо, большим черным глазом.

— Да, в темноте, с лестницы... Теперь заживает.

Никандр покраснел.

Мариэтт, Мариэтт! Вы не знаете пьяных ночей, грубой сволочи, кабаков, участков, боли дикой. Вы цветете в тишине, вы гиацинт за стеклом, ваши стройные ноги попирают землю легко: как триумфаторы прекрасного. Вот вы мелькнули в прихожей, блеснули, и поплыла ваша прелесть дальше, навстречу весне, природе, чудесному, чего вы на земле являетесь носительницей.

Вместо вас войдет в эти же двери, часом позже, жена, Лена, со злобно-виноватым видом. Она знает свою неправду, даже она страдает, но боится: как Никандр встретит ее? И что она ему скажет?

Но Никандр сидит безучастно. Безучастно отворяет двери.

X

Аннушка, прислуга Настасьи Романовны, плачется Никандру на Кузьму. Как всегда, палец держит у губ.

— Хоть бы вы его образумили, Никандр Иваныч. Ведь с места из-за него гонят, из-за дьявола. Приладился ко мне с этой своей любовью, тьфу, ну его к лешему, и совершенно даже он мне не нужен. А чуть напьется — скандал.

Но Никандр и сама она знают, что это неправда: и не наплюет, и через неделю заскучает.

— Хоть бы он любил как люди. А то у-у, бум-бум, ей-Богу, Никандр Иваныч, иной раз в четыре часа ночи, вдруг, пожалуйте, ломится. Если б как благородные.

Вздыхают. Аннушка от огорчения, Никандр, вспоминая, как и сам он бывает «неблагородным».

— Значит, очень вы его сердце уязвили.— Он улыбается.

— Какое сердце! Все спьяну.

Никандру так же казалось раньше. Но теперь он меньше презирает Кузьму.

«Что ж, всякому свое».

Только что ушла Аннушка, вваливается Кузьма, Никандр делает знак рукой:

— Ты, брат, потише тут. Здесь не женина комната.

— Да я, я ничего. Мне к бою не привыкать. Я понимаю. Где благородно, там благородно.

Кузьма тоже жалуется. Ему плохо, он ревнует Аннушку (про себя Никандр усмехнулся: неужели и ее можно ревновать?), она не всегда и неохотно пускает его; что ж ему делать, если не отворяют дверей? Стучит.

— А намедни, вот вам крест, всю ночь у порога и проспал, на черной лестнице. Так и не пустила, стерьва. Ну, конечно, в темноте стекло к ней высадил.

Все это Никандр знает. И как его лупили потом дворники, с каким диким упрямством колотит он в дверь к Аннушке, не давая спать барыне.

— Ей-Богу! Даже мышка соломку точит... значит же, и мне к ней хочется. Допустим, сегодня... Не пускает!

— Иди домой, иди, пока цел. И не думай ты глупостей.

Эти разговоры, полусвет вечера нагоняют уныние. Кузьма ушел. Никандр спит ночью плохо. В темноте бормочет что-то спросонья Лена — чужая теперь для него

женщина, на которую он глядит равнодушно. Может быть, ее мучают сны?

Этой ночью будят мало. Он встает в семь. Выйдя к воротам, слышит крики. В глубине дворники бьют Кузьму.

Никандр раздражается.

— Ну как таки можно, живого человека... Звери, право, точно и не христианской веры.

— А ты поглядел бы за ним, заступник нашелся! Каждую ночь нам на дворе скандалы устраивает.

Окровавленный Кузьма удрал.

На черном крыльце появился Фролыч. Он с бакенбардами, без жилета, и кажется, даже его толстый живот смотрит на Никандра с презрением.

— Сам в участке получил по первое число, вот и вздумал за пьяниц заступаться. Видно, мало тебе еще наложили.

Дворники гогочут.

Никандр плюет по направлению к Фролычу и уходит.

XI

Три часа ночи, звонок. Мариэтт. Но на извозчике сидит еще кто-то в шубе.

Мариэтт смеется.

— Сварю вам кофе, есть ликер.

Никандр покорно мерзнет у двери. Влетели снежинки, повили Мариэтт, тают на обшлаге Никандрова пальто.

Фигура в шубе слезла с саней. Блестя глазами, Мариэтт ведет ее наверх. Как весело они бегут! «Они любят друг друга, потому и лестница не кажется им высокой».

Электричество гаснет. Надо спать. Пусть будет ночь, входящие, выходящие, вечная суетня, от которой нет отдыха. Надо отдохнуть, пусть они там живут, как хотят.

В пять снова звонок. Снова ждет он у двери. Наверху, в этаже, где квартира Мариэтт, шорох у выхода. «Вторник?.. Дорогой...»

Фигура в шубе спускается, подняв воротник. Никандр получает рубль.

Через пять минут подъехала фети-мети, слегка пьяная. Ее надо поддерживать за руку и вести до квартиры. Она дала двугривенный. Значит, всего он заработал рубль двадцать.

XII

— Дома Захарыч?

— Дома.

Никандр входит. Павел Захарыч, сидя, как всегда, на корточках, кроит что-то.

— А-а, вот кого Бог принес! Садитесь, сейчас кончаю.

— Пожалуй, фрак кому шьете? — Никандр улыбается.

— Нет, где ж нам фрак. Фрак, Никандр Иваныч, есть дело высокое. Мы сейчас другим заняты: перелицовываем старые вещи. Это тоже работа умственная, вы не думайте. Как, значит, было, так ты и потрафляй всему наоборот. В самую меру выкраивай.

Никандр не понял, куда надо потрафлять, но лицо Павла Захарыча глубокомысленно; он даже сильней раскорячил ноги, и без того кривые.

— Фрак! А вы знаете, у Дюпре-с: фрак триста целковых стоит, и если тебе не удался, весь ножницами тотчас же, чик-чик... Другой задаром шьют.

— Бог с ними, Павел Захарыч, не нам носить.

— Это конечно, я ведь так, между прочим.

Павел Захарыч снял очки.

— Ну, что новенького? Как жизнь наша малиновая?

Никандр потупился.

— Да что, плохо. Я теперь один, Павел Захарыч...

— Ну?

— Верно. Так что выгнал жену. Не желаю больше.

— Ай-ай-ай! Что ж такое усмотрели?

— И усматривать нечего. Просто гуляет. То с младшим дворником, теперь с приказчиком... Так, мальчишка, собачонок.

— Та-та! Это правильно, если жена без уважения...

Павел Захарыч отер большой, сократовский лоб.

— Плохо-с. А от каких причин, думаете?

— Думаю... Так, от нечего делать. Очень тяжко жить, завернуло что-то, Павел Захарыч. На стену и лезут.

— Возможно. Жизнь наша безобразная, об этом разговор уж был.

— Как сказать, для кого и хорошая. Вон барыня у нас живет, в пятнадцатом номере — замуж выходит, за границу уезжают, в теплые места... Да вы, кажется, видели ее?

— Пожалуй, что так. Слушайте,— перебил он вдруг,— душно тут очень. Берите картуз, выйдем на воздух. Денек-то славный, а?

Был уже вечер. Небо бледнело, светлым золотом легли закатные тучки. Павел Захарыч захватил гитару, и они вышли. Повернув два-три раза, оказались на плацу, за городом. Вдали дымил завод — сквозь ласку света. Налево лесок, буераки. А на плацу тонкий налет пыли по пробившейся траве. Худые дети, с завода, играют на нем, как маленькие щенята. Сели под забор в тень.

— Помните, как нас тогда угостили... с немчиком-то? — Никандр усмехнулся.

— Чистка была важная, действительно. Что ж дальше, Никандр Иваныч?

— Да ничего. Противно. Голову как-то теряешь в этой жизни.

Павел Захарыч задумался. Его маленькие глаза потемнели, он взял гитару. Потом жиденьким чистым тенором, тихим, как бы усталым, аккомпанируя себе, запел.

— Одна была-а-а уте-еха, мил плакать, плакать не велел. Одна была уте-е-еха-а-а...

Никандр лег ничком. Гусиная травка лезла в лицо. Песня, в детстве слышанная в деревне, подступала к сердцу. Хотелось плакать. Хотелось, чтобы было лето, как в детстве, речка с пескарями, мельница.

Павел Захарыч оборвал. На его глазах были слезы.

— Вы трудную вещь загнули, Никандр Иваныч. Вы загнули о том, как жить...

Он обхватил колени руками. Гитара лежала рядом.

— Что мы видим с вами вокруг себя? Какова наша жизнь? Мы видим, Никандр Иваныч, безбожную тьму, озверение человека и погибель. Мы вот детей этих видим, что тут играют... все они пропадут так же, как мы с вами. Сопьются-с, будут жен лупить... и некуда будет лучу Божьему заглянуть...

Павел Захарыч молчал.

— А, однако, я полагаю,— что есть правда, да трудно до ней допнуться. Можно переделать жизнь. Если б налечь миром, принажать — то достигли бы большого. А как достигнешь? Я и сам не знаю. Сидишь у себя в мурье, сочиняешь разные штуки... но все же без последствия. Вы как-то, Никандр Иваныч, в трактире говорили: «Пронзи мне сердце, Павел Захарыч!» На что я вам отвечу: ах, если б мне кто его пронзил! Если б сказали мне: отдай себя, Павел Захарыч, пусть тобой правда одолеет, как некогда, Никандр Иваныч, она одолевала в делах мучеников-христиан. Вы думаете, я поколебался бы?

Никандр взглянул на него. Теперь только заметил он, какие голубые, светлые и тихие глаза у этого кривоногого человека.

— Нет, Никандр Иваныч, я бы не поколебался.

Никандр встал и пожал ему руку.

— Вы человек душевный. Вам это зачтется.

Павел Захарыч взял гитару. Опять он тренькает, тихий свет заката лег на него.

— Простите ваше жену,— сказал он.— Ей нелегко, верьте мне. Гораздо труднее, чем вам.

Никандр лежал ничком. Только иногда вздрагивали его плечи. Павел Захарыч вздохнул.

— Я ухожу. Отдохните, подумайте.

Чуть наигрывая, он удалился. Долго была слышна его гитара. Наступали сумерки.

XIII

Впереди на резинах ехала Мариэтт, сзади Никандр, которого она просила взять вещи. Приближался вечер; весна выступала нежно, в тонком запахе тополевых почек, в предзакатном сиянии.

Улицы, по которым проезжали, были бедны; но сегодня, овитые синевой, казались трогательней, прекраснее.

На вокзал приехали довольно рано; провожающих еще не было. Мариэтт села в зале первого класса на диван, круглый, бархатный, посреди комнаты. Косое солнце ударило по ней сбоку, и она зажмурилась. Фиалки на муфте черного бархата засинели.

Пока Никандр хлопотал с багажом, наблюдал, чтобы артельщик правильно наклеил нумер, стали собираться. Вылезали из экипажей дамы, около Мариэтт собралась компания. Было два гимназиста, студент, Курциус, три барыни, господин. Он привез ей цветов. Потом приезжали еще люди, поздравляли с помолвкой, завидовали Парижу.

— Нельзя вырваться,— говорил человек в пенсне, худой.— Я люблю Париж.

Потом он задумался. Как будто на минуту ушел от этих людей, суетни, вокзала.

— В Париже я жил в ранней молодости. Кто знает Люксембургский сад?

Знали многие.

Он вдруг взял Мариэтт за руку:

— Ах вы, милая Мариэтт, поклонитесь вы Люксембургу. Там в Обсерваторской аллее гравий, и в мае шумят

каштаны верхушками, внизу играют дети. Оттуда виден Монмартр. Там я гулял когда-то, каждый день, по утрам, кончив работу.

Мариэтт пожала ему руку. Они взглянули друг на друга. Ее глаз был счастлив и влажен, печален.

Ударил звонок. Болтая, смеясь, то сбиваясь, то растягиваясь лентой, вытянулись на перрон. Поезд подан. Последний вагон — прицепка, в нем едет губернатор. Потом первые классы, деревянная фанера «международного», вагон-ресторан. Накрыт обед, белейшие салфетки стоят фунтиками, в них воткнуты розы. Свет играет в хрустале бокалов.

— Начинайте прощаться. Сейчас третий, не успеете со всеми.

Это как бы ласковая насмешка. Мариэтт целует подряд многих своих друзей, действительно, она не может сделать этого в одну минуту. А когда все перецелованы, кажется — вдруг кого-нибудь забыла?

Вот она на площадке. Кивает, закрывается муфтой. На реснице слеза. Кой-где влажны глаза у женщин. В последний момент господин в пенсне прикрепил ей к кофте маргаритку.

— Люксембургу-то! Не забудьте!

Поезд двинулся. Мелькая, плавно проносясь, сливались вагоны в туманную змею.

Полная дама, с глазами бледно-синей эмали, вздыхает.

— Апрель в Париже так хорош!

— Пропили мы нашу Мариэтт! Укатила.

Худой господин идет вдоль рельсов, обрывая свои маргаритки. Их головки летят по пути. У выхода он сталкивается с Никандром.

— Прощайте, Мариэтт!

XIV

«Богемию» заперли. Последним вышел Финогенов, обнимая Никандра.

— Выставляют нас из заведения! Э-эх ты, знай малина, играй камаринскую! Филь-филь, подфиль-филь, труфель-нафель подфиль-фи-и-иль!

Финогенов плясом проходит по мостовой. Вот он снова на тротуаре и без устали вьется в танце.

— Тру-лю-лю, моя головка, труфель-нафель подфиль-филы!

— Молчи! — кричит Никандр.— Перестань, пьяная тля.

— На том свете в лазарете больным кашицу варит! — вдруг взвизгнул Финогенов, осатанев.

Подошел городовой.

— Без шумов здесь. Чтобы тихо.

Никандр повернул в другую сторону. Издали Финогенов крикнул ему: «Прощай, кол тебе в хрен, пропащие все! Продала меня за три с полтиной».

И в бешенстве, в бессмысленном азарте засеменил трепака.

Никандр шел лениво. Небо бледнело. Скоро должен был прийти рассвет, но этот приход казался безразличным. Мутный, усталый, взор не отдыхал.

На углу проспекта к нему подошла худая, черная девушка.

— Пойдем ко мне, Коля!

— Пойдем!

Теперь он был Колей, а она Маней. Он равнодушно слушал, что она говорила. Про каких-то пьяных гостей, которые не уважают и бьют бедных девушек. Никандр посочувствовал. У ворот дома слезли с извозчика. Впустил сонный дворник.

— Дай ему потом пятиалтынный.

Это запомнилось: на обратном пути дать пятиалтынный.

В комнате Мани пахло сыростью, висели бумажные цветы. На кровати красное шелковое одеяло.

— Выпьем!

Маня бледна. От холода, шлянья у ней под глазами круги.

Сидя у него на коленях, хлопая стаканчиками мадеру, она рассказывает вечные истории «девиц»: о детстве, первой любви, обмане, горестях своих. О каком-то «Сашке», который сошелся теперь с другой. Никандр тоже пьет, и вдруг ему кажется, что сейчас она его зарежет этим ножом для яблок.

— Ты можешь человека убить? — спрашивает он.

Маня смотрит пьяными глазами и не понимает.

— Пойдем, Коля, ляжем!

— Нет, постой. Ты умеешь по карнизам ходить?

— Коля, я не понимаю. Пойдем, ляжем! Ты, может, думаешь что? Я с тобой останусь.

— Нет.— Никандр упрям, бледнеет.— Я тебя спрашиваю, ты умеешь лазить по стенам?

Он снял обувь и пиджак и, стараясь изобразить тигра

или дикую кошку, на четвереньках, легко и бесшумно делает круги вдоль стен комнаты. Где можно, идет по краю кровати, комода.

Маня болтает ногой.

— Ну, ходи, ходи! Вовсе и не страшно, ничего особенного. Неделю назад гость спьяну резать себя стал, и то я не испугалась.

Папироска в зубах и равнодушный вид указывают, что уже много такого и в этом роде видано в этой комнате. Действительно, не удивишь.

Сделав несколько туров, Никандр ложится, в поту. Ну вот, только зря мучился.

Дальше все идет как надо. Минутами теряется сознание, минутами злей душит что-то. Сколько времени прошло? Сказать трудно. Но вот туманная заря, тонкая, больная. Запотели окна. Маня спит нездорово, подергиваясь. Теперь она еще худей.

Надо идти. Куда-то надо уходить, все идти, но никуда не приходить.

— Оставайся, Коля! Куда так рано?

— Пора.

— Ну, прощай, если не хочешь.

Она бежит босиком проводить его до двери. По дороге выхватывает из стакана розу, приколола ему.

— Слушай, Коля, заходи! Пожалуйста!

Он обещает. Не все ли равно. Конечно, никогда больше ее не увидит. Но можно и пообещать. Кто такая она? Тысячи таких Мань, все они уходят одна за другой, чтобы навсегда сгинуть. Чем эта лучше других?

На улице, в рассвете, он снимает розу. Хорошая роза. О чем такое вспомнилось? Нет, нельзя никак представить. Мелькнуло, и нет. Главное — ехать.

— Извозчик!

Резинки мягки и шумят чуть-чуть. Какое утро! Почему такая чудесная роза оказалась у Насти! Нет, она не Настя, ее зовут Лена. Раньше она была его жена, а теперь поступила на новое место. Впрочем, это все чепуха. А вот какой-то мост. Необыкновенно широкая река. Раньше не замечал. Половодье! Ровная, как могучая женщина. Течет упруго и немного шипит. Это льдинки.

А с востока вылезло солнце, проложило по воде широкие огненные дороги.

Шипение льда, холод, роза.

Никандр слез с извозчика.

— Поезжай, братец. Я того... пешком.

Извозчик отъехал.

Ах, какая славная река! И несет, и несет; если опереться на перила, смотреть вниз, то кажется, во-первых, что летишь. И второе,— там где-то очень в глуби есть ее сердце... милое, большое речное сердце.

Крутит, крутит, соединяет водяные косы, расплетает, точно идет ворожба на воде. А, вот это кто! Стало ясно, водовороты замолкли наконец, это то, что надо.

Никандр улыбнулся. Пусть! Значит, так надо. Чувство свободы, светлой тишины нашло на него. Отдых, отдых!

Он поднял правую ногу, налег грудью на перила и медленно полез.

Пять минут спустя городовой держал его за шиворот.

— Еще куда? Или совсем одурел?

Городовой был возмущен. Подходили любопытные. Что-то говорили. Одним было смешно, другие ругались. Городовой жарко рассказывал: «Как я, значит, стою, и вдруг это вижу,— неизвестный за перила шасть. Я его за загривок, разумеется...»

— Ну, народ!

— Эх, парень, парень!

Никандр слушает равнодушно.

XV

Июнь, жаркий вечер. Трудно дышать, солнце прощально горит в стеклах, тучкой вьются в небе голуби, розовея. При закате туманно-пыльный полог оденет все. Людьми овладеет раздумье. В квартирах голо, одинокие жильцы виснут на окнах. Уйти некуда. Бульвары пыльны. Время летней тоски города.

Подперев голову, сидит на скамеечке, на тротуаре Никандр. Рядом открыта парадная дверь. Теперь лето, большинство жильцов разъехалось; работы меньше; но уходить все же нельзя. Да и куда идти, зачем?

По тротуару, напротив, шагает Павел Захарыч.

Он со свертком, видимо несет заказ.

— Далеко шествуете?

Портной оборачивается.

— А, вот это кто! Давно не виделись. Здравствуйте.

— Садитесь, Захарыч, замучились, верно.

— Тепло-с.

— Даже очень.

Отирая пот, Павел Захарыч садится. Он будто смущен немного. После истории с рекой он видит Никандра впервые и не знает, как держаться.

— Ну, вот, Павел Захарыч, опять вы у меня в гостях. Время-то идет, не замечаешь.

Никандр улыбается.

— А вы будто устали, Никандр Иваныч?

— Нет, ничего. Теперь меньше работы. И жена помогает.

— Жена?

— Да, жена. Помните, что вы мне сказали? Я принял ее.

Павел Захарыч посмотрел на него.

— Помню-с. Очень хорошо помню. Что же, дай вам Бог счастья, Никандр Иваныч.

— Счастья?

Никандр опять улыбнулся.

— Этого дела вовсе нигде нет, незачем и говорить.

— Ах, Боже мой, Боже мой! — вздохнул Павел Захарыч.— Как это вам тогда... угораздило? Насчет потопления?

— Может, и вернее было б. Да что — было, теперь нет. Все опять по-старому. Даже забывать стал. Видите, каморка моя, телефон, жена... Все налаженное.

— Жильцы-то теперь другие?

— Бог с ними! Сколько ни меняй, все как один.

— Это верно. Так же у меня заказчики.

Помолчали.

— Ведь и вы, небось, Павел Захарыч,— по-прежнему? Пошумите в кабаке, помудрствуете... а потом — к себе в угол?

Павел Захарыч не ответил. Он сидел, будто соображая.

— Что же делать, Никандр Иваныч, не мы одни. Намедни я читал Библию. Я иногда ее читаю. И там, в Екклезиасте, царь Соломон говорит: «Идет ветер к югу и переходит к северу, кружится, кружится на ходу своем, и возвращается ветер на круги свои». Вот как выражено!

— Это сказано важно.

— Значит же, большая тоска взяла его. А ведь кто был?! Подумать только: царь Соломон!

Павел Захарыч покачал головой.

— Однако прощайте. Заболтался с вами.

Они расстались.

Скоро Лена позвала Никандра ужинать. Как всегда, за столом они молчали. Потом легли спать. Началась летняя ночь. Хотя жильцов возвращалось мало, Никандр долго не мог заснуть. Ему вспомнилось утро, река, Мариэтт. Ее образ, привидевшийся тогда в воде. Он знал — в последний, в предпоследний раз он ее вспоминает. Пройдет месяц, два, год — ничего не вызовет она в нем. Это было больно, но неминуче. Как неминуче будет он вставать, ложиться, делать дело, годами делаемое всеми.

«И возвращается ветер,— вспомнил он,— на круги свои».

Перед утром он, наконец, забылся.

1909

СМЕРТЬ

Когда в комнате выставили рамы, и Павел Антоныч вдохнул апрельский воздух, увидел бледное небо, воробьев, слабую зелень в садике, он понял, что это его последняя весна. Мысль о конце не испугала его; она только яснее определила его положение. Он улыбнулся жене.

— Какой воздух! Как хорошо! Ты доставила мне большое удовольствие.

— Не холодно? — Теперь во всех словах и мыслях Надежды Васильевны было одно: как бы не повредить Павлу Антонычу, как бы помочь.

— Нет.— Он вздохнул глубоко.— Легче. Дышать свободнее.

Надежда Васильевна поцеловала его в лоб и вышла. Целый день он был покоен, молчал, не задыхался. Все время смотрел в садик и к вечеру попросил посыпать на балконе зерен для воробьев. При этом снова улыбнулся:

— Весело на них смотреть.

Следующий день и вся неделя прошли спокойно. Казалось даже, что зловещие отеки уменьшаются. Но сам Павел Антоныч изменился. Он часами глядел на воробьев, не читал, и в его глазах, к которым так привыкла Надежда Васильевна, она видела упорные, тайные мысли.

— Павел Антоныч,— спросила она раз,— о чем ты думаешь? Отчего ты мне ничего не скажешь?

— О чем думаю?

Он засмеялся.

— О духовном завещании.

— Зачем ты говоришь так? Павел Антоныч!

Он стал серьезнее.

— У меня, Надежда, есть с тобой разговор.

Но потому ли, что не додумал до конца, или доктор помешал, он отложил объяснение.

Наконец, в первых числах мая, когда сад был уже в зелени, весело звонили в монастыре и Павла Антоныча выносили на балкон, он обратился к жене:

— Прятаться нечего, Надежда. Очень приятно жить весной, но... ты понимаешь, одним словом. Так вот.— Он перевел дыхание.— Ты любила меня очень. Очень.

— Вспомни.— Ее голос дрогнул.

— Да, я тебя много мучил. Это несомненно. Простишь ли ты меня?

— Ах, не говори ты так! Не надо! Бог с тобой, в чем мне тебя прощать.

Надежда Васильевна стучала рукой по перилам, ее седоватые волосы вздрагивали под наколкой.

— Может быть, и простишь,— говорил Павел Антоныч, так же тихо и медленно.— Но сейчас о другом идет речь.

Он вздохнул, поправился, закурил.

— Ты знаешь, есть женщина, которую я любил.

— Знаю.

— У меня есть дочь, ты тоже знаешь.

— Знаю.

— Вот. И вы — то есть ты и Анна Петровна — всегда ненавидели друг друга.

— Я слушаю. Слушаю, буду слушать все, что ты ни скажешь еще.

Надежда Васильевна держалась за перила крепко, стиснув пальцы.

— Так как я скоро умру, я прошу у тебя еще милости. Жертвы, что ли. И от нее также. Вот, я написал ей.

Он показал конверт.

— После меня вам нечего будет делить. Много мы страдали и при жизни. Неужели и тогда вы будете ненавидеть друг друга?

— Чего же ты хочешь?

— Надежда, примирения. И прощенья. Чтобы я покойно умер.

Надежда Васильевна не сразу ответила.

— Мы должны упасть друг другу в объятья? — Голос ее был глух и сдавлен.

— Нет. Отпустите взаимно, и мне. Чтобы она не проклинала этого дома, а ты... дочь не оттолкнула бы.

Надежда Васильевна молчала.

— Дочь? Твоя дочь могла быть только моей. Других твоих дочерей нет.

— Надежда,— лицо Павла Антоныча покрылось бледностью.— Я очень пред тобой виноват, очень. Но... сделай так. Ради Бога.

Она стояла как каменная. Что-то вспыхивало в ее глазах, точно отблески. Но она владела собой.

— Павел Антоныч, я боюсь, что тебе надует.

И она закрыла балконную дверь. Выходя из комнаты — прибавила:

— Об этом мы не будем больше говорить.

Тогда Павел Антоныч замолчал. Сначала он лежал неподвижно, потом заплакал — едкими старческими слезами. Теперь ему казалось, что уж подлинно он один, смертельно один в этом сияющем весеннем мире. Захотелось быть ребенком, чтобы мать взяла на руки, ласкала беззаботно. Но за ним стояла жизнь,— теперь прожитая, так ужасно неудавшаяся. Что наделал он в ней? Двух женщин измучил, да и сам...

Надежда Васильевна снова вошла. Она была уже другою — старым другом, врачом, сиделкой. Но на Павла Антоныча этот разговор произвел длительное и тяжелое впечатление. Жену он знал, если в такую минуту ей нечего было сказать, значит, вражда сидела крепко.

«Покоряюсь,— решил он,— были ошибки, грех; теперь это давит; я не увижу ни Анны Петровны, ни Наташи. Покоряюсь».

Вспоминал он также о своем законном сыне, Андрее. Он был студентом, в южном университете.

Павлу Антонычу хотелось повидать его.

— Отчего ты не напишешь Андрюше? Пусть бы приехал.

— У него экзамены, зачем его тревожить. Он подумает Бог знает что.

«Да ведь я все-таки умру?» — хотел сказать Павел Антоныч, но не сказал, только вздохнул.

— Впрочем, если хочешь, я могу написать.

Павлу Антонычу стало особенно плохо в середине мая; как ни выставляли его в садик, как он ни старался набирать в себя весны,— дышать было все труднее. По ночам он не спал, заливаемый водянкой, и жена в эти одинокие ночи до изнеможения растирала ему грудь, спину. Наконец, ему сделали горячую воздушную ванну. Это было так мучительно, что Павел Антоныч собирал все силы, чтобы

не кричать. Когда ушли доктора, он отвернулся и, стараясь скрыть от жены слезы, простонал:

— Зачем они меня мучают?

Это утро он страдал жестоко. Как никогда терзала его история его любви, томила смерть. Едва говоря, он попросил нарвать сирени. Сирень была свежая, бледно-фиолетовая, с капельками росы. Вдыхая ее запах, он слабыми пальцами трогал цветы. И улыбнулся горько, вспомнив, что никогда не мог найти в сирени пяти лепестков — счастья. Потом, закрыв глаза, стал думать о Боге. В это время он забыл о своей жизни, товарищах, врагах; ему казалось, Бог есть, и эта сирень, и вообще прекрасные цветы, прекрасная любовь суть именно свидетельства и проявления Бога. Вспомнив же о женщинах, которых любил, он подумал, что, быть может, самой дивной, неземной любви, о которой мечтал в юности, он не знал вовсе. Тогда он снова взял сирень, поцеловал ее, и мысленно просил Бога, чтобы он скорее избавил его от этой несчастной, страдальческой жизни.

Вечером написал сыну. В этом письме было такое место: «Повидать тебя, Андрей, мне бы хотелось. Мы давно не видались. Может быть, ты забыл меня, но я тебя помню. Ты мне сын, ты был ребенком, черноголовым мальчиком, в то время, когда мне жилось легче, чем сейчас. Теперь же, кроме тяжелой болезни, которая неотвратима, я изнемогаю от ошибок моей жизни. Дело в том, что кроме твоей матери я до последнего времени был близок с другой женщиной, Анной Петровной Горяиновой, от которой у меня есть дочь Наташа. Надежда Васильевна знает об этом. Мне так трудно сейчас потому, что она не помирилась,— видимо, и не помирится с Анной Петровной, на что имеет, конечно, всякие основания. И вообще вся вина здесь на мне. Можешь и ты прибавить свое порицание; но ты еще молод. Желаю тебе ясной и светлой жизни; помни, друг мой, что величайшее счастье, как и величайшее горе человека есть любовь, и постарайся создать себе жизнь достойнее отцовской. Меня же, если можешь, пожалей; если на каплю любишь — помоги: не отталкивай после моей смерти Анну, поддержи Наташу — все же она тебе сестра».

После этого письма Павел Антоныч устал страшно; всю ночь он провел без сна, задыхаясь, и широкими от тоски глазами глядел на пламя свечи. Надежда Васильевна отхаживала его; он молчал, вздыхал, часто прикладывал

к сердцу руку. Так прошел следующий день, ночь, и еще день. На третью ночь припадки усилились.

— Надежда,— шепнул он, около двух часов,— умираю.

Она обняла его сзади, сжала, точно не хотела выпускать.

— Жена моя, Надежда, верная жена,— не удержишь. А все-таки — держи.

Потом он стал дышать чаще, лицо его исказилось. Надежда Васильевна едва сдерживалась. Тихо сидела в соседней комнате сиделка. Павел Антоныч вдруг произнес, в небольшой перерыв между муками:

Te spectem suprema mihi cum venerit hora.
Te teneam moriens, deficiente manu[1].

И поцеловал ей руку. Надежда Васильевна не поняла, но почувствовала эти слова.

Тогда тихо, едва говоря, он произнес:

— Прости, Надежда. Надежда, прости.

Надежда Васильевна знала, о чем он говорит. Она заплакала, припала к его щеке, и сердце ее разорвалось, когда она увидела эти большие, несколько суровые, давно любимые и измученные глаза. Вероятно, он прочел что-то в ее лице. Он качнул головой, молча, и произнес:

— Так.

Утром он умер.

Его хоронили в четверг, при слабом погребальном звоне в монастыре. Надежда Васильевна с Андреем, приехавшим утром, присутствовали на службе. Нежный вечер делал небо хрустальным; в церковь веяло светом, долетала жизнь. Глядя на отца, лежавшего на возвышении, над которым кадил дьякон, Андрей вспомнил его крепким и живым человеком. Вспомнил о письме, полученном на днях, и теперь понимал, почему и раньше отец страдал припадками уныния. Почему рано поседела мать, и в доме было какое-то напряжение.

Подошла пора прощанья — мать долго не могла оторваться. Андрей закрыл глаза. Когда он взглянул снова, у гроба стояла высокая дама, в трауре, и прикладывалась к руке. Она была так слаба, что едва держалась на ногах. «Горяинова»,— шепнул кто-то. Андрей похолодел. Вот она,

---

[1] Видеть бы только тебя на исходе последнего часа.
И, умирая, тебя слабой рукой обнимать *(лат.)*.
Тибулл. Элегии. *(Перевод Л. Остроумова.)*

его любовь! Любовь отца, горе матери. Андрей стал вглядываться. «Чем покорила она его?» Горяинова была обыкновенной дамой, каких тысячи. «Да, у нее есть дочь, моя сестра. Моя сестра! И они не могли быть при его конце».

Когда служение кончилось, он при выходе поддерживал мать под руку. Гроб несли впереди. Медленно двигался кортеж, среди белых памятников; хоронили на новом монастырском кладбище, только что открытом. Под него взяли луг, и сейчас на нем было еще много цветов, только в дальнем углу возвышались две могилки. Павел Антоныч лег третьим. Звенели кадила, ладан синел; золотой вечер наклонялся; на горизонте катился белый дымок — поезд, прощально голубели холмы. Когда гроб опускали, Надежда Васильевна упала. Андрей поддержал ее. «Мама, мама!» Изо всех сил он сдерживал себя. Но когда ушли чужие, долго рыдал он с матерью над отцом.

Прошла неделя. Был вечер. Андрей ходил в маленьком садике, по дорожке, среди тополей; в дальнем углу он сорвал сирени. На балконе готовили чай; Надежда Васильевна, бледная, молча, сидела в кресле; в монастыре, где лежал отец, звонили; розовые турмана кружили в небе.

— Мама,— сказал Андрей, не совсем твердым голосом,— нам с вами надо еще поговорить. Об одном важном деле.

— Что такое?

Андрей вышел, вернулся с письмом отца.

— Вот... Мама, простите, если я потревожу ваше сердце, но... мне кажется... надо же.

Запинаясь, он объяснил, что не может обойти предсмертного желания отца — чтобы близкие ему люди не были брошены.

Надежда Васильевна читала. Лицо ее было так же покойно, ничего не изменилось в нем, когда она кончила.

— Бедный Павел Антоныч!

Несколько времени они молчали.

— Как же вы скажете, мама? — Он спросил робко, чувствуя в груди тяжесть.— Как быть?

— Это старинная история. Но теперь все кончилось. Я не имею ничего против той женщины.

Она помолчала снова.

— После Павла Антоныча осталось кое-что. Мне нужно немного. Если она нуждается, я могу ей помочь. Все это должен сделать ты. То есть найти ее, передать ей это. Вот и все.

Она вздохнула. Андрей поцеловал ей руку.

— Благодарю вас, мама, вы очень добры.

— Скажи ей,— прибавила она,— что я на нее не имею сердца. Но,— она слегка нахмурилась,— видеть ее не желаю.

Больше они не говорили. Надежда Васильевна пила чай, смотрела на облака, розовевшие в заре.

Когда убрали самовар, она улыбнулась далекой, ясной улыбкой.

— Женишься, Андрюша, узнаешь все это.

В одиннадцать она ушла. Андрей ходил по дорожкам, где цвела сирень, таились тополя. Горели звезды, синяя глубина неба манила; глядя в нее, Андрей думал о печалях жизни, темных жребиях страдания, выпадающих людям. «Женишься, Андрюша, узнаешь!» Неужели через муку, унижения, неправду должен пройти и он, Андрей, полный любви к Зине? При мысли о ней у него защемило сердце; лежа на скамье, глядя в небо, он ощущал любовь как бесконечность, такую же, что светилась над ним. Он бродил до рассвета, когда тонко запел петух.

По отъезде Андрея жизнь Надежды Васильевны стала еще замкнутей. Из дому она выходила вечерами, на могилу мужа. Шла монастырем, среди золотых глав, старинных помещений с кельями, памятников; вот мраморная урна, белая часовенка александровского времени; на могиле генерала 12-го года два бронзовых зеленых рыцаря; все это она не раз уже видела. Наконец, новое кладбище. Перейдя по дорожке налево, она садилась на скамейку у решетки. На кресте сияла лампадка, свежие цветы лежали на холмике. Просиживая здесь подолгу, молясь, она ощущала умершего не совсем таким, какой он был в жизни; временное, будничное уходило. В воспоминании его образ был чище и возвышенней.

Раз вечером, в июле, она сидела, как всегда, у могилы. Солнце закатывалось. Светло, золотисто было в небе. Пахло сеном. Подняв голову, Надежда Васильевна вдруг увидела девочку, лет четырнадцати; в руках у ней были цветы.

— Простите, я помешала.

Она двинулась, чтобы уйти.

Надежда Васильевна слегка вздрогнула. Что-то знакомое, милое было в ее глазах.

— Постойте, куда вы?

Девочка остановилась. Надежда Васильевна вглядывалась в нее. Она потупилась.

— Вы мне не мешаете. Подите сюда. Я вижу у вас цветы. Вы, вероятно, принесли их на могилу?

— Да,— ответила девочка.— На могилу дяди Павла.

Надежда Васильевна вздохнула.

— Ах, вот как!

Девочка сконфузилась. В нерешительности она медлила.

— Вас зовут Наташей?

— Да.

— Пойдите сюда, Наташа. Познакомимся. Дядя Павел был моим мужем.

Наташа охнула, выронила цветы.

— Если вы принесли цветов, значит, хорошо относились к дяде. Тогда вы мне друг.

Робея, Наташа подошла. Надежда Васильевна обняла ее и поцеловала.

— Поднимите свои цветы, положите их на могилу. Ему будет это приятно. Дядя Павел,— прибавила она,— при жизни видел слишком много горя.

Наташа отложила цветы и села рядом. Она молчала, в глазах ее что-то вздрагивало. Надежда Васильевна гладила ее по голове. Начинало смеркаться; небо стало выше, чище — появились звезды.

— Пожалуйте,— подошла монахиня, кланяясь.— Сейчас будем запирать.

От росы, прохлады, сено пахло пряней. Кое-где краснели на могилах лампадки. Надежда Васильевна шла под руку с Наташей. У выхода она обняла ее.

— Поцелуйте свою маму крепко и скажите, что я очень прошу ее к себе. Если она позволит, я зайду к ней тоже.

Возвращаясь домой, Надежда Васильевна чувствовала, что теперь кончилось все. Она простила до глубины сердца. «Теперь, Павел Антоныч, я исполнила, что ты хотел». Последние узы — земли, жизни — падали. Захотелось написать сыну, но она устала и легла спать. Во сне видела Павла Антоныча. Он был ясен, говорил ей что-то, но что именно, она не могла понять.

Надежда Васильевна не увидела ни сына, ни Горяиновой. Через неделю она умерла.

1910

ЖЕМЧУГ

Весенним вечером при луне я позвонила в дальнем переулке у подъезда. Было девять. В передней стоял знакомый нюренбергский фонарь, в мастерской Павла Асинкритыча лунный свет лег сиянием на пол, на холсты, этюды.

— А, Надишь!

Павел Асинкритыч потрепал меня по руке, погладил бороду,— седую, давно известную мне бороду.

— К чаю просим, к чаю просим. Катенька, это Надишь.

Мы целовались с Катериной Евграфовной, проходя в столовую. Это, собственно, и не столовая — как и все здесь особенное. Может быть, тут дом, может, музей. Старье, резная мебель, холстины, керамика. По стенам скамьи. Был уже народ. Всех здесь я знаю, некоторых люблю. Больше художники, актрисы из молодых.

Катерина Евграфовна распоряжалась полем действия. У ней на этот счет свой взгляд. Нельзя, если пришедший сидит один слишком долго. Или двое заговорились. Это расстраивает гармонию. А гармония, по ее мнению, самое важное.

— Что поделывали, ангел? — говорил Павел Асинкритыч.— Вы мне хотя в дочки годитесь, все же я вас люблю и как женщину.

Он фыркал.

— Я в размягченном состоянии. Теперь весна, я грущу,— «и мне чего-то жаль». Это, верно, потому, что я старею, Павел Асинкритыч.

— Вздор-с, милая. Пустяки болтаете. Стареть человек начинает с шестидесяти. Вот я, например, хо-хо... разве я стар? Хо-хо...

Хорошо, что нас не видала Катерина Евграфовна. Она навела бы порядки. Ибо мы сидели в мастерской и разговаривали одни. Месяц заливал наш диван.

На мне было черное платье и старая нить жемчуга, любимая мной, с крестом венецианской работы. Здесь под луной мой жемчуг млел и таинственно играл голубоватыми лучами; точно мечтательно журчал о далеком, далеком — милом.

— Вот, вы видите, до чего я расслаблена, я гляжу на свой жемчуг, и мне хочется ласкать его и пошептаться с ним. Это сентиментально? Но он с моей родины, из Италии, и он видел много чудесного.

— То-то все брехня. Жемчуги не разговаривают. Э-х, не втирать нам очков, хорошенькая вы бабочка, что там...

— Мне тридцать два.

— Надишь, Павленька, что ж вы? А торт? Ай-ай,— она обняла меня,— ай, нехорошо!

В столовой разговор гремел. Спорили о художнике С. Мой друг Р. говорил:

— По-чешски художник называется «умелец». Ну, скажите на милость, разве ж он умелец? Хорошо, допускаем тон, но форму его признать, форму! «Великий артист!» Когда он пальца нарисовать не умеет. Нет, простите... Ну, колорист, туда сюда...

— Он варвар. И отлично. Ему ваших рисунков не надо. Отправьте в Строгановское, там научат с гипса рисовать, да что толку...

Из прохожей вышел человек — высокий, черный, со странной морщиной поперек лба. Я взглянула на него. Это был Александр Андреич.

Крепкой рукой жал он руку Павлу Асинкритычу. На пальце блеснул бриллиант. Красный цветок в петлице.

— Давно в наши земли?

— Только что. К вам первым.

Он улыбался. Улыбка не шла к его лицу — тяжелому, странному. Маленькие глаза были тверды. Мне показалось, он стал резче, мрачней и задумчивей.

Подал руку и мне. Опять несветящая улыбка прошла по нему.

— Все по-прежнему. Надежда Николаевна здесь, и даже в прежнем платье. Даже жемчуг тот же.

Мне стало неприятно. Зачем ему мой жемчуг?

Я вспыхнула:

— И вы тот же. Те же бриллианты на руках. Разница в том, что мой жемчуг прекрасен, а носить бриллианты на пальцах мужчинам — нехорошо.

— Почему?

— Дурной тон.

— Вот как! — Он поглядел, задумался, покачал головой.— Вот как.— Он стал болтать ложечкой в стакане.

Что могу я сказать об этом человеке? Боже мой, мне ли его не знать? Восемь лет назад он подарил мне этот жемчуг, весною, в Венеции. Восемь лет назад мы любили друг друга бурно, мучительно любили, бывали счастливы — до гибели, и были, в общем, очень несчастны. Наша любовь продолжалась год. Мы жили вместе, и за этот год я узнала его всего снаружи, но не скажу, знала ли вообще.

Он был тяжек. Мрачная душа жила в нем. Над нашей любовью было неблагополучие. Мы терзали друг друга, страдали, потом разошлись. Иногда встречались в обществе, всегда чужие. И он и я любили еще, других; мы забыли друг о друге. Даже могу сказать, что к нему я теперь относилась недружелюбно. Передавали мне, что и он меня не любит.

— Дайте, пожалуйста, вина,— обратился он к Павлу Асинкритычу.— Кажется, ведь у вас ужина не полагается? A la fourchette[1]?

Павел Асинкритыч хлопнул его по спине.

— Виноват-с, виноват. Катенька, вина!

— Вам красного? Белого?

— Белого.

Я опять раздражилась.

— Есть два сорта людей. Одни пьют красное вино, любят Италию, и вообще они хорошие люди. Другие — белое...

— Ну?

— Те гораздо хуже.

Павел Асинкритыч подошел ко мне.

— Надишь, не дерзи. Нехорошо, мой ангел. Он вовсе и не так плох, а?

Я не ответила. Мне стало скучно и противно.

— Нет, вы насчет белого не правы,— вмешался Р.— Дело не в цвете. Дело в том, в какой стране что растет. По вину вы узнаете край. Должен вам сказать, наш край не из важных.

---

[1] На скорую руку, не садясь за столы *(фр.)*.

Александр Андреич пил вино. Я молчала. Кругом говорили, Р. пил также и быстро вступил в спор. Я села в угол и глядела в мастерскую. Там, как прежде, плыл голубой лунный свет; он казался мне магическим и сладким. В комнате за столовой молодая артистка запела. Ей аккомпанировали томно, ее густой, высокий голос опьянял меня. «Что это, я совсем полоумная». Горячая струя, сладостная и смертоносная, пронзала меня.

— Нет, не могу!

Я встала, вышла к столу. Я была бледна. Все сидели молча, тоже завороженные. Певица кончила. Молчание. Потом вздохнули. Вздох был общий — тот, когда *прекрасное* является, побеждает.

Я взглянула на Александра Андреича. Он смотрел также на меня, непонятным, упорным взглядом.

Я обняла Катерину Евграфовну и простилась.

— Душенька,— кричал Павел Асинкритыч,— куда ж рано так?

— Никуда. Устала, не выдержу. Никуда.

У подъезда стоял автомобиль. «Это его»,— подумала я. Я не знала, что у него есть автомобиль, но могла бы держать пари.

Было тепло. Луна сияла так нежно! Мне захотелось слез, каких-то дивных фиалок, много фиалок, уткнуть в них лицо и плакать, плакать... О чем, собственно? Я не знала.

Я шла по светлой стороне переулка, расстегнув манто. Снова мой жемчуг искрился; теперь, маленькие, серебряные, в нем бродили как бы слезки. Через пять минут я услыхала ровный, легкий шорох; оглянулась — два золотые глаза неслись беззвучно.

В двух шагах машина остановилась.

— Надежда Николавна!

Это он. Что же, все возможно, все так странно нынче.

— Сядьте ко мне. Мы поедем. Ну, я очень прошу вас.

Я села. Мы тронулись. Да, автомобиль вещь особенная. В нем летишь птицей, в нем нет веса, и когда мы неслись по пустынным улицам, под пустынно-ласковым небом, дух у меня захватывало. Почему-то вспомнилось, как в мировом пространстве мчится беззвучно комета, сияя и сгорая, из одной неизвестной бездны в другую.

Александр Андреич был тих. Он долго смотрел на меня:

— Вы меня ненавидели там... у стариков. За что?

— Я не знаю. За что-то — да. Зачем вы попрекнули мой жемчуг?

Он улыбнулся.

— Бедный жемчуг, бедный жемчуг!

Я опять взволновалась.

— Я знаю, вы хотели уколоть нашу любовь. Вам мало, что прошло все, вы хотели...— я задохнулась от гнева,— хотели посмеяться над ней.

Он стал серьезен.

— Посмеяться? Ах, нет, Надя, вы не поняли.

— Я для вас не Надя, запомните это, не Надя...

Он взял меня за руки.

— Белые руки, белые руки! Не гневайтесь на меня. Я вижу, как трепещут ваши жилки. Но ведь вы божественны. Как может быть в гневе богиня?

Я опустилась, умолкла как-то. Раздражение, тоска, все во мне замерло, я сидела поникнув, а шофер мчал нас из улицы в улицу, из переулка в переулок. Около здания с белыми шарами мы остановились. Я опомнилась. Это ресторан. Вот она, мировая бездна, куда мы летели! Я немного сконфузилась. Но поздно, и неловко было говорить. Блистал зеркалами вход; как опытная женщина, я знала, что надо подойти к зеркалу, поправить прическу. Александр Андреич взял меня под руку. По красному ковру мы поднялись в вестибюль, в цветах. Румыны ударили смычками, многоголосый гул ресторана, толпа, золото света — все било по нервам. На минуту я забылась. Я чувствовала себя актрисой при поднятии занавеса. И должна сознаться, что первая минута в ресторане всегда такая. Все-таки это сцена. Полгорода знает Александра Андреича, треть — меня, четверть — нашу прежнюю жизнь.

Все было занято. Мы прошли через весь зал и едва нашли стол. Несколько раз, в огне взглядов, среди оборачивавшихся, слышала я имя Александра Андреича. Раз — свое. Но волна схлынула, снова я поняла, что делаю что-то нелепое, дикое. Да уж раз начато...

Александр Андреич заказал устриц, мне котлетку марешаль. Почему он вспомнил, что я люблю котлеты марешаль? Пили мы шампанское. Александр Андреич молчал. Странную власть имел надо мной в этот вечер этот человек! Ну зачем я здесь, что надо мне, что ему? Мы не можем любить друг друга,— что за тайная сила свела нас, про себя живших свои жизни, про себя страдавших?

— Я не хотел посмеяться над жемчугом,— прошептал он.— Нет, не хотел посмеяться.

Он сидел передо мной огромный, черный, неподвижный. «Он похож на Елеазара — подумала я, холодея.— На Елеазара, увидевшего раз смерть, и не могущего забыть».

— Я сказал вам... потому что... Когда я увидел ваш жемчуг, то чуть не закричал. Чтобы скрыть это, только чтобы скрыть, я сказал... дерзко.

— Да ведь мы не любим же друг друга?

— Да, конечно.

Я взяла в руку жемчуг. Он горел теперь, в блеске золотого света ядовито, колдовски.

— Может быть, здесь скопилась вся прелесть, мука, восторг нашей любви. Может, это таинственный амулет, нерасторжимо связавший нас.

— Может быть. Да. Я вам не договорил. Когда я его увидел, я вспомнил то, что было восемь лет. Почему это вспомнилось нынче? Сколько раз мы встречались, здоровались — все было — не то...

Он подпирал рукой голову. В руке держал бокал, где весело, легко взбегали пузырьки — божественно чистые.

Снова он стал другим. Теперь казался печальной, прекрасной глыбой — таким он бывал в лучшие минуты. Теперь глаза его светили.

— Рождение божества,— он глядел на бокал,— так же легко и бессмертно, как бег этих пузырьков. Божество есть в вас, в ваших белых руках, в вашем жемчуге. Да. Оно было в нашей любви. Оно было, Надя, вы не станете отрицать.

В первый раз я назвала его «Александр».

— Да, было. Несмотря на все, было.

Мы чокнулись.

— Кто виновен в том, что мы не были счастливы, и расстались? — Он выпил глоток.— Никто. Так было положено. Но сейчас я должен сказать вам, помните, как у Тургенева: «Только у ваших ног мог я дышать».

— Это из «Дыма».

— Все, что потом было, я вспоминаю как ничто.

— Поедемте,— я поднялась,— не могу здесь больше сидеть.

Я знаю себя. Я знала, что в груди, в горле у меня поднимается теплота, начинает щекотать, вдруг здесь, на народе, в белой с золотом зале, я разревусь — а уж я знаю, как я реву!

Он поддерживал меня, мы вышли. У подъезда он

купил фиалок. Было довольно поздно. Моя луна — в тот вечер мне казалось, что луна моя,— луна зашла. Небо посветлело; чище, невинней мерцали звезды на бледно-синем родном лоне.

— Ну, едем,— бормотала я.— Едем, только скорей, ради Бога.

Мы летели. Это было похоже на сновидение. Мы молчали. Кажется, мы знали теперь друг друга до конца. Я уткнула нос в фиалки (как он угадал?), и сидела оцепенев, а воздушный конь, как в сказке, носил нас в тихом безумии по улицам, из конца в конец.

— Шибче,— шептала я по временам.— Шибче.

Так длилось с час. Александр Андреич взял мою руку, но она была холодная — как сейчас помню ее: белая мертвая рука во мгле зари.

Наконец, я разразилась. Я плакала молча, долго, негромко и горько. Александр целовал мою руку, но мы ничего не могли сказать друг другу. Мы знали, что любовь наша прошла, что ничем нельзя вернуть ее, как не остановить хода этих бледных звезд. Что оплакиваем мы нашу жизнь,— почему-то незадачливую жизнь, перегнувшуюся теперь к закату. Что ушло бессмертное, ушло.

Около памятника у бульвара я велела остановиться. Я слезла. Прошла несколько шагов по бульвару и села. Ветерок пробежал в липе, над моей скамейкой. Александр Андреич дошел до половины пути ко мне и остановился. Потом снял шляпу, постоял. Хотел он сказать что-нибудь? Не знаю. Вдруг поклонился и ушел. Метнулся его автомобиль, и как призрачно была принесена я сюда, в чьем-то полете,— так же исчез он, фантомом, на своей бесшумной машине. На повороте чудовище взвыло, блеснул золотой глаз. Все сгинуло.

Я же сидела и плакала — тихими слезами. Я сняла с шеи жемчуг, целовала каждую жемчужину. Теплые, розоватые пятна проступили в них. Бледное сиянье звезд, небесных дев, гаснущих в заре, отразилось в нем так же. Я верила, что, правда, этот жемчуг — самое святое, дивное, что осталось от моей жизни, моей любви.

Мои слезы капали на ожерелье.

1910

МОЙ ВЕЧЕР

— Боже мой, когда же все это кончится? — Я села у окна, в своей комнате, и смотрела тупо на позлащенный луною узор инея. В нем играли, блестя, огоньки.

Ну, жизнь! Как нарочно все складывалось против меня. Даже сегодняшняя ссора с Олей. Я знаю ее характер, ей хотелось пойти в синематограф, я не позволила; она стала ворчать. Тогда я сказала ей резкость, и она обиделась. Завтра весь день будет дуться. Таня не хочет на праздник готовиться по-немецки, между тем, она ничего не знает; даже не умеет проспрягать вспомогательного глагола.

Впрочем, это, конечно, мелочи. Есть вещи хуже. Где сейчас, например, Андрей? С ним в дурных отношениях мы уже неделю. Что — неделю! Мы устали, измотались, раздражаем друг друга постоянно.

Сесть бы в вагон, чтобы Андрюша был добрый, сесть и махнуть в Ниццу, в экспрессе, понюхать цветов, море поглядеть, а весной пожить в Тоскане...

Я улыбнулась, поняла, как я глупа. Где же будут Таня, Оля? Как Андрею уехать? Нет, это далеко. Я встала с кресла, в полумгле, медленно прошлась вальсом. В зеркальном шкафу бледно проплыло что-то — это мое отражение. Я приблизилась. Ничего себе; волосы устроены неважно, платье более чем домашнее. Если бы меня подобрать, приодеть, я могла бы сойти кой за что. Для кого? — Я вспомнила Андрея.— Стоит ли? Но мне хотелось танцевать что-то пронзительное, тургеневское, старый вальс, и, танцуя, заплакать.

В этом странном настроении застала меня Маруся. Она явилась неожиданно, в декольте, вся в духах, и кинулась меня целовать.

— Ты откуда это?

Я была немного удивлена, но Марусю я люблю за красоту и ласковый нрав и была рада ее приходу.

— Ангел, милая, едем!

— Да куда?

— В собрание.

— Ну?

— На бал.

Маруся хохотала, визжала, бросалась на колени. По ее глазам я догадалась, что она влюблена. Дело просто: на балу будет «он», а одной ехать неудобно. Я уж знаю, что меня зовут, когда надо устраивать чьи-нибудь чужие дела.

— Слушай,— спросила я,— ты знаешь ланнеровские вальсы?

— Ланнеровские? — Маруся захохотала.— Да это старье какое-то, кажется, совсем не интересно.

— Ну, нет, если будет ланнеровский вальс, я поеду, а то нет.

— Будет, будет, милая моя, золотая, серебряная.— Маруся ловко вытянулась в длину по ковру и стала целовать мне руки.— Хорошая, любимая, будут какие хочешь, только едем.

Я поколебалась немного и вдруг решила. Едем. Я давно уже не выезжала. Семейные дела, огорчения, холодность Андрея парализовали меня. Между тем девушкой я любила танцы; даже с Андреем познакомилась на весеннем балу у предводителя. И когда сейчас Маруся помогала мне одеться, я заволновалась старыми волнениями, и мое сердце защемило; отчего не будет там Андрея, отчего он обо мне не думает, и не влюблен так нежно, как хотелось бы? Я вздохнула.

— Сию минуту, дуся, мгновение!

Маруся застегивала мне платье и думала, что я соскучилась. Счастливые всегда глупы.

Около одиннадцати мы катили в санках. Было морозно, от луны все туманилось. Хрустел снег, что-то рождественское было в вечере, мне вспомнились стихи: «И месяц с левой стороны сопровождал меня уныло». Почему это я все думаю о Тургеневе, Пушкине?

— Ну, я буду твоей мамашей,— я смеялась, когда мы всходили по лестнице собрания.— Буду сидеть в уголке, дремать, разговаривать со старыми дамами о болезнях и судачить.

— Не ломайся,— сказала Маруся весело,— не люблю.

В проходе я взглянула в зеркало: нет, шея у меня не плохая, бело-матовая, черное платье с розой; все-таки порода есть.

Белые колонны, золотой свет, бледные плечи дам, духи, все это казалось свежим, тонким и молодящим. Что-то зеркальное сияло вокруг.

— Ну, где же твой хахаль? — спросила я.

— Как ты сказала?

— Хахаль.

Маруся закатилась.

— Ты думаешь, я кухарка... ку-хар-ка,— она тряслась от хохота,— к которой ходит ку-м пожар-ный?

«Опять смех от счастья»,— подумала я и позавидовала.

— В слове хахаль нет ничего смешного.

Мамашей в тот вечер мне, действительно, не пришлось быть. Видимо, благодаря Марусе, меня приглашали какие-то юные, полузнакомые лицеисты, штатские, и я танцевала много. Я думала об Андрее, но послушно исполняла, что требовалось; опять меня преследовали литературные воспоминания. Если бы я была Наташей, и вдруг у колонны увидела бы князя Андрея, в белом адъютантском мундире...

— Проведите меня в гостиную.

Ловко лавируя, правовед вальсом двигался к дверям; на пороге откланялся. Я одна вступила в зеленоватый мрак; здесь горели лишь две лампочки по углам, затянутые тюлем. Подойдя к окну, старинному, с полукругом наверху, я стала за портьерой и взглянула в сад. Тихо струилось и переливалось что-то на снегу под луной. Знаете ли вы эти вечера, под Новый год, когда веришь, что обаятельные виденья могут посетить душу? Когда снова возможна девическая любовь, к Наташе явится князь Андрей в белом адъютантском мундире?

Я стояла довольно долго, потом отошла. «Ну, что же, помечтала, поплясала, пора домой. Все-таки, вечер прошел, даже лучше он прошел, чем можно было ждать».

И с покойным сердцем я стала пробираться к выходу. В проходе меня стеснили, я должна была переждать, и случайно мой взор упал на подножие двух колонн. Спиной ко мне, во фраке, тоньше и моложе обыкновенного, стоял Андрей. Я вздрогнула; он обернулся; по усталому, как мне показалось, лицу прошла улыбка.

— Ты здесь? Вот неожиданно!

Все улыбаясь, он подошел ко мне, поцеловал руку. Мы давно уже не бывали нигде вместе, и меня тронул этот поцелуй, этот новый ласковый блеск его глаз. «Какой он худой...— И через секунду добавила: — Милый». Если бы все было как прежде, я должна была бы посмотреть на него, колко намекнуть на кого-нибудь из дам и, чувствуя, что в его же глазах гибну, взять тон озлобленности. Но сейчас я ничего этого не могла сделать; достоинство жены, традиционное, осталось неподдержанным, и, напротив, я покраснела и взглянула ему робко в глаза.

— Как это ты надумала?

— Меня сманила Маруся.

Положительно, я становилась девчонкой; не только я не могла быть ничьей матерью, но самой мне нужна была гувернантка.

Андрей взял меня под руку. Все с той же улыбкой, он повел меня тихим шагом.

— Я не ждал, никак не ждал, что вы тут! Это очень славно, я рад.

Когда он добр, он называет меня на «вы».

Гуляя, мы разговаривали. Он чувствовал себя плохо; в этот вечер его томили тяжелые мысли; по смутному побужденью он поехал сюда после клубского обеда.

— А вам весело?

Я хотела прижаться к нему, крикнуть, что без его любви мне не может быть весело, но сдержалась, скромно шепнула:

— Да.

— Natalie,— вздумал он вдруг,— и я вспыхнула,— хотите, мы пройдемся с вами в вальсе?

Он увидел смущение и нерешительность в моих глазах.

— Помните, мы танцевали с вами когда-то?

В это время музыка заиграла. Это был ланнеровский вальс.

— Можно вас пригласить? — Андрей поклонился, ласково блеснул глазами.

Неужели мне на самом деле семнадцать лет?

Я не запомню даже, когда мы танцевали с ним после той весны. Еще вчера я засмеялась бы и съязвила ему что-нибудь, если б он предложил мне это. Но сейчас, опираясь на крепкую, сухую руку, я шла вольным движением за старыми, милыми звуками; мне было радостно, что

Андрей, мой князь, так прекрасно танцует, что и я не уступаю ему, и что этот медленный полет уводит нас Бог знает куда.

— Не устали? — шепнул он, над самым ухом.— Может быть, отдохнем?

— Нет, ничего.

Мы обходили во второй раз залу.

— Милая Наташа, милая,— это едва было слышно.— Как люблю я вас!

— Да?

— Вы чудесно-прекрасны нынче. Милая Наташа!

Голова моя кружилась. Как сквозь сон слышала я эти слова, так давно не слышанные мною, и мое усталое сердце, как и вся я, таинственно молодело и расцветало.

Да, это был наполовину уже не его голос, а нового, жениха, дорогого князя Андрея.

Я видела его руку, с тонкими пальцами.

— Хотите,— произнесла я негромко,— я поцелую вам руку?

Я бы сделала это легко и с благоговением. Любви все можно.

Он не ответил. В его влажных глазах, сияющих, я прочла ту же любовь.

Стало тихо. Мы опять очутились в той гостиной и сидели на диване, как влюбленные.

— Все последнее время я страдал. Потому что мы мало любили друг друга. А сегодня в особенности было мне плохо. Я не мог найти себе места, весь день. Почему я попал сюда? Кто меня подтолкнул? Как я счастлив!

— Это любовь,— она нас соединила. Думала ли я попасть сюда и...

— Что?

— Встретить тебя, такого...

— Да, как неожиданно! Как прекрасно!

Больше мы почти и не говорили. Когда очень любишь, то можно, прижавшись щекой к щеке, читать все в любимой душе.

Показалась Маруся. Она шла под руку и, видимо, сама хотела сесть в этой же комнате. Мы встали.

Она всплеснула руками.

— Бог ты мой!

— Вы чего удивляетесь? — Андрей счастливо смеялся.— Почему мы не можем сидеть вместе!

— Да давно не видала, признаюсь! Ай да Наташа.

Она познакомила нас; вчетвером, сияющие, мы болтали.

Потом в киоске пили шампанское, и чокались бокалами крест-накрест.

— Свадьба,— закричала Маруся,— кто ж выходит замуж?

С Андреем я чокнулась робко, как с женихом.

— Ну что,— мигнула мне Маруся,— maman, можно мне еще кадриль?

В кадрили мы были визави, а потом вместе уезжали. Бал кончался. Садясь в санки с Андреем, я увидела, как Маруся садится тоже со своим. Я не выдержала. Как в хмелю выскочила я из саней, потеряла ботик и в туфельке пробежала по снегу, обняла ее. Я поцеловала ее крепко, восторженно, как целуют гимназистки. Через минуту мы неслись уже в разные стороны. Андрей держал меня крепко, справа бежала за нами луна, сопровождая снова наш бег. Все улицы, люди, город казались мне теперь иными, завороженными любовью.

И прибавить я могу только то, что вся эта ночь, дома, которую мы провели с Андреем, осталась в моей памяти таким же блистательным сновидением, каким была встреча и вальс.

Да, среди невзгод и скорбей жизнь дарит нам иногда незабываемые мгновения. Верно, когда придет наш конец, мы вспомним о них. И если скажем: девять десятых пропало, но одна сотая вечна — то и за нее мы умрем покойно.

Да будет благословенна любовь.

⟨1909⟩

АКТРИСА

I

Поезд замедлял ход: станция. Анна Михайловна вышла. Почему-то стояли долго, она ходила по платформе, дышала чудесным осенним воздухом. Солнце садилось. Ели были залиты золотом, что-то крепкое, вечное было в пейзаже. Ей пришла мысль о будущем. Начинается сезон, что принесет ей этот год? Радость, удачу, огорченья? Она взглянула на белоруса, отъезжавшего куда-то в свои дебри. «Здесь ничего этого нет. Живут малые люди, умирают, родятся, так же незаметно, как те бедные мушки, что танцуют на солнце». Тут она погибла б.

И, вернувшись в купе, она снова погрузилась в мечтательное настроение, вызываемое ездой. Сумерки засинели; скоро показался чистый, бледный месяц. Его свет понемногу означился, лег воздушным кружевом по дивану; цветы на столике благоухали. Анна Михайловна улыбалась — ей мерещился кто-то, кого нет на самом деле и кого она назвала «милый друг». Это его черты в нежном месяце, в цветах. Любовь к нему была бы так прекрасна! Вечная, чистая любовь. Анна Михайловна вспомнила Эмму, которая любит ее трогательно и бескорыстно — и теперь ждет ее,— и усмехнулась. Эмма! Нет, милый друг не таков.

Так она заснула, а когда проснулась, было утро. Встала она бодрой и веселой. Все казалось ей ясным, она здорова, крепка, талантлива; будет работать так же твердо, как раньше,— остальное не в ее власти. И когда поезд подходил к столице, туманно блеснул в солнце купол Исаакия, она радостно вздрогнула: скоро!

На перроне встретила ее Эмма.

— Задушишь, сумасшедшая! — смеялась Анна Михайловна.— Ну как ты, как живешь?

— Я что! Я о тебе только думала — все время, без конца.

Эмма блестела глазками, вспыхивала.

— Я уж тут как старалась, чтобы угодить тебе. Квартиру наняла — восторг. Твоя комната на Неву, балкон, свету масса...

Всю дорогу Эмма не умолкала. Ее худенькая фигура, восторженные глаза — глаза театральной обожательницы — трогали и немного смешили Анну Михайловну.

— Нет,— говорила Эмма, когда вошли в квартиру,— смотри — это столовая, моя комната, твоя, твой будуар, балкон.

— Прелесть, прелесть!

Анна Михайловна благодарила Эмму и поцеловала ее. Ей действительно нравилось. И особенно нравилась Нева — могучая река, туманная и стальная, лившаяся у ног. Что-то суровое было в ней, как и в Исаакии, снова блеснувшем золотом. Он показался ей древним старцем.

Переодевшись, взяв ванну, чувствуя себя свежей и душистой, она вышла на балкончик к чаю. Было очень тепло, на закате дымили пароходные трубы.

— Ну, Эмма, расскажи про театр.

Эмма выкладывала все, что знала. Труппа не совсем определилась, выдвигают Нащокину. Она неважная актриса, но...

— А репертуар?

Эмма развела руками.

— Что-то новое хотят. Боюсь, Аничка, разве писатели нынче умеют писать? Впрочем, ставят еще «Нору». И ты,— Эмма припала головой к коленам Анны Михайловны,— ты будешь Норой. Ах, это божественно!

У ней блеснули слезы.

— Ты будешь дивной, Аня.

Анна Михайловна взволновалась. Играть «Нору»! Да, стоит работать. Ей захотелось, чтоб сейчас были репетиции, чтоб и жить только одним... Она слегка вздрогнула.

— Когда пойдет «Нора»?

— Не знаю.

Анна Михайловна встала, прошлась. Становилось прохладно. На набережной зазолотели фонари, красные и

зеленые огни пароходиков сновали внизу. «Нора»,— повторяла она про себя,— «Нора»!»

Остаток дня провели, переставляя мебель, разбирая вещи. К одиннадцати устали обе. Анна Михайловна поцеловала на ночь Эмму.

— Какая ты стала худенькая! Кости да кожица.

— Устаю очень, Аня.— Эмма кашлянула.— Иногда днем, чуть не сидя, засыпаю. Должно быть, малокровие.

— Бедная ты моя птица!

Уложив ее, Анна Михайловна вышла на балкон. Теперь в небе, над нею, сквозь тонкий пар, горели звезды. Что-то трепетало в них; точно бездна дышала. «Вечность,— подумала она, и содрогнулась.— Океан, в котором мы утонем с нашими театрами, репертуаром, славой». Но, взглянув в сторону, где был ее театр, снова ощутила она призывную дрожь. Там она будет сражаться — во имя чего? «Во имя прекрасного».— «А слава?» Анна Михайловна слегка смутилась. С молодости гнала она прочь это слово, ее путь был прям; но в последние годы она стала уж чувствовать, что успех должен ее сопровождать, как награда за художество. А если его не будет? Ей показалось, что теперь для нее это было бы горько.

«Посмотрим,— произнесла она вслух, глядя в тихо гудевшую реку.— Посмотрим».

II

Каждый сезон, перед началом, Анна Михайловна спрашивала себя: кто теперь ее товарищи? Будет ли труппа сносной, или с бóльшей частью ее трудно здороваться? Есть ли интересные люди? Это ее волновало.

С такими мыслями подъезжала она к театру, через несколько дней. В вестибюле было темно; возились рабочие, прибивая сукна. Дверь налево выходила в сад. Ее волнение усилилось. Не лучше ли, пока есть время, уйти в этот сад,— не испытывать тоски, замираний подмостков?

— Горбатов здесь? —спросила она рабочего, слегка глухим голосом.

— В режиссерской-с.

Анна Михайловна прошла по коридору, стукнула в дверь с надписью «Режиссер».

— Войдите.

Горбатов, полный человек в куртке, с крепким актерским лицом, поднял голову. Увидев Анну Михайловну, просиял.

— Очень рад, счастлив. Украшение сцены — вся в черном, скромна, талантлива — превосходно!

— Вы меня захвалите.

— Да уж я знаю, кого хвалю. Между нами говоря,— он нагнулся к ней,— кроме вас, некого и хвалить-то в труппе.

— Очень вам благодарна за высокое мнение. Мне хотелось бы знать, как дела наши, то есть дела театра. Как репертуар?

В глазах у Горбатова что-то мелькнуло.

— Репертуар отличный.

— «Нора» идет?

— Как же-с...— Он на минуту замялся.— Вот наша «Нора».— Он вдруг встал и приложился к ее руке.— Вы, матушка Михайловна, будете вывозить.

Она сдержалась.

— Это решено?

— Да уж я вам говорю.

Горбатов вздохнул.

— «Нора» что,— Ибсен. Нам вот тут подвернули одну... Ах, друзья-советчики.— Он хлопнул по столу ладонью.— Извольте расхлебывать.

— Что такое?

— Вам тоже придется играть,— сказал он другим, недовольным тоном.— Пишут же люди...

Но Анну Михайловну занимала теперь «Нора». В ней она видела Дузе, Комиссаржевскую. Радость сыграть Нору томила ее. Она посидела пять минут, стала прощаться.

— Дорогая моя, в пятницу обязательно, вечером. Читаем пьесу, знакомимся, а не знаю, послал ли Платон повестки.

— Обяза-тель-но,— аффектировал он, поцеловал руку.— Ждем.

Анне Михайловне хотелось посмотреть театр,— она прошла коридором. Стоял особенный, театральный запах, так возбуждающий. Занавес раздвинут, зал глядит черно, хмуро. Он еще мертв, он ничто без тысячной толпы, оглашающей его. «Мы бедные подсудимые,— подумала она про себя, про актеров,— здесь мы ждем приговора». Легкий озноб прошел по ней.

На сцене, перед сидевшей барышней, ходил низенький, худой актер в цилиндре.

— Вы думаете, что сможете быть помощником режиссера? Здесь нужен мужчина, без нервов. Всех этих рабо-

чих, машинистов, актеров надо брать, брать, управлять ими силой взгляда.

Барышня обернулась, увидев Анну Михайловну, вскочила — с этой Женей Анна Михайловна была знакома. Они здоровались весело, потом Женя представила ей собеседника.

— Феллин,— и он приподнял цилиндр.

— Этот Феллин ужасно ядовит,— смеялась Женя.— Вот он все не верит, что я могу быть помощником режиссера. Желчный актер.

Феллин застегнул сюртук, заложил руку за борт с таким видом, будто становился в позицию. Анна Михайловна улыбнулась, взглянула на него.

— Да? Вы ядовитый мужчина?

— Совершенно верно.

Но в его глазах, в землистом лице она прочла усталость, нервность, нездоровье — только. И улыбнулась.

— А мне кажется, что месье Феллин вовсе не язвительный.

Смеясь, разговаривая, они осматривали театр. Он не нравился Анне Михайловне: казался уныл и огромен. За кулисами было тесно.

— Как вы думаете,— спросила она Феллина, выходя,— хорошо будет доходить голос?

— Хм... вероятно, отвратительно.

Он проводил ее немного и простился. В том, как он вскакивал в трамвай, чувствовался человек столичный, тертый, одинокий. Он одиноко стоял на площадке — Анне Михайловне представилось, что, верно, он живет в меблированных комнатах, за тридцать рублей. «Какой он актер,— подумала она,— он больной бухгалтер».

В пятницу, в назначенное время, она отправилась в театр. Начинали съезжаться. Актрисы шуршали, в дверь был виден Горбатов; он держал за пуговицу молодого человека, видимо автора:

— Вы человек неопытный, я должен вас предупредить. Как только прочтете,— каждая станет уверять, что отлично поняла роль и в восторге от пьесы. И чтобы роль — ей. Но вы, дорогой, без меня ни шагу.

Автор улыбался, кивал смущенно.

На сцене был свет; Горбатов познакомил труппу с автором — началось чтение.

С первых же слов Анна Михайловна стала жалеть автора. Он волновался, читал дурно и без интонаций; актеры молчали; видимо, никому не нравилось.

Досидели до конца, но ощущение скуки было несомненно. Горбатов старался оживить — и напрасно.

Встал Феллин, помахивая длинными руками, подошел к чтецу.

— Я не понимаю вашей пьесы. Это разговор, деревенские сцены. Может быть, это мило, пф-ф, но как это играть?

— В пьесе мы будем касаться лишь того, что связано с ролями,— оборвал Горбатов. И произнес речь, не без любезности, но холодно, где характеризовал лица, называл пьесу «статической» и трудной.

— Ленина, это вы,— обратился он к Анне Михайловне.

Та подняла голову, встретилась взглядом с Нащокиной. В ее черных глазах, огромных, подведенных, что-то блеснуло. Как будто довольное.

«Рада, что чаша ее миновала. Что же, права».

В это время другие расспрашивали автора о ролях. Он со всем соглашался, видимо, был затуркан.

— Ваша героиня брюнетка или блондинка? — спросила Анна Михайловна.

— Блондинка.

«Ну, это положим,— светлые парики не идут мне совершенно!»

Она выходила со смутным чувством. Нащокина шепталась с Горбатовым, у него, как всегда, была улыбка, говорившая: «Только вы одна актриса — остальные никуда». Анне Михайловне казалось, что сыграть эту роль будет трудно. И сама пьеса... «Почему занята именно я?» Но через минуту она осилила себя: «Что ж, будем работать». Ей даже показалось, что ее гордость, честь актрисы заставляют трудиться над вещью, явно неблагодарной. «Бедный автор!» Она улыбнулась, вспомнив его сюртучок. «Постараюсь роли вам не провалить».

III

Анна Михайловна вставала, завтракала, шла на репетицию. В пятом часу возвращалась. Обед, и к семи снова надо в театр, если она занята. Волнения утром, днем и вечером. «Актриса я, или монашка? — Она усмехалась.—

Пожалуй, за добродетель живой возьмут меня на небо».

В театре она держалась строго. В костюме ее, холодновато-элегантном виде было что-то отдалявшее. Актеры ее боялись и называли «мать-игуменья». Один Феллин смело целовал руку, снимал цилиндр и кокетничал гвоздикой.

— Хорошая женщина,— он топорщил губу,— из хорошей семьи.

Как-то раз он спросил ее:

— Вы по-английски говорите?

— Да. А что?

— Ничего, ничего. Хорошо. И по-французски?

— И по-французски.

— Я тоже,— Феллин потянул воздух носом,— я образованный.

То, что они оба образованные, так воодушевило его, что он попросился зайти.

— Пожалуйста, буду рада.

— Да, кстати,— с вами хочет познакомиться мой друг. Ну, некто Горич. Очень культурный человек. Вы ему нравитесь, ха-ха! — как артистка. Можно его привести?

Анна Михайловна согласилась. «Что ж, если хороший человек, пусть приходит». В назначенный день она сказала Эмме с утра:

— Нынче, Эмма, у нас обедают два культурных человека. Пусть к столу будет зелень, дичь, вино. Ликеру не забудь.

— А они к тебе зачем, собственно?

— Так... не знаю.

Эмма взволновалась, захлопотала. Пусть обед у Анички будет не хуже, чем где-нибудь! И устроила она все, как надо. Анна Михайловна улыбнулась даже на нее: «Милая Эмма, в этом жизнь твоя!»

Смокинг, лакированные ботинки Горича смущали Эмму — умоляюще взглядывала она на прислугу в переднике: не напутала бы чего. Но все было благополучно.

Когда вошли в комнату Анны Михайловны, с кофе, Горич сел с нею рядом.

— Я очень счастлив, что с вами познакомился. На сцене я не раз вас видел. Собственно говоря, актрис я не люблю...— Он смешался.— Но вы всегда казались мне не актрисой.

— Благодарю вас.

— Серьезно.

Горич продолжал, так же вежливо, тихо.

— В том, что вы делаете, есть художество. Знаете, проживешь лет сорок, вот как я: особенно начинаешь ценить настоящее! Редко ведь это!

Феллин подошел, как длиннорукий гном, и хрустнул пальцами. Глаза его туманились.

— Россказни! Бредни — все эти чистые искусства, га-га! Анна Михайловна просто тихая женщина, образованная, ее и затирают в театре. Для успеха нужна реклама. Пресса!

Он прошелся и поморщил усы.

— Пф-ф! Пресса! Успех, машина славы. Надо, чтобы вас видели везде, писали о вас, говорили, ругали — все равно. Чтобы шум, шум!

— Это хорошо тем, у кого мало гордости,— заметила Анна Михайловна.

Феллин выпил ликеру.

— Вы думаете, мне не хочется славы? Пф-ф! Известный артист Феллин. Знаменитый, пятьсот за выход! А? Вам нравится?

— Мне кажется,— Горич улыбнулся,— что вы пойдете для этого на все.

— Да? Вы полагаете? — Феллин становился развязней.— Убью отца? Кассу ограблю?

— Ну, вы достаточно умны...

— Вы думаете, я добродетельный земский врач? Живу для разных человечеств? Я живу для себя — для славы!

— Этого у вас... не будет.

Феллин вскочил, заходил взад и вперед.

— Я играю Ранка, в «Норе». Ранка,— повторил он злобно.

Горич полузакрыл глаза.

— Может быть, это и верно, но славы у вас не будет, извините меня. Впрочем, желать славы, беспокоиться и страдать человеку суждено; нельзя обвинять его за это. Ибо немногие сознают себя носителями возвышенного — для тех главное в жизни — осуществление своих сил, бескорыстное осуществление. Мы же прозябаем от радости до радости, среди маленьких развлечений,— ничего не зная.

«И он такой?» Анна Михайловна глядела на худого Горича, с бледным лбом. «Он не знает, тоже?» Его ленивые руки, тонкие и бледные, говорили об этом. «Слабый человек, беспринципный,— решила она.— И очень милый».

— Вот Анна Михайловна, верно, не так живет. Правда?

Она ответила весело:

— Я не знаю, как живу. Надо жить, работать... кажется и все, больше я не могу сказать.

Прощаясь, Феллин вдруг недобро захохотал.

— Приятно бы с вами в «Норе» играть.

— Это так и будет. Я работаю.

— Ну и работайте. Может быть, сыграете.

Анна Михайловна удивилась. Когда он вышел, Горич вздохнул:

— Вы и он полюсы. У вас разные идеи жизни.

Она взглянула ласково, светло.

— А у вас какая идея?

— У меня никакой. Никакой! У меня был пьяненький друг, он говорил: «Все я в жизни понимаю, только не могу сообразить, что к чему». Так и я.

Она рассмеялась.

— Рассказывайте!

Когда ушел и он, Анна Михайловна ходила по комнате одна довольно долго. Ей хотелось с кем-нибудь говорить — много, весело, хохотать. Или поехать кататься, чтоб лететь так быстро! И чтоб трудно было дышать. Но она была одна — Эмма от волнений и усталости заснула скоро, и в незаделанную еще дверь вышла она на балкон. Здесь, глядя на Неву, плывшую в холодном лунном блеске, на темные дворцы и Исаакия, она улыбалась. Жутко и радостно было ей. «Как велик мир! Как мало его мы знаем! Сколько людей, чувств, сколько неизвестного».

Облака, в суровом беге затемнявшие луну, точно пели ей об этой жизни.

IV

— Женя,— кричал Горбатов,— начинаем! Где там Машенька застряла, дитенок!

Машенька — ingénue[1] легонькая и миловидная, выскочила из кулисы. Пробежала по сцене Женя, с видом курсистки, с сумочкой через плечо. Начался первый акт.

Анна Михайловна не была занята в первых сценах,— она глядела из темного зрительного зала. Было ясно, что выходит плохо. Пьеса неумелая, разошлась неудачно, тяжела актерам. Все скрипело. Лишь Машенька, которая была молода и знала, что талантлива, играла свободно. Чаще всех она подбегала к автору и спрашивала:

[1] Сценический образ юной простодушной девушки *(фр.)*.

— Так я понимаю это место?

«Все это не так,— думала Анна Михайловна.— Все это нужно по-другому написать и играть по-другому». Она обернулась и стала глядеть в тьму зала. Доносились голоса актеров, но скоро она задумалась, и вдруг совершенно ясно увидела Горича. Он сидит на диване, с ней рядом, и говорит: «Собственно говоря, актрис я не люблю...»—«Ах, какой он чудак! — Анна Михайловна усмехнулась.— Чудак!» И мысленно она перебирала все маленькие сценки за обедом; это было приятно и немного стыдно.

Сзади подошел к ней Горбатов.

— Дорогая, в антракте ко мне, прошу вас. А сейчас вам идти.

Она поежилась и машинально прошла. Потом выходила на сцену, играла, но неясно, точно не очнувшись. Вместо всех слов она повторяла бы радостно два: «Милый друг, милый друг». В таком настроении вошла она, по окончании, в режиссерскую. Горбатов сидел с видом человека усталого и недовольного.

— Садитесь, дорогая. Прекрасная, талантливейшая артистка. Нам предстоит разговор.— Он вздохнул.— Не из приятных.

И начал издалека, умно, плавно. Пьеса слабая, чтобы не загубить ее совсем, надо массу работать; лишь она, Анна Михайловна, может вывезти. Между тем антрепренер требует «Нору»,— она даст кое-что, значит, надо сразу проходить две роли; конечно, в «Норе» она была бы изумительной; но он обращается с просьбой — принести театру жертву — отказаться от «Норы».

— А? — переспросила она.

Он повторил. Тогда она поняла и вспыхнула.

— Ведь это же решено! Я учу роль!

Горбатов вскочил, схватился за голову.

— Милая, не говорите! Разве можем мы взять у вас роль? Это противно всему, этике, приличию. Но...— он пожал плечами,— мы просим.

Анна Михайловна молчала.

— Хорошо. Я подумаю.

— Хорошая, золотая, ради Создателя на меня не сердитесь! Если б вы знали, как мне тяжело.

Анна Михайловна ушла. Ей было больно. Но она молчала, не сказала даже Эмме. Про себя же обдумывала, как быть. «Настоящая актриса, конечно, даст скорее убить

себя, чем откажется. Разумеется, просто антрепренер хочет, чтобы играла Нащокина. Дело не в сборах». Потом она спрашивала себя, имеет ли право, как художник, себя стеснять. Но представилась страстная, жестокая борьба, что и в жизни, и в театре идет вокруг успеха, славы, радости. Вспомнился Феллин. «О, он перегрыз бы Нащокиной горло». Ей стало противно. Она вспомнила свою жизнь, незапятнанную артистическую жизнь, где нет места проискам, конкуренции. И какой-то демон — сердце, к которому она обращалась в тяжелые минуты, сказал ей: «Откажись». Она почувствовала себя холодной, внутренне собранной и крепкой. «Пусть я не настоящая актриса, но если меня не желают, я не могу играть. Не могу добиваться, чтобы меня желали».

На другой день она сообщила свое решение.

V

Эмма ревновала Анну Михайловну ко всему: к знакомым — теперь к Горичу, который иногда заезжал с Феллиным,— к театру, актерам, даже искусству, хотя считала гениальной и не допускала в этом сомнений.

Узнав о Норе, она пришла в бешенство. Ее маленькое, доброе лицо исказилось. Точно вселился в нее кто.

— Подлость! — кричала она, бегая по комнатам.— Гадость!

Потом вдруг надела шляпу.

— Куда ты?

— Я скажу Горбатову, что это мерзость, я ему докажу. Я этого так не оставлю!

— Не волнуйся ты, пожалуйста!

Анне Михайловне стоило труда удержать ее. Сама она была слаба, раздражена; азарт Эммы только расстраивал ее.

— Не дали роли, значит Нащокина будет лучше, вот и все. И вообще, ты, Эмма, не вмешивайся. Ты пристрастна ко мне.

Эмма обиделась.

— Извини, пожалуйста. Виновата. Могу и совсем устраниться.

Она ушла к себе, заперлась, и из-за двери донеслись всхлипыванья. Анна Михайловна легла на диван. У ней болела голова, было смутно на сердце и казалось, что

Эмма своею нервностью только сильней мучит ее. Но потом стало жаль; она вспомнила преданность, любовь этой девушки, ее сердце отошло. Она постучала.

Та отворила не сразу.

— Эмик, не сердись. Я просто дрянь, нервная баба. Прости меня.

Эмма зарыдала еще горше.

— Я знаю,— твердила она,— я тебе не нужна, в тягость. Тебе Горич нравится.

Она зашлась кашлем, долгим, страстным,— и опять расплакалась. Анна Михайловна отхаживала ее. Вечером они помирились.

— Почему ты думаешь, что мне нравится Горич?

Эмма улыбнулась.

— Мне так кажется, Аничка. Ну, да это что ж? Мне было обидно, что ты меня отстраняешь.

Анна Михайловна покраснела.

— Все это глупости, страшная чепуха. Я тебя вовсе не отстраняю, думала только, что ты очень нагорячишься. И до Горича мне нет дела.

Эмма нагнулась, поцеловала ей руку. Анне Михайловне все же было неприятно это. «Неужели я, как девчонка, веду себя с ним по-особенному? Да и что мне Горич?»

Но на другой день, входя в театр, она вдруг улыбнулась: если б с ранних лет Горич был ее другом — о, как лучезарнее была бы ее жизнь!

Сладкий туман охватил ее; она перевела дыханье. «Я женщина, как и Эмма я склонна к преклонению. Могу благоговеть, безгранично отдаться; безраздельно. Но вот этого все не было. Неужели...» Она закрыла глаза, ей показалось, что сейчас она упадет.

Проходил Горбатов.

— Репетируем ежедневно,— имейте в виду, глубокоуважаемая: все силы...

Действительно, спектакль близился.

«Что там амуры разводить, я актриса. Работать должна». И поймав себя на лени, она удваивала старания.

Трудилась, учила, меняла. Работали все. Но по-прежнему пьеса шла туго, без воодушевления.

Администратор Платон, подписывая в конторе счета, говорил:

— Дел не будет.

Горбатов кипятился. То на сцене, то в зрительном зале виднелась его крепкая фигура. Могучий голос кричал:

— Женя, камни! Машенька, дитенок, слов не врать! Свет? Десять белых, для закату красного. С луной вступай мягко!

В день спектакля Анна Михайловна волновалась мало. Ей казалось почему-то, что, несмотря на промахи, в общем все благополучно; думалось — и сама она владеет ролью. «Волноваться, не волноваться,— все равно уж поздно». Она обедала с аппетитом, выпила вина.

— Аничка,— говорила Эмма, у которой губы побелели,— какая ты сдержанная! Я бы умерла со страху. Публика чужая, первый выход...

— Едем,— Анна Михайловна застегивала перчатку, холодновато,— пора.

И только в театре, когда за занавесом, за стенами ощутила она толпу — она почувствовала томление. Плотники, наспех ставившие первый акт, Горбатов, Платон, актеры, Эмма — казались крошечным отрядом, сжатым врагами. Их пока не видно, но они там; каждая минута прибавляет их,— где друзья?

—С Богом,— обратился Горбатов, холодный и твердый.— Через пять минут.

Мелькнуло лицо автора, в сюртучке, с невидящими глазами; бледная Эмма, Женя. Занавес раздвигался, враги теснились и гудели, рассаживаясь по местам.

Первые десять минут пропали — в шуршании и кашле. Наконец, стихло. Все напряглось. Два тока — со сцены, на сцену — всегда враждебные, сталкивались. То затихали зрители, значит «доходит», то, неуловимое, начиналось недовольство — безмолвное осуждение толпы. Анна Михайловна ощущала тяжесть. Точно туча осела на плечи, и одной ей, с товарищами, надо выносить. Акт кончился. В зале шумели холодным, нерадостным шумом. Слабые аплодисменты.

— Дайте мне коньяку,— попросила Анна Михайловна.

В коридоре стоял автор. Старый актер Дымша хлопал его по плечу, предлагая папиросу. Автор взял, но никак не мог закурить. Дымша посмеивался.

— Ничего, первая баня, милый. Всегда так.

Через десять минут сражение открылось вновь. Оно продолжалось три часа, при напряжении всех сил актеров. Счастье колебалось. В конце второго акта явилась надежда — публика будто «разогревалась», но третий — главный козырь спектакля — быстро потянул все книзу. В верхах шипели. Четвертый шел безнадежно, и с каждым словом

чувствовала Анна Михайловна, что гибнет, и нет сил выбиться. Когда на жидкие хлопки она выходила, ведя за руку автора, и им бурно,— как ей показалось, насмешливо зааплодировали, она поняла, что ненавидит этих невинных людей беспредельно. Взглянув на автора, подумала: «Ему еще хуже».

На прощанье он жал ей руку и благодарил.

— Спасибо,— кивнула она тихо.— До свидания.

Потом отдала себя Эмме, которая ее одевала, везла, раздела и дала дома морфию — для сна. Наутро пьеса и Анна Михайловна были разруганы в газетах наголову.

VI

Неделя после спектакля была тяжела для нее. Каждый день приходилось играть,— она ясно видела теперь, что играет плохо,— снова и снова испытывать бремя неудачи, и молчать. На людях, в театре, даже с Эммой быть унылой казалось ей невозможным,— гордость не позволяла; и как человек с выдержкой, она была ровна, весела и внешне не изменилась. Но по ночам ее мучил стыд — стыд художника, всенародно провалившегося. Ей казалось, что спектакль погубила она; что сама по себе пьеса недурна, но она играла не так, и не только не зажгла ее — сделала грубейшие ошибки. Ее мысль со страстью останавливалась на ошибках; да, теперь они очевидны, тем острей терзали они ее сердце. Где она была раньше? Отчего не видела их до спектакля? Она вздыхала, не могла заснуть. Так как газеты разнесли повсюду ее поражение, ей казалось, что ее презирают все.

Одна Эмма не сдавалась:

— Аничка была прекрасна. Она не виновата, что ставят такие пьесы.

В театре тоже огорчались. Бодры были лишь Машенька и Феллин. Феллин ходил победоносно и целовал с видом превосходства руку Анны Михайловны.

— Представьте себе, вхожу вчера в кафе, сидят двое, неизвестные мне типа, и говорят: это Феллин артист, он играет в «Норе» Ранка! — Феллин выпятил грудь.

— Меня знают, считают известным!

Анна Михайловна улыбнулась. Феллин захохотал, и вдруг ласково погладил ее по плечу.

— Вы не огорчайтесь, это пройдет все, п-фф. И знаете, Горич находит, что вы играли... м-м...— вообще не хуже обычного.

Анна Михайловна чуть не рассердилась; но, взглянув на лицо его, истомленное катаром, жаждой славы, вдруг спросила:

— Как здоровье ваше?

Феллин пожевал.

— Благодарю вас, ничего. Знаете, я хотел вам предложить, м-м... когда я сыграю Ранка, отправиться куда-нибудь втроем, с Горичем. Ну, так, на всю ночь, по кафе, клубам. Кутить!

— Отлично.

«Чем он хуже других? — думала она, когда Феллин ушел.— Разве все, от антрепренера, Горбатова, до меня и последнего статиста не желают успеха? Только он откровенней. Откровенных и называют почему-то глупыми».

На «Норе» Анна Михайловна сидела в ложе одна,— Эмме нездоровилось. Пьеса шла ровно. Нащокина играла недурно и имела успех. После второго акта к ней вошел Горич; он принес пару белых роз. Анна Михайловна взяла, благодарила. В это время подавали букет Нащокиной, она кланялась и блаженно улыбалась.

Что-то кольнуло в сердце Анну Михайловну: «Что это он, утешает меня?» Но Горич был прост, мил, розы прелестны, и когда раздвинулся занавес, она, помахивая ими, улыбнулась.

— Ваши розы меня трогают. В цветах есть откровение. Подумаешь, они неземного происхождения, а они просто из цветочного магазина.

— Что наш Феллин? — спросил Горич.— Нравится вам?

— У него нет дарования. Ни крошки. Он со вкусом, с опытом...

Сцену с лампой Феллин погубил. Горич с Анной Михайловной переглянулись, молча. Но Ранк мало интересовал ее. Она была занята Норой. Теперь она чувствовала, что могла бы сыграть ее по-настоящему, и снова тоска овладела ею. Почему делаешь не то, что хочешь, а настоящее уходит?

Но, взяв розы, поднеся их к лицу, она ощутила их тихую сладость; сердце ее раскрылось. «О чем страдать, как ничтожно все это — вот, есть прекрасные цветы, искусство, люди.— Она взглянула на Горича.— Да, люди, отмеченные кем-то». Сердце ее забилось болью и нежностью. После

спектакля он вез ее домой. Было морозно, скрипуче, звезды. Внезапно она спросила:

— Павел Александрыч, полагаете вы, что человек должен верить?

Он удивился:

— Верить! Что это вам пришло так... сразу?

— Ну, просто мои мысли.

— А-а! — Он помолчал.

— Да, если правду говорить — должен. Непременно. Настоящего человека я и представлял всегда таким. Он стоит на земле, а взор его устремлен... да,— он сделал движение рукой к небу,— туда.

Через минуту, точно спохватившись, прибавил:

— Это я так, конечно, теоретически. В жизни это редко встречается. Знаете, нелегко...

— Теоретически,— шепнула она.— Теоретически!

Помогая у подъезда сойти, он говорил:

— К нашему умному разговору — цитата. Из Гете, но не бойтесь.

— Я мало его знаю.

— Это мужской писатель. Он сказал: «Несите в жизнь священную серьезность, ибо только она, священная серьезность, обращает жизнь в вечность». Видите, как.

«Опять теоретически. Он знает все прекрасные слова, какие есть». И вместе с тем, взглянув на этого худого человека, который все понимает, она почувствовала острое обожание.

Он говорил еще, что, в сущности, нынче они должны бы кутить с Феллиным. Но это хорошо после победы, значит, пусть она отговорится нездоровьем, а в пятницу надо собраться. Она почти не слышала, в душе у ней блистало одно: «Люблю, люблю».

Подымаясь к себе, она вдруг подумала: «Как любит он?» И тут же засмеялась: «Он отлично понимает все в любви, и не любит».

VII

В «Звезду» съехались к двенадцати. Феллин был в смокинге, с цветочком. Но в глазах его что-то мелькало.

— Ну,— он хорохорился,— что вы скажете о Ранке?

— Браво, браво!

Горич тоже хлопнул, оглядываясь на певиц.

— Пить,— заявила Анна Михайловна,— я хочу сегодня напиться.

Как человек неопытный, она потребовала шампанского. Оркестр заиграл, на сцене мисс Гарди пела «а-ида трои-ика, сн-ие-г пуш-шистый», Феллин таращил глаза и фукал. Видимо, его что-то точило. Анна Михайловна выпила два бокала, у ней зашумело в ушах; все стало зыбче, ненадежней.

— Да, вот вам нравится мой Ранк...

«Откуда это он взял? Ах да, я что-то говорила».

— А там, черт возьми, в театре... м-м... В сущности, скотина этот Горбатов.

И, волнуясь, он начал рассказывать, как его притесняют, не дают ходу, как Ранка в очередь с ним будет играть другой.

— Ну, Феллин,— закричала Анна Михайловна,— вы опять про театр? Как не надоест, право. Люди приехали веселиться, а он все свое.

Горич нагнулся к ней, взглянул ласково, как на ребенка.

— В ударе, знаменитая артистка!

Она блеснула на него, захохотала.

— Пили б лучше с Феллиным брудершафт.

— Пьем. Но ругаться, кажется, нужно?

Смеясь, они поцеловались, выпили. Феллин сказал что-то вполголоса. Горич подумал, ответил грустно:

— Бездарность!

Феллин побледнел, поморщил ус.

— Неостроумно.

Анна Михайловна чувствовала, что в хмелю пропадает ее тоска, стыд, и ей хотелось, чтобы этот вечер не кончался.

— Вы теперь брудершафты,— говорила она мужчинам,— вам нечего ссориться. Вообще ссориться не надо, все на свете отлично, вы видите, это шампанское, это Горич, оч-чень милый господин. Кто это там идет? Певица? Гарди? Мисс Гарди, пожалуйста, к нам!

Феллин морщил усы, покровительственно, будто хотел сказать: что ж, со всяким бывает. Мисс Гарди позвали, поили шампанским. Мисс отвечала привычно,— не раз русские дамы знакомились с ней, и всегда говорили одно и то же. Когда в зале остались они одни, Гарди стала напевать. Все хохотали.

— Голубушка,— говорила ей Анна Михайловна.— Едем. Дальше, здесь кончается, едем!

Феллин повез их в клуб, странное и подозрительное

место, где можно было сидеть до шести. Опираясь на руку Горича, Анна Михайловна шептала:

— Эту жизнь я понимаю. Я б хотела быть певицей, чтобы вы,— она взглянула на него, засмеялась весело и конфузливо,— были моим покровителем.

Он поцеловал ей руку.

— Вы большой шутник.

В клубе они играли с бледными девицами в бикс, сидели в баре, пили. Нелепый вой несся из гостиной, стон пианино: пьяные художники колотили по нему и орали.

Анна Михайловна нагнулась к Горичу.

— Вы знаете, я никогда не бывала в таких местах. Бог мой, что сказала бы Эмма!

Но здесь, под крик пьяных, в воздухе шулерства, игры, ей вдруг стало тяжко. «Что ж, завтра будет Эмма, дом, благоустроенная жизнь, театр, страдания по ночам. И ничего, ничего».

Она шепнула Горичу — не прощаясь, они вышли.

Как странно утро после шумной ночи! Сереет рассвет, снег на Неве синеет,— что-то древнее, жуткое есть в этом снежном поле, в слабом ветре с севера. Кажется, что стоишь перед сумрачной стихией. Подошли к гранитной скамейке у берега. Анна Михайловна остановилась.

— Сядем здесь. Я хочу дышать этим ветром: он очищает мою душу.

Горич закурил. Было пустынно. Лишь блестели фонарные огни, да крепость подымала вверх свой шпиль над громадой камня.

— Я сейчас скажу вам одну вещь, которую трудно говорить дома. Но теперь я могу...— Она перевела дыхание.— Милый друг!

Через минуту прибавила:

— Я совсем трезва, не думайте. Но женщины это редко говорят: милый Горич, я люблю вас.

Он сидел смирно.

— Да, я сказала,— потому сама сказала, что ведь вы меня не любите. Я люблю вас безнадежно, Павел Александрыч, в этом сила моя. Милый, милый!

Она поцеловала ему руку. Горич растерялся.

— Больше этого не будет. Если вам не тяжело, не забывайте меня окончательно.

Она встала, ушла быстрым, легким шагом, не позволив провожать.

VIII

Вспоминая слова, какие говорила Горичу, Анна Михайловна не раскаивалась. «Пусть он знает. Да, я его люблю. Разве плохо — сознаться в этом?» Ей было даже радостно. Одно смущало — Эмма.

Эмма стала тише, сдержанней, как будто дальше. Смысл был такой: «Знаю, что ты любишь,— отхожу».

Эмма худела и кашляла. Часто у ней бывала испарина,— наконец, появилось кровохарканье.

Анна Михайловна повезла ее к профессору; и диагноз оказался прост — чахотка; надо немедленно в Швейцарию, в Сен-Мориц. Эмма, вернувшись, была тиха, молчалива.

— Что ж, поеду в Сен-Мориц.

Анна Михайловна обняла ее.

— Эмма, я куплю тебе билет, дам триста. Получу жалованье — еще вышлю.

— Не надо. Я напишу тетке, у меня есть тетка... Зачем же тебе... стеснять себя.

Анна Михайловна удивилась. В первый раз слышит она об этой тетке.

— Что ты, Эмма, Бог с тобой, у меня же есть деньги. Неужели для тебя не найдется?

— Нет, я напишу тетке.

Эмма вдруг побледнела, губы ее дергались; с искривленным лицом она закричала:

— Не надо мне денег, тетка...

Потом она рыдала, металась в истерике, сквозь слезы повторяла:

— Я уеду к тетке, я тебе в тягость. Ты меня не любишь, ты рада — да,— взвизгивала она в отчаянии,— рада сбыть меня с рук, я мешаю, Горичу твоему...

Хлынула кровь, и почти без чувств уложила ее Анна Михайловна.

Вечером, когда она лежала слабая и маленькая, как больная пичуга, Анна Михайловна села к ней на кровать.

— Эмик, ты все выдумала про меня. Я люблю тебя попрежнему, ты самый дорогой и нежный друг мой. Чем ты можешь мне мешать? Сейчас мне нельзя с тобой ехать, через неделю Рождество, но даю слово, как кончится сезон, в половине февраля мы встретимся.

Она перевела дух. Эмма слушала. Она ничего не ответила, только погладила горячей рукой руку Анны Михайловны.

— Ты все упрекаешь меня Горичем. Так вот знай: да, я его люблю. Но он меня, Эмма,— голос ее стал глуше,— не любит.

Эмма прошептала:

— Я люблю тебя тоже безнадежно.

— Мы женщины, мы любим друг друга не той любовью.

Эмма улыбнулась, взглянула на нее. В этом взгляде было столько обожания, страсти — больной, мучительной,— что слова ее показались ненужными.

Оставить Эмму на ночь она не решилась — легла в ее комнате на диване. Эмма будто заснула, или притворилась, что спит. Анна Михайловна задремала, но ненадолго. На нее нашло уныние: «Куда она поедет, зачем?» Ей казалось, что одна Эмма не доберется до границы, захиреет, погибнет. «Она, правда, кажется, в меня влюблена. Как все странно, жалко, уродливо». Эмма вздохнула, поднялась с постели. В полутьме она казалась больным ребенком.

— Что ты? Эмма?

Она села на край дивана и смотрела на Анну Михайловну широкими глазами.

— Проснись, Эмма, что с тобой?

Она была похожа на лунатичку.

— Ты сказала мне, что любишь Горича,— шептала она, дыша жаром.— Так вот... я люблю тебя... всю, с головы до ног. Ты прекрасная.

— Эмма, простудишься!

Она закутала ее пледом. Эмма криво, хитро улыбнулась, как безумная.

— Да, простужусь. Когда ты любишь, ты тоже... думаешь о простуде?

Потом она прижалась к ней, поцеловала.

— Ах, слушай! Я нынче днем Бог знает что накричала. Это неверно. Я вот только хочу сказать, что скоро я умру, это уж решено... и чтоб ты меня не бросала.

Потом снова язык у нёй стал заплетаться, она дрожала и бормотала сумасшедшие слова о любви. Анна Михайловна слушала. Жалость, неясное недовольство владели ею. «Ах, все это ненужно, убого». Но Эмма утихла, была так слаба, хрупка.

— Аня, если б я могла умереть за тебя! За твое счастье!

Наконец, перед утром, заснула. Анна же Михайловна

не спала совсем. Ей вспомнилась ее жизнь, девичество, муж, от которого она ушла уже лет десять,— вспоминать о нем было тяжко. Но все ищут своего безумия, любви, счастья. Так ищет его эта бедная Эмма, и она, Анна Михайловна, актриса с тысячным окладом. «Разве я Горичу не то же говорила, что она мне? Только мы подруги, а Горича я знаю два месяца. Обе мы — одно и то же».

Утром встали они измученные. Начались сборы, хлопоты с паспортом, билетами. Всю эту неделю Эмма была кротка. Она глядела на Анну Михайловну с обожанием. В день отъезда держалась твердо: лишь на вокзале, после звонка, вдруг вздохнула:

— Милый наш город!

— Город?

— Да, и вокзал, и квартира. Я уж не увижу этого. И тебя, Анна.

Помертвелыми губами целовала она Анну Михайловну.

— Прощай!

Это слово, предсмертный взгляд Эммы разорвали ее сердце. Она не помнила, как звонили, как ушел поезд с махавшей фигуркой, как она шла до дамской. Там она рыдала.

IX

В театре было мрачно. Бранили в газетах, сборы падали. По коридорам бегал Платон, нервничал, говорил:

— Нет дел. Какие это дела?

Потом раздавал контрамарки, с ожесточением напуская студентов, барышень.

— Публика хам, подавайте ей сенсацию. Ставьте жизнь огарков — заработаем.

Антрепренер, Горбатов, все были недовольны; подвернулась пьеса «Сеть», с политикой; действовали министры, биржевики, дамы-патронессы — козырь верный; за нее ухватились. Платон повеселел.

— Пятьдесят представлений, клянусь годовым жалованьем. Аншлаг, барышники — иду в пари.

— Д-да, милый,— протянул Горбатов,— а по-твоему, это либеральная пьеса?

— Вне сомнений, Андрей Аполлоныч.

Горбатов знал и сам, что либеральная; его смущало одно: насмешливость к крайним левым. Выражалось это вскользь, но было.

«Ну, да и автор!» Автор не новичок, с именем — вывезет.

На Рождестве ставили «На дне», потом немецкую вещь, играли утром и вечером. С нового года репетировалась «Сеть». Снова Анна Михайловна учила, работала. Рождество ее утомило, извела праздничная публика. Но и в «Сети» роль была не из радостных. К чему они это ставят? А с другой стороны — что же играть? Старое сыграно, нового или нет, или оно неприятно, трудно. Остаются огарки и министры. «А может быть, просто мы отживаем, для молодого нужно молодое? Может, нам в провинцию?»

Все же она работала — покорно, вяло. Но театральные истории, шушуканье, сплетни раздражали еще больше. Иногда казалось, что вообще театр — дом умалишенных: у всех маленькое помешательство на славе.

— Имела успех? Будет иметь? Разве это успех? Связи!

И цветы, подарки, счет вызовам, иудины лобзанья актеров, грубость тузов с мелкотой — все было так тоскливо, так старо, безнадежно. «Горич не мог бы быть актером». Ее радовало, что он иной, высшей породы.

Встретясь с Феллиным, она спросила как-то про Горича:

— Уехал. А вам зачем?

— Нужно.

— Нравится вам Горич, бр-р...

— Нравится.

Феллин похрустел пальцами.

— Везет ему. Лучше б я вам понравился... а?

Анна Михайловна посмеялась. Феллин был тощ, жалок. Верно, катары его разыгрались. Росло и озлобление неудачника.

— Вы все смеетесь, вы самодовольная женщина. Вас ничем не проберешь.

— Не бранитесь, лучше скажите, куда уехал Павел Александрыч.

Феллин хотел съязвить, но вдруг опустился, поблек.

— Остришь тут с вами, смеешься, п-ф-ф...— а в сущности мне мало дела до всего этого. И Горичи мне ваши не нужны.

Он согбенно прошелся.

— Да, он приедет скоро. А я вам должен сказать, как женщине доброй,— вы знаете, я ужасно устал! Мне вот все это,— он кивнул на декорации, подмостки,— ужасно надоело. Приходишь домой, и такое настроение... взял бы

гвоздь, вбил, и...— Он глупо усмехнулся. Анна Михайловна взглянула на него серьезно.— И...— Феллин вдруг высунул язык и вытаращил глаза.

— Фу! Бросьте!

Он провожал ее, дорогой говорил все то же:

— Бесцельная жизнь. Ролей нет, выбиться не дают. Представьте себе — до могилы все ждать чего-то. Человеку сорок два, он один, как карандаш, живет в отеле.

«По-нашему — в меблированных комнатах...»

— Да, и размышляет.

— Вы холостой?

— Абсолютно. Жена, дети... Это дурно. Знаете, маленькие эти клопы,— он брезгливо вытянул руки,— пеленки... гадость.

Они простились. Взглянув на его худую спину, она почувствовала к нему добрую, человеческую жалость. Казалось, что его дни кончены.

Потом мысли ее перешли на Горича. Как всегда, что-то сладостное, стыдливое охватило ее. Не хотелось домой. Забраться бы в поле, снежную равнину с звездами,— снова повторять о своей любви, плакать. «Отчего не сказала я ему больше — как он прекрасен, как рвется моя грудь от восторга? А может, это ему неприятно, он уехал поэтому? Вряд ли. Что сделала я дурного?»

«Я уже не молода,— думала она дома,— и, значит, никогда до сих пор не любила. Оттого так нелепа моя любовь».

Потом достала Тютчева и, бродя, твердила стихи.

На другой день на репетиции была рассеяна; играть не хотелось, она с удовольствием слонялась в антрактах.

О, как на склоне наших лет
Нежней мы любим и суеверней...
Сияй, сияй, прощальный свет
Любви последней, зари вечерней!

— Да, Киев меня любит. В прошлом году: знакомых никого, пресса чужая — что ж вы думаете, на тринадцатом представлении венок. Отзывчиво, как-никак.

— Это, по-моему, просто подлость. Как только я лицом к публике, она меня загораживает.

Я помню время золотое,
Я помню сердцу милый край...
День вечерел. Мы были двое,
Внизу, в тени, шумел Дунай.

— Женя, десять раз говорил: если не умеешь ставить в четверть часа, нечего этим и заниматься.

И с диких яблонь цвет за цветом
На плечи юные слетал.

Где эти яблони, Дунай? Ей казалось, что сейчас она шагнет в волшебную страну, но вокруг были плотники, статисты, Платон, Феллин, Горбатов — сердце останавливалось.

X

Между тем спектакль близился. В театре были возбуждены — это важный день: многое он решит. По мере его приближения Анна Михайловна мрачнела.

Когда же пришел он — такой же, как и все, для других, осаждаемых своими заботами,— она с утра пала духом. Как одиноко! Ни Эммы, ни Горича.

Вечером война — и ни одного человеческого лица. В семь она была в театре. Горбатов стоял у телефона.

— А? Не приедет? Это невозможно. Нет, будьте добры доставить, как угодно. Зачем? Это успеху содействует, разве вы не понимаете? Пьеса без автора! Нет, пожалуйста!

Анна Михайловна усмехнулась: «Успеху содействует».

— Контрамарок нет, премьера. Раз навсегда.

— Платон Николаич, с корреспондентским!

— Так бы и говорили. Третий ряд.

Увидев Анну Михайловну, Горбатов улыбнулся, поцеловал руку; но по глазам она почувствовала, что он боится.

— Ну, ангел, в добрый час.

Первый акт шел вяло. Анна Михайловна сразу поняла, что плоха. «К чему все это?»— думала она, стоя у боковой двери.

«Я играю в нелепой пьесе, держусь позорно». Было мгновение, когда ей показалось, что сейчас надо уйти уже совсем, спрятаться. Но, конечно, она выходила и читала, что нужно. Приняли холодно, лишь Машеньке поднесли букет.

Горбатов обозлился.

— Дитенок, не годится. У нас не Кинешма, чтобы с первого акта подношения принимать.

Когда начался второй, он потянулся, как бы в усталости, отрезал:

— Дана.

Анна Михайловна едва сдерживалась. Она взяла сразу на тон горячей. Выходило странно — и только. «Что со мной? Отчего?» Она напрягла всю волю — все же она не дебютантка, и едва себя одолела. В публике тоже что-то началось. Видимо, не нравился эс-эр.

Театр молчал, но молчание было недоброе; временами проходила как бы рябь — снова неодобрение.

После занавеса в галерее шипели.

— Плохо,— заявил Платон Горбатову. Но тот взглянул на него сурово — Платон смутился: в таких случаях нельзя высказываться.

Потом Горбатов сказал:

— Либеральная пьеса.— И прибавил: — Либеральная пьеса. *Дана.*

В третьем акте шикать стали задолго до занавеса. Анна Михайловна с ужасом взглянула вверх. В это время кто-то резко свистнул, и с другого конца крикнули:

— Перестаньте!

Зашумели, свистки были подавлены. Но теперь Анна Михайловна чувствовала, что враги всюду; этот зал залит ими, и они правы. Стыд мешал ей; она видела бледное лицо партнера, в месте, где ей надо было броситься, она села и до конца не могла встать. Ей казалось, что сейчас она зарыдает, а из зала хлынут недруги и затопят.

Зал держался, но когда действие кончилось, свистали все — так, по крайней мере, казалось. Некуда было уйти: свист долетал в уборные, к декоратору, машинистам. Анна Михайловна сидела у себя, подперев голову. По коридорам бегали, что-то кричали; говорили, что это недоразумение и нужно объясниться с публикой.

Она ничего не слышала.

Донесся лишь голос Горбатова:

— Бита.

Анна Михайловна повела глазами. «Пусть бьют, еще, еще,— значит, надо». Она слабела, глохла, все для нее становилось смутнее. «Засыпаю, что ли?» — голова стала тяжелей, замирало сердце.

И сладко жизни быстротечной
Над нами пролетала тень.

Она улыбнулась, сквозь сон, на легкое и милое виденье, медленно стала сползать. Через минуту кто-то крикнул: «Обморок». Дальше она ничего не помнила.

XI

Первым чувством ее наутро было желание уйти. Пусть неустойка, неприятности — больше она не может. Но это — новый позор. Значит, надо терпеть.

Публика и газеты говорили одно: странно, что известная артистка выступила в пьесе, явно сомнительной. Оттого и игра ее так слаба. Скандал объясняли обидой молодежи.

Актеры волновались, появились письма в редакцию; кто-то кого-то обвинял, автор оправдывался; Анна Михайловна не приняла в этом участия; она мучительно думала — что же это с ней происходит? Отчего эти промахи — художественные и житейские, куда зашла звезда, ведшая ее в жизни всегда прямо? Снова она крепилась, не спала ночами, и разные предположения томили ее. Иссяк ее дар? Она отстала от времени? Мысль, приходившая и раньше. Наконец — любовь? Она мешает? Но нельзя было ни на чем остановиться, и она думала лишь с тоской, что если для жизни более не годна — тогда не надо самой жизни. Так провела она последний месяц. Наконец, получив письмо от Эммы, полное кротости и покорное, решила ехать.

На первой неделе, с глубокой усталостью, садилась она в вагон. Сзади остался год, полный странных и тяжелых чувств, с тонкой светлой зарей — любовью. Но как бы то ни было, хорошо, что она едет. Она рада была шуму поезда, качке, мельканию снегов и леса. Вспомнила она, как ехала сюда осенью, свои мысли о судьбе и непонятном в человеческой жизни. Теперь, глядя на звезды, уж весенние, милые, она думала о том же. Хорошо бы заснуть,— видеть сны легкие, сладостные, навсегда забыть землю. Духом светлым лететь к звездам.

Но она не видала этих снов. Лишь шум вагона, одиночество, ночь успокаивали ее. Когда перед утром она проснулась, ей первый раз в этот месяц пришла мысль, что, быть может, все тяжелое, что перенесла она за зиму, есть урок, суровое испытание ее сил. От этой простой мысли стало легче. Она вздохнула. «Надо терпеть... и жить». С этим она заснула, и когда очнулась, был уж день. Подъезжали к Москве. Здесь, как предполагала, она должна была провести день, два. В кротком и покорном настроении вышла она на перрон. Села в пролетку. Была весна, солнце грело; на перекрестках продавали цветы. Не

хотелось думать, только б солнышко, славный пестрый шум, весна. Отдых, отдых!

Так входила она в отель, и на доске у швейцара машинально прочла: «Горич». «А, вот что!» Она улыбнулась, что-то ласково-печальное ударило ей в сердце. «Вот почему я приехала именно сюда — раньше никогда я здесь не останавливалась»,— думала она у себя в номере, переодеваясь. «Милый Горич, вы здесь. Тем лучше». Но когда она послала узнать, дома ли он, на минуту ей пришло в голову, что, верно, он читал о ее позоре. «Что ж, все равно. Ведь люблю его я».

Горич был рад ей. Он прибежал, они встретились старыми добрыми друзьями.

— А уж я думала, не увижу вас больше,— сказала она простодушно.— Я уезжаю, и теперь надолго.

— За границу?

— Да. Вы ведь знаете,— она улыбнулась чуть насмешливо,— наш сезон кончился, я свободна.

«Знает он, или нет?»

Но он слишком дорог был ей — прятаться она не могла и рассказала все.

Он задумался.

— Ну, со всяким может быть.

Они вместе завтракали, целый день не расставались. В шесть часов поехали кататься. Было тепло, солнце садилось; розоватый дым стоял над бульварами. Облака, туманно сияя, разметнулись на западе.

— Я осталась здесь на день по сантиментальности,— говорила Анна Михайловна,— это мой родной город. Здесь жила я у родителей, была гимназисткой; первый раз влюбилась.

— Вот как? Вы московская! Я не знал.

И он начал хвалить Москву. Здесь много милых девушек. Лучший тип русский здесь, телесный и духовный. Хорошо золото церквей здешних, старина, сумеречные весенние тона. Многое говорит о нежном, о прекрасном, что есть в русской душе.

Анна Михайловна усмехнулась. «Сейчас он скажет какую-нибудь цитату о Москве, где о ней говорят тоже возвышенно». И вообще все он знает: читает, разговаривает о хороших вещах. Ходит в театры, музеи. Мечтает о милых девушках, которых, может быть, и нет вовсе. В этом его жизнь.

Цитаты он не привел, но предложил вечером театр.

Анна Михайловна знала и ценила этот театр, но сегодня ей не хотелось. Ей казалось, что ее сразу все узнают, что она виновата и неловко ей выезжать. Но потом передумала и поехала. И театр и зал мало изменились. Она вспомнила, как еще начинающей артисткой была здесь на «Чайке», на первом представлении. Вспомнила свои слезы, радость, бушевавшую в ней и во всех в этой зале. Чего радовались тогда? Она задумалась на мгновение: «Победа прекрасного. Да, наверно».

И теперь она села в волнении. Из-за занавески ложи была видна только сцена. А потом погасло все — началось. Анна Михайловна вздохнула. Ей представилось, что всю зиму жила она в духоте, в тяжелом пестром смраде: первый раз чистая гармония лилась в нее. Хотелось глубоко вздохнуть, очнуться. «Не дурной ли сон — все бывшее? Не обман ли?»

Но ей не было завидно. Ей хотелось только плакать, плакать от тихой и негрустной музыки искусства. И она плакала. У нее было много слез, точно застоявшихся за зиму; было неловко сначала Горича, но потом, притулившись в ложе, она плакала, как у себя дома, сама с собой.

Кончались акты, хлопали в публике. Хлопал Горич и говорил:

— Превосходно!

Актеры не выходили — тогда Горич, бродя по фойе и встречая десятки знакомых, всем сообщал:

— Дивно! Изумительно!

И если не соглашались, сердился. Анна же Михайловна выплакалась к концу и сидела усталая, но как-то легкая, светло опустошенная.

Когда ехали домой, весеннние звезды были на небе. Все жило, дышало в этом мире. Заплаканными глазами смотрела она на звезды, и казалось ей, что она многое понимает такое, чего раньше не знала. «Да, поглотит всех вечность, но жив Бог, и его мы несем сквозь жизнь, как и те дальние светила». Человек показался ей на ослепительной высоте, тяжесть, данная ему — бременем не от мира сего.

— Помните,— шепнула она Горичу,— вечер, когда вы цитировали Гете?

— Помню.

Она улыбнулась.

— Вы опять будете дразнить меня за «возвышенность», но, простите, он, точно, сказал хорошо. Как это?

«Священная серьезность обращает жизнь в вечность». Это правда.

— Вот, вы видите, как настроил вас театр.— Горич прибавил весело: — Отсюда заметно благотворное действие искусства на человека.

На другой день он провожал ее на вокзал. Анна Михайловна была покойна; ей хотелось теперь скорее к Эмме, на помощь, и потом на работу, под то ярмо, которое с твердостью она должна нести. А Горич? Она знала, что это кончилось навсегда, и снова настанет ее полумонашеское состояние. За пять минут до звонка она улыбнулась ему не без нежности.

— Теперь уезжающие расстаются с друзьями и говорят последние слова.

— Я могу вам сказать,— ответил Горич,— что вы самая милая женщина. И актриса, Анна Михайловна.

Она засмеялась.

— Да, конечно, милейшая женщина.

Но пора было садиться. Он жал ей руку, махал шляпой. Поезд тронулся. Ясный день, театр, Горич, необычные чувства, все теперь было сзади — стало тоже милым видением, неповторимым. Глядя на платформу, голубей, круживших в небе, на сверкавшие стекла в домах, она вздохнула еще раз. Махнув платком, вошла в купе.

«Милый друг,— повторяла она,— милый друг».

ИЗ КНИГИ «УСАДЬБА ЛАНИНЫХ»

ИЗГНАНИЕ

В школе я учился хорошо, но равнодушно. Хорошо и в университете, хотя не мог понять, что университет — храм, alma mater[1] и прочее. Ходил на лекции, сдавал зачеты. Когда пришло время, проделал в комиссии что надо, и так как не добивался этого, кончил чуть не первым.

Я родом из хорошего круга Москвы: у нас бывали профессора, адвокаты, писатели, и сначала предполагалось, что меня оставят при университете; но я записался помощником к крупному адвокату, из либеральных — он составил себе имя в политических процессах.

Казалось, что я буду хорошим адвокатом, защитником угнетенных и подписчиком прогрессивных газет. На самом деле, был я молод, довольно здоров, образован, не глуп. Даже говорил сносно. Что же до аккуратности и честности, то тут просто превосходно: о! клиентских денег я бы не растратил, и по клубам не картежничал.

Так и смотрел на меня патрон. Я и сам знал это за собой; и когда товарищи вздыхали слегка завистливо, предполагая, что за звездой я сам пройду в звезды,— я этого не отрицал, но сияние моего маэстро мало меня воодушевляло. Да, зарабатывать тридцать тысяч приятно; но сколько для этого нужно возиться с клиентами, препираться с председателями и прокурорами, сколько болтать банальностей и говорить: «Мы, передовая адвокатура» — все это не особенно хорошо.

[1] Кормящая мать *(лат.)*; в переносном значении — место, где человек получил образование и воспитание.

Однако я старался и работал. Должен сознаться, что хотя и не был в ту пору ребенком, родители и в этом имели на меня большое влияние. Дело простое: я их любил. Они были люди добрые и честные, с определенным взглядом на жизнь. Огорчать их мне не нравилось; и во многом жизнь моя — человека среднего, неяркого — определялась ими. Было принято работать, бывать в симфоническом, посещать журфиксы в двух-трех домах — почтенных и серьезных; и молодежь, которую подбирала мать, была тоже интеллигентная и серьезная. Так что — странно сказать! — на женитьбу мою мать оказала известное влияние.

С Анетой мы познакомились на семейном торжестве, у друзей отца; мать дальновидно пригласила ее к нам. Мы встречались на наших собраниях, на публичных лекциях, премьерах Художественного театра; и эта девушка — горячая брюнетка, крепкая, довольно сильная — заняла мое воображение. Она была дочерью профессора; занималась на курсах и слыла умницей и милой. Все шло само собой; меньше чем в год мы оказались женихом и невестой. Матери наши шептались, радовались; я имел право в сумерках целовать ее в шею, я чувствовал, что это молодое и жизненное существо владеет мною целиком.

Так я женился — сделался взрослым. Анета была отличной женой, это несомненно; она любила меня бурно, со здоровой силой ее возраста, но была тактична и, главное, умна. Я знал, что, кроме страсти, на каждом шагу встречу в ней помощника, опору, верного друга. И я очень ее любил. Мне нравился блеск ее глаз, нежная кожа, несколько по-еврейски вьющиеся волосы. Голос у нее был низкий и бархатный. Этим голосом она одинаково хорошо говорила с кухаркой, торговалась, высказывала просвещенные взгляды, порицала модернизм и для меня находила в словах ласковые оттенки.

Мною она правила превосходно. В самом деле: хотя я не жил теперь с родителями, но в доме у нас был тот же порядок, культурность и интеллигентность. Мы жили в небольшой квартире, но с лифтом и ванной; никогда перед обедом не пахло чадом; не было ссор с прислугой, часто таких унизительных. Даже не было гостиной с декадентской мебелью, не висело «Bien être»[1], и только Бёклин все же был: Анета полагала, что для молодого либерального

---

[1] Буквально: комфорт, уют *(фр.)*. Речь идет о предметах, соответствующих представлениям о комфорте, уюте.

адвоката это вполне уместно. И вообще во всем: в одежде, в питании (Анета была склонна к вегетарианству), в разных мелочах чувствовалась рука твердая и знающая, пусть молодая. Мать у нас бывала нередко. С ней Анета тоже ладила; мать ее любила, и даже ее многоопытный взгляд не улавливал в нашей жизни крупных промахов. Иногда, целуя меня на прощанье, мать говорила: «Береги свою жену, Александр, она у тебя клад». Сколько мог, я и берег ее, и по указанию Анеты мы снова ездили — то слушать Оленину д'Альгейм, то старинную музыку, то даже на лекции Бердяева (мистицизм она не одобряла, но желала быть au courant[1] всего). Она продолжала и курсы, по филологическому отделению; сдавала зачеты, изучала историю искусства и раз даже пришла в ужас, когда знакомый студент у нас на четверге сказал, что не знает, кто был Фра-Анжелико.

Эти четверги, как прежде в родительском доме, были обдуманными и «порядочными». Приглашала Анета оставленных при университете, кое-кого из моих товарищей по работе, умных барышень и дам. Пили чай за столом с ярким никелевым самоваром, tischläufer'ом[2], печеньями. Разговаривали об общественных новостях; говорили, что «реакция уже обнаруживает свою внутреннюю несостоятельность»; рассказывали о политических процессах, касались университета, спорили о модных романах, и в одиннадцать ужинали à la fourchette[3], с двумя бутылками медока. Впрочем, я говорил мало; никогда я не был особенно разговорчив, с гостями держался даже несколько нескладно, за что Анета меня укоряла. «Ты такой умный и образованный человек, Александр, но в обществе ты как-то прячешься. Некоторые даже думают, что ты гордый. А между тем, у нас бывает не кто-нибудь... Да и вообще я не думаю, чтобы это было верно». И она ласково целовала меня. «Что ты, что ты, какая там гордость...» Я пугался и уверял, что просто характер у меня замкнутый. И действительно, никакой гордости во мне не было, это чьи-то выдумки.

Как полагается, в свое время Анета забеременела. Мне это нравилось. Сначала она нервничала, несколько раз плакала и раздражалась; но с четвертого месяца стала, наоборот, ровной, тихой, как-то внутренно довольной. Начала полнеть, терять девичий облик, но появилось и нечто новое,

---

[1] в курсе *(фр.)*.
[2] скатертью *(нем.)*.
[3] на скорую руку, не садясь за столы *(фр.)*.

по-своему очень хорошее. В ней показалась молодая матрона, пышное цветение женского существа. Иногда сияло в ее глазах нечто, не от нее зависящее, точно радость самой жизни, выполняющей свою роль. Я боялся за нее последние месяцы — чтобы не случилось чего; но Анета была еще аккуратней в своем деле, чем я в моем; своевременно она легла в лечебницу и, мужественно перенеся страдания, в феврале родила дочь.

С ее появлением квартира стала нам мала. Мы переехали на новую, на Пречистенском бульваре. Появилась в доме няня, и Лизочка, сама того не ведая, еще с пеленок усилила у нас партию женщин и семейный быт.

Дочь я полюбил — не с первых дней, а позже, когда стало пробуждаться в ней сознание; когда что-то материнское, смешанное с моим, глянуло из ее глаз, я ощутил ту сладкую жуткость, которую чувствует человек перед тайной. Я видел, что и Анета смотрит на нее особенно, и, верно, она еще острей чуяла в Лизочке *свое*, оживленную часть *себя*, чем я.

Но и неуловимое нечто легло в отношениях жены ко мне; да и моих к ней. Мы точно оба возмужали, выросли; те ноты любви романтической и вздыхательной, которые все же в нас были, как-то поблекли. Резче во мне подчеркнулся муж, в ней — жена. Ее власть надо мной возросла — в области жизненной, практической. И, напротив, душевно я стал дальше. Рос заработок, и патрон был мною доволен; скоро я должен был стать присяжным поверенным, сам прикармливать молодежь.

Но во мне все-таки не было солидности. Иной раз, вернувшись из суда, я вдруг уходил из дому, якобы по делам, а на самом деле просто бродил по Пречистенскому бульвару; выходил к Христу-Спасителю, и зачем-то сидел на набережной, смотрел, как блестят в Кремле главы, как Москва-река шумит под Каменным мостом. Даже Замскворечье мне нравилось, то есть не само оно, а теплый ветер, летевший оттуда, с юга, голубые дали, какие-то воображаемые края там, за Черным морем и Крымом. Это бродяжничество, глупые весенние мечты так не шли ко мне, порядочному человеку в тридцать лет, мужу, отцу семейства,— я это понимал и сам стеснялся. Но ясно, что во мне, как всегда было, с детства, под одним человеком сидел другой, который мало кому был заметен. Почему я не говорил об этом Анете? Ведь я мог бы найти нужные слова, и она, верно, поняла бы меня и не посмеялась. Но я все же не говорил. Не то чтоб я не доверял,— меня смущала ее спокойная деловитость,

ум, то, что всегда во всем права была она. Вероятно, и тут оказалось бы так же.

И когда я возвращался, а она с двоюродной своей сестрой Машурой, гимназисткой, возилась с Лизочкой, мне становилось слегка неловко, но я молчал. «Дядя,— говорила Машура.— Нынче Лизочка разговаривала по телефону! Какая смешная! Сняла трубку и сказала: «Слушаю». Машура смеялась, так что вздрагивали ресницы ее черных глаз, целовала Лизочку. Анета усмехалась. «Да, Александр, она растет. Вот смотри — скоро и учиться будет». Я тоже улыбался, тоже радовался, и таскал на себе это милое, маленькое существо. «Кто-то ты будешь,— думал я, глядя ей в глазки.— Славянская девушка, с туманными мечтами, слабая, из нежного легкоплавкого воска? Или умная посредственность? Или длинноногая коза, ветреница, девица стиль модерн?» Лизочка накручивала ус на пальчик и дергала. Иногда рассматривала мне глаза, закрывала и открывала веки, как будто хотела разобрать получше, что это за инструмент.

Лето того года мы жили на взморье, а осенью — осени в моей жизни всегда тяжелы — я испытал большое горе: умер мой отец, а через два месяца мать, видимо от потрясений. Я был человеком здоровым и довольно крепким, но это меня пошатнуло. Вдруг я почувствовал, что навсегда умерло мое детство, юность. Я остался самым старшим — и уже вполне зрелым.

Надо сказать, что и в другом отношении этот год был годом перелома, круто изменившего нашу жизнь. Я разумею революцию, которая как раз теперь подошла.

Это было странное время. Что бы потом ни говорили, сколько горького ни осталось от нее, все-таки некоторых моментов нельзя забыть: были минуты, когда казалось, что над нашей жизнью встало нечто огромное, всенародное. Пусть за это расплачивались дорого. Может быть, жизнь этим и красна.

Как и все в нашем обществе, мы с Анетой попали в полосу собраний, банкетов, возбуждения и «поддержания». Анета — деловито и умно, я — менее складно и больше в тени. Анета доставала билеты, сажала меня на банкетах куда следует, сияла своими черными умными глазами, покойно, всегда интересно вела разговор и на стороне собирала деньги; устраивала лекции, вела знакомства в некотором отношении предосудительные — думаю, ее можно было назвать честным дилетантом революции.

Мой патрон был членом крестьянского союза. Спустя некоторое время я попал туда же, и особенного влияния не имел, но рассматривался как близкий человек большого человека. Раза два заседания происходили на моей квартире (и тут Анета проявляла такт и солидную любезность). До известной степени я сам увлекался новыми делами: веянье свободы, никогда не виданные раньше люди, оттенок заговора, сладостное нервное напряжение — все это внесло в мою жизнь новые краски — как-то приподняло и раздвинуло ее. И в Анете мне некоторые черты стали дороже: то, что она всегда рядом со мной — такой добрый товарищ, что она по временам так прекрасно блестит глазами, одушевляется мыслью о народе, справедливости, рискует, выполняя какие-то поручения таинственных людей, дает им приют и поддержку. «Все это хорошо,— думал я,— пожалуй, даже очень хорошо».

— Ну, а если бы тебя арестовали? — спросил я раз, когда она вернулась откуда-то взволнованная, с тем острым запахом молодости и крепости, который сильнее чувствуется в минуты возбуждения.

— Я чуть не попалась, ты знаешь? Там была засада, но я вывернулась, сказала, что к соседям.

И, смеясь, она рассказывала об избегнутой опасности, как здоровый охотник, сделавший счастливый выстрел.

— И сослали бы, что ж поделать...— Ее взгляд говорил: «Только бы с тобой!» Я ее крепко поцеловал: ну, я бы ее не бросил.

Разумеется, даром нам это не прошло. Раз позвал меня патрон и сказал: «Плохо дело, Александр Иваныч. На цугундер нас с вами. Вот вам паспорт, я себе уже достал — и айда. Лучше Париж, чем тундры севера-с». Я не был особенно удивлен, но все же это было неожиданно. «Мешкать вам не советую, как-нибудь проживем и в Париже». Он прибавил, что нас арестуют не сегодня завтра. Я отправился домой, и решили мы с Анетой так, что я провожу ее с Лизочкой в Смоленск, к сестре, а сам, не останавливаясь, махну в Париж. Она же приедет через месяц — ей почему-то не хотелось уезжать сразу.

Пятого апреля мы тронулись, с Брестского вокзала. Анета внешне была спокойна, но волновалась, я чувствовал. На меня тоже нашло раздумье. Поезд шел мимо Ваганькова, мимо скачек, потом медленно пополз к Кунцеву среди широких, развернувшихся равнин. В Москве блестели кое-где стекла, талый снег синел по овражкам, а над Воробьевыми

горами голубело небо чистое — такое милое и далекое весенним вечером! Я думал о том, что ведь это мой город и моя страна. Увижу ли я когда-нибудь эти равнины, осинки и березы, полуварварскую Москву, полуварварский свой народ? Я, сам потомок скифов? Но, ведь, к этой стране, к этому народу я прирос крепко; нечего стесняться, я люблю его любовью неистребимой, как любил своих стариков, чьи кости остались в этой земле. Может быть, это глупо, но мне захотелось вдруг увезти с собой горсточку этого бедного суглинка.

Мы проехали благополучно. Я сдал Анету сестре, а сам отправился далее. Остановился я в первый раз в Кельне, и переночевал там, так как очень устал. Все понравилось мне в этом городе: и узкие улицы, и старина, и собор, равного которому я никогда не видал, и ресторан с витражами, где я пил рейнвейн, и сам Рейн. В старонемецких городах вспоминаешь охотно Тургенева, Асю, может быть, Гейне.

Помню, вечером я сидел у себя на балконе. По Рейну бежали огоньки — пароходики; под гигантским мостом он гудел глухо и внушительно. Вода лилась под его черные быки, как в вечность, и такой же представилась мне наша жизнь, в частности моя, направленная чьей-то мощной рукой по новому руслу — и неизвестно куда мчащаяся. Здесь, среди древнего города, в одиночестве, я мог яснее, как мне казалось, оценить ее и сказать о ней слово. Было ли хорошо, или плохо, что мое существование меняется? Я не знал. Но одно мне чувствовалось: если бы не пришла революция, новое и жуткое, что было в ней, я скоро стал бы задыхаться в своей благоустроенной клетке. Так что, может быть, и хорошо, что в Париже меня ждет беспокойная жизнь, полная тревог, неожиданностей, тягостей. Что же, я буду политическим эмигрантом? Про себя я улыбнулся. Хорошо, я люблю свою страну, ее свободу, но политик ли я? Что я: член партии, орудие центральных комитетов, демагог? Но, ведь, это до смешного не так. «Что же там будет? — думал я.— Чем я буду жить?» Я так ничего и не надумал, а той теплой весенней ночью снова бродил по Кельну, слушал его смутный гул, вдыхал запахи — смесь легкой сигары с овощами, или свежей листвы на бульварах, видел, как дробятся звезды в бледном Рейне и собор темнеет.

Так, ни до чего не додумавшись, я уехал на другой день в Париж — к тому новому, чего никак не представлял себе

заранее. Париж просто казался мне туманным гигантом, несколько жутким.

Но жуткого в нем ничего не оказалось. Явилась Анета; под ее руководством все сразу приняло нормальное течение, только на заграничный манер.

Анета устроила нас в улице Vavin, близ Люксембурга. Мы сняли небольшую квартиру, разумеется, с камином и часами на нем, с огромной кроватью в спальне, с жалюзи, узкой винтовой лестницей и Альфонсиной, которая смотрела на нас сверху вниз. Но Анета быстро прибрала ее к рукам, и быт наш, к великому удивлению прислуги, да и моему также, принял сразу французский характер: за завтраком пили плохонькое вино, ели овощи и кусочек gigot de mouton[1]; вовремя обедали, ходили в кафе, не пили даже почти чая, и только иногда земляки приходили и смущали Альфонсину: я же с ними не сошелся.

Я, ведь, оказался в Париже в виде политического изгнанника. Как в Москве некогда у нас бывали либералы, так теперь появились эс-эры, эс-де и синдикалисты, последнее слово революционной техники.

Так как я ни к кому не примкнул, то на меня скоро перестали обращать внимание и адресовались больше к Анете: я просто недалекий муж, с которым нечего церемониться. Да они были и правы: верно — меня мало занимали их партийные распри. Даст ли Бог победу меньшевикам, большевикам или отзовистам, меня мало интересовало. Я следил за Россией, болел за бедный народ свой, бедную страну, о которой судили здесь вкривь и вкось, с преувеличениями, ходульными словами, часто свысока и редко с любовью — и свое положение оценивал так: родину я не предам нигде, ни под каким небом не забуду я русских полей, перелесков, Москвы, взгляда русской женщины. Но, ведь, надо сознаться, что здесь я только потерпевший аварию, и сколько ни тоскуй, я не внесу света и радости в свой далекий край. Может быть, меня захватило уныние, всегда следующее за неудачами, может быть, во мне никогда не было борца — я не знаю, но чувствовал я так.

Между тем, мой патрон и здесь поставил свою работу на твердую почву. Мы открыли в Париже бюро, как бы консультационно-адвокатское, и дела наши пошли недурно. Клиенты у нас были и из русских, и французы. Всех мы обслуживали по возможности тщательно: работать

---

[1] бараньей *ляжки (фр.)*.

приходилось довольно. Но все-таки у меня было время, и интерес был к Парижу, к чужой жизни.

Как и многим — Париж показался мне лучше его обитателей. Есть величие в этом сухощавом, трудовом и очень мужественном городе. Он — для людей крепких и немечтательных, но он имеет свое, ни на что не похожее. Есть в нем площади мирового значения, есть места, где можно чувствовать Революцию, Наполеона; есть священные мансарды — кельи Руссо и Бальзаков.

Весь же склад и дух жизни тут суровее, пустее, чем у нас. Здесь абсолютно все знают, чего хотят — хотят осуществимого и среднего, и добиваются его, при труде и усердии. Власть, деньги, наслаждения определяют здешнюю жизнь с черствостью, которой не знаем мы. Потому мы тут всегда в загоне и всегда побежденные. Потому, с другой стороны, нам дышать здесь не легко. Чтобы быть принятым гением здешней жизни, надо с молодых лет назначить себе размер ренты, которую хочешь получать к старости: и на этом построить бытие.

У меня было такое чувство, что и политики, и ученые, и рабочие, и купцы — все живут так. Не такова, конечно, русская эмиграция, но в ней все же мало интересного и много горького. Так что ни те, ни другие не могут дать образца жизни. А между тем, мне, надеявшемуся, что новое пахнет освежающе, тяжело было видеть, что все и вокруг, да и у нас как-то ниже уровня последних месяцев в России. При этом меня удивляла Анета. Как нравилось ей в России маршировать в ногу с революцией, так тут она легко вошла в эту чужую жизнь — где тоже, конечно, были страшные слова, синдикалисты и эс-эры, но уже все совершенно безопасное, безвредное и пресное. Здесь не было воодушевления. Да мне казалось, что и не к этому, в конце концов, лежит ее сердце,— а к влиянию, к желанию иметь в хорошей квартире хорошее (с именами) общество радикальной окраски. Это, ведь, тоже цель, тоже такая достижимая цель! И мне почему-то стало представляться, что хорошо бы Анете быть замужем не за мною, а за каким-нибудь приятным французом демократического толка, который бы служил в министерстве общественных работ и надеялся под старость получить директора департамента. Но все это — непременно с хорошими словами и пользой для народа. Я уверен, что Анета была бы ему отличной помощницей. Она устроила бы салон раз в десять шикарнее нашего.

Таким образом, чем дальше шла наша жизнь, тем менее она мне нравилась. И к концу года, проведенного в Париже, я стал замечать в себе мысли, раньше не приходившие мне. Я стал задумываться над тем, что всегда беспокоило людей и будет вечно их беспокоить: так ли я жил и живу, как надо, а если не так, то как именно должен жить?

Мои рассуждения приблизительно таковы: я уже в зрелом возрасте, я муж, отец, член общества. Но что, собственно, я сделал? Я любил, когда был молод, это во мне естественное действие сил природы; у меня есть дочь, результат действия этих сил. Есть дело, которое я делаю потому, что среди людей моего общества считалось приличным, чтобы я выбрал интеллигентный и либеральный вид труда. Но, ведь, я его не люблю, надо сознаться. Неужели свою жизнь, половина которой уже прошла, я употреблю на добывание денег, комфорта, известности, что ли? Неужели после rue Vavin будет rive droite[1], «приличная» жизнь, двуспальные постели, хорошее вино, дородность... из-за чего же тогда стоило хлопотать?

Не скрою, что мне хотелось чего-то большего, высокого — быть может, творчества, или служения ценностям, как говорят люди умные, стоящим над жизнью. Но я не имел никакого божьего дара, мог только завидовать (единственно, кому я завидовал в Париже) тем художникам, философам, писателям, которые тоже знают свой путь, но путь которых — бесконечен, и те, кто идет по нему, подобны крестоносцам.

Помню, что случайно, размышляя в этом настроении, я раскрыл старенькое Евангелие, сохранившееся у меня с детских лет, и прочел: «Ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее. И враги человеку домашние его». Эти слова поразили меня. Мне показалось, что они направлены прямо против Анеты и Лизочки. И хотя я знал их глубокую правдивость вообще, в применении к данному они показались мне чрезмерно суровыми. «Чем же Лизочка-то виновата,— думал я, глядя, как она, подросшая и слегка офранцуженная, скачет в Люксембургском саду, ловит diabolo[2], играет в мяч.— Вся тяжесть лежит на нас с Ане-

[1] улицы Vavin ...правый берег *(фр.)*. Имеется в виду Сена, на правом берегу которой расположены богатые респектабельные кварталы, а на левом — демократические, бедняцкие.

[2] палочку в игре в диаболо *(ит.)*.

той, а она просто милое дитя, птичка». И я брал ее под мышки, щекотал, подымал вверх, на забаву ее французским друзьям. Потом мы ходили к фонтану кормить рыбок. Рыбки, такие ж маленькие, как она сама, сбивались к нам кучей, а она бросала им корочки, бормотала: «Tiens, les poissons qui mangent»[1]. Иногда мы садились на верхушку омнибуса у Одеона и ездили кататься по Парижу. Лизочка прижималась ко мне, точно жутко ей было среди этих тысяч людей, фиакров, автобусов, мчавшихся во все стороны,— но и занятно движение необычайного города. На rive droite я покупал ей конфеты — так уж это было заведено,— и назад мы катили по метро — тоже нечто, заставлявшее Лизочку обмирать. Но когда пролетали над Сеной, она восторженно всматривалась в Эйфелеву башню: там я почувствовал, до какой степени в духе детей эта башня.

Между тем, Анета, как мне казалось, стала замечать, что не все ладно в нашей жизни, т. е. вернее — в моей. Несколько раз даже спрашивала она: «Что с тобой, Александр?» Я не очень был расположен говорить, да и тем положение мое было неудобно, что я не умел выразить в точной форме предмета своего недовольства. Анета же любила точность. В конце одного нашего разговора она вдруг вспыхнула и сказала: «Ну да, понимаю... ты просто разлюбил меня». Это было неверно, нескладно и по-женски, но раз она додумалась до такой вещи, сбить ее почти нельзя было. Тут я почувствовал, что нам нанесен сильный удар. «Я понимаю,— говорила Анета, и глаза ее блестели по-новому, как-то холодно, чуждо,— тебе просто со мной неинтересно, потому ты уходишь куда-то, потому ты изменился». Я старался ее разубедить, но она замыкалась, твердила: «Оставь» — с таким видом, что вся моя энергия падала. Раз, вернувшись откуда-то, я застал ее лежащей на диване, головой в подушку. Я присел к ней и хотел поцеловать в шею, как делал некогда женихом, но она вскочила — глаза ее были заплаканы и прекрасны,— молния блеснула в них; она крикнула:

— Уйди! Все пропало! Я тебя тоже не люблю. Все пропало, все, все!

Она побежала к себе в комнату и заперлась. Вечером прислала мне письмо, где было больше печали и чувства, чем я склонен был ожидать. Она писала, что давно уже, почти со времени рождения Лизочки, стала замечать во

[1] Гляди, вот рыбки, которые едят *(фр.)*.

мне перемену,— очевидно, она прискучила и не может дать той жизни, которая мне нужна. В виду этого она предоставляет мне свободу действий, и *если я, быть может, кого-нибудь люблю,* чтобы я сказал прямо: мы разойдемся. Ночь мы оба почти не спали. А наутро было объяснение, убедившее Анету, что я никого, кроме нее, не люблю и не любил. Но полного мира оно не дало, ибо остались у нас какие-то рифы, темные и опасные пункты, к которым оба мы не решались приблизиться.

Началась жизнь, которая была, конечно, хуже прежней, так как ушло из нее всякое тепло и ласка. Анета, видимо, тяготилась домом и искала случая уйти куда-нибудь, и как можно надольше. Появилось у нас некоторое запустение, чего раньше не было. Анета не интересовалась даже Лизочкой, и та приходила делиться школьными радостями ко мне: за диктовку она получила четыре, а за «держание» — так она называла поведение — пять.

— Отчего нет мамы? — спрашивала она.

— Мама в русской колонии. Там сегодня вечер.

— А ты почему не в русской колонии?

Я не мог объяснить ей, что дело не в русской колонии, а что мама тоскует, да и отец тоже. И, уложив ее спать, я садился и ждал Анету.

Снова и снова задавал я себе вопрос: что же, как же? Устраивается ли моя жизнь или разрушается? Что она начала разрушаться — это я видел на каждом шагу. Что выйдет из этого — не мог предвидеть, и помню, что меня тянуло в такие вечера к Евангелию. О, какая это странная книга! Я никогда не был мистиком, а Евангелие ценил как-то холодновато: может быть, оно слишком было затемнено еще со школьных времен. Но теперь, когда я перечитывал давно забытые, удивительные слова, мне вдруг стало казаться, что это, правда, сверхъестественное писание. Я читал когда-то диалоги Платона, и Сократ, к которому душа моя никогда особенно не лежала, был весь виден, весь ясен, как и его ученик; ясны были и величайшие поэты — Гете, Данте. Кто же, собственно, Христос? Этого я не вмещал. Я только чувствовал, что сердце мое открывается необычайному сиянию Евангелия — вероятно, вечному сиянию,— покорявшему миллионы — быть может, именно тогда, когда начинали они терять истинный жизненный путь. Ибо за всем грохотом культур, войн, переворотов и цивилизаций есть еще малая вещь — человеческое сердце, которое ищет незыблемого всегда,

сколько бы ни опьяняли его успехи и движение жизни. Такой вечно живой водой представлялось мне Евангелие. Если оно не указывало точного пути (или я не умел определить его), то, во всяком случае, подымало и возвышало необыкновенно. И утешало.

Возвращалась Анета, целовала меня на ночь и уходила к себе. Я знал, что ночами она плохо спит. Видимо, тяжелые чувства мучили ее часто; и помочь ей было трудно. Иногда она глядела на меня, разговаривала будто и ласково, но думая о другом, и, помню, раз среди пустого разговора вдруг болезненно сморщилась и сказала:

— Ты сам это начал. Ты, ты. Я всегда была тебе верной женой.— И расплакалась.

Тогда я стал догадываться кой о чем таком, чего раньше не подозревал.

Именно, я заметил, что Анета исчезает слишком часто. Странно, почему она пристрастилась к русской библиотеке, которую раньше не любила, и почему перестал бывать у нас Берто, француз, синдикалист, с великолепной бородой, как у Жореса.

Я начал наблюдать с этой новой позиции и скоро убедился, что, действительно, это так. Несомненно, у Анеты, быть может, под влиянием оскорбленного самолюбия, завязался роман. Как я отнесся к этому? Вот вопрос! Конечно, я сам способствовал его возникновению; верно и то, что во многом я относился к Анете критически и, пожалуй, иронически. И все-таки мне было тяжело. Какою бы она ни была и каким бы я ни был, все же в прошлом у нас любовь, годы, прожитые вместе, и та неопределенная, темная симпатия, которую скрепляют тысячи мелочей, вместе пережитых.

Ближайшим летом мы с Анетой, как всегда, собирались на океан. Это должно было произойти в июне, а в мае приехала Машура с мужем, московским доцентом. Она чуть располнела, стала крепче и имела вид женщины. Мне она напомнила перемену, какая произошла с Анетой после замужества. Даже тот тон появился,— как бы все знающий и солидный. Но все же она была очень мила, черные глаза ее были так же огромны и прекрасны. Часто они запирались с Анетой и, пока доцент сидел в библиотеке, вели разговоры — я догадывался о чем. Иногда мы гуляли вместе по Парижу, я показывал ей кое-что, и чувствовал, что однажды у нас произойдет разговор. Я не ошибся. Это случилось в Лувре, когда после долгих скитаний мы сели

на диванчик в какой-то пустынной зале. Машура начала с того, что она давно чувствует, что между нами неладно. Я согласился. «Ты должен простить Анету». Веки ее задрожали. Мне показалось, что сейчас она заплачет. «Позволь, за что прощать?» Тогда, путаясь, она стала объяснять то, что я уже знал, т. е. о синдикалисте,— доказывая, что это пустяк, увлечение в пику мне, что, может быть, я и сам виноват больше, чем думаю, что забросил Анету, и пр.

Я смотрел на ее милое лицо; я понимал, что мы говорим о разном и вряд ли поймем друг друга; и думал, что, верно, и этим черным глазам придется пережить подобное. «Отчего ты не хочешь подойти ближе, согреть ее? Разве ты не видишь, как она страдает? Ведь я не узнала вас обоих! — Она вздохнула.— Ах, думала ли я, когда вы уезжали из Москвы, что так все будет?» — «Милая Машура, я сам тогда ничего не думал и мало что знал. Но ты ошибаешься, полагая, что виноват синдикалист». Я чуть не сказал ей, что я накануне полной ломки своей жизни, что Анета и семья — лишь часть этой перемены, и что мое изгнание из общества и жизни, которую я до сих пор вел,— не ограничено изгнанием из России, а пойдет дальше, что прах и суета достаточно уже владели мною. Но я все-таки этого не сказал. Может быть, оттого, что это было еще слишком хрупкой моей мыслью, я не мог бы точно ответить, что именно собираюсь сделать; но что нельзя жить по-прежнему,— было ясно.

Итак, разговор не пришел ни к чему. Все осталось постарому, так же неясно и запутано; но теперь и Машура оказалась втянутой в нашу историю. Возможно,— потому она и изменила намерение ехать с мужем в Россию, а решила жить с нами у океана.

Не должен ли я сказать, что из всех периодов моей жизни эти два месяца в Сулаке были самыми странными? Должно быть — так. Они были месяцами прощания, перелома. Когда жизненная полоса изжита, начинается другая — человеку и радостно, и горько. Он приподнят, в тумане и несколько экзальтирован. Кажется, что сейчас он сделает удивительный шаг, но и в прежнем есть вещи, с которыми тяжело расставаться.

Я помню нашу серую дачу, зеленые волны океана — такие широкие, покойные волны, отражавшие вечность,— и упругий ветер. Нигде нет такого ветра! Помню летние платья Анеты, Машуры, Машурины глаза, ставшие еще

темнее и печальнее, Лизочку на морском берегу, даже синдикалиста в белых штанах — все это сохранилось в моей памяти. Одинокие прогулки далеко за Сулак, по берегу, там можно было часами дремать на песке, слушая океан, глядя, как бегут безбрежные облака. Там я испытал то удаление от людей и жизни, как бы возвращение к первоистоку, которое, вероятно, знали пустынники и основатели монастырей. Здесь не чувствовал я, что я адвокат, член общества и человек, одетый соответственно моде; пользуясь словами святого Франциска, я мог бы сказать: мой брат — океан, милые мои сестры — облака, травы, водоросли. Здесь я так же был наг и душевно прост, как дети, рыбы, бабочки.

Иногда я читал вслух Евангелие. Как подходит эта книга к безлюдному океану, к солнцу, жегшему мне спину! Например, сказано, что когда Христос проходил близ моря Галилейского, то увидел двух братьев, они закидывали сети — быть может, как вон те рыбаки, что тянут канат. Он сказал: «Идите за Мною, Я сделаю вас ловцами человеков». Они оставили сети, жизнь, промысел, друзей и ближних и навсегда ушли с Ним. Как просто и как удивительно! Увидели, услышали — и *ушли*. А Иоанн и Иаков, с отцом их Зеведеем, *починяли* сети и тоже на Его зов ушли. Что это были за люди? Как они чувствовали? Этого я раньше никогда не понимал. Но теперь мне, малому человеку, которому неловко даже говорить о себе, мне казалось, что если бы я услышал такой голос, то — почем знать? — может, и я бы ушел, позабыв о патроне, Париже, Анете, Лизочке. Но ко мне никто не приходил, и я определенно не знал, во имя чего ухожу. Потому что не был ни социалистом, ни анархистом, ни христианином, и только жаждал быть чем-то.

Что же касается Анеты, то Машурины надежды не оправдались; видимо, привязанность ее к синдикалисту крепла. Я этому не удивлялся: человеку, а особенно женщине, жить не прилепившись трудно, и когда началось мое удаление из ее сердца, оно должно было отдаться другому. Встречая ее в своем доме, за столом, иногда на пляже, у кабинок, с Лизочкой, я смотрел на нее как на добрую знакомую, с которой некогда был очень близок. Только минутами просыпалось былое, она напоминала мне Москву, мою первую, все же яркую и искреннюю любовь, стариков, благословлявших наш брак, — тогда я старался уйти подальше, к холмам, откуда были видны дюны и далекие паруса рыбацких лодок.

Однажды — это было в конце июля — я ужинал, вечером в ресторане, один, довольно поздно. Потом ушел гулять; и у меня было такое чувство, будто я не скоро вернусь. Да и дома в этот день все имело какой-то странный вид: Анета была возбужденней, что-то хлопотала, перекладывала наспех вещи.

Как всегда, я шел берегом моря. Выдалась редкая ночь: так было тихо. Закат угас уже, звезды вышли своими легионами смело, и казалось, им как-то радостней сиять над таким тихим водным зеркалом. Я шел немало, до одного своего любимого места: огромного камня, так заросшего мохом, что на нем можно было лежать как в постели. Я так и сделал. Рядом со мной был мой океан, чуть шипевший по песку: может быть, лишь мое ухо и слышало, как лопались его пузырьки. Думал я о жизни, океане и Евангелии, которое читал сегодня утром. Мой взор остановился на медузе, принесенной к берегу, видной при свете звезд; иногда любовался свечением, фосфоресценцией. Незаметно я заснул. Сколько спал, не знаю, но проснулся внезапно — и сел: мне казалось, что кто-то есть рядом. Взглянув направо, увидел я светлую фигуру, задумчиво двигающуюся по берегу; что это было, я не мог понять. Призрак, галлюцинация? Потом так же медленно незнакомый стал удаляться — прямо по поверхности океана, с тем же задумчиво покойным видом. Помню, мне не было страшно, и я не задал себе даже вопроса, кто это? зачем? почему? Занимался рассвет, тонкий пар дымился над водой, и далеко, сквозь его легкую пелену, виднелся зеленый огонь пассажирского парохода. Я встал и отправился домой. Мне хотелось петь какой-то псалом, или божественный стих — читать вслух строки Евангелия.

У балкона меня встретила Машура. По ее виду я понял, что случилось нечто особенное. Я угадал. Запинаясь и волнуясь, сообщила она мне, что этой ночью уехала Анета с Лизочкой.

Конечно, так это и должно было быть. В короткой записке она писала, что не может больше выносить такой жизни, любит Берто и ко мне не вернется. Надеется, что Лизочка не станет предметом раздоров; жить она будет у нее, но, если захочу, я в любое время могу видеть дочь. Прилагался адрес: Париж и т. д.

Разумеется, мне не было весело. Особенно жаль стало Лизочку, т. е. жаль, что ее нет со мной, и не будет. Будет ли она помнить обо мне, или забудет через несколько

дней, и совсем офранцузится в руках г. Берто? Вернее — последнее. Слишком она еще веселая зверушка, живущая мгновеньем. А может быть, даже хорошо, что она именно такая. Несомненно, жить ей будет легче.

К вечеру, несмотря на старания Машуры, меня охватила тоска. Я старался бороться; внушать себе, что нельзя же малодушничать с первых шагов. Это не помогало — и в результате я решил уехать с этого океана: все здесь стало для меня чужим, ненужным. Я распрощался с Машурой, тронувшейся в Россию, и переселился в Париж.

Не стану описывать зимы, проведенной в Париже в одиночестве. Скажу только, что этот странный город дал мне гораздо больше крепости и душевных сил, чем я предполагал, и то время я прожил в ином самочувствии, чем раньше. До весны я работал еще у патрона, но уже знал, что это дело — конченое: меня занимало другое. Я снова читал Евангелие; и вместе с росшим чувством ко Христу я стал раздумывать о том, как направить свою жизнь туда, куда хотелось бы. Несомненно — живи я лет пятьсот назад, я бы ушел в монастырь. Но сейчас в монастырь не хотелось, и вообще я не знал, как быть.

Знаю одно: эту зиму я жил тверже, достойнее, хотя часто меня посещали сомнения. Они состояли в том, что все-таки я не настоящий христианин, и вообще у меня нет незыблемых верований, служению которым я посвятил бы жизнь. Я рассуждал: хорошо, сейчас тебе кажется, что жизнь в миру плоха и тяжела. Но ты можешь полюбить, встретить подругу, которая даст тебе больше, чем Анета. Устанешь к известному возрасту, будешь страдать от бедности, которая теперь предстоит. Да и мало ли что вообще может произойти? Что будет, если захочется вернуться, но уже тщетно?

Все эти размышления правильны, и все они — отголоски прежней жизни и прежнего человека во мне. В конце я решил так: пусть что будет, то будет. В мае я отказываюсь у патрона, еду в Прованс и Италию, а оттуда — в Россию. Пускай меня арестуют и сажают в тюрьму, я отбуду наказание и поступлю туда, куда склонится мое сердце — вернее всего — просто в незаметные одинокие люди, великое преимущество которых: свобода от *всех* и от *всего*.

Так оно и вышло. Перед отъездом я зашел к Анете. Меня встретила красивая дама французского вида — и в первый момент будто не узнала меня. Потом в лице у нее

что-то дрогнуло, но она быстро овладела собой, и мы разговаривали как добрые знакомые; она, глядя на меня и расспрашивая о планах, вид имела серьезный и соболезнующий: видимо, я казался слегка «тронутым». Я же улыбался. Мне казалось, что с этим синдикалистом Анета обрела, наконец, себя, и дальнейшая ее жизнь представлялась такой ясной, прочной и приятной. О, несомненно, и квартира, и порядок здесь бесконечно выше, чем у нас,— впереди всему этому предстоит еще расти. Анета будет верной женой, хозяйкой, синдикалисткой и доброй матерью; хотя возможно — синдикалистского ребенка сейчас у ней и не будет. Он появится года через три, когда позволят обстоятельства.

Теперь все мои дела, все, что привязывало к старой жизни, было кончено. Скоро пепелище мое зарастет новой травой, новые люди будут окружать мою дочь и изгладят воспоминание о каком-то отце, русском. Во всем своя сила, свой закон.

Когда через два дня я выезжал утром из Парижа, было солнечно, блистательная весна. За городом развернулись поля, тонувшие в свете, и в окно пахнуло ветром, ширью, я смотрел на болтавших в нашем отделении солдат и торговок, на этот веселый и крепкий простой народ, который теперь будет мне ближе,— чувство простора и радости наполнило меня. Точно мир раздвинулся и я вдохнул его истинный аромат. Стараясь сделать это незаметно, я открыл маленькое Евангелие на одном из любимых мест: «Ибо тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят его». Нашел ли я его? Этого я не мог сказать, но мне кажется, что, во всяком случае, я поступил правильно, предприняв свой исход — сколь бы он ни казался странным и нелепым Анете, патрону и другим. Что же дальше — увидим; что Бог пошлет.

Москва, 1910

ЕЛИСЕЙСКИЕ ПОЛЯ

Avant le temps tes tempes fleuriront,
De peu de jours ta fin sera bornée,
Avant le soir se clorra ta journée.
Trahis d'espoir tes pensers periront.
P. de Ronsand[1]

I

Мальчиком он был тихим, некрасивым и несообразительным. Матери лишился рано. С первых лет жизни привык быть один, и иногда это нравилось ему. Но развивало то, что называют мечтательностью.

Его отец был профессор, изучал Шекспира, и жил на Сивцевом Вражке, в двухэтажном особняке с садом. Отец был немолод, знаменит. Дом их посещали почтенные люди.

Он их не любил. Вообще любил он мало кого, но ему нравилась гувернантка Маргарита Кирилловна, высокая девушка, игравшая на рояле. От рук ее пахло духами. У ней были темные, прекрасные глаза.

— Маргарита Кирилловна,— говорил он ей иногда внизу, в то время, как наверху отец изучал Шекспира,— сыграйте рапсодию Листа.

Она играла улыбаясь, а он подходил, прислонялся к ее плечу и молча смотрел на длинные ее руки.

— Нравится? — спрашивала она.

---

[1] В твоих кудрях нежданный снег блеснет,
В немного зим твой горький путь замкнется,
От мук твоих надежда отвернется,
На жизнь твою безмерный ляжет гнет *(фр.)*.

Пьер де Ронсар. Из цикла «Любовь к Кассандре», XIX (Перевод В. Левика).

— Очень.

— Ну, идите готовить уроки. Вам вредно мечтать.

Она опять посмеивалась и прибавляла:

— Вы и так слишком поэтический мальчик.

Поэтический мальчик уходил, а если была весна, шел в небольшой сад, бродил по дорожкам, слушал шум города и глядел на звезды, о чем-то вздыхая. Ему очень нравилась Маргарита Кирилловна, но он не знал, любит ли ее, или это просто так.

А она по-прежнему учила его немецкому языку, глаза ее по-прежнему блестели.

Когда ему исполнилось двенадцать лет, и он многое уже понимал, раз, проснувшись на весенней заре и вскочив в тоске,— ему захотелось пройтись по саду и помечтать,— он встретил Маргариту Кирилловну: она выходила в капоте из спальни отца.

Он и раньше замечал между ними нечто, но теперь понял, что любит ее. Он узнал об этом довольно поздно и так и не успел ничего сказать Маргарите Кирилловне. Впрочем, она скоро уехала из их дома. Он не знал, что с ней сталось; но ее тонкие руки, рапсодию Листа и запах духов запомнил он навсегда.

II

С шестнадцати лет он начал писать стихи. Отец же хотел, чтобы он стал профессором, если можно, таким же знаменитым, но изучал бы уж не Шекспира, а, скажем, Лопе де Вегу.

И он сделался филологом, не проявив талантов отца: в университете удивлялись, что сын такого замечательного человека — ниже среднего студента. И так как он был нелюдим и скрытен, мало кто его любил.

Отцу осталось установить лишь мелочи о предшественниках Шекспира, когда внезапно он умер,— как Флобер,— переходя от дивана к письменному столу.

Сына мало поразила эта смерть. Он остался один, с кое-какими средствами.

Он решил, что отдаст себя литературе. Первое, что он сделал,— переехал из дома на Сивцевом Вражке в комнатку у Собачьей площадки.

Здесь он прожил три года, нося студенческую тужурку, и в минуты тоски упражняясь в стихах и прозе. Но ни стихов его, ни прозы никто не печатал.

К концу третьего года одинокой жизни он влюбился в певицу. Он встречался с ней на журфиксах у знакомых еще по отцу, молчал, краснел, бледнел и замирал от ее жгучих глаз. Он ходил в оперу, и ходил бесцельно по улицам Москвы, надеясь встретить ее. Сидел в кафе — и тоже надеялся встретить.

На Страстной она уехала в Крым, он отправился за ней, через два дня. Он знал, что она едет с миллионером, влюбленным в нее, на Бахчисарай и Ялту. Он тоже поехал на Бахчисарай, и видел там золотых пчел среди цветущих персиков и белых памятников татарского кладбища. Но ее уже не застал. Он нанял лошадей в Ялту, и с высот Ай-Петри, в снежной метели смотрел, как голубеет тихое море и, освещенная солнцем, лежит внизу Ялта. От холода он выпил водки, и, когда спускался в экипаже вниз, сердце его было размягчено, ему казалось, что сияющая внизу Ялта — это видение счастья, тишины.

Он пробыл в Ялте несколько дней и всего раз видел певицу. Он принес ей в отель букет цветов и думал, что теперь-то и начнется настоящее, но ошибся: на другой день миллионер увез ее в Одессу, а оттуда в Константинополь, где они надеялись встретить Светлое Воскресение.

Он не мог ехать за ней в Константинополь, и смотрел лишь утром, как по сиреневому морю чертил струю пароход, уходя к Одессе.

После Константинополя певица вышла замуж и перешла в другое общество, куда доступа он не имел, да и попасть не стремился. Прошло время, и она ушла так же, как детство, мать, Маргарита Кирилловна.

III

Он же, ясное дело, стал писателем. С Собачьей площадки он переехал на Тверскую, в меблированные комнаты.

Писал он сначала в общепринятом духе, и его три рассказа были напечатаны в почтенном журнале. Потом перешел к новой школе, и тогда почтенные люди перестали его печатать, ибо он стал писать лучше. А молодые, непочтенные, тоже печатали неохотно, так как не был он талантлив: его считали посредственностью.

Сам он знал это, но надеялся, что, быть может, выпишется. А отчасти было обидно: у него есть фантазия, печаль, способность чувствовать — и большое желание рабо-

тать. Он становился еще одиноче, сумрачней и замкнутей.

Жил он один, утром писал, читал, ходил по бульварам и боялся вечеров. Стал он известен в нескольких кафе, ресторанах. Но продолжал быть непредставительным и незаметным, и среди лакеев не пользовался популярностью.

В кафе его не знали как поэта. Книжек его вообще никто не читал — ни стихов, ни рассказов. Редко упоминали в газетах его имя. Он переехал с Тверской на Кисловку, с Кисловки на Арбат, потом опять на Тверскую, годы шли, и по-прежнему он ютился в нижнем этаже маленьких газет, и по-прежнему говорили о нем, что новой дорожки в искусстве он не проложит: идет за более сильными.

Годы шли все скорей, и он не заметил, как стукнуло ему сорок. Этот год был замечателен для него тем, что вдруг ему улыбнулась удача: появилось сразу несколько статей о его книжке, и на одном вечере, где он читал, девушки поднесли ему цветы. Он поблагодарил и чуть не заплакал. Он был еще более поражен, когда с этого вечера с ним завязала знакомство молоденькая курсистка, лет восемнадцати, с быстрыми глазами и чудесным румянцем.

От всего этого на него пахнуло чем-то далеким, забытым. Он вспомнил Маргариту Кирилловну, певицу. В сердце его появились нежность и умиление. Они ходили с ней вместе на выставки, ездили в Петровский парк. Он любил навещать ее в маленькой, девичьей комнатке на Молчановке; это напоминало ему молодость, и охотно прощал он ей открытки с Беклином. Весной он дошел до такой сантиментальности, что ездил с ней на Воробьевы горы в лодке, и в Царицыно. В Царицыне они однажды встретили восход солнца, и он поцеловал ее. Она как-то смутилась, но не протестовала. Он же, хотя и думал, что не безразличен ей, все же стеснялся своих лет и того, что некрасив и незнаменит.

На лето она уезжала к тетке, в Тамбовскую губернию, и из ее слов при отъезде он понял, что осенью они встретятся как жених и невеста.

Он остался ждать ее и решил никуда из Москвы не уезжать. Он жил в это время в седьмом этаже дома в Благовещенском переулке, откуда видна была вся Москва и окрестности. Он мечтал, сидя на балконе по вечерам и глядя на ласточек, на далекую церковь села Коломенского и на дымок курьерского поезда,— он мечтал, как повезет ее за границу, и как жизнь его примет новый, благородный и прекрасный оттенок. Он писал ей письма, целовал

их, и нередко смотрел в бинокль в ту сторону, где была Тамбовская губерния.

Но из Тамбовской губернии вести шли скупее и скупее, и в июле совсем прекратились. Он телеграфировал, целыми часами сидел на балконе, и мокрыми от слез глазами смотрел в бинокль.

Так он жил, мечтал, волновался до августа, когда она вернулась — невестой студента-технолога, с которым познакомилась у тетушки.

IV

Он поседел, постарел и осунулся. Мало желаний волновало его. Он прочел уже лучшие книги, видел лучшие страны, статуи, и окончательно узнал, что слава не придет к нему. Это его не удивляло. На десяток подававших надежды выдвигался один. И уже некоторые из знакомых и товарищей по литературе, по молодости, уходили — туда, в царство теней, или света, о котором до сих пор он не успел составить себе представления.

С каждым годом чувствовал он сильнее быстролетность жизни, каждый год отъединял его от былого, и все реже, реже завязывал он новые знакомства. Избегал вспоминать об отце, детстве, Маргарите Кирилловне. В оперу не ходил и не выступал более на литературных чтениях. Лишь привычка к кафе осталась прежняя. Он ходил туда в черном сюртуке, крылатке и широкополой шляпе.

Как отец, как Флобер, он умер от разрыва сердца, встав к столу, чтобы поправить корректуру.

Его хоронило литературное общество. Старый товарищ принес ему и положил в гробу на лоб маленький лавровый венок, но у покойного был такой вид, что теперь это несколько поздно.

Вероятно, царство теней, к которому всю жизнь летел он, было теперь для него раскрыто. И он оставлял нас — всех, кто, быть может, знал его и любил,— лететь, как и он, сквозь тусклые дни, к этой туманной и зыбкой стране.

1914

ГРЕХ

I

Мне исполнилось девятнадцать, когда я попал официантом в кафе «Ориенталь». Я был здоров, горяч, службу свою ненавидел; да и трудно мне было любить ее: все-таки я учился кое-чему в детстве, пока жив был отец и мы не бедствовали,— и мог бы заняться чем получше, да уж так вышло, что с тринадцати лет должен был зарабатывать, проходить через огонь и воду.

Заведение наше было не совсем обыкновенное, американского рода. На хорах — небольшой оркестр. У прилавка, где по вечерам крепкие напитки продают, стулья высокие, и называлось это по-иностранному бар, а проще говоря, на этих стульях молодые люди по ночам через соломинки тянули пьяные составы: шерри-коблер, дринк-локомотив и другие.

С двенадцати ночи — а торговали до четырех — все уж пьяны. Девиц обнимают, ругаются. Два раза в неделю скандалы обязательно, протоколы, выводим.

Ну и публика ж у нас была! И карманники, и коты, супники, и еще особенные — надушены, подкрашены, как женщины.

Мне, конечно, очень было противно служить среди этой сволочи,— но что поделать, надо чем-нибудь существовать. А разбогатеть трудно. Правда, один случай представлялся, в нашем же вертепе, но какой!

Ходил к нам пожилой господин — кажется, известный в Москве человек — и стал ко мне все присматриваться. Я замечаю — он странно как-то на меня глядит, но хорошенько в толк взять не могу. На чай дает сверх меры,

даже товарищам неловко показывать. И вот однажды спрашивает меня: не хочу ли к нему в камердинеры поступить. (Господин очень приличный, я даже удивлялся, зачем он к нам ходит.)

Жалованье, говорит, сто рублей в месяц. Я опять не понял, а рассказал официантам нашим — меня на смех подняли. Врешь, мол, где это видано, чтобы лакею сто целковых платили? А один был, Осип Андреевич, старый, опытный человек, он меня отвел в сторонку и, пенсне свое сняв, говорит: «Он, Николай, тебя для особенных надобностей нанимает. Человек он богатый, развращенный, можешь и больше заработать, только подумай, прежде чем к нему поступать». У меня глаза и раскрылись. Так я обозлился, что совсем перестал этому господину заказы подавать; он скоро от нас и вовсе куда-то пропал.

Я же около этого времени познакомился ближе с кассиршей нашей, Ольгой Ивановной. И сказать короче — сошелся с ней.

Эта Ольга Ивановна была девушка маленькая, востренькая и ловкая. Могла и веселой быть, и нежной, и злой. Всего верней — холодный она была человек, и очень ей хотелось — больше, чем мне,— в люди выбиться. Почему со мной именно сошлась? Этого точно не знаю. Может, чем-то я ей особенно нравился,— очень она была сластолюбива. Трудно мне говорить о нашей любви, потому настоящей любви между нами и не было.

Когда одни оставались и разговор заходил, всегда почти на деньги съезжали: как кто зарабатывает да сколько. Любила она в газетах читать отдел преступлений всяких, мошенничеств. Меня тоже это стало занимать. Помню, я раз ей сказал, что мне богатый барин службу у себя предлагал, и какую службу. Она на меня поглядела, ротик свой маленький сердечком сложила и говорит:

— Зачем же ты отказался?

Я обозлился:

— Да ты понимаешь, в чем дело-то?

Она опять гримаску делает: что, мол, дураку долго рассказывать.

— Если бы ты умный был, так не сто, а сколько б захотел, взял. Не стал бы платить, ты бы пригрозил.

Вот она что надумала! Холодная была женщина. Чтоб я вымогательством занялся! Так? Нет, это для нас неподходяще.

— Умные люди,— бывало, она говорит,— себе хоро-

шую жизнь стараются устроить. А мы с тобой здесь только молодость нашу губим.

Оно отчасти верно.

Пробовали мы на бегах играть, жучок один знакомый был, в кофейню ходил: не повезло.

Поутру, когда мало еще посетителей, раскроет Ольга Ивановна газету, даже побледнеет от волнения:

— В Лодзи кассир пятьдесят тысяч хапнул и за границу скрылся!

А я отвечаю, и самого это волнует:

— Поймают небось.

Она на меня посмотрит, губки свои скривит, отложит газету:

— Его, может быть, и не поймают.

Пожалуй, и от газет, да и случай представился, только раз она мне говорит:

— Мне надоело тут сдачу считать. Меня тетушка Анфиса Семеновна на другое место определяет, я там лучше здешнего заработаю.

Я удивился, что́ вдруг за место, да и об Анфисе Семеновне мнение имел дурное — вредная была старуха, вроде сводни, и, по словам Ольги Ивановны самой же, она ее еще с детских лет продавать пыталась. (Да и пыталась ли только?)

Ольга Ивановна все же от нас ушла, и я один остался в вертепе. Сначала мы видались кое-где, по дешевеньким номерам, а потом, когда она обжилась, я стал к ней ходить под видом бедного родственника. Да очень и притворяться нам не приходилось,— никто за нами не следил.

Ольга Ивановна была вроде лектрисы или сиделки при больном старике, известнейшем и богатейшем адвокате. Дом его около Кудрина был, на Садовой, особняк с садом. У Ольги Ивановны отдельная комнатка. Кроме нее жил старый лакей, кухарка да две горничных. Ольга Ивановна сильно переменилась, как сюда попала. По-другому стала одеваться, причесываться, совсем обратилась в скромную барышню. И держала себя иначе. Посмотришь на нее: невинность,— подумаешь, и трудно себе представить, как она сластолюбива была.

Попривыкнув к дому, мы осмелели так, что я ночевать у ней оставался, и хоть бо́льшую часть ночи она сидела со стариком (фамилия его была Фаддеев, он не спал по ночам), но забегала и ко мне, и если б Фаддеев знал об этом, вряд ли был бы рад.

Надо сказать, многим дурным обязан я Ольге Ивановне: все, что во мне было скверного, она распаляла без устали. И до того иногда доводила — до ярости какой-то, а ей это как раз и нравилось. Целуешь ее — укусить хочется или руками так в горло вцепиться, чтобы в судорогах забилась. Даже сам я в себе этого боялся.

Робким я никогда не был, а тут стал развязней, дерзче, голову как-то поднял, и все ее слова, что деньги там самое первое и все на них можно купить,— это я быстро перенял, и служба меня день ото дня больше досадовала. Мне на бегах играть хотелось, ходить в штатском, в котелке, с женщинами иметь дело и самому по кофейням сидеть, а не то чтобы в ним прислуживать.

Скоро так почти что и вышло: в нашем заведении со мной случилась история.

Как и раньше говорил, стал я последнее время дерзче. Так-то говоря, наша жизнь официантская не из легких. Не то что у нас, а и в первом в Москве ресторане случаи бывали, что метрдотель человеку в посудной в физиономию заезжал. У нас тоже обращение было грубое, на «ты», и прежде я это сносил, а теперь сделалось труднее. А тут к нам распорядитель новый, за пустяк всякий штрафует, орет, сил никаких нету. Терпели мы терпели и решили с Сенькой Аносовым — тоже малый был молодой и горячий — пакость ему подложить.

И как он шел, в коридоре незаметным образом ему фалды фрака кислотой облили. Оно сначала не видно, а потом целые куски вывалились — фрак пропал.

Обозлился он как зверь, и донесли ль ему или сам догадался, только сразу же на меня подумал.

Вызывает меня к себе, сам сдержаться старается, а глаза блестят и грудь сильно подымается.

— Ты,— говорит,— это?

— Нет,— отвечаю,— не я. А жаль, что не я.

Сам поднял на него глаза и вижу, не держит он себя: только я назад попятился — он со всего маху мне по физиономии. Не так попал, как целил, а все ж задел сильно, хорошо еще, что не кулаком бил, а ладонью, чтобы поскандальней вышло. Так. Помню я, что за ним сзади вход был, в мужскую уборную. И как наперед я знал, та́к и сделал: кулаком ему в живот, потом обернул, коленом под зад и прямо головой в эту самую дверцу. Она, конечно, отворилась, а я уж ничего не помню, не в себе, значит, вот сейчас сердце разорвется — верхом на него вскочил, по-

валил и бил жестоко, но недолго, пока во мне это самое бешенство все не вышло.

По счастью, ничего у меня в руке не было, а то б я, понятно, его убил — такой уж у меня нрав, к гневу и вспыльчивости склонный.

Случись тут, что как раз господин Фаддеев уволил своего человека, Петра. А жил он у него долго, только Ольге Ивановне неподходящий был, она против него штуку и подвела, будто он портсигар баринов золотой стащил.

Я места лишился, конечно, и она меня вместо него подсунула. Я тогда не очень понимал, для чего она старается,— думал, просто ко мне из сочувствия, что я ее полюбовник. А у ней были свои планы.

В доме господина Фаддеева, как меня Ольга Ивановна научила, стал я сразу скромен и приличен (она старика уверила, что я ее двоюродный брат). Лев же Кириллович Фаддеев был человек крупный, седой, рот у него неправильный, длинный, и лицо будто перекошенное, но глаза очень умные.

Его паралич порядочно хватил, а теперь немного полегчало, и он говорить уж мог, но с постели не вставал и внимательно в меня все всматривался. Видно, большой был раньше барин и бабник, это я заметил, как он на Ольгу Ивановну поглядывал, да, наверно, и паралич у него на этом самом деле произошел.

Меня он быстро невзлюбил. За что, не знаю. Грубого мне ничего не говорил, а только я понял, что он меня презирает, как хама.

Помню, он раз при мне Ольгу Ивановну спросил:

— А что, ваш кузен по-французски понимает? — и закрыл глаза.

Ольга Ивановна, понятно, ответила, что нет. Ишь какого себе лакея захотел — с французским языком!

Другой раз я ему газету подавал и про нормальный отдых приказчиков заикнулся,— я об этом в газете же и прочел.

Он прищурился и вяло так, кисло говорит:

— А вы знаете, что значит слово *нормальный*?

Я отвечаю, что такой, мол, какой надо. Он поковырял в зубу зубочисткой, рыгнул, но не так, как у нас рыгают, у смердов, а видно, что это барский плохой желудок, и говорит:

— Необразованные люди часто употребляют слова, которых не понимают.

И с этой зубочисткой в руке, будто и говорить ему лень, в десяти словах все объяснил, точно на суде речь держит. Тут и я к нему ненависть возымел. Только он кончил, я перед ним довольно дерзко вытянулся.

— Слушаю-с, барин, постараюсь запомнить.

Так что мне потом даже Ольга Ивановна внушение сделала. «Все испортишь,— сказала.— А можем хорошее дело сделать»,— и улыбнулась, губки свои, по обыкновению, скривила. Как она сказала: «Дело сделаем»,— по мне вроде озноба прошло, и сам не знаю, какое дело, а только волосы похолодели, будто меня ожидает очень занятное и опасное. Надо сказать, загадочный человек была Ольга Ивановна. Вот уж правда, коли есть на свете бесы, то около нее уж наверно гнездились.

Сам я в то время очень отошел от ранних своих лет, когда мы с мамашей в церковь ходили и всенощную слушали. Очень я огрубел, обнаглел. С одобрения Ольги Ивановны стал я кой-чем промышлять: опять на бегах принялся играть, с наездником одним познакомился. Служба моя при Льве Кириллыче пустяковая была, и, можно сказать, мы с Ольгой Ивановной всем домом правили: эти отлучки мне легко сходили.

Иногда я и в клубе в карты играл — везло. Раза два, когда трудно приходилось, я такие штуки делал: говорю знакомому — ставлю пятерку в долю. А сам к дверям, пятерку же не кладу. Выигрываем — беру десять, будто правда мои деньги стояли, а нет — меня и в комнате уж нет. До свидания!

Таким манером наиграл я за год рублей шестьсот и половину, по совету Ольги Ивановны, держал на сберегательной книжке. На другую часть — рискнул, на бирже сыграл. Опять удача — двести заработал. Тут я себе новый костюм сшил, завел котелок, перчатки и на улице выглядел настоящим молодым человеком.

Ольга Ивановна тоже не промах была, и когда мы с ней ходили к Коршу или в фарс, то нас никак нельзя было принять за лакея и экономку.

Но с некоторого времени стал я замечать в ней странности. Хотя мы жили бок о бок и скрываться друг от друга было трудно, однако она что-то скрывала. Куда-то ходила, какие-то дела завела, я это понимал, но не мог в толк взять, что именно.

И со Львом Кириллычем стала она разные умности заводить, а маленьким ротиком (я тогда очень догадался,

что она на зверька хищного похожа была,— скажем, на ласку) так и сыплет о пролетариате, классовой борьбе, революции; и откуда она всего этого нахваталась? Я слова-то эти в первый раз слышал, а она так и чешет. Даже Лев Кириллыч изумлялся, но и ему лестно было, что вот у него для разных услуг женщина, а с ней о серьезном можно поговорить.

Лежит, бывало, рыгает, зубочисткой во рту разрабатывает и тянет, тянет: это, мол, все бредни, если так жизнь устроить, казармы получатся, никто работать не захочет, потому что богатым нельзя будет сделаться. А я слушаю его и думаю: хорошо болтать, всю жизнь шампанское да устрицы пролопавши, а может, в нашей шкуре запел бы другое. Но думал я так единственно по ненависти к его важному виду, а не потому, чтобы я сам этими делами был занят. Сам-то я как раз таким Львом Кириллычем и хотел бы стать.

А Ольга Ивановна и меня удивляла. Зачем ей все это нужно? Неужто ж она собиралась обездоленным и трудящимся помогать? Уж очень это ее физиономии, так сказать, не подходило. Поверить в это очень было трудно: я пробовал с ней заговаривать — бесплодно. «Оставь,— отвечает,— это мои дела. Я тебе не мешаю, как ты на бегах да по притонам в карты играешь,— ты меня не трогай». Больше ничего не добился, а только понял, что знакомства у ней новые завелись и она дела обделывает, надеясь от них иметь выгоду.

С тем я и отошел, но на душе у меня было непокойно. Сам я жил не ахти как и с девчонками путался,— одна даже меня полюбила и супником быть предлагала, да я не пошел, гордость, верно, мужская мешала. Значит, и сам-то я был финтифлю с малиной, а все ж насчет Ольги Ивановны тяжелые у меня были опасения, и я ждал чего-то мерзкого.

Например, помню, раз в Ружейном переулке встретил я ее с человеком,— она меня не видала, а я личность эту очень заметил, потому его еще по кофейной знал: с усами завитыми, в охранном отделении служил. Что такое, думаю, откуда у ней знакомство такое? А она меня же на смех подняла: «Эх ты, умная голова, думаешь, ты один его по кофейной знаешь? А другим нельзя с ним знакомым быть? Он для моих дел нужен».

Только это не все. Раз еще случилось в клубе,— да какой это клуб? так, притон для всякой шушеры,— слу-

чилось в третьем часу ночи: встречаю я этого человека, он сильно выпивши, ко мне спиной за столиком сидел,— другому, тоже, видно, из этой компании, и говорит: «А малявка-то наша разработалась! Ловкая бабенка».— «Это что в кассиршах служила?» — «Да, сперва стеснялась, путала, а теперь обошлась совсем».

Тут вдруг на меня нашла тоска. Больше я от них ничего не слышал, а так сумно у меня на сердце сделалось, что просто хоть бросай все да домой убирайся. Вышел я из клуба, иду пешком, тихо было, звезды, на бульварах уже никого. Помню, мне хотелось тогда далеко уйти за город и забыть все.

Понятно, Ольга Ивановна мне ни в чем не открылась; все ж встревожилась. И с этого самого времени,— случайно это или нет, не знаю,— она стала меняться, и даже очень. Со Львом Кириллычем сделалась резче и со мной, и чаще у ней голова болит, похудела,— вижу, беспокоится, что-то скрывает. Только иногда скажет: «Ты бессердечный человек, Николай, тебе только бы за женщинами бегать, а кто с тобой рядом, это тебе все равно». И почему-то особенно женщинами стала укорять. Я и так и сяк: «Отчего мне ничего не скажешь?» — она одно твердит: «Не твое дело»,— да разные неприятности у ней, сплетни про нее распускают, а больше ничего. Но, между прочим, я заметил, что службой у Льва Кириллыча она стала пренебрегать, и денег у ней появилось больше, и даже, как и я, она завела себе отдельную книжку. На ней тоже несколько сот лежало. Так что, как я понимал уже довольно давно, эти дела ей небезвыгодны были.

Подошло лето, и, понятно, никуда мы из Москвы выехать не могли, а сидели на своей Садовой у Кудрина да смотрели, как деревья распускаются. Правда, при нашем особняке был отличный сад, и выходил почти что к Вдовьему дому. Льва Кириллыча вывозили в кресле; я его катал по дорожкам, а он на все смотрел брезгливо: и на солнышко, и на зелень свежую; и как пролетки в Москве гремели, ему не нравилось, как будто даже обижало. Только раз, помню, молчал он, молчал (со мной вообще редко разговаривал, не снисходил), да вдруг и говорит:

— Вы меня возите по этой дурацкой Москве, а порядочные люди теперь за границей, на море... Впрочем, вам все равно за границей не бывать, как и мне, нечего, значит, и разговаривать.

Конечно, я никогда раньше о загранице не думал, и к

моему лакейскому положению это весьма мало подходило, но в последнее время Ольга Ивановна стала делать мне намеки, и опять я не понимал, к чему это. Такие намеки, что, может, нам придется из Москвы уехать, и очень далеко, и будто бы это гораздо лучше, чем здесь оставаться. Меня это сбивало, а впрочем, я вдруг на все махнул рукой, и так мне казалось: ладно, что-то с ней делается, а что, мне все равно.

И я по-прежнему на бега ездил в новом костюмчике, в соломенной шляпе. Два раза в Царицыне был, пил пиво в летнем саду и интрижку завел с тамошней девицей. И конечно, чему быть, того не миновать, и, как я ни хорохорился, не миновали мы с Ольгой Ивановной, что нам назначено было.

Помню, поехал я на бега и на извозчике развернул газетный листок,— попалось мне имя Ласточка. Хоть я лошадей уже знал, решил почему-то на Ласточку эту ставить,— лошадка темная, зато много могут выдать. Только ввалился, две минуты осталось до заезда, беру билет в ординаре. Даже дураку ясно, первым должен быть Князь Игорь. На прямой шина лопается, сбой. Стала Ласточка с Мамзелью резаться и на полголовы у беседки ее обошла. Я взял триста.

Обедал, понятно, у «Яра», потом в «Аквариум», вернулся домой в третьем часу — светать начинало. Так. «Понятно, выпивши,— думаю,— Ольга Ивановна сейчас меня точить начнет». Вхожу я в нашу комнату, она на постели сидит, вся синяя, виски себе руками жмет.

— Что ты? — спрашиваю.— Больна?

Молчит.

— Да что с тобой, случилось, что ли?

Опять молчит, только письмецо мне подает.

«Что за дьявол такой?» — думаю. И что ж в этом письмеце написано? Что вот ей, Ольге Ивановне такой-то, объявляется партией смертный приговор. Я на дыбы:

— Какой партией? За какие провинности?

— Я,— отвечает,— тебе этого раньше сказать не могла,— и легла ничком на постель, уши руками прикрыла, точно я ее бить собирался.

Потом стала плакать и меня упрекать, что я ее не люблю, по женщинам бегаю, одну оставляю, а ее все обижают. «Нет,— думаю,— погоди». Сел я к ней на постель, ноги дрожат. «Погоди,— думаю,— все узнаю».

— За что ж убить тебя грозятся?

— За то, за то...— вдруг она вскочила, и глаза у ней засверкали, как у дикого хоря,— вышло бы, богатыми б были, за то, что я их кругом пальца вот как обертывала, а они думали, я ихняя!

И опять она распалилась, что дело у ней сорвалось, и со злобой, с сатанинской яростью все мне выложила: что правда втерлась она в партию к политическим, и в охранное отделение поступила, и все в гору шла, народу порядочно повыдала, к осени повышение должна была получить, а теперь все пропало, потому что узнали. И опять она в отчаянье впала, что вот ее не сегодня завтра убьют. Ох и ночь же эта была!

Хоть никогда я Ольгу Ивановну душевной любовью, с уважением, с жалением не любил, но, когда она мне это рассказала, прямо скажу: бездна у меня под ногами разверзлась.

Чтобы с Иудой-предателем в одной постели спать, этого я никогда не ждал. Но тут-то и началось. Она это сейчас же поняла, а как была женщина цепкая, то меня выпускать ей совсем не подходило. Сначала она мне в ноги, чтобы ее убить будто, и потом ползала, как гад, руки целовала, а потом еще лучше устроила — женскую свою силу против меня пустила,— и как была разгорячена да и я взбудоражен, то ей это очень даже удалось. И в этом самом деле топили мы оба себя, как в вине, она — позор свой и страх, я — смятение и гордость, остатки, что во мне было еще человеческого. Понимал я, тут моя гибель настоящая начинается. И точно провалился куда — заснул.

А проснулся другим человеком. Ольга Ивановна опять вкруг меня хлопотала: деловитая была женщина, и на личике ее миловидном опять заботы были, так и кипело и варилось в ней опять: что вот, мол, надо как-нибудь вывертываться. А я, напротив, совсем воли лишился. Точно рыба на берегу: треплю хвостом, а дышать нечем, и все равно с места не сдвинешься.

В этот день я совсем Льва Кирилловича не видел и не показывался к нему, а уехал из дому — опять был на бегах, напился, и весь свет, вся Москва мне теперь другими казались. Как море по колено. Ведь, так сказать, я все ж таки предателем еще не был, а мне мерещилось, что я теперь что угодно могу сделать, не только что котом стать, а на всякое преступленье пойду, потому в чужой я власти, в греховной, и мне все равно пропадать, так сейчас ли, или еще когда — все равно.

Вечером, когда вернулся, встречает меня Ольга Ивановна, глаза у ней сухие, горят, и вся она не своя, будто в другом месте присутствует, а здесь одна ее видимость. Я очень хорошо понял: бегал хорь цельный день, придумывал, и теперь вот он, готов.

Так оно и вышло. Верно, придумала, да еще что!

Увела меня в комнатенку, дверь на крюк и говорит:

— Здесь оставаться нам нельзя, бежать надо, за границу. Денег мало. Это не беда.

Все она рассудила. Вынула револьвер, на меня навела.

— Если,— говорит,— проболтаешься или помочь не захочешь — мне терять нечего, живым не выпущу.

Я слушаю, молчу. Не испугался нисколько, знаю все равно: как она скажет, так и сделаю.

А надумала малявка так: у Льва Кириллыча в столе, на ключ запертом, процентных бумаг и деньгами хранилось тысяч на двадцать.

Ключ этот он под подушкой хранил и спал довольно чутко. А последние дни стал, чтобы от бессонницы избавиться, понемногу морфию принимать. Как он в двенадцать задремал, должен я к нему прокрасться и морфию в рюмку всыпать, чтоб уж не проснулся. Потому это я именно сделаю, что у мужчин нервы крепче, видите ли. А она — вдруг испугается и все испортит!

Я не помню слов, какими она мне это говорила. Может, потому, что таких слов и нельзя запомнить. И даже я предполагаю: не была ли Ольга Ивановна, когда револьвером грозила и план свой рассказывала,— не была ль она просто сумасшедшей в это время? Бред свой (бредила, может, от ужаса) и мне навязала. А что навязала — это верно. Может, расскажи она мне это неделю назад, я б ее тут же, как суку паршивую, прихлопнул. А то ведь нет — сидел, слушал, ни слова не сказал. И день следующий точно во сне прожил и ждал вечера, как особенного часа жизни, потому знал, тут решается моя судьба. Ольга Ивановна тоже была особенная, точно вся в одном, и ходила осторожно, чтобы, скажем, не расплескать, что в ней было.

Вечер наступил, звезды над садом нашим зажглись, а я как полоумный в саду на скамеечке сидел и часу ждал. Помню, когда о двадцати тысячах думал, которые у Льва Кириллыча в столе лежат, то по всему телу проходило мучительное, сладкое чувство. Что говорить: я эти двадцать тысяч очень хотел получить, и одной Ольгой

Ивановной всего не объяснишь. Мне за границу хотелось, в рулетку играть, миллион выиграть, а что больным одним стариком меньше будет, да еще таким, как Лев Кириллыч,— право, мало это меня касалось.

И когда я так в саду сидел и ждал, мне показалось, что теперь уж никакая сила меня не может удержать: раз случился во мне этот перелом — конец. Шел я как в пропасть в эту комнату Льва Кириллыча. Дело прошлое, могу сознаться, наслаждение великое было — чувствовать, что вот сейчас, сейчас... и уж не вернешь. Убийца, вор! Голова кружится.

Ольга Ивановна сидела у себя в комнате, будто и ничего произойти не должно было. Опять я не могу сказать, в здравом уме была или нет. А я через балкон прошел, дверь балконную притворил на шпингалет и на цыпочках мимо отворенной двери ко Льву Кириллычу прокрался. Лев Кириллыч лежал на спине, спал. Я из гостиной — в коридор. Войти должен был из коридора, чтоб если он глаза случайно раскроет, то меня не увидел бы. Так все и сделал. Лежит. Тишина в доме мертвая, по Москве пролетки где-то гремят, где-то очень далеко.

Подошел я к самой коробочке с морфием,— кости и голова на ярлыке, при свете ночника увидел,— вздохнул, руку протянул и вдруг... почувствовал, что как раньше ничем меня нельзя было остановить, образумить, так сейчас нельзя заставить этот порошок в руку взять. Постоял, повернулся и тихо, деловито, как Ольга Ивановна со мной говорила, прошел в ее комнату. Она встала — спрашивала, значит, сделано ль. Я ничего не сказал, пальто надел, потом спокойно, точно мной тоже другой кто управлял, изо всей силы ударил по лицу Ольгу Ивановну. Я был тогда силен. Она упала, а я вышел.

II

Пошел я по Садовой медленно к Тверской. Рассвет занимался. Я шагаю, и так устал, что насилу ноги двигаю. Но покой на меня нашел удивительный. Так бы и ушел сколь можно дальше,— в поле бы выбраться, лечь на спину и просто так полежать.

Тут на меня ужас напал. Хорошо в поле лежать, у кого ничего нет на совести, кто сердцем чист. Ну а кто преступником, убивцем стал — тому как? Чуть я не побежал бегом. Мне померещилось то есть, что Льва Кирил-

лыча я отравил и с Ольгой Ивановной в предательскую шайку вошел и Иудины сребреники получаю. На одно мгновение представил — похолодели виски.

И так я, значит, по Садовой чуть не бегу и про себя твержу: «Нет, нет, неправда это все, неправда».

И тем же утром, в шесть часов, как только буфет открылся, сидел я на Брестском вокзале и чай пил, про себя размышлял, как мне быть. Теперь уже поспокойней был и понимал, что ничего еще не случилось, и мог несколько умом пораскинуть. Значит, очень меня эта история с Ольгой Ивановной и Львом Кириллычем задела, и, хоть жил я неправильно и развратно, все же это весьма меня встряхнуло.

Жизнь моя мерзостью показалась удивительной. Неужели ж я правда такой уж кот, супник и мошенник беспросветный? Неужели ж не могу честно устроиться, на тихой девушке жениться, жить в своем углу покойно, прилично? Ну ведь годен же я на что-нибудь, кроме бегов да клуба? Тут гордыня моя всегдашняя заговорила. Нет, это еще мы посмотрим!

И вот сидя, с самим собой разговоры ведя, дошел я до очень простой вещи: Ольгу Ивановну я брошу и всю свою жизнь прежнюю, а постараюсь по-новому устроиться, если можно, даже из Москвы совсем уехать, чтобы меньше соблазну, да может, где в других местах и лучше будет.

День разыгрался веселый, солнечный, и, когда я с Брестского вокзала шел по Тверской, представлялось мне, что я теперь другой человек, весь вымытый, полегчавший, силы у меня сколько хотите, а вот люди, солнце, тепло — это все отлично. Ольги же Ивановны замыслы меня не касаются.

И так я себя разжег, мне и впрямь представилось, что я порядочный человек и образованный даже. Вспомнил Андрея Иваныча, метранпажа, который меня в детстве грамоте учил, и как Никитина когда-то читал. Опять стыд меня обуял: ведь за все время, что я в праздности и сытости с Ольгой Ивановной прожил, я ни одной книжки не прочел, даже в газетах читал только про бега да несчастные случаи, судебные дела.

Чтобы все сразу изменить и вправду другим сделаться, отправился я в народную читальню и спросил там «Русские ведомости»; стал читать, как люди за границей живут. Просидел таким манером довольно долго, потом очень

устал (ночь-то бессонную провел) и отправился в ресторанчик закусить.

А в этом ресторанчике и судьба меня ждала новая, хоть я об этом нисколько не думал: я встретил знакомого коммивояжера, с которым немного по клубу да по бегам был знаком (он из западного края, в Москве по делам бывал). Такой он был ловкий, пробор посередь головы, брелоки на животе, галстук пестренький, и всегда говорил, что в Польше все хорошо и дешево, а в Москве дорого и скверно.

Так же и тут, выпил он пива, развеселился и стал Польшу расхваливать.

— А в Варшаве пан тоже не был? А Варшава, а то — малый Париж, прошу пана. У вас завтрак — рубль, а у нас в первом месте — семьдесят пять!

Говорил, говорил, очень разошелся, и когда выпили с ним еще пива, то прямо стал в Варшаву звать, и будто в той же фирме, где он работает, помощник как раз нужен для него, потому что дела с Москвой растут.

— На другой день як в Варшаве — сто в месяц, угодно? Сто чистенькими, это вам что-нибудь уж значит!

Очень он меня распалил, и тут же я решил — ладно, дадут сто — хорошо, не дадут — все равно какую-нибудь работу да найду, к тому же у меня триста рублей на книжке уцелели, значит, первое время перебиться сумею.

Так я и сделал, собрал кой-какой свой скарб, Ольге Ивановне сказал, что место получил тут же в Москве, и, не долго разговаривая, уехал в Варшаву. Понятно, глупо было первому слову полячка, которого почти и не знал, доверять, но меня и самого чрезвычайно подмывало куда-нибудь подальше забраться.

Места мне в Варшаве никакого не дали, очутился я на улице. Пока деньги были — ничего, а потом стало круто. Я крепился, хотелось мне на честную линию выбиться, стать, значит, хоть пролетарием, да чтоб смело всякому в глаза мог смотреть.

И вот это нелегко мне давалось. Жизнью с Ольгой Ивановной у Фаддеева я был избалован, даже развращен. А в чужом краю, без языка достать сносную работу очень трудно. Получив же, надо ее удержать. Говорю это не в свое оправдание, а чтобы понятнее было, как я жил.

Кем, кем только я не перебывал в западном крае! И посыльным в конторе и на заводе служил, в Гута-Банкове. И опять же, чем мог я заниматься там, кроме как

чернорабочим делом по шестидесяти копеек в день? А прокатчики под два, по три рубля получали.

Развозил я в Варшаве молоко на велосипеде от фирмы, мыл в ресторанах окна по полтиннику в день, торговал на улице игрушками, ходил с рекламой за спиной, в дурацкой одежде. Просил и «на билет до границы», когда очень уж туго приходилось. А все же в Москву не хотелось ворочаться, потому не было и в Москве мне пристанища. Об Ольге Ивановне не мог спокойно вспомнить.

Так я пробился года полтора — и стал слабеть. Просто руки опускаются. Не удержусь, думаю, пропаду где-нибудь под забором. И вот стал я опять опускаться. Начал пить, стала мне одна девчонка помогать, словом — предстояла прежняя дорожка. Тут я свел знакомство со всякими людьми, а Варшава ими кишит. Были у меня жокеи, и биржевые зайчишки, и контрабандисты, и мошенники, и даже один фальшивомонетчик. Сам же я по фальшивым деньгам не работал, это скажу прямо.

Все эти люди так норовили устроиться, чтобы полегче, поприятней жизнь скоротать, не обременять ее трудом и пóтом, а если завтра капут, так и ладно. Это для меня выходило очень подходяще, потому, правда, чего мне было ждать завтрашнего дня? Впереди ничего не видел, значит — пропадай моя телега, все четыре колеса.

Работая немного по контрабанде, я иногда и политическим способствовал в переправке за границу. По случаю дел с русскими политическими сошелся я с некоторыми из польских. Выпало мне знакомство с самыми что ни на есть отчаянными, называли они себя анархистами-коммунистами. Говоря короче, вроде разбойников были. Большей частью из наших же, таких подонков, как я, состояли. Мне же было это как раз под стать. Удила уж тут я совсем закусил, опять в более легкую жизнь выбился; что со мной в Москве происходило — совсем забыл. Вино, женщины, деньги — вот стали три моих кита, хотя, не скрою, иногда нападали на меня приступы отчаянной тоски, будто волочу гирю в сто пудов весом и все она тяжелей с каждым днем. Я предавался вину и излишествам еще больше, но, сколько ни кутил, ни безобразничал, никогда не было в моей душе покоя, без которого жизнь не имеет и малейшей прелести. В это время я так себе иногда представлял, что как будто я полюбил честную девушку и она меня, я на ней женюсь, и живем мы, имея свое дело, независимо, порядочно. Даже больше скажу: во время своего

бродяжества по темным делам я встретил на пограничной станции девушку (она служила горничной в дамской комской комнате), которая как раз этим мыслям соответствовала. Очень деликатная, тихая и скромно себя держала. Звали ее Настасьей Романовной. Я было попробовал с ней так и этак, но она меня быстро отшила. Это мне тоже понравилось. Я мало очень таких видел раньше.

Однако же надо было чем-нибудь питаться. Шайка наша утвердилась, окрепла, и мы занялись экспроприациями, то есть грабежами.

Должен сказать — людей в этих делах убивать мне не приходилось, но из товарищей кой-кто был уж в крови, как, например, Ян Хщонщ, наш предводитель. Сначала мы прикрывались революцией, но скоро все поняли, что никакой тут революции нет, просто мы для себя работаем под благовидным флагом.

Действительно, нам повезло первое время, и из проходимцев мы вскоре вышли в господа, приоделись, в первом классе стали ездить на работу, в лучших ресторанах бывали,— одним словом, с виду никак нас нельзя было признать за разбойников.

Но недолго так продолжалось, до того самого ограбления на станции, о котором много писали в газетах.

Это дело известное. Мы напали на станцию, куда артельщик только что привез деньги; вечер был темный, туманный. Связали начальника, взяли кассу, артельщик сопротивлялся — его убили и, забрав двадцать тысяч, бежали.

Опять же: убивать мне не пришлось, но эту ночь сырую, огни на линии, выстрелы, как потом за нами стражники гнались, а мы по картофельному полю бежали к лесочку и тоже отстреливались,— этого я никогда не забуду, нельзя это забыть.

Трое наших пропало тут же, четверых потом поймали, лишь я да слесарь один бывший, Квятковский, из всех и спаслись.

Товарищей моих по этому делу повесили, мне же досталось пять тысяч, которые я сумел урвать во время бегства и потом спрятал.

Как я убежал, как меня шальная пуля не догнала, этого я не знаю, и потом мне иногда казалось, что напрасно и не влепили мне сзади заряда. Как теперь посмотрю, значит, был такой смысл. Значит, нужно мне было через все пройти.

Пять тысяч — деньги немалые. Раньше, может, я бы их прокутил, да тут опять со мной что-то произошло. То ли еще силы, здоровья во мне было достаточно и не хотелось совсем пропадать, то ли подействовало, что товарищей, кого поймали, повесили тотчас, только вдруг бросил я Варшаву и всю компанию, с которой последнее время якшался, и уехал на прусскую границу.

Понятно, прямо в городок, где жила Настасья Романовна.

Тут во мне и отозвалось, что отец мой хоть и не по-настоящему, все же торговлей занимался: решил я сгоряча за дело взяться, зажить как следует. Как раз и вышло, что в этом городе буфет при станции передавался и при буфете меблированные комнаты. Эти комнаты существовали для того, что случалось, поезда с немецкой границы с нашими не совпадали и, значит, выходило, что кто в Россию возвращался, оставались тут ночевать. Граница эта не главная, не то, понятно, что Александрово или Вержболово, а все же дело это было довольно выгодное, могло давать хороший профит.

Выждал я, пока затихла история с грабежом, и снял этот буфет и меблированные комнаты. Тут же я посватался к Настасье Романовне.

Как уж я говорил, Настасья Романовна была девушка скромная, деликатного и даже нежного вида, собой миловидная. Происхождение ее не совсем обычное, а именно: барышня одна, возвращавшаяся из-за границы, потеряла паспорт, провела здесь три дня; пока насчет паспорта справки наводили, с офицером пограничной стражи согрешила. Родила она дочку в Гродно, а сама умерла. Дочь к отцу вернули, он не отрекся и тут же ее устроил у одной женщины и даже платил ей, а потом и его перевели. Она же осталась на той самой станции, откуда получила начало жизни.

Эта самая барская порода в Настасье Романовне очень даже меня прельстила; понятно, не одно это.

Что-то в ней такое было: движения тела, поступь, губы влажные и огонь скрытый, я все же чувствовал его,— это все и раскаляло меня до последней степени. В скромности ее, как будто робости, покорности я *такое* видел, что у меня ноги дрожали.

Не умею сказать и, признаться, не размышлял тогда, нравлюсь ей или нет, меня одно разбирало: как бы ее добиться, а без брака, я понимал, она ко мне не пойдет, по-

тому силу свою женскую знает. Я же был уже буфетчиком, человеком состоятельным, любил ее зверски, это тоже она видела, был собой недурен, горяч: ей, одним словом, полный смысл за меня выходить.

Она и вышла.

Таким манером сделался я вдруг женатым и солидным человеком, несмотря, что чуть не вчера еще разбойником был. И как сами понимаете, не мог себя просто, покойно чувствовать. Настасья Романовна превзошла, чего я от нее ждал, и до того меня доводила, что, кажется, так бы ее и разорвал на части во время любви. Совсем я как пьяный или безумный от нее был. И с каждым днем я сильней чувствовал, как в нее въедаюсь, как нельзя от нее оторваться, точно она оборотень какой, упырь, которому меня же и съесть надлежит. А она ходит себе весь день невинно, глазки потупив, в работе мне помогает по буфету, и только иногда блеснет у ней во взоре такое, что от ее скромного вида весьма далеко.

Я же у стойки стою, за кассой, за огромнейшим самоваром наблюдаю и, когда она вблизи меня проходит, холодею. Да и вообще, как уже сказал я, не было мне покою. Дела шли очень порядочно, кухню я улучшил, и проезжающие весьма оставались довольны — особенно свежей рыбой, которой доставку я устроил. Много у нас столовалось пограничных офицеров и господа жандармы. Не скрою — каждый раз, как увидишь синий околыш этот-то, и кажется: ну, голубчик, по твою душу, пожалуйте-ка в тюремный замок, а оттуда на перекладину, на качели воздушные. И главное, я понимал, что это верно, что, коли моих товарищей вздернули, почему же и меня нет? Чем я меньше их заслужил? А потом смеялся над собой, издевался, что я трус, дурак, байбак. Ну, было и было, а теперь концы в воду, в живых-то никого не осталось, и меня при ограблении никто не видел, стало быть — откуда ж меня опознать могли?

И тогда я напускал на себя веселость, даже наглость такая во мне появлялась, что я со знакомым жандармским капитаном об этом самом ограблении разговор завел. «Да,— сказал,— деньги-то не все нашли, пять тысяч пропали, верно, один голубчик все ж таки утек, не отвертится».

А я посмеиваюсь, говорю:

— Разумеется, дело. Вздернут.

Так-то вот я кощунствовал, можно сказать, а сам Нас-

тасьи Романовны немного боялся. Ходит она, работает около меня чисто, тихо, а у самой все такая улыбочка, что это, мол, одна видимость, а тебя со всеми твоими штуками я наизусть знаю. Ничего от меня не скроешь.

По правде говоря: друг с другом мы целый день, спим вместе, взгляду ее каждая моя жилочка открыта, и когда я побледнею, когда тоска на меня находит, ничего этого нельзя утаить; уж про то не говорю, что во сне станешь бормотать,— сны же у меня всегда были беспокойные, а в это время особенно.

И я тоже присматривался к Настасье Романовне, к ее поступи мягкой, теплоте, что в ней была, и думал: а что, если бы она узнала, на какие деньги я этот буфет содержу? Что б она сказала? Это загвоздка была для меня, и, положив руку на сердце, ничего я тут не мог ответить.

Как-никак прожили мы зиму, а в марте весна уж открылась, в западном крае она раньше нашей, московской, бывает. Стало у нас больше пассажиров: перед Пасхой многие из столиц за границу ездят отдыхать. Смотришь, бывало, на эти скорые поезда, что богатых людей, спокойных, довольных, в чужие страны везут, даже завидки возьмут. На лицах у них написано: мы, мол, порядочные люди, сколько надо за зиму поработали, деньжонки есть, а теперь едем жизнью пользоваться, потому мы не какие-нибудь, не шушера, а настоящие. И они на меня тоже тоску нагоняли. Хотелось мне тогда тоже в поезд сесть и куда-нибудь на край света уехать, например в Южную Америку. Тут я вспоминал, как, бывало, Ольга Ивановна читала в газетах о разных кассирах, мошенниках, которые, взяв большой куш денег, за границу скрывались. Помню, когда она это читала, мне было чудно и очень я себя далеко от этих людей полагал, а вот теперь оказывается, сам как раз такой, даже хуже, и еще тем хуже, что и цапнул-то немного.

Между прочим, здесь я имел одну встречу. Однажды вижу, несут на носилках человека четверо носильщиков, за носилками дама, хорошо одетая, в сером костюме: это значит, только что из Москвы поезд пришел и больного старика к заграничному перетаскивают. Смотрю, знакомое что-то. Ближе подходят — ну, конечно: Лев Кириллыч и Ольга Ивановна. Значит, на воды наконец собрался. Я за самовар наш огромнейший укрылся, но тоже, помню, как бумага стал белый. А тут как раз Настасья Романовна со своим невинным видом.

— Взгляните,— говорит,— Николай Ильич, какого слабого человека, а тоже лечиться везут!

Сама смотрит на меня, и видит, как я смутился, и улыбается:

— А вы, говорит, даже и взглянуть не желаете.

Боже мой, прости мне мои прегрешения, но не удержусь все же не сказать: иногда эта самая ее улыбочка из себя меня выводила — будто надо мной насмешка.

Ну, вообще наша жизнь с Настасьей Романовной не очень-то ладилась, как и надо было ждать, понятно. Я на жену просто смотрел: взял, купил — и готово. А того я не соображал, что человека-то купить трудно. И Настасья Романовна, хоть и жила и спала со мной, мне только по видимости принадлежала, а сердце у ней было свободно: меня она ни крошки не любила, это я понимал. Так что мысль моя: на тихой, на любящей девушке жениться и с ней счастливо жить — это все только по внешности исполнилось, а в середке пустое место.

Понятно, что я такое был? Буфетчик, хам. А у нас на станции и пограничники и жандармы — некоторые даже собой видные офицеры. Бабье ж дело такое, что военный для них орел и сразу к себе располагает. И из них кто побойчей, поопытней, тоже мог в Настасье Романовне ее породу разобрать, а на это все ведь падки, дело известное.

Одним словом, явился тут поручик Бабанин, жандарм — рослый, розовый, усики черные; как пришлось мне в жизни заметить, довольно часто бывают жандармы такие розовые и упитанные, особенно в молодости.

Стал он и так и сяк, к буфету очень зачастил: бывало, выйдешь зачем наверх, в меблированные комнаты, спустишься потом — он уж у стойки, с Настасьей Романовной любезничает, и со мной запанибрата, точно я ему родственником довожусь. Меня это злило. Молчу, креплюсь, на шуточки его не отвечаю, свое дело делаю, а у самого закипает. Настасья Романовна это понимала очень хорошо и со мной как нарочно еще ласковей, так овечкой и лебезит. Меня же провести трудно, и скажу так: к тяжелым мыслям, что меня одолевали с тех пор, как на вокзале поселился, прибавлялись теперь новые. Стал я задумчивей, угрюмей. На меня нападала тоска, и теперь я не мог от дум оторваться, от дум о своей жизни. Прежде как ляжешь, сразу засыпал, а теперь нет: рядом Настасья Романовна — спит, во сне чему-то улыбается. А мне мерещится — это поручик Бабанин ей снится. И я на нее смотрю,

мне тоже жутко делается, будто чую я, эта женщина тоненькая и есть моя погибель. Страсть я к ней чувствую зверскую, точно она еще невинная девушка, и ненависть такую: вот, кажется, взял бы ее да тут же и задушил. И даже мне представляется, как шейка ее слабая под моей лапой хрустнет. «Что ж, моя жена; будет гулять — задушу. И ничего такого нет. Я ее из горничных взял, женился, сам, кроме нее, ни на кого не гляжу, а она с жандармом будет путаться?» Сядешь, бывало, в одном белье на постели, голову руками сожмешь. «Не любит, стерва, обманула, как замуж шла. Да разве спрашивал ее, любит ли? Все равно, коли замуж выходишь, должна своему мужу верной быть и любить его». Тут уж поймешь, что глупости болтаешь, как есть на постель повалишься и лежишь как колода, с пустой головой. Потом лампадку зажжешь, поставишь перед иконой свечку. Молиться хочется, да не выходит ничего. Трудно, видно, такому, как я, очиститься.

А у меня кроме Настасьи Романовны еще мука была, тоже меня изводила. Те несчастные деньги, что на мою долю выпали, не все были кредитками. Тысячный билет один затесался туда, государственной ренты. И продать я его не смел, по той причине, что его номер известен был,— значит, предлагать его опасно. Я хранил этот самый билет очень аккуратно, и до чрезвычайности жег он мне всегда руки. Главное же, должен был я его от Настасьи Романовны прятать; сами знаете, что за народ бабы, и тут чем ведь дело пахло. Совсем же его разорвать тоже духу не хватало,— думал, пройдет время, как-нибудь через жида или контрабандиста спущу.

Между тем стал я насчет жены анонимые письма получать. Понятное дело, разные там «доброжелатели». Сперва понемногу, потом прямо делали объяснение, чтобы, мол, за женой присматривал, у нее с поручиком Бабаниным дело есть. Я сперва промолчал, потом к Настасье Романовне. Та в слезы, на икону божится, что это враги наши подстраивают, а сама дрожит, и чую я — боится. Была она блудливая женщина, стало быть не из храбрых.

Я ей прямо режу, хоть и стараюсь сдержаться:

— Если только, Настасья Романовна, это правда, то уж знайте, я не потерплю. Как хотите, даром вам не пройдет.

И должно, правда вид у меня был страшный: снова она мне поклялась, что ничего не было и не будет ничего.

Только я с этого дня заметил, что и ко мне она пере-

менилась. Бояться меня стала и еще больше ненавидеть, хоть и старалась это скрыть. И что промежду нами, как у мужа с женой, тоже для ней сделалось противно, но она покорялась, а только я понимал, что она от меня и вовсе отошла.

Я, понятно, тут совсем не прав был, но меня это еще пуще ожесточало. Нарочно, бывало, к ней пристаю, свою мужнину власть показываю. А она — покорна-то покорна, ни в чем упрекнуть не могу, а чувствую — нет, все-таки что-то неладно. Выйдет из дому на полчаса, сейчас у меня мысли: где была, да не встретилась ли, да то, да се.

И такая жизнь, понятно, меня очень изводила. Мне еще далеко тридцати не было, а меня полагали много старше, и мне самому представлялось, что живу я чрезвычайно давно и вижу весьма мало радости. Даже мое дело, по буфетной части, из чего я надеялся большую пользу иметь,— и это меня теперь мало занимало. Конечно, хорошо буфет иметь и деньги наживать, когда о перекладине не думаешь, билета тысячерублевого не прячешь и жена с тобой рядом любящая, верная. А как у меня было — не приведи Бог никому.

И в это самое трудное время Господь посетил меня. Тяжело об этом говорить, да уж раз взялся — надо.

Лето выдалось удивительно жаркое, просто на редкость. С пассажирами случались обмороки, у нас в буфете скисало молоко, я ходил в люстриновом пиджаке, и воротник крахмальный на мне намокал. Настасья Романовна от усталости вся потемнела; под глазами круги появились и лишь поручик Бабанин в белом своем кителе ходил как ни в чем не бывало. Писем я больше не получал, но почему-то теперь окончательно уверился, что у Настасьи Романовны с Бабаниным всё есть. Я отмалчивался, а сам чуял, как во мне растет страшная сила. Что ни день, меня самого пуще она томит. Даже преследовать стала меня одна мысль: как Настасья Романовна с Бабаниным любовью наслаждаются? И тут же себе вопрос задаю: да когда же, где? И сам понимаю, что негде, а все меня это точит. Наконец, вскоре после Казанской, решил я такую штуку проделать, чтобы их на свежую воду вывести: уехать на день из нашего городка.

У меня и предлог хороший был: будто еду ящик в банке завести, куда деньги буду класть.

Сказал я Настасье Романовне, что ворочусь на другой день, там будто переночую. А мне и правда в ближний го-

род надо было съездить, потому страшно становилось билет этот у себя держать: ну, как Настасья Романовна его подсмотрит, мало ли что может выйти?

Пошел я к двенадцатичасовому поезду собираться, открыл ключом ящик, где лежал билет, в это время меня кликнули. Я притворил, а на ключ не запер. Сбежал вниз, принял от мясника счет, и опять наверх. Вижу, сидит у стола Настасья Романовна, ящик отодвинула и билет держит.

— Какая,— говорит,— бумага приятная: точно лаком покрыта. Номер пять тысяч двадцать восьмой.

И нагнулась, цифры рассматривает.

Я, видимо, в лице изменился, потому что она сказала:

— Что это вы, Николай Ильич, я не маленькая, билета вашего не разорву.

Я ей хрипло:

— Давай билет!

И вырвал его из рук довольно грубо. Настасья Романовна вздохнула, встала и молча из комнаты вышла. А у меня руки дрожали, когда я этот билет в бумажник клал. «Стерва,— твердил.— Ах ты стерва!»

Ящик я запер, вниз спустился. Подошел поезд, Настасья Романовна не вышла меня провожать. Мне все равно было. Я сел в вагон, поехали. Жара в купе несосветимая. Помню, еду я, и все мне кажется, за нашим поездом другой летит и в другом кто-то едет. Как мы на станции остановимся, нас догонят, войдет он в мое купе. И вдруг мне тогда все стало представляться серым, точно на весь божий мир тень кем-то брошена, несмотря, что солнце светит чрезвычайно ярко.

— Верно, леса где-нибудь горят,— помню, сказал господину, который со мной ехал.

— Почему вы думаете?

А я отвечаю:

— Прежде, бывало, летом воздух какой прозрачный, а теперь серо, дымно.

Он на меня с удивлением посмотрел.

— По-моему,— говорит,— и сейчас очень светло.

Я молчу, ладно, думаю, может, это я нездоров. Приехали в город, пошел я в банк, нанял ящик, все это проделываю, подписываю; так как заявление давно послал, то ключи мне уже готовы, в стальной комнате кладу свои бумаги и билет этот, стою и смотрю на ящики,— все они в стену вделаны, и так мне кажется: хорошо бы и меня

самого в такой ящик уложить, чтобы никогда оттуда не выйти.

Потом я в гостиницу пошел, где решил остановиться. Заказал себе обед и водки к нему полбутылки. Сижу я, обедаю в незнакомом месте, не знаю зачем водку пью, а в глазах у меня Настасья Романовна, как она у стола сидит, билет рассматривает и говорит: «Номер пять тысяч двадцать восемь». «Скажет,— думаю тяжело так, точно мыслям трудно двигаться,— обязательно любовнику скажет. Ну, ладно».

И чтобы страх я тут чувствовал — нет, никакого страху. Все равно мне стало. Допил я водку, лег спать. Граммофон где-то рядом играл, лакеи ходили по коридору, а мне было все равно,— и представилось, что теперь я другой человек и, как прежде жил, немного уж мне осталось.

Я заснул очень крепко и проспал до самого вечера.

Мутный это был сон, и вдруг в восемь я проснулся как ошпаренный, точно опоздал куда. Сердце у меня билось как бешеное, весь я в поту, и ужас мной овладел, будто я что пропустил.

Отворяю окно — на задворки выходит, детишки еврейские играют, солнце низко стоит, над пустырем золотится пыль: нет, ничего я не пропустил, напротив, рано мне.

Я решил домой вернуться с двенадцатичасовым. Значит, времени довольно. Чтобы развлечься, пошел в кинематограф, смотрел слонов в Индии, комическую, потом шпионку Кору. Она соблазнила пограничного офицера, чтобы выдал план крепости. Он выдал, а потом спохватился, что сделал,— и к полковому. Тот говорит: «Догоняйте, а не догоните — вот вам револьвер, сами поймете, что вам делать». И он с товарищами в автомобиле за ней мчится, а она от них, тоже во весь дух, к немецкой границе. Стреляют друг в друга; наконец застава. Тех немцы пропустили, этих — нет. Не догнали, значит. Ну, он из револьвера пулю себе в лоб.

Очень меня эта картина взволновала, и не знаю почему, только чувствую — это про меня. И сам не знаю, почему именно про меня, а представляется, будто сам я на автомобиле лечу и хорошо понимаю, что мне не миновать офицерской участи.

Выхожу из кинематографа — еще горше мне, чем когда входил. Иду по улицам и сам не знаю, зачем вышел за город, к реке. Пришла мне тут мысль,— место пустынное, песчаное, луна встала красная, блестит в реке,— войти

в реку эту и идти, идти, пока до дна не дойдешь. Нет, не пошел, не все доделал будто, погоди еще.

Сидел я на берегу, и в душе у меня сухо было, пусто, тоже песчаная равнина. Кабы я молиться тогда мог, пасть на землю перед Господом и на всю окрестность рыдать — может, и не было б, что произошло. Но не расплавилось мое сердце, оно было твердо и бесплодно. Так же, верно, и дьявол блуждал по пустыне, тосковал и безумствовал, прежде чем идти искушать Спасителя.

Тут поезд невдалеке пролетел по насыпи, и я вспомнил, что мне пора. Поплелся к вокзалу и на вокзале долго сидел, своего поезда дожидался. Он запоздал; был первый час, когда я выехал.

Чем я ближе к дому подъезжал, тем больше в себе силы какой-то находил. Даже мне чудилось: тело мое легче стало — все силой наполнялось, и в то же время волнение меня разбирало страстное. Но думать я ни о чем не мог, ни соображать, ни понимать не был способен.

У нас в буфете огни приспущены, прислуги почти никакой — ближайший поезд в четыре. Я прошел через залу будто посторонний, не хозяин, и прямо наверх поднялся, в меблированные комнаты, где мы с Настасьей Романовной жили. Знал я — два номера заняты, остальные свободны должны быть. Но в четвертом номере,— сразу я это понял,— есть кто-то. Я, конечно, иду по коридору на цыпочках, слышу вполголоса разговор за дверью, и голоса знакомые. Мишка, коридорный, у себя храпит. Как собака, стал я приметлив. Сейчас к замочной скважине. Изнутри заперто, шепчутся, но, значит, не понимают, что я здесь! Ничего не увидел, а ручка дверная духами пахнет, а, знаю я эти духи! Минуту постоял, как пес, ручку обнюхивая, и, не говоря ни слова, к себе в номер. Дверь не заперта, и все от Настасьи Романовны осталось, как раздевалась. Но постель не смята.

Так. Луна зашла за облако, душно, я окно отворил. И на улице душно, в болоте, за станцией, коростель кричит. Через луну облачко длинное, темное протянулось. Я смотрю, кажется мне: последний раз коростеля слышу. Окна не запер, разделся, лег лицом к стенке — Настасье Романовне место оставил поудобней. Лежу, ничего не чувствую, точно меня нет. Бороду тронешь — чужая; лежу и лежу. Вдруг слышу, по коридору шаги. Босая идет.

Огнем тут что-то по мне прошло. Знал я эту поступь Настасьи Романовны, даже очень знал.

Вошла осторожно. Только было на постель сесть хотела, меня увидела — вскрикнула. «Ничего,— говорю,— это я раньше вернулся, чем думал». И лежу, молчу. Минуту она стояла так, будто ничего не понимала. «Что ж,— говорю,— ложись». Вдруг она вся съежилась, легла. Лежим, молчим, я все к стенке лицом. Она рядом и слова не может вымолвить, только сердце колотится, так, что мне слышно.

Мы лежали с четверть часа, потом мне надоело на боку лежать, я повернулся, и теперь луна уже на нее светила, я лицо увидал, глаза.

— Гуляла,— говорю.— С Бабаниным.

Я тела ее не тронул. Ужас в ней такой был, что больше я подобных глаз не видывал.

— Виновата, Николай Ильич.

Тут я рукой до плеча ее коснулся, голого плеча, полудетского. Опять меня огнем жигануло. Думал я что, нет ли, не знаю. Рука сама вверх прыгнула, к горлу, она рванулась, а я навалился, и все у меня вверх дном пошло. Помню только, вся моя сила в пальцах сошлась и горло ее я сжал тисками. Ну, конечно, металась. Но уж мне рук разжать *нельзя* было. Крепко давил. Потом это все кончилось.

III

Забыть ли мне эту ночь? Забыть ли минуту, как отвалилась назад голова Настасьи Романовны и тело перестало биться? Думаю — не забуду никогда и до гроба мне с этим жить. Буду все же продолжать.

Тихо было в нашей комнате. Вещи по местам стоят, как обыкновенно, и взглянуть — даже ничего и не случилось, на постели Настасья Романовна, я перед ней стою в одном белье. И так я довольно долго стоял, должно, плохо понимал, в чем дело. Потом вдруг стал одеваться. Одевался медленно, аккуратно и все старался лучше галстук завязать. Помню, в голове слова глупые вертелись, никак не отделаешься от них: «Тачка, бачка, перебачка, перебачка, тачка-ка».

Подошел к окну, высунулся, свежим воздухом стал дышать. Опять коростель кричал, но уж теперь *другой*. Звезды побелели. Стал в полутьме разбирать вывеску на

трактире, довольно далеко. Потом думаю: «Ну, надо в полицию». А через минуту: «Нет, погодим еще». И опять вывеску разбираю: «Третья-я-го... раз-ряда... с прода-же-ю — пи-тей».

Тут, верно, вроде бреда со мной началось. Я как будто не сплю, а мыслями не могу управить, точно во сне. Чепуха идет в голове: шпионка Кора, как она в трактире сидит, а ей говорю: «Ай, молодец, ну и молодец шпионка, прелесть». Потом еще что-то мне сказать хочется, из окна, что ли, выйти, да это трудно. Тяжелая голова, никуда ее не денешь. Или кажется, что лечу, как курьерский поезд, а остановиться не могу. «Куда это? Куда?» — хочу спросить. «Ничего, в Южную Америку».— «А как же морем?» — «Ничего, и морем проедем».

Наконец собрался с силами, глаза протер и опять к кровати подошел. «Ну, глупости, ну, чего там, это я свою жену убил, потому она с другим гуляла». И опять я сел, с таким видом, будто что настоящее и правильное сделал. «Вот теперь все и устроилось». Я ее поаккуратней уложил, руки на груди, и все на нее смотрел. «Если б захотел, мог бы и отказаться; скажу: умерла просто, своей смертью. Нет, ни к чему, сделано так сделано. Скажу: захотел — и убил. Что за это будет? Каторга. Только бы про билет не узнали, ну, билет теперь пропал, и зачем я его в ящик клал? Обыск сделают — и конец. Скажут: откуда деньги? Так. А я что отвечу?»

Таким манером я бормотал, сидя, и, кажется, все же на час заснул, тут же, в одной комнате с покойницей, и все мне представлялась то виселица, то глаза Настасьи Романовны из-за этой виселицы на меня взглядывают, и она говорит: «Хороший билет, бумага приятная. Номер пять тысяч двадцать восемь». Еще Ольга Ивановна мне являлась: в воздухе передо мной, точно в окне вагона, проезжала и пальчиком грозила, улыбаясь. «Лев Кириллыч кланяется, третьего дня помер, мне пятнадцать тысяч оставил. Не побрезгал бы тогда, был бы теперь богатым». Врет, ничего он ей не оставлял, а всего ей цена четвертной билет.

Утром, значит, ко мне Мишка постучал, я отпер. Помню, он назад попятился, верно, не очень хорошо я выглядел.

— Да,— говорю ему,— Мишка, надо, мол, в полицию сходить, я жену убил.

Мишка весь сперва затрясся, потом в комнату загля-

нул, увидал Настасью Романовну и опрометью вылетел.

А мне, странное дело, после Мишка стало покойней. Точно в голове немного поулеглось. Я подошел к умывальнику, облил голову холодной водой, полотенцем вытер, причесался и понимать стал лучше, что произошло. Опять к Настасье Романовне — руку ее взял. Рука была уже холодная. Я на нее поглядел, и первый раз жаль ее сделалось. «Вот и убил, своего добился. Уж теперь не поправишь. Поздно».

В это время полиция явилась, а скоро следователь приехал, допрашивать меня.

Я немного уж собой овладел и ему все отвечал ясно, ни в чем не таился.

Он спросил:

— Что же вы, и раньше об этом думали или теперь только дошли, сразу?

Я сказал:

— И раньше думал. Так думал: коли спутается с другим, крышка. Я и ей это говорил.

— Хорошо. Так и запишем. А теперь я должен вас арестовать.

Официанты на меня смотрели, как меня с двумя городовыми вниз сводили, и всем, по-моему, страшно было меня видеть. Я шел медленно, довольно спокойно, только трудно было ногами передвигать, потому я очень устал. И на улице на меня глядели — многие здесь меня знали, но я не обращал внимания, шел посредине улицы, как идут за гробом да в тюрьму, и под ноги себе смотрел, чтобы половчей на камни становиться.

Наконец пришли в тюрьму. Тюрьма наша, надо сказать, могла называться тюремным замком, потому тут раньше замок был польский, с башнями, рвами, и только лет сто ее для нашего брата приспособили, для арестантов. Помню, вошел я в нее, сдали меня городовые под расписку, увидел коридоры эти, камеры и про себя подумал: «Вот, значит, и она, и тюрьма».

Потом я снял свое платье, все это в конторе осталось, я надел арестантскую куртку и штаны, и мне представилось, что сейчас мне и голову обреют. Но, понятно, этого не сделали, потому я не каторжный был, а еще подследственный.

Первое время, как вошел в камеру, ничего не мог понять, очень много было таких, как я, и молодые и старые; в одном углу ругаются, другие на окнах сидят и кричат похабщину, верно в женское отделение.

Двое играли в карты, в носы. На меня минуту поглядели, старик какой-то буркнул: «Нашего полку», а потом про меня забыли.

Мне это и лучше было. Я сел на нару, к стене прислонился — стена была, как сейчас помню, холодная. Приятно к ней голову привалить. От усталости ли, от волнений — все передо мной позеленело и поплыло. Я закрыл глаза. Потом и вовсе опустился на нару, и тут уж все вверх дном заходило, и такая меня слабость одолела — ни рукой, ни ногой двинуть. Я заснул. Спал скверно, все время меня, как на корабле, качало, и в башке опять чепуха тянулась. Все-таки спать после такого дела, как я сделал,— самое лучшее. Просыпаться хуже,— о, насколько хуже!

Я проснулся вечером поздно, когда уже все спали, в камере лампочка приспущенная едва светила. Я вскочил, силы у меня было довольно, точно наваждение это, в котором я целые сутки прожил, уж прошло и я теперь опять здоровый. *Человека убил.*

За ту ночь, первую в тюрьме, много мог я отдать дней, недель, только б не было ее. Потому тут человек уже понимает. Он не бредит, а заснуть не может. В голове мельница вертится, кровь стучит, точно правда в адском огне горишь. Хочешь о другом подумать — куда там, затягивает в свое: вот Настасья Романовна входит, на постель ложится, вот плечо ее голое. Да ведь это все прошло уж, *было.* Нет, не прошло, ты еще с ним поживи. Вот — хряск, шейка ее хряскает. «Да сама, черт возьми, с Бабаниным спуталась, меня опозорила. Я ж ведь ей говорил, предупреждал».— «Номер пять тысяч двадцать восьмой.— Это уж жандарм Бабанин говорит, обыскивая мой ящик в банке.— Билет, украденный во время экспроприации на станции. Отлично. Господина буфетчика на перекладину».— «Это ничего,— я отвечаю,— перекладина невысоко, я табуретку подставлю».— «Выдернем, милый, выдернем!»

Вскакиваешь — нет, не бред, и никого нет, сам с собой говоришь. Ляжешь — все с начала того несчастного дня: как в поезде едешь, в банк входишь, считаешь билеты, домой ворочаешься.

Светало уже, я сел на нарах, подперев руками голову,— и вдруг мне мысль пришла: «Неужели всегда так будет? неужто не отпустит?» И тут мне стало очень страшно, я понял, что такое смертная тоска, когда стены грызть можно.

Рядом старик проснулся. Икнул, посмотрел на меня мутным взглядом и сказал:

— Маешься, парень? Ничего, помайся. По первому разу трудно. А я пятый раз сужусь, ничего. Привык.

Я на него смотрю и сказать ничего не умею.

— Я эти все суды знаю, цена им грош.— Старик рукой махнул.— Я сам рязанский, а вон куды попал. Болтуны, сволочь! Балаболки!

Он почесался, зевнул и на другой бок перевернулся.

«Да, старик,— думаю,— стало-быть, приспособился. Ничего».

Вот и мне привыкать приходилось, и я должен был через то пройти, через что до меня да и после, тысячи людей проследовали.

С этой ночи, должно, стал я настоящим арестантом. Первое дело, сам я себе представлялся совсем другим, чем раньше был, на свободе. Не то что хуже или лучше, а другой, такой, как вокруг десятки сидели. Второе — я много начал думать и все старался в своей жизни такое понять, из-за чего я сюда попал.

Выходило так, будто очень она меня обидела, что сошлась с Бабаниным, а я ее за это и хлопнул. Помню, когда я только ее подозревать начал, то правда так думал, и получалось у меня просто, ясно. А уж теперь это все мало мне понятно было. «Вот Льву Кириллычу морфию хотел было подсыпать,— там и никто не обижал, а чуть не подсыпал. Ну а когда с Яном грабить шли — тоже за что-нибудь отмстить собирался?» Трудно мне было ответить. Понятно, приятно себя изобразить так, что, мол, за поруганную мужнину честь воздал; если бы на этом остановиться, так и гораздо лучше б. А так просто себя зверем признать очень даже было противно. Но покоя я не находил, значит, сидело во мне такое, чего я сам не разумел.

И днем, и особенно по ночам, когда не спалось, занимался я такими размышлениями: что я, совсем пропащий человек или это только так, заблужденье одно? Опять голова болела и горела; вид у меня был рассеянный, с товарищами по тюрьме я мало знался, сторонился их, и вокруг мне как-то *все равно было;* идешь, например, к следователю на допрос и на свет Божий смотришь, точно его и нет, больничным садиком проходишь, на деревца взглянешь или вечером — как солнце садится, поля позлащает: «Ну, и Бог с ними, все равно».

Это очень тяжело; понятно, стал я как-то мертветь, себя все меньше за живого считать.

И не знаю, долго ли б так продолжалось, но тут вышло одно происшествие, и меня очень встряхнуло, всего в другую сторону толкануло.

Надо вам сказать, что в нашей тюрьме, как везде, кроме уголовных и политические были и, как везде, у политических с уголовными сношения шли постоянные. Они нам табачок иногда доставляли, новости разные говорили, до них это легче доходило, случалось, и листки разные подбрасывали ихнего направления. Бывало и так, что, если они чего требуют, мы поддерживаем, и обратно. Даже для сношений у нас старосты были, с нашей и с ихней стороны, и так мы устраивались, что на прогулках, а то и в камерах встречались.

Раз, значит, приходит к нам их староста, барышня Марья Петровна, и говорит:

— У нас троих к виселице приговорили, на следующую ночь вешать, так мы протест сделаем, присоединяйтесь. Дело наше правое, потому мы тоже за всех сюда шли, за народ то есть.

Наши дали согласие.

Тут я впервые эту Марью Петровну увидел и, помню, недобро почему-то на нее посмотрел. Девушка тихая, аккуратная, видно, что за других старается, и сидит за других,— очень уж от нашего брата, записного, далеко все это. «Жалеет нас небось,— так я думал,— что мы несчастненькие». И хотелось над ней посмеяться, да не вышло, тоскливей только стало. «Чего нас жалеть, сволочь всякую!» И это верно. В то время и к себе и к товарищам я очень неуважительно отнесся. Так мне представлялось: все-то мы шушера, незнамо зачем на свет Божий появившаяся. Одно нам место — в этой яме.

Как со мной часто бывало, и эту ночь почитай что не спал совсем. Я знал, что часов около трех явятся брать смертников, а мы должны во всей тюрьме по этому случаю поднять стук и крик. «Глупости,— лежу и думаю,— ну, подымем гвалт, а их все равно повесят. Смыслу никакого нет». Думать думаю, а самого чуть не лихорадка треплет. И чем ближе минута, тем сильнее.

Перед утром уже, часов около трех, слышно: лошади во двор тюремный въехали, карета загремела и фонари показались. Значит, приехали, берут. Тут вижу, не я один не спал. Все с мест повскакали — и к окнам. Сразу же

и сигнал раздался, оттуда, от политических. Ну, и наши показали себя. Точно все лишь ждали, как бы волю себе дать,— такой вой подняли, подумаешь, сами стены взвыли. Кто табуреткой об стену, кто в оконную раму, кто об пол ногами; фортки пооткрыли и во двор что ни на есть всякую дрянь кидать стали, в конвойных конечно.

— Палачи! — кричат.— Душегубы!

Помню, подскочил я тоже к окну, тоже хочу крикнуть — горло сдавливает. А потом ничего, прорвало, чуть окна не высадил,— силы-то во мне было немало, и вдруг она заговорила. Кабы не удержали, право, выхватил бы раму и сам вниз прыгнул. И даже меня удивляет, откуда это во мне прыть такая взялась, ведь людей этих, смертников, я и в глаза не видал, и что я за заступник такой выискался, когда и себя-то уберечь не мог и на чужую жизнь польстился? Поди тут разбери!

Как-никак, скандал мы устроили немалый. Даже за войсками хотели посылать, стрелять грозились. Ну, смертников, понятно, увезли, а мы могли только локти со злобы кусать.

Когда опять уехали кареты и понемногу наши утихли, я на нару свою вернулся, лег. Шум этот, ярость моя, волнение, разумеется, мне заснуть не давали.«Увезли,— думал.— Я знаю, где и вешать будут: на пустыре, у оврага. Да, может, и они такие ж, вроде нас, грабители? Нет, это другой коленкор. Может, Ольга Ивановна и подстроила, почем я знаю? А что с Ольгой Ивановной делать? Ну конечно, ее на перекладину — туда, туда! А вот буфетчик такой есть, Николай, его куда ж? И его вместе, отлично. Это который жену задушил? Зверь, зверь, и его туда же!» Так-то вот я распорядился,— будто бы собственная кровь меня душила, собственная сила. Опять в потемках я забарахтался, опять меня дьяволы, значит, обступали. Ни туда ни сюда мне не податься, заливает меня тоска, отчаяние — просто сил нету. А тут опять вижу: лицо Ольги Ивановны — со Львом Кириллычем, они мимо нашей станции проезжают, за границу, лечиться на теплые воды. «А некоторые, кто умные, кассиры тысяч пятьдесят в карман — и в Америку».— «Ах ты, стерва, ты, ты моя погибель!»

Сам не помню, как вскочил и опять к окну. Уж на дворе никого нет, да и я не за тем, я теперь не из-за смертников этих,— их небось вздернули,— я сам из-за себя, у меня голову ломит. И вот я этой головой об хо-

лодную стену сам за себя колотиться стал. Что такое сделать хотел: Ольгу ли Ивановну растоптать, себя ли извести или просто боль унять? Этого уж я не знаю. А одно верно,— мне потом рассказывали,— что тут же я наземь упал и биться начал. Так что меня насилу уложили, а как утро настало — отправили в госпиталь без памяти. Вот в этом госпитале я и очнулся наконец, не знаю, на какие сутки.

Помню, снег уж выпал, бело все было за окном, в садике деревья запушены, и на ветке галка сидела, нос себе чистила. Я очнулся — потрогал свою руку. Рука худая и желтая, поднять ее трудно, и сам я как будто меньше стал, и так тихо кругом, как давно не бывало. Лежат больные, доктор идет,— как раз обход был,— сиделка в белом: и все показалось покойно, хорошо. Я сразу вспомнил, кто я, зачем сюда попал и что меня ждет. Я закрыл глаза. «Вот бы так заснуть да совсем, совсем бы не просыпаться!» Это в первый раз я смерти так захотел. Но мне даже хорошо было. Ни тоски, ни отчаянья, а просто очень я устал: потянуться бы, вздохнуть — и успокоиться.

Когда доктор ко мне подошел и я глаза открыл, то в них слезы стояли.

— Ну,— сказал доктор.— Наконец-то. Пора, а то уж мы и не знали, что с вами делать.

Осмотрел меня, температуру смерил. Ничего, все в порядке. Он на меня глядел, понятно, как на одного из десятков, болевших здесь, ему особенного дела до меня не было. А для меня опять другая жизнь началась — и не та, какую до тюрьмы вел, и не та, что в тюрьме.

Через неделю я вставал уж. Ходил чуть-чуть, еле ноги передвигая, и даже было смешно, точно бы я младенец, ходить учусь, или б я гораздо своих лет старше: так мне представлялось, что я лет на десять постарел и все, что со мной до тюрьмы происходило, ужасно как было давно. Скажем: в молодости когда-то я с Ольгой Ивановной жил, мошенничествами занимался, убил жену. И все я хотел вспомнить: когда же я женщину-то любил? Ну, тоже не мог добраться.

Тут, между прочим, познакомился я ближе с Марьей Петровной, политической, которая к нам тогда приходила. Марья Петровна тоже в госпиталь попала после тогдашней истории — руку себе ухитрилась вывихнуть. А сама она была фельдшерица и когда оправилась немного, ходить уж могла, то стала сиделкам помогать, и как доктор у нас

человек был порядочный, то медлил ее выписывать: понятно, она полезный была человек.

Так что и к нам в палату она доступ имела, и в коридоре мы с ней встречались. Я уж говорил, что первый раз, как ее увидел, недобро к ней отнесся, недоверчиво. Ну, *немного* этого и здесь осталось, но уж именно немного. Потому что довольно скоро я разобрал: напротив, очень к ней надо быть добрым. Это девушка впрямь хорошая, без всяких штук, душевный человек. Мы сперва с ней разговаривали о пустяках, а потом само собой вышло, спросила она и о главном. И очень просто спросила:

— Ну а что,— говорит,— вам свою жену жаль?

Историю мою, то есть за что сижу, она давно уж знала. Я тоже довольно давно понял, что это полоумие было, что я ее убил. Только ей почему-то не сказал. Ответил:

— Она сама шла на то.

Марья Петровна поглядела на меня молча,— глаза у ней были большие, карие,— и головкой покачала.

Несколько дней мы об этом не затрагивали, а потом я как-то раз проговорился:

— Вы, Марья Петровна, меня вряд ли можете понять. Вы девушка чистая и благородная, а я хам, и жизнь у меня вся была хамская, и понятия хамские, где ж нам столковаться? Я для вас, конечно, изверг, да что поделать.

— А какая ж такая,— говорит,— у вас была жизнь, что я ее понять не могу?

Тут я пораздумался:

— А вот такая. Хотите узнать — извольте. Могу кое-что рассказать.

И правда, я ей много из своей жизни рассказал и видел, что, напротив, многое понимает и от меня даже не отвертывается.

— Я так и знала,— отвечает,— что не сразу вы до этого дошли.

Видишь ты какая: молоденькая, тихая, а такие вещи понимает!

Ну, стала она мне тут говорить и то, за что их в тюрьмы и ссылки отправляют. Но только не бахвалилась этим ничуть, что, мол, мы вот какие, а вы раззэдакие. Просто рассказывала, что они делают, чего добиваются. И ей казалось, что даже скоро добьются. Я слушал, мне занятно было, только все это для меня чужое. То есть я понимаю, что такие люди находятся, которые не только того не желают от жизни, чего я, например, да и бо́льшая часть хочет,

а, напротив, наперекор своему счастью идут и кончают дни то ли на виселице, то ли Бог знает где — в Сибири.

Такие есть, и даже, верно, много из них хороших людей, как и Марья Петровна. Да я-то не ихний. Я совсем по-другому жил, значит, мне и дорожка другая.

Я так Марье Петровне и высказал.

Она согласилась:

— Конечно,— говорит.— Я вас в вашу веру и не собираюсь обращать.

А я ухмыляюсь и отвечаю:

— Я ведь, Марья Петровна, пропащий человек.

Она минуту подумала и говорит:

— Только вы себя напрасно тем раздражаете, что все у вас: хам, да пропащий, и тому подобное. Понятно, вы много наделали... всякого. Ну, теперь и рассчитываться надо. Мало ли что: вы здоровый человек, еще молодой, вам надо целую жизнь еще жить, так старайтесь как-нибудь заслужить. А то пропащий да пропащий. Так и взаправду пропасть можно.

— Что ж я, по-вашему, делать должен, Марья Петровна?

— Ну,— она ответила, и даже глаза ее заблестели,— я вас учить не могу, а все же одно наверно знаю. Покаяться должны вы, во-первых. Вон вы мне тогда сказали, что сама ваша жена и заслужила свою смерть,— стало быть, вам ее не жалко и вы думаете, что вы правы. Пока вы думаете так, вам очень тяжело будет. А пожалеете, станет легче.

«Эх, Марья Петровна, Божья душа невинная: я давно уж знаю, что прав не был, и тогда, понятно, вам сказал по гордости. И пожалел Настасью Романовну я давно, и все ж таки со своей жизнью скоро не расквитаешься. Очень много нажито, плечи давит-с!»

Однако все же благодарю Божью душу. Все же со мной так не говорил доселе никто, и эти разговоры большое на меня оказали действие.

Я был очень доволен, что попал в госпиталь, да и не я один: все, кто лежали, очень не хотели выписываться, многие даже доктора просили подольше их задержать. Я не просил. Марья Петровна вернулась за несколько дней до меня. Помню, последнюю ночь, когда там ночевал, долго не мог заснуть. Так, раздумался, стал представлять, что со мной впереди будет, как в тюрьме стану жить, в Сибирь пойду. Меня это, могу сказать, не пугало. «Зна-

чит, и в остроге побудем, и на каторге. Что ж, ничего. Всего попробуем».

Но потом на сердце моем стало легче, и как будто я даже расстроился, в нежность какую-то впал. Все мне хотелось вспомнить что-нибудь очень хорошее, трогательное в своей жизни, что меня бы согрело. Трудно было это выбрать. Все же я размягчился, и, помню, глаза у меня стали мокрые.

IV

Я покойно держался на суде. Мне даже довольно занятно было рассматривать присяжных, судей, публику (народу, впрочем, было мало). Немного мешали конвойные с шашками. У них были такие лица, точно я убегу. А куда мне бежать? Я даже совсем не собирался бежать.

Дело мое разобрали быстро, потому что оно было ясное. Я все рассказал просто и не скрываясь. Не упомянул только, что деньги получил с экспроприации: на виселицу мне не хотелось, но должен сказать, что прежнего страху, ужаса, что, бывало, волосы холодеют, я теперь не испытал. «Коли уличат, то и помрем, а сам в петлю не полезу»,— так я примерно рассуждал. Впрочем, почему-то на деньги мои внимания не обратили: было их в ящике полторы тысячи, и я объяснил, что часть с собой из Москвы привез, а бóльшую половину на вокзале заработал. На номер моего билета не взглянули.

Защитник мой от суда, молодой человек, говорил, что я убил жену в припадке ревности. Господин прокурор сказал все ему наперекор, но не очень на меня наседал. Потом меня спросил председатель:

— Не имеете ли чего сказать, подсудимый?

Я перед этим задумался и не расслышал его слов.

Он еще раз спросил. Я вскочил, понял, что невежливо обошелся, и растерялся немного. Я ничего не приготовил ответить и замялся. А затем сразу успокоился. Поклонился низко присяжным и говорю:

— Виноват кругом. Моя вина!

И сел. Присяжные недолго совещались и приговор вынесли: виноват, но со снисхождением. Вышло мне — на четыре года в каторгу, а потом на поселение.

Помню, когда из суда меня выводили, ясный был мартовский день. На асфальте у подъезда лужа блестела, воробьи бесились. Какая-то старушонка подала мне две

копейки. Я ей тоже поклонился, как присяжным, в пояс.

После этого меня довольно скоро с партией отправили в Сибирь, через Москву. Там нас почему-то задержали, два дня мы прожили в Бутырках. Уже была весна, тепло, и, когда из Бутырок нас гнали на Курский вокзал, пыль подымалась на Долгоруковской. Мы шли в кандалах, цепочки наши позванивали. Хоть никого у меня в Москве не было своих, кроме мамаши на кладбище, все же мне казалось, что кого-нибудь встречу из знакомых. Но никого не встретил. Когда подошли к Страстному, вдруг мне захотелось на минуту свернуть к Тверскому бульвару, взглянуть на дом, где я родился, рос, с мамашей ко всенощной ходил к Иоанну Богослову, с отцом вздорил: но нельзя было, понятно. Мы взяли налево, вдоль бульваров. Я взглянул на главы Страстного монастыря, снял шапочку и перекрестился.

На Курском вокзале, оказалось, с нами отправляют партию политических из нашего же города, только они позже выехали. Между прочим, здесь и Марья Петровна была. Я этому очень обрадовался, она меня узнала и из окна платочком помахала.

Мы и дальше весь путь, можно сказать, рядом совершили. Долгий это путь — ехали и по железной дороге, и на барке плыли, и пешком шли. Зашли мы очень далеко, почитай, на край света.

. . . .

Всей жизни своей не опишешь. Скажу коротко. Четыре года я пробыл на каторге, и случилось, что и Марья Петровна отбывала свое наказание там же. Это для меня вышло очень хорошо, и за то время, как я ее знал, я очень успел ее полюбить. Разумеется, не той любовью, но просто как чистого, славного человека. Сошелся я кой с кем и еще из политических — тоже попадались люди выдающиеся. Оказался тут и Андрей Иваныч, мой первый учитель. Он очень постарел. Но остался человеком крепким, мужественным. Ко мне отнесся со вниманием, и так прибавлю: с сожалением. Только на его сожаление я не обижался, потому он на него право имел. Раз он мне сказал: «Эх, Николай, чувствовал я, что ты с пути собьешься, на дурную дорогу попадешь. А взять бы тебя в руки настоящие с детства, может, что из тебя бы и вышло». Потом помолчал и прибавил: «Впрочем, путей нашей жизни никто не знает. Ты не подумай, что я тебя в чем-нибудь упрекаю».

Но меня трудно был уже раздражить упреком. Я очень изменился. И на каторге я старался держаться образованных, политических, а когда поселенцем стал, то сошелся с ними еще ближе. Много помогала мне Марья Петровна. Я иногда вспоминал наши разговоры с ней в госпитале, и хотя очень ясно понимал, как неправильна была жизнь, которую вел в молодости и которая привела меня сюда, хотя очень даже жалел покойную Настасью Романовну и осуждал себя в высшей степени за насилие над ней — все же смыть своего греха я не мог. Я чувствовал, что Андрей Иваныч, Марья Петровна, Никифоров (это ее жених был) — пришли сюда с открытой душой, за *правду*, а на мне навсегда останется тягота. Это и не может быть иначе, понятно. Я не могу сейчас смеяться беззаботно, как малое дитя, потому что во мне нет святой невинности этого дитяти.

В настоящее время, когда я достиг зрелого возраста, вряд ли кто узнал бы во мне прежнего кутилу, экспроприатора и убийцу. Это все умерло. Говорят, я кажусь сумрачным и серьезным человеком. Марья Петровна укоряет меня лишь за одно, за пристрастие к Библии, которое у меня появилось. Она иногда подсмеивается надо мной, говорит, что я, пожалуй, готовлюсь в старообрядческие начетчики. Я ее понимаю и не обижаюсь. Если бы она прожила мою жизнь, быть может, она думала бы по-другому и, как я, возвращалась бы нередко к псалмам Давида. Ибо для сердца, прошедшего сквозь печаль и мрак, всегда близки будут слова псалмопевца. Вместе с ним и я скажу в заключение о себе и всей своей жизни: «Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей и по множеству щедрот Твоих».

1913

СТУДЕНТ БЕНЕДИКТОВ

Жил на свете рыцарь бедный...
Пушкин

I

Дождь кончился. В проглянувшем солнце летели еще редкие капли, сияя и блестя. Из сада в комнату Бенедиктова потянуло тем нежным, очаровательным запахом, что бывает после июньского дождя.

— Лева,— сказал Бенедиктов и снял очки.— Вы можете идти, на сегодня довольно.

Светловолосый мальчик Лева, ученик Бенедиктова, сложил свои тетрадки и захлопнул латинскую грамматику.

— Вечером едем на пикник, ловить раков,— сказал он.— Зина собирается верхом. Вы тоже с нами?

Бенедиктов слегка нахмурился.

— Нет,— ответил он, с неестественной внимательностью поправляя письменный прибор.— Я сегодня не поеду.

Когда Лева ушел, Бенедиктов сел к столу и задумался. В ящике стола лежала начатая работа о Франциске Ассизском, а под локтем — книги Сабатье, Ергенсона, «Fioretti» и другие. Бенедиктов находился в небольшом флигеле барской усадьбы; он был влюблен в Зину, сестру своего ученика, и так как был некрасив и измучен неудачной любовью, то решил этой ночью застрелиться.

Через минуту он встал, надел ветхую студенческую фуражку, взял палку и, слегка сгорбившись, вышел. Тяжелая юность, одиночество, работа давали себя знать: Бенедиктов выглядел старше своих лет. Лоб его был велик, и небольшие глаза, сидевшие глубоко,— хотя и близору-

кие,— выдавали страстность характера и склонность к экстазу.

Он шел по узенькой аллейке в вишеннике, среди сиявшей каплями чащи. С вишен срывались воробьи, его обрызгивало жемчугами, алмазами. Налево, с площадки лаун-тенниса, доносились голоса. Бенедиктов знал, что это играет Зина с приезжим лицеистом. И он ускорял шаг: хотелось пройти, пока они не кончили, чтобы не встретиться.

Дорожка провела его вблизи лужайки. Сквозь поредевшие кустарники он видел, как за сеткой бегала в белом платье Зина, раскрасневшаяся и горячая. Его же не заметили.

Бенедиктов перелез через канаву и вышел в луга. Эти луга были необозримы. Они тянулись на десятки верст, как нередко бывает в Рязанской губернии, и сейчас по ним стояли копны — знаменитейшее русское воинство. От великих лугов, как от неба и моря, в душе остается ощущение покоя. Но Бенедиктов его не чувствовал. Он шел не затем, чтобы наслаждаться вечерней прелестью равнины. У него была цель. Он направлялся к корнету Гавронскому, хуторок которого виднелся в двух верстах, племяннику его хозяев, человеку беспутному, нелепому, пьянице и собачнику.

II

Солнце уже садилось, когда он подходил к домику Гавронского. Бенедиктов снял фуражку, отер лоб. «Посижу несколько минут, скажу, что револьвер мне нужен, чтоб упражняться в стрельбе, и уйду»,— думал он. И хотя все выходило гладко, его что-то теснило.

Смущался он не напрасно. Все произошло не так, как он предполагал. Во-первых, на него бросилась пара борзых. Они атаковали его с жаром, и, если бы не Гавронский, выскочивший в одних рейтузах из денника, где мыл любимую кобылу, ему пришлось бы плохо. Гавронский громоносно заорал на собак, не сразу сообразил, кто пришел, но, догадавшись, вскрикнул:

— А! Весьма рад видеть! Извиняюсь, что не могу подать руки, застаете за хозяйством, черт бы его побрал со всеми этими кобылами! Предпочел бы, чтоб лошадь мне мыл конюх, но что поделать? Я тут Робинзоном. Видите? Все мое хозяйство.

Волосатой рукой с засученным рукавом он бегло указал свое хозяйство. Правда, оно было скудно. В ожидании наследства Гавронский жил в избенке, сколоченной из плохонького лесу. Рядом конура для собак, жиденький сарайчик, какой-то шалаш и небольшой огород. Всюду щепки. С заднего крыльца выглядывал мальчишка.

Они прошли в первую комнату, где были следы человеческого жилья — несколько мягких кресел, диванчик, фотографии. Бенедиктов сел, а Гавронский извинился и вышел за перегородку: там он плескался в воде и фыркал.

Бенедиктов осмотрелся. На стене висела медвежья шкура, над ней оленьи рога, и развешано оружие: кавказская сабля, винтовка, двустволка и пара револьверов. Увидев револьвер, Бенедиктов насупился. Не то, чтоб он боялся смерти. Он много о ней думал в последнее время. Но все же у него на сердце похолодело. «Глупые нервности, глупые нервности»,— подумал он почти вслух и побарабанил по столу.

В это время вошел Гавронский. Он был расчесан на боковой пробор, даже взбрызнут духами, но глаза его беспокойно горели, и во всем нем было возбуждение, нервный подъем.

— Хорошо, что вы пришли ко мне,— сказал он.— Во-первых, я всегда один, как черт, это меня утомляет, и я готов бить сукиного сына Яшку. Во-вторых, тут довольно удивительная история, и я не я будь, если вы в ней не примете участия!

Гавронский подошел к шкафику, заменявшему буфет, и достал бутылку коньяку.

— Это не то, я не про коньяк,— бормотал он.— Коньяк мы выпьем вместе, само собой разумеется.— Я говорю про другое, гор-раздо более интересное и важное. Пейте!

Бенедиктов отказался.

— Если что-нибудь нужно, я могу помочь, сколько в силах,— сказал он.

— Ну, конечно, сейчас видно порядочного человека. Мало вас знаю, несколько раз у Зинки встречал, но сразу понял: настоящий. При этом,— сказал Гавронский, наливая себе еще коньяку,— я уверен, что вы сочувствуете делам любви. А? Верно?

Бенедиктов менее всего ждал такого вопроса.

— Почему? — спросил он.— Почему я должен сочувствовать делам любви?

— Ну, не должен, это я так, просто потому...— Гавронский вскочил, схватил фотографию дамы и сунул Бенедиктову.— Кумир, восторг, любовь! Для нее жизни не пожалею. Скажет: «Гавронский, высунь язык, беги за экипажем в пыли пять верст»,— побегу. «Сделай подлость»,— сделаю.

Он налил себе еще рюмку, поерошил волосы и сказал покойнее:

— И душу свою погублю. Я живу на этом хуторишке, как идиот, как балда. Если,— прибавил он трагически,— у меня отнять любовь, то мне останется самоубийство.

Бенедиктов отложил карточку и угрюмо буркнул:

— Если вы любите, то это, конечно, прекрасно.

— Да, да, милый, я вам недоговорил,— произнес вдруг живо Гавронский.— Вы ничего в моих делах не понимаете...— Он на минуту замялся.— Но вид ваш внушает доверие, хотя, кажется, вы заняты другим.

Он налил себе коньяку и продолжал:

— Вы попали ко мне удивительно, уди-ви-тель-но!

В это время вошел Яшка:

— Петр Сергеич, хвосты лошадям подвязать?

— Вот, вот, видите? — Гавронский кивнул Яшке утвердительно и продолжал: — Вы попали ко мне в тот самый день, когда... Ну, словом, это замужняя женщина, и я сегодня вечером ее увезу. Поняли? Мы бежим. Я поселяю ее в своей скромной избушке, и это будет восторг, блаженство. Понимаете ли вы меня, я вас спрашиваю?

— Понимаю,— ответил Бенедиктов и не мог не улыбнуться.

— Вы же будете моим, так сказать, шафером. Кроме того,— прибавил он таинственно,— вы равнодушны к опасностям? Ее стерегут, и мы должны вооружиться. Но я уверен, что вы не трус.

Бенедиктов чувствовал, что наполовину все это правда, наполовину чепуха: но, к собственному удивлению, ничего не возразил.

Гавронский торопливо надел белый китель, причесался.

— Хорошо,— сказал Бенедиктов.— Я возьму этот револьвер.

И он снял его со стены, положил в карман. «Вот, все само и устраивается. Не надо даже предлога искать».

— Ладно,— говорил Гавронский,— посидите на крыльце, я одну минуту, взгляну, как там Яшка с лошадьми управился.

Оба они вышли. Бенедиктов сел и полузакрыл глаза. В голове его мутилось, по всему телу разливалась слабость, граничащая с оцепенением.

«Я поеду с ним, а потом уйду, куда-нибудь в луга, подальше, и там все кончится». Он потрогал себе голову, руки, погладил коленку. «Большая голова, большое тело, и страшно некрасив, чуть не урод. Таких надо истреблять. Мое положение фальшиво: и вообще, и относительно Зинаиды».

Тут Бенедиктов густо помалиновел. Он знал наверно, что Зине физически почти противен. Он слегка застонал, и опустил руку в карман, где лежал револьвер. Быть может, здесь же, на крыльце домишки Гавронского, ожидавшего через два часа счастья, он прострелил бы себе череп, но тут подбежал хозяин.

— Готово! — крикнул он.— Едем. Э, да как вы бледны!

— Я не особенно хорошо себя чувствую,— ответил Бенедиктов.— Вероятно, от этого.

— Момент! Мы знаем средство, как говорят поляки.

И Гавронский снова притащил коньяку.

— Пейте, целый стаканчик, сразу!

И он налил полную серебряную чарочку.

— Для храбрости, имейте в виду!

Бенедиктов на этот раз выпил. Ворота сарайчика растворились, и на караковой паре подкатил Яшка.

— Садитесь,— сказал Гавронский,— револьвер взяли? Отлично.

Бенедиктов сел медленно, Гавронский запер на ключ свое логово, и легко вскочил с левой стороны. Яшка дернул, они покатили.

Перед ними пылал закат, направо уходили вдаль луга, и от быстрой езды Бенедиктова душило пряным, дивным воздухом. Коньяк несколько опьянил его. Авантюра, куда увлекал его Гавронский, быстрый бег лошадей, кровавый закат — все это было странно. Бенедиктов как-то недоумевал.

— Стой! — закричал вдруг Гавронский Яшке.— Стой, слезай!

Яшка приостановил лошадей.

— Ехать не умеешь,— сказал Гавронский.— Садись с барином, вожжи давай.

И он перемахнул на козлы, а Яшка все-таки не сел к Бенедиктову: он потеснился на козлах и неохотно дал вожжи Гавронскому.

Действительно — разница вышла большая. Гавронский хлестнул, гикнул, и так одернул коренного, что тот сразу подхватил вскачь. Дорога, луга, копны, закат — все сливалось теперь для Бенедиктова в мчащийся калейдоскоп, напоенный запахами, звуками.

— А? — обернулся Гавронский.— Здорово? Слушайте: если Вера сегоня не выйдет, я пулю себе в лоб пущу, клянусь!

Фуражка его съехала набок, он сидел на облучке, заложив ногу за ногу, и, глядя на него, казалось, что ему действительно ничего не стоит слететь вниз, под колеса ли тележки, или в овраг, все равно.

— А вы не боитесь? Штатский? Студент?

— Отлично,— ответил Бенедиктов.— Гоните!

Дорога шла теперь немного под гору, они сделали поворот, и что есть духу понеслись вниз к речке, на мостик без перил.

— Э-эх! милая, не выдавай!

Бенедиктов спокойно глядел на этот несшийся навстречу ложок. Он ни о чем не думал, но, вероятно, все его существо смутно летело туда же.

Коренник рассчитал верно, уместилась и пристяжка, и, прогрохотав по жиденьким мостовицам, они выскочили на песчаный берег. Лошади пошли шагом — в горку.

— Я загадал,— сказал Гавронский, сняв фуражку и полуобернувшись,— если благополучно, значит, Вера выйдет.

— Да,— ответил Бенедиктов.— Вера, конечно, выйдет.

Он не знал и сам, почему так ответил. Но в эту минуту был действительно уверен, что к Гавронскому непременно должна выйти Вера.

«Он ее бросит через полгода, или через месяц, но сейчас она выйдет»,— подумал он.

Гавронский отирал со лба пот, на лошадях белела пена, и они тяжело дышали. Пламень в небе унялся. Он перешел в темный пурпур; а на другой стороне небо стало фиолетовым и в нем зажглась первая звезда. Где-то в лугах засветился огонек. Потянуло влагой, туманом. Кричал дергач. Два перепела заливались в хлебах.

Гавронский стал вдруг молчалив и мрачен. Правда, его беспокоило, выйдет ли Вера. Он уже не кричал, не гикал, и до самого щербатовского парка ехал шагом, не проронив ни слова.

III

Щербатовский парк был огорожен плетнем и одним боком выходил на большую дорогу.

На углу, в заборе была сделана калитка, и рядом скамеечка. Еще издали заметил Гавронский на ней белую фигуру.

— Вера,— сказал он.— Боже мой, что за женщина... Послушайте,— обратился он к Бенедиктову,— вам придется сесть на козлы с Яшкой. Ничего?

На ходу они поменялись местами. «Если б я собрался увозить Зинаиду,— думал Бенедиктов,— или даже назначить ей свидание, это было бы смешно и пошло. А тут ничего».

Яшка подъехал совсем тихо. Фигура отделилась, Гавронский соскочил и бросился к ней. Через минуту неизвестная Вера сидела уже в тележке, задыхаясь от волнения.

— Только скорей, пожалуйста,— сказала она подавленно.— Могут хватиться.

Яшка тронул, Бенедиктов вновь схватился за скобу, но не оглянулся.

Кто такая эта Вера, он не знал. «Пусть примет меня за лакея Гавронского,— подумал он, усмехнувшись.— Это неважно». Сзади, за спиной у него, молчали и, как слышно было, целовались. Бенедиктов снова усмехнулся: «Я увожу какую-то Веру для какого-то Гавронского, сижу ночью на козлах, и мы скачем в темноте, в неизвестном мне месте. Все давно надо было кончить. Да, они едут и целуются, не подозревая, что у меня в сердце смерть».

Он вздохнул и незаметно для себя сказал:

— Нужны ли кому мои страданья? — Никому!

Гавронский встрепенулся:

— А? Да, Вера, позволь тебя познакомить. Это мой новый друг, студент Бенедиктов.

Бенедиктов обернулся и снял перед Верой ветхую фуражку.

— Здравствуйте,— сказал он.— Я вас не знаю. Но пусть будет счастлив ваш приход в жизнь Гавронского.

— Вы так говорите,— ответила Вера,— точно вы поэт.

— Нет, я не поэт. Я репетитор, здесь, в имении.

— Ну, наверно, пишете стихи,— туманно пробормо-

тала Вера, и опять прислонилась головой в светлой шали к плечу Гавронского.

— Бенедиктов,— сказал Гавронский, уже на «ты», как к старому приятелю,— не отнекивайся, наверно, пишешь. Почему ты так мрачен?

Возвращались другой дорогой — в объезд. Это сделано было по стратегическим соображениям: Гавронский ждал погони со стороны мужа, земского начальника Павлова. Потому и направлялись к перевозу через Оку.

Яшка гнал опять сколько мог, и скоро они очутились у парома.

К удивлению, паром оказался у этого берега, и даже в караулке паромщика светил огонек. На стук тележки вышли двое перевозчиков. Вера закуталась с головой.

Когда вынули жердь, лошади опасливо ступили на танцующий помост. Колеса забарабанили и остановились, где покрепче. Жердь заложили и взялись за канат. Слез и Бенедиктов и стал рядом с паромщиком, шаг за шагом двигаясь за ним,— они тащили канат. Слегка поплескивая, паром тронулся. Впрочем, этого нельзя было заметить. Пахло рекой, мерно лопотало что-то у плота, лошади пофыркивали. Река совсем тихая, тонкий пар над ней, но все же видны отраженья звезд, расходящаяся рябь за паромом ломает их, они танцуют.

Идя за канатом, взявшись за лямку, Бенедиктов смотрел на стальную поверхность реки. В бесчисленных звездах, дальнем гиканье выпи, в отмели, смутно белевшей, была тоска. Близость Веры, чем-то напоминавшей Зинаиду, сделала тоску еще пронзительней. Вспомнив мучения последних недель, Бенедиктов бросил канат и подошел к другому борту. Как вечная фантасмагория, бегучий обман, струилась перед ним вода, и струи казались волшебным и лживым сновидением. «Да,— подумал он,— к чему страдать, бесцельно терзаться в ловушке? Все ложь». И холодеющая его рука опустилась в карман. Он взял револьвер, но тут же с огненной ясностью почувствовал, как трудно поднести его к виску. Он слегка охнул и скрипнул зубами.

Паром ткнулся о берег, Бенедиктов покачнулся. Вынимали закладки, причаливали.

— Бенедиктов, садись же, едем.

— Я пойду пешком, прощайте.

— Да не стесняйся, довезем!

Бенедиктов сошел с парома и ступал по прибрежному песку.

— До свиданья,— крикнула Вера,— дай Бог и вам счастья!

Бенедиктов снял фуражку и махнул ею. Потом зашагал своей дорогой, а тележка с Верой и Гавронским загремела и скрылась.

Он не надел фуражки и шел с непокрытой головой под темным, звездным небом. Он очень плохо видел и опирался на палку. Среди безбрежных лугов, под безбрежным небом он был, как заблудившийся путник. Наконец, остановился. «Что же, сейчас? Здесь, на этом месте?» У него захватило дыхание. Как две волны, столкнулись в его душе противоположные чувства: он не мог поднять руки с оружием, и не мог он вернуться так домой, и задавать Леве на завтра уроки.

Под тяжестью своего бремени он сел. Здесь было темно, одиноко, не стыдно. «Ты — несчастная тварь,— шептал ему демон,— твой удел горе, отчаянье, бедность... Кто полюбит тебя? Ты — ошибка творенья. Исправь ее».— «Вся твоя жизнь пред тобою,— говорил кто-то другой,— вспомни ее. Ты был чист и честен с колыбели. Ты не поддался в нежном детстве, и теперь, ты, пишущий о святом Франциске,— отступаешь? Ты сдаешься, рыцарь?»

— Господи, Господи! — сказал вслух Бенедиктов.— Что же это? За что?

Он замолк, и замолкло все в его душе. Он сидел в оцепенении, без сил, без воли, уставившись в одну точку. Неизвестно откуда, и почему, предстало перед ним в ту минуту видение — далекое, детское. Он внезапно увидел весеннюю ночь, под праздник Пасхи. Он, мальчик, переезжает на пароме разлившуюся Оку. Разлилась она бесконечно, затопила луга, кусты, и жутко смотреть в ее темень маленькому человеку. Но он возвращается домой, на каникулы, дома ждет мать. В церкви, на том берегу, огоньки, это пасхальная заутреня. Звезды на небе чисты. Золотой свет их, золотое сияние заутрени не даст в обиду маленького человека. И он стоит у борта парома, слышит, как жуют и посапывают лошади. К нему близится далекий, родной край.

Бенедиктов вдруг почувствовал, что, если он просидит еще минуту, сердце его разорвется. Сделав над собой огромное усилие, он встал, и тяжелыми, бессмысленными шагами зашагал по берегу. «Да, ничего не понимаю. Не знаю. Да. Как будет? Где я? Где Гавронский?» — так полубессмысленно шептал он.

И он шел по самому берегу реки. Он совсем уж не понимал теперь, куда, собственно, идет, но двигаться все же было легче, чем сидеть.

Так набрел на плоты, стоявшие у самого берега. На краю одного из них, ближайшего, горел огонек под таганком, и сидел мужик. Бенедиктов почему-то остановился и стал на него смотреть.

Седоватый мужик в лаптях и чистой рубахе встал и подошел к самому краю. Приложив руку к глазам и вглядевшись, спросил:

— Что надобно?

— Ничего,— ответил Бенедиктов.

Мужик, видимо, остался недоволен.

— Ничего,— сказал он хмуро.— Намедни один круг плотов шлялся, тоже ему ничего было, а потом у Семки зипун пропал. И как время выбрал, сукин сын: только на час я вздремнул, а уж он вот он...

Бенедиктов вдруг захохотал:

— Я зипуна не украду, не бойся.

Смех его звучал истерически.

— Тебе чего это так смешно? — спросил мужик.— Что по-барски одет, так и зипуна украсть не можешь? А я почем знаю, кто ты такой?

Предположение, что он может украсть зипун, несколько прояснило Бенедиктова. Он сел на песок, скрестив ноги по-турецки.

— Я не барин, вот в чем дело. Я так себе... никакой.

Старик поуспокоился тоже, отошел, и сел у таганка.

— Значит, безработный?

— Нет, работу имею.

— Что ж ночью шляешься, как шалый?

— А стало быть, шалый и есть.

— Пустое это все, баловство.

Бенедиктов резко повернулся и надел фуражку.

— Ты этого не можешь знать, баловство или не баловство. Разве ты про меня что-нибудь знаешь?

— Ничего не знаю. А зачем шляешься?

— То-то и вижу, что не знаешь,— сказал Бенедиктов серьезно и сдержанно.

Он вынул револьвер и показал мужику:

— Я из этой штуки на щербатовском перевозе чуть себя не убил. Понимаешь — себя? А ты говоришь — баловство.

Старик удивился.

— Чудной ты,— пробормотал он.— Одно слово: чудной. На себя руки наложить. До чего дошел! Что ж, душу чью загубил, или обворовал кого, деньги растратил?

Бенедиктов слегка похолодел. «Откуда у него право спрашивать меня?» И он не ответил себе, но показалось, что это не так нелепо.

— Нет, никого не убивал, и денег не растрачивал.

— Так что ж ты?

Бенедиктов помолчал с минуту и ответил:

— Очень мне жить плохо.

— Жить плохо? Какой скорый. А ты знаешь, кому хорошо жить?

— Может быть, и другим плохо. Мне от этого не легче.

Бенедиктов стал волноваться и раздражаться.

— Ну, чего разговаривать,— сказал он хмуро.— Я пойду. А то ты думаешь, что я зипун у тебя стащу.

— Так,— произнес старик.— Куда ж ты теперь пойдешь? Ночь, темень, а ты, ровно зверь, выходишь шляться.

«Ровно зверь! — подумал Бенедиктов.— Что ж, может, и правда я похож сейчас на дикого зверя. Ну, не хочу болтать с ним!»

Однако, он не встал. Он продолжал сидеть по-прежнему, в прежнем оцепенении.

— Знаешь ты,— сказал он вдруг,— что такое смертная тоска?

И, сказав это, Бенедиктов вдруг почувствовал, что в душе его вспыхнуло огромное, пожирающее пламя жалости к самому себе. Точно все, что копилось в нем за долгие годы одинокой жизни, холода, страданий, что вело его на хуторок Гавронского, взорвалось сейчас, с этой короткой фразой. Он стиснул зубы, сделал над собой усилие, чтобы не зарыдать.

Старик вздохнул.

— Это мы знаем,— ответил он покойно, тоном человека, которому многое известно в жизни.— Это мы понимаем.

Минуту он помолчал, потом сказал другим, несколько глухим голосом:

— У нас у самих сын был. Вроде тебя годами. Очень просто и вышло. Ехал, стало быть, зимним делом, вечером, на розвальнях. Навстречу земский. Друг дружке не свернули, вышла у них ссора. Земский его по морде.

А Ваня сильней был. Развернулся, дал ему раза, два, три. А тот Богу душу отдал.

Бенедиктов сдержал себя, прислушался. Старик услыхал его вздох и продолжал:

— Ваню моего, значит, судили. По военному суду, как он чиновника жизни решил. А Ваня и не целил, чтобы его убивать: в драке, рука размахнулась. Засудили. К смерти, к через повешению.

Он приостановился немного.

— Вот он нам тогда со старухой письмо прислал, из тюрьмы. Там и про то написал, как ты говоришь, что пред смертью тоскует.

— Это когда ж было? — спросил хрипло Бенедиктов.

— Тому назад три месяца.

Старик опять помолчал.

— После того вскорости моя баба померла. Все голосила, забыть не могла. Я один остался.

Бенедиктов почему-то встал. Старик задохнулся. Бенедиктов все стоял, и не мог оторваться от него — все смотрел.

— Поди сюда,— сказал вдруг старик.— Ко мне.

Бенедиктов вскочил на плот. Под ногой его скользнуло бревно, не крепко вшитое. Но он удержался, не упал.

— У меня тут письмо,— сказал старик.— Прочитай, сделай милость.

Он полез в кисет, долго рылся и вытащил, наконец, бумажку. На ней карандашом было что-то нацарапано.

Руки Бенедиктова вздрагивали, когда он стал медленно читать эти строки при свете огонька под таганком, под вышним блеском звезд.

— Не торопись,— сказал старик,— чтобы все понятно было, с толком.

Пока читал Бенедиктов простые, величаво-народные обороты: «Низко вам кланяюсь, батюшка и матушка, и, в чем виноват, прощу прощения»,— старик кивал и поддакивал.

— Прощения просит. А земского и не целил убивать. Так.

Наконец Бенедиктов дошел до места: «А как завтрашний день должен я на виселице жизнь свою кончить, то пожалейте меня, батюшка и матушка, потому очень мне тошно в молодых годах умирать. И как есть я грешник, то помолитесь за упокой моей души».

— Ну? — сказал Бенедиктов, и близорукий взор его из-под большого лба пылал,— ну?

Он не знал, к кому обращался, и какого ждал ответа. Старик молчал. Бенедиктов отдал ему бумажку, поднялся, и сверху вниз глядел на него. Огненный вихрь проносился в его душе.

Вдруг он опустился, нагнулся и поцеловал худую руку старика. Все это произошло мгновенно.

Большим, неуклюжим прыжком он соскочил на землю.

IV

Бенедиктов быстро шагал,— насколько мог быстро — в ночной тьме. «Смертная тоска,— вертелось в его голове,— он умер. Я тоже умираю. Пора». Он знал, что подходит к пределу — все сейчас должно произойти. Он не мог быть больше с этим стариком. Какая-то сила — вероятно, та же, что вела его к Гавронскому,— увлекала теперь в тьму лугов, где наедине с собой он должен был принять последнее решение.

«Смерть вокруг, смерть!» — неслось в его голове. Он почти физически ощущал ее, душа потрясалась страшным приближением. Но вместе рос и странный, непонятный подъем.

«Он — это то же, что я,— бормотал Бенедиктов.— Мы все одно. Я, и старик, и сын, и все гибнущие — мы одно. Мы встречаемся и обнимаем друг друга в одном объятии. Это объятие — смерть. Так будет. Да исполнится воля пославшего».

«Как пославшего? Разве мы посланы затем? Ну, с ума схожу,— вдруг с ужасом ощутил он.— Это все не то. У меня дело. Зачем я вышел? Меня перебил, расстроил старик, нелепый разговор. Все очень просто».

В этот момент Бенедиктов сослепу наткнулся на копну. Он потерял равновесие и упал лицом в ее благоуханную грудь. «Да, сейчас, сейчас». И он снова застонал. Говорила ли его молодость, неясный и могучий зов его существа, хотевшего жить и быть счастливым? Он знал, что через секунду случится непоправимое, и та тоска, что терзала его брата Ивана, или его самого в облике этого Ивана, подступила к горлу ледяной волной. Казалось, он и сам сейчас умрет.

Все лежа, не оглядываясь и ничего не видя, Бенедиктов вынул револьвер. Слабеющей рукой он поднес его к виску, но не мог хорошо приладить. Казалось, что, если секунду он промедлит, будет поздно. Он спустил курок.

Верно, в последний момент дрогнула его рука, или мотнул он головой в сене. Сквозь закрытые веки блеснуло в глазах, раздался удар, оглушивший его, и судорожно он метнулся всем телом.

Потом затих. Он не ощущал боли и сознавал, что жив. Но не мог двинуться,— такое бессилие и онемение нашло на него, что он лежал ничком на копне, как труп. «Ну? Ну, что ж?»

Ничего не было. Все кончилось. Наступило безразличное, ровное состояние, в котором как бы задремал дух. Мелькали иногда куски виденного: паром, плеск воды, но бессвязно. Так продолжалось некоторое время; затем Бенедиктов почувствовал, что в сердце его что-то теплеет, растаивает. Легкое, сладостное волнение овладело им. Он вздохнул. Потом приподнялся. «Осторожно,— сказал он себе,— понемногу». Он боялся разлить то новое, и особенное, что появлялось в нем.

Он снял фуражку, провел рукой по волосам и сел. Ему казалось, что он становится легким и стеклянным, и при неловком движении может разбиться. Еще удивило его то, что теперь он все хорошо видел. Видел небо, полное звезд, темный воздух, трепетавший сейчас, и прозрачный. Он видел свою копну, знал, что вокруг еще копны, и тишина звезд была необычайна, и легка, и воздух был не воздух, а эфир, в котором плыло окружающее. Жаркие волны восходили уже выше сердца, и Бенедиктов, как бы подымаемый ими, встал, и медленно, широко дышал. Казалось, грудь может вместить страшно много этого нового воздуха, и жаль было бы не вместить столько.

Наконец, волна достигла горла, и тогда Бенедиктов издал вопль, и опустился на землю. Он, наконец, рыдал — теперь уже безудержно, потрясаемый неизвестной силой, *пронзившей его своими молниями.*

Спустя несколько времени он снова поднялся. Руки его вздрагивали, глаза были мокры. «Жив,— сказал он себе.— Боже мой, я жив!..»

И он пошел, как бы в восторженном полусне. Был ли он опьянен, или безумен? Бледнел рассвет. Седая роса серебрила луга, низко стлался туман. Небо стало тоньше и выше. «Что такое? — бормотал Бенедиктов.— Я стрелял в себя?» Он будто только что проснулся. Ему казалось, что сзади лежала какая-то смутная и страшная бездна, едва его не поглотившая. Он готов был даже считать это за наваждение. «Я чуть не убил себя, я, я!» Если б не был

он так полон нового, сияющего и звенящего, он мог бы впасть теперь в отчаяние. Но он далек был от всего такого. «Да, стрелял, а теперь иду, мне навстречу встает солнце, я иду, и поют птицы, и в душе моей звучит ответная песнь. Я иду, я иду».

В легких тучках подымалось солнце, и лучи его неслись сквозь облака, как стрелы небесного воинства. «Все мое»,— чувствовал некрасивый человек, шагавший по серебряному лугу, и верно, все ему принадлежало, и он принадлежал всему. Быть может, эти минуты были высшими в его жизни.

Когда он проходил в парке по той же дорожке, где вчера шел на смерть, те же воробьи возились в вишнях, но они были и не те. «Все прочно, все на своих местах,— думал Бенедиктов, несколько успокоившись.— Мне открылась истина. Все понятно мне, все ясно». Он остановился на минуту у большого дома, где в мезонине жила Зина. Странно, удивительно ему было! Сколько страдал он из-за той, кто спала за этими шторами, но теперь для него все это обращалось в былое. «Нет, нет, мимо, дальше. Прочь отсюда».

На крыше мезонина стоял флюгер, в нем эолова арфа. С набежавшим ветерком она издала нежный, жалобный стон. Было похоже на то, что это гении ветра, благосклонные ему, шлют ему прощальный привет.

Он вошел в свой флигель — трудовую келью, где лежали книги, где ждал его св. Франциск. Это все было его. Он взял со стола книгу и раскрыл. Его взор упал на строки: «На заре крики горных соколов будили св. Франциска на высотах Альверны».

1912

АКТЕРСКОЕ СЧАСТЬЕ

I

За тридцать пять лет жизни актриса Попелло-Козельская успела нажить себе сына. Было трудно, когда он родился: актриса кочевала по России, как сотни и тысячи ее товарищей. Но все казалось, что через два года пригласят в Москву, в Малый театр на хорошие роли. В провинции она играла grandes dames[1], с жалованьем до ста рублей. Она была легкомысленна и высокомерна. С ранних лет внушила она мальчику, что он тоже будет на сцене, дала ему поэтическое имя Игорь, и уверила, что по отцу он древнего, княжеского рода.

Правда, была она временно замужем за антрепренером Попелло-Козельским, и верно, что его род шел из Литвы. Но до князей было далеко, а главное, она забыла, что отцом Игорю приходился актер Труханов, пламенный первый любовник, бивший иногда возлюбленных палкой.

Была ли это интрига, но Попелло-Козельскую в Малый театр не приглашали. Таскаться с мальчиком, будущим гением и князем, из Вязьмы в Пензу и из Рыбинска в Житомир становилось труднее. Актриса чаще раздражалась, и теперь выходило, что главная причина ее неудач — Игорь, вечно виснущий на хвосте. Чтобы облегчить себе служение искусству, Попелло-Козельская, подумав и поволновавшись, решилась однажды, проезжая через Москву, на следующее: она оставит Игоря на сезон у комической старухи Иваницкой, а там видно будет.

Иваницкая была сырая женщина, добрая и одинокая.

[1] барынь *(фр.)*.

Служила в частном театре. По мнению Попелло-Козельской, мальчика на зиму у себя не оставила бы. Grande dame решила идти напролом: в день отъезда она завезла Игоря к Иваницкой, сказав, что заедет. Но не заехала, а с дороги прислала письмо, полное слез, где именем старой дружбы молила простить: Игоря она никак не могла взять с собой. Иваницкая была поражена.

II

Молодой Попелло-Козельский, которому было девять, остался у Иваницкой. Она не скрыла, как обошлась с ним мать, и хотя страстной любви к матери Игорь не чувствовал, все же был поражен и рыдал в подоле комической старухи.

Потом, успокоившись немного, на вопрос, что же делать и как с ним быть, ответил твердо: пойдет в актеры и разыщет мать.

Иваницкая оставила его у себя. Он умел уже читать, был тонок, тощ. В голове его закипал жар театра. Иваницкая поколебалась было — не отдать ли его учиться в школу: но и сама она была насквозь актриса, выросшая при театре; к тому же, подвернулся случай — играть ребенка в нашумевшей пьесе; впервые Игорь увидел рампу.

Это решило его судьбу. Он выходил на сцену с локонами, в бархатной курточке и белых воротничках, его ласкали, из-за него по действию выходили трогательные пассажи. В антрактах актриса Гулевич, премьерша с худенькой фигуркой, большими глазами и бледными руками, кормила его конфетами, если бывала в духе. Игорю она нравилась, хотя в театре ее не выносили. Она была способна на слепое бешенство, когда ее худое лицо искажалось, и она запускала туфлей в парикмахера, ругала плотников неприличными словами, и раз от гневного волнения лишилась чувств. Но Игорю казалось все это необыкновенным. Он решил, что и сам будет таким, когда вырастет. Впрочем, дружба эта продолжалась месяц. Игорь попался ей в дурную минуту, наступил на платье и оборвал. Она дала ему такую пощечину, что старуха Иваницкая ходила объясняться. Она выругала и Иваницкую.

Игорь же отказался выступать с премьершей. Вместо него нашли другого мальчика, а он остался не у дел, но не разлюбил театра: напротив, он с каждым днем к нему прирастал и не мог другим интересоваться. Иваницкая заме-

няла ему мать. Он ходил с ней на репетиции, дожидался ее и, сидя на уголке кулис, мечтал, как он вырастет и будет знаменитым актером. Ему казалось, что нет на свете лучше дела, чем выходить в костюме и парике к рампе, изображая замечательных людей: королей, героев, полководцев.

Двенадцати лет он говорил Иваницкой:

— Когда я вырасту, то буду играть Макбета.

И он рос среди преувеличенных чувств, позы, париков и румян.

Ему исполнилось семнадцать, когда Иваницкая устроила его, наконец, в провинцию к знакомому антрепренеру. Он ехал в Кострому с восторгом. Правда, Макбетом здесь и не пахло: он получал тридцать пять рублей и подавал на сцене письма, якобы на серебряных подносах, бывал пажем, пейзаном, иногда проходил в отряде телохранителей с легонькими секирами.

Добрая Иваницкая была рада, что пристроила мальчика, и, действительно, пора было: она сыграла уже на своем веку сотни комических, архикомических и полукомических ролей, как многие комики, скопила глубокую печаль и последние годы чувствовала усталость.

Она была честным лицедеем, и на другой год, как выпустила на свет Божий молодого Попелло-Козельского, опочила сама: с ней сделался на сцене удар, отнялась половина тела. Скоро столичные актеры провожали на кладбище ту, кто долгие годы веселила публику.

Попелло-Козельский горько плакал, узнав о ее смерти. Его слезы были тем больней, что в них вмещался и укор бежавшей матери. Ее он тоже не забыл, и давняя обида не заживала в его сердце. Он все расспрашивал о ней, старался найти след и встретиться. Его воображению, настроенному на артистический лад, представлялось, как они встретятся, и между ними произойдет трагическая сцена: но эти фантазии были напрасны. Попелло-Козельская, не успев доказать, что их род княжеский, и не добившись амплуа Ермоловой, на год раньше Иваницкой уступила поле битвы: она умерла в Николаеве, в городской больнице, от тифа. Она была легкомысленна, но то, что она бросила сына и семь лет не видала его, мучило ее непрестанно, хоть она и уверяла себя, что у Иваницкой ему лучше. Если бы Попелло-Козельский видел перед смертью мать,— постаревшую, одинокую, умирающую на чужих руках на жесткой постели претендентку на герб

князей,— быть может, он пожалел бы ее и простил.

Но он был молод, ему хотелось любви, успеха, славы. Хотя в его жилах текла кровь известного Труханова, таланта первый любовник не передал ему. И актеры, и антрепренеры знали, что Попелло-Козельский карьеры не сделает. Не понимал этого только он: он был в мать самоуверен, и лишен самокритики.

Впрочем, вышел раз случай, что и его похвалили. Он играл со знаменитым в провинции гастролером и знаменитым пьяницей.

Пьяницу вызывали однажды бешено, он был навеселе, счастлив, гимназистки бросали ему цветы. Когда в третьем действии опустили занавес, он вдруг обнял подвернувшегося Попелло-Козельского, поцеловал его и сказал:

— Ну? Доволен успехом?

Как будто его лаврами мог быть доволен Игорь, молча подававший ему в пьесе шубу.

— Талант! — прибавил гастролер.— И ты талант! Верь мне.

После спектакля оба они напились до бесчувствия.

III

Попелло-Козельскому было двадцать пять, когда он начал уже волноваться и раздражаться из-за своей работы. Ему казалось, что он не хуже кого-нибудь сыграет, например, Макбета; но ему не давали и вторых ролей. Весь его успех и движение вперед состояли в том, что с тридцати пяти рублей он поднялся до пятидесяти, а последний контракт в Харьков подписал на пятьдесят пять.

В Харькове он познакомился с актрисой Сабанеевой. опереточной прелестницей за тридцать. Игорь был худ, горяч, энтузиастичен, и когда выпивал, то хлопал изо всей силы кулаком по столу. Иногда на него нападала трагическая меланхолия, он вспоминал о бедном Йорике, и говорил, что слава — это неверная любовница. Кажется, больше всего он доехал Сабанееву Йориком и неверной любовницей. Сабанеева была всегда добра к мужчинам, обладала могучими атурами, волновавшими гимназистов старших классов, когда они брали на ее бенефис ложу на «Зеленый остров»; но, как у многих толстух, сердце Сабанеевой весьма жаждало «поэтического» и меланхолического юношу. История с матерью Попелло-Козельского, его романически-княжеское происхождение довершили дело. Они сошлись.

Первое время их любви прошло бурно. Игорь оправдал надежды: он был многословен, напыщен, нервен, ревнив до последней степени.

— Жюли,— говорил он,— ты разорвала мое сердце пополам и с ненасытной жадностью пожираешь свою половину.

Сабанеева млела от таких фраз, томно откидывалась и выставляла руку для поцелуя.

— Но если ты мне изменишь — клянусь, это не пройдет тебе даром!

Она вздыхала. Ей нравился такой азарт, но про себя многоопытная Жюли все же называла его болваном. И не отказывалась от поддержки нефтепромышленника.

Так вошла она в жизнь Игоря Попелло-Козельского. С каждым днем он сильнее погружался в нее: ему казалось, что она обаятельная львица, Клеопатра, к ногам которой должны пасть царства; голос ее представлялся волшебным, и он негодовал, почему она изображает в трико разных подозрительных дам, а не поет в опере. С легковерием покойной матери он звал ее в столицу, требовал, чтоб она добивалась дебюта. Сабанеева хохотала и говорила:

— Ну, мальчишка! Шик!

Вышло же из этих разговоров то, что на следующий сезон он подписал с ней вместе в оперетку.

— Для моей любви,— говорил он,— нет жертвы, пред которой я бы остановился!

Хотя, как известно, и доселе он мало преуспевал, все же служил в театрах, где для открытия ставили Гоголя и Грибоедова. Теперь же отдался Оффенбаху. Он должен был при случае подпевать, приплясывать, и если приходилось изображать королей, то уже всегда таких, которые с трона пускались в канкан.

— Я гублю свой талант,— рассуждал он в подпитии,— но во имя любви. Впрочем, это, конечно, временно. Не заставят Попелло-Козельского быть шутом.

Но такие роли выпадали ему в жизни. Уже на второй год их сожительства он стал надоедать ей: во-первых, вовсе он не был так молод, как сначала представилось. Меланхолия его сводилась к укорам и вспышкам; княжеского ничего не нашлось. В общем, он ей скорее мешал.

Во время кутежей с поклонниками приходилось считать его дальним родственником, над чем все смеялись. Его напаивали, и с хохотом слушали проповеди, как надо

играть Гамлета и короля Лира. Конечно, он был жалок в отдельном кабинете кабака, со своим воодушевлением и пьяными слезами, при подруге, которую при нем хлопали по бедрам и многие покупали. Раз он ударил по лицу не в меру увлекшегося интенданта. Его вытолкали в шею. Жюли была страшно возмущена и перестала брать его в веселые поездки.

Но всего о Жюли он не знал. Он страдал, ревновал, но думал, что она просто легкомысленна и кокетка. О том же, что она продажная вся, он не подозревал. В его голове не было мысли, что Жюли, певица, которая не сегодня-завтра увидит рампу оперы, дарит свою любовь за новое платье, за браслетку, рецензию.

Однако, узнал он и об этом. В одну из бурных минут, когда Жюли запустила чашкой в горничную и назвала Игоря идиотом, она сама ему сказала, что жалованья на себя, да еще на него (он получал уже шестьдесят) не хватает, и она должна находить иным путем средства.

— Тогда надо жить скромнее,— сказал он, все еще не понимая.— Можно, например, переменить квартиру.

— Да,— ответила она, сдерживая ярость,— ты хочешь, чтобы я переселилась в подвал.

Попелло-Козельский загорячился, пробовал возражать, что он вовсе не хочет переселять ее в подвал, но было поздно: Жюли слишком долго терпела. Она выслушала его, потом молча встала, подошла, точно была она трагическая актриса, и, глядя на него глазами, «полными гнева и презрения» (как она думала), сказала с изяществом:

— Дурак.

Потом выдержала паузу и с наслаждением, чувствуя себя уж действительно Саррой Бернар, объяснила, что он ничтожество и тунеядец, ее прихлебатель, наемный любовник; она же, хоть и создана для лавров оперы, прозябает в провинции и вынуждена *торговать собою*. Она прибавила циничное слово.

Попелло-Козельский, у которого весьма рано появилась плешь и нервные подергиванья в мускуле щеки, проявил себя неожиданно: по примеру отца, славного любовника Труханова, он вдруг кинулся на Жюли с кулаками, завизжал и назвал ее кратким именем, которого она заслуживала. Вышло безобразно. Он сорвал с нее парик, она звала на помощь, их разнимали, и дело пахло участком.

Но для Попелло-Козельского это было уже неважно. Когда он срывал с нее фальшивые волосы, и перед его

глазами кривилось ее лицо, искаженное страхом, бешенством, он мгновенно, как-то сразу, понял, что Жюли — это обман, фантасмагория, которой он отдал свою молодость.

В ярости выбежал он из дому. Обида, отчаяние, позор, давили его. Он ходил по городу, громко с собой разговаривал, в величественной позе остановился у набережной, как бы собираясь броситься в воду; но не бросился — не удостоил губернскую реку своим посещением. На него вдруг нашел прилив гордости. Как? Он, Попелло-Козельский, которому знаменитый Самсонов сказал, что он талант, он, носящий почти княжескую фамилию, вдруг — прихлебатель, наемный любовник! «Юлия,— сказал он грозно, обращаясь к реке, спокойно и хмуро катившей осенние воды.— Юлия, ты раскаешься. Клянусь честью Попелло-Козельского! Ты узнаешь еще, кто я, когда мое имя прогремит по России!»

И весь остаток дня он провел, фантазируя. Он решил, что теперь пробил его час. «Моя любовь разбита, это призыв искусства. Муза трагедии зовет меня». Такая мысль страшно его воодушевила. Пора, пора! Довольно унижать свой гений, изображая опереточных королей. Довольно быть рабом стареющей проститутки. «Как это сказано? — старался он вспомнить.— Ну, из Пушкина, из Бориса Годунова: мне ль, мне ль, потомку Иоанна... кажется, так. Да. Унижаться... Нет: пред гордою полячкой унижаться! Великий Пушкин. Как выразил! Это прямо про меня».

Он много еще колобродил в тот день, который был, действительно, переломным в его жизни. Он окончательно убедился, что его миссия — сыграть Гамлета и, вероятно, еще Макбета. О, тогда Жюли узнает!

Ночевать он домой не вернулся, а отправился к знакомому суфлеру. Попелло-Козельский воодушевил и его, и они провели вечер в пивной, а ночью он не мог заснуть: все представлялось, как он безнадежно одинок и вместе велик, ибо в нем гнездятся уже образы мировой поэзии, и горе привело к тому, что, наконец, он воплотит их. «О, счастье, счастье! — восклицал он.— Как дорого платит за тебя человечество!»

Был ли он прав относительно человечества — неизвестно, но для себя не ошибся: на другой день с ним случился нервный припадок, и его свезли в губернскую больницу, в нервно-психиатрическое отделение.

IV

Попелло-Козельский выздоровел, но к Сабанеевой не вернулся. Он много мучился, но гордость взяла верх.

Дослужив сезон в оперетке, отправился в Москву за ангажементом.

В Москве он жил в грязных номерах «Константинополь», кормился в актерском трактирчике, где было отличнейшее пиво, и ходил в бюро. Он являлся туда в красном галстухе, с горящими глазами, и пот тоски и гордости выступал на его лбу.

Для смелости он выпивал чего-нибудь перед бюро и быстро пьянел — от жизни впроголодь. Тогда знакомая толпа бритых лиц становилась оживленней, сам он представлялся себе выше, и, проходя мимо зеркала, взглядывая на худое, морщинистое лицо с румянцем волнения, но «благородным» лбом и темными глазами, Попелло-Козельский думал: «Странно, почему меня не берут на хорошие роли!» Ему снова мучительно хотелось, чтоб его взяли, чтобы он показал, наконец себя.

Он забывал, что у всех, толокшихся здесь, были такие же мысли и так же они думали, что они красивее, талантливей и замечательнее других. Он не знал, что с этими же чувствами бродила здесь некогда его мать, так же горели ее щеки, так же глаза глядели с высокомерием и мольбой. И как тогда, так и теперь и в будущем, бог земных успехов невидимо реял над ними, окрыляя одного, пропуская мимо сотни.

Взяв, какой мог, авансик, проев его, сделав долг и в трактирчике, и в «Константинополе», Попелло-Козельский подписал, наконец, в Вологду на пятьдесят рублей в драматический театр.

Как и раньше, служил он на полувыходах. Вспоминал Сабанееву, выпив пива, кричал: «Проклятие!» и бил кулаком по столу. К женщинам стал относиться еще резче; и по тем же причинам, как и прежде, по бедности и отсутствию славы, в него и в Вологде не влюбилась ни одна гимназистка.

Но зато усилились в нем нервность, и мрачная мечтательность. Вечерами долго мог он валяться на убогой кровати, воображать себя великим актером, даже переживать, как казалось, некоторые роли. Тогда он становился раздражителен. Ссорился с товарищами, дерзил режиссеру. Понемногу его стали считать в труппе неудобным.

Он это видел. Но объяснял тем, что они чувствуют в нем существо высшее, завидуют, не дают ходу. Ложась спать и прикрываясь собственным пальто, Попелло-Козельский иронически улыбался врагам: «Ничтожества! Разве они понимают искусство? Мы одиноки, это и Пушкин говорил; как у него там? Ты — поэт, ты — царь, и живи один, что-то в этом роде, не помню, но неважно. Смысл такой».

И, полагая, что это сказано про него, Попелло-Козельский поворачивался на другой бок, голодный желудок его урчал, но в воспаленном мозгу слышались рукоплесканья, вой толпы, летели цветы.

Будто бы жива его мать. Она сидит в первом ряду, плачет и говорит соседке: «Как я счастлива, у меня гениальный сын. Я всегда так думала. И знаете — он потомок древних литовских князей, одна из ветвей Гедиминовичей».

После спектакля она приходит в уборную и падает в его объятия. «Сын, прости, что я бросила тебя. Это женская слабость, я уступила нужде, но всегда я тебя любила и верила в твой талант». Он тоже плачет, прощает, их снова осыпают цветами, и он ведет ее под руку в карету. Из кареты выпряжены лошади: их везет молодежь.

«Я отдал три года жизни той женщине,— говорит он,— для нее пришлось унизить искусство и служить в оперетке. Оттого я и запоздал. Но теперь догоняю».

Дальше все у него путалось, он засыпал. Утром же предстояло идти на репетицию, где он был занят во втором и четвертом акте — в массовых сценах, игравшихся десятком статистов.

Весною он снова был в Москве и снова жил в «Константинополе», пил пиво и ходил в бюро. Он делал это и в следующую весну, и еще в следующую. Плешь его разрасталась, он худел, становился раздражительней и вспыльчивей. Иногда встречался со старыми знакомыми, с кем играл восемь — десять лет назад. Их них некоторые обладали уже солидностью, носили перстни и цепочки поперек живота. Другие пресмыкались, как и он. Попелло-Козельский ненавидел первых и быстро напивался со вторыми.

Но из года в год ему становилось труднее: менялось время, люди; и в его лицедейском ремесле произошли перемены. Актеров стало меньше и больше кинематографов. Молодые актрисы нередко уже умели танцевать, и знали разные жалкие слова, каких Попелло-Козельский не

знал. Даже одеваться начали иначе, иные пошли манеры, иначе пили. Попелло-Козельский чувствовал, что отстает. Странны были бы теперь его претензии играть Шекспира, когда никто уже Шекспиром не интересовался. Но он не уступал. Бедность оттачивала его высокомерие, и он стал еще заносчивей с антрепренерами. Не раз и не два оставался он без работы.

Трудно сказать, как он жил. Пробовал изображать для кинемо, разыгрывал в клубах по два рубля, занимал, голодал, не платил за комнатку и падал духом. Раз ему прислала двадцать пять рублей Сабанеева, с посыльным. Уже несколько дней он не ел горячего. Но на листке бумаги, вложенном в конверт, где возвращались деньги, Попелло-Козельский написал: «Подаяния не принимаю. Артист горд». Последние слова он взял у Островского и был рад, что вспомнил их так вовремя.

Однажды, в ноябре, вскоре после этого, Попелло-Козельский шел вечером по Страстному бульвару. К нему подошла молодая проститутка Вера Гаврилова, по прозвищу Верка Пистолет.

По давнему обычаю уличных девушек, она обратилась к нему так:

— Бритый, дайте папироску!

Попелло-Козельский был рассеян, но от крайней нервности последнего времени вздрогнул.

— Пожалуйста,— ответил он и вынул из кармана коробочку, где было три штуки: одну он отдал Верке, другую взял сам.

Чиркнув спичкой, он увидел ее когда-то миловидное лицо, где могла еще блеснуть веселость (за что ее и звали Пистолетом), но уже с припухлостью под глазами. Она предложила пойти к ней, он согласился, прибавив, что денег у него — всего рубль.

— Я артист,— говорил он дорогой, волнуясь, горячась.— Я временно почти на улице, как и ты. Но это ничего не значит. Я своего добьюсь. Не зря же Самсонов говорил, что я — талант.

Верка Пистолет рассмеялась:

— Что ж у вас рубль всего? Ко мне тоже один ходил из театра, ничего не рассказывал, а потом мне Нюша говорит: «Он, милая, там в капельдинах служит».

Попелло-Козельский так обиделся, что чуть не ушел. Верка Пистолет поняла, что поступила нетактично. Актерский рубль ей был очень нужен, и она употребила все

изящество и кокетство бульварной Венеры, чтобы смягчить заказчика.

— Вы это оставьте без внимания,— говорила она, вводя его к себе.— Мало ли чего сболтнешь. Тот и из себя был другой. А вы, сейчас видно,— барин.

Попелло-Козельский выпил у нее пива, воодушевился и, к крайнему изумлению Верки Пистолета, принялся декламировать. Ей было смешно, но, как честная работница своего дела, она понимала, что сердить гостя нельзя. Когда же он выпил еще, в его взлохмаченных, полуседых висках и воспаленном взгляде появилось что-то больное. Верке стало жутко. «Полоумный,— подумала она,— как бы еще не зарезал!»

— Офелия,— вскричал он, становясь перед ней на колени,— помяни меня в своих молитвах!

— Пойдемте, господин, ляжем,— сказала Верка серьезно.

Она считала, что это наиболее подходит к положению и скорее успокоит артиста.

Отчасти она оказалась права, но именно отчасти: ибо все же гость ее явно не был похож на обычных посетителей. Ночью он будил ее, вскакивал, бормотал что-то, осыпал поцелуями и говорил, что не достоин ее. Явно, он принимал ее за другую. Но все же Верке, которую обычно называли кратким и выразительным именем, которую мог обидеть всякий, кому не лень, это был приятно. Она тоже напилась, уже глухою ночью, и оба заснули в странном, полубредовом состоянии.

Утром, когда нужно было уходить, Попелло-Козельский заплакал и сказал, что не может ее бросить. Удивление Верки Пистолета перешло всякие границы. Попелло-Козельский заявил, что будет жить у нее хоть в лакеях, но домой не вернется.

Никогда не было у Верки лакеев, и она не собиралась их заводить. Однако, слова Попелло-Козельского о том, что он любит ее, будет на нее работать и за ней ухаживать, произвели впечатление.

Кроме того, хотя Попелло-Козельский и выглядел странным, но был вполне приличен. Все же, посоветовавшись с хозяйкой, она ответила, что жить здесь нельзя, а пусть он к ней приходит когда вздумается, и она всегда будет рада.

V

Как и у многих девушек, честно торгующих собой, у Верки Пистолета было доброе сердце. Правда, она могла избить какую-нибудь Дуню Мышку, если бы та покосилась на избранника ее сердца; способна была грубо ругаться, быть может, вытащить у пьяного гостя рубль из кошелька. Но жалела бездомных собак, кошек, беспризорных детей, которых вокруг развращали, нищих, арестантов, своих товарок, вообще всех отверженных, в ком чувствовала себе родное.

Попелло-Козельского она понимала, как худого, облезлого кобеля. Он не приносил ей никакого «профита» — по выражению хозяйки. Но нравилось, что вот и к ней, как к настоящей даме, ходит человек уже немолодой и не за «делом», а просто так, иногда говорит непонятное, но ведет себя прилично и часто жалуется на судьбу.

— Даже очень напрасно себя расстраиваете,— говорила она ему.— Ваша жизнь такая, что нынче плохо, а завтра, может, работу получите и будете тысячи зарабатывать.

— Стар стал Попелло-Козельский,— отвечал он,— нищ, никому не нужен. О, женщины! Вы меня погубили. Слава, где ты? А между тем, мое сердце полно огня и священного бешенства, и я мог бы потрясти мир своим рыданием. Понимаешь ли ты, дочь улицы, великое искусство трагедии?

И, как некогда с Сабанеевой, Попелло-Козельский впадал в многословие, декламацию, и если не в священное, то в словесное бешенство.

— Смотри, Верка,— говорила хозяйка,— не доведет бритый до добра. Как бы посуду еще не перебил. И что ты в нем такое нашла, в толк не возьму?

Но Верка, защищая своего знакомца, говорила, что он артист.

Однако, и ее временами пугало возбуждение актера.

— Ну,— говорила она,— зарядил все одно: дураки да сволочи. Он только один умен.

— Вера! — кричал он.— Ты сама не понимаешь, что говоришь. Я вижу в тебе Офелию и блудницу, и иногда последняя берет верх. Берегись!

Однажды, когда Попелло-Козельский особенно разошелся и стал громить ничтожества, которые не дали ему пробиться к славе, а сами заняли привольные места,

Верка не выдержала: в ней прорвалась уличная девушка, та, кого он называл «блудницей». Она принялась громко и грубо хохотать.

Попелло-Козельский рассердился, обиделся и ушел. Он так расстроился, что решил никогда больше не приходить к ней: в конце концов, и она такая же женщина, как Сабанеева и другие. Так же она далека от его интересов, так же не понимает искусства и театра. «О, Боже мой! — вскричал он патетически, шагая по тротуару.— Когда же явится та, истинная, которая даст мне настоящее блаженство и поведет к славе?»

Весь остаток дня он провел в острой, мучительной тоске. Болела голова. Все вокруг стало представляться странным, не совсем обычным: точно истончились, почти до прозрачности, какие-то перегородки в мозгу, и окружающее приобрело особенную остроту и жуткость. Идя по бульвару, он ощутил внезапный страх. «Попелло-Козельский,— сказал он себе, стиснув зубы,— держись! Вокруг ты видишь демонов».

Вечером он зашел по старой памяти в актерский ресторанчик, где, надеялся, ему дадут пива и кусочек хлеба. Но метрдотель отказал, заявив, что и так он должен более пятидесяти рублей. Попелло-Козельский стоял перед ним в замасленном сюртуке, с грязной манишкой, без манжет. Он был бледен, и глаза его бегали и блестели.

— Я хочу есть,— сказал он.— Я голоден.

В мозгу же его вертелось: «Демоны, демоны!» Его увидел знакомый актер и дал пива и сыру. Попелло-Козельский поблагодарил. Он сидел молча. Знакомому неловко было с ним, не клеился разговор. По временам Попелло-Козельский что-то бормотал про себя. От пива голова его замутилась, и окружающее стало еще призрачнее.

Неожиданно в ресторанчик вошла Сабанеева с молодым актером, вроде того, каким он был лет десять назад. Сабанеева хохотала. Она выглядела совсем не молодой, сильно красилась, держалась развязно. Попелло-Козельского не заметила или сделала вид, что не замечает.

Он встал и, указывая на нее, загремел:

— Призраки! Вот они, призраки!

Не поблагодарив товарища и не попрощавшись, он вышел из ресторана. Он знал, что куда-то надо идти непременно, по важному делу.

Дойдя до половины Страстного бульвара, вдруг увидел, что навстречу ему бежит уличная девушка. Другие

бежали по тротуарам, и это происходило потому, что их преследовали полицейские.

— Господин, возьмите под руку! — крикнула девушка и повисла на его плече.— А то в участок заберут.

— Да,— ответил он.— Охотно. Я тебя знаю. Ты моя единственная любовь. Ты Офелия. Да, я всю жизнь ждал тебя. Ты ведешь меня к счастию.

Девушка была очень удивлена. В это время подошел околоточный и потребовал, чтобы она отправлялась в участок.

— Это невозможно,— ответил Попелло-Козельский спокойно.— Это та, кого я всю жизнь искал, и, вероятно, вы не знаете великого артиста Попелло-Козельского, если думаете, что он так легко отдаст свою любовь.

— Перестаньте, господин,— сказал околоточный.— Это безбилетная проститутка, и мы должны отправить ее в участок. А вы рассказываете Бог знает что.

Тогда что-то хлынуло в мозг Попелло-Козельского и смыло все перегородки. Он бросился на околоточного. Если б девушка не удержала его, он бы, конечно, его ударил.

— Как? — кричал он.— Мне не верить? Мне, потомку князей Попелло-Козельских, лучшему Макбету мира? Кто вы, безумцы, ничтожества, жалкие души? Но я выше всех вас. О, я знаю! Вот она со мной, я ее встретил наконец, все прошло! Я вижу свет, счастье, куда мы идем вместе.

Он встал перед ней в грязь на колени, плакал и целовал ей руки.

— Боже, Боже! Сколько я страдал, ожидая тебя!

Околоточный отправил его в участок. Но поздно было поучать или судить того, в чьем мозгу клубился и переливал блеском и радугой новый мир, столь же далекий от проституток и участков, как и от нашей земли. В участке поняли, что с ним. На всякий случай, запирая на ночь, дали по затылку. Он не обратил на это внимания. Всю ночь он находился в восторженном бреду.

Когда на другой день его везли в дом умалишенных, он радостно плакал. Было сыро, холодно, шел дождь. Но для него светило солнце. Нежные и светлые виденья являлись ему.

1913

ИЗ РАССКАЗОВ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В КНИГИ

В ДОРОГЕ

(Эскиз)

Поезд сильно взял со станции и через несколько минут выскочил за город. Город — клокочущий, громадный, с электричеством, банками, фабриками, биржами, ресторанами и домами терпимости — волновался и бурлил сзади и отбрасывал на небо светлое зарево.

От этого могучего, железного города тянулись до нас две стальные полоски, а мы, мчавшиеся по этим полоскам, были тоже пропитаны железом и силой; и в том резком и сухом грохоте, который расходился от нашего поезда, было самодовольство.

Я смотрел в отворенное окно,— я рассматривал ночь, она была тихая, серая и туманная. Туман, не очень густой, мягко висел в воздухе и так наполнял собой все, что казалось, будто на земле только он один и есть,— и трудно было представить себе, что за ним поля, леса и деревни. Это была какая-то беззвучная и бестенная пустыня, которую злобно прорезывал наш дерзкий поезд.

И когда мы выскочили к берегу реки и несколько минут неслись совсем рядом с ней, она казалась безначальным и бесконтурным бледным пятном; казалось, что там, дальше — вечное спокойствие, мир и ничто. После реки был подъем; идти стало трудно, слышно было, как наперебой пыхтели наши два паровоза, и красные отсветы на полотне из-под их раскаленных топок ползли вперед совсем медленно.

Тах-тах-тах-тах — дышали паровозы, и в этих могучих вздохах была злоба; весь поезд, все вагоны мучились и были ужасно напряжены, но мне было даже приятно, что

они страдают. Пускай себе они рвут друг друга на части. Они сильны и жестоки.

Когда же мы всползли наконец,— мы стали вознаграждать себя. Должно быть, тут был и уклон, потому что скоро быстрота сделалась уже противной: вагон швыряло, постукивание под ногами сделалось каким-то общим гвалтом, и паровозы бесчинствовали. Им приятно было, что они вырвались наконец, и они пьянели от быстроты.

И в этой их сумасшедшей скачке было что-то животное, какое-то зверское бахвальство могуществом и силой.

С разгону мы влетели на мост; что это был мост, я узнал потому, что сразу все заорало какими-то резкими, железными криками, это были крики победителей, и в несколько секунд мы пролетели эту сплетенную из железа кишку и мчались уже дальше.

Слабо мелькнули из тумана зеленоватые и красные огни станции, но мы не обращали на это никакого внимания, мы летели — и станция, маленькая, сиротливая и как будто сконфуженная, что мы так горды и невнимательны, пропала сзади в тумане, и хотя там жили, беспокоились и страдали люди — нам не было до этого никакого дела; и у нас от нее осталось только ощущение нескольких разноцветных огоньков да тех своеобразных перебоев, какие бывают, когда пересекаешь запасные пути.

Снова на нас смотрел один кроткий и мягкий туман. И казалось, что в его взоре было осуждение. Казалось, он был недоволен тем, что мы — грубые, хищные и телесные — беспокоим его святое безмолвие, его высший, неземной покой. Но хотя мы были неприятны ему, он не боролся и не волновался; он взирал на нас, как и на весь мир, с тем высшим и кротким сожалением, с каким смотрят на землю боги. И сам он казался богом тишины, спокойствия и мира.

Вдруг я увидел впереди три светлые точки; они появились из бесконечности и были зловещи, это были фонари встречного поезда; верхний из них был больше и придавливал собой нижние.

— Здравствуй! — прогремел незнакомец.

— Здравствуй! — ответил наш, но их приветственные свистки не были приветствиями. В них была вражда двух сильных зверей.

Скоро уж до меня по рельсам тянулся светлый отблеск его огней, а через минуту он могуче громыхнул у меня над самым ухом, сверкнул лентой освещенных вагонов и пока-

зал сзади красный фонарь. Ему, как и нам, было некогда. Он мчал в беспокойный город шумных, суетящихся и богатых людей. Он, как и мы, был быстр, крепок и неумолим.

На одной из станций я слез; поезд же приказали пастоять пять минут. Паровозы были недовольны этим, бунтовали, шипели у водокачки и время от времени выпускали с боков облака пара.

Я уже опять радовался за их унижение. Впрочем, из-за этого пришлось ждать у шлагбаума; и только когда хмурые, не оправившиеся от обиды паровозы, шипя и прибавляя ходу, протащили мимо нас поезд, старичишка отворил шлагбаум.

Там серо-белой стеной стоял туман.

— Не заблудимся? — спросил я у кучера.

— Не надо бы! Дорога знакомая,— весело ответил он.

И сейчас же мне самому показалось, что мы действительно не можем заблудиться: туман так мягок и кроток, что ни за что не погубит нас.

И мы поехали. По песчаной дороге почти не слышно было, как катился экипаж и ступали лошади, и ехать было странно. Казалось, что не на гнедой тройке с Василием и не к себе домой едешь, а куда-то туда, «иди же несть ни печали, ни скорби, ни воздыхания». Помню, в одном месте плакучие березы так низко свесились над дорогой, что почти задевали по лицу; и теперь мне казалось, что это уж и не висюльки, и чьи-то длинные тонкие руки, которые сходят прямо с неба или вообще откуда-то из неизвестных и безначальных мест. Я отдыхал.

Я чувствовал, что меня пропитывает что-то спокойное, тихое, что-то сверхжизненное, такое, чему нет дела ни до гвалта, ни до борьбы и ни до каких хищников. Это убаюкивало. Я сидел, смотрел и ни о чем не думал.

И когда я после получасовой езды вздумал представить себе ту могучую железную змею, которая, блестя и шипя, несется теперь в тумане в бесконечную даль, у меня ничего не вышло, будто я не был никогда в буйном городе, не видал наглой и грубой силы, родился и вырос в этой тишине и серости.

И мне стало казаться, что я сам становлюсь кусочком этого теплого, сырого тумана.

1901

СОН

Когда Песковский приехал на это новое свое жилье, был четвертый час дня — в июне, при слегка склоняющемся к горизонту желто-раскаленном солнце.

В комнатах квадратного, стоявшего отдельно, у болота, домика было тихо и пыльно. Мебели никакой почти не было, звуки шагов четко звенели в воздухе, стены были окрашены светло-синеватой водяной краской, и стоял особенный, грустный и мертвенный запах. Паутинка висела в углу, и в ней сонно жужжала муха.

Пройдя в свои две комнаты, Песковский не раздеваясь сел на подоконник и растворил окошко.

В комнату поплыл тихий, слабый и радостный воздух. Ровное болото было перед глазами, а на горизонте проступал кольцом лес. Сплошь до него по болоту росли странные нежно-белые цветочки, и от ветерка, ходившего под золотистым млеющим небом, цветочки гнулись волнами покорно и кротко и как будто тихо звенели в тон светлому небу с бесплотными тающими облачками. Комары, золотясь на солнце, реяли зигзагами; откуда-то летел тонкий пух. Бекас жалобно блеял в вышине.

Песковский устало глядел перед собой; потом улыбнулся.

Этот тихий, странно звучащий, нежно пахнущий и колеблющийся мир показался для него чем-то совсем новым, невиданным и неожиданным — будто высота трепетала в хрустальных, тонких и хрупких, созвучиях.

Так началась для него эта новая, не известная ему раньше полусонная безбрежная жизнь. Там, вдали, где в таком же домике, что и у него, жил и работал его товарищ, шла и бурлила жизнь, видно было, как маленькие, покор-

ные и замученные человечки аккуратно складывали черно-бурые четырехугольники из торфа, как катали они свои тачки по проложенным дорожкой дощечкам; там валялись грудами безобразные вывороченные корни, пыхтели в красных будочках машины и дым из них вился темными кольцами. Песковский же не жил и не работал: он лежал, бродил, слушал шелест трав, дышал воздухом и прозябал без дум, волнений и забот.

Это было странно. Порою Песковскому казалось, что он утратил уж человеческие свойства — кипенье мозга, тяжелую, изнуряющую стукотню в висках, когда бессильно бьется мысль, ползут образы и бедная голова холодеет, устает и начинает болеть.

Сидя по утрам в чуть туманные, розоватые дни, когда воздух неясно-тонок и дрожащ, над далями болота стоит дышащий, серебристый пар, когда нежней и таинственней звон цветочков на болоте и неяркое, бледно-красное солнце стоит невысоко, Песковский забывал о времени, не чувствовал тяжести тела и просиживал часами на крыльце своего домика. Мир истончался тогда для него, все вокруг обращалось в неясное, дымчато-розоватое реяние, точно все было завешено легкими, колыхающимися, смягчавшими контуры пеленами.

Ветер тихо веял в лицо, и хотелось навсегда уйти в неизведанные глуби лесов, млевших на горизонте, казавшихся такими призрачными, фантастическими, манящими.

Шли дни, сменялись тихие утра туманами вечеров, с разных сторон дул ветер, и время, не зная задержек и остановок, все дальше уводило Песковского в глушь и тайну новой жизни. Все меньше он думал и недоумевал, все больше любил и сживался с тем, что вокруг.

Белые цветочки, взросшие на болоте под светлым, хрустальным небом, отцвели так же тихо и покорно, как и расцветали, а на их месте появились светло-карминные и звенели иначе. Песковский любил их. Бродя между кочек, где они росли, где ступать было мягко и не было звука от теплого мха и серебристой травы, он старался не мять и не портить их. Разноцветные бабочки вились над ними, и неизвестно было, что легче — крылышки мотыльков или их тонкие, прозрачные лепестки.

К вечеру, в тихий час заката, в теплом пламени солн-

ца стояли на небе нежно-хрустальные, с фиолетовым, облака, то разлегавшиеся крупными музыкальными массами, то свивавшиеся в длинные тонкие воронки. Тогда казалось, что благовонные светлые потоки, реки дивных лучей истекают с этого безмерного неба и обвевают все здесь внизу — все, внимающее с благоговением и трепетом этим облакам и лучам. Повсюду вокруг себя и за собой чувствовал Песковский тогда таинственные тихокрылые дуновения, как будто все было наполнено невидимыми и бесплотными существами, будто Бог стоял везде вокруг, куда ни глянь.

А там, глубоко внизу, ниже мха и корней трав,— Песковский чувствовал — лежит этот тысячевековой, рыхлый и жуткий пласт, глухой и безглазый, что принял в себя, подверг тлению и изрыхлил бессчетные мириады цветов, трав, лесов, кольцом толпящихся вдали. На само небо дерзнул бы он, если б имел власть. И дымчатые дали, бледно-розовые цветочки, струящийся и колеблющийся воздух казались легким, лживым миражом, случайной игрой тонов, нежной мечтой, взросшей над страшной и непонятной глубью Неведомого. Прислушиваясь к тихой и таинственной подземной жизни, Песковский чувствовал, что и он сам, и все, что цветет в нем стихийно и бездумно,— как на болоте эти бледные цветы-призраки,— что все это сдунется тоже стихийным, тоже недумающим, и кроткие, беззлобные и наивные мечты его безвозвратно сгинут и перейдут в глухую, незримую пыль, что без остатка развеется по сторонам. Но кругом вились и беспечно танцевали болотные бабочки, и их участь, как и его, не казалась ужасной. Сердце трепетно заглядывало только куда-то, но не останавливалось и не леденело, насыщаемое тысячью тонких, полувнятных болотных звуков, сияний, веяний.

Выпали дни полной, загадочной тиши. Целый день легкие серебристо-серые облака стерегли болото, вглядываясь в заснувшие травы, а к вечеру лицо их мутнело, хмурилось, и вниз падала мертвенная тень. Потом тихо, чуть заметно выпадал дождь. Казалось, тонкие капли его, бороздившие воздух, не весили и сползали вниз с неба неизвестно зачем. Песковский, сидя дома перед раскрытым окошком, часами слушал сонный лепет, полузаглушенный монотонный звон капель,— и небо, все темневшее, пухнувшее и по-прежнему молчаливое, распростершееся над ним и побледневшим, замершим болотом, небо, славшее такой

робкий и странный дождь, казалось таинственным, зловеще-мистичным. Пустота слоем стояла над болотом, и в ней,— тихие и страшные,— шуршали капельки дождика. А к вечеру все это закутывалось в неясные, висящие, беззвучные туманы.

Но бывали и иные ночи — золотисто-туманные... Волны тумана в нежном месячном свете бродили над болотом, как безгрешные, лучезарные царевны, переплетались и расходились, пока стоял на небе их властелин-жених — желтый месяц, а когда склонялся он вниз, бледнел и таял, зеленоватая звезда вставала на противоположном углу неба, и в черно-хрустальных водах канав, пересекавших кой-где болото, она дробилась лучами; а Песковский в такие ночи не спал. Он ходил взад и вперед по своей комнате в неясном, голубоватом и трепетном сиянии ночи. Странно пустынна была тогда эта просто побеленная комната квадратного домика, с тихо белевшей постелью, с синей лампадкой в углу, с неслышно шагавшим Песковским. Точно стояло в ней что-то невидимое и глубокое — непонятное, глубже и больше Песковского, комнаты, болота, неба.

В тихий и очень жаркий серый день, незадолго перед осенью, Песковский, выйдя рано утром на крылечко, вдыхая пряно-ароматный и милый воздух воли, вдруг заметил далеко на горизонте, там, где серебристо-зеленоватое болото отграничивалось от неба тающим контуром леса, сизую горизонтальную полосу дыма, разлегшегося безучастно и спокойно, будто был он здесь нужен и необходим. А снизу вертикальными светло-фиолетовыми столбиками, точной из невидимых курильниц, впадали в эту пелену струйки нового и нового дыма. И в этом беззвучном, молчаливо-неподвижном движении, в мертвенном покое лежачего дыма Песковский сразу почувствовал *что-то*, чего раньше не было, чего он еще не знал. Странное, непобедимое влечение толкало его туда, непременно туда, и он торопясь, будто было какое дело, зашагал напрямик по засохшему, горячему и мшистому болоту. Небо стояло над ним пепельное, недосягаемо высокое, среднее и чуждое, как абстракция.

Вблизи у пожара было еще тише — тем особенным беззвучием, которое слышно даже сквозь нарушающие его звуки. Торф, высохший мох и стебельки неизвестных трав

тлели покорно и умирали рядами, как и рождались в свое время; порывы ветерка разливали новые и новые пятна тления, расползавшиеся, как масло на бумаге; и это легкое потрескиванье засохших трав, бледные, шипящие язычки пламени, вспыхивавшие временами, когда загоралась сухенькая елочка,— все эти посторонние и случайные шорохи не позволяли забывать о главнейшем, что без воли и без желания совершалось в глуби. Несколько раз Песковский расковыривал сучьями торф далеко от поверхности, и всякий раз удушливый сизый дымок вился изнутри, как будто затлела сама земля, произведшая на свет Песковского...

А черные, обугленные пятна безостановочно и безвольно растекались во все стороны вокруг, как бархатная гангрена, и дымки все лились и лились кверху, впадая в безразличное, густеющее теперь дымовое озеро.

Возвращался домой Песковский медленно и непрямо — много кружил предварительно. И весь этот день был странен: быстро плыли по небу — при полном безветрии — облака, похожие на паруса лодок, в полдень легко и изящно прогалопировал по болоту в десяти шагах от домика Песковского сухопарый, губастый лось, к вечеру от дыма или тучи, которая стояла за дымом, легла причудливая тень на все.

Вечером на брезжущем, зеленовато-фиолетовом небе не видно было звезд. Окно на болото было растворено у Песковского, и вся необозримая равнина трав, кочек и цветов лежала перед ним в молчании, под неведомым беззвездным небом, с тучей дыму сбоку,— как непостижимая загадка. Внезапно вдали заиграла какая-то дудочка. Она играла на двух нотах, как маленький, печальный ребенок, и мерцание этих звуков было так нежно, и так непонятно было, кто играет пред лицом беспредельного ночного неба, что казалось, будто это звучит само болото; и от этой мысли, равно непонятной и невозможной, как и другие, что были в это время в голове Песковского, становилось жутко, и хотелось самому лежать, затерявшись где-нибудь в болотных цветах, плакать и славословить тишину и загадочность ревнивой шири.

Следующий, еще и еще следующие дни были так же безветренны; все так же неподвижно висели полосы желтовато-молочного дыма и та же полная неизвестность

и как бы небытие царили за ними. Все плотнее и непроницаемее охватывали они болото своими сухими, едкими объятиями, медленно расползались вширь и безостановочно близились, сжимая кольцо между собой.

Те безбрежные веяния и ветерки, что свободно гуляли прежде, заменились угрюмым беззвучием, и вместо тонких болотных запахов пахло седым дымом.

Чувство тихого оцепенения заполоняло сердце Песковского, будто широкие златотканые полосы медленно свертывались в нем на невидимые валы. Но все же на небо ежедневно выходило солнце, чертя свою вековую дугу с востока на запад; оно было тусклое и туманное теперь, оцепленное мягким, оранжевым ореолом, и часто синеватые полосы дыма пронизывались радужными, мягкими столбами света; тогда казалось, что все это происходит на дне глубокого, заснувшего моря.

По ночам луна тускло светила сквозь дым синевато-желтым зловещим светом, подолгу и безнадежно выли собаки, а там, где работали прежде над торфом, все меньше и меньше заметно было движения.

Так умирало болото — неизвестно для чего и зачем.

Наконец через неделю за Песковским заехали уезжавшие последними с работ. В это время дым уже сплошной туманной завесой стоял над его жилищем; днем было сумеречно, и дышать становилось неприятно.

Теперь он не мог уже ни вечерами, ни днем видеть милую, приветную ширь, что плакала человечьим голосом в ту странную ночь. Уезжая, он знал, что скоро, быть может, всего через несколько дней, все, что он полюбил здесь за время своей отшельнической жизни, превратится в черную дымящуюся корку, которая тоже развеется пылью на все четыре стороны.

Но что-то — подслушанное и подсмотренное здесь, впитавшееся и ставшее частью его существа, легко звенящее и веющее, как ветерки и цветочки тогда, ранним летом — оцепляло его с головы до пят. Как будто сердце его навсегда оделось в волшебные, светло-золотистые, легкотканые одежды и стало неуязвимым.

Отъехав с версту, Песковский оглянулся: дым белел на том месте, где стояло его жилище, а много выше, на неясном, молочно-розоватом небе, стояло круглое, оранжевое в радужном ореоле солнце.

1904

МАЙ

В зеленоватом сумраке Коля с Комариком скользят на велосипедах вдоль самого тротуара, под распустившимися топольками; точно два сереньких вальдшнепа тянут — бесшумно, легко; цепляют временами веточку с тополя, трут в ладони, и сладкий запах омывает руку: дивный весенний цвет.

Перед циклодромом вольт вправо, на средину улицы и мягким полукругом внутрь, в калитку. «Прикатили, шатяги! — Потапыч запер щеколду.— Долго теперь не угомонятся». Комарик снимает фуражку; спрыгивают с «машин». Фуражки — реальное училище, а возраст — шестой класс. Комарик вытер капельки пота с носа, опять сели, тихонько двинули — едут. По треку легко, шины тихо шипят, воздух плавный, майский, овевает. Комариков велосипед впереди, лидером, Колин сам собой тянется за ним, можно не думать — так, бродить мыслью, улыбаться себе самому и чеще чему-то милому и нежно-зеленеющему, что встает в глуби и чего не знаешь, но оно близко, совсем близко, и ему можно улыбнуться, и внутри вскипит светлая, легкая слеза.

И эти топольки зелененькие — трек обсажен ими — какое пахучее кольцо! Впереди торчит фигурка Комарика — точно фитюлька какая на велосипеде, топырятся вбоки лопоухие ушки, и штиблеты с подкаченными штанишками ходят ровно: раз — два, раз — два. «Да. А Машура придет? Обещалась прийти, хочет учиться на велосипеде — завела себе даже... раз — два, раз — два». Ах, шельмец Комарик, думает, он заснул,— бросок сделал; это значит — жжвык, нажал педали, и курьерским ходом удирать — каков? Коля ни за что, нет, не уступит. Тоже бросок, вдогонку. «Тише вы, тише, полосатые! Шеи вывернут, анафемы, отвечай тогда!»

Но сдержать молодых ярильщиков трудно: закипает розовая кровь, подступает к сердцу — и вперед, в душистой мгле, скорей, скорей, чтобы сливались в зеленеющий круг все тополенки кругом, чтоб нестись, как стрижи в майском воздухе, пьяные маем, а вокруг смутно мелькает все, тускнеет под шелковой дымкой.

— Что, взял? Думал удрать? Ну и не думай!

Ребята устали, гонка вышла вничью, только очень сумно под сердцем — покатывает, и в глазах круги. Кажется, если б промчаться еще малость, сердце б выпрыгнуло из груди, и так бы и ухнул куда-то, в темное лоно. А пока мутит даже несколько... вот скандал, вдруг сейчас придет Машура, а они, как окуни на берегу, будут валяться и отдыхивать.

Уже в небе, наверху, идет свое глубокое действие; плывет ночное, разбрелись облака, затемнела бездна, безбрежная, со звездочками. Она дохнула своим, и прохлада сошла со звездных высот, бальзамом льет на городишко, на ребят, Потапыча. Вдруг калитка отворяется — Машура! Легенькая, с тоненькими ножками, в гимназическом переднике. Наконец-то, а ее уж ждут. «Велосипед-то привезли?» Да, конечно. «Вы меня поучите». Коля розовеет. Если б нужно, обежал бы циклодром раз десять, сто. «За мной мама зайдет, только б начальница не узнала, это будет ужасно. Вообразите, одна, с гимназистами!» Машура болтает — бойкая коза, около ней всегда всякие «они» — Коля с ненавистью вспоминает длинного классика, радикала, с умными словами. Но как легко бежать с ней рядом! Разве обратиться в кули, в какого-нибудь японца, человека-лошадь, и возить в двухколеске эту тоненькую Машуру всю жизнь? «Ой, вираж, страшно, упаду, кара-у-л!» Машура заливается, а Коля въелся в руль, велосипед бежит по наклону, они в самом дальнем углу циклодрома, их видит только красная луна, что выставила рожу, в майском дыму, из-за края водокачки. Вот, в двух вершках горячие глаза Машуры, прыгающий локон, и все ее тепленькое тельце прильнуло к нему от наклона «машины». «Машура...» Но что — Машура, надо поцеловать ее в незащищенный височек, да, вот так, и краснеть, шептать ей на ухо какую-то чепуху, вдохнуть ее девичью прелесть, и пусть она сама застыдится глубокорусским румянцем, щелкнет его по носу, но любовно, а луна будет багроветь и взлезать все выше, в сонной прохладе; и тяжелый жук, майский жук прожужжит над ними — запутается в Машуриных волосах.

Приехала в коляске мама, смеялась, весело поздоровалась с мальчишками и увезла Машуру. От нее пахло духами, тонкий платочек белел из ридикюля, и, когда они сели обе в экипаж, Коле показалось, что это сестры, нежно-энглизированные существа. «Уж вижу, вижу, Машуре не скучно было с вами»,— мама лукаво косит глазом на Колю, и под зеленоватой луной Коле этот глаз так же безмерно дорог, как и Машурин. Они смеются и вспыхивают будто, а луна потопляет всех теплым изумрудом. Опять они, как верные пажи, заскользили с двух сторон у коляски; спицы отблескивают луной, Комарик бросил в коляску пригоршню сережек тополевых, и оттуда легенький хохот, и Коля вновь замлел на руле с бродячей, овеянной душой. Снова бы так — лететь и лететь, и далеко за городом, мимо белоствольных берез у большака, с дымно-зелеными тенями, в лунных майских полях... «Addio, до свидания!» Из пролетки замахали, забелело, свернули в сторону, шины их зашуршали опять, даже под звезду огнецветную, на которую они будто и тянут. «Прощай, прощай, Колька!» — «Прощай!» — Но Коле никуда сейчас не хочется; все тот же пахучий височек Машуры перед глазами, и образ ее — только еще легче теперь, точно воздушная, лунная благодать напоила его. «Ах луна, милая моя луна!» И чтоб почтить ее, Коля мягко кружит на велосипеде по улице, как тихенький козодой; несколько легких туров какого-то вальса, колдовского и слабого. «Домой, луна, домой!» Топольки по тротуарам дрогнули и засеребрились, несколько новых листочков распукнулось, глянув на свет Божий; вдали голубеет уплывающий ушастый Комарик,— а Коля зашуршал домой, лениво, сквозь тихую дрему и тающую свою мальчишью душу.

В окне, дома, видит он тетю Бунге. Это значит, лунный вечер, тетя тоже мечтает, старыми немецкими мечтами. Целый день она мотала мотовило с нитками для чулочной, а теперь дышит весной и даже пенсне сняла. «Ну, хороший мой человек, приехал?» Это вечные закадычные друзья. Тетя Бунге знает и Машуру, и маму и все видит давними своими глазами. «Ты не думай, Коля,— говорит она иной раз и, осклабясь, улыбается безбрежной улыбкой,— я очень хитрый человек, я всегда все вижу». И тогда оба они хохочут — шестидесятилетний ребенок и ребенок малый.

«Устал, мой хороший, со своим фюльсипедом, поди, Коля, сними блузу, все такось легче».— «Ничего, тетя,

у-ух... у вас прохладно». В комнатах действительно прохладно: синеватые сумерки, слабо белеют чехлы кресел по стенам, и пахнет старой, старой жизнью. На стенах портреты допотопных тетиных предков — «контористов», икона с лампадкой.

«Посиди, Коля, смирно; смотри, у окошка простудишься». Но Коля не слушает: окно выходит в садик, оттуда так сладко тянет жасмином,— белой, тяжелой волной, и на ней плывет мысль, качается, как на тихом море. Так же ль пахнет из сада сейчас и у ней, у Машуры? И вдруг она тоже сидит на подоконнике и вспоминает Колю, поцелуй на циклодроме? Боже, Боже, розовый прилив затопляет сердце, в темноте он краснеет пионом, и подкатывает к груди дивный трепет,— вот, скажи она сейчас, чтобы умер,— и в одно мгновение сгорел бы и сжегся. «Коля, не глотай холодной воды, это тебе нездорово». Ах, какая там холодная вода, дорогая тетя, милая тетя, что вы понимаете? Все равно нельзя так сидеть тут — тихенько. Все равно уйдет отсюда — бродить, шататься, разве можно дома усидеть в такое время?

На улице легко и радостно: весь этот маленький городишко распростерся под небом и луной, скромно благоухая садами; уже май, сады в белой одежде, дивные яблонные цветы белорозовы, и, идя вдоль забора, вдруг вдохнешь теплую, сладковатую прелесть. Коля бредет. Хорошо бы уехать на лодке — по реке, заплыть в неизвестные леса на том берегу, заблудиться в них, сгинуть в лунном безмолвии... «Здравствуйте, Коля». Коля вздрагивает. «Здравствуйте»,— он бормочет и краснеет. Впрочем, что ж, это всего поручик Штюрцваге. У него светло-голубые глаза, эмалево-фарфоровые, тоненький румянец и на пальце бирюзовое кольцо. «Вы куда же, собственно? Воздухом дышите?» — «Не-ет, я в... реальное училище,— Коля вдруг вспоминает.— Нам нынче обещали звезды в телескоп показать».— «Вряд ли увидите хорошо, при луне звезд бывает мало».

Штюрцваге идет рядом, от него чуть тянет хорошими духами, и легкие лакированные сапоги сияют под луной. Под мышкой концертино. И бирюзово-эмалевые глаза кажутся Коле загадочными. Вообще все странно: кто он такой, Коля точно не знает. Так, офицер, но особенный, музыкант, и отличный, и всегда он изящен, с нежным румянцем, вдали от товарищей, с маленьким слабым инструментом.

Но вот переулок, куда Коле сворачивать,— тихий, тихий переулок. На углу прозябает историк Козел, на той стороне церковь святого Иоанна, где все свои учебные годы Коля пел на клиросе. А там дальше и само «реальное»: маленьким мальчиком, замирающим от ужаса, поступил он сюда в далекие времена, а теперь неделя, две — и это большое розовое здание, с густыми кленами в саду, уплывет назад, а его и его друзей, и Машуру, Комарика понесут вперед новые — розовые волны молодости.

По двору в чесучовом пиджаке расхаживает физик Проничка, а иначе Прон, и беседует с «первым учеником»: вероятно, о законах Гей — Люссака или Бойля — Мариотта. Проничка скромен и тих, только кончики висячих светлых усов, котообразного вида, шевелятся под майским дуновением да отблескивают очки под луной. «Все уж собрались, так, я готов показать вам диск луны, господа; наш телескоп увеличивает приблизительно в четыреста раз, следовательно, вы увидите луну как бы с расстояния десяти тысяч верст; а для луны это все равно, как если бы мы рассматривали друг друга на десять шагов». Смеются. Проничку любят, и его физико-математическим шуткам даже рады. Вот и телескоп,— на треножнике, вроде фотографического аппарата — но как странно глянуть туда! Все Васильевы, Ивановы первые и вторые, кудлатые и с аккуратными проборчиками поочередно смотрят в это отверстие; и по очереди на каждого дышит беспредельный мир, дальнее безмолвие планет и бездн.

Кто-то двинул трубу,— в поле зрения засияла луна. Она, она сама, живьем и на безмерном расстоянии, всегда — прекрасная, всегда — печальная ночная бродяга. Видны пустыни и кратеры, и черные тени зубцами бегут в долины, все дальше и дальше. «Древние полагали, что луну населяют души умерших»,— слышит Коля над ухом, но он и вообще плохо понимает все сейчас, кроме одного: живая, близкая луна, и вместе мертвая и навеки чужая, серебряный, вечный свет, к которому сразу чувствуешь острую жалость, любовь, изумление и тоску. Точно из далекого мира, таинственного и светлого, кто-то ранит невидимыми стрелами земное сердце. Коля отходит. Снова Проничка с законами газов, чесучовый пиджачишко и скромная учительская душа; розовый корпус училища и директорский особняк с блистающими в луне окнами: давно привычная малая жизнь. Комарик опять тут. Коля берет его под руку, и вместе они идут по кленовой аллее —

прямо, налево. Светлые вырезы, тени тихо ходят по дорожке; дрожат многолопастные листы; Комарик тоже присмирел, и точно: золотая легкая тоска оплетает души; хочется затрепетать, замереть в тихом и сладостном волнении — и ждать чего-то. Чего? Улыбнуться ему, как неизбежному, и заплакать светлыми лунными слезами.

В квартирке сестры Сони жарко, кипит самовар, окна настежь, но мало помогают. Только что уложили Петьку, теперь можно спокойнее съесть пару яиц всмятку; да и сами устали: был длинный спор, Коля со свирепостью налетал на христианство и на нравственность и вообще имел разбойно-воинственный вид; проповедовал даже самоубийство. Но потом приустал, как и Соничка, и в этой слабой лени оба опять почувствовали, как, собственно, далеки их слова и как они глубоко близки друг другу. «Что ж это, через неделю конец, последний экзамен, аттестат?» — «И конец».— «Соня, да ведь вы сами нынче, собственно, последний вечер здесь, на этой квартире, сообразите-ка». Соня оборачивается к Марье Ивановне. «Ведь завтра укладываться...» — «Ну, значит, нынче прощальный вечер, бал разгонный!» — «Соня, у вас есть вишневка, чего же вы жадничаете». Соня смеется. В самом деле, как-то из головы вон. Последний вечер, всю эту зиму и Коля и Марья Ивановна были верными друзьями, разгоняли ее одиночество и безлюдье с этим маленьким Петюшкой,— сколько вечеров прокричали тут. И сколько раз Коля рычал, как сегодня,— это значит, круто подошло от любви — рычал и семнадцатилетним своим мозгом набрасывался на «основы».

Три рюмки полны густой, маслянисто-вишневой «влагой». Лунный луч играет в них малиновым бархатом. «За любовь, други... за май!» И все трое пьют, и стыдливое что-то, тайное и обаятельное туманит всем сразу головы. Там, вокруг и внутри у сердца, и в прошедшем лежит и веет этот дивный бог, земной и небесный. И вкушал красного вина, не его ли крови они вкушают, не свершают ли странного таинства под дыханием его первого вестника — мая. «Вы вот, Коля, шумите и ниспровергаете, а вам семнадцать лет, все вам открыто еще и предстоит... Соничка, чокнемтесь за его молодость!» Женщины чокаются и, как старшие, обмениваются понимающим взглядом — с оттенком знания-печали. «Ну и то сказать: будем старые и все

будем вспоминать и говорить: что лучше мая?» Под окном тень промелькнула — Коля стремглав бросился вниз. У подъезда спряталась фигура в платочке — это Машурина Дунечка; сует в руки письмишко. Дух захватило в Колиной груди — читает: «Очень Вы меня любите? Пошли ли бы за мной на каторгу?»

В лунной тени бумага и буквы кажутся синеющими, но глаз остро видит все, он проник бы взором сквозь конверт; тут же, на улице, при улыбках и трепете огромной звезды, Коля пишет ответ: «На каторгу, на смерть, я люблю Вас».

И уже этого довольно. И быть может, никогда он не будет знать этой Машуры, но сейчас душа пронизана до недр, невидимый дивный стрелок прострелил ее, и, как опьяневший голубь, она кружит над светом, счастьем и смертью, в любви, любви.

Малый Петюшка заснул. Соня и Марья Ивановна засели на подоконник — молчат, закутаны тихим томлением; кто-то овеял их прелестью, думами, точно жасминный дух задурманил. «Соня, если б тебя любил кто и сказал: пойди на чердак, прыгни в слуховое окошко — так, ни с того ни с сего... это хорошо бы, по-твоему, было?» Женщины молчали, про себя улыбались и туманно сказали: «Хорошо. Так и надо».

Было довольно поздно, когда Коля вышел от Сонички. Ночь успела уйти в глубокие свои недра, уже можно было думать о скором рассвете, и только луна сияла еще выше и чище на небе. Казалось, она побледнела и с большей серьезностью взирает на людей, улицу, Колю, на тихий городишко и сады в цвету.

В переулке, около Сонички, Коля услышал музыку; окна небольшого флигеля раскрыты, и с аккомпанементом рояли поет тонкое, знакомое концертино. Сразу Коля вспоминает Штюрцваге: белый лоб и нежные, чуть влажные пальцы, как цветы; они ходят в тихом вдохновении по клавиатурке инструмента; и эти звуки медленно вьются, слабо-слабо плывут. А за роялью старая учительница музыки, к которой каждый день ходит матово-бирюзовый поручик — точно горит к ней скрыто-глубоким огнем; так вздыхают они, томятся и услаждают весенние вечера гармониями.

Скоро Штюрцваге вышел, со всегдашним своим кон-

цертино под мышкой и обычным ровным, слегка непонятным ходом зашагал в боковую улицу.

«Это ты, Коля?» — «Я».— «Все такось, боюсь я ночью: не ровен час...» Тетя слегка ковыляет больной ногой, в светлой кофточке и пенсне. Только что она молилась перед сном и сейчас опять пойдет молиться. Так бывает каждый вечер — каждый вечер с пламенными слезами, стоя на твердом полу на коленях, молится она о душе своего Жорженьки, далекого и бесценного, с кем предстоит ей встреча за пределом жизни. В голубой мгле склоняет она свое древнее сердце к Божьей лампаде; и слезы, стекая ровными потоками, омывают тетину душу, насаждая надежду и мир. Все тогда ясно в тетиной груди — одного она понять не может: как же они узнают там друг друга?

Когда Коля взобрался уже к себе в светелку и собирается раздеваться, к нему по крутой лесенке вдруг тащится тетя,— с усилием, стукая огромным каблуком. В глазах ее волнение и слезы. «Ну, Коля, вот ты умный человек, скажи мне... как же Жорж там будет... похож на здешнего?» А Колино сердце терзает сладкая любовь. Из дальней дали кивает ему кто-то, в душевном трепете чует он нисхождение чудесного, и снова, как не раз нынче днем, ему хочется пасть на тетину шею и вместе рыдать и стенать, и в безумном восторге бормотать что-то.

«Узнаете, тетя, узнаете!»

Забелело на востоке, зарозовело,— дымится утро. Спущены занавеси у тети, у Коли, только ласковый ветер, как утренний сторож, посмеивается и колышет; пахнет в лицо сладкой сиренью. Розовые пятна ярче, скоро приход огненного гостя из-за горизонта, и в этот поздний час тих и глубок сон людей. Спят Машура, Комарик, Штюрцваге, Проничка, Соня, луна, тетя и Коля. Их сон покоен и легок — точно одна, общая вуаль накинута на всех. И выше,— розовей и радостней — встает красный май, дивный и целительный, огненный, светлый, летит над землей легким летом,— напевает на людских душах, как на ясных свирелях, свои песни: пенно-розовеющие и любовные.

1907

ЛИНА

Евсеев пил кофе, читал газеты. Пробило двенадцать. «Пора!» Он встал, на минуту остановился. Хотелось увидеть жену, но, наверно, она спит. Евсеев заглянул в спальню. Полутемно, теплый, знакомый запах. Лина действительно спала. Он приоткрыл портьеру и в бледном свете увидел это лицо, эту ногу,— как ему показалось,— победно выставленную из-под одеяла. «Что ей снится?» Сон Лины был смутен. Что-то чужое проступало в ней. Евсеев знал этот могучий развал ее тела, силу, дышащую теплым вздохом.

— Моя!

Это радостно, страшно.

Вдруг Лина проснулась. Она вытянулась ровным, сильным движением, зевнула.

— Уходишь?

Евсеев подошел к ней. Она позволила поцеловать руку, опять зевнула. Ему показалось, что сейчас его сердце разорвется от любви. Он улыбнулся.

— Да, до обеда. Ты будешь дома, к пяти?

Лина нахмурилась.

— Не знаю.

«Она всегда не знает,— подумал Евсеев, скрипнув зубами.— Всегда не знает».

Одевшись, он вышел. Идя по своим делам, работая, он всегда думал одно: Лина. Где она, что она делает? Кто она, эта женщина, взявшая его жизнь?

Уже давно жил он в этом сладком — и мучительном — плену. То же было и нынче. Но сегодня острее обычного. Он работал, писал, говорил — и все видел ее, горячую, с чужим и жутким лицом.

В три часа Лина проехала в экипаже по улице. Евсеев вздрогнул. Куда это? И опять: что она думает, что прячет от него, в чем ее жизнь? Этого он не знал. У ней светлое тело, могучие бледные волосы, в страсти она закатывает глаза. Но — любит ли она его?

«В этом всё! Если любит, то пустяк — что уехала неизвестно куда, что у ней свои знакомства. Тогда пустяк!» Он улыбался. Ему казалось уже, что она его любит. Но через секунду с такой же силой подымалось другое: «Если бы любила, он узнал бы ее, она не пугала бы. Она раскрыла б ему душу — с каким восторгом принял бы он ее!»

Евсеев вздыхал. Все же он был несчастен. Вернулся домой он в пять. Лины не было. Квартира казалась ему пустынной, мертвой. С шестого этажа в окна был виден темнеющий город. Начинали зажигать огни. Они раскинулись золотыми сетями, опутывая город блеском. Евсеев вышел на балкончик. Теплый ветер трепал его волосы, и, глянув вниз, он ощутил легкое головокружение. «Высота высота!» До земли, казалось, было с версту.

— Барин,— сказала прислуга,— вы здесь?

— Да.

— Барыня приказали одним обедать.

Евсеев ел щи, пил пиво. Злился на Нелидову. Нелидова была подруга Лины. Наверно, она ее утащила! Но ведь Лина уехала одна? Глупости, это ничего не значит. Наверно, это Нелидова.

Он спросил прислугу:

— А что, был у нас кто-нибудь?

Ему хотелось, чтобы она сказала: «Была госпожа Нелидова, увезли барыню». Но Нелидова не приезжала.

— Так.

К концу обеда он уже страдал. Казалось, что Лина уехала совсем, никогда не вернется.

— Может, я болен просто?

Дома сидеть не хотелось.

— Если придет барыня, скажите, что я в кафе. Тридцать три, двенадцать. Поняли? Вернусь в восемь.

Он шел по улице, среди шума. Все эти кинемо, трамы, автомобили раздражали. Все это было с Линой — против него.

«Культура, черт бы ее взял... наслаждение жизнью. Скоро все в это обратится. Ничего не останется, слопают все...» Неизвестно, кто должен был лопать,— какой-то новый зверь, ясно ощущаемый. И Лина с ним, вот что хуже всего, именно с н и м.

На углу он встретил Нелидову, в высокой шляпе. Как султан покорителя вились на ней перья. Евсеев смутился.

— Здравствуйте,— сказал он нетвердо.

— Ах, это вы! Что так бледны? У вас странный вид, в самом деле.

Была минута, когда он чуть не крикнул ей, что тоскует неизвестно отчего по Лине, что нет серьезного, но сердце болит,— но сдержался, сказал сухо:

— Нездоровится. А вы Лину не видели нынче?

— Нет,— Нелидова ответила простодушно.— Ну, она непоседа. Где-нибудь рыщет.

Евсеев отошел тихий, печальный. В ее словах, как будто и простых, он вдруг почувствовал подтверждение: сейчас, в этом проклятом городе, против него делают что-то ужасное.

В кафе был пустынно. Сидело несколько греков; шипела вольтова дуга. При белом свете завсегдатаи пили кофе, читали газеты. Евсеев взял журнал. Рассеянно листал иллюстрации, курил. Когда попадалась нагая женщина, это ударяло его, почему-то вспоминалась Лина. «Какая гадость.— Он морщился.— Гадость!»

Он отложил журнал. Задумавшись, глядел на черного старичка с горбатым носом. За ним, где-то на туманном фоне, виднелась Лина — опять нагая, могучая и страстная. Она улыбалась, говорила: «Ну, вот я, ну, вот, мне двадцать восемь лет, я хочу жить. Идите сюда все, пусть, я хочу. Все тут будете, никому не уйти».

— А-а, галлюцинации.

Евсеев был злобен. Он не думал, что кафе, такое мирное место, где урчит кот, так тихо и сонно все — чтобы и оно было против.

Он ушел. Долго слонялся он по улицам; бешенство давило его. Мог ли бы он убить? Если бы встретил ее с тем (кто был тот? он не знал) — убил бы. Какая радость залить кровью свою боль! Против убийств, страстей пишут те, у кого нет нервов. Так настроенный, он возвратился. Было девять. Конечно, Лина не вернулась. Как он мог сомневаться?

Долгие часы затем он страдал. Обыкновенно, когда мучился, ложился на диван, подпирал щеку, недвижно оставался часы. Теперь так же. Но лежать хорошо, когда боль окаменяет; а она налетала, терзала, смолкала — он не мог найти одного типа сопротивления. Поэтому и ходил, и сидел, лежал, стонал.

В одиннадцать подошел к окну. Вспомнил, как сегодня, выходя из квартиры, поцеловал Лину. Показалось, что это было уже с год,— в какое-то необычайно прекрасное время. «Тогда еще я мог ее целовать, она была теплая, розовая со сна, а теперь я сижу в этом ящике, в поднебесье, кругом тьма, ветер... И что, что с ней происходит?» Это он спрашивал у себя в сотый раз.

«Просто она в гостях. Из-за чего кипятиться?» Но тут налетало, и метало его по комнате, ибо он знал, что в эти минуты происходит непоправимое, уничтожающее.

Около часу позвонили. Он чуть не упал. Огненным хвостом ударило в мозгу: «Вдруг ничего?» Он перевел дыхание, вышел. Почтальон! Он не видел расписки, что-то нацарапал, ему хотелось убить этого почтальона. Почтальон опасливо на него покосился.

Появления Лины Евсеев не заметил. Он сидел в кресле, в полусне, и не слышал звонка. Но — сквозь больное забытье — сразу почуял платье, шаги, духи. Он вскочил.

— Лина!

В спальне она раздевалась.

— Ну?

Он вошел. Лина стояла без корсета — высокая, в низковырезанной сорочке; прямая, холодная.

— Что тебе? Что ты на меня смотришь?

Евсеев хотел что-то сказать, но не мог. Захватило горло. Он сел.

— Что с тобой? — Лина начала раздражаться.

— Лина,— он остановился,— где ты была? Я тебя ждал... Почему ты так поздно?

Лина распустила волосы.

— Была по делам. Потом у Нелидовой. Ужинали в клубе.

— С кем?

— Ну, там много народу было.

Минуту он молчал; потом спросил,— и не узнал своего голоса:

— Ты мне не изменила?.. Нынче?

Лина отвела глаза.

— Сумасшедший.

Она говорила покойно. Но отчего у ней неверное лицо? Почему она не смотрит? Что видит там, в стороне? Почему не обнимет, не скажет: «Милый, я мучусь, что причинила тебе боль. Это — твое бедное сердце. Вот тебе душа, ты видишь, кроме любви, восторга, в ней нет ни-

чего». Он бы поверил! Целовал бы, плакал, просил прощения. Сказал бы, что если она полюбит, пусть говорит,— он не помешает, уйдет.

Лина молчала. Бог мой, дай сил!

— Слушай, Лина... Ну, может быть, это глупо. Но я весь день страдал, так страдал. Бог знает, что мне казалось...

Он подходит, хочет обнять. Если бы взгляд! Один взгляд. Лина отвертывается.

— Не хочешь сказать... Лина, за что?

— Да что я сделала-то?

— Не понимаешь?

Он сидит молча, закипает. Трудно сдержать себя.

— То сделала, что я тебе не верю,— он багровеет,— ... заставлю сказать правду... Если не скажешь, если...

— Невыносимо! Ты с ума сходишь.

«С ума?» Стало холодно. Собственно, что такое? К кому он ревнует? Что же она сделала, действительно-то?

Она права. Конечно, сумасшедший. Он сложил руки за спиной, несколько раз прошелся по комнате. Лина сидела теперь совсем раздетая. Вот сейчас она ляжет, потушит свечку, и как прекрасный зверь будет спать, в полумгле, при лампаде.

«Да, я знаю, ты ждешь минуты, ты спрячешься — и с тобой все уйдет... вся ты, грех, тайна. Вы будете во мгле».

Проходя, он вдруг быстро наклонился к ней, поднес к глазам огонь; взглянул. Лина испугалась.

— Что тебе...

Он держал ее крепко, обхватив правой рукой. Черный, тяжелый, он давил ее взглядом. То, что прочел он, было ужасно. На минуту Лина растерялась. Потом овладела собой.

— Если хочешь насилия,— делай. Ты сильней.

Он выпустил ее.

— Нет. Не насилие.

Передохнув, он сказал:

— Ты *все* лжешь. Я узнал по глазам.

Лина повернулась спиной.

— Оскорбляешь меня — ты. Это подло.

— Ты мне изменила.

— Нет.— Она сказала это равнодушно.

— Да. И, вероятно, изменяла раньше.

Лина потушила свет.

— Если ты не уйдешь, я начну кричать.

«Ну, вот, теперь кончено». Он опустил голову, стоял. Лина неясно белела на кровати. Окна были черны. Евсеев не уходил. «Вот теперь-то конец. Уж теперь конец».

Прошло пять минут. Лина позвонила.

— Проклятая квартира,— сказала она.— Нельзя даже запереться.

«Что же, меня выведут?»

Он вышел. В столовой встретил сонную прислугу.

— Идите спать. Я подал барыне, что нужно.

Он погасил свет в столовой, кабинете, прихожей. Казалось, что в темноте легче нести позор.

«Я ничего не узнаю от нее больше,— думал он.— Это ясно. Если при свете она не сказала ничего,— теперь она в своем мире. А, все вы против меня, все вы вместе».

Начиналась его последняя стража. Тихо ходил он по квартире, иногда натыкался. Что-то шептал себе. Увидевший со стороны принял бы его за безумного. Но он вовсе не был безумен. С ясностью, твердостью он размышлял о своем горе. Оно непоправимо, он знал. Уже давно началось это — Лина ускользала от него. Шло, шло, и теперь созрело. «Глупы люди, думающие, что мужчины сильней. Будто бы у них есть дело, своя жизнь — что эта жизнь...» Он не досказывал. Он знал, что его жизнь без любви Лины есть ничто, а она его уже не любит, и жизни его нет.

Он вышел на балкончик. Когда-то, очень давно, он стоял на нем. Эо было сегодня в сумерки, когда он страдал и еще надеялся. Так же город лежит внизу — союзник Лины. Теперь он еще черней; злобнее рвет в вышине ветер; быть может, он хочет притиснуть к земле все это дикое скопище людей?

Если шагнуть, то в ночной тьме никто не заметит падения. Разбитое, будет лежать тело до утра. Он содрогнулся. Захлопнув дверь, возвратился, сел в кресло. Так он пробыл долго и потом прошел к Лине. Она спала, слегка храпела даже; он сел у ее постели, прислонил к ней голову, молчал. Странная тишина нашла на него. После всех волнений, страхов дня, он почувствовал кроткую усталость. Как будто не замученное сердце было в его груди — такой широкой и сильной — а душа женщины. «Все равно,— говорил он себе,— я ее прощу. Почему она должна любить меня? Что я такое?» Он казался себе ничтожным, а Лина представлялась божеством, спокойно идущим на зов. «Ее зовет жизнь, она будет взята, она пройдет свой путь страсти, любви, наслаждений. А я сяду у ее ложа, вечно

я буду страдать, но не в том ли и состоит любовь, чтобы жертвовать?»

Лина повернулась во сне, вздохнула; стащила с себя одеяло. Видимо, ей было жарко. Нагая она была еще проще, прекраснее. Ее вольное тело не знало тьмы. Она должна была пронести его через жизнь как чашу, полную наслаждений, всегда ровную, покойную, мощную.

В семь она проснулась. Светало. Евсеев сидел у ее ног по-прежнему. Вытянувшись, она сказала:

— Ты еще здесь? Всё здесь? — И улыбнулась.— Иди спать.

Он встал, покорно вышел.

1910

ГУСТЯ
(Провинциальные рассказы)

I

Когда коляска свернула с ужасающей мостовой в переулок, пахнуло отхожим местом, и лошади остановились у «Отеля Капырин».

Выбежал Илья и высадил сначала винокура-богача Фриде, человека сухенького, с бачками, в крылатке и с орденом под горлом; затем его племянника, толстяка Густю.

— В первый,— пропыхтел он.— Тащи, братец, тащи.

Илья взялся за вещи и вспотел сразу.

— Извините-с, Густав Иваныч, как не изволили телеграммкой заказать...

— Что-о?

По случаю выборов были заняты все номера. Дядюшка собрался было обидеться, но Густя переспросил еще раз, грозно: «Что? Нет номера?», и вышло так, что к двум часам освободится первый, а пока вещи можно поставить «к господину Ченцову».

Ченцов, купчик, веселый и курчавый, пил водку, закусывая балыком, когда к нему ввалились. Он обрадовался:

— Милости просим-с, с прибытием, червячка не угодно ли заморить-с...

Дядюшка извинился за беспокойство и принялся чиститься.

Густя, увидев водку, взволновался:

— Густав Иваныч, а? Как полагаете?

Густя сидел на диване в пальто и имел беспокойный вид: вдруг он пропустит случай?

Но Илья уже подал рюмку, и Густя выпил подряд три, деловито, громко жуя и поколыхивая животом.

— Хороша водчонка с дороги,— сказал он.— Хороша. Вонзим.

Ченцов загоготал:

— Для нашего русского человека вещь умственная!

Дядюшка причесался и надел дорожный картуз (он называл его каскетом).

— Ну, Густав, я должен к предводителю, в управу. Ты веди себя сдержанно, Густав. (Дядюшка покосился на графин.) Антон Гаврилыч, оставляю его вам, а пока — честь имею.

— Не понимает, старая кочерга. Сколько я у него живу, хоть бы раз позволил за столом выпить как следует. Метит в председатели, а двух рюмок сделать не в состоянии...

Густя азартно жевал малосольный огурец. Людей непьющих он презирал искренно. Но сейчас он начал добреть — балык, свобода, гостеприимство Ченцова располагали его.

— Мне, собственно, на него наплевать. Я теперь сам с усам. Вставлю ему перо. Вставлю. Вонзим?

— Наследство получаете-с?

— Ну, нет, вроде... Это там... потом. Я, конечно, в материальной от него зависимости. Так сказать, его крепостной. А теперь он мне говорит: «Выберут меня председателем, я тебе две тысячи». Ну, я сейчас же в Ниццу, разумеется. Понимэ? Ему перо, и в Ниццу.

Антон Гаврилыч раскраснелся и подхохатывал.

— Напрасно смеетесь. Такого города, как Ницца, вам не видать! Фу! Надоело жить в грязи. «Отель Капырин»! Городской клуб. Черт бы их драл. Там — отель «Сплендид».

— Мы что же, мы ничего-с. Здесь действительно клопы-с, но и денежки тут, хо-хо. Денежка денежку любит и к денежке бежит-с. А конечно, заграницы много превосходнее наших мест, и, как бы сказать, мы сами не прочь посетить энти края-с.

Густя довольно быстро впал в возвышенный тон. Он превозносил Ниццу, вина, устриц, рулетку и ругал Россию. Кто здесь живет? Хамы. Например, дядюшка. Он его кормит, поит, дает тридцать рублей на расходы ему, Густе, который проигрывал тысячи франков, тратился на француженок...

— Барышни хороши? — спросил Ченцов серьезно.— Говорят, на все руки?

Густя махнул на него презрительно. Много ты понимаешь! И снова повествовал, как пил с утра до ночи

шамбертен, и оказывалось, будто в Ницце много есть схожего с Россией.

Наконец он устал.

— Храпача бы задать,— сказал он.— Надо бы теперь храпача.

— Это мы даже очень понимаем... Только здесь вам мешать будут, Густав Иваныч. Человечки ко мне придут разные. Денежка денежку любит-с, хо-хо...

— Ничего, я найду. Подумаешь! Все найду, чего захочу.

И, нетвердо ступая, Густя вывалился в коридор. Было темно, из трактирчика пахло чадом. «Сплендид-отель»! — бормотал Густя.— «Сплендид-отель»!» Он отворил первую попавшуюся комнату и вошел. Поглядел равнодушно на вещи, как будто чужие, потом положил свое тюленье тело на кровать.

— Густав Иваныч! — Илья выглядывал в полуоткрытую дверь.— Густав Иваныч, комната занята-с!

— Мне какое дело! Я уж лег.

— А если возворотятся-с?

— Кто такое? Наш что ли? Дворянин!

— Как сказать... англичанин один, по комиссионной части...

— А, Европа. М-м... Европу я люблю. Разбуди меня тогда! — заорал он, потом тихо прибавил: — А теперь убирайся.

Илья вздохнул, ушел, а Густя раза три перевернулся на англичаниновой постели и кряхтел. Вспоминал ли он шамбертен, француженок? Через несколько минут он дрых беспробудно.

II

Дядюшка вернулся радостный; предводитель сказал, что его шансы бесспорны. По этому случаю решили вечером идти в клуб. Подошли еще усатые помещики,— двое в поддевках, третий в черкеске. Забежал непременный член; он был красноват с лица, и так бегали его глазки, будто высматривали, где же водчонка.

Один Илья остался недоволен, что господа идут ужинать в другое место.

— Да он какой и клуб-то, Густав Иваныч...— Илья усмехнулся.— Ежели вам, положим, идтить, надо зараньше Сеньку послать, а то он заперт. Одно слово, что клуб.

Густя крякнул:

— Провинция!

— Густав,— сказал дядюшка слегка взволнованно,— что мы будем нынче есть? Как ты думаешь? Если бы, например, стерлядку?

Послали за клубским поваром — хозяином другого отеля, враждебного Капырину; велели отпереть клуб и после раздумий заказали стерлядь живую, кольчиком, на пятерых. Затем Густя с непременным членом зашли в буфет, остальные отправились.

— Ф... ф...— говорил Густя, закусывая икрой.— Насчет икорки и рыбешки заграница пас. М-да,— жевал он,— да... Очень уважаю Ниццу... но осетринки... не тово... мда-а... нет.

Непременный член с томностью закатил глаза:

— Ах, заг-граница! Мечта моей жены. И моя также. Там, г-говорят, ужасно все дешево.

— М-м... когда я останавливался в «Сплендид-отеле»...

Вспомнив о «Сплендид-отеле», он выпил еще, и в клуб они тронулись под руку.

Было темно, шел дождь, и на мостовой среди гигантских булыжников стояли лужи. Кой-где светились окна лавок. Снова запахло чем-то подозрительным. Густя шел медленно, отдуваясь.

— Азия,— говорил он,— кафе нет, тротуаров нет. Хамы!

Но они уже были около, уже клубский мальчик светил фонарем с подъезда. Клуб оказался просторным унылым домом; в нижнем этаже торговали хомутами, бакалеей, в верхнем — уездные чиновники два-три раза на неделе резались в карты, запивая водочкой малую свою жизнь. То же было сейчас. В зале, где голодные актеры, странствуя по белу свету, давали иной раз представление рублей на двадцать сбору, за зеленым столом сражались дядюшка, аптекарь, член суда и старичок — племянник графа, «ну, вы знаете, самого графа», теперь полуголодный. Со стены глядел на игроков Гоголь, недавно повешенный по случаю юбилея. Они его не видали и тузили всеми способами картежного дела: на ренонсах, с коронками, с подсидкой.

Густя оглядел залу покровительственно — остался недоволен.

— Игра в винт! — сказал он непременному члену.— Вы бы посмотрели Монако... да. Вы бы сюда не пошли. Однако где же буфет?

Непременный член грустно вздохнул:

— Густав Иваныч, не г-говорите лучше! Какой тут буфет? Тут совсем нет буфета!

Непременному члену было не до Монако: он охотно сыграл бы робер, даже пульку со стариками,— но партии не составлялось. Друзья прошли в биллиардную. Обтрепанные диванчики, хоры с облупившейся штукатуркой, огромный биллиард с продранными лузами, запах нежилого — остатки прежней славы!

— В Карлсбаде,— сказал Густя, беря кий и помелив наконечник,— я таким кием обработал одного немца. Да, я вам скажу, хороший был кий: не сломался. Разумеется, протокол, штраф... Я тогда был богат.

Непременный член попробовал меряться с Густей в игре, но быстро был разбит. Его красненький носик вспотел пуще.

— Здесь лучше всех играет исправник,— сказал он сконфуженно.— Подать его сюда!

Исправник был рыжий могущественный человек с веснушками на руках. Он зажимал кий в кулак, приседал при удачном ударе, был вежлив, тих. Его звали Потап Михайлыч — он походил на медведя. Но и медведь был побежден; Густя торжествовал.

Потап Михайлыч сощурил узенькие глазки и сказал:

— Да, видно, что вы заграничного воспитания.

Густя крякнул, ухмыльнулся и пошел за дядюшкой: наверху началось предужинное движение, пронесли стерлядку из отеля, враждебного Капырину, радостно запахло и мерещилась скорая водчонка.

Непременный член с исправником решили сразиться друг с другом для утешения; как люди умные и опытные, прислушивались они к звяканью посуды и принюхивались. Казалось, вот-вот кто-нибудь из них сделает стойку.

III

Когда за ужином на антресолях съели уже стерлядь и все были красны, ласковы, в дверях показались почтмейстер и молодой человек иностранного вида, бритый, в коричневом сюртуке.

— Позвольте представить,— сказал почтмейстер,— мистер Ралло из Англии.

Густя поднял голову:

— А, Европа. Прошу покорно. Сэнк ю.

Коммивояжер подавал всем по очереди огромную руку. Густя похлопал его по плечу, налил коньяку.

— Слиппинг на вашей постели, мы соседи, вуазинешен?

— А? «Отель Каругin»?

— Вот именно.

— Мне Илия говорил. Вы — тот человек, который засыпал на моей постели?

— Англия! — кричал непременный член.— Нынешний Карфаген! Пью за Англию!

Ралло обступили, чокались, пили за здоровье. Лишь Потап Михайлыч не вставал; аккуратно нацеживал он себе водчонки — действовал тихо и вразумительно.

— Шампанского! — непременный член пылал, носик его тонул в щеках.

Дядюшка одернул Густю и шепнул: «Густав! Будь воздержен!» Густав в ответ налил себе шампанского. Ралло быстро напился и заржал.

— Русские, англичане хороши. Немцы дрянь, фу! Фу!

— А какие в Англии, к примеру сказать, деньги? — спросил вдруг исправник.— На наши похожи?

— Мы имеем фунт, мы имеем шиллинг, пенни, всё есть, сделайте ваше одолжение, пожалуйста.

— Шиллинг — это, кажется, вроде франка? — спросил робко непременный член.

— Франк, фу! Франк дрянь и французы, это все чепухха,— заорал Ралло.— Мы французов морды бьем.

— Ну, ты, потише,— сказал Густя.— В Ницце был? Нис? Никешен?

— А, Нис! Другое дело. Там королева жила. Инглиш промнад.

Член суда нагнулся к дядюшке: «А как вы думаете, он не шпион? Знаете, так, прикинется пьяненьким и выведает что-нибудь?» Исправник, как человек военный, сначала обеспокоился. Потом, рассудив, что и выведать в городе нечего, кроме цен на стерлядки и осетринки, утешился и попросил прислать из Англии шиллинг. «Хотелось бы посмотреть, какие там деньги». Ралло обещал и стал рассказывать, как в Москве он споил японца, как у Яра они выпили на триста рублей шампанского и прочее.

— Молодец,— говорил Густя, подливая.— Молодец. Мы с тобой европейцы. Ты думаешь, я тут сижу, так я мокрая курица? Провинциал? Я, брат, по запаху отличаю, от Депре вино или от Леве. Да ты знаешь, что такое Леве?

— Француз? Бить их хочу.

Дядюшка вздыхал. Он чувствовал, что теперь не скоро

выживешь отсюда Густю, и, перешепнувшись с членом суда, они отступили. Исправник, надеясь получить образчик шиллинга, тоже вышел. Непременный член раскис и пускал слюни. Лишь буфетчик Федосов, подмигнув на Ралло, сказал человеку Петру: «Мазурик». Густя же ораторствовал.

— Ты думаешь, я медведь, провинциал, хам? Р-раз! — он бил кулаком по столу.— Я — Европа! Ты думаешь, мне тут весело с ними? Этот вот — взятки берет! Дядюшка пред-дводителя задабривает! Я в Ницце барышням по сто франков платил! Понимэшен? А если непонимэшен — значит дурак.

— Нис! — бормотал Ралло.— Королева... Инглиш промнад.

— Хочешь со мной в Ниццу? Первый класс, люкс, целый день в буфете и пьян. В Ниццу приехали — выпили. Пошли играть — выпили. Так живешь, знаешь, как в раю. Я около Ниццы мало что видел — сознаюсь... Пришел к морю — выпили. Сели в автомобиль, везут куда-то, сукины дети, а через плеч-чо фляжка — коньячишко: выпили.

Непременный член проснулся, выпучил глаза:

— Заг-г-границей всё втрое...— потом довольно долго думал и кончил,— дешевле...

— Этот же хам,— сказал Густя.— В прошлом году приехал к тетке, сел, напыжился, говорит: «Mesdames!»[1], а она одна в комнате. Хам.

Часа через два, обнявшись, они спускались с лестницы. Густя хотел было сыграть на биллиарде, но Ралло едва держался; потом попробовал положить его на стол, чтобы до утра спал. Не позволил буфетчик. Тогда они вышли наконец на улицу. Дядюшкин извозчик уехал, тьма была египетская. Разошелся дождик, с пьяных глаз не видать было даже фонарей, и сырой ветер, налетавший откуда-то из равнин, темных и грязных, как и сам городишка, был жуток. Казалось, они брели куда-то в черную яму.

— Полицей! — закричал англичанин.— Полицей!

— Не ори. В Ниццу, Нис, Никешен! Едем? Идет?

Но Ралло было страшно, и он кричал:

— Полицей! Полицей! «Отель Карутіп»!

Густя его не слушал.

---

[1] «Дамы!» *(фр.)*

IV

Густя проснулся на другой день, во втором часу. Он оделся и велел дать закусить в дядюшкин номер. Дядюшка заседал еще в собрании, до его приезда Густя надеялся поработать.

Подавая к водке икру, Илья ухмыльнулся:

— А уж мы вчерась думали, Густав Иваныч... вы англичанина-то...— Илья прыснул,— проучить решились. Как он это орет, значит, ночью, мы так и понимаем: верно, Густав Иваныч его учат.

Густя обиделся:

— Ну и дураки. Где ж это видано, чтобы я европейца... Мужланы.

— Да ведь он что ж,— скромно сказал Илья,— так, фитюлька. Разве он может против вас соответствовать?

— Пустяки рассказываешь. Выпей рюмку водки за мое здоровье и уходи.

— Покорнейше благодарим-с.

Густя пил один и скоро погрузился в привычный горячий туман. В казино он выиграл тридцать тысяч; потом пахнет морем, устрицами и шамбертеном; очень теплая ночь со звездами, автомобиль летит по прибрежью, мадемуазель Ларош кивает шляпой, и, кажется, она говорит: «Скорее, шибче, шибче!» Они все летят, ему весело, куда б они ни залетели. «Не бойся,— говорит она,— все равно тебе недолго жить, тебя скоро хватит кондрашка, condraschka russe, в твоей стране белого медведя. Не все ли равно? Ты погибший человек. Шибче!» И правда — не страшно, если и свернут шею.

Что будет дальше, он не успел придумать, потому что вошел дядюшка. Он был бледен и худ.

— Илья,— сказал он,— лошадей и счет, живо. Густав,— он говорил сухо, как трещотка,— прекрати свои оргии, достань мне дорожный каскет и будь готов: через полчаса мы едем.

— В Ниццу?

— Да, вот именно,— дядюшка злобно поежился.— Вот именно в Ниццу. Очень кстати. Дядя окружен врагами, оплетен интригами, один воюет с целым обществом,— дядюшка патетически ударил себя в грудь,— а мы разъезжаем по Ниццам, по загран-ниц-цам!

Густя похолодел. Нетвердо он спросил:

— Что... провалился? На выборах?

Дядюшка вскочил:

— Не смей употреблять мерзкого слова! Против меня велась кампания... был комплот. Понимаешь? И изволь сейчас же укладываться, бросить всякие нелепые мысли о поездках и тому подобное. Я не миллионер.

— То есть... как? Ты же обещал?

Дядюшка был сух, непримирим. Он твердил упорно, что, когда дядя опутан сетями козней, нечего племянникам ездить — и он не миллионер. Тогда Густя пришел в ярость:

— Ну, так я не уеду отсюда, понимаешь? Буду здесь сидеть, пить, пока ты мне не дашь денег. Понимэ?

Дядюшка вскочил. Он что-то ворчал у себя в номере и переодевался. А Густя пил, стучал по столу и по временам выкрикивал:

— Хамы! Взяточники! Где у нас культура? Не уеду! Вот возьму и не уеду! Где мой друг? Где мой товарищ — европеец?

Когда Илья сообщил, что англичанин уехал, Густя огорчился:

— Изменник. Мелкая душа. А вчера уговорились... в Ниццу вместе едем. Мелкая тварь. Все равно я отсюда не тронусь. Не-ет, как хотите! Буду жить и не уеду.

Шатаясь, он подошел к окну. Шел дождь, уездная грязь на улицах казалась еще горше. Гнусные вывески лавчонок, три оборванца, городовой, наискось, за собором, острог и больница, похожая на тюрьму, клуб, непременный член, исправник и Гоголь на стене — мелькнули в голове на минуту. Густя вздохнул:

— Не поеду.

Через полчаса Илья вошел и робко сказал:

— Лошадки поданы-с. Дядюшка гневаются и сказали, что ежели вы тут останетесь, так они платить не будут нипочем-с.

— Хам,— ответил Густя.

— Не могим знать-с.

Густя помолчал и сказал тихо:

— Илья, дай фуражку.

Густя был тих и грустен. Он уже не был пьян. Входя в коридор, он еще вздохнул, дал рубль Илье и, ни к кому не обращаясь, произнес:

— Хам.

Кого он ругал, Илья не понял. Но за рубль поклонился и пошел усаживать в коляску.

1911

ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ

В новую земскую школу, обращенную в лазарет, привезли солдат. Это легко раненные. Их тридцать человек. Вписывая в книгу данные о них, видишь, сколько в России губерний, выговоров, типов лиц. Немалая наша страна.

Из тридцати семнадцать хлебопашцы. Так и быть должно. Если взглянешь в окошко или туманным утром выйдешь по большаку — сколько полей, жнивья, озимых, пахоты — на миллионы рук.

Одного рыжеватого мужика имя — Хрисанф, а зовут его все Крысаном. Он и есть Крысан. Высокий, нескладный. Ходит несколько коряво. Ранен в руку, когда шли «на ура». Пьет много чаю. Другой пониже ростом, со спутанными волосами, редкой бороденкой. Кажется, Курской губернии. Крысан — самарец. У него разворочен палец, и зловонен. На перевязке, когда снимают разложившиеся частицы, слегка охает. Но крепится. Они оба пахари. Из тех, кем государства держались. И эти не выдадут. Все помаленьку, полегоньку. А прикажут им — все полягут. Не побегут.

Работа состоит здесь в том: кормить их, поить чаем, помогать на перевязке. Это, разумеется, не трудно.

Удивительная тьма вечером, когда выйдешь на улицу! Начало ноября. Суровое в деревне время. Человеку молодому и нервному ветер, тьма ночи кажутся хаосом. Вероятно, это так и есть.

Вспоминаешь о тех воюющих, знакомых и друзьях, с кем в пестрой, иногда блестящей сутолоке столиц сжигал жизнь. Где они сейчас? В разведках, в опасностях? Или кто-нибудь из них уже хрипит в кусту, с пулей в животе?

«О плавающих, путешествующих, недугующих, страждущих и плененных — и о спасении их»...

Фамилия одного раненого — Келка. Он Петроградской губернии, очень странного, Люсинбургского уезда. О своей народности, смущаясь, пролепетал: «винць», «винь» — непонятно. Он просто финн. Добрые у него глаза, детские. Очень растерянный. Что-то мелькает и перебегает в лице, и говорит он тоже жалобно — малопонятно. Точно подбалтывает. Вечером мучительно и горячо молится, на коленях. Я принес им в палату, перед вечерним сном, яблок. Разговорились. Келка все бормотал: «Ой, много народу побили! — и улыбался виновато. Потом прибавил: — И я его, офицера ихнего, прикладом, прикладом!»

Еще раз я видел, он стоял перед постелью, голову в нее уткнул и руками сжал. Пусть бы актер сыграл так отчаянье!

Марк Аврелий был очень спокойный, всегда прекрасный и правый человек. Ему было горько жить, во многом. Но одного он не знал, терзаний совести. Великое это счастье.

Низкорослый, черный, веселый солдат рассказывал, как их рота сошлась с австрийцами — на штыки. «И они стоят, и мы стоим, значит, и им страшно, и нашим. Они кричат — сдавайтесь, и мы им то же кричим. Ротный наш говорит... «погоди колоть, ребята, сейчас сдадутся». И только сказал — раз ему пуля в лоб. Наши осерчали. Нет, не уйдешь. Они драла. Я на какого-то наскочил, ка-ак дал ему штыком в зад, даже хряснуло. Штык застрял, вытащить не могу. А он бежит, меня за собой тянет. Ружье жаль бросать, ах ты, дьявол этакий! Было к своим утащил, в Австрию. Ну, тут сбоку наш, Миронов, ему раза дал, попритих он». Это рассказывалось раза три. Всегда с успехом.

Отчего Келка тоскует? — Измучен.— Чем? — Кровью, выстрелами, убийством.— И смерти ждет? — Ждет.— Многие ждут? — Многие.

Большинство думает, что не вернется. Много пишут женам, к которым стали нежнее. Чаще вспоминают дом, детей. Нередко они смеются. Но скоро становятся серьезны. Вообще они очень, очень серьезны. Почти все стали набожнее.

Еще есть гвардеец. Необыкновенной красоты человек. Даже черные его волосы ложатся симметрично, кольцами, как все в нем гармония и симметрия. Он из черниговской

губернии, но похож на Софокла. Этот Софокл мне сообщил, что убил около тридцати человек. Через несколько времени, когда дежурила одна добрая душа, он вдруг ей сказал: «А не грех, что я столько народу убил?» Солдаты засмеялись. «Глупый человек, небось война!» Должно быть, и у него это было минутное.

Марк Аврелий войну ненавидел. Ему пришлось воевать всю жизнь. Он покорно и величественно воевал с разными квадами, маркоманами, защищая Рим, ненавидя войну. Он всех победил.

Русские тоже войны не любят. Один мой друг пишет из армии: «Я успел полюбить солдат, то есть как часть народа. Наш умнейший народ понимает, какое страшное несчастие война».

Наш умнейший народ, не любя войну, отобьет всех, кого нужно.

Если есть Суд за гробом, Келка попадет в селения блаженных.

Иной раз, разливая им чай или накладывая каши, думаешь, что эти люди увидели и узнали такое, чего тебе и всем, не бывшим т а м, не дано.— Бремя ли на них? — Да.— Подвиг ли? — Да.— Великая ли тоска? — Великая.

Из них мало таких, кто х о ч е т драться. И умирать никому не хочется. Но если выпало общее горе — это горе война,— надо драться. Они смотрят на себя, как на обреченных. Наверно, есть у некоторых озлобление. Но я его не видел.

Пришла старуха, принесла им пирогов, и поклонилась в пояс. Верно, так она покойника поцелует в венчик на лбу.

А мы? И мы в пояс поклонимся. Быть может, следует взять руку Крысана, покрытую рыжеватыми волосками,— ту руку, что через месяц, два снова будет держать ружье и отстаивать родину — взять ее и поцеловать. Это вовсе не будет стыдно.

«Спаси и помилуй рабов Божиих Павла, Сергия, Александра»... А затем следует прибавлять: «И все христолюбивое воинство» — старинное и теперь так мучительно-жалобное выражение. Да, все христолюбивое воинство.

1915

ДАЛЬНИЙ КРАЙ

РОМАН

Вере Алексеевне Зайцевой

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Идите и вы в виноградник мой.
Матф. 20, 7

I

— Вот, Полина, позволь тебе представить: это Степан, мой товарищ,— сказал Петя.

Степан поклонился, крепко пожал ей руку. Полина приветливо взглянула на него.

— Очень приятно.

Потом она обратилась к Пете.

— Ну как я рада, как рада, что ты зашел, наконец, Петруня! Я уж думала, ты забыл нас.

Полина, черноволосая учительница, старинная приятельница Пети, мечтала втайне о сцене, и ей нравилось, что слова «ну как я рада, как рада» выходили немного похожими на театр.

Ее сестра, Клавдия, худенькая девушка с острым лицом и слегка косящими глазами, лежала на кушетке в платке. Когда вошли, она вскочила как бы испуганная, быстро поправила волосы, и в глазах ее, умных и горячих, сохранился отблеск тайных мыслей.

— Какой ты большой стал, Петруня! Я тебя два года не видала. В штатском, усики...— Полина захохотала, встряхнула своими прекрасными черными волосами.— Как ты изменился, если бы знал!

— Петя, вы ведь экзамены держите? — спросила Клавдия, поеживаясь.

Разговор перешел на экзамены — Петя со Степаном держали в высшие специальные заведения. Петя стал

жаловаться, охать, Полина шумно возражала, жестикулировала и среди дебатов незаметно, но ловко устроила кофе, достала откуда-то котлеты и даже полбутылки мадеры.

— Неужели и вы так же мрачно смотрите на будущее, как Петруня? — спрашивала она у Степана, вынимая из самовара сваренные яйца.— Но ведь это невозможно, вы так молоды, и такие мысли. Нет, этого нельзя допустить.

Клавдия засмеялась.

— Допускай, не допускай, они по-своему будут чувствовать,— глаза ее блестели насмешливо,— чудна́я ты у меня, сестра, одно слово — артистка.

Полина взглянула на нее испуганно.

— При них можно. Петя свой, а Степан Николаевич не выдаст?

Степан кивнул утвердительно.

— Нет, серьезно,— продолжала Полина,— мне не по душе пессимизм современной молодежи.

— Не знаю,— сказал Степан, вздохнув,— я этого пессимизма не чувствую. По-моему, просто, жить страшно интересно, и мне как раз,— он опять слегка улыбнулся,— жить очень, очень хочется.

Петя засмеялся.

— Имей в виду, Полиночка, что Степан у нас страшный революционерище.

Полина обернулась на дверь: в их квартире, при городском училище, такие разговоры были не очень удобны.

— Ничего особенного,— сказал Степан.— Еще что Бог даст, все в будущем.

Клавдия опять куталась в платок, будто у нее был жар, волосы ее были в беспорядке, глаз лукаво блестел.

— Он революционер, а моя сестра артистка — и нашим, и вашим. Сегодня с вами говорит, а завтра в карету к Иоанну Кронштадтскому бросится.

Полина обиделась.

— Ну уж ты всегда скажешь, Клавдия!

Клавдия захохотала и прижалась к ней.

— Не сердись, моя радость, я тебя очень люблю и просто вру на тебя. Миленькая, дай кофейку!

Клавдия подошла к Степану.

— Так, по-вашему, интересно — жить?

— Конечно,— ответил он.— Очень.

— Ну, так выпьем, коли интересно.

И Клавдия налила всем мадеры.

Разговор стал живей. Клавдия увела Степана к себе,

и по их голосам чувствовалось, что они не скучают.

— Степан человек энергичный,— сказал Петя Полине.— Я его знаю с детства.

— Он твой товарищ по гимназии?

— Да, даже и до гимназии. Мы росли вместе, в деревне.

Около одиннадцати Степан собрался уходить. Клавдия молчала, поеживалась; казалось, температура ее поднялась.

Пете же не хотелось трогаться; он попросил Полину, чтобы позволила остаться еще.

— Ну послушай, ну это будет очаровательно,— сказала Полина,— я заварю свежего кофе, Клавдию мы уложим, а ты сиди у меня, сколько вздумаешь.

И она пошла переодеться. Вышла в капоте, небогатом, но приличном, и имела несколько таинственный вид; от нее пахло духами, и ей казалось, что она знаменитая актриса, принимающая у себя после спектакля. Потому ей и хотелось уложить Клавдию. Клавдия улыбнулась не без понимания, попрощалась с Петей.

Когда вскипел кофе, Полина зашептала Пете о их жизни:

— Петруня, я серьезно мечтаю о сцене. Эта жизнь меня не удовлетворяет. Эта серая обстановка, отсутствие блеска, цветов...

И Полина, боясь повысить голос, чтобы не разбудить Клавдию, волнуясь и вставая, рассказывала, как она любит искусство, как ее ободрил Аполлонский.

Петя сидел в кресле, пил кофе, и ему казалось все в этой комнате таким родным, удобным, что правда, так вот слушая Полину, подавая реплики, он мог бы сидеть долго, сколько угодно. Когда представлялось, что придется тащиться через весь Петербург, возвращаться в свой пустынный номер, его охватила тоска.

— Клавдия все посмеивается надо мной, но ты меня поймешь, я чувствую. Я Клавдию очень люблю, но она большая фантазерка, это еще мама говорила. Она только и мечтает о революции. Ты знаешь, ведь у нас тетка была психически ненормальна. И с Клавдией иногда сладу нет. Теперь, например, я, с одной стороны, очень рада, что ты привел товарища, но и боюсь: это еще сильней может ее свернуть, раз он такой левый.

Петя успокоил ее, сколько мог, и стал прощаться. Пожимая ему руку, Полина сказала:

— Ах нет, все-таки я не понимаю этого увлечения политикой. То ли дело артисты, сцена!

Она вздохнула и подняла кверху глаза.

Петя улыбнулся, вышел. По темной лестнице он спустился вниз, миновал дворик и медленно зашагал по переулку, в районе Лиговки. Он жил у Николаевского моста. Предстоял длинный, унылый переезд по чужому городу. Петя был в Петербурге всего с неделю, но успел возненавидеть его. Хорошо, что тут Полина, Клавдия, иначе во всем огромном городе не было бы родной души.

Он шел медленно и думал о том, что послезавтра опять экзамены, и предстоит еще неделя борьбы. На этих экзаменах надо отвечать лучше всех, чтобы быть принятым. Почему-то так надо. Почему-то он кончил гимназию, прошлое лето усиленно готовился и теперь соперничает в знаниях с сотнями таких же, как он. Если же разобрать, то ничего этого ему не нужно. Инженером ему быть не хочется, и, наверно, он будет плохим инженером. Что вообще ему надо? Петя задумался. Он находился у порога взрослой жизни, сознательной, но не знал, какова его линия. Степан, например, стоит твердо. «У него есть идеалы»,— подумал почти вслух Петя, и ему стало завидно. А какие идеалы у него, Пети? Неужели он так ничтожен, ни на что не годен, что у него нет идеалов?

С горечью Петя видел, что того высшего, что как бы приподымало жизнь Степана, у него нет. Если спросить, каково его назначение, какова цель, он ответить не сумеет, а сердце подсказывает что-то мрачное.

В таком настроении возвращался он на Васильевский остров.

На Николаевском мосту глухо выл ветер. Нева клубилась во тьме, фонари уходили золотыми цепями вдаль, в туманный мрак. Сердце Пети сжалось: ему почудилось, что он навсегда один в этой пустыне, и без цели и смысла ему надлежит блуждать по ней. Но тут он вспомнил об Ольге Александровне — ее далекий, милый образ светлым видением проплыл перед ним. «Любовь,— подумал он, входя к себе по лестнице.— Любовь?» Сердце его забилось.

II

Экзамены тянулись с неделю, и эта неделя была очень утомительная для обоих, особенно для Пети: от волнений он успел похудеть и пожелтеть. Казалось, все идет хорошо. Вывесили список принятых; Петина фамилия была в нем, Степан не попал: не хватило полубалла.

Хотя Петя притворялся равнодушным, ему занятно было надеть форму — это несколько развлекало: он казался себе похожим на мичмана. Неудача же Степана очень изумила и огорчила его. Он считал, что Степан гораздо способнее его и более, чем он, достоин носить форму.

Когда он спросил его, что же он намерен делать, Степан ответил:

— Как-нибудь устроимся.

Из Петербурга он решил, во всяком случае, не уезжать. Через знакомых земляков нашел урок и за двадцать рублей должен был мерить ногами Петербург; это дало ему возможность жить почти самостоятельно.

Утром он читал, днем просвещал мальчика, обедал в дешевой столовой, а вечерами бывал у знакомых, на вечерних курсах, лекциях.

Как всегда, Петя завидовал его жизненности.

— Тебе скучно бывает? — спрашивал он.

— Нет, не бывает.— Степан курил, и по взгляду его небольших, темных глаз было видно, что это правда: где же скучать, когда еще не решен спор народников с марксистами, не прочитан Ибсен, Ницше.

Петю же остро мучило одиночество. Рос он с детства в любви, среди забот о нем, всегда с женщинами. Теперь этих милых, своих женщин не было; были лишь те, которых он видел издали,— они только смущали его. Самый воздух, каким дышал раньше, был иной.

Утром Петя шел в институт, вяло слушал лекции. Завтракал в институтской столовой, иногда заходил в музей — единственное, что ему нравилось.

Бродили столетние сторожа, было тихо, беспредельно покойно. Потрескивал паркет, веяло теплом из отдушин. Белые шкафы с золотыми разводами, за стеклами минералы, окаменелости; посреди зал скелеты мамонтов, плезиозавров. Петя разглядывал бериллы, топазы, аметисты, кварц с прослойками золота — драгоценные, застывшие соки земли.

Садился и подолгу сидел молча. Пройдет случайный посетитель, проплетется старик солдат, и задремлет. Это все.

А потом надо в чертежные, вымерять циркулем, выводить линии, раскрашивать разные разрезы и профили. Впереди — обед и вечер в унылой комнате с красной мебелью, с видом на Неву; чай с булкой среди неживого, чужого.

Студенты ему мало нравились. Их было несколько подразделений: студенты-политики, затем хлыщи, зубрилы и огромная масса никаких.

Первые собирали деньги — таинственно, иногда глубокомысленно; устраивали сходки, говорили «студенчество», «публика». Путейский институт называли «Путейкой», Технологический — «Технология». Вторые приезжали на рысаках — это были дети богатых инженеров; они носили рейтузы, высочайшие воротнички, проборы; почти все заказывали чертежи и проекты.

А зубрилы сторожили каждый чих профессора, вид имели беспокойный и знали наизусть расписания лекций. Перед начальством трепетали. Большинство же, никакие, наполняли собой аудитории, как водой: нельзя было понять, есть они или их нет. Эти брали количеством, срединой, посредственностью.

Позже других познакомился Петя с соседом по чертежной, студентом Алешей. Это произошло потому, что оба бывали там нечасто.

Раз, когда Петя открыл свой стол, к соседнему подошел круглолицый юноша, голубоглазый, в голубенькой рубашке под тужуркой. Он тоже отворил стол, вынул линейки, готовальню и с недоумением взглянул на чистый лист ватманской бумаги, натянутой на доску.

Петя заметил это и улыбнулся. Улыбнулся и сосед.

— Здравствуйте,— сказал он, протягивая руку.— Вот история, оказывается через две недели надо подавать, а я и не начинал. А у вас? Ну, тоже не много. И все это надо раскрашивать?

Он имел такой вид, будто в первый раз попал сюда и не знает, что тут делается.

Через полчаса они разговаривали как давно знакомые. И действительно, в Алеше было что-то такое простое, ясное, как голубизна глаз. Странным казалось, зачем он здесь.

Петя спросил его об этом.

— В сущности,— сказал он,— так, случайно. Отец был инженером, я имею право сюда без конкурса. Кончил реальное, надо куда-нибудь. У меня матери нет; тетка да сестра Лизка, в Москве. Ну, тетка говорит: поезжай в Питер, может, и выйдет из тебя что. А, ей-Богу, я и сам не знаю, что такое из меня может выйти?

Петя сказал, что и он про себя не знает и тоже попал случайно.

— Да ну? А я думал, вы из заправских. Я вас на лекциях видел два раза: такой спокойный, аккуратный,— ну, думаю, министер.

Они захохотали. С этого началось знакомство, скоро перешедшее в очень добрые отношения. Алеша так же ненавидел Петербург, ученье, и ему нравились почти те же люди, что и Пете. Но унылости Петиной он не понимал и не одобрял ее.

— Чего вы? — говорил он, когда Петя впадал в меланхолию и приходил мрачный.— Совершенно напрасно. Живем и живем. Выгонят отсюда за лень — уедем в Москву.

— Куда же вы денетесь, если выгонят? Что-нибудь надо же делать?

— Мало ли что. Поступлю в Живопись и Ваяние,— может, я художником буду. Разве это известно?

Петя верил ему. Он не удивился бы, если б Алеша вдруг ушел странствовать по свету или занялся чем-нибудь удивительным.

— Ко мне Лизка скоро приедет, из Москвы, это штучка... мне пять очков вперед даст.

Удивляло Петю и то, как просто говорит Алеша о любви, женщинах — о том, что для Пети было мучительным и темным. Тут же выходило так, что ничего нет стыдного и тяжелого в этом деле, напротив,— все ясно.

Между тем, время шло. Наступила осень — в аудиториях стали зажигать свет чуть не в двенадцать. Просыпаясь утром, Петя видел вместо Невы мутную полосу, шел в тумане в институт, возвращался оттуда в тумане и тьме.

В этой же тьме ездил вечерами в монотонной конке к Клавдии и Полине. Иногда заставал там Степана, но тот больше сидел с Клавдией.

— Ну, Петруня,— говорила иногда Полина,— ты учишься? Ты будешь инженером, я — актрисой; ты будешь подносить мне букеты роз.

Она ходила взад и вперед по своей небольшой комнате, глаза ее горели, и ей, правда, казалось, что недалек тот день, когда она выйдет в свет великой актрисой.

— Будешь знаменитостью,— говорила Клавдия, лукаво кося на нее глазом,— присылай мне контрамарки, или устрой на выхода.

Полина волновалась, доказывала, что Клавдия напрасно ее шпигует,— и скоро являлся горячий кофе, простые, тихие разговоры, за которыми Петя отдыхал, забывал одинокую жизнь, почти всегдашнюю тоску.

В начале ноября они с Алешей сдавали репетиции. Петя с грехом пополам прошел, Алеше предложили прийти еще. Степан же к этому времени совсем забыл неудачу и был скорее доволен, чем недоволен петербургской жизнью.

III

«Пишу вам в институт наудачу,— не знаю даже, попали ли туда. Мы еще не трогались, переедем в декабре. Заходите, буду очень рада». Следовал адрес.

Петя слегка покраснел.

— Приятное письмо? — спросил Алеша, сидевший рядом. (Петя вертел в руках конверт.)

— Да,— сказал Петя тихо.— Письмо... от одной знакомой.

— Вижу.

Через минуту он сказал:

— Хорошая?

Петя не знал, что ответить.

— Я люблю красивых,— продолжал Алеша задумчиво.— Очень люблю красивых женщин.

Профессор написал в это время формулу дифференциала суммы; студент Иванов, записывавший перед ними, раздраженно обернулся.

— Нельзя ли потише?

Алеша слегка свистнул и зевнул.

Когда лекция кончилась, он сказал Пете:

— На днях Лизавета приезжает,— надо бы вас познакомить. Да она ненадолго, вот дело-то какое. Я вам скажу тогда.

И Алеша простился, накинул легонькую шинельку и, сам круглый, легкий, зашагал по набережной.

Петя же думал об Ольге Александровне — не мог не думать. Все это время, занятое тяжкими и скучными делами, она была от него дальше, а теперь вдруг приблизилась,— точно осветила жизнь. Он, положим, знал ее мало. Но уже обаянье ее испытывал. Если б спросили, любит ли ее, пожалуй, не ответил бы, но смутился б.

И теперь, зная, что через несколько дней она приедет, Петя прощал кое-что Петербургу: по этим улицам будет ходить она. Письмо пролежало в институте — вдруг она уже здесь, встретится на том перекрестке?

Эти дни Петя бродил один по городу — значит, был не

в себе. Алеша заметил это и поставил ему на вид.

— Да, и вот еще что: прошу вас — сегодня ко мне, на файф-о-клок.

— Это еще что?

— Да уж приходите. Будет и Степан Николаич. У нас общие знакомые оказались.

— Почему же это файф-о-клок? Вы англичанином стали, что ли?

— А уж так я торжественно называю. И еще скажу вам — Лизавета приехала. Явилась-то третьего дня, нынче уезжает. Но вы ее увидите. Ну, ждем.

Петя обещал. Ему опять стало весело, что вот он увидит какую-то Лизавету, о которой Алеша напевал ему столько времени.

«Может, сватать меня вздумал? Он чудак». Петя про себя засмеялся, но ему не было неприятно, что его можно сватать.

Он надел свежую тужурку и отправился.

Алеша жил недалеко, тут же на Васильевском. Его найти было нетрудно,— в глубине большого двора странное здание, с огромными окнами. Здесь, в холоде, но в свету, жили художники. Алеша временно занимал студию уехавшего приятеля, ученика Академии.

Когда вошел Петя, файф-о-клок уже начался. Степан сидел на окне со стаканом чая; поодаль под огромным картоном, изображавшим Пьерро,— два студента; Алеша, без формы, в светло-голубенькой рубашке, старался подварить чай, а высокая рыжеватая девушка, остролицая, напоминавшая лисичку, вырывала у него чайник.

— Дай сюда! — кричала она и покраснела от раздражения,— ты страшно глуп, безумо!

И она стала доказывать, что нельзя подварить, надо разогреть самовар вновь. Она так была увлечена, что не заметила Петю.

— Погоди,— сказал Алеша,— знакомься, пожалуйста. Это Лизавета, сестра моя, а это Петр Ильич.

Лизавета протянула руку и сказала, как бы ища сочувствия:

— Нельзя на холодном самоваре, это идиотство!

Глаза ее блестели; нежный румянец дышал теплотой, отливал золотом чуть заметного пушка.

— Чего вы так волнуетесь? — спросил с окна Степан и улыбнулся.

Алеша захохотал, тряхнул слегка кудрявыми волосами:

— Уж такая она, вся как на пружинах.

— Ладно,— сказала Лизавета,— какая есть, такая и буду.

Спор, прерванный Петей и Лизаветой, возобновился. Рассуждали о том, какими путями должна идти революция.

— Я думаю,— говорил Степан,— что раз мы считаем себя революционерами, то не должны отступать, ни перед чем. Кто же говорит, что террор приятен. Но если жизнь так идет, что он становится необходим, то надо... быть достаточно мужественным. Больше ничего.

— Террор не достигает цели,— ответил рыженький студент, социал-демократ.— Без воспитания масс вы ничего не добьетесь. А массы воспитываются капитализмом.

Степан стал возражать. Алеша насвистывал. Лизавета села покойно, раздраженность сошла с ее лица, и теперь только Петя заметил, что она очень похожа на брата: у нее такие же веселые и открытые глаза. Степан, как видно, несколько подавлял ее, хотя во всех ее движениях, улыбке — была своя правда, которую, быть может, она не умела даже высказать.

— Ну,— сказал Алеша,— революция, да без бомб,— это, по-моему, глупо. Какой там капитализм! Жди его.

— Разумеется, надо бомбы! — подхватила Лизавета.

Рыженький студент взглянул на них с таким видом, что ему трудно спорить с детьми, не читавшими Маркса. Не отвечая им, он опять обратился к Степану.

Петя молчал. Ему казалось, что отчасти правы и те, и другие, но чтобы говорить так, надо за что-то бороться на самом деле, а не только разговаривать. О себе же он знал, что не может бороться уже потому, что ему неизвестно и более существенное: для чего живет сам-то он?

Он подошел к окну, взглянул сквозь огромные стекла на небо, на крест Исаакия, и привычная тоска охватила его. Один, один, по-прежнему, и никому не нужен. Неужели судьба его — праздное коптительство неба, вдали от большого и настоящего, что есть, все же, в жизни?

— А по-моему,— сказала неожиданно Лизавета,— одно только нужно — любить. У кого есть любовь, тому хорошо, солнце. Петербург ваш проклятый,— в нем солнца нет. А на остальное мне наплевать. Есть солнце, я живу, а нет — умру, все равно, что вы ни говорите тут. Это безразлично,— без любви я умру, во мне самой солнце должно быть.

Она встала шумно, мягко, как все, что делала, и подошла к Пете. От нее пахло теплом и чуть духами. Прическа немного набок, и непременно отстегнут какой-нибудь крючок на лифе.

— Тоску на вас нагнали?

Она показала на споривших и сказала, зевнув, вполголоса:

— Мне в Москву сегодня ехать, поезд уж скоро.

И, смеясь, блестя веселыми глазами, она стала потихоньку болтать с Петей о Москве, о том, какие у нее там отличные друзья, часто повторяя: «безумно интересно», «чудно», или ругательства. Петя несколько недоумевал. Но она ему нравилась.

— Так,— сказала она, наконец,— болтаю, болтаю, а пора и ехать.

Она велела послать за извозчиком. Алеша поцеловал ее на прощанье.

— Милый,— сказала она Пете,— проводите меня на вокзал, мне одной скучно.

Через несколько минут Петя тащил Лизаветин чемодан по лестнице; чемодан был заперт небрежно, из щели выглядывало что-то красное.

— А,— сказала Лизавета,— дура я. Это мой капот.

Петя улыбнулся и подумал, что такой капот, верно, идет ей.

На извозчике Лизавета продолжала болтать. Она знала его по письмам брата. Кажется, он ничего себе.

— А Степан вам понравился? — спросил Петя.— Это мой приятель, товарищ по школе.

Лизавета подумала.

— Немножко боюсь его,— ответила она.

Потом еще помолчала.

— Он умный.

Петя улыбнулся.

— Да вы, пожалуйста, не улыбайтесь. Конечно, умный!

Лизавета готова была рассердиться: зачем противоречат.

Но сейчас же рассмеялась, прибавила:

— Он мне ни чуточки не нравится. В нем нет хо́ды.

— Это что такое?

— Так, нет хо́ды. Это значит: поди сюда. Такое наше выражение, московское.

У вокзала Лизавета ловко спрыгнула, дрыгнув ногами. К поезду едва поспели.

Когда вагон уже тронулся, Петя прошел с ним рядом несколько шагов.

— Заходите, когда в Москве будете! — крикнула Лизавета весело из окна. Потом она захохотала, блеснув глазами.— В вас есть ходы!

Петя покраснел, замахал ей фуражкой. Он был слегка взволнован, выпил на вокзале кофе и пошел пешком по Невскому.

Выглянуло на закате солнце, унылое, таинственное. Невский розовел в тумане. Петя вспомнил шумную, теплую Лизавету. Почему-то представилось, что он встретится еще с ней. Потом мысли его перешли на Ольгу Александровну, и сердце приостановилось, как всегда. Где она сейчас? Казалось, ее дух, тонкий и нежный, уже веял над этим городом, в закатном сиянии.

И мысли о том, что ему суждено, и какое течение примет его жизнь, занимали его все время, пока он шел.

IV

Хотя лично против Степана Полина ничего не имела, скорей даже он нравился ей, все же она была недовольна, что он стал ходить к ним чаще. Она не могла не видеть, что много тут относилось к Клавдии. Полина боялась, что Степан завлечет Клавдию в самую бездну революции.

— Клавдия такая нервная,— говорила она,— а теперь, Петруня, представь, она стала еще резче. В школе работает мало, все уходит. Нет, я ужасно за нее боюсь. И говорить с ней невозможно.

Полина ходила взад-вперед по комнате, и ей казалось, что та сторона, где сидел в кресле Петя,— это первый ряд.

— Ужасно, ужасно!

Петя говорил, что Клавдия не такой уж ребенок, но и сам чувствовал, что в известной мере Полина права.

В это время случилось, что в университете назначили защиту диссертации на модную тему: о марксизме. Степан с Клавдией много говорили об этой диссертации. Петя в таких делах понимал мало, но почему-то и ему захотелось пойти.

И вот во вторник, около двенадцати, Петя, обдергиваясь и немного смущаясь, входил в высокие коридоры университета, в направлении назначенной аудитории.

Толклись студенты, курсистки в блузках, и по временам входили и садились в средние ряды молодые люди

в штатском, с записными книжками. «Верно, оппоненты»,— думал Петя, с некоторым благоговением принимая за ученого репортера мелкой газетки. Клавдия со Степаном были уже тут.

— Из Москвы наехали народники,— говорил кто-то рядом.— Будет игра!

— Он им пропишет,— ответил угрюмый студент в косоворотке.

В первых рядах, среди дам, посещающих премьеры, громкие процессы и диссертации, виднелось несколько бородачей. Казалось, волосы росли у них из глаз. Большинство было в провинциальных сюртуках, у некоторых из-под брюк рыжели голенища сапог. Это и были народники.

Наконец, стало тесно; студентов отделили на галерку, и из дверей, в другом конце залы, «вышел факультет» — подобно присутствию окружного суда: собрание седых, полуглухих, подслеповатых людей.

С ними явился и магистрант — человек ловкий и бойкий, во фраке. Он изложил свои тезисы: фабрика вытесняет кустаря, это хорошо; кустарь пережиток, как и община,— и далее в этом роде.

Скоро загремели в ответ народники. Потрясая бородами, они клялись, что кустарь не вымирает, община не разрушается, а несет залог дальнейшей жизни. Что в Италии процветает мелкое хозяйство. «Бем-Баверк, австрийская школа, психологическая теория ценности...» Магистрант крысился и отстреливался: «Мелкобуржуазный характер, реакционное крестьянство, рост пролетариата»... (В этом месте студенты захлопали. «Факультет» смутился и просил не мешать.)

Через два часа Петя почувствовал, что в голове его мутно. Несомненно, эти люди много работали, много знали и сейчас волновались искренно, отстаивая свои мысли; но ему не было это близко; прислушиваясь к их книжным выражениям, Петя лишь сильней ощущал, что правда — та, без которой человек не может жить,— не у них, и не у Бем-Баверков.

В перерывае он вышел в самый конец коридора. В старинное окно, с полукругом вверху, была видна Нева, Исаакий и Зимний Дворец. Шел снег, было тихо, и белый покров на Неве казался таким истинным, нерушимо-чистым.

Петя вздохнул. Хорошо бы проехаться в деревню, на санках, вдохнуть запах леса под инеем!

Он обернулся — и увидел тонкую, худощавую даму, с красной розой в корсаже, под руку с немолодым судейским.

Петя вспыхнул. Ольга Александровна заметила его и улыбнулась.

— А-а,— сказала она ласково, подавая руку в узенькой белой перчатке,— и вы! Я не знала, что вы этим интересуетесь.

— Я... собственно, так, со знакомыми,— пробормотал Петя, точно был в чем виноват.

— Вы что же, марксист? — спросил Александр Касьяныч, глядя на него острыми, очень сближенными глазами. Его стриженая бородка, скептический взор и определенность выражений смущали Петю. Александр Касьяныч был седоват, занимал порядочный пост в Сенате — его только что назначили,— на лице его был уже петербургский, серый налет.

— Нет,— повторил Петя,— я случайно, со знакомыми.

И то, что он глупо твердит одну фразу, как всегда нескладно, еще более сконфузило и раздражило его. «Какого черта,— подумал он,— что я ему отчет давать должен?»

Ольга Александровна заметила это, чуть сощурилась, и в ее черных глазах блеснуло что-то веселое, поощрительное. «Я за тебя,— как будто говорила она,— не бойся».

— Да и ты, папа, пока еще не в партии.— Она засмеялась и дернула его за рукав.— Подумаешь, какой социал-демократ!

— А зачем я тут,— этого понять нельзя. Выше понимания, должен сознаться.

Он обернулся к Пете.

— Вот что значит быть отцом-с. Когда вам стукнет пятьдесят, вас, вероятно, тоже поведут слушать чепуху, как меня. Впрочем,— прибавил он,— раз это сделала Оленька, значит, так надо. Покоряюсь. Да, вам, конечно, интересно тут. А мне нисколько, да я и занят. Поручаю вам Оленьку, оставляю свое место — изволите видеть,— во втором ряду, затем жду обедать.

Быстро поклонившись, Александр Касьяныч сухим, легким шагом, застегнувшись на все пуговицы и приняв обычный оттенок кодекса Юстиниана,— вышел.

Кончался и перерыв. Публика спешила в зал. Ольга Александровна, чуть шурша платьем, узкая и тоже легкая, прошла к своему месту. Петя сел рядом. Толстая дама в шелках, соседка, с удивлением взглянула на него.

Но Петя ни на что не обращал внимания, и теперь ему был уже все равно, что думают о нем, что говорит магистрант, что ему возражают: рядом он чувствовал шелест материи, знакомый, слабый и милый запах духов. Иногда она спрашивала о каком-нибудь пустяке, близко наклоняясь; ему все казалось важным и замечательным.

Если своим ответом он вызывал улыбку, или смех, морщивший верхнюю часть носа, он краснел и внутренне ликовал. Теперь уже не казались длинными речи народников, ответы магистранта: ничего, пусть они стараются, и шумят хоть до вечера.

В середине одной из заключительных речей Ольга Александровна нагнулась к нему.

— Получили письмо? — спросила она шепотом.

Петя кивнул, и в глазах его что-то задрожало.

— Я очень рада, что встретила вас тут,— прибавила она также шепотом,— здесь все какие-то чужие люди.— Она сощурила глаза и поморщилась.— Нет своих.

Петя смотрел на нее, молчал, но его вид ясно говорил, рад ли он, что ее встретил.

Ольга Александровна улыбнулась, повернула голову в сторону споривших и приняла вид, будто слушает их. Так прошло около часу. Этот час слился для Пети в одно сладостно-туманное ощущение ее присутствия, белизны снега за огромными окнами, какой-то внутренней, нежной тишины, обещающей счастье. Когда в грохоте аплодисментов, двигаемых стульев все поднялись, он вздохнул, будто частица чего-то ушла уже невозвратно.

При выходе они встретились со Степаном.

— Мы остаемся,— сказал он.— Готовят овацию.

Темные глаза Степана, вся его крепкая, тяжеловатая фигура выражала возбуждение. Видимо, его что-то задело в диспуте.

Но Петя уже не слушал. Он искал глазами Ольгу Александровну, которая одевалась отдельно, и думал только об одном — как бы толпа не оттерла его.

Туманно-фиолетово было на улице, купол Исаакия золотел, и по берегу Невы зажглись бледные фонари, когда Петя с Ольгой Александровной катили по набережной. За Дворцовым мостом снег синел по-вечернему; у крепости густела мгла.

V

Пете казалось, что лучше бы не приезжать, а все лететь так, дальше и дальше, в синеватой мгле вечера, придерживая рукой Ольгу Александровну. Но на Кронверкском, против сада, конь остановился; они вышли, и машина подняла их в пятый этаж.

В окнах сумеречной гостиной глянул вид на Выборгскую, с зажигающимися огоньками. Ниже, над деревьями в инее, кружили галки. Закат угас.

— Ну,— сказала Ольга Александровна,— вот вы и у нас, Петя,— простите, что я так вас называю: я ведь старше, да и вас только что испекли в студенты.

Улыбаясь, она снимала с бледных рук перчатки, отколола шляпу.

— Видите, какая даль. Это я выбирала квартиру.

Она подошла к окну и загляделась. Что-то задумчивое проступило в ее черных глазах.

— Когда смотришь вдаль,— прибавила она,— все кажется лучше. Жизнь чище, просторнее... так.— Она развела руками, и это был неясный жест, но Петя понял, что он выражал.

— Если бы папа слышал, он посмеялся бы, сказал бы, что это все пустяки и фантазерство. А, между тем, это так. Человеку всегда хочется чего-то невозможного... и прекрасного. Может быть, в этом и вообще сущность жизни.

Она вздохнула.

— А папа... очень terre à terre[1]. Хотя его надо ближе знать, чтобы понять правильно.

— Сегодняшние споры тоже terre à terre,— сказал Петя робко.— Однако вы же пошли и даже Александра Касьяныча взяли.

Ольга Александровна засмеялась, слегка покраснела.

— Вот и поймал меня студентик Петя. Правда, зачем я сегодня была? Так, просто мне очень хотелось... хотелось и хотелось пойти. Разве это плохо? Может, у меня предчувствие было?

Она продолжала смеяться, глаза ее весело блестели. Потом она подошла к двери в столовую.

— Мы тут болтаем, а у нас гости, и чуть что не подали на стол. Идем!

Петя двинулся за ней в столовую, где около вина

---

[1] низменный, пошлый *(фр.)*.

стоял Александр Касьяныч с двумя незнакомыми Пете людьми.

— Наконец-то,— сказал он,— мы уж решили откупоривать. Дочь моя,— прибавил он, обращаясь к тощему блондину в сером жилете,— увлекается науками.

Тот повел слегка носом.

— Я Ольгу Александровну имею удовольствие знать, и не один день. Да, науками. Вплоть до господ социалистов?

Александр Касьяныч сел и налил ему рюмку мадеры.

— Хорошо еще, что молодой человек выручил, а то представьте — я, на диспуте-с!

Александр Касьяныч засмеялся своим ироническим смехом. Тонкие губы его слегка ходили.

Нервного блондина звали Нолькен; он был композитором. Чокнувшись с Ольгой Александровной, он бегло и, как Пете показалось, пренебрежительно взглянул на него.

— За здоровье господина магистранта, за жидков, за социалистов.

Другой гость, с лицом нововременца и с перстнями, протянул свой стакан. Ольга Александровна молча ела суп со спаржей. Электричество блестело в рюмках, в хрустале, суп отливал золотистым, но плохо шел в Петино горло. Как часто с ним бывало, он вдруг почувствовал прилив крайней раздражительности, хотя ни социалисты, ни евреи его не интересовали. Верно, в глазах его нечто отразилось: Ольга Александровна подняла на него спокойный взор, будто говоривший: «сдержанность».

Разговор быстро перешел на политику, Финляндию, окраины; Нолькен горячился, настаивал на крутых мерах. Его непрестанно подзуживало что-то. Александр Касьяныч оживился, но ни в чем не соглашался с гостями. Трудно было понять, какого он сам направления, но он нападал на всех и всех высмеивал: и министров, и правых, и левых. Казалось, его извилистому мозгу доставлял удовольствие самый спор, процесс унижения мнений, считающихся общепризнанными.

— Это все пустяки, пустяки-с, все эти национальные направления, политика кулака. Это глупости, я вам доложу, на этом далеко не уедешь. Культура есть культура, как же мы ее насадим, если сами мы мужланы, дикари?

Но если бы при нем заговорили о голоде, обязанностях правительства перед народом, он так же посвистел бы и обругал бы газетчиков, раздувающих пустяки.

Пете казалось, глядя на него, что он какого-то абстрактного, юстиниановского направления.

О студентах, из-за Пети, говорили с осторожностью, но чувствовалась нелюбовь к этим людям, особенно у нововременца. Между прочим, он сообщил, что скоро в высших заведениях начнутся беспорядки.

— Вот и глупости-с,— сказал Александр Касьяныч,— и ерунда, присущая русским. Нам грамоте еще учиться, но уж мы да,— мы меньше чем на республике не помиримся. Что же, молодой человек, и вы будете песни распевать, с флажками разгуливать?

Петя не думал об этом и вообще был не воинственного нрава, но почему-то ответил, смущаясь и волнуясь, что, если нужно будет,— пойдет.

Александр Касьяныч скользнул по нему взглядом и принялся издеваться над министром народного просвещения и уставом 84 года.

— Ну, и вы, конечно, будете за отмену устава-с, но вы знаете, собственно, в чем он состоял? — спросил он вдруг Петю.

Петя ответил злобно: «Знаю». Об уставе он имел смутнейшее представление, и ему очень мало было до него дела.

Все засмеялись. Ольга Александровна сказала:

— Все политика — как скучно. Оскар Карлыч, расскажите лучше о музыке. Что теперь нового? Я очень отстала.

Нолькен ответил, что пусть бы лучше ходила в симфонические, чем на диспуты. Он опять возбудился, но теперь по-другому: видимо, эти вопросы всерьез задевали его. С жаром стал он нападать на Дебюсси, с таким же жаром превозносил Скрябина.

— Музыки, кроме России, нигде нет, это факт. Тут на Марксе не уедешь.

Обед кончился; Ольга Александровна предложила ему сыграть. Александр Касьяныч извинился — на следующей неделе он должен выступать, сейчас надо работать. Нововременец уехал. Нолькен сел к роялю.

Петя с Ольгой Александровной слушали из ее комнаты. Петя сидел у окна, она напротив, в кресле. Огня не зажигали. В огромные окна сиял месяц, вставший очень далеко, за дворцами, за краями земли. Свет его был тускл, облачен, он одевал комнату перламутром, клал мягкие кресты рам на ковер, и в его тумане руки Ольги Алек-

сандровны, лежавшие на столике, казались бледнее и тоньше. Да и вся она представилась Пете еще новой, не совсем такой, как раньше. Она смотрела на месяц — верно, и его любила, как даль, как недостижимое. В ее глазах была печаль,— как бы отблеск той, бледной, лунной печали.

А сейчас и месяц, и дворцы, Нева, деревья парка, осребренные светом,— все было иным. И туманные пространства под луной, и сама луна,— ближе, понятней; Ольга Александровна, блеск ее глаз и белизна рук — ближе к ее сестре-луне.

Когда Нолькен кончил и вышел, он был тоже иной. Казалось странным, что он только что обедал, говорил о Финляндии, евреях.

— Да вы слушали? — спросил он Ольгу Александровну почти резко.— Рахманинова прелюдия, это вам не что-нибудь.

Он подозрительно взглянул на Петю, в губах его что-то дернулось. Он показался Пете слабым и хилым, расстроенным ребенком. Ему стало даже жаль его.

— Не сердитесь, Оскар Карлыч,— сказала Ольга Александровна.— Я хорошо слушала. Своей игрой вы доставили мне большую радость.

Он взял ее руку, нагнулся, поцеловал.

— Я знаю, что вы и господин студент ненавидели меня сегодня за обедом, но что поделать. Что думаю, то думаю.

Ольга Александровна не возражала. Она сказала только так:

— Зато вами овладевает иногда демон искусства. Вам многое простится за это.

Когда он ушел, Ольга Александровна сказала Пете:

— Это странный человек. Да вообще, много удивительного в жизни, не разберешь.

Возвращался домой Петя в приподнятом, возбужденном настроении. Весь этот день был особенный. Когда он думал об Ольге Александровне, в нем пробуждалось все самое ясное, чистое. Да, конечно, он любит ее возвышенной, нежной любовью. Он рад был бы доказать ей свою преданность, быть может — отдать за нее жизнь, томиться по ней, любоваться ею. Но к этим мыслям неизменно примешивалась печаль. Что же дальше? Он не знал, и не хотелось ему об этом думать. Странно было бы, если б она принадлежала ему. Мысль о том, что любовь эта может принять какие-нибудь жизненные формы, была чужда, почти враждебна.

И в неземном блеске ее Петя с горечью видел другую свою сторону — мучительно-земную. Он знал, что он раб своих страстей, но они шли мимо его любви. Это делало его чувство к Ольге Александровне еще тоньше, легче — и печальнее.

VI

Возвращаясь по вечерам домой, в крохотную комнатку в Ротах, Степан нередко ложился на кровать и подолгу думал.

Внизу, во дворе, стучали по листам и котлам медники. Этот шум не мешал Степану, напротив — как бы отделял его от остального мира и давал мыслям простор.

Степан курил, переворачивался на жесткой постели и вторично переживал то новое, что нахлынуло на него в этом городе.

Уже в последних классах гимназии, рядом с барчонком Петей он казался крепким юношей, полным сил. Уже тогда он мечтал о чем-то большом и серьезном, что ему предстоит сделать. Здесь это чувство росло. Он видел много людей, большею частью принадлежавших к революционным кружкам, и сознание, что именно тут может он проявить себя, укреплялось в нем.

По происхождению плебей, Степан с ранних лет чувствовал, что богатые, сытые — не его лагеря. С детства он видел, скольких унижений они избегают, как легче двигаться им по пути жизни; сколь суровей жребий его класса.

И ему казалось, что самое достойное, самое нужное для него — это отдать свои силы им — угнетаемым и слабым. Он не знал еще хорошенько, как и что именно сделает, но сознание, что он может поставить для этого на карту все, даже жизнь, окрыляло его и подымало в собственных глазах.

Лежа в своей конуре, на пятом этаже петербургского дома с вонючими лестницами, он мечтал о том, как счастлив должен быть человек, отдающий свою жизнь за других. Он вставал, принимался ходить взад-вперед, из угла в угол, улыбаясь и напевая про себя. Ему становилось жарко, он подходил к окну и подолгу смотрел во двор. «Да, да,— думал он, глядя на детей, возившихся около дворницкой, на подмастерья, пробегавшего в лавчонку без фуражки,— да, вот они, те, к кому мы пойдем. Это наши».

Потом он несколько уставал, успокаивался и садился к столу. Мысли его понемногу принимали иное течение.

Он вспоминал Клавдию, с которой встречался теперь чаще, и это все больше волновало и смущало его. Клавдия, как и он, была не из баловней; как на него — это наложило на нее свой отпечаток. Степану нравилось, что все, что она говорила, было ее, никому не принадлежащее; все надумала она сама,— верно, иногда и в бессонные ночи.

Но его стеснял тот всегдашний внутренний жар, какой он в ней чувствовал. Степану казалось, что она чего-то ждет. Сам он заражался ее волнением и чувствовал тогда, что и он мужчина, с нервами, темпераментом. Он знал в себе беса чувственности и несколько боялся его.

И потому в отношении Клавдии у него было чувство, будто он несколько перед ней виноват. Это оттенялось еще тем впечатлением, какое произвела на него, тогда у Алеши, Лизавета. «Милая»,— говорил он про нее и улыбался. Эта улыбка его была легкая и чистая. Но Лизавета мелькнула и, как тень, скрылась. «Встречу ли ее?» — думал он. И хотя знал, что, если б и встретил, ничего бы из этого не вышло, все же ему приятно было представлять себе это.

В таком состоянии застали его события последнего времени — студенческие волнения.

Нововременец был прав: начинались беспорядки. Вспыхнули они в одном специальном институте и быстро разрослись. Как всегда, поводы явились сами собой. В одиночной тюрьме повесился студент — товарищи устроили по нем панихиду. Вмешалась полиция, студентов разогнали. Среди них оказались пострадавшие.

Это взволновало, и студенты прекратили занятия. В обществе тоже было возбуждение: обвиняли власть и правительство в жестокости. Поднялся тон газет. Партии воспользовались этим — появились воззвания: население Петербурга призывалось к демонстрации.

Степан к этому времени уже работал в очень крайней партии. Разумеется, он сильно встрял в это дело. Ему казалось, что когда тысячные толпы соберутся на Невском, выкинуть знамена с революционными требованиями, это будет грандиозно. Неясно представлял он себе, что произойдет дальше; но одно то, что студенты, рабочие «заявят свою волю» — что-нибудь да значит. Дальше... а может, дальше-то и будет настоящее. Здесь его голова нагревалась, он видел борьбу, баррикады, геройство. Со сладким трепетом предвкушал он смерть.

В партии он агитировал, чтобы идти с оружием. Рвение его одобряли, но умеряли решимость. Таких, как Степан, новичков и азартных, было немало. Нелзя было давать им особенного хода.

Постановили так: мирная демонстрация, с целью показать правительству «революционный пролетариат». Степан был неудовлетворен, Клавдия тоже. Зато, когда назначили день, бедная Полина побелела, узнав об этом. Накануне вечером Клавдия зашла к Степану.

В комнате было сумеречно; косой луч солнца пробивался сквозь дверную щель, и в нем плыли пылинки. Внизу стучали по котлам.

Степан вскочил с постели при ее появлении, но она приказала лежать.

— Вы устали,— сказала Клавдия,— не вставайте. Я сяду здесь.

Она уселась на краю постели и стала рассказывать. В полумгле она казалась особенно угловатой и худой. Волнуясь, сбиваясь, Клавдия говорила о сопротивлении, о том, что завтра — она слышала — будут войска.

— Это вряд ли,— сказал Степан.

— А по-моему — будут.

Клавдия помолчала немного.

— Может быть, попадем под пули.

Степан ответил:

— Что же, раз решили идти...

Клавдия вдруг взяла его за руку и пожала.

— Только не отходите от меня,— прошептала она слегка глухим голосом.

От прикосновения ее руки какое-то изнеможение прошло по нем: онемели ноги, он почувствовал, что бледнеет.

— Я много думала о завтрашнем дне,— шептала Клавдия.— Я не боюсь, если смерть. Я хотела бы только с вами.

Она припала к нему.

— С вами... не боюсь.

Степан закрыл глаза. Ему казалось, что стоит ему пошевельнуться, раскрыть объятия, и он уже потеряет власть над собой. Далеким, не своим голосом он прошептал:

— Разумеется, будем вместе.

Когда она ушла, Степан испытывал странное чувство. Он перестал думать о том, что будет завтра, об оружии, тактике, смерти. Он ясно понял, что его собственная жизнь, нежданно для него, сворачивает в сторону,— менее

всего предвидимую. Был ли он этому рад? Он не мог сказать. Все впереди представлялось туманным, удивительным.

Степан вздохнул и стал зажигать лампу.

VII

Проснувшись утром, он вспомнил, что вчера что-то произошло. В сущности, что же? Клавдия даже не поцеловала его. Но он вставал, одевался с особенным чувством. Не было в нем радости разделенной любви, но все же в глубине души Степану было приятно, что он нравится хорошей, интеллигентной девушке. Это испытывал он в первый раз. Вторая мысль его — сегодня демонстрация. И снова: они будут вместе. Своей крепкой грудью он сумеет прикрыть ее. Но в нем закипало и горячее, глухое волнение. Без нее в этом деле он чувствовал бы себя свободнее.

Он вышел из дому в одиннадцать. На улицах было не совсем обычно. Туманно-блестящее солнце, тепло, весна; кое-где флаги по случаю праздника. Толпа оживленней, и чем ближе к Невскому — гуще. На углу Морской Степан купил красную гвоздику, вдел в петлицу. Широкополая шляпа, синий воротник рубашки из-под пальто и этот цветочек ясно указывают, кто он. Это было приятно, радостно возбуждало. «Они узнают,— думал он,— узнают».

И желание борьбы, столкновения с кем-то неизвестным, но заранее ненавидимым, росло.

С Клавдией должны были встретиться у Мойки. Действительно, под рестораном Альберта заметил он шапочку Клавдии; ее серые, слегка косящие глаза быстро нашли его. Ему сразу понравилась вся ее аккуратная фигурка, даже несколько исподлобья взор, сверкнувший умом, радостью. Щеки ее заалели, когда она пожала ему руку. Степан вспомнил вчерашнее. Опять что-то мучительное и сладостное прошло по нем.

— Полину пришлось надуть,— сказала она.— Дала слово, что к подруге ушла.

Она засмеялась.

— Не хотела даже пускать.

Тротуары были полны. Сновали студенты, молодые люди — в синих рубашках, как Степан, и барышни, барышни. Это войско, от семнадцати до двадцати пяти лет, вооруженное тросточками, зонтами, собиралось дать сра-

жение государству. Государство не дремало: взад-вперед по Невскому, позвякивая саблями, проезжали жандармы. Во дворах были спрятаны казаки: отряды городовых, соответственно воодушевленных, укрывались за Собором.

Солнце заливало все весенним, милым блеском; воробьи ухитрялись скакать по мостовой, в небе плыл легкий пар.

Медленно двигаясь,— толпа становилась гуще,— достигли Клавдия со Степаном Конюшенных; здесь их оттеснили с тротуара на улицу. Возбуждение росло. Говорили, что у многих оружие, что со Шлиссельбургского тракта идут рабочие — все, что говорится в таких случаях. Замирало движение экипажей: середина улицы пустела — что-то жуткое было в этой пустоте со шпалерами людей по бокам. Жандармы скрылись.

Наконец, в двенадцать, выстрелила пушка. Обыкновенно по ней проверяют часы, но нынче в сотнях грудей она отозвалась толчком. Из самых густых рядов, против Собора, выбежали группы, через минуту зловещая середина была занята молодежью; над ней взвились флаги, раздалось пение.

Вместе с другими Степан с Клавдией выбежали на середину.

Как другие, шагая, пели песни с нескладными словами. Но как всем эта песня, это удивительное шагание и эти флаги туманили душу! В толпе, идущей во имя *чего-то,* есть странный, большой восторг. Он сплавляет в одно этих разных людей и оружию, пулям противоставляет цельный душевный организм.

Степан шел с Клавдией рядом, пел и, видя слезы, блиставшие в ее глазах, чувствовал дрожь и в своем горле; казалось, сейчас звук сорвется. Сердце его светлело, делалось легче, вольней. Казалось, для этого можно жить. Казалось, глядя в синеву неба, что в общем горячем потоке можно идти на смерть и самую смерть встретить радостно.

Вдруг впереди что-то произошло: толпа замедлила ход. Задние напирали.

Потом послышался крик, и прежде, чем Степан успел опомниться, что-то грузное ударило спереди и сбоку. Степан разглядел лошадей, сабли, серебряной тучей взлетевшие над головами,— все тонуло в глухих стонах, в криках падавших.

Минуту толпа держалась, отбиваясь; потом все смеша-

лось, началась паника. Степан рванулся было вперед; гладкий караковый конь втиснулся между ним и Клавдией, и Степан нырнул за его крупом налево, стараясь подхватить Клавдию. Его сбила с ног вторая лошадь, но, как лунатик, не помня ни о чем, он на четвереньках скользнул к тому месту, где она стояла. Вокруг было уже что-то невообразимое. Из людей, лошадей образовалась каша; озверевшие люди на лошадях крошили людей на земле, барышни кричали, студенты с разбитыми лицами падали в грязь. Степану казалось, что его силы выросли; два раза ударили его уже по голове, но он, крича, задыхаясь, все рвался вперед и в сторону, где, по его мнению, была Клавдия.

Он выскочил, наконец, к Собору.

Тут у колонн было тише, и толпились студенты. Степан узнал кое-кого из знакомых; с перекошенными губами стоял его товарищ по партии, отирая со щеки кровь. Кругом закричали, что надо выкидывать флаги; будто бы идут рабочие.

Степан схватил первый попавшийся и, высоко махая им над головой, бросился через площадь. Мало что он понимал, ему казалось, что Клавдия затоптана, но это удержалось лишь на мгновение, а главное чувство был такое, что вот бежать с этим флагом есть высшее счастье и радость — бежать на опасность, страдания, может быть — смерть: так и надо. И когда рядом и вокруг он услышал топот молодых ног, бегущих в одном с ним порыве, то понял, что все они, столь ничтожно вооруженные, столь легко победимые,— в сущности, непобедимы, как непобедима молодость, жизнь, правда. Снова они столкнулись, снова их били, и в каком-то опьянении вскакивал Степан, когда его валили с ног, стараясь подхватить свой флаг,— отбиваясь, упрямо подымал его. Казалось, что пока флаги держатся, все хорошо. Он не знал, что, в сущности, бой кончен.

Армия барышень и юношей была рассеяна. По закоулкам добивали попавшихся — впятером на одного и без риску — да горсть отчаянных, вроде Степана, сопротивлялась еще.

Последним, что он помнил, было впечатление древка, с которого казак хотел сорвать флаг; Степан рванул его изо всех сил — у казака остался флаг, а древком Степан ударил его в грудь, как копьем. Казак покачнулся, но в это время самого Степана резко хлопнули чем-то сзади, по

голове. Из глаз его брызнули искры; он хотел обернуться, но казак, лошадь, Собор — все поплыло налево. Степан упал.

Клавдию же в это время, почти без чувств, с раскроенным виском, вез в закрытом извозчике студент. Кровь капала на обшлаг студентова пальто, а он все не мог догадаться заткнуть рану; сам он едва сидел, корчась от страшной боли в колене.

Было около часу. Погода окончательно разгулялась,— предстоял тихий, розовый мартовский вечер.

VIII

Жизнь Пети шла неровно — скачками, очень мучительными.

Противоположные чувства владели им. То ему казалось, что он чистейший паладин своей любви, то налетали страсти, и тогда светлое видение тонуло в вине, разврате.

Как всегда бывает, мысль о ненужности жизни являлась с особенной резкостью. А потом просыпалось самолюбие: становилось ужасным сознавать, что он, Петя, которого все считают чистым и тихим человеком, подвержен злу, как любое ничтожество. Стыдно было за свою любовь, за молодость, за все лучшее, что должно было в нем быть. В такие минуты Петя впадал в черную меланхолию: ее усугублял страх перед болезнями — жестокими последствиями распущенности.

Тогда его начинало угнетать новое: то, что он трус. Он не столько страдает в высшем смысле, сколько просто боится, а значит — он дрянь, негодный человек, которому и жить не следует. В один из приступов такой тоски, после бурно проведенной ночи, Петя чуть было не привел в исполнение своего плана: он дошел уже до оружейного магазина, но войти купить револьвер у него не хватило сил. Впрочем, это был единственный раз, что он не упрекнул себя в малодушии.

С началом беспорядков вопрос о мужестве стал перед ним снова.

Задолго до волнений, в Петином институте была сходка, по частному делу. Петя почему-то выступал, горячился и нескладно говорил против забастовки. Забастовка прошла, а Петина репутация понизилась; круг знакомства в институте сузился, только Алеша, который был против него в общих делах,— лично не изменился. Он так же был

весел и беззаботен. Стоял всегда на крайнее и делал это с такой бесшабашностью, будто просто баловался. Оттого у студентов серьезных, «честного» образа мыслей, он не пользовался почетом.

— Бастовать всегда надо,— говорил он Пете.— При всех случаях жизни.

Петя горячился.

— А по-моему, это бессмысленно. Ну, побастуем, а завтра нас раздавят, как мальчишек, как дураков. Кому от этого польза?

— Никакой пользы и не нужно.

Петя не понимал и раздражался. Ему казалось, что не хотят вникнуть в его мысль и про себя считают его эгоистом, неблагородным человеком. Будто он боится забастовки! Это его злило. Просто он видит ее бессмысленность, потому что он умней других. Насчет Алеши давно ясно, что он шалый. Многие же неискренни: одним приятно выглядеть героями, другим — избегнуть провала на экзаменах. Идейных мало, это несомненно.

Так прошло две недели. Наступил Великий пост.

Положение осталось неясным — бастовать ли дальше или нет, не знали. Возникло течение — начать занятия, если начальство отменит репетиции и сделает льготу в проектах. За это высказались многие.

Петя был возмущен. Выходило, что бунтовали не зря: за благородство норовили взять проценты.

Крайние тоже были против, как и Алеша, и на сходке, обсуждавшей это, получился курьез: с нервозностью и азартом Петя примкнул к крайним левым. Отчего так вышло, он сам хорошо не знал,— верно, от негодования; и, по удивительному быту молодежи, вчерашний противник был выбран в «совет пятидесяти». Ни с того ни с сего Петя вступил в организацию, адрес его записали — вместе с другими он должен был произвести плебисцит, опросить свой десяток на дому: в институт ходили мало, и мнение сходки «не выражало еще воли студенчества».

Так сделался он политиком, и выходил из института с новым чувством: теперь там, по закоулкам этого туманного Петербурга, рассеяны его единомышленники, и там же сидят его враги. Враги будут выслеживать,— он должен тоже кой от кого прятаться. Сознание риска взвинчивало его. Теперь выходило, что и он на что-то нужен; к его скромному облику студента Пети нечто прибавилось: конспиратор, обладатель десятка адресов, как бы субалтерн-офицер революции.

Теперь легче видеть и Ольгу Александровну. Он давно у нее не был, и, урвав время от своих новых, азартно-ребяческих занятий, Петя навестил ее.

Увидев его, Ольга Александровна вздохнула.

— Что вы такой худющий, Петя? — спросила она участливо.

Петя не мог скрыть и рассказал о своих студенческих делах. Она улыбнулась, но с беспокойством сказала:

— Смотрите, чтобы вас не поддели. Знаете, цапнут — и на цугундер.

Она глядела на него нежно, как на ребенка,— точно хотела приласкать, погладить.

Петя потупился. Он почувствовал эту ласку настоящей, прелестной женщины — руки его похолодели. Вместо того, чтобы стать на колени и поцеловать край ее платья, он сказал, стараясь иметь мужественный вид:

— Ничего, что поделать. Ну, вышлют. Не меня одного, такое время.

Рассказал он ей и о демонстрации. К его удивлению и смущению,— она непременно решила идти.

Он знал, что Ольга Александровна сочувствует движению, но видеть ее, человека все же иного круга, в толпе студентов и курсисток представлялось странным. Он беспокоился. Ему, по теперешнему его положению, надо было быть, но идти не хотелось. Отправляться же с Ольгой Александровной — полная нелепость. Но она взволновалась, расстроилась, и пришлось уступить.

Эта демонстрация была для него испытанием. Он не мог от себя скрыть, что просто боится. Его, Петю, а еще хуже, Ольгу Александровну, изобьет какой-нибудь пьяный казак. Мысль об этом была тяжела. Он не чувствовал себя способным драться, воевать. Значит, надо быть жертвой.

Одно его радовало — возможность пострадать за нее. О, тут он не сомневался, наверно знал, что подставит себя радостно. Он даже мрачно мечтал о том, что смерть за нее будет искуплением его измен. «Так и надо, так мне и надо»,— твердил он, расхаживая по комнате, накануне. Он представлял уже себя убитым, но это благородная смерть. Мысль о ней сладостно залечивала прошлое. «Ну ладно, ну на что я годен, ну и пусть убьют, пусть».

Но когда вдвоем, под руку, замешались они в толпу и толпа вынесла их на улицу — глухая тревога овладела им. Это все так: и солнце светит, и прекрасная Ольга Александровна, и смерть,— но драка...

Ольга Александровна держалась за него смущенно, но была возбуждена, румянец играл на щеках, глаза блестели.

Когда раздалось пение, они присоединились; с песнью стало веселей.

Но вот крики, смятение; в двадцати шагах пред собой Петя увидел высокого пристава — в следующее мгновение бухнул выстрел. «Стреляют»,— закричали кругом. Ольга Александровна вскрикнула,— и, увлекаемые толпой, бросились они куда-то вбок, к Гостиному двору.

Петя подхватил Ольгу Александровну, и теперь сразу стало ясно: как можно скорее бежать. Кажется, все думали так. Сзади летели казаки, слышался визг. Петя помнил, как, волоча едва живую Ольгу Александровну, попробовал втиснуть ее в лавочку, но она была уже полна — некуда ступить. Побежали дальше.

Обернувшись, он увидел пристава,— верно, того, что стрелял. Он размахивал револьвером и бежал за ними шагах в двадцати. Следующий момент был таков: наперерез ему выскочил Алеша и дал подножку. Пристав грохнулся, а Алеша дважды хлопнул его палкой по затылку.

Потом опять все смешалось. Ольга Александровна трепетала сбоку, на руке, и надо было бежать дальше. Чей-то голос кричал: «Назад, товарищи, стройся». Кто-то удерживал, но толпа бежала. Не было сил остановить ее.

Вдруг сбоку, в пересекающем переулке, Петя увидел городовых, во весь мах бежавших на них с саблями наголо. «Успеем или нет?» Петя изо всех сил рванул Ольгу Александровну. «Скорее,— крикнул он ей,— скорей!»

Как далеки были в эту минуту романтические мысли о смерти! Вот-вот налетят свирепые люди, оскорбят, изобьют эту Ольгу Александровну, мизинца которой не стоят все вместе.

А что сделает он? Примет за нее удар? И потом будет видеть, как ее истязают?

Но они проскочили все же. Что творилось сзади, понять было нельзя — всюду вой, смятение, хаос. Несколько раз мелькала фигура Алеши. Он был горяч, ловок, весел. На все это, видимо, он смотрел, как на игру. Партия, в которой он играл, была побеждена, но только потому, думал он, что немногие относились к делу как следует.

Это его несколько огорчало. Сам он был, к удивлению, совершенно цел, только потерял фуражку. Кудреватые волосы его трепало ветром, и глаза были полны того света, какой посылало солнце в этот день. К счастью, Алеша не

попал в центральную, особенно жестокую свалку у Собора, где были Клавдия со Степаном.

Петя едва довез к себе Ольгу Александровну. Она плакала и дрожала мелкой дрожью. Петя тоже был взволнован, возмущен жестокостями, виденными сегодня, и раздражен на себя.

Он с обидой чувствовал, что он просто мальчик, нервный и ничтожный, не способный ни на что: даже на порядочное сопротивление. То, что ему пришлось бежать, мучило его. Он сдерживался, давал воды Ольге Александровне, но если бы была его воля, и не остатки самолюбия, он рыдал бы громко, на всю квартиру.

С этого дня Петя перестал считать себя годным на какую-либо политику.

IX

Его, однако, кой-где сочли за врага: через два дня явились с обыском. Видимо, список десятских попал в верные руки.

Обыск был неприятен, как всегда, но в общем показался пустяком. Пете не хотелось лишь, чтобы его арестовали.

Этого не случилось, ибо ничего не нашли.

Приставу был скучно, сыщик вяло рылся в письмах: чувствовали, что неинтересно.

— А все-таки,— сказал пристав, разглаживая бакены,— столицу вам придется покинуть.

Пока Петя писал заявление о высылке к дедушке, пристав философствовал:

— Эх, господа! Только себе беспокойство, и нам.

Он зевнул.

— Шляйся тут по ночам. Я бы сам инженером сделался, ей-Богу. Дело богатое. А вы бунтуете.

Когда они ушли, шел четвертый час; обещал быть тихий апрельский день. «Спать все равно не буду»,— подумал Петя. И, надев фуражку, вышел.

Утро, правда, было теплое. Он шел по набережной, навстречу солнцу, медленно подымавшемуся в облачках. Над Невой легкий пар, но уже светлый, весенний. Дворцовый мост разведен; проходят баржи, суда, и хочется знать, откуда они пришли. В утренний час мир кажется таким просторным и родным.

В биржевом сквере Петя сел; его радовало солнце с

бледно-золотистым светом, вода, даже дворцы нравились. У моста пыхтела землечерпательная машина с непогасшим еще фонарем.

Петя взглянул в сторону крепости, и сердце его сладко заныло. Спит ли она сейчас? Или проснулась, из окна смотрит на дальнее сияние востока, вспоминает о нем? Пете пришло в голову, что его высылают. И тотчас он понял, что не можт быть, чтобы летом они не встретились. Как это произойдет, он не знал; но наверно так будет.

Оставить Петербург ему было даже приятно — Бог с ним, с этим городом. Конечно, хорош сейчас рассвет, но в деревне он лучше. И в деревне лучше ему жить, чище, честней. А дальше? Петя вздохнул. Зачем думать? Судьбы не угадаешь все равно. Хорошо, что на сердце стало легче, точно с него сошло нечто. Он не знал, что именно, но ему казалось, что отныне он будет жить достойнее.

Около десяти он пил кофе в плавучем ресторанчике на Неве. Публики было мало. Вода поплескивала под плотом, в садике на дворцовой набережной играли дети. День сиял мило-туманно, перламутрово. Петя вспомнил Ялту, где так же пил кофе на воде, под плеск волн. Затем мысли его перешли на моря, юг, путешествия; то, о чем он мечтал иногда. Теперь в этих воображаемых странствиях с ним всегда была дорогая тень.

Петя подпер голову рукой, задумался. Когда он закрывал глаза, мечтать было легче. Ему представилось, что хорошо было бы, если б она сейчас явилась, и они сели бы в волшебный корабль, уплыли бы в Италию, Венецию, в полусказочные края, о которых он имел легендарное представление... и уже любил их.

— Может быть или не может? Нет, это было бы чудом.— Он вздохнул, вспомнил, что чудес не бывает, и раскрыл глаза.

В летней шляпе, сиреневой вуали и светлом костюме Ольга Александровна стояла на набережной. Она засмеялась, кивнула и быстрым шагом сбежала вниз.

Петя покраснел. Ольга Александровна весело жала ему руку.

— Вы сидели, закрыв глаза.— Она улыбалась и слегка хлопала его перчаткой по плечу.— О чем вы думали?

Петя глядел на нее умоляюще. В его глазах она все прочла, и сама порозовела.

— Вы имели очень славный, но курьезный вид!

Немного оправившись, Петя рассказал о сегодняшней ночи, об обыске.

Ольга Александровна стала серьезней.

— Я ведь говорила. Эх вы!

Но в ее глазах он прочел гордость за него. Точно это подымало его в ее мнении.

— Да,— прибавил Петя,— и меня высылают.

Это ей явно не понравилось. Тень прошла по ее лицу. Она задумалась.

— Знаете что,— сказала она просто, но неуверенно,— а если вы поедете к нам, ну, отбывать свою опалу — в деревню?

— Я... что ж говорить... я с наслаждением. Но — я уже подписал заявление к дедушке.

— Глупости! — Ольга Александровна вспыхнула.— Какие глупости! Отец позвонит, и вам разрешат к нам.

Петя вдруг засмеялся, почти захохотал.

— Вы думаете, это можно? Серьезно?

Слишком велико был искушение бросить Петербург.

— А удобно будет вашему отцу?

Ольга Александровна встала.

— Вот что: все дело в вас. Хотите ехать, едемте. И чтоб не распространяться, пойдем к нам завтракать. Все и выясним.

Петю смущало то, что он мало знает Александра Касьяныча, тот иронически относится к студентам, и пр. Но его убеждал тон Ольги Александровны, да и ехать очень хотелось.

Все же он не без волнения подымался по знакомому лифту. Ольга Александровна посмеивалась и блестела глазами.

— Вы такой бываете на экзаменах?

Петя опять покраснел. Ему хотелось бы, чтоб она считала его мужественным.

К удивлению, Александр Касьяныч отнесся к делу благоприятно. Он засмеялся своим змеиным смехом и спросил:

— Вас высылают? Вас?

Петя сказал, что да, высылают.

— Так-с. Я же всегда говорил, что они ослы. Что?

Александр Касьяныч обвел взором присутствующих, будто ждал возражений.

— Нужно делом заниматься, они бы на Запад глядели, а то, да,— высылать несовершеннолетних. Pardon[1], моло-

---

[1] Извините *(фр.)*.

дой человек, не обижайтесь, но я не могу вас считать каким-либо деятелем, тем более политическим. Вы — ученик. И все тут.

Александр Касьяныч был очень доволен. Он наскочил на приятную тему и весь завтрак без умолку с кем-то спорил. В России нет ни культуры, ни истинного чиновничества, ни консерватизма в английском смысле. Одни импульсы. Настроения, порывы — и все бесплодно. Надо учиться у Запада.

— Вот и вы,— он обратился к Пете: — Вы молоды, скромны, из вас может выйти полезный работник, но не здесь, вас здесь заставят ходить с флагами и потом будут высылать, да,— вам надо в Германию. В хорошую школу, в Гейдельберг.

— Я думаю бросить специальное образование,— сказал Петя.— Мне хочется в университет, на юридический.

— Ха-ха, на юридический! Вам кажется, что это легко? Разумеется, можно ничего не делать.

Петя смущенно ответил:

— Меня интересуют общеобразовательные предметы.

Александр Касьяныч допил бордо и встал.

— На общеобразовательных далеко не уедете-с. Хотите быть юристом — работать надо. Работать, работать!

Он вдруг рассердился.

— Я сейчас в Сенат, должен докладывать дело. Я товарищ обер-прокурора, работаю, как лошадь. А господа сенаторы слушают... Вот так у нас все.

Он быстро попрощался и в передней мелькнул уже в мундире.

— Насчет дальнейшего не извольте беспокоиться, вы наш гость, да. Я не считаю вас политическим деятелем.

Когда он ушел, Ольга Александровна засмеялась.

— Вас отец смущает. К нему надо привыкнуть.

Потом она прибавила:

— В деревне он будет наездами.

Они пили кофе, разговаривали. Пете казалось теперь, что он непременно должен сделаться юристом, хотя мысль об этом впервые пришла за завтраком, и откуда она взялась, он затруднялся бы сказать. Это все равно,— он одно знал, что сейчас счастлив, что, болтая так с Ольгой Александровной, может просидеть сколько угодно, и так это и нужно, как почему-то надо, чтобы он попал в университет.

Ольга Александровна предложила ехать кататься. Он был доволен. Пока она переодевалась, устраивала шляпу,

он вышел на балкон. Было видно далекое небо, легкие, весенние облачка. Даль широка и волшебна — в ней можно утонуть. Милая весна, новая жизнь, любовь!

В таком настроении спускался он вниз по лестнице, поддерживая Ольгу Александровну, подсаживая ее в экипаж.

Через четверть часа они были уже на Островах.

В парках еще пустынно — это неурочное время. Дремлют озера, бледно зеленеет листва. В аллеях влажный песок; шуршат шины коляски, в пряжках сбруи блестит солнце. Волнистая сетка тени бежит по лошади, кучеру, седокам. И бледная вуаль Ольги Александровны, тонкий профиль, нежный аромат духов, тишина, перламутр солнца, дальнее море — все это весна. Может быть, это сон, туманно-прекрасное видение эта Ольга Александровна, ее светлые руки?

Они стояли на Стрелке и видели финские берега. Рыбачьи лодки бродили по взморью, и все это было не менее призрачно и не менее хорошо.

Очарование исчезло, лишь когда они вернулись в город.

— Вы довольны? — спросила Ольга Александровна.— Вам понравился нынешний день?

Глаза ее блестели влажно, ласково.

— Чудный день,— ответил Петя, как сквозь сон.— Чудный!

Прощаясь, она говорила, чтобы он не забывал: теперь он пленник.

— На острове Святой Елены, как выражались раньше.

Он хотел сказать: «Святой Ольги», но только пожал руку и поклонился.

Было условлено, что Ольга Александровна тронется в деревню раньше и известит, когда ему можно ехать.

X

От демонстрации у Степана осталось странное впечатление: его не очень удручало то, что ему разбили голову, он не отказывался от чувств, с которыми шел на площадь, но все-таки ждал другого — до настоящей революции, с рабочими и баррикадами, было далеко.

Подошла весна, уроки его кончились. Жить в Петербурге было нелегко, и к городу этому Степан сильно охладел. В газетах он много читал о голоде, поразившем Самарскую губернию,— мысль поехать на голод пришла ему внезапно и прочно засела в голове.

Клавдия этому сочувствовала. Снесшись с кем следует, получив разрешение, они тронулись, не долго думая.

Езда в душных вагонах, в третьем классе, мало кого радует. Но когда в Нижнем сели на пароход, умылись, вышли пить чай в рубку второго класса, а древний город медленно отошел назад, в голубоватый майский туман, оба почувствовали, как хороша Волга, Россия. Клавдия блаженно вздохнула. Теперь она с глазу на глаз с человеком, которого любит; они едут на настоящее, пусть опасное и тяжелое дело, и никто не будет мешать их любви. Клавдии казалось, что жизнь ее только начинается. То, что было до сих пор,— лишь приготовление, смутное предчувствие.

Степан тоже был доволен. Он знал, что дело это не Бог знает как крупно, но оно соответствовало его душевному настроению. Хотелось поближе увидеть народ, стать к нему в непосредственные отношения.

— Степан Николаевич,— сказала Клавдия, и ее слегка косящие глаза заблестели,— хорошо, что мы поехали.

— Да,— ответил Степан,— конечно. Боюсь только, что вам трудно будет на работе.

— Я крепкая.

Клавдия, хотя некрупного сложения, выглядела, правда, довольно прочно. В ней была какая-то суховатость, нервная сила.

Степан не хотел думать сейчас о своих отношениях к ней, хотя ее близость волновала его. Он понимал, что теперь все идет уже само собой; чтó будет, то будет, все равно.

И, забывая о цели поездки, о голодных, он вдыхал широкий речной воздух, блеск воды под солнцем, благовест большого монастыря, свет Клавдиных глаз.

На пароходе было мало народу; почти все время сидели они вместе, бродили по палубе и не могли налюбоваться широтою, ясностью вида.

Чем дальше спускался пароход,— тем плавней, вольней развертывалась Волга.

Это чудесная река. Здоровое племя живет по ней. На Волге, в ее блеске и раздольном ветре, ярче горит кумач на рубахах; говор полней и круглей; радостней сила — крючники подымают по десяти пудов, и хоть надрываются иногда — все же они молодцы и зубоскалы. Кажется, здесь независимей и красивей женщины. Как-никак, это родина Разина.

Обо всем этом думал Степан, стоя с Клавдией у борта. День шел незаметно. Проплывали баржи, плоты, кой-где тянули судно бечевой. В одном месте леса с двух сторон подошли к реке — и вспомнилось детство, когда у Майн-Рида читали о Миссисипи.

Стояли у пристаней. Сменялись друг за другом славные нагорные городки, все в садах, церквах.

К вечеру сильней стал речной запах, на плотах засветились огни: это калужцы, рязанцы, плывя, как сотни лет назад их предки, варили картошку в таганках, пели старинные песни. Слышен был их говор, а плоты ползли медленно и без устали. Степан представлял себе, как наступит ночь, в реке отразятся звезды, и калужцы будут их видеть, по очереди налегая на шесты.

Ему казалось, что и сам он мог бы так же гнать плоты, жить на воде, варить кашу. Чем он лучше их? Он улыбнулся на свои мысли. В Петербурге это назвали бы сентиментальностью. Там твердо верили в силу программ, комитетов и фракций. «Да, конечно,— думал и Степан,— я не уйду к ним, в их быт. Мы должны вести их к себе, к нашей культуре». Он неясно представлял себе, как это должно произойти, но когда начинал об этом думать, сердце его загоралось ненавистью, он склонялся к крайним мерам.

Среди этих размышлений время шло. После заката в воздухе долго стоял розовый отсвет; розовела и вода в сторону запада, а в противоположную обратилась в серебро. Две хрустальных борозды тянулись за пароходом, берега разошлись и стали сливаться в неопределенную смутность. На носу зажгли зеленый фонарь.

После ужина Клавдия со Степаном сидели на носу, под руку. Не хотелось спать. Туманное волнение овладело ими. Разбрелись пассажиры, наступила ночь; голубая Волга сияла ярче девственным светом. Все вокруг была тишина, великое владычество природы. На сонных пристанях с берега щелкал соловей; вода журчала мягко, бесконечно, иногда ветерком доносило аромат леса. Степан чувствовал, что его спутница так близко, что сейчас они станут уж одним, что запах ее волос и молодого тела, трепетавшего рядом, уже вошли в него, и она потеряла границу между собой и им. «Любовь?» — мелькнуло в его голове, и он не мог ничего себе сказать, мысли его путались, все смешалось, утонуло в первом же поцелуе, и Степану все стало казаться по-иному.

Они спустились в каюту, и отворили окно. В двух ша-

гах от воды, при сиянии звезд они отдались любви бурно, с простотой природы, весны. Чувство, что оба они иные, более волшебные, чем обычно, охватило Степана с необыкновенной силой. Они не заметили Симбирска, Жигулей и заснули поздно.

Первым проснулся Степан и растворил окно. Было уже довольно жарко, но с реки пахнуло свежестью, блеснула крылом чайка, вдали за синими водами выступала Самара, раскинувшись по берегу. Значит, осталось часа четыре.

Степан дышал утренним воздухом, смотрел на Клавдию, спавшую очень крепко, свернувшись, выставив худенькое плечо,— и смешанное чувство ласковой жалости к ней, мужской гордости и сознания сил овладело им. Вот что значит обладать женщиной! Он теперь знал это, ощущал ответственность, взятую на себя, и показался себе крепче, значительней.

— А? — вздрогнула Клавдия.— Что? Ты тут?

Заметив его, увидев свои голые руки, она смутилась и обрадовалась, стыдливой радостью молодой жены.

— Самара,— сказал Степан.— Одевайся, я пойду закажу чаю.

И, мягко поцеловав ее в лоб, Степан вышел, легко неся свое крепкое тело. Рубка показалась ему чище, светлей, очаровательней блеск солнца по воде. Когда на пристани крючники взбрасывали на спину кули, ему представилось, что и сам он легко подымет эту тяжесть, весело пробежит по мосткам.

Клавдия вышла тоже расцветшая и слегка конфузясь. Вся она так горела счастьем, что выдавала себя. Они пили чай со свежим маслом, тихо смеялись, а пароход бежал уже дальше. Время шло незаметно. Казалось, так можно плыть очень далеко, и все будет хорошо, никогда не надоедят берега, раздвигающиеся каждый час по-новому, ширь воды, ветер.

Но к четырем показалась пристань, где надо было слезать. Степан пошел в каюту укладываться. Клавдия осталась одна, подошла к самому носу парохода и несколько минут стояла молча.

Ветер туго обдувал ее легонькое платье, она ни о чем не думала и глядела вперед, глубоко дышала, точно прощаясь с этим ясным, дорогим днем ее жизни. У нее было смутное желание — замереть так, остановиться, ничего больше не знать и не видеть — все равно, лучшего не узнаешь.

Но снизу вышел Степан, в пальто и шляпе; пароход убавлял ходу.

— Кофточка твоя здесь,— сказал Степан, подходя. И помог ей одеться.

На пристани их ждал студент, в косоворотке, с палкой.

— А,— сказал он,— в Дербушевку? Отлично. Это я и есть, будем знакомы: Матюшин. Давно ждем. Пора. Работы чертова прорва. Да и цынга.

Он весел засмеялся, будто был рад, что в Дербушевке цынга, голод и ждут тифа. Весь он был с Козихи, старомосковский студент.

— Я на таратайке за вами приехал,— говорил он.— На три часа вырвался. А то вам трудно было бы. Теперь лошадей не найдете, нипочем.

Матюшин взгромоздился на козлы, обернул назад добродушное лицо, заросшее волосами, и спросил:

— Ну, уселись? Поехали?

И он дернул кляч. Клячи пошли сначала трухом, потом, в гору, откровенно шагом.

От Матюшина попахивало водкой. Глаза его блестели предательски.

— С месяц здесь уж,— говорил он.— Я, собственно, медик, третьего курса. Многое видал, но житье у нас несладкое, имейте в виду. Газету всего раз читал. Пива ни-ни. Сегодня вас выехал встречать,— первый раз на людей смотрю. Вот как. А то все цынгачи. Да, и голодные.

Степан мало слушал его. Клавдия прижалась к нему теснее, и они поняли, что теперь началось что-то иное, быть может, очень важное, но непохожее на их весеннюю ночь.

Дорога шла в гору, по берегу Волги. С каждым поворотом река раскрывалась шире, светлее, покойнее. Она сияла могуче, как великий путь славы. Глядя на нее, Степан вспомнил Толстого, старых былинных богатырей.— Вот они откуда!

Матюшин продолжал разговаривать.

— Это Чемезово,— объяснил он, показывая кнутом на деревушку.— Это Протасово. А вот и мы, Дербушенция.

Солнце было близко к закату; тонкий, золотистый туман висел над далями Волги; потянул ветерок, когда въезжали в Дербушевку. В Чемезове блестел в лучах золотой крест.

Степан и Клавдия пожали друг другу руки.

XI

Матюшин оказался прав: жизнь в Дербушенции была нелегкой. Но ни Степан, ни Клавдия не смущались этим и работали рьяно.

Жили они, как и Матюшин, в бараке, где была столовая. Спали на сене, вставали с солнцем. Степан умывался из чайника, подвешенного на веревочке, и будил Клавдию. Она вскакивала горячо, с ясной улыбкой; точно предстоял день радостей, а не тяжелой работы. И, наскоро хлебнув чаю, они погружались в свои хлопоты.

В те годы не одна Клавдия со Степаном работали так: много молодежи уезжало в глухие углы, меняло известные удобства на суровую жизнь; они тащили с собой книжки, брошюры, раздавая их под рукой,— все это делалось для высших целей. А кому знать следовало — знали, для чего они едут, и следили. К добровольцам у начальства отношения установились недобрые.

То же было и здесь. Наезжали становые, урядники, и в их взглядах чувствовалось, что это не зря,— если что не так, они приложат руку.

Но ни Матюшин, ни Степан, ни Клавдия пропагандой не занимались. Им просто некогда было.

С утра обходили самые тяжелые семьи, кто не мог являться за получкой. Это было наиболее трудное. Очень приходилось пересиливать себя Клавдии при виде распухших сифилитиков, цынготных, которыми кишела деревня.

Особенно пугала ее страшная слепая старуха с выкаченными глазами, за которой ходил дед Константин; он был глух, голоден и часто плакал. Видимо, он хорошо относился к жене, и Клавдия, входя к ним, не могла отделаться от мысли, что они когда-то были молоды, возможно — любили друг друга, а теперь обратились в жалкую рухлядь.

Может быть, это было так, может быть — нет, но, во всяком случае, сейчас в деревне жизнь шла старинным, веками заведенным порядком; и здоровые скорее радовались смерти больных, чем огорчались. Так же выходили на полевые работы, по воскресеньям выпивали, и случалось, что к раздаче хлеба являлись богатые мужики из соседних сел, кулаки, лавочники.

Это приводило Степана в ярость. Раз он чуть не спустил со ступенек барака чемезовского старосту, пришедшего за семенами, которые он продавал потом втридорога.

Матюшин успокаивал Степана.

— Товарищ,— говорил он,— не горячитесь. Жулики есть всюду. Меня они мало огорчают. Ну, сволочь и сволочь. Вообще, вы очень на все серьезно смотрите. А никаких таких возвышенностей нет. По-вашему, мы тут из-за идеи, а по-моему — так, черт знает зачем.

— Да вы-то как сюда попали?

— Просто, случай вышел. Дай, думаю, поеду.

И Матюшин философствовал о том, что ничего особенного нет, и не нужно,— надо жить самым простым, заурядным образом, а идеи выдуманы от нечего делать. Сначала Степан спорил и даже злился, а потом привык. Матюшин проповедовал развеселую жизнь, беспринципность, а работал чуть не больше всех, просто так, чтобы занять время, что ли, и ничего не боялся.

— Тиф,— говорил он,— так тиф. Холера, цынга, все что угодно, здравствуйте, пожалуйста. Вы думаете, я водку пить перестану, если холера пожалует? Ах, пардон, я от своих удобств не откажусь!

И Матюшин находил с крестьянами лучший тон, чем Степан; его считали не таким «гордым». Лучше ладил он с доктором, их прямым начальством, приезжавшим с ближнего пункта. Степана сердила медлительность доктора. Матюшин же начинал веселиться, заставлял его рассказывать сложные истории, где доктор увязал как в болоте, и тогда внезапной диверсией выклянчивал медикаментов, бинтов и прочего, сверх нормы.

— Видите ли,— говорил доктор,— я, конечно... да... с удовольствием доставил бы вам всякого провианта... То есть нет, виноват: я хотел сказать провиант, как бы выразиться... медицинский, а не хлеб и семена, что от меня не зависит. И видите ли, я дал бы еще, но у меня самого, так сказать, мало, хотя я и уверен, что у вас работа идет хорошо.

Маленькие глаза на полном лице доктора выражали напряжение мысли.

— Дубина какая-то, мямля! — говорил потом Степан с раздражением.

— Речь сказать нелегко, глубокоуважаемый. Попробуйте-ка!

— Пол-уезда вымрет, пока соберется! — бормотал Степан злобно.— Я б его... метлой отсюда.

— А вымрут, значит,— так надо. Кто это знает,—

может, еще мы с вами раньше помрем. Холера-то двигается. Да и тиф, это уж ждите.

Степан не мог не согласиться. Действительно, с низовьев шли тревожные вести: разрасталась холера, кой-где начали бить докторов. Казалось, Божья кара посетила этот край, такой привольный и прекрасный от природы.

Иногда вечером, перед сном, Степан выходил в поле, за последние избы, и глядел на Волгу. Она туманно блестела в полутьме, отражая звезды. За ней тянулись степи, уводившие в Азию: до сих пор там бродят табуны полудиких лошадей. И простор неба, и Волга, поля, степи — все было грандиозно в эти ночи. «Великое царство»,— думал Степан: его охватывало жуткое, огромное чувство — будто он смотрит в глаза сонному богатырю.

Возвращаясь домой, он с горькой усмешкой думал, что как раз его и разорвали бы первым, случись холерный бунт. «Что же с этим поделать»,— сказал он себе, и, оглянувшись на улицу с деревянными избами, ветлами, ригами на задворках, Степан вдруг почувствовал, что все равно это его кровное, родное, и если бы в темноте своей эти люди и убили его, он не изменил бы им. К горлу его подступили слезы. Он махнул рукой и вошел в барак.

Спал он беспробудно.

С днем приходили заботы, работа, беспокойства. Как ни старались бороться с цынгой, она росла. Труднее становилось и кормить; пожертвования сократились, число голодных увеличилось. До нового хлеба было еще далеко.

И Степан не удивился, когда Матюшин сказал однажды:

— Тиф. Тификус максимус. Поздравляю.

На другой день тиф появился еще в трех дворах, а через неделю треть Дербушевки была охвачена болезнью. Приехал доктор и в длинной бессвязной речи объяснил, что, как ни ужасен голодный тиф, все же у него, доктора, больница лишь на десять кроватей, и они все заняты. Следовательно, хотя он и понимает, что тифозных надо изолировать и нельзя ограничиться амбулаторией, однако, и т. п.

Матюшин со Степаном выслушали спокойно. Матюшин даже не шутил. Когда доктор уехал, он сказал Степану:

— Очень просто. Помощи, батенька, не будет.

Понимал это и Степан, понимала Клавдия. Они жили и работали ровно, по-прежнему, но каждый сознавал, как серьезно положение.

— Скажи,— спросил раз Степан Клавдию,— тебе страшно? Мне временами кажется, что я напрасно завез тебя сюда.

Клавдия пожала ему руку крепко и ответила:

— Нет.

В ее острых, слегка косящих глазах он прочел, что это правда.

Сам Степан не боялся тоже. Но у него было горькое чувство, что сколько он тут ни работал, боролся, все идет прахом; смерть и несчастье торжествуют. «Отчего у меня нет власти,— думал он,— отчего я не могу повернуть жизнь туда, куда хочу?» Но чем он больше думал в этом направлении, тем сильней разгорались его якобинские желания. Все в нем говорило, что одна власть — дурная и преступная — должна быть свергнута и заменена другой, исходящей от народа. Он знал, что этого можно достигнуть лишь насилием, но это не смущало его. «Действовать иначе,— говорил он себе,— значит, умыть руки. Быть может, скоро уже будет поздно».

Раз утром Матюшин сказал ему:

— Не подавайте мне руки.

Глаза Матюшина были мутны; он продержался до полудня, к обеду слег.

— Вот что-с,— сказал он слабеющим языком,— дайте мне карандаш, бумажку,— надо кой-что написать... да... а вы все-таки подальше от меня. Может, вывернетесь.

Он написал два письма. Кончив второе, вдруг заплакал. Заметив, что Степан видит это, он раздражился и отвернулся к стене.

— Идите же, я вам говорю.

К вечеру, в полубреду, он мурлыкал старинную латинскую песенку:

Mihi est propositum
In taberna mori.
Vinum sit oppositum
Morientis ori[1].

Потом немного пришел в себя и сказал:

— Да, товарищ, письма-то, письма! Так. Вот и смерть пришла. Двадцать шесть лет. Стало быть, Москвы не увижу.

Он проговорил это сдержанно, потом приподнялся

---

[1] Мне было предначертано
В лачуге умереть.
Вино пусть будет противопоставлено
Устам умирающего *(лат.)*.

и стал выводить что-то на бумажке. «Богемия... за бильярд шесть, Ефимову три, в пивной Алексею десять...» Матюшин записывал долги.

Степан смотрел на него, и ему казалось, что этот малознакомый ему человек, так странно умирающий,— как и сам он, как все те, болеющие, голодающие, живущие, любящие и гибнущие,— это тоже он, все один он, человек. В голове его слегка шумело. Она становилась тяжелей, а в сердце росло чувство жгучей любви, братской любви ко всему миру, от Волги до Клавдии.

Матюшин умер через несколько дней. Степан же слег вечером того дня, когда ему пришли эти мысли. По мере хода болезни мир все дальше, туманнее уходил от него, сливаясь в одно пятно; по вечерам все обращалось в лицо Клавдии, в резкий свет свечи. Иногда проносились видения, то грозные, то сладостные, но их нельзя было остановить. Потом все пропало.

XII

Ольга Александровна встретила Петю весело. Она уже неделю жила одна и искренно обрадовалась ему. Первые минуты Петя стеснялся: все-таки чужое место — на другой день, он знал, приезжает Александр Касьяныч. Но это скоро прошло. Петя понял, как дорого для него — быть в этом доме.

Ольга Александровна наигрывала на старом, карельской березы, рояле, по стеклам бежали дождевые капли. Петя сидел и слушал.

В столовой позвякивали посудой, накрывая к обеду. Петя находился в мечтательном настроении. Ему нравилось, что они будут вдвоем сидеть за столом, в пустом доме, есть простые деревенские блюда, а в саду засинеют сумерки. Что они будут делать вечером? Ему хотелось бы читать ей вслух длинный, чистый роман в старомодном духе.

Но вышло не так. К концу обеда погода разъяснилась, на западе легла узкая золотая полоска: знак тишины и доброго настроения в природе.

Они отправились гулять. Было еще мокро, но так тепло и тихо, как бывает милым майским вечером. Летали жуки, слабо гудя. Кусты полны влаги, того легкого серебра, что осыпается крупными каплями на проходящего. Ольга Александровна дышала глубоко и вольно.

— Все-таки,— говорила она,— лучшее, что создал Бог,

это природа. Знаете, я так делю людей: кто природы не любит, не понимает, тот для меня ничто. У него пустое сердце.

Пете казалось это верным. И тысячу раз было верно сейчас, когда за лесом зажглась звезда, тонкий месяц проступил над крышей.

— Я много раз замечала: идешь вечером в городе, например, в Москве: сутолока, шум. И вдруг подымешь голову, над Тверским бульваром увидишь звезду... как это чудно. Отчего они никогда не надоедают? И что в них есть такое таинственное, восхищающее?

Они спускались легким склоном по фруктовому саду. Потом вышли через калитку в березовую рощу, еще круче сбегавшую вниз. Сквозь белые стволы блестело озеро.

— Пройдемте так,— сказала Ольга Александровна,— тропинкой по шоссе.

Березы были тридцатилетние, ровные, свежие. Они только что распустились; воздух насыщен их запахом, обаятельным весенним туманом.

— Отец не позволяет трогать леса, это его конек. У нас пятьсот десятин, из них четыреста лесу, но не срублено ни одного дерева. У него даже теория есть на этот счет, он вам все расскажет.

Лесу, действительно, было много. Петя не бывал раньше в этой губернии — из среднерусских, но тяготеющих уже к Западу, к Днепру. Здесь было иначе, чем в родных тульско-калужских краях. Гуще суглинок, влажней, главное, больше лесу. И лес основательней; он тянется на много верст, много в нем хвои и, верно, достаточно зверья.

Когда вышли к плотине, по которой проходило шоссе, небо вызвездило; облака разошлись, сладко пахло весной; в пруду слабо гас закат, едва тлея. И на той стороне, и с боков, впереди — все лес.

Сели на кучи сложенного камня, молча.

— Вот,— сказала Ольга Александровна,— вы видите наше Миленино, где я родилась, росла, выходила замуж и скоро начну стареть. Все я тут знаю, каждый кустик. И, говоря по правде...

Она замолчала и взяла его за руку.

— Говорить, или нет?

Слабый озноб прошел по нем от прикосновения нежной руки, от слов, будто долго искавших выхода.

— Отчего же нет? — прошептал он.— Разве вы не знаете, как я к вам отношусь?

— Да, скажу. Я вот что вам скажу, Петя,— что никогда я не была счастлива, нигде.

Она замолчала, несколько времени была недвижна.

— Замужество мое было ужасом... Ах, сплошная, холодная гадость. Во многом я сама виновата,— да, ведь, я была девчонкой. Главное,— прибавила она,— я его не любила, главное. А между тем... человек ведь хочет любви. Жизнь коротка, скоро седые волосы, и никогда... Фу, я начинаю завираться. Одним словом, счастье разделенной любви все же единственное счастье женщины.

Петя смотрел на нее влажными глазами и думал, что его, незаметного студента, она не полюбит никогда. Он вздохнул, закурил папиросу. В свете огонька ее глаза показались ему темней, печальней; они были устремлены на него.

Погас свет, снова вокруг была весенняя тишина. Слабо поквакивали лягушки; гудела выпь; вода бежала в мельничном колесе. Тихо хоркая, протянул запоздалый вальдшнеп. Бекас трубил в поднебесье.

— Пора,— сказала Ольга Александровна,— пора нам домой.

Они встали. Вдали, из-за леса, послышались колокольчики.

— Верно, папа. Хотел завтра приехать, но, значит, заторопился.

Они медленно шли по шоссе в гору, к усадьбе. Сзади нагонял их экипаж. Еще не видно его было, а уж слышался скок пристяжных, голоса.

— Вот и папа...— говорила Ольга Александровна.— Что он, тоже, за человек? Всю жизнь гнул спину за своими законами,— а сам над всем этим смеется. Ну, сенатором его назначат, а он говорит, что Сенат есть глупость четвертой степени. Он, собственно, любит только сады. Да меня, кажется.

В это время тройка настигла их.

— Стоп,— закричала Ольга Александровна.— Смерть или кошелек!

Лошади остановились. Из экипажа вылезли две фигуры.

— Все шутки,— сказал Александр Касьяныч.— Шутки, смех мало пугают философа.

Ольга Александровна обняла его.

— Ну, здравствуй. Кого еще привез с собой?

— А это, чтобы не было скучно. Царя звуков.

— Если позволите, Нолькен,— ответил другой голос.

Ольга Александровна смеялась, а Александр Касьяныч здоровался с Петей.

— Отлично сделали, что приехали. Рад видеть.

Шли пешком, экипаж ехал рядом. На повороте, откуда засветился дом, попали в лужу. Александр Касьяныч выругал непорядки и отсутствие культуры в России, а Ольга Александровна слегка припала к Пете. Чтобы поддержать ее, он ее полуобнял, и вместе с весной, звездами, распускающимися листьями вдохнул запах теплых волос. Она слегка вздрогнула.

Был уже накрыт ужин. Приезжие умылись, вычистились, через полчаса сели за стол на балконе.

— Я здесь по приглашению Александра Касьяныча,— сказал Нолькен.— Пробуду недолго. Постараюсь не опротиветь. Если же надоем, то прямо говорите.

Нолькен улыбался, но его худое, несколько обезьянье лицо было печально. Как будто и глаза туманились болезненно. Пальцы слегка вздрагивали. Петя заметил, что иногда рука его делала непроизвольное движение, тянулась не туда, куда надо.

— Конечно, должны здесь пожить: деревня все излечивает, заметьте себе это,— говорил Александр Касьяныч.— Артист должен отдыхать у земли, иначе он истреплется в лоск. Вот, извольте видеть, это не наших рук дело, а чьих-то там получше.— Он указал на лес и небо.— Мы умеем только истреблять, портить, а тут создавали. Так дай нам Бог по крайности сберечь.

— Мы тоже создаем,— сказал Нолькен. Лицо его стало покойней и как бы ясней.— За минуты радости, которую дает творчество, художник забывает свою жизнь,— он немного покраснел, и руки его задрожали,— подлую свою жизнь, и ему кажется, что и он на что-то нужен, черт возьми...

Он налил себе стакан рислинга и выпил.

— Предмет роскоши! Художники — украшение гостиной! Вздор! Искусства б не было — ничего б не было. Жизнь была бы свинячья. Это все демократишки, жидишки выдумали.

И Нолькен, взволновавшись на собственные слова, стал горячиться, спорить с воображаемыми противниками. Александр Касьяныч подливал масла в огонь.

Ужин кончился. Петя с Ольгой Александровной сошли с террасы, сели на скамейке. С балкона долетали голоса

спорящих, а здесь было тихо, сыровато и пахло распускающимся жасмином. В зените сияла голубая Вега, а над горизонтом мерцали плеяды, таинственные группы небесных дев.

— О чем они спорят, о чем шумят? — говорила Ольга Александровна.— Этот вечер, звезды, спящие птицы, коростель, роса, май... вот, мне кажется, где правда. Умней этого все равно не выдумаешь.

Вероятно, она была права. Голоса людей, полные то сарказма, то раздражения, иронии, казались ненужными в великой мистерии природы. Да их и не слушал никто. В такие ночи можно слышать иные звуки, всегда новые и возвышенные; перед ними людская запальчивость слишком уже ничтожна.

Около двенадцати Александр Касьяныч стал гнать Нолькена.

— Пора, пора на отдых, и вина меньше пить. Вам свежий воздух нужен, и молоко-с.

Ольга Александровна распрощалась тоже. Пете же не хотелось спать. Он остался. Александр Касьяныч допил пиво и спустился в сад.

— Вот так и надо,— говорил он, садясь с ним рядом,— ближе к природе. Всегда будьте ближе к природе, молодой человек. Города бойтесь, самая страшная вещь — город. Смотрите, чтобы вас не свернул.

Он нагнулся к нему и сказал:

— Например, Нолькен. Между нами,— он погибший человек. Вчистую, да. А даровитый.

Петя почувствовал в сердце тяжесть.

— Как же так,— спросил он.— Почему?

— Болен-с, болен. Знаете, такая болезнь, смолоду...— Александр Касьяныч для торжественности встал и слегка хлопнул Петю по плечу: — Прогрессивный паралич. Скоро с ума сойдет. Оттого он такой раздражительный. Мне его жаль, он неглуп.

Потом, подумав, он сказал суховато, точно дело касалось совсем постороннего:

— Табетики часто бывают ретроградами. Наука учла это. Человеконенавистничество в связи с разрушением нервных тканей. Вот она где, природа.

И он круто повернулся, пожал Пете руку.

— Так-то, молодой человек: умеренность, воздержанная жизнь.

Он быстро ушел.

14 Заказ 262

Петя подымался в мезонин со смутным чувством. Он медленно разделся, стараясь не шуметь: в комнате рядом спала Ольга Александровна. Он заснул не сразу. То, что Нолькен человек приговоренный, очень поразило его — хотя он и мало его знал. Он вспомнил о себе, о тяжелой и мутной зиме — ему стало неприятно. Было, может быть, время, когда и этот раздраженный Нолькен считался скромным юношей, а потом пал в темноту страстей, теперь же ему выхода нет. И Пете тяжело было об этом думать.

Но он ощущал и иное: ночной благоуханный воздух, втекавший в окно, дальний соловей, Ольга Александровна, спавшая за перегородкой,— все это в жизни было другой партией, вечно прекрасной и вечно враждебной первой. И когда Петя чувствовал, что, несмотря на власть над собой темных сил, он причастен все же и этим, сердце его утихало, останавливалось в истоме.

Плотские мысли не возникали у него по отношению к Ольге Александровне. Ему хотелось быть стражем ее чистого сна, и от ее лучезарной женственности взять и себе часть.

Ночь шла быстро, в два начало светать... Полный туманных, сладких волнений, он заснул.

XIII

По утрам Ольга Александровна, в белой кофточке, легкая и душистая, сходила вниз к чаю. Заслышав ее шаги, Петя улыбался и одевался торопливей.

Ему хорошо было здесь. Что-то чистое и светлое вошло в его жизнь, и ему казалось, что чудесно было бы всегда жить рядом с этой Ольгой Александровной, любоваться ею, мечтать о чем-то несбывающемся.

На всей деревенской жизни лежал отпечаток мая. Изменился даже Александр Касьяныч. Он снял свою форму, меньше язвил, часами бродил в новом саду в какой-то допотопной куртке. Ему нравились яблони. Он обрезал сухие сучья, наблюдал, чтобы достаточно было навозу у корней, и, когда сад зацвел, еще повеселел.

— Сады — это главное,— говорил он Пете,— сады и леса. Вы думаете,— да, наверно, и ваши революционеры тоже,— что лес — это что-то пустое. Нет-с, я вам скажу: лес основа жизни. Без леса нет природы, а природа — колыбель человека. Я не позволю,— Александр Касьяныч

начал уже сердиться, точно с ним спорили,— не позволю вырубить ни дерева-с, ни пня из своих лесов. Иного хозяйства я не понимаю. Да.

Даже Нолькена он вовлекал в свои идеи. Нолькен бродил за ним вяло, засунув руки в карманы белых брюк, которые привез, полагая, что едет в château[1]. Обут он был в желтые башмаки, с утра долго зевал и оживлялся только когда появлялась Ольга Александровна.

— Я раздражаю вас своим белыми штанами,— говорил он, и рот у него кривился.— Правда? Скажите правду? И, вообще, у меня вид хлыща, неподходящего к деревне?

Ольга Александровна смеялась и советовала ему заняться садоводством.

— Да, чтоб я поздоровел, вернулся в лоно рюстической жизни... Знаем, старо.

Ольга Александровна вздыхала, не отвечала ничего. Ей было, к тому же, не до него.

Помолодевшая, острая и живая, она была как будто напоена нервной силой. Сражалась с Петей в крокет, бегала, качалась на качелях, иногда беспричинно хохотала и играла в четыре руки с Нолькеном бравурные вальсы. Петя всегда был рядом. Если позволяла погода, шли гулять. Нолькен в таких случаях хмурился и оставался дома.

Одна такая прогулка очень запомнилась Пете.

Только что прошел дождь. Бродили облака, но за ними уже синело. Петя нес макинтош Ольги Александровны, а она шла впереди, глубоко вдавливая в землю маленькую ногу.

Свернули по шоссе налево, зашли в березовый лес. Березки распустились, сквозь них мелькали клочья синего неба: иногда летели брызги с ветвей; пахло сыростью, нежной весной.

— Здесь есть фиалки, я знаю,— говорила Ольга Александровна.— Надо направо, а потом прямо.

Они углубились в лес. Все тут было родное, милое. Фиалок росло много, действительно, но нельзя было сказать, что лучше: глушь ли, тишина этого места, тонкие стволы осин, лютики, белка, скользнувшая у опушки большого леса, куда они подошли, или сама Ольга Александровна и фиалки, сладко благоухавшие.

— Вам не кажется,— сказала она неровным голосом,— что сейчас мы одни, никого, никого, кроме нас, нет,— ни жизни, ни городов, ни людей?

---

[1] за́мок *(фр.)*.

Она подняла вверх глаза. Несомненно, чувствовала она себя особенно.

— Я понимаю это облако и синеву,— продолжала она. Потом она улыбнулась немного растерянно и блаженно,— что это, у меня голова кружится? Фу, как странно... не понимаю что-то...

Она стояла в своем макинтоше, прислонившись к березе, из-под капюшона выбились мокрые пряди волос. От нее пахло хинной водой; в руке благоухали цветы. Петя стоял рядом, и какое-то сладкое онемение овладело им. Он чувствовал: то, что сейчас есть, уже не повторится, их души как бы сливаются, одинаково бьются сердца. Они молчали. Шло время, капли трепетали на осинках и падали, повисая на локоне Ольги Александровны. Она слабо вздыхала, и казалось, сейчас разразится буйной радостью или слезами. Наконец, видимо, превозмогла себя, резко двинулась и глухим голосом, стараясь казаться веселой, сказала:

— Мы с вами чуть не обратились в столпников. Ну, идем.

Ее смех вышел деланным, невеселым; она быстро пошла по направлению к дому. Петя следовал за ней: и оба молчали, у обоих было ощущение, что они глубоко, непоправимо виноваты друг перед другом.

С этого дня отношения их изменились. Ольга Александровна была приветлива, но сдержанна, и новая складка — грусти и некоторого недовольства — появилась в ней. Петя сам чувствовал приблизительно то же. Не раз теперь, сидя один на балконе, поздно вечером, он думал об этом.

Облик Ольги Александровны стал для него еще милее, но туманней, недоступнее. Как будто он уже подошел к ней сколь мог близко, но пути их не слились, стали медленно расходиться.

Он с грустью пришел к этому, и с грустью почувствовал, что так же смотрит и она. Теперь во взгляде ее темных глаз всегда было одно: прощание, напутствие. Она не бегала уже, не играла в крокет, больше лежала с книгой в гамаке.

Александр Касьяныч заметил это и сказал Пете:

— Плохо дам развлекаете-с. И Оскар Карлыч тоже. Это непорядки.

Но от Нолькена вообще мало чего можно было ждать. Прожив в деревне неделю, он стал тих, боязлив. Не наде-

вал уже белых штанов, покорно ходил за Александром Касьянычем по саду; с Петей был вежлив, а с Ольгой Александровной разговаривал мало, только смотрел на нее с обожанием.

— Бедный Нолькен,— сказала раз она, вися в гамаке, среди белых берез.— Он совсем придавленный, несчастный.

— По-моему,— ответил Петя,— он вас любит. И, конечно, вы правы — он очень, очень жалкий.

Ольга Александровна улыбнулась.

— Так, по-вашему,— меня любит?

Усмешка ее приняла горькую складку.

— Любит, не любит,— мне безразлично, Петя.— Она привстала, облокотясь, и вздохнула.— Да, конечно, он меня любит. Но это ничего не значит, ничего не значит...

Она довольно долго сидела так, молча, недвижно, потом свернулась, легла в гамак лицом вниз и заплакала.

Петя растерялся, придвинулся к ней, хотел что-то сказать, но бормотал лишь ее имя. Не поднимая головы, она зашептала: «Идите... не надо». Потом немного успокоилась, мокрыми, блестящими глазами взглянула на него.

— Я знаю,— сказала она тихо.— Все знаю. Вам надо уезжать, Петя, конечно, да... Простите, что говорю так... право, надо так сделать... для меня, что ли. А то мне... очень тяжело.

Она взяла его за руку.

— Хорошо? Да вам и учиться надо, работать. А здесь вы ничего не делаете.

Петя хотел сказать, какое счастье быть с ней рядом, как она прекрасна, но почему-то не сказал.

В тот же вечер он понял, что пора ему, в самом деле, удалиться.

Александр Касьяныч был удивлен — он рассчитывал, что Петя пробудет еще с месяц,— и не одобрил его намерения.

— Отсутствие твердого плана, я чувствую, чувствую-с. Славянская черта. Сегодня мне кажется одно, завтра другое, и все так... от Господа Бога. Оттого у нас и культуры нет, изволите ли видеть. Культура есть планомерность.

Весь ужин Александр Касьяныч философствовал. Петя и Ольга Александровна молчали. Нолькен выпил вина и стал горячиться.

— Культура, по-вашему, планомерность? А по-моему — чепуха. Важны религия и искусство, а не плано-

мерность. Ваши суды, железные дороги, социализм — чушь.

Нолькен вдруг схватил тарелку и хлопнул оземь. Она разлетелась вдребезги.

— Такова и современная культура,— сказал он спокойно, с задумчивостью глядя на осколки.

Ольга Александровна чуть побледнела. Александр Касьяныч взглянул серьезно, и сразу стал молчаливей. Что-то сжимало сердце Пети. «Неужели начинается?» — подумал он,— и, верно, эта мысль мелькнула у всех. А Нолькен продолжал смотреть на разбитую тарелку, с прежним глубокомыслием.

— Разбитая культура,— сказал он тихо, будто про себя.— Разбитая тарелко-культуро-жизнь.

Он встал, улыбнулся, точно нечто нашел.

— Вот именно,— произнес он твердо,— жизнь.

И, опять указав на тарелку, вышел.

Ужин кончился сумрачно. Александр Касьяныч не философствовал, а только оглядывался, как бы ища глазами Нолькена.

— В пруд еще, пожалуй, прыгнет,— бормотал он.— Вот она, Россия, имею честь доложить.

Он прибавил это наставительно, будто в том, что Нолькен психически болен, виновата именно Россия.

Ольга Александровна скоро ушла, а Александр Касьяныч был взволнован и шагал взад-вперед.

— Пропал, пропал человек,— повторял он,— сбился с линии в ранней молодости. А для жизни надо линию, обязательно, без линии невозможно.

— А разве легко ее найти, Александр Касьяныч? — спросил Петя.

— Не легко-с, я не говорю, но надо.

Он засеменил ногами, заходил еще быстрей.

— Я скажу вам о себе. Я сам таким был, как вы, там, и прочие. Я не обер-прокурором родился. В молодости чуть пулю себе в лоб однажды не пустил,— однако, удержался: порядок взял верх. Несчастная любовь,— хорошо-с, переломил. Работе отдался, женился. Все делал, как полагается. Работал до одурения, и ничего. Встал на ноги, вошел в колею, и теперь не выбьете, никакой силой-с. Жена умерла,— претерпел. Олечку растил. Садами занимаюсь. Вот это, молодой человек, и жизнь. Когда о заоблачностях думал, что чуть на тот свет не отправился, а теперь благополучен, здравствую. Замечаете? И буду

жить,— крикнул он почти резко,— я Олечку люблю больше садов, и пускай я судейская крыса, ну да, я все же для нее живу, и счастлив я или несчастлив, это другой вопрос, но в пруды прыгать не собираюсь.

Он долго еще рассуждал, и незаметно жалость и сочувствие к нему вошли в Петино сердце. Как ни был красноречив Александр Касьянович, как ни острил, ни высмеивал,— все же видно было, что собственная его жизнь прошла сурово, тяжело, в труде, почти беспросветном.

Около двенадцати Петя ушел к себе. В темноватой гостиной он встретил Нолькена. Указывая рукой вверх, тот спросил коротко:

— Туда?

Петя кивнул утвердительно.

Нолькен сказал:

— Туда, наверх. Там живет инокиня Мария.

Петя не сразу понял.

— Ольга?

— Да, ну... все равно. Нет, лучше: инокиня Мария. Это лучше.

Он улыбнулся, почти кротко.

— Высший свет, небесный свет. Инокиня Мария. Я люблю ее,— прибавил он просто.— Неземное создание — бросает свой отблеск на бедные дни.

Он повернулся и вышел.

Петя медленно поднялся по лестнице, разделся, лег. В балконную дверь ровным, могучим светом сиял Юпитер. Во флигеле наигрывали на рояле,— видимо, Нолькен. Инокиня Мария была за стеной, и ему казалось, что он слышит ее шепот: плачет она, молится? Дорогое светило, приблизившееся из неизвестной дали, сиявшее кротко — и, силой рока, уносившееся теперь дальше.

Петя много думал в ту ночь о себе и о ней. Сердце его трепетало, слезы стояли в горле, и над всем этим было ясное чувство: нет, она ему не суждена.

Когда он устал и его начала одолевать дремота, он мысленно перекрестил ее: «Прощай, мой сон,— подумал он, сам уходя в мир сновидений.— Нежный друг, инокиня Мария». Вся его любовь к ней, все это время, давшее ему столько поэзии, показалось туманным видением, уплывавшим в страны былого.

XIV

В августе, в четыре часа дня, Алеша прогуливался по перрону Курского вокзала. Он ждал Петю, должен был везти его к себе на Кисловку.

Алеша был в шляпе — он уже не числился студентом, но из-под пиджака виднелась та же голубенькая рубашка, так же мягки черты лица, веселы глаза. Он прохаживался взад и вперед, щурился на солнце, заливавшее сбоку его светлые глаза, и посматривал на часы.

Наконец, затрубили в рожок. Вокзал оживился. Рысцой затрусили по платформе носильщики в белых фартуках, навстречу поезду.

Через несколько минут поток пассажиров валил к выходу. Среди дам, мужиков с инструментами, поддевок, котелков Алеша с трудом заметил товарища: Петя брел растерянно, едва поспевая за носильщиком. Он возвращался от дедушки, где пробыл вторую часть лета.

— А,— крикнул Алеша,— вот он, стоп!

И не успел Петя опомниться, он ловко обнял его, поцеловал.

— Это называется по-московски. Здесь у нас не что-нибудь!

Петя засмеялся. От Алеши, его глаз, поцелуя, вечернего солнца пахнуло чем-то славным, полузабытым.

— Мы вас ждем,— говорил Алеша, когда выходили к извозчикам.— Едем к нам; если понравится, у нас же будете жить,— есть комната. Кисловка,— закричал он зычно,— полтинник!

Нынче Алеша торговался, доказывал извозчикам, что следует ехать за полтинник; наконец, убедил одного старика.

— Ну, конечно,— говорил он.— Вези, вези, дядя. Тульский? Вон и барин приезжий тоже тульский.

Пролетка загромыхала. Потянулась Москва — все эти Садовые, Покровки, Никитские. Петя давно не был в Москве, с ранних детских лет, когда живы были еще родители. И теперь, немного обросший и загорелый за лето, но, как раньше, худой, он с сочувствием смотрел на этот палладиум России — старую, милую и нелепую Москву.

— Так вы теперь в Живопись и Ваяние? — спросил Петя.— Вот какие перемены. А Степана не видите тут? Он ведь здесь, кажется. Писал мне, да очень коротко.

— Степан, пожалуй, у нас уже сидит. Извещен о ва-

шем приезде, придет повидаться. Вы знаете, он чуть не помер на голоде. Тиф, едва выскочил. Дядя, направо! Нет, нет, направо к воротам!

Дядя остановил кобылку у ворот довольно большого дома. Расплатились, стащили вещи и, пройдя двором, поднялись в третий этаж. С лестницы был слышен рояль, его веселый, сбивающийся темп; почему-то Петя вспомнил о Лизавете и улыбнулся.

— Это Лизка жарит,— сказал Алеша, звоня.— Танцы у них, что ли?

Музыка прекратилась, за стеной зашумели, точно сорвалась с мест целая ватага, и через минуту дверь распахнулась.

Первое, что увидел Петя,— рыжеватое, смеющееся лицо Лизаветы, потом две студенческие тужурки, барышень и дальше всех большую стриженую голову — он едва узнал его: это был Степан!

— Прие-ха-ли, приехали,— завопила Лизавета и от воодушевления вскочила на сундук.— Бра-во! Бра-во!

Она захлопала в ладоши, и, как бы по уговору, на рояле заиграли какую-то чепуху, молодой человек загудел трубой, барышни завизжали, поднялся такой гвалт, что Петя, смеясь и немного смущаясь, не знал, что с собою делать, с кем здороваться.

— Сюда! — кричала Лизавета, таща его из передней.— Сюда! Федюка, туш!

Петя очутился в довольно большой комнате, где докипал самовар, и у пианино заседал огромный лысый Федюка. При появлении Лизаветы он удвоил рвение, и туча звуков наполнила комнату.

Студенты заиграли на гребешках, Алеша заблеял, Лизавета схватила Петю за руки, и с хохотом они кружились, как дети. Потом она вдруг вырвалась и, довольно высоко вскидывая ноги в тоненьких чулках, прошлась канканом.

Мачич прекрасный танец танцую я-а,
Учил американец, в нем жизнь моя!

Окружающие прихлопывали в ладоши.

Когда Лизавета устала и, последний раз брыкнув ногами, хлопнулась на диван, Федюка прекратил музыку, встал и, обращаясь к Пете, серьезно произнес:

— Имеете удовольствие присутствовать в частном заседании общества козлорогов, или священного Козла. Веселье, простота, бессребренность — вот принципы нашей

богемы. Имею честь представиться — вице-президент Совета.

Он пожал Пете руку, поклонился и прибавил:

— Дворянин, без определенных занятий.

Петя все еще не мог отделаться от смешанного чувства чего-то веселого, ребяческого — и оглушающе шумного. Вокруг толклись Машеньки, Сонечки, Васи, все были на «ты», хохотали, и даже, когда разговор останавливался на чем-нибудь, нельзя было поручиться, что сейчас эта буйная ватага не сорвется и не произведет кавардака. Вместе с тем Петя чувствовал, что здесь ему очень по себе,— атмосфера квартиры казалась дружественной.

Ему хотелось поговорить со Степаном, но здесь было неудобно. Алеша заметил это и сказал:

— Хотите взглянуть свободную комнату? Можете там умыться... Если понравится, оставайтесь здесь?

Они вышли, Петя кивнул и Степану.

Комната выходила в сад. Сейчас ее заливало уходящее солнце, в ней чувствовалось нежилое, но скромный письменный столик с синей бумагой, комод с зеркалом, простая кровать, уединенность — все как будто говорило о честной и покойной студенческой жизни.

— Да,— сказал сразу Петя,— разумеется, остаюсь.

Алеша ушел, они остались со Степаном. Петя умывался, а Степан ходил взад-вперед по комнате и рассказывал. Он действительно изменился — похудел и осунулся.

— Из моей поездки на голод вышло мало толку. Работали мы изо всех сил, Клавдия тоже. Но столовую нашу закрыли — добрались-таки, что я неблагонадежный. Кроме того, наша помощь вообще была... капля в море.

Он сел, подпер голову руками.

— Нет, так не поможешь никому, это заблужденье.

Глаза его сверкнули.

— Надо что-то более решительное. А это... пустяки.

Он улыбнулся горькой усмешкой.

— Оба мы заболели, едва выкарабкались. Я еще ничего, а в Клавдии болезнь оставила глубокие следы. Ну, видишь, ехали помогать другим, а вышло — с нами же пришлось возиться.

Петя вытирал полотенцем руки, растворил окно. Оттуда тянуло тонкой и печальной осенью. Липы еще держались; но клен золотел, и его большие листья медленно, бесшумно летели вниз.

Слушая Степана, Петя сел на подоконник, и вдруг ему

представилось, что никогда уже он не увидит Ольги Александровны, и все то немногое, что было между ними, стало сном, видением, куда-то пропало, как пропадают эти золотые, солнечные минуты, как ушла вся его предшествующая жизнь. Перевернулась страница, началась новая. Пробьет ее час,— так же заметет ее спокойное, туманное время.

— А где же сейчас Клавдия? — спросил он, очнувшись.

— Мы устроились тут на всю зиму,— сказал Степан.— В Петербурге мне неудобно было оставаться. У меня есть кой-какая работа, а там видно будет. Живем на Плющихе.

Он говорил устало, как бы нехотя. Казалось, думал он о другом.

— Приходи, увидишь. Неказисто,— он улыбнулся,— да это пустое.

— Степан,— спросил Петя,— а что ты вообще думаешь делать? Готовиться куда-нибудь? В университет?

Степан сидел, наклонив стриженую голову, сложив руки на коленях и слегка сгорбившись. Он впал в глубокую задумчивость.

— Что тебе ответить? — сказал он, наконец.— Не знаю.

Он встал и прошелся.

— Да, может быть, в университет, может быть. Дело не в том. Пожалуй, это глупо, и ты посмеешься, Петр: все равно, я скажу. Я должен сделать что-то большое, настоящее. Пока я этого не сделал, я непокоен. Меня что-то гложет.

— Что же именно? — спросил Петя робко.— В каком направлении?

— Я желал бы,— сказал Степан,— чтобы моя жизнь послужила великому делу. Скажем так: народу, правде.

Петя вздохнул.

— Да-а... Это большая задача.

— Поэтому меня мало интересует другое...

Петя не особенно удивился его словам. С детских лет он относился к Степану известным образом, считал его выше себя, и то, что Степан ищет большого, казалось ему естественным.

Степан замолчал. Как будто он смутился даже, что высказал неожиданно то, что должно было принадлежать лишь ему.

Прощаясь, он сказал Пете:

— Конечно, может, я высоко хватил... Во всяком

случае, это между нами. Я тебя давно знаю, так вот...

Петя кивнул. Степан мог быть покоен: он-то, во всяком случае, не поймет его превратно.

Когда он ушел, Петя снова задумался о нем и о себе. Вот какой человек Степан! Что ему суждено? И добьется ли он своего? «Во всяком случае, этому можно только завидовать,— прибавил он про себя, со вздохом.— Конечно, завидовать».

Потом мысли его перешли на Алешу, Лизавету. Петя в темноте улыбнулся. На сердце его стало легко, вольно. «Эти совсем другие, ни чуточки не похожи, но они... славные».

Он не мог сказать, что именно настоящего есть в шумной Лизавете, но оно было. К тому же у него просыпалось неопределенное, но приятное чувство физической симпатии к ней. Чем-то она ему отвечала.

XV

Бывает так, что человек придется, или не придется к дому; Петя именно пришелся.

Несмотря на полную разницу характеров — его и его соседей, Пете нравился их образ жизни. Считалось, что Алеша учится в Училище Живописи, а Лизавета бездельничает. Но это было не совсем верно. Алеша ходил в Училище и малевал, мастерил иногда и дома, но его нельзя было назвать рабочим человеком. Что-то глубоко противоположное было в его натуре. Мог он и писать красками, мог сыграть на рояле, выпить в кавказском кабачке,— но не представишь себе его за трудом упорным, требующим всего человека.

Лизавета же откровенно ничего не делала. Большая, светлотелая, она часами могла валяться на диване, задрав длинные ноги и побалтывая ими,— и читала романы; прическа ее, разумеется, была набок, и крючка два на платье расстегнуто. (Ноги свои она любила, ухаживала за ними, хорошо обувала и, когда была в духе, чесала себе одной из них за ухом.) Потом куда-то бегала, потом у ней толклись Машеньки, Зиночки и Танюши. Алеша садился за пианино, и начинался кавардак. Во всем, что она делала, был нерв, огонь. Жизнь била из нее таким вольным ключом, что Петя даже завидовал.

— Интересно бы посмотреть,— говорил он ей.— Бывает так, что вы, например, устанете, вам надоест, не мил свет?

— Я тогда вою,— отвечала Лизавета.— Ложусь на пол, как собака, и подвываю. Только это редко случается.— Она задумалась, потом прибавила: — Нет, все-таки бывает. Вы не думайте, что я такая беспутная. Я иногда очень думаю и очень страдаю.

По лицу ее прошла тень, точно она вспомнила что-то тяжелое.

— Я — дрянь,— сказала она,— бездельная мерзавка.

— Не советую к ней приближаться,— пробормотал Алеша — он читал в газете о борцах,— когда она в ущербе.

— Ты тоже дрянь, Алешка,— спокойно сказала Лизавета,— просто ты сволочь какая-то. Что я тебе, мешаю? Или пакость какую сделала?

— Это дело другое. А если ты в раже, унять тебя трудно.

И брат был прав. Пете скоро пришлось убедиться в этом. Случилось это утром, когда дома оставались только они вдвоем. Петя готовился к реферату, который должен был читать вечером, Лизавета возилась со шляпой, все было тихо,— вдруг в квартире, этажом выше, началась возня, потом крик — и пронзительный детский вопль. Петя не сразу понял, в чем дело,— вопль продолжался,— он сообразил, и сердце его сразу заколотилось: бьют ребенка.

Не успел он опомниться, как что-то бурей пронеслось по квартире, хлопнула парадная дверь, и ураган помчался дальше.

Задыхаясь, Петя выскочил тоже, и через минуту увидел, как Лизавета молотила кулаками в дверь. Возня стихла, дверь приотворилась. Выглянул человек в жилете, разгоряченный борьбой, и был сразу оглушен ее криком.

— Не сметь! Не сметь, слышите вы, да как вы... негодяй!

Петя успел схватить ее сзади, как раз в тот момент, когда она размахнулась дать по физиономии.

Едва переводя дух, бледный, Петя крикнул ошеломленному человеку:

— Это безобразие, гадость!

— Пустите меня,— кричала Лизавета,— я не маленькая! Я сама знаю, что с ним надо сделать.

— Однако, по какому праву... в чужую квартиру?

Отец семейства был смущен, но начинал приходить в себя и скоро должен был рассердиться.

— По такому! Вас надо излупить самого, как сидорову козу! — крикнула Лизавета.

Дверь захлопнулась: молча, бледные, они вернулись.

— Негодяй,— бормотала Лизавета,— такой мерзавец, такой мерзавец! И зачем вы меня удерживали? Дала б ему в морду, помнил бы.

Она сидела на диване, откинув назад голову. Петя в волнении ходил взад и вперед и отчасти даже был согласен с ней: действительно, не стоило удерживать.

Лизавета сидела недвижно. Взглянув на нее через минуту, он вдруг увидел, что глаза у ней закрыты и голова беспомощно свесилась набок.

Петя испугался, бросился за водой. Потом он узнал, что нередко это с ней бывало: нервная приостановка деятельности сердца.

Через минуту она глубоко, мучительно вздохнула, будто разорвала путы, связывающие грудь. Но она была слаба, и ему пришлось приподнять, слегка передвинуть ее по дивану, чтобы удобнее легла голова. Полуобняв ее, Петя вновь почувствовал прилив смутной, внеразумной симпатии к этому существу, несколько минут назад столь буйному, а теперь ослабевшему, как ребенок.

Верно, он глядел на нее с лаской; открыв глаза, Лизавета прищурилась, посмотрела на него внимательно, потом вдруг засмеялась, покраснела. Личико ее стало еще нежней, тоньше, и в блеске глаз Петя прочел что-то очень славное и радостное; что именно, он не мог еще сказать, но нечто было, несомненно.

— Ну, лежите, смирно,— сказал он, почему-то тоже улыбаясь и слегка конфузливо.— А то опять что-нибудь...

Лизавета глубоко вздохнула, приподнялась на локте и спустила вниз ноги; как всегда, платье ее высоко поднялось, и из волос выскочила гребенка.

— Теперь прошло,— сказала она, потянулась и весело зевнула, как большая, мягкая зверюга.— Не говорите только Алешке, что я скандалила. А то будет смеяться. Этот Алешка...— она задумалась,— такое брехло!

Она села к роялю и заиграла. Туше, как и вся она, было мягкое, но ни одной пьесы не могла она сыграть, не сбиваясь с такта: что-то ей мешало.

Петя ушел к себе, хотел продолжать работу, но не мог; слушал Лизавету, слушал глухой шум Москвы, глядел на блиставшие в солнце листья клена, на двух каменных львов на воротах барского особняка, и ему казалось, что эта новая жизнь, новые люди, Лизавета — отрывают его от прежнего: он становится уже немного другим. Он вздохнул.

Хорошо это или нет? Он вспомнил Петербург и подумал, что, пожалуй, и хорошо. Здесь прочнее и проще ему жить. Прежние мысли — о бесцельности и бессмысленности жизни, приходили реже, и не хотелось на них останавливаться. Ответов никаких он не знал, но росло в нем какое-то здоровое, радостное чувство; мысль о самоубийстве вызывала уже смутное, но несомненное неодобрение.

В том роде занятий, которые Петя выбрал — он поступил на юридический факультет,— мелькало тоже что-то иное; он думал теперь об обществе, народе и своей роли в жизни.

Будущее представлялось ему неясно: но отчасти то, что было пережито весной, отчасти Степан, настроение времени — все толкало в одну сторону. Когда он мечтал наедине, как сейчас, ему казалось, что он будет знаменитым адвокатом, защитником слабых и угнетенных. Например, будет выступать в процессах рабочих против капиталистов или защищать политических. И такое демократическое настроение было в нем, как ему казалось, довольно прочным: Петя решил отныне ездить всегда в третьем классе и возможно реже надевать воротнички.

Однако, их приходилось надеть именно сегодня, по случаю реферата. Предстоящее чтение немного волновало, взбадривало его. И время до пяти часов шло медленно.

Он обедал молчаливо, потом пошел переодеваться; надел чистую тужурку, фуражку и, захватив книги, вышел.

Наступал вечер. По Никитской тащилась вверх конка, краснела на закате Кремлевская башня, у университета зажигали золотые фонарики. Студенческое племя — давняя примечательность и гордость Москвы — брело то в столовую, то на лекции, синея по панелям фуражками. В консерваторию торопились будущие Рахманиновы, с гениальными волосами, скрипками, нотами. Бородачи, нагруженные статистикой, степенно следовали в редакцию. Было сухо, но они шли в галошах.

Петя вошел в университет с Никитской, и через несколько минут сидел уже в аудитории, слегка потирая холодеющие от волнения руки.

Набралось человек сорок. Прибавили электрического света, и около шести вошел руководитель, молодой, толстый адвокат, довольный тем, что вот и он вроде профессора.

— История римского сената? — спросил он покровительственно.— Ну-с, пожалуйста: слушаем.— Адвокат чуть

не прибавил: «ваши гости»,— но подумал, что это будет чересчур. Петя готовился тщательно и натащил из разных книжек груду сведений. Но избрал он путь странный: стал описывать власть, полномочия сената чуть не в каждые пятьдесят лет, на протяжении нескольких столетий.

Получилось убийственно. Говорил он плохо, повторялся, общее пропадало в мелочах. Заметив, что всем непроходимо скучно, он сконфузился, покраснел и едва кончил, при всеобщем унынии.

Адвокат чуть не заснул. Он оправил фрак и, когда Петя кончил, лениво слез с кафедры, подошел к нему, добродушно шепнул: «Нельзя так длинно, батенька. Ведь, это, знаете...» Он покачал головой, принял официальный вид и, расхаживая взад-вперед на толстых ногах, стал разбирать прослушанное. Он отдавал должное Петиному трудолюбию, обстоятельности, но порицал план, считая его совершенно неудачным.

Петя не возражал. Ему было отчасти стыдно, отчасти почему-то смешно и весело. Он вдруг вспомнил Лизавету, представил себе, что она сделала бы, если б попала на это собрание?

Когда он возвращался домой, светила луна, был теплый, славный сентябрьский вечер. Петя знал, что дома застанет чай, Лизавету, Алешу, кого-нибудь из козлорогов,— и будет весело, шумно. Ему представилось, что, если б не Лизавета, возвращаться было бы гораздо скучнее и неприятнее. Потом он вспомнил, как сегодня полуобнял, передвинул ее — что-то словно обожгло его.

Затем появилась Ольга Александровна. О ней он думал все лето, у дедушки, покачиваясь на качелях, напевая стихи, Бог знает откуда забредшие в голову:

Голубка моя,
Умчимся в края.

Теперь же ее образ, как всегда, легкий, прекрасный, как всегда, туманно-отдаленный, проплыл бесшумно и горестно. «Так в Елисейских полях, под важные звуки глюковских мелодий беспечально и безрадостно проходят светлые тени».

Петя взглянул вверх, в небо — в глубину и бездонность, казавшуюся ему божественным судьей земных дел, и первое, что он увидел, была голубая Вега. Звезда, которой чище и невиннее нет в небе, как нет равного первой любви.

XVI

Как-то само выходило, что Петя все чаще бывал с Лизаветой, и все больше. Собирались ли в театр, на выставку, или в клуб на лекцию, оказывалось, что Петино место рядом с Лизаветой, и что это как раз и хорошо. Из своего малого бюджета (ей присылала тетка) Лизавета ухитрялась выкраивать довольно удивительные шляпы, платья — и была эффектна; глаз опытный заметил бы легкомыслие, недолговечность этих туалетов, но молодость и живость все скрашивала. Пете нравилось ходить вместе с этой веселой и нарядной девушкой. Иногда она его смущала, но не очень. Например, раз, когда они шли по Арбату, Лизавета встретила свою приятельницу Зину. Издали они помчались друг к другу, кинулись на шею и посреди тротуара стали на колени — к великому удовольствию мальчишек и извозчиков. Они весело целовались, и это было так смешно, что Петя готов был сам с ними стать на коленки.

Чудачили они и в клубе, где иногда читались литературные лекции. Это было бурное время в искусстве. Разумеется, они примкнули к молодому. Молодая партия пользовалась лекциями для сражений, и публика разделялась на лагери. Благородные зубные врачи и статистики призывали к заветам, Некрасову, шестидесятым годам. Юноши в красных галстуках — к Уайльду. Публика свистала, это выводило из себя Лизавету, и она отколачивала себе ладоши. Черноглазая Зина тоже хлопала, хлопал и Петя, взволнованно улыбаясь, а солидные дамы вокруг пожимали плечами и выражали негодование. Впрочем, с Лизаветой шутки были плохи. Она оборачивала свое разгоряченное лицо, розовевшее гневом, и громко говорила:

— На дур не обращаю внимания!

— Браво,— хлопал Петя,— браво!

Разумеется, дамы ненавидели их. Когда Лизавета с Зиной влетали после чтения в ресторанный зал, всегда они вызывали неблагосклонное шушуканье дам и сочувствие в мужчинах. Усиливалось это тем, что в городе знали об обществе козлорогов. Федюка бывал в клубе тоже и, как человек толстый и легкомысленный, не внушал доверия; а его считали гроссмейстером ордена,— как Лизавету с Зиной — двумя богородицами. Насчет же общества рассказывали самые смешные и невероятные вещи, но ни Лизавета, ни Зина, ни Федюка не смущались.

Федюка гордо носил красный жилет, проживал остатки

состояния, говорил «ты» официантам — по стародворянской привычке, пил абсент в чистом виде и пел цыганские романсы, когда бывал в духе.

— Мне, собственно, до декадентов дела нет,— говорил он Лизавете,— я хороших людей люблю. Петр Ильич, водчонки!

— Ну, Уайльд, все там... как следует... Ладно. А сегодня один возражает — а у самого нос ятаганом, весь в прыщах, а туда же: красота! искусство!

— Вы глупости говорите, глупости! Слышите вы? — кричала на него Лизавета.— Какой же вы козлорог после этого? У вас жилет красный из либерализма, знаю я вас!

— Ну уж, это милости просим! Покорно благодарю.

Федюка обозлился, что его заподозрили в афишировании либерализма, а насчет декадентов быстро забил отбой: Бог с ними, в сущности, ему все равно.

Но Лизавета не унималась. Она тормошила теперь Петю.

— Ну докажите же ему... новое искусство... ну, я не умею выражаться... Бальмонт... например, плох?

Федюка смутился: мало он читал на своем веку.

— Да, Бальмонт... Ну, это разумеется.

Случалось, что Федюка предлагал прокатиться к Яру, в Стрельну. Лизавета редко это одобряла, но иногда ездила. Бывало весело, но разрушительно для Петина кошелька.

Из таких вечеров один отразился на всей его жизни.

Было это тоже после лекции в клубе. Зина позвала их к себе. Федюка заикнулся было о Московском, но Зина сказала, что у нее есть абсент и ликеры,— и Федюка стих.

У подъезда на них набросились лихачи. Федюка отверг их.

— На запаленной лошади не поеду,— сказал он.— Я не дурак.

Наняли просто хороших извозчиков и покатили. Только что выпал снег, пахло, как сказал поэт, разрезанным арбузом. Петя сидел с Лизаветой рядом, в санках, и у него было такое чувство, что надо хохотать, что-то сделать страшно глупое и страшно милое, что возможно только сейчас, и никогда больше. Лизавета вся играла и жила.

— Хотите, я выпрыгну? — сказала она.— Думаете, трудно? Выпрыгну, и обгоню лошадь?

Петя хохотал, держал ее за руку и знал, что если подразнить, подзадорить эту сумасбродную голову,— то, ко-

нечно, она выскочит — и не только с извозчика, прыгнет и с Ивана Великого.

— Нет,— сказал он тихо,— не прыгайте.

Извозчики остановились у большого углового дома. По нелепой, темной лестнице взбежали все наверх, в четвертый этаж. Зина отворила дверь ключом.

— Раздевайтесь,— сказала она,— но тихо. Жильцов не будить.

Зина занимала довольно большую квартиру; в разных комнатах жили у нее студенты, и по временам у нее случался с кем-нибудь из жильцов роман.

Сейчас Зинино сердце начинало пылать к одному студентику,— и она *была весела.*

Ее собственная комната была большая, с фонарем на улицу. Сюда она провела гостей и шепнула:

— Минутку. Ликер, все притащу. Федюка, помогайте.

Федюка, поколыхивая толстым животом в красном жилете, на цыпочках вышел. Петя остался один с Лизаветой. В стеклянном фонаре было полусветло: за облаком бежала луна; ее дымный, зеленоватый свет отблескивал в зрачках Лизаветы, делал таинственным и милым этот обыкновенный фонарь.

— Ну,— сказала Лизавета с тихим смехом, слегка глухим голосом, и взяла его за руку.

Петя тоже улыбнулся. Что-то туманное и горячее волновало его.

— Ничего. А вы?

— И я ничего.

И оба захохотали и стали смотреть на переулок, весь потонувший в снегу, старый, седой. Голова Лизаветы была совсем рядом с его головой, и он вдохнул мягкую теплоту ее тела.

В это время вошла Зина. Из большой комнаты их не было видно; Зина засмеялась.

— Если вы целуетесь,— сказала она,— ничего, только чтобы Федюка не подсмотрел.

— Дура,— закричала Лизавета,— какая дура!

И, хохоча, она выскочила, повисла у Зины на шее, заболтала в воздухе ногами и так толкнула ее, что обе рухнули на парадную Зинину кровать. Лизавета щекотала ее, кусала и, кажется, душила. Зина задыхалась, тихо визжала, старалась столкнуть с себя Лизавету. Но Лизавета разошлась.

— А-а, дразнить меня, дразнить,— вот тебе! На, еще, еще!

И когда, наконец, она соскочила с кровати, Зина едва дышала, а Лизавета подпрыгнула, закрутилась, и в ее блеснувших глазах Петя прочел что-то буйно-вакхическое, точно, правда, в ней была менада.

— Фу, какая мерзавка,— говорила Зина, подымаясь и оправляя волосы.— Бог знает что устраивает.

Но скоро сама Зина поступила так же. С Федюки сняли сюртук, посадили его на ковер, голову обвязали салфеткой, что должно было значить — венец. Потом Зина притащила волка с красной каймой — старенький свой коврик — и завернула в него Федюку. В руку вместе тирса дали зонт,— получился Бахус. За все эти мучительства позволили распоряжаться ликерами, что дало Федюке много радости. Зина же с Лизаветой изображали безумиц и якобы с тимпанами скакали вокруг. Потом решили обратить в Диониса Петю и растерзать его. Петя хохотал так, как давно ему не приходилось. Здесь, в этой удивительной, полутемной комнате, среди чудаковатых людей, ему представлялось все славным и легким, таким легким, будто вернулось его детство, когда только человек и чувствует себя таким.

Соскочили тяжелые мысли, и казалось,— этот смех, эта радость здоровья, молодости и есть самое настоящее.

И Петя пил, прыгал через Бахуса, выделывал всякие пустые и невинные штуки.

Так возились они часов до трех. Наконец, Зина стала зевать, да и Лизавета приустала. Один Федюка не трогался с места: его пришлось раскачивать.

— Я Бахус,— говорил он.— Захочу, так вот и не уйду.

— Уйдешь, уйдешь, голубчик,— сказала Зина покойно,— выкурим.

Федюка был недоволен, что выпроваживают, но повиновался. Поехал он в клуб.

— Ну, а вы ее провожаете? — сказала Зина Пете, подмигнув.— Желаю успеха!

Петя с Лизаветой вышли на улицу молча, и молча шли. Переулок был еще тише. Луна стала ярче, покойнее. В сквере около церкви деревья стояли под безмолвным убором серебра, и в молчании ночи, в светлых безлюдных улицах было что-то волшебное. Точно эта ночь существует однажды, и однажды есть Лизавета, мягко шагающая рядом по хрустящему снегу; однажды есть жизнь, еще такая молодая и полная света. Петя чувствовал, что его

душа перегружена чем-то: в молчании Лизаветы, ее слегка даже робком шаге он улавливал то же.

Так миновали они старинные Молчановки, Собачью площадку, бульвар. Вот и их дом. У ворот сонный сторож, тихий двор, окна их квартиры, позлащенные луной. По лестнице они всходят медленно, будто не хочется. У двери Лизавета полуоборачивается. И вдруг, не понимая что делает, Петя приближается и молча, страстно, радостно целует ее. Лизавета обнимает его — будто давно ждала,— бледнеет и слабеет от волнения.

XVII

На другой день Петя проснулся довольно поздно. Первое, что он сделал,— засмеялся чистым, почти детским смехом. Потом вскочил с постели, подбежал к окну и отдернул штору: сад почти весь занесло снегом. Снег висел белыми, тихими хлопьями на деревьях, и львы у ворот барского дома были наполовину запушены им. Петя понял, что это настоящая, отличная зима, что он молод, счастлив, и ему захотелось куда-то побежать, крикнуть об этом на весь свет. Но в квартире было тихо, лишь печь потрескивала: та спокойная и радостная тишина, что говорит о бодрости, работе, жизни.

Петя быстро одевался. В голове его клубились впечатления, чувства, и как-то он не мог даже разобраться в них. Вечер, смешной Федюка, возвращение, луна, поцелуи... Мог ли он подумать об этом за неделю? Все удивительно, все чудесно. На минуту вспомнилось ему лето, Ольга Александровна, и мгновенный озноб прошел по нему. Что же, измена? Ведь он любил же ее? Мечтал, томился? Но все это мелькнуло, закрутилось и утонуло в водовороте иных чувств, здоровых, светлых, прорвавшихся в нем бурей. Может быть, да — измена. Пусть. Он знал только, что та же жизнь, что ставила ему западни, заставляла падать, ошибаться, страдать,— теперь дохнула океанийским ветром. Хорошо или не хорошо он поступает — так надо. И если надо, то значит — хорошо.

Петя твердо и весело вышел в столовую. Да, вчера он целовал Лизавету, и он не отрекается, и впредь хочет и будет ее целовать. Он взрослый, влюбленный человек, а почему именно влюблен, он не знает: это его не касается.

В столовой никого не было; Алеша, очевидно, в своей академии, Лизавета куда-нибудь сбежала.

Прислуга, полька, жеманная и глуповатая, подала Пете

кофе. Вид у нее был невинно-насмешливый, точно она хотела сказать: «Ну, конечно же, я вчера все слыхала, я же такая скромная, я не позволю же себя целовать мужчине». «Черт с тобой,— подумал Петя,— все равно». Он быстро пил кофе, хотел встать, но в это время позвонили.

Мальвина бросилась отворять. Через минуту, с тем же видом Девы Марии, сказала:

— Пани Зинаида.

Зина вошла полузанесенная снегом, розовая, блестя глазами.

— Лизы нет? — сказала она, подавая Пете руку, вся пронизанная смехом.

— Нет,— ответил Петя.— Я ее сегодня еще не видел.

— Не видел, не видел...— повторила Зина, как будто думала о другом.— Да. Можно у вас сесть на минутку?

— Пожалуйста. Кофе не хотите ль?

Петя стал что-то суетиться, а Зина сидела, смотрела на него и вдруг расхохоталась.

— Какой смешной, ах какой смешной! — Она покачивалась от смеху из стороны в сторону и приговаривала: «Какой смешной!»

— Чего вы это? — спросил Петя, смутился было, потом принялся сам хохотать.

— Хорошо на свете жить, правда? — вскрикнула Зина.— Я сейчас бежала по Кисловке, у меня ноги горели,— кажется, всю Москву пробежишь!

Пете казалась эта Зина очень милой — она напоминала ему вчерашнее, была приятельницей Лизаветы, и с ней у него связывалось что-то радостное.

— Вы думаете, хорошо жить? — говорил он, наливая себе, в волнении, еще стакан кофе.— Да, я думаю то же.

— Ну какой милый! — закричала Зина, вскочила и хлопнула по его плечу.— Ладно, некогда с вами разговаривать, надо бежать. Скажите Лизе, что была.

И в минуту Зина выскочила из комнаты. Петя хотел сказать ей что-то вдогонку, но было поздно, да и все равно: то, что хотелось крикнуть, трудно было выразить словами.

Петя понимал это и был даже рад, что он один. Как всегда, когда бывал взволнован, он должен был ходить. И чем больше вокруг незнакомого народа, тем лучше.

Петя вышел на Никитскую, к Тверскому бульвару. Было еще рано; бульвар имел тот чистый вид, как обычно по утрам. Снег чуть похрустывал, тихи и задумчивы были

деревья, хранившие под снежной одеждой свою жизнь, столь же непонятно-великую, как жизнь неба, ветров, земли. Пете казалось, что сейчас он — часть чудесной симфонии, светлой и мажорной. Все вокруг идут, тысячи людей спешат, едут, чувствуют, мыслят — все в ритме одного пульса, и этот пульс — Жизнь.

Пете приятно было отдаться спокойной силе, он шел, не зная сам, куда именно. Точно в полусне проходил он по улицам — Тверская, Газетный, Кузнецкий, и он одновременно дышал сотнями грудей, ощущал сразу все мысли этих существ, и в ответ хотелось ему опять крикнуть одно слово: «любовь»,— чтобы все обернулись, улыбнулись и продолжали жизненный путь в свете этого слова.

В таком настроении Петя решил, что ему надо зайти в кафе Трамбле, на углу Кузнецкого и Петровки.

Видимо, ему нравилось, что можно сидеть у зеркального окна и наблюдать всех, смотреть на весело кипящую людьми улицу — и мечтать.

Он так и сделал. Ему не мешали. Два-три завсегдатая читали газеты, и перед Петей пробегали дамы, шли молодые люди, катили рысаки, плелись извозчики, изредка бурчал автомобиль.

Вдруг в этой сутолке метнулась ему в глаза на другой стороне фигура: на своих длинных ножках, заалевшая от мороза, с выбившейся прядью волос бежала, разумеется, Лизавета. Петя вскочил, хотел постучать ей, но сконфузился, сел: понял, что все равно не услышит. Но Лизавета остановилась, взглянула, вся покраснела и, легко подобрав юбку, бегом кинулась в кафе, к некоторому смущению дам и порядочных людей.

Через минуту она была уже с ним, и завсегдатаи подняли от газет головы — их нельзя было не поднять: слишком много влилось света в темно-коричневую комнату.

— Здесь? — спросила она, вздрагивая ноздрями.— Зачем здесь? Что делаете?

Лизавета имела такой вид, будто сейчас сорвется с места и улетит, как светлая комета. Некогда ей было, куда-то надо спешить, мчаться — не ждет жизнь.

— Тут хорошо,— сказал Петя.— Я не знаю... да, вот здесь...

Он чувствовал, что говорит что-то смешное, нелепое, но по ее глазам видел, что это хорошо, что она меньше была б рада, если бы он сказал умно,— и в конце концов он совсем сбился, замолчал и покраснел.

— Кофе,— сказала она неожиданно,— чашечку.

И, делая вид, что ей интересно это кофе, и как будто она его пьет, Лизавета блестела глазами и говорила о разных пустяках, о магазинах, портнихах. Петя рассказал о Зине, но оба, перекидываясь лишь им понятными взглядами, все время были в электрическом состоянии: между ними вчерашняя, светлая тайна, сиявшая во всех мелочах слов.

И, как немногие дни жизни,— этот день обратился для них в свет, в счастье: возвращенье домой под руку, и обед, и разговоры с Алешей, сразу почуявшим, в чем дело, и вся суетня гостей, толокшихся, как нарочно, массой, и вечер фельдшериц в Дворянском собрании, которым они закончили день. Нынче был особенно вкусен воздух, особенно весела Москва, особенно хороша полоска багрянца на закате; необычно хрустел под ногой снег, прозрачней зал Собрания, свет люстр чище. Сотни барышень, танцевавших со скромными студентами, представлялись милыми, полными любви. Оркестр гремел вальс и трогал сердце.

Метелица, сыпавшая сверху, снизу, с боков, когда выходили из Собрания, мчавшаяся веселым свистом по бульварам и улицам,— тоже была замечательной, навсегда врезалась в сердце. Никогда больше не пахло так разрезанным арбузом. Вряд ли найдется и извозчик, что мчал бы так легко, сквозь снег и ветер, Петю с Лизаветой в их родные края.

Это бывает лишь раз. Те, кто это знает, остановятся на минуту, взглянут, улыбнутся и пойдут дальше. Так всегда было, так и будет.

XVIII

Степан жил в переулке у Девичьего поля. Собственно, у него была и не квартира, а две комнаты с кухней.

Вся эта захолустная сторона Москвы, с маленькими домиками, деревянными заборами, садами, напоминала провинцию. Но Степану отчасти это даже нравилось: проще.

Среди своих мечтаний, страстных размышлений о том, что делать, Степан не мог, конечно, не интересоваться жизнью личной, семейной — она его окружала со всех сторон.

Степан понимал, что увлечение Клавдией было неглубоко, больше зависело от его темперамента: с жутким

чувством он замечал, что другие женщины ему не безразличны. Одна же из них, Лизавета, все сильнее овладевала его сердцем. «Да, но это невозможно,— говорил он себе.— Клавдия моя жена». Этими мыслями, фразами нельзя было, конечно, изменить своей натуры. Чувства его уходили лишь вглубь и там кипели. «Пустое,— решил он,— Клавдия хорошая женщина; я должен благодарить судьбу, что она послала мне именно ее. Не надо распускаться. Глупости».

И он усиленней работал, давал уроки, вел партийные дела.

Понятно, что с Петей и всем их домом Степан не мог часто видеться, прийтись туда впору.

Он свел Клавдию к Лизавете, и они попали как раз на нетолченую трубу народа. Лизавета была занята только Петей, Алеша пел цыганские романсы, спорил с Федюкой о борцах. Клавдию смущала эта компания, понимавшая друг друга с полуслова, хохотавшая, принесшая сюда отголоски веселой и вольной жизни. Здесь завязывались, протекали и развязывались романы, беззаботные и необязывающие,— и Клавдии казалось, что она тут не у места.

Степан слушал разговоры, иногда говорил и сам — он нисколько не стеснялся,— но его немного удивляло это общество, и всерьез он не мог к нему относиться.

— Шумно у них очень,— сказал Степан, садясь с Клавдией на обратном пути в конку.

— Зато весело,— ответила она тихо.

— Может быть.

Клавдия взглянула на него боковым, косящим взглядом и сказала:

— Почему же ты туда редко ходишь?

— Я говорю: может быть, весело, но почему ты думаешь, что весело именно мне?

— Отчего же тебе и невесело? — сказала Клавдия несколько сдавленным голосом.— Разве ты не такой, как другие? Наконец, там столько красивых женщин...

В глазах Клавдии что-то блеснуло, и в этих новых, чужих и тяжелых звуках ее голоса, как предостережение, зазвучала такая ненависть — к еще неизвестному, но возможному,— что у Степана похолодели руки.

— Зачем говорить так...— Степан не нашелся, что прибавить. Но он понял, что этот разговор, такой мимолетный, но *первый* их разговор — имеет свою силу и глубокое, мучительное значение.

Клавдия не говорила больше об этом. На другой день она встала в обычном настроении, но незаметно для нее самой вчерашний разговор вспомнился с оттенком укола.

Клавдия отправилась на курсы в Политехнический музей, но какая-то заноза была в ней, и она слушала профессоров с тем унылым невниманием, когда хочется сказать: «Ну да, это все очень хорошо, но, ведь, есть...» — и мысль тотчас переходит на свое. «Конечно, он может увлекаться многим. Да и Лизавета интересна. Глупо это отрицать. Но ведь он меня любит, он мой муж...» И, мгновенно вспоминая Степана, его крепкую, суровую фигуру, Клавдия испытывала такой прилив нежности, умиления и такой ужас перед тем, что было бы, если б... что в глазах у ней шли зеленые круги, и на минуту она теряла сознание. Потом переводила дух и про себя бормотала: «Фу, идиотка, сумасшедшая».

И лишь мороз, снег на улице отрезвил ее совсем.

Несколько дней у нее держалось возбужденное, раздраженно-нервное состояние. Она крепилась, но иногда хотелось ни с того ни с сего заплакать, сказать что-нибудь резкое Степану; Клавдия не понимала, что это такое с ней.

Наконец, однажды, вернувшись с вечерних лекций, она почувствовала себя особенно усталой и села в унынии на постель. Из соседней комнаты падал на пол свет, за окном в саду свистела метель. Степана не было дома. Клавдии стало немного жутко. Постукивала крыша их флигеля, где-то далеко звонили — точно набат; ей представилось, что Степана больше нет, он не вернется никогда, а она никогда не выйдет из этой комнатки. Ноги ее тяжелели, замерла мысль, и, казалось, она неспособна двинуться. Потом Клавдия испытала еще чувство, для нее новое и удивительное: слегка закружилась голова, стало тошно, и вместе с тем она поняла, что теперь она какая-то другая, не прежняя Клавдия. Так продолжалось минуту. Потом она заплакала и повалилась на постель. Слезы ее были радостные — она поняла, что теперь ей предстоит быть матерью. Она дотронулась рукой до живота, с ощущением счастья и тревоги. Так вот он — тот, о ком думала она столько, кого не может и сейчас себе представить, кто начал в ней свою слабую, таинственную жизнь! Сердце Клавдии отошло, как-то отогрелось; все ее малые огорчения показались ничтожными. Он, он! Столп, средоточие ее жизни. Какой он будет? Она старалась это пред-

ставить, и вдруг среди сладостно-тихих чувств сердце ее снова защемило. Она не могла понять, что это такое, но совершенно ясно, все сильней ощутила она безумный, леденящий страх. «Боже мой, Боже мой,— бормотала она слова детства,— Пречистая Твоя Матерь, спаси, заступи». Но видение чего-то грозного, выившего во тьме метели, стоявшего посреди ее жизненного пути, не отступало от глаз. Минутами ей казалось, что сейчас, мгновенно, все это обрушится ей на голову; потом, через силу, отгоняла она от себя мрачные мысли — и, наконец, заплакала вновь, теперь иными слезами, над самой собой. Ей стало горько, что она так ослабла, что испортила себе милую минуту — давно жданную — суеверными страхами. «Ведь, он чувствует,— думала она про «него»,— ему вредно, нехорошо». И тотчас худенькая Клавдия, с твердостью, на которую способны, вероятно, только матери, решила, что отныне она не может ничего сама переживать, для себя: все должно быть направлено к «нему».

Клавдия несколько успокоилась уже, когда в передней позвонили. Она вздохнула, ей стало легче: «Степан»,— подумала она, и пошла отворять.

Но, повернув ключ и приоткрыв дверь, сразу почувствовала, что это не Степан, хотя на лестнице было полутемно.

— Дома Степан Николаевич? — спросил молодой, свежий голос. Он показался Клавдии знакомым.

— Нет. Кто это?

— Жаль. Ну ладно, я на минуту зайду.

— Ах, это вы,— сказала Клавдия: она сейчас только разглядела Алешу.— Заходите, конечно. Если нужно передать что-нибудь, я сделаю.

Алеша вошел, снял башлык, нелепую шапку с наушниками, и на Клавдию блеснули его глаза.

— Вот вы где живете,— сказал он.— Плющихи всякие, Грибоедовские, Ружейные... так. Сторона тихая. Погреться бы. На конке тащился, с Никитской.

В звуках голоса Алеши, его движениях, взгляде было что-то круглое, открытое, как его голубые глаза. Клавдии стало веселей.

— Степана-то нет, а мне ему как раз надо кое-что сказать.

— Он на уроке, часов в десять вернется.

— Ждать не могу. Положим, дело пустое. Передайте ему, значит, следующее: есть у него приятель, Петр Ильич

Лапин. Так вот этот Петр Ильич женится. Да и вы его знаете, ведь?

Клавдия засмеялась.

— Петю-то? Слава Богу! Петя женится? На ком же?

— Вот и угадайте. На Лизке, на сестре моей.

— А-а, ну что же, отлично...

— Да, и Степана шафером зовут, а я должен скакать за тридевять земель, в имение за документами Лизкиными. Понимаете, ни черта у них не готово, надо говеть, с попами столковываться, метрики разыскивать, в университете хлопотать, тьма-тьмущая ерунды...

Алеша обогрелся, сидел, и жаловался на хлопоты. Но жаловался так, что не вызывал к себе сожаления. Глядя на него, казалось, что он отлично все устроит, как бы шутя, никаких огорчений от этого не будет ни ему, ни другим — и вообще его вид говорил, что все в жизни удивительно просто.

Когда он ушел, она подумала: «Какой славный, ясный человек». Ей решительно стало легче; она спокойно принялась ставить самовар, ожидая Степана, ее мысли перешли теперь на Петю. «Петр Ильич Лапин,— вспомнила она и улыбнулась.— Что ж, отчасти верно. Одной ступенью старше». Немного дальше от студентика Пети, от гимназиста Пети, каким она его знала.

И Клавдия стала перебирать в памяти прошлый год, когда еще сама не была замужем, когда к ним ходили Петя и Степан. Ей показалось — сколько уж прошло времени, как изменилось все! Жизнь передвинула и ее вперед: скоро она — мать, сколько-то ближе к зрелости, а там к старости. «Что же,— сказала она себе,— так надо, надо жить, все испытать, надо ждать... Далеко еще».

XIX

«И зачем им венчаться,— думал Алеша, подъезжая к вокзалу.— Ну любят, ну и живут вместе... Нет, метрику Лизкину доставай, тетушку успокаивай...» — Алеша был явно недоволен и зевал. Правда, предстояла ночь в вагоне, тридцать верст на лошадях,— и тетушку видеть всего день. Жельня место славное, и тетушка мила, но все же ему было лень.

Он утешился тем, что выпил водки, и пошел в вагон спать.

По платформе надувало снег. На путях блестели огни,

поезд казался одиноким и заброшенным. Алеша рассчитался с носильщиком и стал устраиваться на ночь.

— Позвольте,— говорил в соседнем отделении старческий голос,— я еду из Петербурга, с билетом первого класса. Сажусь в этот поезд, и что же вижу? Первого класса вовсе нет. Что прикажете делать с билетом? Ведь, надо бы скандал устроить, да уж такой у меня характер спокойный. Надо бы скандал устроить.

Кондуктор ответил, что рад бы, да первого класса нет, что поделать. Генерал опять начал жаловаться. Когда кондуктор, наконец, ушел, он встал и, прохаживаясь, забрел в отделение Алеши.

— Представьте,— начал он,— еду из Петербурга с билетом первого класса.

— Знаю,— сказал Алеша.— Неприятно. Значит, судьба, ваше превосходительство.

Генерал поправил очки и сказал:

— Вы полагаете, судьба? То, что я должен ехать во втором классе,— судьба?

Алеше было все равно, судьба это или не судьба. Но ему не хотелось спать, и было скучно. «Ладно,— подумал он,— разведу ему турусы на колесах, пусть разбирается». Он принял глубокомысленный вид и начал так:

— Согласитесь, генерал, что в жизни самое важное являлось вам так же неожиданно, без участия вашей воли, как этот ничтожный факт. Почему-то вы стали военным, полюбили, женились, родили таких, а не иных детей, и если вы человек здоровый, от природы веселый и крепкий, вы так и живете; что будет, того не миновать, а я сам по себе.

Генерал поправил лампасы и сел на лавочку, напротив него.

— Насколько я понимаю, молодой человек, вы фаталист. Что же касается детей, у меня их, к сожалению, нет.

«Ну, нет, так и не надо,— сказал про себя Алеша.— Мне-то что?»

Генерал оказался не без идей и продолжал разговор.

— Раз вы фаталист, значит, вы отрицаете, так сказать, борьбу человека с препятствиями. А это ведет к бездеятельности.

Поезд тронулся; Алеша закрыл глаза и почувствовал, что все-таки хорошо бы заснуть.

— В наше время,— говорил генерал,— все признавали

долг. Ради долга мы подставляли грудь под пули,— теперь молодежь утверждает, что надо жить как хочется. Отсюда распущенность и фантасмагории, извините меня, фатализм и прочее.

Он рассказывал еще эпизоды из русско-турецкой войны, в подтверждение того, что раньше подчинялись идее долга. Говорил он длинно и утомительно. Сначала Алеша подавал реплики, потом его стало клонить ко сну. «Идея долга,— вертелось у него в голове.— Разве есть долг? Не понимаю что-то. А судьба, правда, есть. Например, крушение или что-нибудь еще там. Ну, все равно». И под мерный говор генерала Алеша, наконец, заснул.

Когда он проснулся, было светло. В окна лепила метель. Генерала не было, и весь он, весь вчерашний разговор показался сном. Алеша встал, пошел умываться. До его станции было еще часа два.

Он приободрился — на него нашло то ровное, спокойно-веселое настроение, какое бывало обыкновенно,— он стал думать о предстоящей езде. Наверно, ему вышлют доху. Он закутается — и продремлет всю дорогу до Жельни, в сумерках ввалится к тетушке, будет греться, есть за чаем горячие баранки с маслом. Ладно! Пожалуй, и неплохо, что поехал.

Поезд, конечно, опоздал, и, когда Алеша усаживался в сани, было около двух. Метель не унялась, напротив — разыгралась. Туманно маячила в ней водокачка, а почты, трактиров — всегдашнего антуража русской станции — совсем не было видно. Основательный человек Федот, в башлыке и рукавицах, полез на козлы.

— Дорога тяжкая,— сказал он, трогая гусевого,— забивает.

Гусевой повел ушами, толкнулся в сторону и резво влег в постромки; серая кобыла в корню тоже взяла — сани покатили.

Вернее сказать, они плыли; снегу было так много, что дорога едва чувствовалась; когда отъехали полверсты, станция, водокачка, строения — все погрузилось в молочную мглу; сани бежали в ней ровно, со слабым шорохом; на ухабах мягко ухали. Алеша знал все это. Не раз приходилось ему ездить так; зиму, лошадей, даже метель он любил с детства. Раздражало немного, что лепит в глаза, нельзя курить; он утешался тем, что запахнулся с головой в доху и стал дремать.

Сколько прошло времени, он не мог бы сказать, но

когда приоткрыл доху, было уже полутемно. Ветер усилился. Снег бил в ином направлении.

— Кунеево проехали? — спросил Алеша.

— Проехали,— ответил Федот.— Зыбкова что-то не видно.

Зыбково было на полдороге, и считалось, что проедешь Зыбково — тогда уж почти дома. Но Зыбкова все не было.

— Я так думаю,— сказал Федот, оборачиваясь,— не иначе мы сворот пропустили. Очень дорогу забивает, не видать,— прибавил он, будто оправдываясь.

— Куда-нибудь выйдем, валяй! — крикнул Алеша и запахнулся в доху.

От нечего делать он стал думать о своей жизни, будущем. Как ни старался он представить себе его ясней, ничего не выходило. Он учится в Училище Живописи, но художник ли он? Художник, искусство... Алеша покачал головой. Это серьезное, важное, требующее всего человека. А ему не хотелось ничего отдавать. Нравилось именно брать, и то, как легко шла его жизнь, было очень ему по сердцу. Какая же его профессия? Никакая,— «милого человека».

Главным образом занимали Алешу женщины. Он не был особенно чувствен, но влюбчив — весьма, и непрочно. Сейчас ему нравилась художница, работавшая с ним в мастерской. Приятна была и Зина, и еще кой-кто из Лизаветиных подруг — он затруднялся даже сказать, кто больше нравился. И ему казалось, что впереди будет еще много славных женских лиц, и на всех хватит его сердца. «Только не нужно никаких драм, историй. Чего там!»

До сих пор он так и делал. Хотя был молод, но уже любил не раз и, отлюбив, уходил спокойно, без терзаний,— иногда умел внушить это и той, с кем был связан. Когда кончится такая жизнь любви, он не знал и думал: придет конец, значит, придет.

Между тем Зыбкова не было. Понемногу выяснилось, что и дороги нет. Как ее потеряли, уследить было трудно, вероятно, сбились на малонатертый проселок, а метель выровняла его с целиной.

Лошади шли шагом; Федот приуныл.

— Эй,— сказал Алеша, зевая,— дядя! Потрогивай.

Федот хлестнул, лошади дернули, на минуту гусевой затоптался, точно не желая идти, но Федот вытянул его длиннейшим кнутом, он вздрогнул, рванул,— и Алеша с Федотом почувствовали, как мягко летят они куда-то вниз.

Лошади старались выкарабкаться, но тонули в снегу. Они попали в овраг.

— Тпру-у...— бормотал смущенный Федот,— тпру-у...

Отпрукивать было поздно; лошади остановились сами; от них валил пар, и вид они имели безнадежный. Слез Федот, вылез Алеша. Потоптались, полазили в снегу: стало ясно, что из оврага с санями не выбраться. Сколько ни бились, ничего не вышло.

— Что ж,— сказал Федот изменившимся голосом,— надо отпрягать.

Алеша был удивлен и немного досадовал. Ехали по-хорошему к тетушке, а тут на вот тебе, какая ерунда. В то, что становилось опасно, он еще не верил. Неприятно было опаздывать.

Из оврага вывели лошадей под уздцы. Когда сели верхом, тронулись, Алеша понял, что дело серьезно. Федота он быстро потерял из виду, и сначала они перекликались, держались вблизи, потом случилось так, что голос Федота послышался справа, Алеша взял туда, и ему казалось, что он едет правильно. Но тут донесся окрик с другой стороны. Алеша изо всех сил закричал: «Гоп-го-оп!», но в ответ ничего не услышал. Тогда он опустил поводья, перестал соображать и предоставил лошади идти куда вздумается. «Может, и вывезет»,— подумал он. Ему пока не было холодно, но чувствовал он себя странно. Он ничего не видел, и слышал только вой ветра. Минутами казалось,— да жив ли он, правда ли, что едет на лошади в этом бездонном мраке? Или это тоже часть сна, как поезд, разговор с генералом? Но генерал припомнился особенно живо. Снова, как тогда в вагоне, захотелось дремать, и послышались слова: «Так вы, молодой человек, отрицаете идею долга?» Алеша тряхнул головой и мысленно послал генерала к черту.

Он опять стал подстегивать коня, и то ему казалось, что сейчас деревня, что уж собаки лают, то нападала лютая тоска. Он старался отгонять ее опереточными напевами.

Через два часа он убедился, что положение его безнадежно. Лошадь стала, увязая по брюхо; двинуть ее дальше не было возможности. Метель не унималась: как прежде, кругом был мрак, снег, и выл ветер. «Что ж такое,— подумал Алеша, и спина его похолодела,— стало быть...» Он слез, попробовал идти, но мешала доха. Он снял ее, побрел в одном пальто — доху набросил через плечо.

«Ничего,— говорил он себе,— вперед, ничего». Он вздохнул, вспомнил о Лизавете, о художнице, о всех милых московских женщинах, которые любили бы его, если б он продолжал жить,— вздохнул, как о навсегда ушедшем, и около громадного сугроба, одолеть который, он чувствовал, не в состоянии, Алеша сел. «Напрасно вы думаете, ваше превосходительство,— сказал он про себя с улыбкой,— что мы не мужественны, раз у нас нет идеи долга. Мы веселые люди, но мы не трусы-с». И Алеша засмеялся странным смехом, удивившим его самого.

Он завернулся в доху и решил ждать; а там видно будет.

XX

Три дня спустя Алеша в жару лежал у тетушки Аглаи Михайловны. Он не отморозил себе ничего, но простудился. Оказалось, что сугроб, у которого он уткнулся в снег,— была рига, и плутали они на пространстве двух верст, между деревнями. Федот выехал более удачно, Алешу же нашел мужик, выбравшийся до свету на гумно молотить овес.

Аглая Михайловна была потрясена. Она не спала всю ночь, поставила свечи перед старинной иконой Нерукотворного Спаса, позвала двух докторов, влила в Алешу чайник малины и укутала шубами. Первую ночь он спал плохо: преследовали кошмары, он бредил метелью, ветром, стонал и охал. Но, видимо, тетушкины средства помогли: утром он проснулся покойней, умылся, и ему захотелось есть.

— Анисья,— сказала тетушка,— кофе барину, да разогрей бараночек, да лепешки, верно, готовы. Подай сюда.

В комнате топилась печь: пахло дымком растопок, за окном синел яркий день. Алеша приподнялся, взглянул на разрисованные морозом стекла, увидел березы, окутанные туманом инея, солнце,— и глубокая, светлая радость залила его. Жизнь, жизнь! Молодость, любовь, счастье! Голова Алеши закружилась.

— Тетя,— сказал он немного задыхающимся голосом,— пойдите-ка сюда.

Тетушка подошла степенно, с озабоченным видом; она была еще в белом утреннем чепце, но уже тщательно вымытая. От нее пахло старинными духами.

— Может быть, с калачом лучше хочешь? — спросила она, и у нее был такой вид, что пить кофе с калачом или без него — вопрос серьезный.

15 Заказ 262

— Дорогая,— шепнул Алеша, и вдруг крепко обнял, захохотал, стал целовать и мять ее.— Вы славная тетушка, вы моя хорошая!

Аглая Михайловна сначала была смущена, потом увидела слезы, блеснувшие в Алешиных глазах, поняла все, и сама заморгала.

— Ну, слава Богу, слава Богу,— бормотала она,— значит, Он не желал твоей гибели.

Минуту спустя Алеша жадно пил кофе с любимыми горячими лепешками, а тетушка, сидя рядом, говорила:

— Я человек старый, и меня на другой лад не переделаешь. Полагаю я, что Лиза должна была мне написать о своей свадьбе заранее, так я считаю. Она добрая девушка, но легкомысленная. А я недовольна — забыла меня. Так же и насчет твоей истории: я считаю, что это промысл Божий, урок, который дается тебе в назидание, быть может, для изменения твоей жизни.

— Да что менять-то, что? — почти вскрикнул Алеша.— Тетя Аглая, ей-Богу, нечего. Ну, я молод, мне жить хочется, это верно.

— То-то вот и есть, что вы теперь не такие, как была молодежь в наше время. Все о себе, для себя...

— Это правда, тетушка,— сказал Алеша,— я для себя живу. Ничего,— прибавил он беззаботно,— как-нибудь проживем. Я, ведь, другим не мешаю, пусть как хотят устраиваются. А вы взгляните, какое солнце, какой иней замечательный. На салазках бы сейчас, на лыжах...

— Вот именно я и не позволю.

И тетушка проявила довольно большую стойкость: пока окончательно не поправится — никуда.

Алеша провел в ее мягком, теплом углу недели две. Лизавете написали, изложили причины задержки. Алеша же развлекался игрой на китайском бильярде и раскладываньем с тетушкой пасьянсов.

Иногда приезжал молодой сосед, помещик, румяный, свежий. Он очень почитал тетушку, целовал ей руку и сначала немного стеснялся Алеши, как человека столичного. Потом привык, и они вместе играли в бикс.

— Очень сожалею,— говорил сосед, потирая руки,— что здесь нет настоящего бильярда. Да. Мы сыграли бы с вами пирамидку. Разумеется, без интересу. Так на так. Да, да. Так на так.

Потом он расспрашивал его о его приключении.

— Могли замерзнуть? Скажите, пожалуйста. Как жаль! Вот какой опасный случай. Да.

Слово «да» и «так, так» он прибавлял почти к каждой фразе.

Некоторые помещики приезжали даже поздравлять Аглаю Михайловну с благополучным исходом Алешиной истории. Алеше все нравилось. И помещики коренные, и генералы, и прасолы, которых тоже приходилось видеть.

Но больше всех понравилась Анна Львовна, молодая дама, которую не очень чтила тетушка,— из села Серебряный Бор.

Эта Анна Альвовна была вдова, жила частью в деревне, частью за границей, преимущественно в Ницце, как многие русские помещики; в деревне же вела энергический образ жизни, хозяйничала, ездила по гостям и охотилась; у нее была свора борзых, и нередко скакала она по полям, на поджаром своем англо-арабе; соседи принимали ее в настоящие охоты. Не дурак она была и выпить, но знала меру; могла рассказать анекдот; когда бывала в ударе, плясала русскую и неплохо пела под гитару.

С Алешей у них сразу установились дружеские отношения. Не прошло четырех дней, как у подъезда снова загремели бубенцы ее тройки. Очень усатый кучер осадил коней, из узких городских санок выскочила Анна Львовна в шубке, берете, с огнем горящими щеками; кучер отирал оледенелые усы; лошади под синей сеткой объезжали двор шагом. За деревьями парка, изнемогавшими под инеем, вставала луна.

— Ну,— сказала она, поблескивая темными глазами,— выздоровели? Как дела?

Алеша знал, что теперь никакая тетушка не удержит его дома. Да и на самом деле — он был здоров.

Наскоро пили они чай со свежим маслом и баранками, разогретыми на самоваре. Аглая Михайловна, впрочем, была суховата с гостьей: сидела особенно важно, в своей белой кофте, и по временам выходила из комнаты — с значительным выражением.

— Салазки есть? — спросила Анна Львовна, откусывая крепкими зубами хлеб с маслом.— Должны быть; пойдемте кататься с пруда. Тут пруд хорош, я знаю. И вечера такого нельзя упускать.

Ее гибкая фигура, тонкая шея и вздрагивающие ноздри говорили, что ничего не следует упускать в жизни. Чем-то она напоминала скаковую лошадь.

— Голову не сверните себе,— сказала тетушка, когда они встали, и недовольно поправила наколку.— Алеша и так чуть не замерз... Там есть прорубь, на речке, осторожнее.

— Не бойтесь,— крикнула из прихожей Анна Львовна,— целы будем!

Весело было идти в парке, под златотканым инеем. Скрипят валенки, скрипят салазки. Золотящийся полусумрак, тайные узоры ветвей, стволов на снегу, тихий сон инея. Все это колдовское, необычайное, какое бывает только в русские зимы под Рождество.

Анна Львовна верхом садится на салазки, Алеша за ней. Легко отталкиваются они,— синие, огненные алмазы снега мелькают все быстрей, и все холоднее дышать: дорожка от прудов к речке наезжена, санки летят быстрее, быстрее, бесшумно тонут за горизонтом звезды и небесный свод — вот она, речка. «Правей!» — хочется крикнуть Алеше, да не стоит,— если уж судьба лететь в прорубь, значит, судьба, там разберут. Лучше — обнять крепче эту Анну Львовну, чувствовать огненную щеку рядом со своей, глядеть на волшебные пелены снега, на дивное небо в звездах, окристаллевшее от мороза. Р-раз! Салазки проносятся у края проруби, дальше идут тихо, мягко, слегка шурша по снегу: это уж целина.

— Я знаю, где прорубь,— говорит задыхающимся голосом Анна Львовна.— Зачем нам в прорубь!

Она соскакивает,— ловкая и крепкая охотница,— подхватывает салазки и бежит в гору.

Алеша за ней. Не убежать ей,— Алеша догонит, снова будут лететь они вниз, и сердце замирает, дух захватывает: угодишь под лед, свернешь шальную голову, но лететь в лунном сиянии так чудесно. Пусть, все равно!

— Когда уезжаете? — говорит Анна Львовна.

— Не знаю, скоро.

— Поедемте сегодня ко мне. Спою вам цыганские песни. У меня можно. Я одна, никто мне не указка.

Алеша воображает недовольный вид тетушки, на минуту ему становится смешно, но потом он сразу же говорит, что отлично: едем. Тут нельзя отказываться, это ясно.

И хотя тетушка загрустила, хотя было не очень удобно, чтоб Алеша ехал один, к молодой даме, все же через полчаса они катили в Серебряный Бор, и Алеше казалось, что это — все продолжение их сумасшедшего катанья, что на этой самой тройке он летит в светлую бездну жизни.

В Серебряном Бору Анна Львовна пела ему цыганские романсы. Луна светила сквозь заиндевевшие стекла, когда они целовались.

— Я поеду в Москву тоже, с вами,— сказала она, провожая его.— Послезавтра? К семичасовому?

И как тетушка ни уговаривала остаться, через день Алеша уехал. Проезжая со степенным Федотом мимо Зыбкова, которого тщетно ждали они тогда, среди бури и тьмы,— он вспомнил об Анне Львовне, луне, поцелуях. Все казалось ему удивительным, загадочным,— и будущее непонятным.

На повороте он оглянулся, сзади донеслись колокольчики. Это мчалась знакомая тройка, вихрем догнала она их, и через минуту Алеша сидел уже с Анной Львовной,— во весь опор они скакали к станции. Почтенный же Федот был недоволен, но никак не мог поспеть. Алеша чувствовал, что его несет вихрь новой его судьбы, и был доволен.

XXI

— Без документиков венчать не буду, это что уж говорить! Я ведь вас не знаю. А может, вы доводитесь родственником невесте?

Приходский священник, человек черноволосый, тучный, с красивыми бархатными глазами, был доволен: он имел полное право не венчать, и не венчал. Да еще студент! О. Феоктист поглаживал свою бороду. Со студентом как раз влетишь в историю.

Петя ушел от него расстроенный. В таких случаях он терялся, сердился, что не может дать отпора,— и чувствовал себя мальчишкой.

Алеша не возвращался; от него не было известий, и свадьба затягивалась; подходил пост, надо было торопиться.

Все это раздражало, но стоило отдохнуть час-другой от хлопот, стоило повидать Лизавету, и все огорчения разлетались. Оставалось ощущение молодости, крепости, любви.

Наконец, документы пришли по почте, с письмом, где все объяснялось. Это было неожиданно, частью взволновало, частью обрадовало. Как бы то ни было, решили Алешу не ждать. В дело вмешался Федюка, и все пошло глаже.

— У Знамения? — сказал он, когда узнал, где хотели

венчаться.— Пустое дело. Что там разговаривать с клерикалом. Хорошая свадьба должна быть в домовой церкви.

Федюка был рад, что может чем-нибудь проявить себя, тряхнуть стариной, своим дворянством, и, надев красный жилет, помчался в церковь казарм, к Сухаревой башне.

— Батенька,— сказал он Пете,— мундир-то у вас есть? Вы студент,— разумеется, фрака не надо, но не в тужурке же вам... Тово...

У Пети именно ничего не было, кроме тужурки; чтобы утешить Федюку, он достал сюртук у товарища. Сюртук оказался приличен, но длинна талия: пуговицы сзади висели ниже, чем надо.

— Ничего,— сказал Федюка за день до венчания.— Главное — смелость, независимый вид. Вы оба очень милы,— я держу пари, что все сойдет отлично.

Лизавета, правда, была мила, но все же волновалась, хоть и скрывала это, прыгала, козловала. С помощью Зины и других приятельниц она смастерила себе славное платье, впрочем, мало похожее на подвенечное.

Утром, в разгар суеты, когда одни бегали за цветами, другие общими силами доделывали костюм Лизаветы,— неожиданно ввалился Алеша. Он принес с собой новый запас возбуждения, сил, веселья. Наскоро рассказал он, в чем дело, и тотчас побежал к Степану и Федюке, тоже по делам свадьбы.

Пете было немного смешно и весело. Полагается, что жених и невеста не видятся в день свадьбы, но здесь они жили на одной квартире, и поминутно Петя слышал топот резвых ног — Лизавета забегала к нему «на минутку», что-то сказать, о чем-то спросить, но, в конце концов, они просто целовались, и розовая, горячая Лизавета бомбой вылетала из его комнаты, дрыгая ногами и хохоча.

В три часа явился Федюка, во фраке, белом галстуке. Он был встречен аплодисментами, но не одобрил этого.

— Что же смешного? Чего смеяться? Что ж, шаферу прикажете в блузе быть?

И Федюка деятельно взялся за роль церемониймейстера: расписал, куда кому садиться, кому ехать вперед, как возвращаться. Когда он узнал, что карета всего одна и в возвращаться. Когда он узнал, что карета всегда одна и в нее, кроме невесты, хочет сесть еще человека четыре — было холодно,— Федюка всплеснул руками. Нет, такую свадьбу в казармах никогда не сочтут за стародворянскую!

Наконец, карета приехала. Федюка взглянул на нее из окна, и толстое лицо его и даже шея покраснели.

— Кто же... з-заказал... это? — спросил он срывающимся голосом.

Петя сконфузился. Правда, утром, на Арбатской площади карета выглядела лучше. Да он и не знал, что одна лошадь хромает.

— Зато большая,— сказал он несмело.

Это было верно. Бока кареты выпирало, и возможно, что туда поместилось бы человек восемь.

Федюка вытер лоб цветным платочком.

— Ну, дорогой мой, не будь вы жених, я нашел бы для вас выражение... тово... непарламентское. В этакой карете... Фу-ты, Боже мой!

Федюка шумно вздохнул. Плохо выходило дело с фешенебельной свадьбой.

Разумеется, карета назначалась для невесты. Когда Лизавета в коротенькой шубке и капоре, легко сбежав по лестнице, прыгнула в отворенную дверцу, за ней вскочили Зина и две барышни. К полному огорчению Федюки, туда забрались еще три студента.

— Дядя,— сказал кучеру студент,— довезешь? Говорят, лошади у тебя больно резвы, так ты уж полегче.

Кучер обернул бородатое лицо, добродушное, с заиндевелыми усами.

— Доставим, барин. Днище у нас слабо, это действительно: как на ухабах оказывает, много-то народу и нельзя садиться, а то не ровен час...— Возница ухмыльнулся.— Постараемся.

Федюка плюнул и пошел за Петей: они должны были ехать на лихаче, чтобы попасть в церковь раньше.

Петя неясно соображал, какие наставления, укоры читал ему Федюка — легкий туман, веселый, смеющийся, был в его голове. Пускай Федюка говорит вздор, и не нужно церемоний для его сердца,— но раз принято, что ездят в церковь, венчаются, он готов, конечно. Разве это трудно? Пускай Федюка волнуется, пусть лихач мчит, значит, так надо,— как надо было, чтобы его путь пересекла блестящая комета, увлекающая теперь его за собой. И Петя мчался на рысаке, туманно и сладостно мечтал о своей комете, а комета трусцой тащилась к Сухаревой, топоча по временам ногами от нетерпения.

— Ты вообрази себе,— заговорила Зина.— Трах, дно вываливается, лошади бегут. Значит, и мы должны бежать, не выходя отсюда же, из кареты.

— Это сцена из кинематографа,— сказал студент,— это невозможно.

— Я и побегу. А вы думаете что? — говорила Лизавета.— Неужели, думаете, плакать буду?

В таком настроении плыли они с полчаса.

Но когда приехали в церковь, когда вышли их встречать, Лизавета вдруг притихла и слегка побледнела. Все в церкви имели вид сдержанный, серьезный: делается дело, а не шутки шутят. В тусклой мгле храма, прорывавшейся золотом свечей — их зажигал субъект в теплых калошах,— Лизавета увидела Петю, в ловком, как ей показалось, мундире, с бледным лицом. К ней подошла Клавдия, потом низко поклонился Степан. Она разговаривала с Федюкой, но чувствовала его присутствие, и, обернувшись, встретилась с его взором; ее поразило его скорбное и вместе — преданное, благоговейное выражение.

— Вы мой шафер, кажется? — спросила она, слегка задыхаясь, поправляя рукой цветок на корсаже.

— Да,— сказал Степан коротко.

— Я не знаю, я непременно что-нибудь напутаю, навру... вы мне помогайте тогда...

Лизавета, правда, начала сильно трусить и смущаться. Церковь понемногу наполнялась. Центром любопытства была она, и, кроме того, ей смутно чудилось, что все же это не простой обряд. Сейчас она должна открыто исповедать свою любовь, взять исполнение обета. Словами она не могла бы передать своих чувств; но чувства эти переполняли ее.

Они вспыхнули и в душе Пети, с неожиданной для него силой.

Когда они с Лизаветой стали позади священника, в смирении, смущении, а он произносил простые и значительные слова молитв, Петя почувствовал, как захватывает у него дух, какой высший и торжественнейший это момент их жизни.

Лизавета вздыхала, трепетный румянец пробегал по ее лицу. Подведя их к аналою, священник обернулся. В его черных глазах, грудном голосе, в камилавке и белой ризе было что-то древнее, восточное.

— Имеете ли твердое намерение вступить в брак? — спросил он у Пети.— Не обещали ли другой?

Потом его блестящие глаза перешли на Лизавету. Он дал им кольца и, когда Петя в растерянности стал было надевать свое, строго сказал:

— Погодите, сперва обменяйтесь с невестой.

Певчие, усиленные кой-кем из студентов, громко запели «Исаия, ликуй». Священник соединил их руки в своей, трижды обвел вокруг аналоя. Над ними сияли венцы, сзади медленно и осторожно двигались шафера. Пел и священник, и золото одежд, икон, свечей, высокое и светлое настроение души как бы на самом деле возносило их к Богу. Делая круг, стараясь не задуть свечу, которую держал, Петя одним глазом окинул присутствующих: все стояли тихо, с влажными глазами,— чувство благоговения и света росло до самого конца. Когда священник, держа перед собой крест, говорил им напутствие, черные глаза горели по-настоящему. В ту минуту Пете показалось, что в них присутствует действительно высшая сила.

— Всякий человеческий союз, сколь бы ни был хорош, несет на себе пыль и тленность земного. Лишь присутствие и благодатное вмешательство Господа Иисуса очищает его и запечатлевает в вечности!

Священник поднял вверх глаза. Петя в первый раз слышал с такою твердостью сказанное слово — вечность.

После этого служба скоро кончилась. Первым поздравил их священник и пошел разоблачаться — обращаясь в простого человека, которому Федюка передаст деньги.

К Пете же и Лизавете подходили и целовались. Степан был несколько бледен, пожал ей руку крепко, и ничего не сказал. Клавдия горячо поцеловала. На глазах ее проступали слезы.

Через сорок минут подъезжали уж к Кисловке, и потом ввалились в квартиру. Кучеру, по ошибке, заплатили дважды, чем он остался доволен. Но Федюка тоже был в добром настроении — он находил, что под венцом новобрачные держались хорошо,— и не стал даже упрекать за промах.

XXII

У Пети было очень странное и радостное чувство, когда он подымался по лестнице на Кисловке.

Вчера они бегали с Лизаветой как дети, хохотали, целовались; а теперь их жизни соединены торжественно и неразрывно. Ему казалось, что он облечен светлым долгом *мужа;* его молодым рукам вверена эта девушка; он ее властитель, защитник, рыцарь, любовник — это кружило ему голову, подымало в собственных глазах.

В дверях встретила их хозяйка с цветами; жеманно

поздравила Мальвина, и все имели такой вид, будто тоже очень довольны и счастливы. Зина вытащила из Лизаветиной комнаты облезлого тигра; этого тигра очень любил Петя — часто сидели они на нем с Лизаветой у камина. Теперь его бросили им под ноги,— чтобы хорошо жилось. Лизавета тут же, в подвенечном платье, кинулась к нему.

— Хороший ты мой, ну, дорогой ты мой,— говорила она, подымая его голову, целуя в нос.— Ангел ты мой золотой!

Козлороги были уже в сборе. Федюка заранее организовал цветы и вино. Лизавета должна была переодеться, а пока — все толклись в большой комнате, оттирали озябшие руки; студенты присматривались к закуске. Клавдия сторонилась немного: ее смущала шумность этих людей; Степан тоже отделялся от других. Он выждал минуту, когда Петя вышел к себе, и незаметно пробрался за ним.

В Петиной комнате горела лампа под абажуром, топилась печь; в момент, когда Степан входил, Петя снимал мундир; его юношеский, тонкий профиль, бледность лица, темные глаза — все мелькнуло перед Степаном на фоне ночного окна, как видение молодости, счастья. Он подошел к нему, пожал руку. Они поцеловались.

— Желаю тебе счастья,— сказал он серьезно и, как Пете показалось, растроганно.— От души желаю,— прибавил он.

У Пети на глазах блеснули слезы. Ласка товарища, всегда несколько сурового, которого он привык уважать с детства, тронула его. Он стоял еще без тужурки, в очень белой крахмальной рубашке, как дуэлянт, и обнял Степана тоже. Он ничего не мог сказать: Степан понял его молча.

Потом Степан сел на диванчик и улыбнулся.

— Вот мы с тобой и взрослые люди. Я скоро буду отцом... да и ты, наверно, тоже.

Петя перевязывал по-другому галстук. Взглянув в зеркало на свое лицо, он вдруг почувствовал, как головокружительно летит вокруг него жизнь, и сам он в этой жизни. Как, казалось, недавно был еще Петербург, Полина, Ольга Александровна, его тогдашние чувства и мысли — и как скоро все стало иным. Ему вспомнилась весна, деревня. Да, он как будто был тогда влюблен,— и где все это теперь? На мгновение его точно резнуло по сердцу. Неужели он так легкомыслен, ветрен? Из туманной дали взглянул на него знакомый облик, печальный и нежный, с кроткой улыбкой на устах. «Никогда я не была счастлива, нигде». Но тут

он вспомнил Лизавету и, с эгоизмом, со слепым счастьем молодости, сразу забыл все — он был полон собой и не интересовался другими.

— Позвольте,— сказал Федюка, входя,— это непорядки, должен вам заявить. Супруга давно переоделась, мы ждем, шампанское и прочее, а они тут конверсацию устраивают. Да еще, поди, философическую.

Федюка прислонился к Пете мягким животом, взял под руку, повел к двери.

— Теперь, батенька, не отвертитесь. Вы, так сказать, новобрачный, и вам надлежит сносить все... inconvénients[1] данного положения. Это уж что говорить, тогда нечего было венчаться.

В столовой все имело возбужденный, бурный вид. Явно, козлороги собирались праздновать свадьбу шумно. Петя должен был догонять одного «в отношении рябиновой», другого — зубровки. Лизавета сидела с ним рядом. Вся она была движение, смех. Любовь и счастье блестели в ее глазах, в нежном румянце, выбившихся золотистых локонах.

— Браво,— кричал Федюка.— Лизавета Андреевна, браво! Очень, очень мила. Горько!

Лизавета не стеснялась — острым, легка кусающим поцелуем поцеловала она при всех Петю, глаз ее хитро сверкал, точно говорил: «Ну, это еще что...»

На другом конце стола хохотала Зина. Она забралась в самый дальний угол, с ней сидел молоденький студентик; он жал ей под столом ногу, а она загораживалась от зрителей букетом и лишь временами таинственно подмигивала Лизавете и кричала: «Очень ходы́, очень», чего другие не понимали.

— А знаешь, где Алешка? — спросила Петю Лизавета.

— Нет... Правда, где же он?

Лизавета засмеялась и шепнула ему:

— Он привезет сюда новую симпатию... У меня спросился. Мне что ж? Хоть три симпатии.

Действительно, не прошло получаса,— явился Алешка. За ним показалась Анна Львовна.

— Ого! — сказал Федюка.— Она не только хорошо одета, но и недурна собой.

Анна Львовна поздравила Лизавету, сказала, что очень жалеет, что не могла быть в церкви. Глаза ее блеснули, и суховатая рука, в которой было нечто мужское, пожала ей руку.

---

[1] неудобства *(фр.)*

— Очень интересна,— сказал Федюка Алеше.— Удачный шаг. Ваше здоровье.

И он чокнулся с ним. Алеша имел вид тоже воодушевленный. Он залпом выпил бокал шампанского. На дне осталось немного вина, где играли легкие пузырьки. Алеша молча приблизил бокал к носу Федюки.

— Люблю,— сказал Алеша.— Отлично.

Федюка подумал и вдруг выпалил:

— Как бы симвóл жизни!

Алеша захохотал и хлопнул его по коленке.

— Ах ты символ, философ!

Потом он прибавил:

— Может быть, вы и правы... Мне все равно. Я могу еще выпить за что-нибудь такое... Ну, за что? — Он взглянул на Анну Львовну.— За счастье, радость!

Он налил себе еще вина.

— За любовь, что ли? — За жизнь.

Первой чокнулась с ним Анна Львовна. Студенты зашумели, все хохотали, подошла Зина. Чокнулся и Степан.

— А-а,— сказал Алешка,— вот кто! Ну, вы наверно против меня.

— Чокаюсь, значит, не против.

Федюка подвыпил, нос его покраснел. Он предложил устроить танцы. Анна Львовна должна была сыграть.

Любители потащили с собой вино, все встали из-за стола, и началась кутерьма. Зина вскочила на Федюку, а он галопировал под ней, как старый кентавр, задыхаясь, багровея. В соседней комнате наладили танцы. Алеша со Степаном разговаривали.

— То, что я говорю,— отвечал Алеша,— называется, кажется, эпикурейством. Я люблю счастье и радость. Вы меня, конечно, презираете за это?

Степан продолжал усмехаться. Он ответил, что не презирает, но к эпикурейству равнодушен.

— Тогда вы должны быть верующим,— сказал Алеша.— Иначе я не понимаю.

Степан кивнул головой.

— Непременно, вы правы.

— Ну да, да, я так и думал. Это все хорошо, я ничего не скажу. Только я...— Алеша вдруг улыбнулся открытой, веселой улыбкой,— я так не могу. Это для меня слишком умно. Мне кажется, просто надо жить, стараться быть счастливым... Ну, и другим не мешать.

Потом он совсем развеселился.

— Какой я философ? Я просто дрянь, вы меня, конечно, забьете, только я сейчас весел очень, мне, знаете, море по колено.

И через несколько минут Алеша отплясывал русскую под гитару Анны Львовны.

Степан стоял в углу и смотрел. Он ничего не имел против этого Алеши; напротив, он ему нравился, как бывают приятны дети. Не раздражали и другие козлороги, но он знал, что это не его общество. И лишь когда взглядывал на Лизавету, хохотавшую, носившуюся легким ветром по комнатам, сердце его останавливалось. Хорошо жить для великих целей, но хорошо и любовь такой женщины, блаженство разделенного чувства.

«Мне не надо думать об этом,— сказал себе Степан,— это не для меня». Но он не мог унять волнения сердца.

Петя мало говорил, но ему было хорошо. Разные чувства кипели в нем. Иногда он смеялся на Федюкины штуки, на Зину, Алешу, но душа его все время как бы летела на известной высоте, куда вводил ее сегодняшний день.

XXIII

Клавдия носила своего ребенка благополучно. Вначале было трудно — мучила тошнота, тяжелое самочувствие. Потом наступил перелом. Она сразу успокоилась, перестала стесняться живота, хотя именно теперь он рос, даже не думала больше, что не нравится Степану как женщина.

И она могла бы сказать, что, за исключением первых дней любви, это время начала февраля было для нее лучшим.

Она не занималась теперь революцией, все это на время отошло; ей ничего не хотелось делать. Иногда она даже стеснялась себя; ей казалось, что она становится коровой, ленивой и равнодушной. Ничего ей не надо, только отдыхать, все копить, запасать силы для новой жизни.

И в февральские дни, по утрам, когда выглядывало солнце, она любила сидеть подолгу у окна, перед печкой, заливаемая солнцем. Вся она проникалась теплом; треск поленьев, вечнотанцующие языки пламени погружали ее в мечтательный туман. Ребенка она чувствовала тогда ближе, как-то неотделимее от себя. Но какой он? Этого она не знала, и фантазировать о его наружности было для нее также очень приятно.

Она одевалась, шла гулять. Шумных улиц избегала и ходила по переулкам, среди дощатых заборов и садов

старинной Москвы. Несколько раз выходила на Девичье поле; здесь все казалось ей деревней; золотели вдали главы Девичьего монастыря, и лишь клиники смущали: в них чувствовалось что-то печальное и страшное.

Зато славно блестел снег, долетал с Воробьевых гор свежий чудесный ветер. Свистки на Брестской дороге напоминали о жизни, вечном ее движении.

В один из таких дней неожиданно получила она письмо от Полины. Письмо это очень ее обрадовало и взволновало: Полина попала-таки в труппу небольшого театра, под управлением известной актрисы, и теперь едет в турне. На днях она будет здесь.

Клавдия в душе улыбнулась — но спокойной, доброй улыбкой: Полина добилась своего, бросает школу, катит Бог знает куда...

Когда однажды утром — Степана в это время не было — в передней позвонили, и спустя минуту Клавдия увидала сестру, высокую, элегантную, со слегка подведенными глазами, она ахнула и бросилась ее целовать. Полина показалась ей ужасно нарядной и важной, настоящей артисткой. Но когда Полина раскрыла свои объятия и закричала:

— Ну, милая моя, ну вот ты какая! Насилу тебя нашла! — Клавдия поняла, что это вовсе не важная актриса, а все та же сестра Полина, с которой они на Песках готовили на керосинке обеды.

Они горячо расцеловались и заплакали. Это было минутное и, скорее, радостное, чем горькое, но они не могли удержаться. Потом Клавдия принялась ухаживать за ней, ласкать, кормить; ее слегка косящие глаза блестели новой нежностью, и она ловила себя на смешной мысли, что сестра представляется ей сейчас бездомной бродягой, которую нужно отогреть. Полина же, напротив, была весела, полна радужных планов и мечтала играть в Витебске «Чайку». Но когда Клавдия присмотрелась немного к ней, за некоторой внешней подтянутостью она разглядела ту же бедность, даже более острую, чем раньше.

— Ну, ты много играешь? — спрашивала Клавдия.— Роли тебе дают?

— Ах, не думай, это скоро не делается. Впрочем, здесь мы ставим «Орленка», там у меня хорошая роль. Маленькая, но интересная.

И Полина, стоя перед зеркалом слегка в позе, расчесывала свои прекрасные черные волосы. Золотой зайка, отражавшийся от пряжки ее пояса, перебегал по стене; в

садике ложилась от веток синеватая сетка тени; бойко скакали по навозу воробьи. Все жило, волновалось светлой весенней радостью.

— Я пробуду здесь три дня,— говорила Полина,— потом должна с администратором ехать вперед. На мне реквизит.

Это непонятное Клавдии слово она произносила значительно. На самом же деле, актриса-хозяйка, пользуясь ее добросовестностью, пристроила Полину к костюмерной, где бедняга работала как вол, за грошовую плату. Но счастливый ее характер вывозил и тут, и Полина была довольна, мечтала о будущем, а о сегодня заботилась мало.

К обеду пришел Степан. Хотя Полина еще с Петербурга побаивалась его, все же встретились они очень приветливо; но не привыкли еще называть друг друга на «ты».

— Как революция? — спросила Полина.— Что молодежь? Все так же горяча, и вы все такой же идеалист?

Полина хотела спросить о том, что, по ее мнению, было близко Степану, и старалась взять соответственный тон. Выходило у нее довольно мило, но смахивало на театр.

Степан усмехнулся и ответил:

— Я не знаю. Я и молодежи-то мало вижу. Что ей особенно горячиться? Молодежь как молодежь.

И политического разговора у них не наладилось. Сестры же говорили между собой много, как могут говорить женщины. После обеда Степан ушел, а они сидели в комнатке Клавдии на диванчике; Полина закутала и себя, и сестру платком. Был час захода солнца. В комнате лежал тот прелестный и трепетный отблеск, что бывает в московских весенних закатах.

— Степан — необыкновенный человек,— говорила Клавдия.— Он нисколько не похож на других.

Она вздохнула. В глазах ее сияла гордость.

— Он говорит, Полина, что живет для человечества, для вечности. И если за это ему придется отдать жизнь, он отдаст, Полина. Это уж я знаю.

Полина слушала почтительно. Клавдия помолчала немного и продолжала:

— У него всегда новые планы, неожиданные мысли, которых раньше никто не высказывал. Он занят преобразованием партийной работы, и, конечно, это не обходится без столкновений, неприятностей. Сейчас у него большая борьба. Он столько работает! Как он успевает давать уроки, я удивляюсь.

Клавдия встала, налила в столовой две чашки чая и вернулась с ними.

— Значит, ты довольна? — спросила Полина.— Твой муж идеалист, у вас одинаковые духовные запросы. Помнишь, как ты увлекалась революцией в Петербурге?

— Да,— сказала Клавдия,— конечно, это так. Мы и на голоде были вместе. Ну... сказать тебе... вполне ли я довольна...— Она помедлила, потом шумно вздохнула и сказала: — Я счастлива тем, что у меня будет ребенок. А Степан... ах, Полина, он замечательный человек, но меня он любит мало... Я же знаю.

Она положила голову на плечо Полины, и в полусумраке не видно было, плачет она или нет. Лишь голос выдавал ее чувства.

— Я и не претендую, Полина. Он занят другим. В его голове разные замыслы... ему не до меня. Я ведь сама отчасти революционерка, хотя теперь и не занимаюсь этим, меня поглощает будущее. Я понимаю, что, может быть, Степану тесно тут, душно в этой квартирке, в семейном быту. Ах, Полина, я иногда ревную, мучаюсь... Это подло, но что с собой поделаешь. Мне кажется, будь я красивой, блестящей, как, например, Петина жена, он бы ко мне иначе относился. Но я же не могу быть иной... чем есть.

— Это, наверно, твои фантазии, Клавдия,— сказала степенно Полина.— Раз Степан Николаевич такой хороший человек, он не может дурно относиться к жене. Наверно, это все твое воображение.

Клавдия усмехнулась.

— Как ты все просто решаешь, Полина. Ну, ладно,— прибавила она, передохнув.— И потом, знаешь, еще одно меня мучит... У меня бывает беспричинная тоска. Такая тоска, прямо смертная. Мне тогда кажется, что со мной произойдет что-то ужасное. Понимаешь, это, может быть, и глупо, но такая мысль преследует меня. Родов я не боюсь... нет, не то.

Клавдия полуобернула лицо к заре, и в ее глазах, упорно вглядывающихся во что-то, была тревога, тяжелая мысль, которую и сама она не могла оформить. Она не говорила больше с Полиной, сидела тихо.

Этот вечер они провели вдвоем, как в прежние времена, в Петербурге. При лампе, самоваре стало веселей. Полина рассказывала о театре, ходила, жестикулировала.

Энергическая, надеющаяся Полина хорошо действовала на Клавдию.

— Ах ты, милая моя сестра-артистка,— говорила она, смеясь.— Ты же не забудь меня, когда будешь знаменитостью.

— О, Клавдия, путь искусства труден, ты не можешь себе представить, сколько интриг и неприятностей надо преодолеть. Но зато, если успех, то уж это успех.

И глаза Полины блестели — ей казалось, что она тоже на этом тернистом, но светлом пути, ведущем к славе.

Часов в десять вернулся Степан. Разговоры их смолкли. Степан пришел расстроенный, усталый. Положение его в партии становилось трудным,— он сам чувствовал, что так и должно быть: по многим вопросам и организации, и принципа он не мог согласиться со взглядами руководителей.

Дома тоже было не блестяще: он все не мог срастись с семьей, с женой. Между ним и Клавдией не выходило ссор; но была черта, весьма отделявшая их друг от друга.

Нередко думал об этом Степан ночью, когда не спалось; он не мог хорошо сказать, сделал ли какой промах, но временами ему становилось жутко: жутко под бременем чужой жизни и жизни, имеющей еще появиться. Все это он должен был пронести — и не был в себе уверен.

«Верно, у меня любви мало»,— думал он. И этого вопроса тоже не мог решить, потому что иногда ему казалось, что как раз любви у него море, и стоит этому морю прорваться... Тут он доходил до одной мысли: Лизавета. Дальше он не думал, по крайней мере, старался не думать.

— Я, конечно, очень уважаю твоего мужа,— говорила Полина сестре на другой день.— Несомненно, он исключительно благородная личность, но все же я его стесняюсь. Мне кажется, он довольно суров.

И Полина не рискнула даже предложить ему идти в театр, где она через два дня должна была выступать. Она решила лучше зайти к Пете, познакомиться с Лизаветой и, как она выражалась, «посмотреть московскую богему».

XXIV

Театральные вкусы Москвы и Петербурга различны; к тому времени Москва прочно стала за Художественный театр, и гастроли Полининой актрисы успеха не имели.

Труппу нашли слабой, пьесы — вульгарными, а премьершу — авантюристкой, подражающей Режан.

Полина огорчилась. Она была предана своему театру и дурно говорить о премьерше не позволяла. Однако у Пети и у всех знакомых ее осуждали и в театр не шли: против этого она была бессильна.

— Да не пойду я, не пойду, что я за дура! — говорила Лизавета, лежа на диване и болтая ногами.— Вы, Полиночка, не обижайтесь, по-моему, она просто дрянь. Она вас обирает.

Полине Лизавета нравилась. Тем труднее было слушать подобные вещи.

— Полина,— сказал Петя, чтобы ее немного подвинтить,— заводи собственный театр, ставь хорошие вещи, тогда будет успех.

Полина немного стеснялась и сказала:

— Ты говоришь о декадентских произведениях, Петруня? У нас ставили, как это... Метерлинка. Но публики было мало. Конечно, надо идти за веком, я понимаю...

Клавдия, однако, присутствовала на одном спектакле и даже была за кулисами. Полина волновалась — она играла крохотную роль: была очень мила, интересна, пока не вышла на сцену. Но когда Клавдия взглянула из первых рядов на сестру, ей сразу стало грустно, она не узнала изящную и миловидную Полину. По сцене толклась нескладная фигура, не знала, куда себя девать, и не своим голосом произносила разные слова. Было несомненно, что у ней нет главного и единственного: дарования. И когда Клавдия раздумалась о ее будущем, ей стало еще тяжелей. Она не сказала об этом сестре. Но отчасти та сама почувствовала.

— По этой роли ты не можешь судить, Клавдия. Если б ты меня видела в «Чайке»...

Но Клавдия не хотела смотреть ее в «Чайке». Кого она могла там играть?

И все же, в общем, Полина уезжала из Москвы веселая. Ее легкомысленной и доброй душе нравилось, что она артистка, помощница знаменитой актрисы и пр. Она горячо обнимала Клавдию и говорила:

— Ну, до осени, увидишь, какая я вернусь из поездки!

Клавдия тоже целовала ее и поехала даже провожать на вокзал. Там Полина опять потерялась среди бритых физиономий, актрис, суетни, крика. Клавдия все боялась, что ее затолкают, и вообще стеснялась в этом обществе.

И когда ушел поезд, она с облегчением села на скромного Ваньку, который через всю Москву повез ее на Плющиху.

Был февраль, теплый, солнечный день. Все в Москве казалось Клавдии таким покойным, ясным, как кусок голубого неба у ней над головой, как золотой образ церкви Николая Чудотворца на Арбате. Ей внезапно представилось, что она живет здесь всю жизнь, что Степан любит ее нежной и преданной любовью, что у нее дети, есть коекакие средства, и в ее жизни всегда — это солнце и славные, предзакатные облачка. Чувство продолжалось минуту, потом она поняла, что все не так, что это только мгновенное видение.

«Что же,— подумала она,— может быть, я действительно изменилась». Она вспомнила, как ходила на демонстрацию, как у нее навертывались тогда слезы восторга, как ездила она на голод. Все это было очень хорошо, но теперь она не сделала бы уже этого. Клавдия вздохнула и слегка потянулась, пригретая солнцем. «Да, я, конечно, теперь другая, самая буржуазная баба, занятая ребенком, своим брюхом. Мне никуда сейчас не хочется, и не нужно мне ничего». Ее мысли опять перешли на беременность, на то, как она будет родить. Времени оставалось уже совсем мало; Клавдия присмотрела лечебницу, где старшим врачом был ее дядя, доктор Шумахер. Там с нее возьмут гроши. Родов она не боялась, но все же ей хотелось продлить время беременности: так тихо, светло чувствовала она свое дитя, и себя самое в такой глубокой безопасности, будто под его защитой.

Но этот день все же пришел. Он был тепел и ласков, как бывает иногда в начале марта. С утра Клавдия почувствовала боли. Степан тотчас повез ее на Долгоруковскую, в лечебницу. Он был молчалив, внимателен и добр к ней, и слегка волновался. Клавдия крепилась, настроение ее было довольно бодрое. Взглядывая на побледневшее лицо Степана, в его темные глаза, в морщину, собиравшуюся на лбу, она не без гордости думала, что это он за нее волнуется. И прощала ему недостаток ласковости: когда мужчина взволнован, он всегда несколько суров.

Доктор Шумахер принял их отлично; он был старомодный человек, в сюртуке, широких брюках и с пробором посреди головы. Обладал мягким характером, лечил постаринному и рассказывал немецкие анекдоты. В Москве его очень любили.

— О, не беспокойтесь,— сказал он Степану, когда Клавдия вдруг испугалась клиники и заплакала.— Клавдия всегда была самая нервная из их семьи, знаете. Она очень нервная, я их отлично понимаю, у нее в детстве был сильный понос, знаете, дизентерия, это же влияет на нервы.

Когда Степан уехал, и Клавдия осталась одна, в руках опытных и спокойных людей, к ней быстро вернулось хорошее самочувствие. Шумахер осмотрел ее и сказал:

— Ну вот и отлично, можешь десять человек мужу родить.

И он рассказал, что иногда, не видя несколько лет пациентку, он забывает ее; но достаточно произвести гинекологическое исследование — и вспомнит. Клавдию это очень развеселило.

— Значит, дядя, чтобы вы меня не забыли, я должна по временам рожать.

Доктор вымыл руки, рассказал анекдот и ушел.

Клавдию положили в небольшую палату, где ее визави оказалась полная добродушная дама из провинции. Они скоро разговорились — дама скучала в одиночестве. Ее рассказы о провинции, о жизни в глухом городке действовали на Клавдию успокоительно.

— У меня было десять человек детей, я вам скажу — и что же, много труда, лишений, но все-таки я счастлива. У меня муж очень хороший человек; мы двадцать лет вместе прожили, никогда между нами никакой ссоры. Нет, и дети большое счастье... Старшенький у меня здесь в Комиссаровском, часто ко мне заходит. Не можете себе представить, какой он ласковый.

Глядя на эту полную женщину с карими глазами, полуседую, но бодрую и приветливую, Клавдия подумала, что она ей завидует, в конце концов. Ей представилось, что хорошо жить в каком-нибудь Масальске простой и тихой жизнью, с мужем, который целиком предан тебе и семье. Ничего — что за всю жизнь три раза сходишь в театр. Что, верно, и не подозреваешь о существовании партий, опасностей и треволнений, связанных с этим.

В десять часов потушили свет. Клавдия чувствовала себя усталой, но ей было хорошо, она находилась в добром, размягченном состоянии, хотя боли усиливались. Она воображала разные вещи: например, будто Степан полюбит кого-нибудь настоящей любовью, а она придет к нему и благословит на эту любовь, подавляя в сердце стра-

дание и отчаяние. Или она умрет за него, возьмет на себя какие-нибудь его деяния. Она переворачивалась и не могла заснуть, вздыхала. Глаза ее были влажны.

— Не спите, милая? — спросила соседка.— Больно?

— Нет, ничего, благодарю вас... Я думаю... Ах, я все думаю,— ответила Клавдия.

— А вы не раздумывайтесь, вам нужно сил набираться. Вы лучше спали бы. Считайте до трехсот, потом опять сначала.

Спустя несколько минут Клавдия спросила:

— А как по-вашему... подвиг нужно в жизни иметь?

Соседка как будто задумалась. В полутьме белела ее постель, белела она сама неопределенным пятном. Из окна с зеркальным стеклом струился голубоватый отблеск городской ночи.

— Вот уж я и не знаю, как вам сказать. Конечно, мне кажется, не надо отказываться от бремени... Как сказал Спаситель: бремя мое легко есть. Да знаете, когда живешь, работаешь много, возишься, как-то думать мало приходится. И потом, когда любишь, так всякое бремя легко, это уж что говорить.

Клавдия вздохнула, перевернулась на другой бок, пыталась заснуть. Это плохо ей удавалось. Рядом с ней, на стене, было золотое пятнышко света, и когда она в него всматривалась, золотые нити его свивались, образуя странные узоры, менялись, двоились. Ей представилось, что это загадочные символы ее жизни; она старалась что-то понять, прочесть свои судьбы; но когда начинало казаться, что сейчас она поймет, фантасмагория обращалась в обыкновенный кусок стены с золотистым отсветом фонаря.

Наступил перерыв в болях. «Подвиг,— думала она, засыпая,— подвиг». В последний момент перед сном она увидела ясное небо, звезды и вечность. Она поняла что-то поразительно прекрасное и поразительно печальное. Сердце ее сжалось такой тоской, будто вечность, которую она ощутила, была смерть.

Через три часа, на рассвете, у нее начались роды. Но она была уже иным человеком. Точно ночью переступила ступень, навсегда отделившую прежнюю Клавдию от теперешней. Среди родовых мук она повторяла про себя: «подвиг, подвиг»,— но ей казалось, что теперь не она уже говорит это, а другая Клавдия, лишь несколько похожая на прежнюю.

Страдания продолжались пять часов, и когда ее ввезли на тележке обратно в палату, где она провела ночь, маленькое существо пищало уже рядом с ней, в люльке. Увидев ее, соседка заплакала.

— Ничего,— говорила она,— ничего, моя милая, это всегда так бывает, скоро оправитесь.

Она дотащилась до Клавдии, обняла ее и поцеловала. Клавдия слабо пожала ей руку, взглянула на ребенка. Это было ее дитя, которого она ждала с таким трепетом и радостью. Но сейчас она ничего такого не чувствовала. Она только понимала, что случилось что-то очень удивительное.

Ее выздоровление как роженицы шло быстро; но с этого дня все, наблюдавшие за ней, стали в ней замечать странности.

XXV

После свадьбы Петя с Лизаветой поселились в Филипповском переулке. Переулок этот тих и мил, как бывают переулки в Москве, между Никитской и Пречистенкой.

Рядом с их домом был забор; оттуда простирал ветви над всей уличкой гигантский вяз; за ним — маленькая церковь, одна из знаменитых сорока сороков, наполняющих в праздник столицу звоном. Квартира их была старинная, с иконами, образами, мебелью в чехлах; были и птицы в клетках. Они снимали две комнаты.

Хозяйка вначале стеснялась — что студенты, но потом привыкла, и с Лизаветой у них установились добрые отношения; старушка нравилась Лизавете, а это значило, что она могла задушить ее поцелуями и нежностями.

Приблизительно так стояло дело и с Петей; их любовь была очень горячей, тесной, плотской. В эти месяцы, в Филипповском переулке, Петя узнал счастье обладания молодой женщиной, любимой и красивой. Действительно, страсть была стихией Лизаветы и высекала из нее огненные искры. Иногда Пете казалось, что Лизавета — вообще несколько полоумное существо, опьяненное светом и молодостью. Свет сиял в ее золотистых волосах, в янтарно-молочной коже, в ее поцелуях, глазах. Рядом с ней Петя казался себе тусклым и неинтересным. Конечно, он любит и предан ей, но он решительно ничем не замечателен, довольно робок и в обществе молчалив. Если бы не Лизавета, конечно, к ним никто не ходил бы.

Но теперь на это они пожаловаться не могли. Часто бывало мало денег, но всегда достаточно гостей. Как и на Кисловке, народ толокся больше после обеда, но получалось впечатление всегдашнего праздника.

Это не очень способствовало Петиным работам в университете; но факультет его был легок, к римскому праву все равно человека нельзя приохотить, а предметы философские, общественные, давались легко. В это время Лизавета подарила ему даже Карла Маркса, «Капитал»; на книге была сделана ее небрежным почерком надпись, блиставшая любовью, зажигавшая беспросветную книгу. Петя начал читать, но скоро отложил. Мысли же демократического характера скорее даже укреплялись в нем. Они не были резки и страстны, как у Лизаветы, но нередко теперь, размышляя о будущем, Петя рисовал себе его так, что, запасшись знаниями в университете, он войдет в жизнь борцом за слабых и притесняемых. Ему казалось, что он может быть полезным как адвокат в рабочих процессах.

И иногда, в соответствии этому настроению, он ходил на лекции в косоворотке и тужурке нараспашку.

Хотя в университете друзей у него не было, но чувствовал он себя здесь по-иному, чем в институте. Тут были ученые, известные всей образованной России. В некоторых ощущалось обаяние, которое дается славой, талантом. Все же университет был столбовой дорогой русской культуры.

Так слушал он энциклопедию и философию права. Ее читал популярный профессор, в которого Петя был даже слегка влюблен. Ему нравилось бледное лицо, тонкие руки, глаза, казавшиеся глубокими и как бы видевшие Абсолют, Справедливость, Добро. Он отстаивал идеализм, был новатором, говорил блестяще — ровным, слегка матовым голосом, и у студентов-марксистов в фаворе не был: они считали его оппортунистом. Пете же он представился существом залетным, из мира более изящного и возвышенного, чем обычный. И Платон, Сократ в его изображении подчиняли своему очарованию.

Конечно, ему хотелось по-настоящему держать себя на экзаменах. Хотя наступила уж весна, и в Филипповском переулке стаял снег, гремели пролетки, солнце заливало комнаты, и козлороги вели себя шумнее — Петя урывал все же время и подчитывал книжки по философическим вопросам.

На экзамен он надел новую тужурку и тщательно причесался; стало немного смешно, он посмотрел на себя в зеркало, покраснел и усмехнулся.

Когда он вошел в другую комнату, где был кофе, Лизавета читала газету. Кофе был холодноват — Лизавета не отличалась хозяйственностью, в открытую форточку веял весенний ветер; солнце золотилось в Лизаветиных волосах.

— Ты посмотри, какая сегодня реклама к коньяку,— сказала Лизавета, слегка зевая,— ужасно смешно!

И она стала читать вслух глупые стишки, чему-то смеялась, хотя в стихах не было ничего смешного. Но у Лизаветы были две слабости: рекламы и хроника происшествий. Петя тоже чему-то смеялся за нею; она соскочила с дивана, бросилась на него и поцеловала.

— Бог мой, Бог мой! — бормотала она, теребя его за уши, за нос.— У-ух ты!

Петя задыхался от смеха, щекотал ее, она взвивалась и прыгала, и вообще они вели себя безобразно.

— У меня сегодня экзамен, я провалюсь,— сказал Петя,— черт ты неугомонный.

— Ну, Господь с тобой! — Лизавета вдруг немного струсила и закрестила его.— Хорошо. Мне только хочется тебя еще раз поцеловать.

Когда он вышел на улицу и переходил на другую сторону, она высунулась в форточку и закричала:

— Я сегодня к Клавдии пойду, у ней ребеночек! Не попади под автомобиль!

Петя вспомнил, что Клавдия родила, что не все у нее правильно, но сияющий солнечный день, мысли об университете, экзамене довольно быстро овладели им. Его пробирало легкое волнение. Положим, он предмет знал. Были небольшие рифы, но неопасные. Все-таки хотелось показать себя с хорошей стороны.

Он пришел довольно рано и до начала экзамена успел подчитать о Юме и законе причинности. Это был один из самых скучных и отвлеченных вопросов.

Когда профессор вызвал его и своей белой рукой перетасовал билеты, Петя с тоской подумал: где же здесь проклятый Юм?

Но ему досталось «об умственных направлениях XVI-го века». Тут был Коперник и Галилей, кроме того, по недавно читанному роману он мог наговорить много хорошего о Леонардо да Винчи. Петя так и сделал. Про-

фессор глядел на него темными, магнетизирующими глазами, поглаживая черную бороду, и бледность его лица казалась Пете почти жуткой. Взгляд его был благожелателен, но, по-видимому, проникал насквозь.

— Да,— сказал он.— Очень хорошо. Мне хотелось бы знать, как вы смотрите на понятие причинности по Юму?

Петя вздохнул и стал рассказывать. Во дворе университета распускались деревья, в окно тянуло славным нагретым воздухом, и солнце блестело в пуговицах студенческих тужурок, нагревало молодые лбы, полные причинностями. Петя не сдался и на Юме, получил пять.

Это было приятно, но когда он шел домой по Никитской, то думал, что для знаменитого профессора он — один из сотен, знающих о Юме. Его же, Петю, с его мыслями о жизни, чувствами, стремлениями, профессор не знает и никогда не узнает. У Пети защемило сердце. Он думал о славе, блеске, о том, что некоторым людям поклоняются, как героям. Да, но что сделал он такого, за что его могут выделить из толпы?

Петя любил мечтать и чаще о таком, что было явно невозможно и к нему не подходило. Так и теперь, он стал воображать, что он лидер могущественной партии, честной и благородной, и ведет борьбу за отмену смертной казни. Несколько раз попытки не удаются, наконец, после долгих треволнений настает день, когда в парламенте происходит последнее сражение с врагами.

Петя сел на бульваре на лавочку и глядел на детей.

Он произносит лучшую речь в своей жизни. Аплодисменты друзей, вой врагов. Едва живой от волнения ждет он исхода голосованья. Наконец, в гробовой тишине председатель заявляет: «Верховной волей народа смертная казнь в России отменяется навсегда». Тут он не может уже удержаться и плачет, как ребенок. Ему кажется, что сбылось то, чему он отдал все силы и страсти своей жизни. Ему устраивают овацию, и толпа приветствует его на улице, а его счастье и благодарность Богу за одержанную победу так велики, что он не может сказать ни слова — его душат рыдания. Петя так взволновался, что чуть не заплакал и сам на бульваре, среди бела дня. Но и когда успокоился, эта фантазия легла ему на сердце чем-то легким, возвышенным.

Лизавета встретила его в расстройстве. Она только что была у Клавдии, и виденное произвело на нее тяжелое впечатление.

— Да нет, это такой ужас, ты и представить себе не можешь! Это были такие страдания... Да это просто что-то ужасное. И теперь она чувствует себя странно, говорит, что у нее какие-то странные мысли, боится своего ребенка. И нет денег, Степан Николаич бегает по всей Москве, ищет двадцать пять рублей... Нет, это что-то невероятное, я сейчас бегу закладывать брошку, так же нельзя. Это что-то невозможное.

Она успела-таки его на прощанье поцеловать, и умчалась устраивать Клавдины дела. Петя же остался в задумчивости. Он знал, что Лизавета бескорыстно добрый человек, и если ее разжечь, то она с удовольствием отдаст последнюю юбку. Но все-таки, когда он вспомнил о Степане, шевельнулось знакомое чувство неловкости: одни целуются бегают, их жизнь — праздник. Доля других сурова. Как быть? Да, и он сделает для Степана все, что понадобится, но именно то, что Степану всегда чего-нибудь не хватает, это и есть самый горький и печальный для Пети факт. Ему просто было несколько стыдно за свое счастье.

И, конечно, вышло так, как он чувствовал: Лизавета дала денег, и помогла, и обласкала Клавдию, и бегала по кормилицам, но все это продолжалось два-три дня и не заглушило их веселой, шумной жизни — лишь придало занятный оттенок.

Клавдию Лизавета сначала смущала, но это быстро прошло, так как Лизавета, действительно, была с ней проста и дружелюбна. Больше того: Лизавета решила, что Клавдия удивительная женщина, страдалица мать, и скоро она уже тискала ее в своих объятиях, восторгалась ребенком, и ее стесняло, что она с Клавдией на «вы».

— У вас чудная жена, чудная! — говорила она Степану в соседней комнате.— Да это просто какой-то ангел. Нет, она замечательная женщина, какие она перенесла страдания, и хоть бы что!

Степан покраснел густо, мучительно. Ему вообще было трудно с ней. Когда он глядел на Лизавету, ему казалось, что он в чем-то непоправимо виноват. Теперь, чем дальше шло время, тем яснее ему было, что он любит именно эту горячую женщину и что, сойдясь с Клавдией, он сделал страшную ошибку. Клавдия родила — он смотрел на ребенка, и его ужасало, что в сердце своем он не находит к нему любви. Ему было жаль и жену, столько намучившуюся, и пугало то новое, что в ней появилось после

родов: но все это была не любовь, совсем не любовь.

Его радовало и терзало, когда приходила Лизавета, и каждый раз он думал, что лучше бы она не приходила, но потом ловил себя на том, что именно огромное, мучительное счастье, когда, запыхавшись, раскрасневшаяся, и всегда чем-то опьяненная, влетает Лизавета.

А Лизавете и некогда было долго сидеть: дома ждет Федюка с какой-нибудь затеей, или Зина. Зина непременно с поклонником, новым или старым, смотря по обстоятельствам. Или у Зины недоразумения, надо их улаживать. А еще: в клубе читают реферат, и необходимо идти туда, потому что мала партия молодежи, надо поддержать поэта, когда он будет громить буржуев.

Так сбежала Лизавета от Клавдии, когда явилась Зина с известием, что из Польши приехал пан Кшипшицюльский и будет читать в Историческом музее о символизме, Пшибышевском и разных любопытных вещах.

— Послушай,— говорила Зина, загадочно блестя черными глазами,— преинтересный! — такой ходы́, прелесть. Мне цветов поднес, с тобой хочет познакомиться...

Потом она присела и захохотала.

— Милая, он в накидке! — страшно смешной, но очень ходы́, по-русски говорит неважно.

Лизавета, конечно, взволновалась — раз приехал из Польши, о Пшибышевском, значит, что-нибудь да есть.

И тотчас они помчались к общим знакомым и оттуда вернулись с паном, который должен был пить у них чай.

Пан был человек европейский, напитанный Мюнхеном, немецко-польской богемой, с двумя десятками страшных слов, от которых замирали дамы — действительно, в накидке и подкаченных штанах. Он покровительственно пил чай, имел такой вид, что удивить его чем-нибудь трудно и что наверно он самый умный и замечательный из литераторов.

— Меня известили,— говорил он Лизавете,— что вы сочувствуете идеологиям нового искусства. Весьма доволен с вами познакомиться.

Петя сидел молча и покусывал губы. Но пан был любезен, со всеми учтив, лишь к себе относился явно восторженно. Его интересовала и возможная цифра сбора. Лекцию свою он читал уже в нескольких городах России и всегда «с колоссальным успехом».

Он расспрашивал о Москве, русских писателях, русской жизни. Ко всему, что он говорил, у Пети было

двойственное отношение: с одной стороны, от пана явно отдавало шарлатанством, с другой — в светлых голубых глазах его было что-то наивное. Кроме того, в нем чувствовалась жизнь Европы, чего Петя не знал еще совершенно. И его рассказы в некоторой мере были занятными.

Пан просидел до вечера, потом уехал с Зиной. Условились, что встретятся в четверг, на лекции, а оттуда его привезут в Филипповский переулок, где по этому случаю будет банкет.

XXVI

В день лекции у Пети был последний экзамен. Он сдал его благополучно, но задержался, пришел домой к шести. Лизавета ждала с обедом и тревожилась.

— Наконец-то! — сказала она, когда Петя вошел.— Ух, как я рада, я уж думала, тебя задавили.

Она бросилась на него и поцеловала. При этом Лизавета так ухватила его за ухо, что стало больно.

— Какие глупости,— сказал Петя морщась.— Кто меня задавит?

Лизавета отошла от него.

— Ты, кажется, недоволен, что я тебя поцеловала? — спросила она.— Извини, пожалуйста. Больше не буду.

— Дело не в поцелуях, а ухо мне больно, это верно.

Пете показалось, что она его даже оцарапала. Он взглянул в зеркало и увидел свою раздраженную физиономию. Никакой крови, конечно, не было.

— Что ты на меня так зло смотришь? — спросила Лизавета, вспыхнув.— Я же сказала, что не подойду больше к твоей священной особе.

Петя решил, что он мужчина и должен сдержаться. Он промолчал. Но Лизавета поняла это так, что его шокируют ее нежности. Отсюда ее кипучая мысль неслась к заключению, что он ее не любит.

За обед сели молча. Молча съели суп, за жарким Лизавета не выдержала.

— Я только не понимаю,— сказала она, побледнев,— к чему комедии? Если ты меня не любишь, скажи прямо. Не беспокойся,— прибавила она тем якобы холодным тоном, за которым скрывалось отчаяние,— я сумею уйти. Мне милостей не нужно.

Петя был поражен. Все его так называемое благоразумие вело Бог знает куда. Нервное напряжение росло. Ему хотелось спорить, доказывать, опровергать.

— Позволь,— ответил он все с тем же злым лицом.— Откуда ты взяла, что я тебя не люблю?

Жаркого не доели. Лизавета выскочила в другую комнату; спор разгорелся. Оба волновались все больше. Лизавете вдруг представилось, что Петя и не любил ее никогда, что их брак — вздор, что надо по-другому устроить все. В пылу препирательств Петя назвал ее истеричкой, это подлило масла в огонь, Лизавета задрожала, лицо ее исказилось, и она закричала:

— Ну и отлично, ты меня больше не увидишь, не желаю!

Она сорвалась с места, ураганом пронеслась в переднюю, накинула шляпу, и через минуту голос ее с улицы крикнул:

— Ужинать прошу не ждать!

Петя остался один, в самом удивительном состоянии. Он пробовал думать, лежать, ходить — не помогало. Сначала сердился — все это казалось ему капризами; его раздражало, что сегодня должны быть гости, а она удрала. До чего все нелепо! Но прошел час, два, Лизавета не возвращалась; он успел остыть, и самые мрачные мысли затолпились в его голове; правда, Лизавета невменяемое существо,— а вдруг она бросится в Москву-реку? Или вообще что-нибудь над собой сделает? Петя совсем похолодел. Он взял палку, фуражку и тоже вышел.

Уже вечерело, до лекции оставалось немного. Солнце село, Филипповский переулок, такой славный и тихий утром, был пустынен, несчастен. Петя вышел на Пречистенский бульвар: все то же. Он один, жалкий, заброшенный студент Петя, которому некуда преклонить голову. Он прошелся, глядел, как заря гаснет за липами, посидел на скамеечке — но все то же чувство одиночества, заброшенности томило его. Наконец, стал строить планы, как будет жить один: да, общая жизнь, полная света и веселья, не удалась — может быть, это именно указание, что он должен посвятить будущее служению чему-то большому. Пусть эта жизнь будет горька и одинока, значит, так надо.

И снова Петя воображал себя борцом за правду, добро, живущим в мансарде, в бедности и одиночестве, полный благородного мужества.

Так бродил и фантазировал он часа два, а потом устал. У него было смутное чувство, что все же надо идти на лекцию.

Как был, не переодеваясь, он отправился в музей.

Кто не знает крутой аудитории, глубоких скамей, запаха чистоты и чего-то, напоминающего физический кабинет, электрического света и фигуры лектора за столиком — сегодня химик, завтра философ, послезавтра декадент? Это Исторический музей.

Во втором ряду, тотчас, как вошел, Петя увидел рядом две шляпы — Зина и Лизавета. Зина весело кивнула ему, дружественно поманила пальцем. Лизавета сидела, как каменная.

Петя медленно пробрался к ним. Лизавета глядела мимо. Он сел, и ему показалось, что теперь уже все погибло. Ему вспомнились первые дни их любви, вечер у Зины, поцелуи у дверей квартиры на Кисловке. Неужели это пропало — как дым?

Лизавета преувеличенно хлопала Кшипшицюльскому; тот распинался за Пшибышевского, говорил что «искусство — это молитва»; налезал грудью на кафедру и изящно отставлял назад ногу.

Петя вспомнил, что сегодня все будут у них, и этот поляк во фраке,— и ненависть поднялась в нем глухой волной. Он с радостью заметил, что лакированная ботинка, которой так мило играл Кшипшицюльский, лопнула по шву.

Но тот не обратил на это внимания; как сирена распевал он о новом искусстве, костил реализм, читал плохие переводы из Метерлинка и Тетмайера.

— Вам нравится? — спросил Петя Зину.

Зина взглянула на него вбок своим черным глазом и сказала:

— Я мало понимаю.— Потом прибавила: — Но он страшно славный, вы не думайте, он страшно ходы́.

И Зина весело засмеялась. Казалось, этой красивой и приятной женщине как-то все равно было, что лекция, что концерт, что искусство, ей нравилось смеяться своими черными глазами и забавлять свое сердце.

— А по-моему, очень хорошо,— сказала Лизавета наставительно, не своим, холодным тоном.— Отлично все понятно.

Петя знал, что это сказано для него. И сердце его ныло от нового укола.

В антрактах ходили поздравлять Кшипшицюльского; все это для Пети было мертво. С Лизаветой за весь вечер он не сказал ни слова.

По окончании лектору хлопали, но не особенно,— больше свои. Кшипшицюльский был не очень доволен, сбор оказался скромным, и вместо «Праги» он не прочь был ехать в Филипповский переулок.

Его окружили кольцом — Федюка, Алеша, приехавший к концу, дамы, и он, натянуто улыбаясь, благодарил. Тронулись к выходу.

— Надеюсь,— сказал Федюка,— что вы не откажетесь от русской водки? Или же предпочитаете коньяк, абсент?

— Я могу пить и абсент,— ответил Кшипшицюльский, будто делая одолжение.

— Есть,— сказал Федюка.

Кшипшицюльский закутался в венскую накидку, подвернул брюки и, высоко задрав в пролетке ноги, сел с Зиной. Лизавета сделала вид, что не хочет ехать с Петей, но все же вышло так, что они оказались вместе.

Извозчик задребезжал, они поплелись мимо Александровского сада. Петя сидел уныло, рядом с ним был чужой человек, ненавидящий, казалось, его. Вокруг была весенняя Москва — простая, так располагавшая к счастью, радости. Проехали Манеж, Университет. На углу Воздвиженки пахнуло свежей листвой: это распустились ветлы в саду Архива Иностранных Дел,— их бледно-зеленые купы ясно выступили на небе. Петя ощутил острую, неутолимую тоску и взял Лизавету за руку. Лизавета ее не отдернула. Но и не пожала, только вздохнула. Тогда Петя стал гладить ее с лаской и нежностью. Ему хотелось выразить в этом всю свою любовь, всю просьбу о прощении, примирении. Но Лизавета молчала, лишь стала вздыхать, и фигура ее, доселе преувеличенно прямая, как-то ослабла, опустилась.

— Прости меня,— шепнул Петя.— Прости, не сердись.

Лизавета опять ничего не ответила, но рука ее слегка передвинулась, будто хотела найти Петину руку и о чем-то ей сказать. А Петя полуобнял ее, и теперь в светлых майских сумерках она стала для него опять своей, родной и любимой.

Извозчик не довез еще их до сворота в Филипповский, как вдруг Лизавета велела остановиться — у начала Пречистенского бульвара, где теперь Гоголь. Тогда Гоголя не было. Лизавета легко спрыгнула, Петя ничего не спросил, рассчитался с извозчиком.

— Пускай подождут,— сказала Лизавета, кивнув в

сторону Кшипшицюльского и Зины, скрывшихся за углом. Потом она дернула Петю за рукав. На бульваре было мало народу.

Лизавета быстро вытянулась, как серна, оглянулась направо, налево, и крепко обняла Петю.

— Милый,— шептала она, целуя его.— Милый, я дрянь, ну, конечно... страшная дрянь,— зашептала она быстро и страстно...— Конечно, я истеричка. Ну, хочешь, побей меня... например, я лягу, а ты наступишь мне на голову, и каблуком, каблуком...

Лизавета находилась в том счастливом, радостном, и как бы творческом возбуждении, которое и было ее стихией. Став на эту линию, она готова была на подвиг, самопожертвование с такой же легкостью, с какой бросалась Пете на шею.

— Нет, ты меня не презираешь? Ты должен правду сказать. Если да, так я сейчас с Каменного моста прыгну. Нет, верно? Но ведь я тебя ужасно мучаю? Я капризная, стерва, нервная дрянь... Неужели ты меня еще можешь любить?

На скамейке бульвара, где целуются по вечерам с возлюбленными модистки, но тою же весной, при тех же распускающихся липах и звездах, Лизавета бормотала Пете о любви, счастьи,— том ослепительном, чем была полна ее молодая душа.

Петя тоже был счастлив. Лизавета забыла о гостях, о Кшипшицюльском, которого сама же позвала.

— Не хочу уходить,— говорила она, прижимаясь к Пете.— Мне так хорошо, больше ничего мне не надо. Подождет Кшипшицюльский.

Она захохотала и слегка укусила Петю за шею.

— Ты еще не знаешь, какая я мерзавка,— сказала она.— Если б ты видел, как я с этим поляком финтила. Милый,— вскрикнула она, как бы в испуге,— не думай, это я все назло тебе — даже и не назло, я тебя все время страшно, страшно любила, только мне показалось, что ты меня разлюбил... А ты думаешь, мне Кшипшицюльский нравится? Вот он мне что, тьфу...

Лизавета азартно плюнула.

Был двенадцатый час, когда стало уж ясно, что больше сидеть нельзя, дома произойдет смятение.

Дойдя до этой мысли, Лизавета быстро сообразила, что надо делать: она в момент подобрала юбки и, хохоча, крикнув: «Домой»,— помчалась в переулок. Петя едва по-

спевал, в редких прохожих они вызывали изумление, испуг. Но Пете страшно было весело, как-то необычайно весело лететь майской ночью по переулку, за своей звездой.

В полумгле мелькали знакомые стройные ножки. Через три минуты были дома.

XXVII

— Позвольте-с,— сказал Федюка Лизавете,— на что же это похоже? Мы ждем полчаса, час,— хозяев нет. Наши все в сборе, а без вас, так сказать, как без рук. Это не годится. И Бог знает куда пропали. Нет, это не модель.

Кшипшицюльский имел важный и спокойный вид: все равно, мол, должны еще быть благодарны, что пришел. Зина как будто соскучилась с ним: у нее стали сонные глаза. Алеша сидел отдельно с Анной Львовной, на окне, выходившем в переулок, и, подыгрывая на гитаре, напевал:

Я здесь, Инезилья, стою под окном.
Объята Севилья и мраком и сном.

В большой комнате Федюка соорудил стол, порядочно накрытый, с цветами, огромной бутылью белого вина, окороком и всякой доброй снедью.

— Ну,— сказал Алеша,— пришли. Пора. Ведь, это черт знает, есть хочется.

— Успеешь,— ответила Лизавета.— Пан, чего вы там важность напускаете? — Она посмотрела на него, потом вдруг захохотала.— Смешной вы, как ребенок!

Она схватила Петю под руку и бурным маршем прошла к столу. Козлороги, барышни, студенты, все кинулись по местам. Федюка поздравлял Кшипшицюльского водчонкой, пил за процветание искусства и выразил мысль, что со своей стороны, как русский дворянин, мог бы этому посильно способствовать.

— Способствовать? — переспросил Алеша.— Да чем же, что ты врешь?

— Конечно,— ответил Федюка с достоинством,— я не богат, но и не нищий, это раз. Например, если бы какой-нибудь журнал... Ну, современный, что ли... я бы мог дать пай. Для меня, могу сказать, хорошие люди — все.

— Пан,— сказал Алеша,— вы не думайте, он вам денег не даст.

16 Заказ 262

Кшипшицюльский повел глазами удивленно, слегка шокированный, и ответил:

— Разве ж я собирался печатать журнал?

Алеша еще больше развеселился.

— Да ничего, может, и даст. Он добрый, простой человек. Тюфяк... Размякнет, так и даст.

— Повторяю вам, мне безразлично, даст ли мне господин денег на журнал или нет, потому что я не собираюсь становиться издателем.

— Господа,— сказал Петя, подымаясь со стаканом вина,— обращаю ваше внимание на то, что сегодня у нас прощальный бал.

Петя на радостях подвыпил, щеки его закраснели.

— Да,—продолжал он,— мы на днях уезжаем, год кончается, надо выпить за наши добрые отношения, друг за друга. Имейте в виду, господа, что никто не знает, что будет в следующем году. Может, мы станем иными или другое время будет, во всяком случае, сейчас я подымаю стакан за наше доброе содружество, за веселый, славный год.

— Браво! — закричали кругом.— Оратор! Мирабо, талант! — Петя сам захохотал над своим красноречием, но все же у него было чувство, что он кое-что сказал правильно. Верно, год кончался, и для него, Пети, в этом году было столько света, радости, неведомых раньше чувств, что в его жизнь он врезался незабываемой чертой. И не мог он не сознаться что ему жаль бросать Москву, Филипповский переулок, и не очень хочется к дедушке в деревню.

— Все едут,— говорил Алеша,— кто куда. Должен сказать, что я тоже уезжаю.

— Почему всеобщее бегство? — спросил Федюка, закусывая редиской седьмую рюмку.— Для чего? Куда?

— Мы едем в Крым с Анной Львовной,— ответил Алеша.— Солнышка хочется, моря. Думаю обойти пешком южный берег... К Кавказу, в Сочи, на Новый Афон. Все хочется посмотреть, простой жизнью пожить.

— Да,— сказал Федюка глубокомысленно,— природа. Это великое дело. Я же, должен сознаться, преимущественно люблю русскую природу. Как-никак,— он гордо выпрямился, и красный жилет его еще больше надулся,— я русский дворянин, в шестой книге записан. Я был за границей, но не люблю. Не одобрил.

Он налил себе восьмую и прибавил:

— Такого продукта там не найти.

Между тем, бутыль донского убывала. Студенты разволновались, поднялись споры. Лишь Зина с Кшипшицюльским молчаливо засели на диване в соседней комнате и что-то шептались. Анна Львовна села за пианино, начались танцы. В углу студент с фарфорово-бледным лицом и голубыми глазами напирал на противника, крича:

— А Византия? Вы забываете влияние Византии?

— Я утверждаю, что новое искусство вносит благодетельную революцию, и постольку оно желанно.

— Но оно корней не имеет! Где корни? Все русское просвещение шло с Востока, нам не привьешь парижских выдумок.

— Позвольте, Пушкин воспитывался на французах...

— Вы противоречите себе. Пушкин ругался, как извозчик, и любил московских просвирен.

— Господа, в сторонку, невозможно же, мешаете танцевать.

Но византинист с голубыми глазами уже ничего не слышал: он наседал на врага, сторонника стиля модерн, стараясь подавить его Византией.

К двум часам, когда стало светлее, решили, что расходиться рано; следует ехать за город. Денег было мало, но настроение росло; нервная сила не израсходована, дивна майская ночь,— и нельзя было удержать эту ватагу.

Раздобыли извозчиков, скромных Ванек, и, усевшись по трое, поплелись в Петровский парк.

В Москве светало. Гасли фонари, бледные, очаровательные тона рассвета проступали над Триумфальной аркой. Улицы были пусты, лишь временами мчались лихачи. Алеша соскочил со своего извозчика, догнал переднего, где сидели Петя и Лизавета, вспрыгнул старику на козлы и, обняв его, подгонял лошадь. Потом так же моментально удрал. Сзади на него улюлюкали, гикали, свистали.

В «Мавритании» пили кофе с коньяком, хохотали, болтали, нельзя было понять, о чем, собственно, идет речь, но всем было необыкновенно весело. Подымалось майское солнце и косым лучом, сквозь деревья парка, ударило по ресторану, усталым официантам, молодежи.

Федюка встал и, обращаясь к Лизавете, сказал:

— А теперь предлагаю выпить за председательницу, дай ей Бог здоровья и многая лета, а также плодоносность чрева. Ура!

Федюка поднял бокал, все зашумели, зачокались, позд-

равляли, и на этом бал кончился: было половина пятого, ресторан запирали.

Назад шли пешком. Старый парк был пронизан светом, утренним, неизъяснимо-свежим. Трава серебряная, в росе. Чуть дымится пруд. Глубок, пахуч, прекрасен воздух.

Петя не чувствовал под собой ног, Лизавета тоже. Светлое, радостное возбуждение, опьянение, независящее от вина, владело ими. Не силы ли самой весны, любви несли их? Это возвращение ярко врезалось в память, как праздник света и счастья, когда все существо человеческое полно огня, который, как говорят, сходит с неба.

По Тверскому бульвару шли втроем: Алеша, Петя и Лизавета; остальные уже разбрелись. Бульвар был также чист; голуби стайкой бродили у кафе, позлащенные солнцем.

Лизавета вдруг свернула в боковую дорожку, быстро опустилась на колени и горячими губами, так часто горевшими на Петиных, поцеловала эту убогую, но родную землю Москвы. То же сделал и Петя. Алеша улыбнулся на них, свистнул и цыркнул на голубей, радужной тучкой взлетевших при их приближении. Эти светлые голуби, засиявшие в солнечном блеске, показались вестниками чего-то доброго. На глазах Лизаветы выступили слезы. Петя взял ее под руку. Она на минуту замедлила шаги, будто устала от волнений.

— Как я счастлива! — шепнула она.— Если б ты знал!

Петя знал это, по себе. Он с любовью пожал ее руку.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

XXVIII

Алеша с Анной Львовной тронулись на юг в мае, в разгар весны.

Уже за Бутовым, под Москвой, Алеша увидел зеленеющие березки, всходы яровых, грачей. Было тепло, солнечно, доносилось благоухание весенней России. Алеша несколько ошалел. Ему хотелось крикнуть что-то этим полянам, прижать к сердцу весь мир: это был первый его выезд в далекие края. Все его радовало и волновало.

В Курске было почти жарко, под Харьковом начались степи. Они смущали его. В их беспредельности, в пустынности дальнего горизонта, в ветряках, курганах, ястребах было нечто не отвечавшее его душевному влечению: он не мог бы наполнить своей любовью этих пространств. Когда вечером, за Лозовой, поезд остановился на глухом полустанке, и, выйдя на платформу, Алеша взглянул на степь, на туманно-сизый горизонт, на овраг, вспыхнувший в заходящем солнце,— сердце его защемило. Гудели проволоки; путь, усеянный ракушками, уходил вдаль. Зажгли зеленый огонь, темнело. Ощущение Алеши была, вероятно, космическая тоска.

— Не хотел бы тут жить,— сказал он Анне Львовне,— Бог с ними!

Но утром он проснулся уж в иной стране. Показались горы, поезд шел долиной; с высот Инкермана внезапно открылось море. Алеша не сразу понял, в чем дело. Не сразу он догадался, что темно-синяя громада, незаметно переходящая в небо, и есть Черное море. Оно оправдывало свое название. Какая могучая, роскошная синева! Алеша залюбовался.

— Ну вот это я понимаю,— говорил он, с волнением.— Фу-ты, прелесть какая!

— У тебя глаза загорелись,— сказала Анна Львовна.— Я тебя люблю,— прошептала она, слегка прижимаясь к нему,— и твои волосы, и глаза, и никому тебя не отдам!

Алеша взглянул на нее весело.

— Молодец, Анна.

— Может быть. Я степная, ты знаешь.— Она захохотала.— Степная кобылица!

Они смеялись, болтали. Но все же чувствовали поразному. Смутно угадывала Анна Львовна, что не весь Алеша принадлежит ей. Что слишком он горяч, непоседлив, слишком многого ему надо. Это ее несколько томило: она старалась думать о другом.

Впрочем, сейчас не время было размышлять; подъезжали к Севастополю.

Севастополь — город белых домов, белых улиц, моряков, исторических воспоминаний. Что-то приятное есть в нем. Но разглядывать его некогда. Надо садиться на парного белого извозчика и катить вниз, к пристани, где дожидается какой-нибудь «Пушкин», или «Александр».

Публики оказалось много; каюты заняты, свободна лишь палуба, да и на ней порядочно народу. Но это

ничего. День чудесный, ветер из Турции соленый, влажный, и такой же приятно-мощный, как море. Да и качку на палубе легче сносить.

Полчаса ушло на возню пред отходом; крутили лебедки, давали то передний ход, то задний; ревел гудок. И, наконец, плавно тронулись. Прощай, суша, надо махать платочками оставшимся, крепче держаться за шляпу, и ждать новых, морских чувств.

В ходе корабля прекрасно то, что не ощущаешь напряжения; глухо шумит машина, ветер бьет в лицо, и чудно разваливаются волны, разрезаемые носом: прозрачная, вольная стихия.

Бухта, белые здания, катера, крепость, все это куда-то уходит, а синее море, спокойное, сильное, мягко качает, шлет белых барашков.

Алеша стоял у борта без шляпы. Ветер трепал его волосы, на побледневшем лице были морские брызги. Казалось, если поцелуешь его, вдохнешь запах моря.

Так, в яркий ветреный день, при темно-голубом море, шли они вдоль берегов древней Тавриды. Алеша всматривался в эти обрывистые берега, обнажавшие местами красный камень, и ему казалось, что где-нибудь в глубоких ущельях сохранился еще алтарь Ифигении. Потом мысли его перешли на греков, бороздивших некогда это море в своих судах, представились аргонавты, отчаянные мореплаватели, гнавшиеся за счастьем,— и ему вдруг захотелось вдохнуть в себя всю былую жизнь, все приключения, опасности, наслаждения смелых людей. Справа расстилался необъятный горизонт; его мечтанья тонули в этом золотистом просторе.

Понемногу, однако, дала себя знать качка. Палуба опустела, всюду внизу попадались измученные лица. Алеша с Анной Львовной держались, лишь слабость одолела их. И курьезно было видеть, как к обеду на пятьдесят человек явилось пять-шесть. За всех ел здоровенный севастопольский гимназист.

Солнце уже садилось, когда показалась бухта Ялты. Как всегда, любопытные стояли на молу, толкались комиссионеры, татары. Горы залиловели, легкое облачко остановилось над Ай-Петри. Выглянула первая звезда. В шуме и толкотне Ялты был уже юг; юг в звуках оркестра из сада, в кафе, светлых костюмах.

Алеша с Анной Львовной поехали в коляске в Алупку. Ночь пришла быстро, зажглись звезды; ровным шумом

доносился плеск моря. Они сидели молча. Разные мысли занимали их. Анна Львовна вспомнила свою прежнюю жизнь, увлечения, грехи, которых было немало; и ей чувствовалось, что именно теперь, наконец, под тридцать лет она полюбила страстью решающей, безысходной. Ей было и страшно, и радостно. «Что ж,— думала она горделиво,— он мой». И в темноте глаза ее блистали ярче, сердце билось. Она знала, что если его не удержать, то ее жизнь должна пропасть.

Алеша же радовался ночи, звездам, светлякам, летавшим вокруг. Ему нравилось, что он взрослый, молодой, любящий и любимый человек, что он будет купаться в море, кричать в горах, что ему хочется целоваться, и что он готов поцеловать весь свет.

— Черт возьми, татары! — говорил он в одном месте, когда проезжали через деревушку.— Ну народ! Скоро ж мы в Алупку в эту доедем? Дорогой,— говорил он кучеру,— поторапливай, чего там!

Когда въезжали в Алупку, пробило десять. Кривые улички были темны, круты, в кофейнях сидели турки. Лаяли собаки.

Они сняли верх небольшой дачи, стоявшей особняком. В палисаднике росли абрикосы. С балкона, в далекой мгле, обозначавшей море, они разглядели красный и зеленый огни: шел пароход. Под впечатлением звезд, моря, дальних горизонтов, кораблей, идущих неизвестно куда из неизвестных мест, Алеша лег спать. Чувствовал он себя легко, как-то по-детски: казалось, мог бы вскочить и полететь, как большая птица, в далекие южные края, навстречу теплу, солнцу.

XXIX

Их жизнь в Крыму, как и предполагал Алеша, приняла характер идиллически-романтический. Они занимались своей любовью и затем природой — солнцем, морем.

И моря, и солнца было тут довольно; большую часть дня проводили они на воздухе. Нередко, поднявшись над татарской деревней, миновав садики роз и миндаля, забирались в горы.

Подъем крут, но утреннее солнце еще не жжет; Алупка обращается в небольшое птичье гнездо на скалах, и шире, роскошней расстилается голубой туман моря. Огромное небо над ним, как Божья чаша, полно света.

К полудню, когда становится жарко, они уже в черте лесов, круто бегущих к Ай-Петри.

Здесь можно сделать привал. У Алеши с собой бутылка вина, сыр, хлеб. Анна Львовна снимает шляпу, ее белая кофточка сияет в зелени южных сосен. Сквозь просветы стволов виднеется синева моря; на нем, как обрывки мечтаний, паруса рыбацких суден.

По мху, по камням, Анне Львовне, играет веселая светотень. Алеша расстегнул ворот рубашки и подставляет часть обнаженной груди солнечным лучам. Он лежит на спине. Начинаются фантазии. Хорошо бы поселиться где-нибудь на краю света, в огромном саду, питаться плодами, целый день быть на солнце и ходить без одежды. Все остальное можно забросить, потому что природа — самое важное, и даже единственно важное.

— Около Сочи есть сады,— говорит Анна Львовна.— Хочешь, можно наняться туда, помогать сторожам.

Отчасти это Алеше нравится, отчасти нет. Караулить рай земной! Занятие немного странное. Впрочем, можно только считаться сторожем, и ничего не делать.

Как бы то ни было, мысль о природе занимала Алешу. Кроме солнца, он открыл здесь еще великого друга — море.

Погружаясь каждый день в стеклянно-прозрачную влагу, подымаясь над ней блестящим телом, Алеша почувствовал крепкую связь с этим чудным существом. Он фыркал, ухал, ругался от радости. Ему нравилась и тишина, и прибой, но больше всего — купанье.

Это пристрастие к морю охладило его несколько к Алупке. Захотелось дальше от людей, чтобы пляж был просторней, чтобы одним можно было купаться.

Анна Львовна этому сочувствовала. Сначала они ограничились тем, что ходили в Симеиз, но потом у Алеши явился более обширный план; пройти пешком по всему Южному берегу, к Кавказу.

Около Сочи у Анны Львовны жила сестра. Они отправили туда вещи,— взяли с собой лишь самое необходимое, и с палками, дорожными сумками тронулись.

До Алушты шли три дня, устали, были веселы, но у них было ощущение, что настоящее еще впереди. Действительно, за Алуштой кончилась область курортов, и путешествие стало интересней.

Они шли уже по пустынному берегу. Налево горы, понемногу понижающиеся, переходящие в холмы, направо

море, даль, берега неизвестных стран. Звезды ночью, днем солнце, соленый ветер, пустынность, пески под Феодосией, отдыхи на свежем воздухе, ночлег у волн — сколько большой и прекрасной поэзии! Иногда по ночам они вместе купались, не стесняясь костюмами; потом вместе лежали на песке, под бледным отсветом звезд. Их не смущала нагота, и, целуя ее тело, слегка белевшее в сумраке, Алеша чувствовал, что поступает правильно. Во всплесках моря, трепете звезд, ветерке он чувствовал одобрение.

Иногда и днем, в местах, где можно, он шел нагим. Вначале было несколько смешно, и даже Анна Львовна дразнила его; кроме того, болела от солнца кожа. Но потом он привык и к своему телу.

Он загорел, пропахнул солью, морем и солнцем; глаза стали еще голубей, окрепли мускулы. Отношения с Анной Львовной были отличные.

— Ты теперь мой,— говорила она, обнимая и целуя его.— Я это чувствую, я тебя люблю, и сейчас не ревную.

Она задумалась и сказала:

— Могла ли я раньше думать, что буду бродить здесь с тобой у моря. Но я очень счастлива, очень!

Вздохнув, она прибавила:

— Если бы существовали боги Греции, о которых ты часто упоминаешь, они позавидовали бы мне.

— Боги позавидовали бы? — сказал Алеша.— Ну и отлично. Чего тебе еще?

— Да, ведь, кажется, они в таких случаях карают?

— Пустое. Э, чего там! Хорошо и хорошо.— Он махнул рукой. Потом слегка толкнул ее в бок: — Видишь, камень у берега? Кто скорей?

— Так, по-твоему, ничего? Правда, ничего?

Анна Львовна повеселела. Через минуту они бежали наперегонки к этому камню, потом валялись под ним на солнце, скромно завтракали. Боги, казалось, сочувствовали, охраняли их.

В Феодосии сели на пароход. Ехали скоро, приятно. Приятно было и слезть в Сочи, где их приняла сестра Анны Львовны, женщина-врач типа семидесятых годов. У ней был вид всегдашней курсистки, доброе сердце и душа, полная заветов народничества. Раньше она жила здесь в колонии, а потом колония распалась, и она осталась одна, на клочке земли с виноградниками. Существовала она очень скромно, хозяйничала, лечила. Замужем никогда не была.

В ее маленьком домике, среди виноградников, дынь, арбузов, идиллическая жизнь продолжалась. Анна Львовна помогала на кухне, работала в огороде, купалась; Алеша целые дни жарился на солнце и тоже возился в саду, несмотря ни на какой зной. Сначала Марья Львовна стеснялась, потом это прошло, и ее не удивляло, когда издали замечала она его крепкую фигуру в одной шляпе.

— Я б хотел всех приучить, чтобы меня не стыдились,— говорил Алеша.— Вас я все-таки шокирую, Марья Львовна. Я уж вижу. Как меня увидите, так в сторону. А зачем?

Марья Львовна смеялась беззлобно.

— Голубчик, меня уж увольте. Я понимаю, что к наготе можно относиться здраво, но все же не привыкла к таким...— она опять улыбнулась,— экспериментам.

И действительно, поздно было переучивать Марью Львовну, выросшую в свою эпоху, воспитанную на Успенском, Михайловском. Когда по вечерам, за самоваром, она рассказывала о своей молодости, о друзьях, из которых одни погибли, другие томятся в каторге,— иная жизнь открывалась перед ними. Девушки, бросившие богатые семьи; десятки лет Шлиссельбурга, мучения ссылок, отказ от любви, гибель по глухим углам Сибири. Все это — со спокойной, ясной душой.

— Веру я знала хорошо,— говорила Марья Львовна слегка глухим от волнения голосом.— Я не встречала уже потом такого человека. Теперь она сидит двадцать два года. Недавно умерла ее мать. Всю жизнь она добивалась повидать ее: не пустили. С тем и умерла.

Алеша встал и прошелся.

— Молодцы были,— сказал он,— что и говорить, молодцы. Только... я бы все-таки не мог. Я сам хочу жить. Не желаю своей жизни отдавать. Я б не выдержал.

— Теперь другое время,— сказала Марья Львовна, снимая очки.— Теперь все иное. Ведь вот, если б вы тогда решили так гулять, как в саду ходите, вас, извините меня, засмеяли бы. А теперь ничего.

Алеша не возражал, но хотя она внушала ему симпатию, и ее далекие, несчастные друзья наверно были люди отличные, все же он чувствовал и за собой правду, и за своим временем — значение. Что бы там ни говорили, Алеше не понравился бы Златовратский. И на передвижные выставки он не ходил. А великих французских художников последних лет сверстники Марьи Львовны все равно

не одобряют, и не знают. Как не признают современной русской лирики.

И, не смущаясь Марьей Львовной, Алеша по-прежнему проповедывал вольное житие, любовь, природу. По-прежнему он бродил днем у моря, по-прежнему купались они вместе с Анной Львовной, только теперь еще, от жаров, Алеша поедал массу черешен. Иногда, к великому смеху Анны Львовны, упивался вином и изображал из себя Ноя.

Так шла их жизнь, незаметно и легко, как жизнь рыб в морях, птиц, веселых летних стрекоз. И так же внезапно она оборвалась.

Анна Львовна была весела, резва, как никогда. Казалось, ей убавилось сразу несколько лет. Она ловила даже рыбу, со знакомыми рыбаками, и за последнее время изобрела спорт: плаванье. Плавала на часы, до намеченной цели.

По этому случаю Алеша иногда даже ругал ее.

— Не люблю,— говорил он.— Ты отчаянная, конечно, а все-таки одна не плавай. Не моги.

Но в Анне Львовне просыпалось упрямство, черты степной помещицы: ей именно хотелось одной, и чтобы было опасно.

— А как же я с борзыми? Тоже, ведь, одна, только на лошади. Вот и все.

Алеша махал на нее рукой. Не переспоришь.

Все это привело к тому, что раз, в ветреный день, когда жгло сухим жаром, Анна Львовна бросилась-таки плыть к мысу, за версту расстояния. Алеша видел это с балкона и рассердился. Волна была порядочная, зеленая и, как бывает в бурные дни, нечистая. В ней плавали водоросли; местами по морю, у берега, проступили ржавые пятна.

Он с неудовольствием прошел по выжженному саду и спустился на пляж. Голова Анны Львовны, в красном чепце, виднелась шагах в ста. Алеша разделся и прыгнул с размаху. Тотчас большая волна с мягкой силой ухнула ему в голову; он фыркнул, пробил ее и, сильно работая руками, поплыл. Плыть было трудно; он старался идти в три четверти волнения, но красный чепец упрямо вел его как раз в лоб ветру. Он сердился, но плыл. Так продолжалось с четверть часа, наконец, он почти догнал ее. Его отделяли всего несколько валов, но удивительно было то, что чепец как-то бесцельно болтался на одном месте, как маленький бакен. Теперь Алеша быстро нагнал ее. Это произошло

оттого, что то, что было Анной Львовной, трепалось волнами на одном месте.

Она лежала ничком, ее крепкое, белое тело охотницы с такою же лаской омывалось влагой, как и тогда, когда ночами они целовались у волн. Так же беспредельно и далеко было бледное небо. В великой красоте, в равнодушии окружающего был, конечно, свой смысл, но трудно было его понять Алеше, когда он плыл назад с телом своей любви.

Он не мог плакать. Он молча положил ее на песок, поцеловал, бессмысленно поглядел на море, солнце, горы, и пошел домой, не подымая головы. Он знал, что произошло нечто удивительное и огромное, но не мог еще хорошенько понять, что именно.

XXX

После шума и блеска зимы, проведенной в Москве, Пете хотелось в деревне учиться, сосредоточиться и решить вопросы, все настоятельнее встававшие в его уме. Он занимался политикой и философией. В то лето он порядочно читал, но и тут и там его смущало многое.

Камнем преткновения в политике была такая мысль: самые честные, добрые и нужные люди — это демократы. Все, что отзывает буржуазией,— ничтожно. Но тогда выходило, что ничтожны Пушкин, Толстой, Тургенев, не говоря уже о Тютчеве и Фете. Далее: не нужна буржуазная живопись, музыка, философия. И если быть последовательным, то люди, не поклоняющиеся Марксу, в душе тоже буржуи, и философия их соответственная, и их преданность буржуазной культуре, искусствам — лишь показатель их душевного убожества. Получалось, что он, Петя Лапин, одновременно демократ и буржуа. Это его бесило, выводило из себя. Тишина же деревенской жизни, располагавшая к размышлениям, лишь обостряла это.

Другие запросы, тоже очень жгучие, были философские. Первую брешь сделал тут сборник статей по философии, где защищался идеализм, и это было близко к идеологии нового искусства, приверженцем которого Петя считал себя; притом, борьба с позитивизмом отвечала его смутным душевным тяготениям.

Отсюда шаг до Владимира Соловьева, и этот шаг был сделан: Петя купил его сочинения и погрузился в них.

В ранней молодости владычество книги велико и чудес-

но. Она входит в жизнь юноши, зажигает его,— как любовь, дает счастье и мученья. Когда развернется стройная система, как полноводная река, вмещающая в себя жизнь — горе, радости, преступления, творчество, откровения,— человек бросает книгу и бежит в поле; он должен ходить, думать, сам себе улыбаться, говорить, и он — тоже частица того высшего, что показал ему учитель. Светлая радость наполняет его душу.

Но вот он чего-нибудь не понял — или любимый писатель сказал не то, что хотелось бы. Или так: мысль философа возвышенна, прекрасна,— и вдруг появляется так называемый здравый смысл, и подсиживает ее.

Древний вопрос мучил в то лето Петю: есть ли на самом деле природа, Бог,— или все — обман, фантасмагория слуха и зрения? Горше всего было то, что в позиции ненавистного Канта была доля правды: но отвергнуть звезды, небо, солнце, отвергнуть закат во ржах казалось ему безумием. «Конечно, если смотреть иным глазом,— все представится по-другому, но *что-то* все же есть, и оно хорошее, Божье, настоящее. Не может оно растаять, не существовать. А вдруг я думаю так потому, что у меня наивное сознание? Простодушные люди все принимают на веру». И Петю снова раздражало сомнение. Теперь уже выходило, что не только он в душе буржуй, но и общее представление о мире у него архаическое. Его поддерживало в этих наивных самотерзаниях лишь то, что на его стороне был Владимир Соловьев. Ему казалось, что этот человек, пророческого вида, обороняет дивный Божий мир.

Однако у него являлось чувство глубокой *его* и своей правоты, когда вечером он сидел в поле на копне клевера, в лучах солнца танцевали мушки, вдали бабы убирали сено. Когда, безмолвные и великие, расстилались русские поля, в убогой деревушке блестело алмазом стекло. Душистым вечером гасло солнце, над скромной страной зажигались звезды. Их язык был отчасти понятен. Все, что они говорили,— было за какую-то большую правду, вышечеловеческую, вместить которую целиком не дано ни ему, ни идеалистам из сборника, ни даже самому Соловьеву.

Так вел Петя недеятельную, нефизическую жизнь. Часто засиживался до рассвета, и часа в три, когда Лизавета уже видела первый сон, выходил из флигеля.

На теплом, нежно-персиковом востоке вырезываются ветви ракит. Звезда повисла прозрачной каплей. Тихо, как бывает перед рассветом. Брехнет в зеленоватом

сумраке Звонок, белая собачонка. Побежит по росе, потрется у ног, перевернется на спину. На деревне прокричат петухи.

Усадьба спит. Лишь на скотном вздыхает корова, лошадь сонно пофыркивает. В этот час мирной благодати хорошо прогуливаться перед флигелем с непокрытой головой. Мир кажется тихим храмом, где присутствует сам Создатель.

Человек устал от чтения, но утро, прохлада, благоухание русской земли укрепляют, освежают его. Как будто сейчас он лучше, чем обыкновенно. Он ни о чем не думает, но душа его полна высоких и чистых настроений.

И когда рассвет совсем забелеет, задымится росистая трава у большого дома, звезды померкнут,— полуночный человек, занятый судьбами мира, идет спать, и дрыхнуть будет до двенадцати. Люди же дела, косари, выйдут на работу и, позванивая брусницами, блестящими косами, за дядей Митрием спустятся в лужок.

Лизавета, конечно, жила по-другому. Во-первых, вставала в девять. Это не рано для деревни, но еще тот час, когда утро сохраняет свое обаяние. Печать свежести, тишины есть на всем.

Первым делом бежала она на пруд, купаться. Закладывала на голову кругами золотые косы, сбрасывала капот, минуту смотрела, улыбаясь, на свое нежное тело, отливавшее жемчугом, прозрачное — потом бухалась в воду. В воде слегка визжала, плескалась, смешно раздувала щеки и, плавая, колотила ногами. Все было весело вокруг, но и немного жутко: вдруг рак ухватит за ногу, или пиявка вопьется. Хорошо бы также поймать за хвост карпия, лениво дремлющего у поверхности.

Но долго сидеть в пруду холодно — пруд ключевой. И Лизавета бежит пить с дедушкой кофе, потом взглянуть, как спит Петя, не беспокоят ли его мухи, потом в соседней комнате почитать роман, при слабом летнем ветерке, колышущем занавеску, свевающем лепестки жасмина, что стоит большим букетом на столе, в вазе. Непрерывно кудахчет где-то курица; в огороде, у гороха, возится почтенная кухарка Матвеевна. Ее девочка, с детьми другой кухарки, так называемыми готтентотами, сидит на заборе и показывает язык проходящему работнику. На балконе дедушка разговаривает с Егором Петровым.

И пока встанет Петя, Лизавета успеет сбегать за ландышами, полить цветы, поболтать с Матвеевной. Петя

встает в двенадцать. Дедушка в нетерпении выпивает уже рюмку водки и, когда является Петя, неизменно говорит:

— Что ж это ангел наш ни свет ни заря? — и наливает вторую рюмку.

Потом он ест борщ и укоряет Петю за односторонность его работы.

— Нельзя одну голову утомлять. Пошел бы, прокосил у пруда. И засыпал бы лучше, не вставал бы так безобразно.

Но Петя после обеда устраивается во флигеле с чаем, папиросами, в удобном кресле. Опять появляются Кант, Соловьев. Лизавета повязывает голову платочком. Это значит, на покос, сгребать сено.

Мимо флигеля, тоже в платочках, с граблями на плечах, проходят Анна Матвеевна, горничная Катя и девчонка Аксюшка.

— Анна Матв-в-вна-а! — кричит Лизавета.— Подождите меня-а!

Ей хочется на прощанье поцеловать Петю и, в то же время, надо идти. Она целует, вспрыгивает на окно, и в момент ее уж нет.

— Грабли у молотиль-на-ам! — доносится голос Анны Матвеевны.

— Лизавета! Поди-ка сюда!

Петя зовет ее с озабоченным видом. У Лизаветы падает сердце. Ей кажется, что Петя внезапно заболел чем-нибудь ужасным. Она бледнеет, подбегая к окну.

— Основной схемой кантовской теории познания является взаимодействие между материалом — ощущением — аффекцией через вещь в себе, с одной стороны, и мышлением — формой — спонтанностью — категориализацией — с другой,— говорит серьезно Петя, едва сдерживаясь от смеха.

— Ну и дурак!

Лизавета обернулась, брыкнула, и убегает. Издали она кричит:

— И Кант твой болван!

Петя вздыхает. Дурак не дурак, а крутой был кенигсбергский старик. Много забил свай на своем веку.

И до пяти часов Петя погружается в чтение. К пяти ждут почту. В деревенской жизни это всегда любопытное событие, тем более, что теперь, из-за покоса, посылают редко.

Мальчик Гараська, верхом на Птичке, для краткости проезжает садом. Петя видит его издалека, и выходит встречать.

Гараська отдает старый дедушкин ягдташ, обращенный в почтовую сумку, сдачу, корреспонденцию и накладную со станции. Все это аккуратно надо сдать дедушке, который пьет пиво на балконе; но Петю интересуют большие письма. Одно — ему, четыре — Лизавете.

Письмо это от Степана, ответ на приглашение погостить в деревне. Степан благодарит и принимает. В четверг надо выслать за ним лошадей. Петя просматривает газеты, потом идет гулять, как любит это делать,— освежиться от чтения и подумать о сомнительных местах.

Он сидит над речкой, смотрит на закат, видит ясную воду, небо, березу,— и думает, есть ли эта береза живое существо, младшая сестра его, человека, в бытие которой он верит, как в собственное,— так выходит по Соловьеву,— или химера его мозга.

Конечно, он ни к чему не приходит. Вдруг слышит издали голос Лизаветы. Лизавета бежит от усадьбы запыхавшаяся, красная, лицо ее теперь, действительно, взволновано.

— Нет, это просто что-то ужасное! — кричит она издали.— Да прямо что-то удивительное!

Алеша написал ей о смерти Анны Львовны. Хотя Лизавета мало ее знала, но это — любовь брата. Сама Лизавета счастлива, отзывчива на чужое горе и нервна: она бросается Пете на шею и плачет. Ей представляется, что и Петя может так же утонуть и чтó с ней тогда будет? Петя не скоро унимает ее.

Он сам читает с волнением. Кто бы подумал!

XXXI

В четверг за Степаном выслали лошадей — не коляску, как это делалось для гостей почтенных, а тележку, парой. Петя встал в этот день раньше и в легкой блузе вышел встречать его за околицу.

Когда тележка подъехала, Петя остановил ее и вспрыгнул к Степану. Они поцеловались. Петя сел с ним рядом.

— Ну,— сказал он,— надолго? Я ужасно рад тебя видеть.

— Надолго не могу,— ответил Степан, отирая платком запыленное лицо.— Дня на три. Я, ведь, теперь, знаешь...

отец, и прочее там. Клавдию надолго не хочется оставлять.

Степан взглянул в лицо Пети темными, глубоко сидящими глазами.

— Да и ты меняешься: женатый! — Он хлопнул его по коленке и улыбнулся.— Стал солидней, почтенней.

— Что ж,— ответил Петя,— я не раскаиваюсь, что женился.

У флигеля их встретила Лизавета. Она была с цветами, только что вернулась с прогулки, дышала солнцем, свежестью.

— Я и не думал, что ты раскаиваешься,— сказал Степан, вылезая.

Он молча, крепко пожал руку Лизавете. Потом оглянулся.

— Все здесь по-прежнему. Когда мы с ним были детьми,— прибавил он, обращаясь к Лизавете,— в этом флигеле никто не жил.

Степан стоял на солнце слегка сгорбившись, широкоплечий и крепкий. Петя вспомнил, какими они были лет пятнадцать назад, и ему трудно было поверить, что это тот Степка, с которым они ловили раков под камнями, на речке.

Степан снял свой чемодан, дал двугривенный кучеру и вошел во флигель.

Он давно здесь не был, но помнил ясно, как было при Петиных родителях и при жизни его матери, их дальней родственницы, вдовы маленького чиновника.

— Тут сушили рожь,— сказал он, улыбаясь Лизавете,— мы с Петей любили возиться в зерне, хотя это запрещалось. Далекое время,— прибавил он, и пошел умываться.

Потом отправились к дедушке на балкон пить чай. Степан поцеловался с ним, но Пете показалось, что они мало друг к другу расположены. Дедушке не нравилось, что Степан революционер. Степану же была чужда здешняя жизнь.

За чаем разговор несколько раз касался опасных тем. Степан отмалчивался, но дедушка чувствовал, что он с ним несогласен. Дедушка был умеренный либерал.

— Недавно на моих лошадях прокламации разбрасывали... со станции сел какой-то... и по всем деревням. Насчет принудительного отчуждения земли. Черт знает, на что надеются... Глупость какая-то.

Дедушка стал волноваться, и нервно подрагивал ногой.

— Я всю жизнь работал, чтобы иметь свой угол, а его отберут?

Он закашлялся, встал и, подойдя к перилам, плюнул.— Все это чепуха!..

Степан допил чай, вздохнул и встал. Петя тоже поднялся. Эти разговоры всегда вызывали в нем томительное настроение, когда хочется спорить с обеими сторонами. Ему казалось, что дедушка не совсем прав. Но он не верил, что чуть не завтра произойдет гигантский поворот жизни. И опять не мог разобрать, кто же он сам: демократ ли, друг народа, или помещик.

Молодые люди втроем отправились в рощу, куда принято было водить до обеда приезжих. Петя высказал свои сомнения — как всегда, путано и нескладно. В конце концов это обозлило его самого.

— Чего тут говорить? — крикнула Лизавета.— Конечно, земля должна быть у крестьян, я не понимаю, какую ты кислоту разводишь,— ну сказали тебе, что у крестьян, чего ж разговаривать?

Для Лизаветы все было просто: справедливо, значит, *должно* быть так.

Они уселись под березами. Летний зной веял на них ароматом полей, неубранных еще хлебов.

Тень березовой листвы струилась мягко по траве, по платью. Степану не хотелось говорить. Улыбаясь, смотрел он на Лизавету, раскрасневшуюся от гнева. Он глядел на нее и думал, что она так же прекрасна, как эти тени, березы, милый полевой ветер. И так же, как они, она лишь веет на него своим очарованием, но она не его.

Еще он думал, как мало они его знают, как им совершенно неизвестна цель его приезда и те мрачные замыслы, что живут в нем.

На минуту Степана охватило оцепенение: пройдет две, три недели, свершится задуманное, и навсегда померкнет для него солнце, эта горячая Лизавета, весь этот мир, который мало его баловал, но где много он любил.

«Что же,— думал он,— так надо». Горделивое чувство,— что он идет по истинному, прямому пути, охватило его.

Вечером они с Петей гуляли одни.

Они спустились к речке, прошли в гору березовым лесом, и вышли в поля. Дорога все-таки подымалась, и привела их к небольшому кургану, очень древнему, теперь распаханному.

Много детских воспоминаний было связано у Степана с этим местом. Не раз лежал он тут в отрочестве, на закате, не одна мысль сердца, которою он питался теперь, вела свое происхождение отсюда, из мечтаний над поэтической могилой.

Петя лег на спину, повернул голову боком,— стал смотреть на закат: ему представились необычайные краски, дивной красоты, и вся страна, весь горизонт казались полными прелести.

— Степан,— спросил Петя,— помнишь наш разговор, в Москве, в день моего приезда? Ты сказал мне тогда, что у тебя к жизни... большие требования. Я хотел бы знать... что же ты... разобрался, куда тебе идти, ну, что делать? Как ты, вообще, живешь?

Степан задумчиво обнял свои колени. Слегка покачиваясь, вглядываясь в горизонт, он ответил:

— Я думаю об этом по-прежнему. Конечно, это — главное в моей жизни.

— Но как именно хочешь ты это осуществить?

Степан улыбнулся.

— Какой любопытный!

— Я не из любопытства, ей-Богу,— смущенно сказал Петя,— я спрашиваю потому, что меня самого очень волнует это. Я, ведь, тоже живу. Мне тоже хочется, чтоб жизнь моя была такой, а не иной.

Петя был возбужден, глаза его блестели. Степан знал его. Он понял, что его действительно занимают эти вопросы.

— Что же,— ответил он.— Вот мои мысли: у кого есть Божий дар, творчество, тот служит им, это его орудие. У кого же этого нет, тот,— он сказал это спокойно и холодновато,— отдает себя. Всего себя пусть отдаст.

Солнце село. Сильней веяло свежестью, к дубу на меже потянула сова. Закат пламенел. На севере, в фиолетовом небе, проступила звезда.

— Значит,— сказал Петя,— ты проповедуешь подвиг.

Петя не знал, что на днях, по поручению партии, Степан должен был убить высокое лицо. Но он чувствовал, что Степан какой-то особенный, даже иной, чем раньше.

— Да, пожалуй. В этом роде.

Петя вздохнул.

— Ты прав, но на это нужны большие силы.

Далеко, из усадьбы, раздался звук рога. Петя встал.

— Трубят,— сказал он,— пора. Нас зовут ужинать.

Степан тронулся с ним. Сердце его билось сильно, и как будто не хватало воздуха: он глубоко дышал.

Ужин прошел неоживленно.

Когда со стола убрали, дедушка, по обыкновению, остался на балконе с пивом, а они спустились в сад, сидели на скамеечке. Лизавета хохотала, рассказывала еврейские анекдоты. Петя смеялся, хотя знал ее репертуар наизусть. Даже Степан усмехнулся — Лизавете слишком уж, почти по-детски, нравилось самой то, что она рассказывала.

От такой ночи, звезд, милой болтовни, Степан несколько успокоился. Но все же, когда пошли во флигель, он понял, что ему не заснуть. Он посидел немного в комнате, и вышел. В Петином окне было светло, Лизавета, очевидно, уже легла. Степан поднял голову, взглянул на звезды, и сердце его защемило сладкой тоской. Вот она, любовь!

Он вышел из усадьбы в ржаное поле. Кричали перепела. Где-то далеко гремели телеги, брехали собаки. Арктур низко горел над усадьбой. Небо было чисто, ясно, и казалось, что пред его лицом человек не может сказать неправды.

Ошмурыгивая полынь, срывая на ходу колосья, Степан думал о том, к чему прочно пришел в городе, и о чем говорил сегодня Пете: нужно отдать всего себя. Пусть не узнает он истинной, разделенной любви — зато примет мученичество, не изменит основам своей жизни.

«Да, конечно, мученичество. Но, ведь, надо *убить*». «Это мщение за народ». Он знал эти слова, и давно знал, что в жестокой жизни царит еще закон: око за око,— но сейчас почему-то ему стало тяжело, что все-таки первому придется убивать — ему. Он вздохнул. Отчего нельзя по-другому совершить подвига?

«Нечего тут раздумывать, поздно». Степан почувствовал, что нечто должно совершиться, и никакими философиями не поможешь. Он повернул к усадьбе.

В Петиной комнате было темно. Степан осторожно поднялся на крыльцо, и поцеловал ручку двери, за которую бралась сегодня Лизавета.

XXXII

Было утро, десятый час в губернском городе. Солнечный день, благовест в церквах, аллея общественного сада, где по дорожке реяли пятна света.

Степан сидел на скамейке, в военной форме, слегка придерживая рукой в кармане небольшой предмет.

Он глядел на заречную сторону — живописный пейзаж Оки, на голубое небо, ласточек, мчавшихся в нем,— и не мог настроить себя на торжественный лад, как требовала минута. Он холодно волновался, но не испытывал окрыляющего подъема.

Степан знал, что в Соборе молебен, по случаю новооткрытых мощей, и что лицо, которое он ждет, здесь. Что около десяти подъедет на автомобиле Андрей Николаич, уважаемый и влиятельный в партии человек, и рожком даст сигнал. Степан должен встретить противника у выхода и постараться спастись на автомобиле.

Собор был рядом с городским садом, на лужайке, с трех сторон замкнутой зданиями присутственных мест.

Все это было видно Степану. Он смотрел туманными глазами на белый блеск Собора, на золотые кресты, конных городовых, проезжавших попарно в проезде,— и одно его смутно раздражало, вызывало недовольство: отряд школьников, размещенных в порядке у главной паперти,— очевидно, они должны были приветствовать выходивших. Были тут и девочки, в светлых платьях. Около них хлопотали учительницы.

Степан встал, прошелся по аллее. На колокольне часы показывали без десяти десять. Степан закурил папиросу, облокотился о решетку сада, выходившую к Собору; его охватило мучительное томление. «Ну, скорей бы уж!» Ему не нравился свет дня, лицо Андрея Николаича, каким он его себе представил, свой маскарадный костюм, дети. Что-то было не так.

В это время от Семинарии мягко зашуршал автомобиль. Степан увидел полную фигуру Андрея Николаича, и, как хорошо выезженная лошадь, он стал на простую, деловую линию. Он был солдатом. Ему нечего рассуждать.

Служение, видимо, кончилось. Звонили с особенной живостью, дети встрепенулись, регент тряхнул волосами и развернул на пюпитре тетрадку. Подтянулись и кучера, и полицейские. Андрей Николаич медленно объезжал четырехугольник площади, как бы затем, чтобы удобней выбрать стоянку. Он был похож на большого ястреба, делающего последний перед ударом круг.

Степан двинулся в тот момент, когда в дверях показалась блестящая группа, и рядом с архиереем тот, кого

он ждал,— высокий человек в военной фуражке, с бакенами, сухой, старый.

Дети запели. К паперти медленно двинулась коляска с парой серых, в яблоках. Военный подошел к архиерею под благословение, кивнул благосклонно детям и легко спустился со ступеней Собора.

Полицеймейстер и исправник вытянулись. Сзади, мягко шурша, подкатил Андрей Николаич, а сбоку, наклонив голову и ни о чем не думая, шел Степан. «Пятнадцать шагов пустоты, никого нет»,— пришла ему мысль в последнее мгновение.

В ту минуту, как старик поставил ногу в лакированном сапоге на подножку, Степан бросил бомбу.

Казалось, он рассчитал верно. Шарик упал под коляску, но пролетел дальше, чем он ожидал. Этого он не мог, конечно, видеть, и понял лишь потом. Его ослепил столб белого пламени, пыль взрыва,— лошади рванули, седой человек покачнулся, придерживаясь за ногу. В том месте, где стояла передняя девочка, билось в песке что-то окровавленное.

Степан охнул, оглянулся, как бы ожидая, что его убьют, но в эту минуту перед ним мелькнуло знакомое, плотное и крепкое лицо Андрея Николаича, и так же машинально, как переходил дорогу, идя сюда,— Степан сел в автомобиль и даже запер дверцу.

Они понеслись. Сзади раздались выстрелы, свист, наперерез им бежал толстый пристав; но третий человек, сидевший с ними, тоже в военном, уже целился в него из нагана. В тот момент, как толстяк добежал до решетки, пуля хлопнула его в живот. Он упал.

Автомобиль вылетел из кольца присутственных мест, перемахнул мост через зеленый овраг, разделявший город на две части, и помчался по Казанской улице, к окраине города.

Тут начиналось шоссе. Оно шло через старый бор, и преследовать здесь было труднее, так как автомобиль мог идти полным ходом. Все это предвидел Андрей Николаич, и теперь радовался своей удачной мысли.

Сосед Степана, в форме офицера генерального штаба, недовольно сказал:

— Надо было учиться метать. Нельзя же так.

Андрей Николаич обернулся и посмотрел на Степана немигающим взглядом.

— Жаль. Вы его только ранили.

Степан сидел молча. Он ничего не понимал. Ему слышался визг детей.

— Убейте меня,— сказал он неожиданно.

Андрей Николаевтич побагровел.

— Не говорите глупостей.— Он совсем обозлился.— Из-за вас сами чуть не пропали, а теперь нервности разводить. Нечего было браться за акт.

Степан закрыл лицо руками. Он смотрел на свои штаны с красным кантом, и ничего не было в его мозгу, кроме этих двух цветов. В ушах свистел ветер. Бор благоухал смолисто. Все казалось сном, бредовым видением.

Через час машина остановилась у лесной тропинки, шедшей вправо. Андрей Николевич вынул сверток, отворил дверцу и сказал:

— В лесу переоденьтесь, выйдете на станцию. Тут полчаса ходьбы. Да не в Москву садитесь, в Вязьму! — крикнул он сердито, когда Степан медленно вылез и, неловко шагая неуклюжей фигурой, скрылся в чаще.— На Вязьму!

Степан не слушал. Он шел по лесу, в форме гвардейского поручика, наклонив голову и несколько выдвигая вперед левое плечо.

Сверток он скоро бросил: не до переодеванья было.

Через четверть часа он настолько углубился в лес, что как будто попал в другой мир. Тихо здесь было, пригревало, зеленели пятна мху, слабо звенела на сосне полуоторванная тонкая кожица. Росла черника, красная брусника — ягоды, которые он любил с детства. По сухой ветке взбежала белка; в вышине долбил дятел. Степан вспомнил почему-то об Ивиковых журавлях. Милый, бедный Ивик! Он шел по такой же тропинке, среди леса, он был чист сердцем и невинен. Он встретил смерть, как ее следовало встретить, а журавли сказали, где надо, правду. Но если б они встретили сейчас Степана, они закричали бы грозным криком. Степан свернул в сторону и пошел наугад. Он чувствовал такую слабость, разбитость, что едва двигался. Ехать ему никуда не хотелось.

Под большой сосной, прямой и чистой, как стрела, он опустился. Коснувшись земли, застонал и перевернулся. Несколько времени лежал он так с гримасой ужаса на лице. Потом вздохнул, лег на спину, и раскрыл глаза. Над ним было глубокое, как душа ангела, небо. Зелеными купами плыли по нем верхушки сосен и важно качались, напевая на низких нотах.

Сердце его вдруг остановилось, слезы увлажнили глаза. Там вечность, тишина, Бог. Если есть ему прощение, оно придет из тех лазурных пространств, дохнет их эфиром. «Бог, Бог,— шепнул он.— Если бы был Бог!»

Он был воспитан и жил в убеждении, что Бога нет. Он и сейчас не знал, есть ли он, но вдруг, внезапно почувствовал приближение к вечному. Он не молился — слова не шли к нему, но замер в ожидании великого, святого. Точно его душа стояла на границе, за которой открывается иной мир.

Так лежал он некоторое время — потом неожиданно заснул. Спал долго, как измученный. Страшные образы преследовали его.

Он проснулся, когда солнце клонилось уже вниз, и лучи его закраснели на соснах. Степан тяжело поднялся, огляделся; что-то вспомнил и опять поежился. Небо не казалось ему теперь священным, как в минуту экстаза. Земной дух, в котором он прожил всю жизнь, вернулся к нему. «До Бога дошел, до молитв»,— сказал он себе сумрачно.

И он встал, заставил себя вспомнить, где бросил вещи, вернулся, переоделся и пошел к станции.

«Сколько времени пропустил»,— ворчал он на себя.

Потом в мозгу его пронеслось знакомое слово: «убийца» — он насильственно улыбнулся.

«Я же не виноват, что они близко подвернулись. Я их не собирался трогать».

Когда он подходил к станции, зажигали семафорные огни. Поезда еще не было. Жандарм не обратил на него внимания, но когда в закатных лучах Степан увидел на платформе мужиков, баб, какой-то голос, быть может, шедший из глубины его простонародной души, шепнул ему: «Поклонись православным, покайся».

Был момент, когда у него закружилась голова. Но иная воля, нечто сознательное и прочное, что вело его по его пути, взяло верх — он с презрением подавил в себе минутное чувство. «Глупость, слабость»,— сказал он себе. И пошел покупать билет в Вязьму. Скоро показался и поезд.

XXXIII

Степан долго не решался въехать в Москву. Наконец, слез на Лосиноостровской, через Сокольники прошел в город пешком.

У товарища, на Краснопрудной, он ночевал. Узнав, что дома благополучно, отправился на Плющиху.

С тяжелым чувством возвращался он к себе. Кроме всего, что случилось, его мучила и домашняя жизнь. Как хотелось бы ему вернуться к милой и любимой жене, чистым человеком, просто, светло любить ребенка.

Но это лето вконец убедило его, что ничего подобного в их жизни нет.

С появлением ребенка странности Клавдии стали расти, принимая угрожающий характер. Он помнил удивительное выражение ее лица в некоторые минуты — беспричинный смех, припадки раздражения и страха, чего раньше не было.

Когда он позвонил, она отворила нерадостная, усталая. Как будто ей было все равно, что он вернулся. (Степан не сказал ей, зачем, собственно, уезжал. Она знала только, что по партийному делу.)

— Ну, здравствуй,— сказала она вяло.— Наконец-то!

Потом, когда он вошел в комнату, она спросила:

— Читал? В провинции опять акт, и опять неудача.

Она недобро засмеялась.

— Не могут до сих пор научиться! Девочку наповал, троих искалечило, а генерал легко ранен. Молодцы! И сами удрали.

Степан побледнел, глухо сказал:

— Нет, я ничего не знаю. Есть в газетах? Покажи.

Серые, косящие глаза Клавдии слегка блеснули.

— Дам газету, дам. А ты где был? Отчего не рассказываешь?

Она подала газету, полуобняла, и заглянула ему в глаза.

— Я был в Рязани,— ответил Степан нетвердо.— Там организуется летучка.

Клавдия обошла вокруг, как серая, большая кошка. В ее худенькой фигуре была тревога и недоверие. Степан читал. По его частому дыханию Клавдия видела, что он волнуется. Веки его вздрагивали. Он нервно зевал.

— Отчего ты волнуешься? — быстро спросила она.

Она почти насильно оторвала его от чтения, и, когда он взглянул на нее суженными, страдальческими глазами, Клавдия поняла, что случилось что-то ужасное.

— Ты... не то говоришь,— прошептала она, побелев.— Ну? Что?

Степан сидел неподвижно. Теперь в нем была огром-

ная, мучительная усталость. Клавдия встала, вошла в комнату ребенка, заглянула в кухню, переднюю и вернулась.

— Ты был не в Рязани,— сказала она.— Я все знаю, Ты принимал в этом участие.

Степан вздохнул, встал.

— Все равно,— ответил он равнодушно.— Безразлично.

Через минуту он прибавил:

— Мне скрывать нечего. Акт исполнял я. Я виноват в смерти девочек, но это нечаянно. Снаряд пролетел дальше, чем я рассчитывал. Это ужасно, но что же делать.

Взглянув в зеркало, он увидел свое бледное лицо, и в ушах его еще стоял голос, как будто чужой: «Это ужасно, но что же делать». Степан понял страшную ложь этих слов, но у него не было уж сил поправить их. Все равно, главного поправить нельзя.

Если бы он вгляделся в Клавдию, его многое поразило бы в ней. Но он ни на кого не мог, не хотел смотреть. В эту минуту самым лучшим для него казалось — просто не существовать.

Клавдия повернулась к нему и сказала:

— Отвратительные цветы на этих обоях. Ах, какая гадость, безвкусица! Красные цветы.

Глаза ее загорелись.

— А уж как-нибудь они слезут. Я знаю. Фу, как противно! И все на меня. Трудно отбиться.

Она села. В глазах ее был испуг, мучение. Несколько минут она сидела так, потом будто собралась с мыслями, и сказала тихо, глядя вдаль:

— Так это ты убил девочек. Как страшно, Господи, как страшно! Я как полоумная.

Она потерла себе лоб, стала как будто живее.

— Да, ты нечаянно. Ты же не хотел убивать? Нет, надо говорить серьезно, а то у меня в голове что-то путается. Зачем... ты... мне не сказал, на что едешь? Хотел скрыть. Ты меня никогда не любил,— прибавила она тихо, обыкновенным тоном,— никогда я не была тебе близка!

Степан молчал.

— Ты шел на смерть, а я не знала. Я! — Клавдия говорила еще тише, печальней.— Ты боялся, что я помешаю.

Она положила голову на руки и замолчала, угнетенная какой-то странной тишиной. Обрывки мыслей, ужасных образов, принесенных мужем, отчаянье, печаль, волнение,

все толпилось в ее маленькой голове, терзая и разрывая ее. Свет был ей не мил.

Клавдия сделала над собой огромное усилие — поднялась, вышла. Нужно было кормить ребенка. Она машинально взяла его с кроватки, поднесла к груди. Она глядела, как он сосал, и у нее было давящее чувство, что перед этим ребенком, как перед всем светом, они со Степаном виноваты.

Степан же сидел в соседней комнате и вздыхал. Стопудовая тяжесть давила ему грудь.

Сначала кормление, как всегда, доставляло Клавдии удовольствие, успокаивало. Потом вдруг наступил момент, когда с ней точно случилось что-то: она по-прежнему видела детскую кроватку, через окно — двор с колодцем, деревья сада, Семена, разговаривавшего с управляющим,— но все это померкло от одного ощущения: у ребенка есть зубы, и сейчас он откусит ей грудь. Клавдия застонала, ей показалось даже, что он уже впился в ее тело,— она отодвинула его. Ребенок запищал. Но не было его жалко. Он представлялся маленьким, злоумышляющим существом.

Степан поднялся, взял шляпу и вышел.

Клавдия осталась одна. Девочка, приходившая ей помогать, должна была явиться к шести. Времени оставалось много.

Делая над собой страшные усилия, Клавдия докормила плачущего ребенка. Уложила его, сама легла на кровать. Тотчас комната слабо поплыла перед ней, а цветы на обоях стали пугать. Клавдия закрыла глаза. «Однако я больна,— подумала она с большой ясностью.— Как следует больна, серьезно». Она вспомнила, как со времени рождения Нины не раз томила ее душевная боль, являлись страхи, дикие мысли. Вспомнила, как читала в медицинской книге о душевных болезнях, связанных с родами,— и ровный, беспросветный ужас охватил ее. Она слышала только биение своего сердца, стучавшего в смертной истоме. Ни Степана, ни Ниночки,— кого она любила и для кого жила,— сразу не стало, точно они провалились в пропасть. Не стало и светлого мира, редкие лучи которого она получала раньше: она лежала одна, с закрытыми глазами, перед лицом неотразимого безумия.

Так продолжалось несколько времени. Потом она забывалась, затихала, машинально кормила ребенка, и только все время в голове ее были слова: «За что, Господи! За что!»

Мутными глазами смотрела она на пришедшую девочку, потом вспомнила, как лежала в лечебнице, вспомнила свою соседку, тогдашнюю доброту к ней Степана — почувствовала, что этого уж не будет, и повалилась на кровать, лицом в подушку.

— За детей! — закричала она.— За детей!

Она билась в конвульсиях. Нянька испугалась, Ниночка орала, а Клавдия ясно видела окровавленные платьица после взрыва.

Степан вернулся около двенадцати. Ниночка спала, Клавдия находилась в апатическом забытьи. Когда она услышала знакомые шаги, ей на минуту представилось, что это настоящий Степан, прежний, каким он был, например, на голоде: сильный, благородный человек, на груди которого она найдет успокоение. Она легко вскочила, как девушка, кинулась в другую комнату и со стоном упала ему на руки. Она бормотала безумные слова о любви, об ужасе болезни, о защите. Все ее небольшое тело билось в страстной жажде помощи, заступничества.

Степан знал, что должен что-то сделать, но не мог: он был опустошен.

— Не волнуйся,— сказал он,— не волнуйся. Все пройдет.

Он понимал, что говорит не то, что это мертвые слова, но иных у него не было.

Он устало погладил ее по голове, дал воды. Она замолчала, отошла, и поняла, что жизнь их погибла.

Около трех часов к ним позвонили. По звонку, глухому переминанью ног за дверью Степан понял, что дело неладно. Первою мыслью его было сопротивление. Но он вспомнил пятна крови — опять кровь, убийства,— он махнул рукой и пошел одеваться. В дверь ломились. Он спокойно подошел, отпер и сказал приставу:

— Должен же я одеться. Не могу неодетым отворять. Я в вашем распоряжении,— прибавил он.— Просил бы лишь быть осторожнее с женой: она больна.

XXXIV

Петя так засиделся в деревне, так зачитался, столько думал над трудными вещами, что к концу лета на него нашло раздраженное состояние. Он затосковал, не мог работать, появились мрачные мысли. Лизавета сначала подсмеивалась, потом увидела, что Пете, действительно, не по

себе, и с присущей ей экспансивностью решила, что он сходит с ума. Это привело ее в такое отчаяние, что она дала зарок немедленно покончить с собой, как только это выяснится. И последние дни, проведенные ими в деревне, были унылы. Лизавета за все зацеплялась, бранилась, не мыла себе ног, что было признаком дурного настроения, и золотистые волосы ее больше обычного были растрепаны: не хватало энергии причесываться.

Петя, однако, с ума не сошел, а вставал к часу, пил много кофе, много курил.

На меланхолию же обоих отличное действие оказал переезд в Москву.

На Петю положиться было нельзя, и Лизавета уехала вперед, искать квартиру. В Москве она сходила с Зиной в баню, приоделась, подтянулась, и при помощи миллиона друзей быстро нашла пристанище на углу Арбата. На другой день привезли из склада, на двух возах, их «мебель» (так называемую). На третий — Лизавета достала Пете корректурную работу и телеграфировала, чтобы немедленно ехал.

Воздух столицы, новые впечатления, новая квартира — все освежило его. Поселились они на четвертом этаже: в переулок выходил балкон, с видом на Москву. Паркет скрипел, лестница на ночь не запиралась, по ней прыгали кошки; вдоль огромных труб отопления всегда осыпалась штукатурка, и бегали мыши — но общий дух был симпатичен, цена также. Петя вполне одобрил Лизаветино заведенье.

Сам он получил небольшую отдельную комнату и тотчас засел за корректуры и исправление переводов. Кант, Соловьев и другие хитрые вещи заслонились теперь простым, жизненным: не пропустить бы ошибки, не наврать бы в переводе.

Две же другие комнаты Лизавета сдала — инженеру Штеккеру и студенту-медику Фрумкину.

Штеккер, добродушный, безалаберный человек, служил на постройке окружной дороги, слегка скучал, собирался влюбиться, говорил чрезвычайно быстро и путаясь, когда выпивал, то кричал: «Дурья голова, по маленькой, маленькой, по малюсенькой. Чик, хлоп и отделка». И нос у него краснел.

Фрумкин был еврей, красивый и довольно важный, он считал себя Дон-Жуаном с большими шансами; действительно, легкомысленная Зина стала что-то подозритель-

но часто бывать у Лизаветы, и больше торчала в комнате Фрумкина. Он величественно оправлял свою шевелюру и крутил ус. Победа его, в данном случае, была несомненна; но так устроен человек, что всегда ему мало — Фрумкин втайне пламенел к Лизавете, Петю же ревновал и не любил.

Его постоянным делом было дразнить Лизавету. Он высовывался из своей двери и говорил:

— Петя не любит Лизавету Андреевну!

— А над вами Зиночка смеется.

— Петруня кого-то не любит!

— Убирайтесь к черту! Дурак! — кричала Лизавета, хлопая дверью.— Над вами смеется Зиночка, слышите вы? смеется, смеется!

Но она не сердилась на него, потому что угадывала причину раздражения.

Сама же она вела прежний — шумный и легкий образ жизни: вечера в литературном клубе, собрания у Зины, у друзей, чаи у них на Арбате, и в промежутках улаживанье чужих романических затруднений, помощь знакомым девицам, впадавшим в любовный грех, тысячи мелких занятий — и одно самое большое, настоящее Лизаветино дело: ее собственная любовь к Пете.

Несчастье со Степаном очень поразило их. Лизавета взялась за Клавдию: у знакомой богатой барыни достала для нее триста рублей, а Фрумкину поручила наблюдение за ее здоровьем. Пыталась проникнуть и к Степану, выдавая себя за его невесту, но это не удалось, несмотря на весь ее бурный натиск. Лизавета обругала кого следует, чуть было не вышло истории, но сочли, что она полоумная, и решили всерьез не принимать.

Скоро новые дела, треволнения, радости и огорчения вошли в их жизнь: это было связано с общественным движением того времени.

Начиная с первых демонстраций, в которых Петя участвовал еще в Петербурге, брожение не утихало. Скорее — оно крепло. Собирались съезды, устраивались банкеты, произносились речи. Газеты посмелели. Силы революционных кружков росли. Готовился электрический удар, молнией осветивший Россию, показавший все величие братских чувств и всю бездну незрелости, в которой находилась страна — и, чтó бы потом ни говорили,— начавший в истории родины новую эпоху.

Как всегда в таких случаях, тюрьмы работали усердно.

Молодые люди и девицы, занимавшиеся подозрительными делами, препровождались туда в изобилии.

Хотя в богеме, где вращались Петя и Лизавета, мало кто интересовался политикой, все же, при громадности Лизаветиных знакомств, случилось так, что в Бутырках оказались лично ей известные люди.

Началось хождение туда. Сегодня она передавала книги, завтра хотелось повидать какого-нибудь Михаила Михайловича, бородатого человека в очках, отсиживающего «правды ради». Кому-нибудь собрать деньги, отдать письма родственников, вообще куча дел. И родственники заключенных, надзиратели, тюремные офицеры и солдаты скоро привыкли к высокой Лизавете, в синем костюме и огромной шляпе. Лизавета постоянно просила пустить ее не в очередь, подольше посидеть, передать что-нибудь сверх позволенного, и т. п. Иногда она ссорилась с офицерами, бранилась. Они грозили не пускать ее больше, но ее милый вид, веселость и горячие порывы чаще одерживали победы.

Скоро практика ее получила такую известность, что незнакомые приносили ей на дом письма с просьбой передать. Лизавета усердно все исполняла.

Раз ее рвение чуть не привело к скандалу: после приема, возвращаясь домой, она забралась на дрова, на пустыре позади тюрьмы, и принялась махать заключенным. Часовой окликнул ее, но она не расслышала, и тогда он бросился к ней со штыком наперевес. Лизавета захохотала, прыгнула вниз, ушибла себе немного коленку и, на предложение солдата сдаться, сделала такую гримасу и так внимательно стала растирать ногу (не допускала она, чтоб за такой пустяк арестовали),— что солдат засмеялся сам. Кроме того, он признал в ней знакомую, сумасбродную. Она дала ему гривенник. Он помог ей перебраться через лужу.

Эти дела занимали ее больше и больше; да и время было особенное. Так что Лизавета довольно быстро стала на линию сотрудничества революции.

— Работайте, работайте,— говорил Фрумкин, мефистофельски улыбаясь, скрещивая на груди руки,— со временем из вас выйдет хорошая Шарлотта Кордэ.

— Ну вы и болван, и сидите у себя в норе!

Из своей комнаты высовывал стриженую голову Штеккер.

— Садовая голова, не сердитесь. Отчаянная башка,

Наум Борисович, не приставайте, пускай бегает, революция так революция, наплевать, я ничего не имею. Я человек добрый, больше всего люблю водчонку, заходите, хлоп, чик, по малюсенькой, раз-два, готово!

Фрумкин вздыхал и, когда выпивал со Штеккером, становился еще серьезней и говорил про Лизавету:

— Магистер любви, доктор наслаждений!

— Ах, черт, ах, придумал, дурья голова, ох-о-хо! — Штеккер хватался за живот и выскакивал в коридор.

— Доктор наслаждений!

Потом он тащил Лизавету к себе в комнату.

— Ангел, дуся, баранья голова, на одну минуту, рюмку водки с нами, там за вашу, ну, черт, революцию, конституцию, республюцию,— фу, дурак, извините, заврался, но я ничего не имею... пожалуйста, занимайтесь чем угодно, только еще по одной, с маринованной селедкой — раз, два, и отделка. Ну, у вас там муж, он ничего, не обидится, он сам с нами рр-аз, по единственной — человек тихий и благородный, это сразу видно.

И нередко они выпивали все вместе, и тогда Пете становилось беспредметно смешно, все нравилось, все казались славными и родными, хоть пей на брудершафт. А пока они хохотали, пока летели дни их беспечной юности, все ярче и грозней разгоралось большое дело русского народа, и скоро гул бури стал доноситься и до них. Впервые почувствовали они это, когда началась забастовка, охватившая и Москву. Все, кто пережил это, помнят те чувства. Помнят, как вдруг появился на сцене народ, так долго, упорно молчавший, и своим выступлением вторгся в жизнь каждого. Закрылись магазины, остановилась вода, вечером в Москве стало темно. В роскошных особняках зажигали свечи. Бедному Штеккеру негде было даже купить водчонки, его «служба» закрылась, и он занимался раскладыванием пасьянсов. Но и на это не хватало терпения.

Зато Лизавета ходила как на пружинах. Ей казалось, что это все общее, настоящее, что здесь есть какая-то и ее капля, и в ее пылкой голове не раз проносились образы — как они с Петей умирают, сражаясь на баррикадах. Все время у нее вертелись в мозгу революционные песни, и ее только раздражало, что Петя, по ее мнению, недостаточно горячо к этому относится.

Это было отчасти верно. Петя помнил свои политические авантюры. Кроме того, как и многие тогда, он пло-

хо понимал, что происходит,— в какой мере все это серьезно.

До поры до времени он хранил нейтралитет. Симпатии его были, конечно, налево, но он не очень их проявлял — все ждал и старался взвесить.

XXXV

Как всегда бывает, думали, гадали, строили проекты, а все вышло по-особенному, и довольно удивительно.

В одно октябрьское утро Петя проснулся часов в десять, потянулся и подумал, что хорошо бы посмотреть в газете, как дела забастовщиков. Вдруг в комнату влетела Лизавета, размахивая газетным листом.

— Петя,— закричала она,— ну это что-то удивительное! Ты слышишь, конституцию дали! Нет, ты вставай, ты понимаешь, забастовка кончена, правительство уступило.

Она откинула портьеру, чтобы было светлей, и пока Петя одевался, смущенный, обрадованный, возбужденный, она читала вслух известные слова манифеста. Петя был поражен. Парламент, свобода печати, амнистия! Странные для русского слова. Во всяком случае, что-то большое, светлое подымалось в нем. По Соловьеву, вероятно, выходило, что он присутствует при осуществлении в жизни новой ступени добра, оформливающего темную стихию в космос. Но тогда Петя не раздумывал так длинно. Ему просто нравилось, было радостно.

Едва успел он одеться, Лизавета потащила его на улицу — это следовало сделать. Действительно, город был особенный. Народ, возбуждение, демонстрации, все это приподымало, давало характер праздничности. Было и ощущение победы — первой серьезной победы народа.

Лизавета рвалась сразу всюду: и за демонстрантами, и на митинги, и освобождать заключенных. Петя был менее рьян, и когда на Никитской они встретились с процессией черносотенцев (пришлось отступать в угловую кондитерскую), его настроение порядочно упало. Скоро он устал, и ему надоело шататься по улицам. Лизавета заметила это, и стала гнать его домой. Он согласился — но под условием, что она не будет лезть в толпу. Ей разрешалось только зайти к Зине.

Петя пошел по Арбату. Был третий час, он испытывал странное для такого дня, но уже знакомое чувство: вокруг него идет жизнь, и сам он частица этой жизни, он радуется

ее успехам, но что сделал он сам? Есть ли его доля, капля его участия в сегодняшнем торжестве? Лизавета куда-то бегала, что-то устраивала и хлопотала, она нынче здесь, как дома. Ему же кажется, что он чужой, ненужный. До каких пор это будет продолжаться? Положим, он студент, еще учащийся, но не такой уж зеленый щенок — мог бы что-нибудь сделать для жизни родины. А что сделано? Петя вспомнил Степана, всегда бывшего для него образцом, но на этот раз ему стало жаль его. «Почему, почему с ним случилось это? — думал он.— За что?» И для него в первый раз стало неясно, нужно ли подражать Степану, или отдаляться от него.

Он вернулся домой в этом неопределенном и несколько подавленном настроении. Обедал он один. К вечеру снова вышел, и теперь его внимание привлекли кучки темных людей у ворот домов, у подъездов; они были в чуйках, картузах, что-то совещались, кричали: эти люди быстро получили название черной сотни. В те дни они проявили себя не менее революционеров.

На Арбатской площади его встретил знакомый, веселый адвокат. Адвокат не одобрил, что Петя в студенческой фуражке, и рассказал, что были уже случаи битья студентов. Это подействовало на Петю неприятно. Тотчас у него явилась тревога за Лизавету: бегает она Бог знает где, мало ли что может случиться? Петя мысленно себя выругал. «И, наверное, она сейчас же в Бутырки дернула».

Петя чуть не бегом бросился домой. Черносотенцев стало больше. Проходя около них, слыша за собой злобные замечания, он испытывал невеселое чувство. Но главным образом беспокоила его Лизавета.

Дома ее не оказалось. Петя провел еще час в мучительном беспокойстве. Наконец, влетела Лизавета, розовая, горячая, с выбившимися прядями светлых волос — и повисла у него на шее.

— Прямо из Бутырок! — кричала она, запыхавшись и блестя глазами.— Освобождали заключенных! Фу, я так устала, просто не могу.

Она отцепляла вуаль и, действительно, тяжело дышала.

— Это прелесть какая-то, ну, милый мой, ты бы посмотрел, что делалось! Нас чуть не перестреляли. Совсем уж скомандовали, а мы все требуем, чтобы выпустили политических. Ух, страшно было! Я зажмурилась, думаю, ну сейчас... и все время о тебе только думала. Но все-таки не стали стрелять, и всех выпустили. Милый мой, что

там было! Многие плакали, я тоже.

В это время позвонили. Это прилетел Федюка. На нем был красный жилет, глаза блестели от водчонки.

— Душа моя! — закричал он из передней.— Поздравляю! От всего сердца, с конституцией! Теперь мы Европа, Запад, Англия!

И он бросился обнимать Петю и Лизавету. Лизавета закрутилась с ним в большой комнате, и скоро они перешли на канкан.

— Вы теперь якобинец,— кричала ему Лизавета,— красный жилет! А штаны как? Красные?

Петя и хохотал, и был взволнован ее рассказом, и рад, что она цела,— все это вместе очень будоражило его.

— Честь имею поздравить с разрешением от бремени,— закричал петушиным голосом Штеккер из своей комнаты.— Пожалуйте по рюмашке, ради замечательного случая, за неделю припас, сохранил, поздравляю, по маленькой, по малюсенькой! чик-хлоп, готово-готованция.

Штеккер припрятал порядочно огненной влаги: нос его уже краснел. Они быстро сошлись с Федюкой, пили за свободу, за народ, за революцию, и прочее. Выпили и Петя с Лизаветой, но немного. Вечером они собирались на митинг.

Кто не помнит этих митингов, когда при свете нескольких свечей домашние Дантоны громили власть, звали к борьбе за учредительное собрание? Аудитории ломились от публики. Под красным знаменем, у трибуны, собирали пожертвования. Дамы бросали туда свои кольца.

Все это было, и в том,— часто нелепом и детском, что тогда происходило, всегда присутствовал буйный подъем молодости. Он покрывал собой банальность фраз, несоразмерность притязаний. Он, в конце концов, только этот психический подъем — устрашил власть: каковы были действительные силы революции, знает всякий.

И как в жизнь страны, так и в жизнь Пети, Лизаветы эти дни врезались неизгладимо.

Все пошло вверх дном. Их квартира стала пристанищем революционеров, приняла вид не принадлежащей им. Через день у них бывали явки. Приходили на совещания молодые люди в черных шляпах и синих рубашках — их можно было узнать издали, и когда они шли по Арбату, то значило это: в переулок, к Лизавете. На десяток юношей приходилось по провокатору, но об этом узнали позднее, а тогда все они казались необыкновенными и герои-

ческими. Некоторые ночевали, иногда жили по неделе, ютясь в столовой. Всем было достаточно дела. То борьба с черной сотней, то образование союзов, подготовка новой забастовки и восстания.

Петя воспринимал все это нестройно. Были моменты яркие, были тяжелые.

Навсегда остались в памяти похороны революционера, убитого черносотенцами,— движение несметной толпы, песнь, певшаяся без шапок, под открытым небом и напоминавшая гигантскую панихиду. Реянье красных знамен, тот восторг, что теснит в такие минуты сердце.

И рядом — расстрел из засады, насилия над студентами, грозные вести со всех концов России, погромы. В общем, это время больше Петю угнетало, чем воодушевляло. Он чувствовал себя в кутерьме, гаме, свалке, и у него было ощущение, что его затолкают.

Самое дурное началось тогда, когда по городу распространился слух о погроме: погроме интеллигенции. Утверждали, что составлены списки и назначен день. На некоторых домах ставят отметки — черные кресты.

Утром того дня, когда это должно было начаться, Петя вышел на улицу, и первое, что увидел,— черный крест на углу своего дома. Он вспомнил, что у них постоянно бывали явки, и тяжелое чувство, вроде испытанного некогда в Петербурге, на демонстрации с Ольгой Александровной, охватило его. Он скоро вернулся домой. Ни Лизаветы, ни жильцов не было. Он сел работать, и через полчаса вышел в переднюю на звонок. Его удивил татарин, ввалившийся с парадного хода,— обычно они являлись в кухню. Татарин показался наглым, и подозрительно было то, что он как бы рассматривает размещение комнат. Петя выпроводил его, и его дурное настроение возросло. Лизавету он старался не пугать, но она многое уже знала; впрочем, относилась покойнее.

— Около дома будут дружинники,— сказала она, и на том успокоилась.

Петя мало верил в дружинников. Он зашел в комнату Штеккера, и спросил, есть ли у него оружие.

Штеккер забегал по комнате и закричал:

— Конечно, есть, я не дурак, у меня всегда с собой револьвер, да, наган, то есть нет, черт, маузер, пускай они явятся, дрянь, сволочь! Пусть попробуют, подойдут садовые головы — трах, хлоп, бац и отделка. Быстро делается: в лоб, и никаких!

Штеккер шумно заржал. Можно было подумать, что его обычное занятие — стрельба по людям. К вечеру же, подвыпив, он так воодушевился, что возникло опасение, как бы он не открыл огонь по мирному населению.

— Страшно воинственный человек, страшно воинственный! — говорил из своей комнаты Фрумкин, чистя револьвер.— Прямо Пальмерстон!

Оказалось, что татарин приходил и к знакомым, тоже вызвал подозрение, и это еще больше встревожило Петю. На ночь он запер дверь на засов и читал часов до двух, потом лег.

Лизавета уже спала, покойным сном чистой души, розовая, теплая.

— Пить,— спросила она, сонно улыбаясь, как ребенок, когда Петя ложился.

Пила она жадно, надышала в стакан, потом отвалилась, зевнула и, повернувшись к стенке, свернулась калачиком. Вспомнив о том, что дикие пьяные люди могут ворваться в их квартиру и замучить эту Лизавету, Петя похолодел. Он положил рядом с собой револьвер и решил, что в крайнем случае застрелит и ее, и себя.

Он почти не спал эту ночь. Каждая хлопнувшая дверь, шаги внизу,— все казалось ему началом тревоги. Он заснул, когда стало светать.

Никакого погрома в Москве не было. Впоследствии он вспоминал об этом с улыбкой, с легкой насмешкой над своей нервностью. Но хорошо вспоминать, когда тяжелое прошло. Тогда же было невесело.

XXXVI

Наступил ноябрь, тот памятный месяц, когда казалось, что дело революции шагнуло вперед колоссально, когда готовился новый взрыв.

Петина жизнь совсем выбилась из русла. Он это понимал, но ничего нельзя было поделать.

К Лизавете приезжали молодые люди с корзинами, оставляли их, потом являлись другие, обкладывались под платьем листками, и выходили потолстевшими. В диване лежало оружие. Раз косноязычный юноша принес шрифт, они с Лизаветой рассыпали его, никак не могли собрать, наконец, увязали в старую Лизаветину юбку. И Лизавета с Петей долго не могли вспомнить без смеха, как заикаю-

щийся товарищ, полный тайн, конспирации, особенно громко выкрикивал слово «бомбы».

В это же время жил у них кроткий еврей-рабочий, из западного края, Илья Исакич. Кто он был, почему его занесло к Лизавете,— сказать трудно. В противоположность другим, он мало ораторствовал, но делу был предан беззаветно. Он был мал ростом, слаб и бледен, говорил неправильно — «гостеприимчество», «бессомненно», помогал Лизавете по хозяйству, сам убирал постель и мужественно встретил выстрелы из засады: с немногими товарищами защищал безоружных, и был тяжело ранен.

Петя с Лизаветой горько жалели его. В больнице он лежал почерневший, но с живыми глазами, читал газеты и говорил: «Движение растет, бессомненно». Он все же выздоровел, уехал, и куда-то сгинул. Ходили слухи о его пленении и смерти —ничего достоверного узнать нельзя было.

У Пети и Лизаветы составилось мнение, что он погиб. Они помолились за упокой его скромной души.

В конце ноября, в разгар явок на Петиной квартире, пришло известие, что у дедушки припадок ревматических болей. Петя захватил работу, несколько книжек и уехал.

В деревне он попал на первопуток. Тишина ранней зимы, лыжи, работа, чтение вслух дедушке, ожидание почты, переписка с Лизаветой, все это вначале освежило. Во время одиноких прогулок, среди обвеянных снегом рощ, он мог думать и мечтать свободнее, и отсюда, издали, даже больше любил родину, народ,— больше сочувствовал ее судьбам. Потом читал Флобера — «Легенду о Юлиане Милостивом», «Саламбо»; душа его раскрывалась свету искусства. Тут впервые приблизился он к Пушкину, со сладкой грустью, одеваясь по утрам, декламировал «Для берегов отчизны дальной». Тут глубже, под влиянием нескольких книг, задумался над Италией. Он был беден, без всяких ожиданий в будущем, но мир прекрасного, все прочнее овладевая,— звал, манил, и нередко в сумерки, в серой русской деревне, он мечтал об иных небесах, ином свете.

Эта аркадская жизнь продолжалась недолго: в начале декабря все изменилось — в Москве вспыхнуло восстание.

Петя с дедушкой узнали о нем не сразу. Первое, что дошло до них,— молокан, ездивший на станцию с флягами, объявил, что поезда не ходят. Москва же, по его словам, горит.

С каждым днем слухи разрастались, и становились грозней. Начали возвращаться крестьяне, работавшие в Москве. В страхе и растерянности они бежали домой пешком, подбирая партию по десяти, пятнадцати человек. По их рассказам, Москва пылала с четырех концов. На улицах шел бой, дома громили артиллерией. Выходило так, что верх брали революционеры.

Петя ничего не понимал, и томился в жестоком беспокойстве. Ехать нельзя было даже на лошадях, потому что в Москву, как говорили, не пускают. От Лизаветы никаких известий. Петю терзали разные чувства. Во-первых, отчаянье, что он не с Лизаветой. Она одна в революционном гнезде, в пылающем городе, покрытом баррикадами. Ну, конечно, он уклонился! Избрал благую долю — сидеть в деревне и восхищаться Флобером. Страх за Лизавету и стыд за себя были основой чувств. Второе — что же происходит? Что с Россией, с жизнью? Правда ли, что верх взяли восставшие — но тогда на их стороне войско, значит, у нас настоящая, огромная революция? Ведь не предполагали же октябрьских дней, а они пришли? Так, может быть, жизнь действительно сдвинулась, это глубокий кризис, и восторжествует социализм? Может быть, через несколько недель у дедушки отберут имение, и оставят надел? Все это кружило Пете голову. Как все нервные и некрепкие люди, он вдруг перепрыгнул огромное расстояние, отделяющее его обычные взгляды от теперешних, и горячо уверовал, как многие тогда в России молодые люди, что начинается абсолютно новое. На этом они тотчас сцепились с дедушкой, и все их мирные чтения полетели прахом: дедушка в известия не верил и говорил, что только глупые могут сочувствовать восстаниям. Петя взволновался, почему-то лез на стену и доказывал, что «теперь все может произойти», и что в дедушке говорят чувства помещика.

Споры эти были ненужны и утомительны; они раздражали обоих и ни к чему не вели. Кончились они внезапно, как только получилось известие, что поезда ходят. Петя выехал в тот же день, на дальнюю станцию Курской дороги, к ночному поезду.

Кто не ездил вечером, в санях, за тридцать верст, тот не знает поэзии русской зимы.

Лошади поданы в шесть, пара гусем. Кучер одет основательно, отъезжающий также. Из дому дают с собой бутерброды, папирос в карман дохи, делают десятки

мелких наставлений — как запахивать доху под ветер, куда лучше ставить чемодан. Следует помнить сворот за Собакиным. Между Гайтровым и Никольским зимний путь — прямиком. Ну, с Богом!

В разорванных тучах глянула звезда; пожалуй, к ночи прояснит. Но в поле легкая поземка, мрачный отсвет заката, и из туч, в прорыве лазури, летит снежок.

С каждым часом темнеет. Едут долго, путник курит, всматривается в проселки, стараясь не сбиться. Проходит деревня за деревней, с наступлением ночи едущий все больше во власти этих полей, ветров, угрюмых репеев по межам.

Петя ехал тревожно. Сначала усиленно вглядывался, потом устал. Мысли его все время были в Москве, и тяжелые вздохи теснили грудь. Разве не знает он Лизавету? Разве она усидит дома в эти дни? А может, она пропадает где-нибудь с дружинниками, на баррикадах?

Колокольчик звонил уныло. В ночных зимних полях фантазия разыгрывается, душой овладевают назойливые образы. Ему представлялось, что квартира их разгромлена, Лизавета в крови — кровь, выстрелы и пожары подавляли его мозг.

За Никольским, в месте, где пересекаются дороги, стоит столбик. Петя узнал его. Узнал и теперь, при свете проглянувшей луны. Гусевой почему-то шарахнулся. Вглядевшись, Петя рассмотрел: на столбе была повешена собака. Она висела как человек, с высунутым языком. Зад ее тяжело свисал на снег.

Петя поежился. Это тоже Россия, мать, великая страна, родина погромов, розог, казней!

— Охальники,— сказал кучер, и погнал дальше. В пустынном месте, ночью, ему была неприятна эта встреча.

До станции добрались все же удачно. Даже приехали раньше, чем Петя думал, и он успел попасть на поезд, о котором не знал.

Поезд шел, как ему показалось, быстро; чем ближе к Москве, больше жандармов, казаков на станциях, возбужденней, тревожней.

Он приехал на Курский вокзал в три часа ночи. В город же его не пустили до семи, пока не засинело в огромных окнах. Восстание кончилось, но Москва была на военном положении.

Ему казалось, что он не узнает знакомых улиц, что везде дымятся пожарища, лежат разбитые груды. Ничего

этого не было. Но в том, как люди шли, глядели, говорили, в самом извозчике, медленно везшем его по Арбату, было что-то скорбное. Город молчал. На Пресне, на Москве-реке еще расстреливали. В этот день застрелили,— делая вид, что казнят преступника,— студента, у которого нашли ноты «Марсельезы».

Когда Петя подъехал к знакомому, *своему* дому, и нужно было взбежать на четвертый этаж, у него остановилось сердце.

Лизаветы он не застал. Она была цела, благополучна, но эту ночь проводила у Клавдии, потому что в девять должна была везти ее в клинику.

XXXVII

Алеша прожил еще некоторое время в Сочи, у Марьи Львовны. Он молчал, работал в винограднике, и по его виду Марья Львовна, женщина твердого характера, но потрясенная случившимся,— не могла разобрать, какое на него произвела впечатление смерть сестры. «Не понимаю нынешних людей, не понимаю,— шептала она горько, ложась спать.— Должно быть, стала стара».

Алеша, впрочем, и сам мало что понимал. Он как-то притаился, глядел на солнце, море, на сады, и ему все казалось, что в ушах его свистит широкий, вольный ветер.

Так же внезапно, как явился, он в один прекрасный день исчез, поцеловав на прощанье руку Марьи Львовны. Некоторое время жил он в Ново-Афонском монастыре, в гостинице для богомольцев. Потом ушел. Его путь лежал теперь на север, и он проделывал его с медленностью человека, карманы которого до последней степени тощи.

Тут подошли октябрьские события. В одном южном городе Алеша с товарищами на два дня овладел Думой, и изображал члена временного правительства. Они вывесили красные флаги и считали, что положение их прекрасно. Хотя Алеша и стал теперь революционером, но ходил попрежнему в голубой рубашке; лишь был веселее, светлые волосы его отросли, глаза глядели приветливей. Ему стало казаться, что в их городке наступает царствие Божие на земле.

Но из соседнего уезда явились стражники, и пришлось отступать. Молодой грузин Чочиа, с тонким станом и газельими глазами, поэт, немного актер и человек страстный,

один сопротивлялся до конца. Он был застрелен у дверей Думы. Отходя в переулок с товарищами и отстреливаясь, Алеша видел, как охнул Чочиа и упал навзничь. Под октябрьским солнцем брызнула его южная кровь. Алеша вспомнил Анну Львовну, и опять великое спокойствие овладело им: ему казалось, что такова же и его судьба, так же придет его мгновенье. Глядеть за далекий предел, куда уходил этот человек, не было страшно.

Ему удалось бежать. Многими мытарствами он добрался до Москвы, и попал здесь опять в разгар событий. Разумеется, он основался у Лизаветы. Тотчас вошел в дух иного, северного революционерства, завел папаху, маузер, и поступил в дружинники.

Хотя Лизавета была очень в курсе дел, все же восстание началось для нее неожиданно.

Несколько дней она не получала от Пети писем, стала сердиться и раздражаться. Фрумкин поддразнивал ее, Алеша рыскал целые дни, а Штеккер пил. От волнений, передряг он повысил норму.

Лизавета встала очень не в духе. Она прохватила прислугу, Штеккеру сказала, что он алкоголик, хлопнула дверью. Тотчас же у ней развязалась на ботинке тесемка, и, застегивая платье, она оборвала два крючка.

Но все изменилось к двенадцати, когда явился Алеша и сообщил, что на Долгоруковской баррикады.

Лизавета сидела на диване, в нижней юбке, и читала роман.

— Нет,— закричала она.— Правда? Ты врешь!

— Конечно, правда. Начинается восстание,— ответил Алеша и полез в комод, доставать из Лизаветина белья обоймы для маузера.

Днем в городе уже началась стрельба. К вечеру появились баррикады и на Арбате. В них пряталось по нескольку человек в папахах, и когда подходили солдаты, или на рысях подлетали казаки, папахи открывали огонь. Потом шмыгали в ворота, проходные дворы, переулки. Их было мало, и пока дело носило скорее характер опасной и азартной игры.

На другой день Лизавета, со знакомыми курсистками, Куниной и Соловьевой, чуть было не обезоружили на Пречистенке офицера: они втроем ухватились за его шашку, и бедный подпоручик, очень молоденький и не весь-

ма решительный, насилу вырвался от них,— принужден был отступать.

Но понемногу замирало движение, исчезли извозчики. Наспех стали закрывать магазины. Пахло острой, бодрой тревогой. Восстание разрасталось.

Во вторник, в самый разгар баррикад, Фрумкин пришел к Лизавете и покачал головой:

— Я только что был у жены Степана Николаича,— сказал он серьезно, и его влажные глаза стали как будто даже грустными.— Ее положение безнадежно, как врач, могу вам это сообщить. Непременно надо отправить ее в лечебницу. Притом, ей ни в коем случае нельзя оставаться одной с ребенком, я утверждаю это, ни в коем случае.

— Я пойду к ней ночевать,— решила Лизавета.

— Это было бы хорошо, если б можно было туда дойти. Но уже четыре, начинает смеркаться, и это далеко не безопасно.— Фрумкин картинно заложил руку за борт сюртука, и прибавил: — Далеко не безопасно, Лизавета Андреевна!

— Пустое! — закричала Лизавета.— Какие глупости!

Фрумкин погладил ус и сказал:

— Я вам говорю, что опасно. Но если вы настаиваете, я вас провожу.

Он посмотрел на нее значительно.

— Провожу, я.

Лизавета накинула шубенку, и они отправились.

— Я захватил револьвер,— сказал Фрумкин.— Если вас попробует обидеть какой-либо негодяй...

Лизавета скакала вниз по лестнице, через две ступеньки.

— Говорят, теперь расстреливают, кто захвачен с оружием в руках,— ответила она.

— Это ничего, это ничего.

На Арбате к ним пристал Алеша. Он тоже был с оружием. Такой эскорт лишь увеличивал опасность, но на то она была Лизавета, чтобы делать нелепости.

Темнело. Кое-где были зажжены фонари. Окна слабо светились,— шторы задергивали особенно тщательно, опасаясь выстрелов: казаки могли стрелять в каждого, кто подходил к незанавешенному окну.

На углу Никольского переулка перелезли через баррикаду. У Смоленского рынка — через вторую. Было безлюдно, лишь ветер сдувал снег на площади, в направлении

Зубова. Та луна, что светила Пете, выглянула краешком.

У Лизаветы от мороза горели ушки; пустынность площади, свист ветра в бульварных деревьях показались ей жуткими.

На третьей баррикаде, не доходя до Неопалимовского, их окликнули.

— Провожаем,— ответил Алеша,— нам на Плющиху.

— Не пройдете, надо обождать.

Действительно, по проезду бульвара, от Пречистенки, послышалась рысь.

— Драгуны!

— У меня нет оружия! — пробормотала Лизавета растерянно.

Ее отвели в сторону.

— Становись за углом.

Но Лизавете не терпелось. Алеша с Фрумкиным стали за баррикаду, ей хотелось тоже, но было страшно. Месяц скрылся. Драгуны остановились, не понимая, занята баррикада, или нет. Они должны были ее поджечь.

Минута прошла в нерешимости. Лизавета юркнула за старый шкаф, на котором лежали выломанные ворота,— ближний к ней край баррикады: любопытство не давало ей покоя.

Драгуны дали залп. По доскам что-то застучало, и в ответ с баррикады блеснули огни. Во взводе произошло замешательство. Протяжно, мучительно заржал конь. Раздались ругательства, команда, и драгуны повернули в Левшинский. Лишь одна лошадь с седоком, свисавшим ей на шею, в ужасе кинулась прямо, и влетела в проволоки баррикады.

— Товарищи, обходят!

Очевидно, драгуны собирались зайти сбоку. Все бросились в переулок к Плющихе. Фрумкин поддерживал Лизавету, она вдруг почувствовала такую усталость, что едва двигала ногами. Дружинники убежали вперед. Лизавета видела еще перед глазами поникшее тело, слышала ржание,— голова ее слегка кружилась.

Драгуны выскакали сбоку, опять затрещали выстрелы, по пустой уже баррикаде. Часть их осталась жечь ее, другие поскакали в переулок за дружинниками. Алеша быстро сообразил, в чем дело: он толкнул Лизавету в первые незапертые ворота, и прыгнул за ней сам с Фрумкиным. Дворник загородил им дорогу, но Алеша пригрозил револьвером. Тот стих.

В это время подскакали драгуны. Перед ними была темная дыра ворот, ведших во внутренний двор; кто-то был здесь, они чувствовали, но их смущала темнота.

Лизавета прижалась к стене, закрыв глаза. Ей ясно представилось, что это уже смерть, наверно, бесповоротно. Она вздохнула, с каким-то сладким отчаяньем вспомнила Петю, и про себя сказала: «Ну, скорей уж, что ли!» Алеша держал за руку дворника, и дворник чувствовал, что достаточно ему пикнуть — его укокошат.

Драгуны наугад выстрелили, и унеслись.

— Есть,— сказал Алеша.— Целы.

Он только что отвел голову от выступа штукатурки. Пуля ударила в этот выступ, и отбитый осколок царапнул его по щеке.

Трудно было Лизавете идти дальше. Ее тащил Фрумкин и проклинал себя, что впутался в такую передрягу.

Но теперь было близко, и в двадцать минут они дошли до Грибоедовского. Алеша тотчас удрал. Он не мог уже жить без нервного опьянения, опасности, азарта.

Лизавета не видела Клавдии довольно долго. Теперешний вид ее поразил и подавил ее. Было очевидно, что она в полной заброшенности, и здоровье ее хуже плохого. Все было вверх дном в квартирке; давно не убирали, верно, почти и не едят. Клавдия ходила из угла в угол с выбившимися волосами, и имела страшный вид. Она не делала ничего особенного, узнала Лизавету, и даже подобие улыбки выразило ее лицо; но в нем было разлито общее, ужасное выражение: безумия.

— Я не могу ночевать одна,— шепнула Лизавета.— Мне страшно.

Фрумкин ответил:

— Хорошо, Лизавета Андреевна, с вами остаюсь я.

Это была одна из труднейших ночей Лизаветы. С одиннадцати часов загорелась Пресня. Ухали пушечные выстрелы, от которых звенели стекла. Красный отсвет появился в комнате, и за садиком, за домами, на фоне неба медленно ползли золотистые клубы. Стрельба раздражала Клавдию. Она то сидела у окна, бормотала что-то, то вдруг громко вздыхала, подходила к Лизавете, брала ее за руки и говорила:

— Враги. Со всех сторон. Ах, какие у меня враги ужасные! Все убить грозятся. И потом этот... щенок!

Она взглядывала на ребенка, и в глазах ее появлялось что-то свирепое.

— Я его убью, непременно, я его ненавижу, понимаешь? Это мой главный враг.

Лизавета боялась, как бы она, действительно, не задушила его. Фрумкин был сдержан, поставил самовар, пил чай. В глазах его она читала собачью верность, и любовь.

После полуночи кой-как устроились, не раздеваясь, спать. Клавдия стонала, бормотала во сне, раз закричала: «Кровь, кровь, девочки!»

Лизавета забылась, наконец, на кушетке. Неизвестно, сколько она спала, но когда она проснулась, перед ней на полу сидел Фрумкин и держал ее свесившуюся руку. Он смотрел упорным, немигающим взглядом в глаза Лизаветы.

— Я вас люблю,— сказал он,— крепко, навсегда. Я вам буду служить, как пес. Я люблю вас не так, как Петя.

Лизавета вскочила.

— Петя ни при чем! Оставьте, пожалуйста.

Она быстро прошлась по комнате.

— Из вашей любви ничего не выйдет. Я люблю Петю, и любила б его больше жизни, если б даже он бросил меня.

Фрумкин закрыл лицо руками.

— Не бросит,— сказал он презрительно.— Он даже на это не способен.

Лизавета покраснела, крикнула гневно:

— Оставьте, пожалуйста. Прошу больше об этом не говорить.

Фрумкин поклонился, все не отрывая рук от лица. Он сидел так долго, поджав под себя ноги и покачиваясь, как дервиш.

И Лизавета не могла уже заснуть.

Она сидела у окна, смотрела на далекое зарево и думала о своей жизни. Если выбросить из нее любовь к Пете, то что останется? Вероятно, она, Лизавета, и сейчас ненужная, но в сердце ее горит пламя,— ярче этих огненных клубов. Это ее вера и надежда. За нее она пойдет на какую угодно казнь, и ни перед чем не остановится. Очевидно, Бог назначил ей такую долю в жизни. Но почему Он послал этот ужас Клавдии? Разве Клавдия более дурной человек, чем она? Конечно, нет,— напротив. Чей грех она несет, за какие неправды наказывается? Этого Лизавета не могла сказать. Ее сердце наполнилось жалостью, и захотелось помолиться за Клавдию, за облегчение ее страдальческого существования.

Так сидя, со слезами на глазах и чистым сердцем, Лизавета к шести часам все-таки заснула.

Когда проснулась, Фрумкина уже не было. Она встала, и принялась за хозяйство.

В полдень Лизавета ушла. Несмотря на тяжелое время, она сумела все же кое-что наладить для Клавдии: к ней приходили дежурить курсистки, ее кормили, смотрели за порядком в квартире, а Лизавета через знакомого профессора хлопотала насчет клиники. Пока длилось восстание, перевезти ее было нельзя. И только в тот день, когда Петя въезжал в Москву, Лизавета с утра повезла Клавдию на Девичье поле.

Сначала Клавдия ехала кротко, доверчиво. Она прижималась к Лизавете и всю дорогу бормотала что-то ласковое.

Но когда слезали у клиники, она вдруг взяла ее за руку и сказала:

— Ты привезла меня в сумасшедший дом?

Потом взглянула в окно, в печальное, огромное окно, выходящее на Божий мир из дантовского ада, где она должна была теперь остаться, и тихо сказала:

— Значит, я совсем сумасшедшая. Но ты меня не забудешь?

И Лизавете навсегда врезалась та минута, когда, последний раз обнимая Клавдию, она увидела эти глаза, полные тоски и безумия, и когда голос Клавдии,— голос будто с другой планеты, просил:

— А где Степан? Почему он сюда не приедет?

Лизавета едва убежала. Внизу у швейцара она рыдала, как безумная, и едва помнила, как извозчик довез ее на родной Арбат.

Встретив дома Петю, похудевшего, бледного, вспомнив всю эту ужасную неделю, опасности, страхи и ужас, свидетельницей которых была,— Лизавета снова рыдала сколько могла.

XXXVIII

Россия велика и молчалива. Сколько слез, стонов и унижений вытерпело русское сердце, этого не измеришь. Не сочтешь сил, сгубленных в ссылках. Не узнаешь тех тысяч, что с давних времен до наших дней со звоном кандалов меряют сибирские пустыни, искупая прегрешения, или платя за пыл душевный. Им числа нет.

И пока мы живем, любим, враждуем, они идут. Их кандалы звенят. Простые люди подают им копеечку.

Вместе с товарищами по партии Степан испытал все это на себе.

Пока людей везут в вагонах, пока за решеткой окон знакомые, хоть и унылые виды, это еще преддверие. В Сибири не то: в мерзлых пустынях едут на подводах и идут пешком, в сорокаградусном морозе, с чувством, что до Москвы никогда не доскачешь. Бредут мужчины и женщины, девушки, и все они здесь,— как убойный скот. Тайная мысль тех, в чьей они власти,— избавиться от них. Это не трудно. От этапа до этапа много верст. И нередки случаи, что не досчитывают того, другого. «Попытка к бегству» — и пристрелен, мало ли что можно написать в рапорте? Кто будет это проверять?

Степана взяли не за покушение,— об этом не узналось. Он ждал каторги, а его ссылали на поселение. Он шел покорно, его большая, слегка сгорбленная фигура так соответствовала печали мест, печали этого странствия.

О сумасшествии Клавдии он еще не знал. Когда в России и больших городах Сибири проходили дни свобод, партия Степана была в дебрях, куда вести идут месяцами. Ссыльные шли ровно, со спокойным равнодушием безнадежности.

В партии были люди разные: и простые, относившиеся ко всему обыкновенно, без надсаду,— наиболее сильные и приятные; и неврастеники, испытывавшие временами страшный упадок, иногда склонные к малодушию. Они часто ссорились, и, если это были женщины, доходило до слез. Были и педанты революции,— начиненные словами, люди в большинстве сухие, властные. Они занимаются в ссылке третейскими судами, бойкотами и многими горькими пустяками, из которых слагается жизнь поселенца.

Больше других вызывала симпатию Степана и его сочувствие ссыльная Верочка, девушка лет восемнадцати, из центральной России. Полная, веселая блондинка, она вначале крепилась и старалась вести себя, как матерый волк революции; но была, конечно, просто ребенком, и попала в дело случайно. Чем дальше они двигались, тем труднее ей было: морозы, усталость, грубость конвойных брали свое. На одном этапе, где они должны были ночевать, ее охватило отчаянье: по стенам тучей ползли клопы. В первый раз заплакала она по-детски, горячими, неудер-

жимыми слезами. Степану стало жаль ее. Он ее успокоил, завернул в свой тулуп, закрыл ноги, чтобы не было доступа насекомым, и так, лежа головой на его коленях, она немного подремала при свете коптевшей лампочки.

Глядя на нее, Степан вспомнил, как в Петербурге, в каморке на Ротах он мечтал о большом жизненном деле. Ему казалось, что это было давно. Он был тогда молод, как эта Верочка. Что произошло с тех пор? Почему не удавалось все, за что он брался, и вся его жизнь с той поры — ряд метаний, противоречий, приносящих окружающим столько горя?

Вспомнив тот ужасный день у Собора, Клавдию, с которой сошелся, увлеченный темпераментом, и жизнь которой погубил, Степан скрипнул зубами. «Это называется — преследовать великую цель!»

О, пусть будут еще сотни верст, морозы, свирепые люди, пусть едят клопы, и даже жаль, что он не попал в каторгу, на Амурскую дорогу, где работают в болотах и где бьют особенно жестоко! Он это заслужил.

Впрочем, и здесь возмездие было суровое. Он узнал и удар прикладом, и холод, когда дикий ветер с океана продувает насквозь и хочется умереть, и голод в юртах близ городка, где не хватило квартир: их временно поселили в становище, как дикарей, и не особенно заботились о пище; целую неделю отдавал он свой паек женщинам — сам сидел тощий и слабый.

Жизнь стала несколько легче, когда, они добрались, наконец, до места ссылки. Они получили бóльшую, сравнительно, свободу, кое-как разместились и начали бедное существование поселенцев.

Их поселок стоял на реке. Скалы, леса, бесконечная гладь воды.

Когда наступила весна, и тронулся лед, все ночи стоял его грохот. Что-то титаническое было в нем. Потом начался разлив. Можно было подумать, что это не река, а озеро, море. И такие же были леса вокруг, похожие на океаны, и такие же звезды ночью. Как будто все в этой стране создано богатырями, для богатырей.

Но жилось трудно: не хватало дела.

С приходом весны Степан явно почувствовал, что здесь ему не усидеть. Он мог страдать, терпеть гораздо больше, лишь бы не прозябать бессмысленно.

Тут же не было ни бедствий этапов, которые он переносил, как заслуженное, ни горячей деятельности. Здесь

просто тосковали. Товарищи мельчали, занимались ссорами, дрязгами, разными пустяками. Грозило отупение.

Степан развлекался немного охотой, бродяжничеством. Иногда уходил далеко по реке, и один сидел на берегу, глядя в воду. Под ее шум легче было думать, и снова, еще ясней, вставали образы прошлого. Он представлял себе Лизавету, ее веселый смех, вольную жизнь. Как ярко, до последней черты видел он это милое существо! Знала ли она, что он ее любит? Конечно, нет, и, может быть, этого не нужно вовсе.

Потом вдруг охватило его такое чувство: надо торопиться. Надо жить, действовать, надо начать все сызнова и загладить прежнее. Боже мой, когда же будет настоящее? Оно должно прийти, должно, нет греха без прощения. И хотя теперь Степан неясно знал, что именно будет делать на родине,— террор не привлекал его вовсе,— все-таки он твердо решил, что должен бежать.

Доберется в лодке до какого-нибудь места, откуда идет пароход, а там дальше, от товарищей к товарищам, как Бог пошлет.

Раз его застала за такими мечтаниями Верочка. После пути через тайгу она явно стала чувствовать к нему симпатию. Что-то горячее, острое было в этой девушке. Она была молода, но явно в ней просыпалась женщина.

— Я думала,— сказала она, улыбаясь,— что вы на охоте.

— Нет, просто так, сижу.— Степан немного отодвинулся, давая ей место на камне.

Верочка вздохнула и села.

— Я вас немного боюсь,— сказала она.— Мне всегда кажется, что вы думаете о чем-то серьезном. Я не помешала вам? А то уйду.

Степан улыбнулся.

— Во мне нет ничего серьезного. Просто я большой, бородатый, вот видите, какие ручищи, вам и кажется Бог знает что.

Верочка оживилась.

— Нет, нет, у вас есть идеи, такие особенные идеи, каких нет у других. Когда я на вас смотрю, мне кажется, что в вашей жизни были необыкновенные события, и еще будут. Отчего вы никогда не рассказываете о себе?

Она смотрела на него сбоку, напряженным, благосклонным взглядом. Это был взгляд, которым молодые девушки дарят мужчину, нравящегося им,— готовые при-

писать ему неопределенно-обаятельные черты героя.

Степан понимал это, был польщен.

— Вы ошибаетесь,— ответил он.— Моя жизнь самая заурядная. Ничего в ней нет замечательного.

Верочка промолчала. Было ясно, что она не удовлетворена и не верит.

С реки налетел ветер, зашумел в соснах. Он надул светлую юбку Верочки, и немного открыл ногу. Степан увидел ее и вдруг заметил ее белую шею, девическую руку, которой она оправила подол платья: нервами, всем существом он ощутил ее с головы до пят. На мгновение в глазах его позеленело. Он побледнел.

Опомнившись, Степан потер себе лоб. «Фу-ты, Боже мой! — сказал он себе.— Фу!» Что-то мучительное и жуткое прошло по нем.

Верочка не заметила этого. Она сидела, болтала, и вся была пронизана тем огнем, живостью и свежестью, которые дают молодости ее прелесть. Она просила Степана взять ее на охоту. Степан смеялся и говорил что-то, но в его душе было совсем другое, о чем он боялся и думать.

Когда Верочка ушла, он подошел к реке, зачерпнул воды и выпил. Потом смочил себе виски, голову. «Что же это такое, что такое?» Он оглянулся в сторону, куда ушла Верочка, увидел вдали ее светлое платье.

— Надо бежать,— сказал он вслух.— Бежать, да скорей!

XXXIX

С этого дня для Степана начались новые волнения. Его отшельническое настроение было нарушено — как будто силы, таившиеся в нем, кем-то внезапно были вызваны и теперь давали о себе знать.

Он по-прежнему был сдержан, молчалив, но и себе самому не говорил всего, что чувствовал. Старался развлечься подготовкой к побегу: разузнавал адреса лиц, где мог найти пристанище, приготовлял одежду, необходимое для дороги. Кроме того — ходил на ботанические экскурсии с одним поселенцем, московским естественником, который попал в Сибирь потому, что был однофамильцем известного революционера; пока родные обивали в Петербурге пороги канцелярий, он отбывал чужое наказанье. Он был благодушный человек, философ, слегка одутловатый от болезни почек; его звали Василий Мартыныч.

— Помогайте мне в составлении гербария,— сказал он раз, захохотав своим открытым смехом.— Природа возвышающе действует на человеческую душу!

Степан взглянул на него подозрительно. Не догадывается ли?

Но скуластое лицо Василия Мартыныча, с голубыми глазами, неправильной белокурой растительностью, было простодушно, бесхитростно.

Степан охотно согласился.

Они вместе бродили, собирали цветы, травы — и в этом была смесь детского, святого и научного. Степан чувствовал себя легче вдали от людей, под беспредельным небом севера, теперь бледно-дымчатым от испарений. Ему казалось, что здесь он проще и покойнее. Уставая, они нередко ложились в тени отдыхать.

— Видите,— говорил Василий Мартыныч,— вот эти леса, травы, небо — это природа, создание Бога. Я, ведь, в Бога верую. Глупо думать, что раз естественник, значит, должен лягушек резать и быть материалистом,— он опять заржал своим козлиным смехом.— Ньютон, Фарадей были верующими. Я не Фарадей, но думаю, что основа жизни — дух, и когда я так думаю, мне становится легко и светло жить.

Он привстал, улыбнулся, и добрыми глазами взглянул на Степана:

— А жить мне недолго, видите ли, я рано умру. Я больной. Главное — я это чувствую. Но когда я смотрю на цветы, когда собираю эти милые существа, я люблю Христа, это его дети. И я умру — это значит, буду ближе к Нему.

Он лег на спину, и в его голубых глазах, обращенных к небу, пробегали отражения облаков.

Печать печали и света были на его некрасивом лице.

— Вас никогда... не мучили страсти? — спросил Степан сдавленным голосом.

Василий Мартыныч поморщился.

— Нет.— Он опять приподнялся.— Зачем вы охотитесь? Какие-то тетерева, убийства... Это кровь, гадость. Впрочем, прежде я тоже ел мясо; теперь не могу, решительно.

— А любили вы женщину?

Степан мял в руках ромашку, обрывал лепестки.

— Женщину? — спросил испуганно Василий Мартыныч. И потом прибавил: — Меня это не интересует. Раз-

множения я не люблю и в природе. Неприятный процесс,— прибавил он брезгливо.

«Да,— подумал Степан,— конечно, он этого не знает». И у него шевельнулась зависть. «Так проще, удобнее... и чище». Вместе с тем он почувствовал, что никогда Василий Мартыныч не поймет его; в нем нет этой темной, греховной крови. В самом же Степане она кипела все сильней.

Когда он думал о Верочке, он уже знал, что хочет ее властным мужским чувством, как поработитель. Это было даже не то, как некогда с Клавдией: он был уже опытным, взрослым мужчиной. Он знал, что какой-то иной стороной души навсегда любит Лизавету, что Верочка идет к нему всей правдой своего существа, несет во влюбленных глазах все сердце. Он же надломленный, охладевший человек. Он может дать ей только страсть. И когда он о ней вспоминал, видел ее девичью шею, у него немели ноги.

Он старался реже с ней встречаться, но это плохо удавалось: и мал был поселок, да и она хотела его видеть.

И то, что они оба ждали, хотя и с разными чувствами, от чего не могли уйти, произошло.

Это случилось на ранней утренней заре на тетеревином току, куда увязалась с ним Верочка.

После ночного скитанья по дикому лесу, когда на зеленоватом небе чернеют ели, и в темноте ветки царапают лицо, они забрались в шалаш, приготовленный заранее. Перед ним, на прогалине, стояло чучело самки; сюда собирались на ток самцы, а из засады их стреляли.

Степан навсегда запомнил минуту, когда они с Верочкой прилегли в шалаше, ожидая прилета птиц. Запомнил бледную, огромную звезду над зубчатым бором, потонувшую в заре; чистое утреннее солнце, черньшей, разгуливающих по полянке, с тарахтеньем топорща перья, их красные надглазья; запах хвои, свежести, влаги, и девственного простора; робкие зеленые глаза, губы, уступившие без боя.

Пылкая радость господства, молодая страсть, кипевшая ему навстречу, ее невнятные слова: «Боже мой, я уж теперь ничего что-то не понимаю», закрытое руками, в смущении, лицо, вздох, в котором и счастье, и любовь, и какая-то тоска: все это казалось ему прекрасным, жутким.

— Ты меня любишь, очень? — спрашивала она. Он не отвечал, только целовал. Он не понимал теперь сам, хоро-

шо он сделал, или плохо, но было очевидно, что иначе не мог поступить. И в этом шалаше, под воркотню чернышей, мирно болтавших на лужайке, он чувствовал себя победителем, правым, как это утро, лес, солнце.

Так они сошлись. Их совместная жизнь продолжалась около трех недель, и все это время Степан чувствовал себя очень удивительно. Страсть опьяняла его, иногда доводила почти до бреда, и тогда казалось, что ему море по колено, что он знать ничего не хочет, кроме любви. Но уходила от него Верочка, и он вдруг ясно понимал, что, как все почти в его жизни, это *не то*. Он не может соединить свою жизнь с нею, они по-разному чувствуют, он не муж ей. Та невидимая рука, что всю жизнь вела его, толкала и теперь неудержимо, и ему с особенной ясностью рисовались детали побега. Он плывет в лодке, до ближайшего города, там переодевается, пешком спускается вниз. Потом опять по реке, и т. д. Надо пользоваться тем, что в отпуску исправник, и его не скоро хватятся.

А Верочка? Степан знал, хоть и не мог объяснить этого, что должен оторваться от этой чаши сладкого яда, бежать один, что для его жизненной судьбы, для его назначенья это важней, чем остаться с ней здесь и ложными узами прикрепить ее к себе, как Клавдию. Приходила Верочка, и все это летело прахом.

Но понемногу, в борьбе противоположных чувств, стало брать верх желание порвать все.

Встречаясь теперь с ботаником, собирая с ним попрежнему цветы, Степан не ждал уже от него поучений. Он смотрел на него, как на славного ребенка, от которого ему нечего взять. Вспоминая о Верочке, он испытывал острую тоску. «Милая,— думал он,— милая...» Он знал горе, которое ей причинит, весь ужас того, что делает, покидая ее, и если бы внутренний голос, голос всегдашнего Степана, спросил его: «А думаешь ли ты об ответственности, ты, взявший мимоходом чистую душу?» — Степан теперешний улыбнулся бы и ответил: «Отлично, отлично знаю».

И верно, он знал, что на плечах его стопудовый груз. Что расплата за жизнь, идущую столь причудливо,— не мала; но огромность ответа не удерживала его.

Наконец, он все сказал Верочке; признался, что их жизни не могут идти вместе. Что, действительно, он любит ее горячей мужской страстью, но не как подругу жизни. Ему нужно быть одному.

— Ты можешь меня считать,— сказал он, бледнея,— негодяем. Быть может, я и есть негодяй. Вина моя перед тобой безмерна; но что бы ты ни думала, что бы ни говорила, я должен поступить, как поступаю.

Верочка сидела перед ним, как смерть.

— Я так и думала,— сказала она тихо.— Тебе виднее. Я тебя не связываю.

Думала Верочка другое, но не хотела сознаться. Всю ночь она металась, как раздавленная, но к утру укрепилась, и со Степаном держалась так, будто ничего не произошло.

— Конечно,— говорила она.— Ты должен бежать. Я знала, что твоя жизнь особенная. Я ничего не говорю...

Верочка хотела еще что-то прибавить, но не могла, губы ее задрожали, она закрыла лицо руками, упала головой на подушку и зарыдала.

— Господи! — выкрикнула она.— Как я тебя любила!

Степан стоял перед ней безмолвный. Во второй раз в жизни чувствовал он себя убийцей. Когда через несколько дней он садился в лодку, которая должна была навсегда увезти его из этого края, в его душе было необъятное, прочное чувство. Точно он был крещен последним крещением. Ему казалось, что силы его возросли вдвое.

XL

К весне того бурного года дела Пети сложились так, что они с Лизаветой могли выехать за границу.

Алеша, которому после участия в восстании пришлось покинуть Россию, писал восторженные письма; он жил в Италии и звал их туда. Если бы он и не звал, Петя сам выбрал бы эту страну: уже довольно давно чувствовал он к ней горячее влечение.

В половине апреля, когда в России нередко еще холодно и налетает снег, они тронулись с Брестского вокзала, напутствуемые друзьями, Зиночками, козлорогами.

В Польше стало теплее, появились бледные, весенние облачка.

На прусской границе, перед Торном, поезд задержался довольно долго. По благоуханию лесов, легкому ветерку, солнцу, игравшему в касках пруссаков, стало очевидно, что началась настоящая весна.

В Берлине можно было ходить без пальто, но ни погода, ни удобство жизни и автомобилей не удержали их.

Вечером они выехали на Мюнхен, Верону, во Флоренцию.

Их сердца забились горячей, когда в окнах замелькали черепичные крыши. Италия приветствовала их новым светом, новым воздухом. Петя ничего не пил в дороге, но ему казалось, что он немного пьян.

Особенно ясно он почувствовал это ночью, в Апеннинах, на захолустной станции. В вагоне было тесно, гоготали, запоздалый музыкант играл на гитаре. Лизавета спала, прикорнув в углу. Петя отворил окно, и в бархатной ночи, в звездах над горами, в сонной перекличке служащих на станции — и особенно в щелканье соловья из кустов — он почувствовал такое дорогое и родное, что захотелось плакать. Все здесь *его,* казалось ему; все ему принадлежит, его сердце принимает в себя весь этот новый, так мало еще известный, но уже очаровательный мир.

На рассвете, с высоты перевала, он увидел в утреннем тумане Пистойю в нежно-золотистых тонах. Он принял ее за Флоренцию. Над ней курились испаренья, а дальше лежала голубоватая равнина, вся светлая, полная садов, белых вилл по склонам гор. Точно покрывало Киприды вуалировало этот край.

В Пистойе проснулась Лизавета. Итальянское солнце упало на нее сбоку, и ее нежная кожа, золотистые волосы зажглись от родного прикосновения.

— А? Приехали? — забормотала она, не очнувшись еще от сна.

В углу завозились солдаты, и до Пети донеслись слова: «bella, bionda»[1], что сопровождало Лизавету всюду по Италии.

Лишь только они слезли во Флоренции, увидели S. Maria Novella[2] с острой колоколенкой, увидели флорентийцев, флорентийские дома с зелеными ставнями, услышали крики ослов и звон флорентийских кампанилл,— оба сразу поняли, что это их город.

Они приехали, наконец, куда надо.

И не было ничего удивительного, что сразу нашли альберго какой следует, что хозяева оказались милейшими людьми, и через полчаса Лизавета, повизгивая от радости, разоблачалась и мылась в комнате, потолок которой был расписан и половину всего места занимали

[1] красивая, блондинка *(ит.).*

[2] Церковь Санта Мария Новелла. *(Ред.)*

кровати с грубоватыми простынями. Над изголовьями висела Мадонна.

Кто не знает радости майского утра во Флоренции, когда, отдохнув два часа, человек выходит на залитую солнцем уличку и у него над ухом хлопает бичом погонщик мулов, везущих на огромной двухколеске камень, когда кругом выкликают газеты, хохочут, торгуются на базаре; когда он сразу окунется в кипучую, веселую и бессмертную жизнь юга, простых людей, простых чувств, и его ждут сокровища искусств и природы,— кто этого не знает, тот не испытал прекраснейших минут жизни.

Несомненно, в этот день Петя с Лизаветой были немного полоумны. Их можно было бы называть разными насмешливыми именами — как детям, им нравилось все. Они могли беспричинно смеяться, но в горле стояли слезы.

Когда Петя попал в S. Maria Novella и сидел во внутреннем монастырском дворике, под солнцем, среди роз, и рассматривал Испанскую капеллу, Орканью, Гирландайо, ему казалось, что все это — какой-то райский сон.

В монастыре св. Марка, насмотревшись Беато Анджелико, они сели во дворе, под огромным деревом, и блаженно-бессмысленными глазами смотрели на седых англичанок, бродивших по галерее в белых платьях.

Потом завтракали в ресторанчике Маренго. Веселый человек Джиованни, с черносливными глазами, прислуживал им, тараторил, подавал бифштекс, наливал кианти из качающейся оплетенной фиаски и подарил Лизавете цветы.

В окно вскочил с улицы огромный пес. Пришли завтракать офицеры в голубых плащах, толстяк, быстро хмелевший и болтавший со всеми,— Пете и Лизавете казалось, что и офицеры эти свои, и собака своя, и толстяк, которого они окрестили доктором.

Становилось жарко.

После завтрака они валялись в альберго на постелях, пожирая виноград. У Пети шумело в голове, ему казалось, что он только сегодня появился на свет Божий: ни России, ни прежней жизни, ни мыслей, ни ужасов этой зимы — ничего нет. Все смыто.

Перед вечером они гуляли в саду Кашинэ, по берегу Арно. Они чувствовали себя покойней, светлая тишина как будто сошла на них. Слева плескала река в камышах; на той стороне тянулись тополя и уходили вдаль, к горам, по контурам которых щетинками торчали пинии, страна

садов и вилл. Флоренция была сзади. Виднелась башня Palazzo Vecchio[1], да мосты на ту сторону. Над ними, за рекой, подымались холмы S. Miniato. Среди зелени там горели в солнце стекла.

По дороге катили экипажи, скромные велосипедисты возвращались с работ в ближние деревни: светлой, ясной жизнью веяло от всего. А когда солнце зашло за горы, разлился оранжевый, удивительный вечер.

Смиренно звонили в нем флорентийские кампаниллы.

Весь этот день, и следующие, они провели в одном очарованьи. Ездили в монастырь Чертоза, с высот S. Miniato смотрели на вечернюю Флоренцию, в синеватой дымке, с бессмертными силуэтами церквей, Собора, Коммунальной башни. Любовались извивом Арно на закате, в золотой цепочке зажегшихся фонарей.

Они видели, как в двуколке возвращается из Флоренции торговец, и вместо фонаря на передке у него бумажный фунтик со свечой внутри: точно он едет от двенадцати Евангелий.

Видели ночные похороны, с факелами, в масках, как было в средние века. Видели розы во Фьезоле и голубые дали, и серебряные оливки с благородной, коричневой черепицей. Они узнали поэзию блужданий, роскошь итальянских вечеров, летающих светляков, радость загородных остерий со стаканом вина и игрой в засаленные карты.

Монахи, торговцы, уличные ораторы, запах овощей на рынке, серый камень дворцов, лоджия Орканьи, где спят среди статуй флорентийцы, щелканье бича, рубиновое вино, бессмертие искусства — это Флоренция, это принадлежало им.

То светлое и прекрасное, что переполняло Петю, иногда заставляло его почти задыхаться. Тогда он снова чувствовал, что глупеет, и ему не стыдно было этого. Тогда ему хотелось плакать. И как некогда в Москве,— раз в темном переулке, под звездным небом, оглянувшись, не видит ли кто, они поцеловали священную землю Италии.

В ту ночь Петя видел легкие, сладостные и печальные сны. В два часа он проснулся. С улицы доносился странный, мягкий топот. Подбежав к окну, он приоткрыл жалюзи.

Небо было ясно, в звездах; чуть бледнел рассвет.

---

[1] Старого Дворца *(ит.)*.

Вся уличка была полна овцами, тесной толпой спешившими куда-то. Их подгоняли пастухи. И эти серые овцы, и звезды, тишина рассвета говорили о чем-то дочеловечески-далеком. Петя вспомнил халдейских пастухов и царей-волхвов. Он хотел разбудить Лизавету, но овцы прошли, как исчезает видение. Снова было тихо. Флоренция спала.

Вечером следующего дня, ни о ком не думая, они сидели на площади Синьории, за столиком скромнейшего кафе.

Темнело, зажигались огни. Пахло Флоренцией.

Проезжал веттурин с англичанкой, чуть не задевая их. Флорентийцы болтали, стоя кучками посреди площади, другие пили кофе. На синем небе вырезалась башня Коммуны, освещаемая отсветом огней. Козимо гордо заседал на коне. Над всем висел нестройный, милый гам Италии.

В это время подошел певец с гитарой. Оглядев публику, он ударил по струнам. В этот теплый вечер он пел так же, как всегда поют итальянские уличные певцы, о любви, горе покинутого юноши. Хорошо он пел, или плохо? Что было бы, если б он выступил в концерте? Этого нельзя было сказать, но здесь он казался частью вечера, жизни, сладостной и очаровательной каплей поэзии. Это чувствовали все. Все внимательно его слушали: то, о чем он пел,— было настоящее, всеми некогда пережитое, всем близкое.

Ему бросали в шляпу сольди. Бросил и Петя и, обернувшись,— вдруг увидал Алешу. Алеша, несколько возмужавший, с белокурой бородкой, в огромной шляпе, стоял в трех шагах, тоже слушал, и не видел их.

Через минуту они хохотали, целовались. Лизавета повисла на его шее и болтала ногами — к полному удовольствию итальянцев.

— Нет,— говорил Петя,— я глазам своим не поверил, стоит и стоит, как живой!

Лизавета слегка визжала.

— Послушай, ну как ты здесь, ну это очаровательно, да как ты тут очутился? Это же прямо что-то невозможное.

Алеша, по их расчетам, должен был жить в Риме, в качестве эмигранта.

— Что же такое? — сказал Алеша.— Сегодня тут, завтра там. Мало ли где я был. Я и в Ницце побывал.

Оказалось, что и здесь он вел бездомную жизнь: в

Монте-Карло выиграл, и теперь бродил по Италии, частью двигаясь по железным дорогам, частью пешком, от городка к городку Тосканы, и от остерии к остерии. Пробирался же он в Рим, это верно, там у него появилась уже симпатия. Все это Алеша выложил довольно быстро, и на каждом слове хвалил Италию.

— Очень мне нравится,— говорил он.— Не страна, а радость. Я и не думаю теперь возвращаться. Бог с ней, с Россией, революцией. Тут останусь. У меня во Флоренции есть знакомые, предлагают работать на ферме, да я не хочу. Поживу в Риме, а там, может, в Генуе матросом наймусь. Посмотрю, по крайности, белый свет.

По случаю встречи решили выпить. Алеша повел их в кабачок, к своим друзьям на улицу Tavolini, где было знаменитое кианти.

С хозяйкой он держался запросто. Его принимали за художника, он имел кредит и чувствовал себя превосходно.

— Эрколе! — заорал он на маленького лакея, черного, с лицом философа.

— Fiasco chianti! Marca verde![1]

Эрколе гаркнул на него так же оглушающе:

— Pronti-i![2]

Это была игра — орать друг на друга, чтобы слышно было на via[3] Calzaioli.

Они просидели тут часа два. У Алеши были знакомые шулера, гадалки, и он угостил вином синьору Италию, жену Эрколе,— толстую судомойку с усиками на губе. Лизавета подпила и хохотала. Выпил и Петя. Около двенадцати тронулись домой, напутствуемые лучшими пожеланиями.

Мужчинам не хотелось спать. Уложив Лизавету — хоть и не без протестов с ее стороны,— они направились бродить еще.

XLI

В двенадцать часов Флоренция почти пуста. Есть огни у Гамбринуса, на площади Виктора Эммануила да в кафе Рейнингауз, там же. В кафе Рейнингауз лакеи в красных куртках. За столиками иностранцы и много артистических

---

[1] Бутылка кьянти! Зеленой марки! *(ит.)*
[2] Сейчас! *(ит.)*
[3] улице *(ит.)*

молодых людей. Есть, конечно, и русские. Как во всех кафе rendez vous des artistes[1], кофе у Рейнингауза плох, но дух учреждения приятен.

Здесь они посидели недолго, выпили коньяку и отправились на S. Miniato. Почему они туда именно пошли, решить трудно, но так захотелось.

На берегу Арно, за башней S. Niccolo, Алеша неожиданно спросил:

— А ты знаешь, кого я в Риме встретил?

Петя не мог догадаться.

— Да, это нелегко. Твою прежнюю симпатию. Помнишь, Ольгу Александровну?

Петя замедлил шаг.

— Да не может быть? Как так?

— Очень просто.

Алеша закурил итальянскую сигаретку.

— Отец ее умер, она одна, живет теперь в Италии. Ну, Рим, русская колония, моментально и познакомился.

Петя сразу сообразил то, что давно приходило ему в голову: он не встречал ее нигде в России и не слышал о ней ничего.

Алеша помолчал и сказал:

— Ах, очаровательная женщина! прелестная! Я говорю тебе это потому, что у вас давно все это было, да ты теперь и Лизкин муж: чудная!

Он сдернул с головы шляпу и хлопнул ею по колену.

— Что там прятаться, я ее люблю!

Петя ничего не сказал. Он шел задумчиво, постукивая тростью.

В его душе воскресло былое, он был выбит из настроения. Он, конечно, не любил уж Ольгу Александровну. Но ему дорога была ранняя юность, ее чистые, возвышенные чувства.

— Ты знаком с ней близко? — спросил он Алешу.

Алеша ответил:

— Очень.

— Что ж,— сказал тихо Петя,— дай Бог вам счастья. Она, правда, прекрасная женщина.

— Мы говорили с ней много о тебе. Она хорошо о тебе отозвалась. Ты хотел бы ее видеть?

Петя ответил не сразу. Он не мог сказать решительно ни да, ни нет.

---

[1] для встреч артистов *(фр.)*.

— Я думаю,— наконец, произнес он,— что этого не нужно. Не говоря уже о Лизавете, это и само по себе ни к чему. Что было, то было. Мы изменились, по-другому чувствуем. Наши пути разошлись.

Они медленно подымались по дороге к S. Miniato. Четырехугольная башня S. Niccolo осталась внизу. Стали открываться огоньки Флоренции.

Решетчатые ворота к piazzale Michelangelo[1] были заперты. Солдат с плюмажем, в гетрах, пропустил их в калитку, и короткой, крутой тропинкой они пошли дальше. Журчали фонтаны. С каждым шагом город становился видней, обозначился знакомый изгиб Арно у Кашинэ, окаймленный цепью фонарей. Звонили полночь. Во Фьезоле кое-где блестели огни.

На скамье, на площадке, где стоит Давид, они сели. Никого не было сейчас тут,— лишь бродила пара сержантов — guardia[2], в штанах с лампасами и в треуголках.

Петя сел на скамью, Алеша лег, положив голову ему на колени. Шляпу он держал в руках и помахивал ею.

— Фу-ты, Боже мой,— сказал он,— крутой подъем. А место чудеснейшее, это я всегда говорил.— Через минуту он прибавил: — Я повторяю, да это, ведь, все равно, нигде мне так хорошо не было, как тут, в Италии. Удивительно хорошо.

— А вспоминаешь ты Анну Львовну? — спросил Петя.

Алеша повернулся и ответил:

— Да. Она была, а теперь ее нет. Я теперь полон другим. Некогда, я, ведь, живу минуту. Раз, два и меня нет. Не люблю философствовать, но должен сказать, что в своей жизни не чувствую никакого фундамента. Да мне и самому недолго жить, я уж знаю. Мне что-то очень хорошо, видишь ли. И это, наверно, скоро кончится.

— А ты боишься, что кончится?

Алеша вздохнул.

— Нет. Я, брат, раз в метель замерзал, другой раз меня в Москве драгуны чуть не застрелили — хоть бы что. Жить люблю, это верно.— Он сел и улыбнулся: — А умирать, так умирать. Все равно не отвертишься.

Через минуту он сказал:

— Я совершенно здоров, мне двадцать три года, и если

---

[1] площади Микеланджело *(ит.)*.

[2] карабинеры *(ит.)*.

я умру скоро, то это произойдет от какой-нибудь глупости. Так уж мне на роду написано, это что говорить. Ну, да ладно. Видишь, вот тебе небо, такое, что нигде больше не найдешь, звезды удивительнейшие, Флоренция, красота, любовь. Сиди, дыши этим, и будет с тебя. А то некоторые мудрят очень. Например, Степан. Несчастный он человек, по-моему. И ничего из его жизни не выйдет.

— Степан,— сказал Петя,— ставит себе большие цели, только и всего. А выйдет ли из его жизни что, или не выйдет, это еще посмотрим. Я не думаю, чтоб его жизнь была ничтожна.

— Не моего он романа. Медведь, лезет по лесу, сучья трещат... кому-то там хочет добра, а у самого лапы в крови... и по дороге давит мелюзгу.

Алеша зевнул и перевернулся.

Петя молчал, ему не хотелось говорить. Встреча с Алешей, воспоминания об Ольге Александровне, все это как-то всколыхнуло его, в голове затолпились мысли.

Сколько времени, казалось ему, прошло с той весны, когда он был у Ольги Александровны! Как резко изменилось все, сколько новых чувств он узнал, как стремительно мчит жизнь — его и его друзей, несет к таинственному, непредставимому пределу. Степан в ссылке. Алеша эмигрант, сам он, Петя, близок к апогею своего существования. Что будет дальше? Ему стало грустно и радостно. Радостно потому, что он знал красоту, любовь — лучшее, что есть на свете, и как раз в эти дни был переполнен ощущениями красоты. Но от большого счастья этих дней все улетит, и настанет момент, когда его жизнь пойдет на убыль. Его душевная история с Лизаветой — уже его последняя история. Он и не хотел бы иной. Он знал, что ни на какую иную не способен, как не может встретить иной Флоренции: она одна. Но все же — жаль тех лет, отгремели так пестро, временами ярко и радостно. «Конечно,— говорил он себе,— пора и давать что-нибудь, не только брать. Пора».

Он стал было думать о России, о своей будущей деятельности, но думы недолго продержались в нем. Алеша лежал неподвижно. Размышлял ли он также о своей быстролетной жизни, мечтал ли об Ольге Александровне, или любовался звездами?

Небо над Фьезоле стало бледнеть. Запели петухи на соседних виллах. Стало сыровато. Статуя Давида увлажнилась росой.

Русские встали, и пешком побрели по viale к Porta Romana[1]. «Во всяком случае,— думал Петя,— я рад, что жил, живу».

Все время видели они на рассвете дымно-золотистую Флоренцию, тихую, чистую и бессмертную. За ней лиловели горы.

Около Porta Romana стали попадаться люди. Солнце медленно подымалось, теперь раскрылся вид и на другую сторону Тосканы, к Чертозе — мягкая равнина зелени, черепичных крыш, прорезанных тополями, кипарисами. И тут на горизонте горы.

Они решили не ложиться. Сидели на Ponte Vecchio[2], смотрели, как в Арно ловят рыбу, как на рынок везут овощи в двухколесках. Забрались в лоджию Орканьи. Здесь дремало на плитах несколько личностей; воркуя, бродили по мраморным львам голуби. Солнце косо и резко било из-за Palazzo Vecchio.

Когда в седьмом часу подходили к альберго, где остановились Петя с Лизаветой, окошко отворилось, и оттуда выглянула заспанная, розовая мордочка Лизаветы.

— Забыла жалюзи спустить,— сказала она Пете, зевая,— мне светло очень спать. Где шлялись? Хорошо было? Дура я, что с вами не пошла.

И через полчаса, веселые, но довольно тихие, они пили кофе за пятнадцать сантимов в bar Svizzero[3], у седого швейцарца.

Солнце сияло над Флоренцией. На Mercato Centrale[4] пахло овощами; продавали жареные каштаны, на порогах лавчонок сидели итальянки — кипела жизнь, легкая флорентийская толпа. Предстоял день райского существования.

XLII

Степан добросовестно проделал все, что приходится выносить беглецам из Сибири — переодеванья, ночевки у неизвестных лиц, испытал голод, опасения быть пойманным, и к концу лета добрался, наконец, в Москву.

Останавливаться здесь было рискованно; но он оста-

---

[1] бульвару... Римским Воротам *(ит.)*.
[2] Старом Мосту *(ит.)*.
[3] Швейцарском баре *(ит.)*.
[4] Центральном Рынке *(ит.)*.

новился. Тут он узнал, что Клавдия в психиатрической лечебнице, и положение ее безнадежно. Он хотел навестить ее, но врачи сказали, что не надо — это еще сильнее ее расстроит и принесет только вред. Степан не пошел. Он бессмысленно бродил по знойной Москве, по вечерам глядел на золотой купол Христа Спасителя, сиявший в сухом, пыльном тумане. Его угнетала тоска.

Он жил под чужим паспортом в номерах «Кремль», где останавливаются актеры. По ночам просыпался, садился на постель и мучительно ждал, когда будет светло. Казалось, что в номере до того душно, что он сейчас задохнется. Он отворял окно, высовывал тяжелую голову наружу, и вид Кремлевской стены, башен, Александровского сада, палевый рассвет еще сильнее терзали его.

Он ни о чем не думал. Он почти не вспоминал ни о Верочке, ни о Клавдии, и ему совершенно не хотелось разбирать, оценивать свое поведение, осуждать себя, он просто чувствовал невыносимую тяжесть, одиночество и безнадежность. Минутами ему казалось, что он не может более жить. Как будто сила, толкавшая его к бегству, проведшая через всю Сибирь, вдруг прекратила свое действие. Все это ни к чему. Он ничего не любит, ему ничего не надо, и вовсе он даже не революционер: лучше всего ему просто пустить себе пулю в лоб. Он садился к столу, клал на него голову, сдавливал руками виски и подолгу глядел в одну точку. Ему хотелось выть — долго и жалобно, как волку.

Он потемнел с лица, сгорбился, и его огромная фигура стала еще нескладней. Возможно, он и застрелился бы в номерах «Кремль», но случилось так, что по делам партии ему предложили ехать за границу, на итальянскую Ривьеру, где в то время жили члены центрального комитета.

Сначала он отказался. Потом равнодушно согласился — не из интереса к делам, как раньше, а просто так: послать, кроме него, было некого.

Брать заграничный паспорт было слишком опасно. И он перебирался в Германию с обычной процедурой беглецов, плыл на пароходе по Неману, ехал до границы на лошадях, и за пятнадцать рублей специалист-фермер, находившийся в добрых отношениях с пограничниками, как барана, провез его среди бела дня в таратайке мимо кордона. Степан, скорчившись, сидел у него в ногах, едва прикрытый пледом.

Ему все равно было, поймают его, нет — ехать ли на Ривьеру, или в Сибирь.

На немецкой территории он угостил фермера коньяком, в трактирчике, где обычно вспрыскивали удачную переправу.

Через два же дня был на итальянской границе, и молодой таможенник в шляпе с перьями спрашивал, нет ли у него папирос.

Свое поручение Степан выполнил довольно быстро, но не остался в том месте, где гнездилась эмиграция, а поселился в небольшой деревушке у Sestri Levante[1]: там было тише. Это больше ему нравилось.

Степан приехал сюда перед вечером, на извозчике из Сестри. Ему было уже приготовлено помещение у почтенной итальянки, синьоры Тулы.

Отпустив извозчика, Степан стал подыматься по крутой каменной лестнице. Было темно, грязно, и бегали кошки. Тула встретила его приветливо, со свечой в руке, и показала комнаты.

Одна выходила на море, другая — в горы. Обе маленькие, чисто выбеленные, похожие на кельи. Потолки, конечно, расписаны, над кроватью Мадонна. В столовой госпожи Тулы стоял огромный шкаф со старинным фарфором, висели фотографии и аттестат, выданный ее покойному мужу, моряку, в награду за спасение погибавших. Тула глядела на Степана спокойно и благожелательно.

— Благодарю вас,— сказал Степан, как умел,— я у вас остаюсь.

Когда он отворил окно, в комнату потянуло влажным благоуханием. Он облокотился на подоконник, видел мохнатые горы, заросшие соснами и оливковыми рощами, и внизу, у своих ног, небольшие виноградники, где возился человек в широкополой шляпе. Налево росли апельсинные деревья, и в них обозначались уже желтые плоды. Было пасмурно, накрапывал дождь.

Сзади ходила Тула, устраивала ему комнату, что-то шептала про себя. Он чувствовал вокруг старую, монотонную идиллическую жизнь, напоминавшую монастырь. Это ему нравилось. Хотелось еще взглянуть на море.

Чтобы выйти на берег, он должен был пройти проходом под железнодорожной насыпью.

Еще у Тулы он слышал все время ровный, глухой

---

[1] Городок близ Генуи. *(Ред.)*

шум — когда же вышел на песчаный пляж, этот гул наполнил собою все. Иногда он рос, как бы доходя до высших нот, затем сменялся шуршанием, на мгновение замирал, и опять мягкий, глухой удар в берег — и облако брызг.

Становилось темно, и Степан неясно видел прибой — лишь белело что-то вдали. Дул сырой ветер, пахло морем. Налево виднелись огни Сестри, направо, в отдалении, вспыхивал и гас свет маяка на Portofino[1]. Из туннеля вылетел экспресс, блеснул зеленоватым светом электричества в окнах вагонов и, обдав побережье искрами, умчался.

Степан подошел к морю. Дождь слегка усилился, но он снял шляпу и шел по мокрому песку у самых волн. Ноги его вдавались, отпечатывая следы: волны аккуратно смывали их.

Степану было приятно идти так. Его обдавали соленые брызги, дождь мочил волосы, но вокруг была теплая, сырая ночь в далекой стране, такой простой и прекрасной, так непохожей на все, что ему приходилось доселе видеть. Казалось, что когда он идет здесь, у волн, его никто не видит и не слышит; можно громко сказать, вслух, как ему тяжело. Капли дождя, мочившие голову, как будто унимали тот жар, которым она горела уже столько времени.

Степан шел и вздыхал. Потом остановился и сказал:

— Господи! Господи, Боже мой!

Ему страшно было слышать звуки собственного голоса, но не было стыдно произнесенных слов. В груди что-то затеплело. Ему вдруг показалось, что не все еще потеряно.

Вечером он вскипятил на спиртовке воду и пил чай. Угостил и Тулу, потом почитал немного и стал ложиться. «Здесь как в монастыре»,— подумал он, улыбнувшись, едва помещая свое большое тело на железной кровати. Ему опять стало горько. «Ну, монастырь и монастырь, место спасения... А мне ничего не надо». Прежняя апатия, мучительная и тоскливая, охватила его. Ни о чем не хотелось думать, он погасил свечу и лежал, бессмысленно уставившись в темноту. За стенкой молилась Тула. Он слышал ее вздохи, шепот. Потом она улеглась.

Степан думал вначале, что ему предстоит такая же ночь, как в номерах «Кремль». Но вышло по-другому. Его мысли зашевелились, проснулись. Он с ужасом увидел, что, в сущности, он на краю гибели. Как это так вышло,

---

[1] Название поселка. *(Ред.)*

что он, Степан, человек, которому несколько лет назад все в жизни казалось таким ясным, заблудился, зашел в тупик, и едва держится? Степан вспомнил все последние месяцы, прожитые в безобразном упадке,— и у него похолодели ноги. Нет, он еще жив, он не труп, и не собирается сдаваться.

Все происходит оттого, что какие-то силы, темные ветры его существа, отнесли его в сторону от настоящей дороги. Но где она? Как ее найти?

У Степана было то мучительное ощущение, какое бывает во сне, когда видишь, что надо, например, не опоздать к поезду, и, между тем, не можешь поспеть. Надо было сейчас, сию минуту найти решение, найти что-то огромное, что повернуло бы сразу жизнь в другую сторону.

Ни партия, ни товарищи не могли дать этого. Это все было совсем другое.

Степан застонал и перевернулся. Некоторое время он лежал неподвижно, в темноте перед его глазами плыли разноцветные круги. Один из этих кругов незаметно вошел в его мозг, и с ним пришла ясная, простая мысль, от которой хаос и буря его души сразу утихли: «Я виноват. Я ничтожный, последний из людей».

Через несколько минут Степан улыбался, в темноте, по щекам его ползли слезы. Подражая старой Туле, он шептал: «Прости! Прости, научи, что делать. Ты единый, великий, всезнающий и всеблагий, дай сил, чтобы служить Тебе. Научи, что мне сделать. Я знаю, что ничтожен, но Ты велик и добр. Ты можешь мне помочь, не оставь меня. Я тебя умоляю. Научи, научи».

И чем дальше он повторял это, тем легче и светлей становилось на его душе. Уходило все, что было вокруг; прошлое, настоящее, будущее — все сливалось в вечном. Слезы увлажняли его душу.

XLIII

Дурная погода держалась несколько дней; потом облака поднялись, в их просветах заголубело, и после полудня выглянуло солнце. Сразу море изменило свой цвет, стало изумрудно-синеватым. Это и есть Средиземное море.

Степан тотчас вышел на воздух. И тотчас почувствовал ласку Италии, ее легкий, бессмертный привет.

Он собирал на пляже камешки с детьми русских эмигрантов, купался, ходил в горы по ручью, заводившему его

в лесистое ущелье, где росли сосны, и между ними вилась тропка в горную деревню. Там журчал ручей, сквозь ветви сосен светило бледно-голубое небо; всегда чирикала какая-то птичка. На каменных ступенях дорожки попалась девочка; на голове ее тяжесть, она усердно взбирается вверх, в родное Барассо. Степан слушал пение птицы, смотрел на девочку, и сердце его смягчилось. Он ничего не думал, не решал, что ему надо делать. Но у него было ощущение, что жизнь понемногу входит в его душу. Ему казалось, что давно надо было попасть сюда, много надо было смотреть солнца, моря, вдыхать этого светлого воздуха и чему-то настоящему учиться.

Из ущелья он подымался налево в гору, к рощице пиний, прямо внизу под которой лежало его новое пристанище. Отсюда было видно далеко. В одну сторону зеленели леса по горе, в другую, к мысу Портофино — тянулся узкий песчаный берег с полотном железной дороги. Там пробегали поезда, а дальние холмы, белея виллами и колокольнями, были одеты мягкой синевой: голубым воздухом Италии. В море виднелись паруса лодок. Иногда на горизонте стлался дымок: это шел океанский корабль.

Слеза набегала на глаза Степана. Сидя здесь, перед вечным беспредельным морем, он думал о какой-то прекрасной, несбывшейся жизни, о Лизавете, которой не успел даже сказать, как глубоко, нежно ее любит. «Ничего,— говорил он себе,— ничего. Значит, так надо».

Сквозь стволы пиний сияло море снежным блеском. Наступал вечер.

Крутой тропинкой спускался Степан вниз, к церкви. Церковь была конца восемнадцатого века. Наверху колокольни, под циферблатом часов, Степан заметил надпись: «Dominus det tibi pacem»[1]. Это ему понравилось. На другой день, собирая с детьми камешки на прибрежье, он выбрал овальный, мраморный голыш, и спрятал в карман. Он сидел над ним целый день у синьоры Тулы, и выцарапал ножом, латинскими буквами, этот девиз; он казался ему добрым талисманом.

Раз как-то Степан обедал у знакомых русских. Там только что были получены из Рима книги. Среди них он увидел одну, остановившую на себе его внимание. Она была в белом пергаменте с золотым крестом посредине.

---

[1] Да пошлет вам Господь мир *(лат.)*.

— Это я отдавала переплетать Евангелие,— сказала хозяйка.— Смотрите, как славно сделали под старинное.

Евангелие было русское. Степан, несколько стесняясь, взял его и раскрыл. Когда он в последний раз держал в руках эту книгу? Он не мог вспомнить. Он перелистывал ее, и его взгляд падал на старинные, торжественные заглавия: «Господа Нашего Иисуса Христа Святое Евангелие», «От Луки святое благовествование». Как мало все это похоже на ту пеструю, шумную жизнь, которую он вел уже столько лет, и на ту литературу, среди которой должен был вращаться!

Ему вдруг страстно захотелось перечитать эти страницы. И он попросил себе книгу на несколько дней. Вечером, сидя в своей беленькой келье у Тулы, держа в руке камень с надписью, Степан читал Евангелие от Матфея. Дойдя до Нагорной Проповеди и Заповедей блаженства, он почувствовал необыкновенное волнение. Он не мог читать дальше. Поднявшись, он стал ходить взад-вперед. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Отчего не знал он этого раньше? «Боже мой, Боже мой»,— говорил Степан, и ему хотелось выйти, обнять и поцеловать старушку Тулу. Он пробовал читать дальше, раскрывал книгу на разных местах, но не мог: ему мешало нечто, совершавшееся в это время в его душе.

Когда Тула улеглась спать, Степан, взяв огромный ключ от двери, надев шляпу, пальто, тихо спустился по своей крутой лестнице, где спали коты.

От второго этажа их дома была перекинута к соседней стене решетка из дубовых брусьев, слегка наклонно; вся она была увита виноградом.

Свет луны пестрыми пятнами пробивался сквозь этот навес, легкой сеткой пробежал по Степану, когда он уходил. Степан взял налево. Он шел узким проулком, мимо молчаливых, розоватых домов итальянцев, постукивая каблуками по каменным плитам. Он подымался на Сант-Анна, гору в направлении Сестри.

Он прошел по узкому, с крутым подъемом мостику через ручей и стал всходить. С обеих сторон тянулись оливковые рощи. Было прохладно, влажно; внизу над ручьем белел туман. Под луной блестели листья оливок, отливая серебром. Их серые, изогнутые стволы бросали причудливые тени. Сердце Степана сильно билось. Он

вспомнил, что так же серебрилась листва и трепетали тени в Гефсиманском саду, когда Христос молился.

Он оглянулся. Огней в селении не было, лишь белели в лунном свете дома. Но ему некогда было останавливаться: какая-то сила, как светлый дух, несла его дальше.

Дорожка шла отлого, делая большие изгибы, но все-таки, взбираясь, приходилось сильно дышать.

Вот, затененный деревьями, дом Аврелии, черноглазой девушки, которая приносит иногда русским розы,— а ее угощают шоколадом. От этого дома идут вниз виноградники и открывается первый далекий вид на побережье.

Тропинка подходит к крутому обрыву. На скалах уцепилось несколько сосен, внизу море, блестящее под луной; у подножья скал видна лента шоссе,— приморская дорога в Сестри. Степан передохнул тут, и пошел дальше. У него было чувство, что в эту лунную ночь ему надо идти все вперед, впивая тишину и безмолвие этих мест. Древняя тропинка шла по обрыву. Внизу, на огромном расстоянии, пенился прибой. Открылась небольшая бухта Сестри, с лесистым мысом, выходившим далеко в море. Ясно блестел под луной полукруг залива. На рыбацких судах кой-где красные и зеленые огни. Степан дошел до высшего пункта дорожки,— до развалин монастыря св. Анны, выстроенного здесь в давние времена. Тут он лег, подложил руки под голову и стал смотреть в небо. Справа от него, в двух шагах, был обрыв; сзади руины. В направлении Сестри горы раздвигались, и тянулись мягкими планами к Парме. Было тихо, светло, пахло сосной. Как дальний зов души, шумело море.

Сколько времени пролежал так Степан, он не смог бы ответить. Необыкновенный, светлый покой охватил его. Глядя на золотую звезду, горевшую над горами там, где была Парма, он вдруг ясно и кротко почувствовал, что Истина уже вошла в него, что он уже не тот, что раньше, а как бы новый, обреченный. Эта истина была евангельская простота, любовь, смирение и самопожертвование. И он понял, что в эту ночь, вот сейчас, Спаситель мог бы пройти по бедной горной тропинке с учениками. И тогда он, Степан, смиренно подошел бы к Нему, как некогда блудница, поцеловал бы руку и просил бы позволения следовать за Ним. Они направились бы в ту далекую страну Вечность, куда ведут пути всех человеческих жизней.

Степан сел, потер себе руками голову. Он представил это так живо, что ему показалось, будто он видел все это

в действительности, и одной ногой стоит на краю вечности. Он нагнулся над обрывом. Море шумело там беспредельно, и если ступить два шага,— встретишь эту вечность. Но этого не надо. Надо жить, но по-новому, по завету Того, Кто крестной смертью подтвердил и освятил божественную правду Своего учения. Надо любить и искупить любовью и самопожертвованием свою горькую жизнь. В этом же новом будет правда и радость, ибо там Истина.

Степан возвращался домой на рассвете, проблуждав в горах всю ночь.

Легкая пелена тумана стлалась по морю, луна зашла, и редкие, зеленоватые звезды сияли еще на небе. Воздух был тонок. Волшебны, нежны очертания далей.

Степан знал, что это самый удивительный, великий день его жизни.

XLIV

— Ты рассказал обо мне Пете? — спросила Ольга Александровна Алешу.— Как же он отнесся?

— По-моему, правильно,— сказал Алеша.— Он теперь другую любит, чего ж там.

Ольга Александровна помолчала, потом вздохнула и ответила:

— Да, вероятно, правильно.

Она выглядела еще несколько худей и тоньше, чем в то время, когда ее знал Петя. С тех пор она успела похоронить отца, осталась совсем одна, и решила на небольшие средства, полученные по наследству, жить в Италии. В Риме случай свел ее с Алешей.

— Конечно,— прибавила она,— что было, то нужно хоронить. Все же, я не прочь была бы повидать его.

— Ты его любила,— сказал Алеша.

— Все это кончилось неопределенно, прошло, но у меня к нему осталось доброе чувство. Впрочем, когда я вспоминаю, мне кажется, что, может быть, этого и не было вовсе.

Она взяла его за руку.

— Ты для меня все заслонил.— Она вздохнула.— Ты! Он мечтал, млел, и если и любил меня, то какой-то странной любовью. А ты мужчина, ты взял...

Она засмеялась, встала и прошлась по комнате.

— Слабый мы народ, женщины! Нас нетрудно поко-

рить. Ну, да ладно. Во всяком случае, хорошо, что ты меня покорил.

Смеясь, Ольга Александровна поцеловала его в лоб.

— Притворство,— сказал Алеша,— ты вовсе не слабая. Любишь меня, и слава Богу. А кончится любовь, тоже, значит, так надо.

Ольга Александровна присела на ручку кресла, глядела на него ласково, и накручивала на палец прядь его волос.

— Уж ты расскажешь, расскажешь! Я, ведь, тебя знаю.

— Это все прекрасно,— прервал Алеша.— А во Фраскати мы опоздаем, это тоже факт.

Действительно, стены Велизария, куда выходили окна их пансиона, погружались в тень. Много народу выходило уже из виллы Боргезе, расходясь по домам. Поминутно брали кого-нибудь из извозчиков, стоявших на углу.

Хлопали бичи.

— Едем, едем!

Они быстро оделись, вышли и по теплым, солнечным улицам Рима покатили к Stazione Termini[1], откуда шел трам во Фраскати.

— Не знаю,— сказал Алеша, садясь в элегантный, двухэтажный вагончик,— не забыл ли этот Piccolo[2], что завтра условились на охоту. Ленив, и как дорвется до вина, не оттащишь.

Он говорил о знакомом трактирщике во Фраскати, который держал для художников, извозчиков и прочей мелкоты ресторанчик под названием «Roma sparita«[3]. Этот Piccolo Uomo[4] был толст, весел, и, как многие итальянцы его класса,— записной охотник.

— Этой твоей страсти не сочувствую,— сказала Ольга Александровна.— Не могу взять в толк,— что тут хорошего?

Алеша посвистал.

— Начинаешь философствовать. Что хорошего в убийстве, зачем жизнь у птиц отнимать? Любопытно, вот и все тут.

Трам пробежал у Латерана. На вечернем небе вычертилась толпа апостольских статуй. Скоро открылась Кампанья.

---

[1] вокзал в Риме. *(Ред.)*

[2] Малыш *(ит.)*.

[3] «Исчезнувший Рим» *(ит.)*.

[4] Маленький Человек *(ит.)*.

Все здесь было, как всегда: и акведуки, и стада курчавых баранов с пастухами в кожаных штанах, и голубые дали гор, и ощущение пустыни, вечности, величия.

— Все-таки, ты не прав,— сказала Ольга Александровна.— Помнишь, в гробнице Латинской дороги летящих гениев? Это символ жизни. Древние считали жизнь священной.

— Может быть,— ответил Алеша.— Все-таки, мне хочется на охоту.

Он ничего больше не сказал, но мог бы прибавить, что ему также очень хочется в Геную, уплыть матросом на океанском пароходе, видеть разные земли, любить женщин разных стран, цветов, характеров. Он не говорил о том, что интересуется и дочерью Piccolo Uomo, и хорошенькой албанкой с Испанской лестницы — и еще многим другим.

Между тем, трамвай стал подыматься в гору. По склонам тянулись виноградники. Все это золотело в солнце, а далеко внизу, в глубине покойной равнины, лежал удивительный город Рим. Купол св. Петра, господствуя над узкой полоской домов, был средоточием пейзажа, его величественным моментом.

Сделав несколько поворотов, вагон остановился. Алеша с Ольгой Александровной слезли на площади маленького городка, с кривыми уличками, старинными колодцами, откуда девушки носят еще воду в кувшинах на головах, как во времена Цицерона.

— Есть хочу,— сказал Алеша.

Надо было подняться еще выше. Они сворачивали вправо, влево, наконец, Ольга Александровна увидела вывеску: «Roma sparita» — al Piccolo Uomo.

Прошли под навесом в небольшой дворик, где расставлены были столы. Виноградник заплел стены, и свешивался вниз, увивая решетку, переброшенную над двориком. Белели гипсы, обломки мрамора, статуэтки: дары задолжавших художников.

Алеша с Ольгой Александровной сели у края, откуда открывалась bella vista[1] на Рим.

Тотчас подлетел Альфредо, черноглазый малый в лакированных ботинках, и по случаю жары — без пиджака.

Они заказывали обед, когда явился и сам Piccolo

---

[1] красивый вид *(ит.)*.

Uomo. Правда, он не выдавался ростом. Но живот его был замечателен, руки коротки, толсты.

— Для господ,— сказал он, кланяясь,— есть осьминоги из Остии.

Алеша выразил мысль, что завтра они настреляют с ним столько куропаток, что хватит кормить немцев целую неделю.

Piccolo Uomo воодушевился, захохотал и, чтобы показать Ольге Александровне, как именно они будут охотиться, изобразил руками, как он держит ружье, и несколько раз выстрелил толстыми губами.

Подали белое вино, знаменитое Фраскати. Ольга Александровна пила, ела жареных осьминогов, хохотала — ей было весело, как давно не бывало.

Piccolo Uomo притащил свои ружья — довольно убогие двустволки, одно даже шомпольное; другое — Лефоше, старинное, со смешными боковыми ударниками. Алеша особенно одобрил шомпольное и спросил, не участвовало ли оно в войнах Гарибальди. Piccolo Uomo весело ржал.

Потом явился устричник — старик с подкаченными у колен штанами, волосатыми ногами, в берете. Он имел вид моряка.

Купили устриц, подпоили и его, и хозяина, угостили Альфредо. Старик развеселился и сообщил, что бывал в России — Odessa, Taganrog. Рассказал, что прежде торговать было легче,— он носил устрицы по виллам, и господа давали по четыре, по пяти лир. За здоровье русских он выпил еще вина.

Когда пообедали, в головах шумело порядочно. Было необыкновенно весело, хотелось куда-то бежать, кричать, сделать что-нибудь глупое и милое — состояние, которое в Италии бывает нередко.

Взявшись за руки, они духом взбежали в гору над Фраскати, в лес, дошли до какого-то монастыря. Там сидели на ограде, смеялись, глядели, как синела внизу безглагольная равнина, напоминавшая своим покоем море.

Налево, на закате, виднелась полоска моря — у Остии. В Кампанье одиноко торчала башня. Направо, к Риму тянулся акведук; белели вершины Сабинских гор. В лицо веял ветер, как плеск воздушного океана.

— Ну, и отлично,— сказал Алеша,— Превосходно!

И, сняв шляпу, он помахал ею, как бы посылая привет далекому, и дорогому.

Потом поправил волосы, растрепавшиеся от бега, голубые его глаза стали серьезней, и небольшим, но приятным тенором он запел:

O, che dolce è giovinezza,
Che si fugge, tuttavia,
Chi vuol esser lieto: sia!
Di doman non è certezza![1]

Как нередко бывает, за буйным весельем на Ольгу Александровну нашло мягкое, меланхолическое настроение. Ей не хотелось оставлять Алешу одного во Фраскати (он должен был ночевать у Piccolo Uomo) — стали приходить печальные, и разымчивые мысли. Притих несколько и он. Наступал вечер, кончался этот радостный день: надо было спускаться вниз.

В девятом часу он усадил Ольгу Александровну в трам, шедший в Рим.

— Я тебя завтра буду ждать,— сказала она ему на прощанье, слегка покраснев.— Как буду тебя ждать! Не опаздывай.

Она махнула ему из окна платочком. Трам отходил, Алеша с непокрытой головой медленно зашагал в гору.

Ольга же Александровна ехала по Кампанье в красных сумерках, и вид акведуков, овец, сбившихся стадами, далеких, мертвых гор погружал ее в ту певучую меланхолию, которая свойственна Риму. Ей казалось, что все проходит, и уже прошло, как века, пронесшиеся над этой страной. Угрюмые развалины у города представились могильными стражами — жизни Рима, и ее собственной, маленькой жизни, проходящей свой зенит, и ее любви к Алеше — быть может, тоже перегибавшейся к закату.

От вокзала она шла пешком. Рим был тих и пустынен. На via Veneto шуршали листьями платаны. Стены Велизария были безмолвны.

Вкладывая ключ в дверь пансиона, она на минуту приостановилась: слышались шаги запоздалого прохожего, да слабо, с нежной музыкой грусти, журчала вода одного из бесчисленных фонтанчиков Рима.

---

[1] О, как прекрасна юность,
Которая, однако, убегает.
Кто хочет быть счастливым: будь им!
В завтрашнем дне уверенности нет! *(ит.)*.

XLV

Хотя следующий день выдался удивительный — Рим был залит солнцем, синева неба чисто римская, Испанская лестница в цветах, особенно черен кипарис на подъеме via Pinciana, и ослепительно сияют в лазури колокольни Trinità,— Ольга Александровна встала невеселая. Ей не нравилось отсутствие Алеши. Что-то теснило ей сердце.

Ее не развлек и завтрак в столовой, выходившей на via Veneto, в густую зелень платанов.

Как всегда в пансионах, за табльдотом подтягиваются. Идет тот безличный, пустой разговор, который никого не утомляет.

Так было и сегодня. Все же Ольга Александровна была рассеянней, мало ела — даже не отдала должного удивительному сладкому — тертым каштанам в сливках, spécialité de la maison[1], как говорила знакомая немка.

— Mais ma chère madame,— сказала она Ольге Александровне,— vous mangez comme un oiseau[2].

Ольга Александровна наскоро откланялась трем чикагским студенткам и голландскому барону — любезному человеку с лысиной, который говорил про себя, что он grand mangeur[3],— и ушла.

В столовой хохотал еще барон, рассказывая что-то веселое немке из Кельна, а Ольга Александровна вышла на балкончик, куда подали ей чай, и, глядя, как у ворот виллы Боргезе играют в орлянку извозчики, думала, что пора бы уж Алеше возвращаться.

Но прошел час, а его не было. Ольге Александровне наскучило сидеть, она вышла. Взяла в узкую уличку, вдоль стены виллы Боргезе. Минут через двадцать вышла на viale Parioli, новый бульвар, проложенный на окраине Рима. Здесь опять росли платаны, продувал ветерок, и виднелась Кампанья, далекое Тиволи, Монте Соракто. Ольге Александровне нравилось идти так, по малоизвестной дороге, в чужой стране, среди чужих людей. Она понимала, всем существом ощущала, что находится на странной, таинственной земле. Голая Кампанья, водопады и сивиллы Тиволи, серные воды, остатки священных рощ, загадочные тростники под Римом, почва, вся как бы пронизанная ка-

---

[1] фирменное блюдо *(фр.)*.
[2] Моя дорогая, вы едите, как птичка *(фр.)*.
[3] хороший едок *(фр.)*.

такомбами, дряхлая, удобренная прахом тысяч людей,— все казалось легендарным. Даже зелень огородов внушала жуткое чувство: слишком уж она ярка — не на человеческой ли крови взошла она?

Эти смутные, обширные настроения отвлекли временно Ольгу Александровну от мыслей об Алеше.

Она задумчиво спускалась по дороге, описавшей овал,— скоро вдали, внизу, блеснул Тибр. Стали попадаться двухколески, запряженные мулом; на них везли знаменитую минеральную воду, которую любил Гете: Aqua acetosa[1]. Через несколько минут Ольга Александровна спустилась к источнику.

В углублении, отделанном с торжественностью барокко, украшенном папской надписью, из трех отверстий шла вода. Из Рима приходили старухи, дети с пустыми фиасками, и подставляли их. Останавливались проезжие — все почти подходили пробовать воду.

Спустилась и Ольга Александровна. Ей пришлось ждать — целая ватага школьников осадила источник. Малыши в черных курточках и кепи, под предводительством учителя, наперебой подставляли кружки. Вода понравилась Ольге Александровне: кисловатая, прохладная, рожденная этой причудливой почвой.

Она села за столик в придорожной остерии, и заказала себе вина.

«Нет,— думала он об Алеше, глядя на Тибр,— мы все-таки с ним разные люди». Она хотела этим сказать, что была уже несколько надломленная, усталая женщина, ей хотелось покоя — мирной и ясной жизни с любимым человеком. «Да, он не таков».

Ему нужны охоты, приключения, странствия. Он соскучится с ней, несомненно.

Она взглянула вверх, и в темной синеве неба увидела небольшого ястреба, плывшего к Тиволи. «Ему нужен простор, широкий, вольный мир. Из него он берет себе, не стесняясь, что нужно».

Ольга Александровна спросила себя: хорошо это, или дурно? И не могла ответить. Ей казалось, что есть разные правды, и, быть может, в том, как живет Алеша, есть свой смысл. Все же ей представлялось, что это не высшая правда. Но она не осуждала Алешу. «Конечно, он не думает сейчас обо мне, не думает, что я жду, беспокоюсь, люб-

---

[1] Уксусная вода *(лат.)*.

лю. Он меня любит, но в эту минуту занят другим, и в его сердце не хватает для меня места».

Она улыбнулась покорной и грустной улыбкой. «Всегда для меня мало было места в сердце тех, кого я любила».

Солнце уже садилось, когда Ольга Александровна взяла извозчика, чтобы ехать домой.

Все время, глядя на красный от зари Тибр, она думала об Алеше, и возвращалась в задумчивом, светлом настроении. Это настроение она определила так, что пусть он любит ее много, или мало, во всяком случае *она* его любит и благодарна за ту радость, которую он ей дал.

Чтобы лучше заработать, кучер вез ее дальним путем, через ponte Milvio.

На испанской площади плескал фонтан Бернини, часы колокольни Trinità, красневшей в закате, показывали восемь. Сердце Ольги Александровны сжалось. «Неужели его еще нет?» Ей почему-то ясно представилось, что Алеша не вернулся. Но что же он может делать так долго в этой Палестрине, или еще как ее?

Она попросила прибавить ходу, и велела ехать в гору, по via Pinciana, хотя кучеру это очень не нравилось.

Издали она увидела, что среди извозчиков, стоявших у ворот виллы Боргезе, происходит что-то особенное: они бросили свою орлянку, все смотрели на via Veneto, оживленно жестикулировали.

У дверей их пансиона толпились любопытные. Высыпали швейцары соседних отелей. Из кареты скорой помощи вносили кого-то в подъезд пансиона.

Первое, что увидела Ольга Александровна на тротуаре, выскакивая похолоделыми ногами из коляски, был Piccolo Uomo. Он почернел и съежился за один день.

— Несчастье...— успел только пролепетать он, но Ольга Александровна уже все знала, и через минуту была наверху, увидела затуманенные, с синими кругами глаза Алеши, которого вносили в его комнату. Ольга Александровна почувствовала, как останавливается ее сердце; кровь от головы отливает, комната медленно поворачивается в сторону. Она хотела что-то сказать, сделать, но только жалобно и пронзительно закричала.

Когда она очнулась, хозяйка спорила со старшей из чикагских студенток. Хозяйка говорила, что раненого нельзя здесь оставить — тут не больница. Американка строго сказала, что везти никуда нельзя, он в дороге может умереть.

Американка эта проповедывала «свободное христианство» и имела определенные взгляды на жизнь.

Барон стал на ее сторону, и хозяйка уступила. Ольга Александровна должна была возместить убытки, если что-нибудь произойдет.

Ольга Александровна едва понимала, что вокруг говорят. Барон объяснил ей, что на охоте произошло несчастье, m-r взял за дуло лежавшее ружье, курки взвелись, и последовал выстрел, что сейчас у раненого знакомый его, барона, профессор, которого он вызвал по телефону.

Профессор ничего ей не сказал. Но через полчаса она увидела, все же, своего Алешу живым, с подобием улыбки на лице. Ольга Александровна собрала все силы, чтобы казаться покойной. Она ничего не могла сказать, только поцеловала ему руку.

— Вот...— произнес он с усилием.— Какая вышла история. Какая глупость!

Он лежал в чистой постели, с пузырем льда на животе.

— Завтракали. Взлетела куропатка, я думал, тут еще есть, схватил ружье... да за дуло. Как скверно вышло!

Он хотел еще что-то прибавить, но не хватило энергии, и он замолчал. Потом взял ее руку и молча поласкал.

— Рад,— прошептал он,— что ты... тут. Думал, не увижу.

Он долго, не отрываясь, глядел на нее.

— Чистая душа,— шепнул он снова.— Чистая. Я ничего. Не беспокойся.

Взор его стал очень серьезен, и покоен.

— Это ничего,— повторил он.— Ну, несчастный случай.

Ночью температура у него поднялась, он стал бредить. Говорил о каких-то путешествиях, морях, бурях.

Ольга Александровна была при нем неотлучно. В голове ее, тоже как бред, проносились образы: барон, выстрел, Piccolo Uomo, ястреб, которого она видела в Кампанье. «Что ястреб? — спрашивала она себя.— Он не ястреб, он умирающий. Ах, вздор, какая чепуха. Может, еще останется жив. Все оттого, что поехали во Фраскати. Зачем пили вино? Глупость. Как зовут этого? Нет, ему не выжить».

Утром Алеша чувствовал себя бодрее — расправил волосы, улыбнулся. Он был очень нежен с Ольгой Александровной.

— Если б ты видела, как этот испугался... Piccolo. Глупый малый, добрый.

Перед вечером он сказал:

— Да. Зря на охоту эту поехал.

Ольга Александровна присутствовала при его последних минутах. Это происходило на другой день. Алеша очень ослабел. За эти сутки он перенес страшные мучения, но умирал покойно. Казалось, душу его ничто не обременяло — она свободно уходила в вечность.

Вспоминая об этом много позже, Ольга Александровна вспомнила и свои мысли у источника Agua acetosa о том, что, быть может, существуют разные правды. Смерть Алеши лишь сильнее убеждала ее, что если его правда была и не очень большая, все же он стоял на ней до последнего издыхания.

Она не сразу поверила его смерти. Два часа стояла над холодевшим трупом и оттирала ему грудь. Убедившись, что он мертв, надела шляпу и вышла.

Был мутный вечер, с туманной луной. Ольга Александровна шла прямо, и ни о чем не думала.

Она пересекла piazza[1] Colonna, углубилась в закоулки средневекового Рима, около piazza Navona. Луна светила ровно и тускло. Ей казалось, что она в незнакомом, новом, волшебном городе. Лишь пройдя унылую via Giula, с недоконченным дворцом пап, выйдя на берег Тибра, она немного опомнилась.

Облокотившись на парапет, она молча глядела на Тибр. Река струила туманно блестевшую под луной кофейную воду. За Тибром виднелся храм Петра. Слегка шумели платаны на набережной, и в тихом плеске реки, в луне, окаймленной оранжевым кругом, в пустынной римской ночи звучал один великий мотив: вечность.

«Да,— подумала она,— конечно, мы встретимся».

Бездомный пес подошел к ней и поднял на нее глаза, блеснувшие луной. Она погладила его и пошла по набережной.

XLVI

Петя уезжал из Италии со смешанным чувством — любви, печали и радости. Любовь к Италии он испытал с первого шага по ее почве; печаль вызывалась разлукой — тем щемящим чувством, когда думаешь: «Вернусь ли когда-нибудь? Увижу ли?»

---

[1] площадь *(ит.)*.

Радость состояла в том, что здесь он узнал незыблемо-прекрасное, о чем мечтать, тосковать и к чему душевно стремиться можно всегда. Это делало его духовно полнее, и в вопросе о ценности жизни подымалось огромным, утвердительным фактом. Юношеские мысли о бессмысленности существования отошли, как болезнь возраста. Зато выступило другое.

Когда они вернулись в Москву, здесь было много перемен.

В кружках, с которыми Лизавета зналась по делам революции, было уныние. Сила их непрерывно убывала, слабела вера, и нередко революционное настроение переходило в разбойничье: началась полоса экспроприаций. Вначале это имело отношение к партиям, потом все спуталось, и трудно было разобрать, где революционер, где бандит. Росла и реакция сверху, появились казни, в невиданном еще размере.

Москва, место последней сцены революции, показала себя и теперь. После подъема чувств люди торопились жить. В Москве отчаянно играли, танцевали, кутили — в атмосфере виселиц.

Изменилась и богема, где раньше вращались Петя с Лизаветой. Общество козлорогов распалось. Федюка исчез из Москвы, Зина вышла замуж за богатого адвоката и вращалась в иных слоях. Одни из студентов кончили, разъехались, других повысылали. Оставшиеся были вовлечены в ту новую, острую и несколько больную струю жизни, когда кажется, что нечто отжито, когда склонны к разочарованиям, гонятся за ощущениями, маленькой любовью, и над всем, усталым и опустошенным, висит девиз: «Carpe diem»[1].

Петя зарабатывал теперь больше — у него был хороший урок и работа в издательстве, но денег постоянно не хватало. Неудобно было уже выставлять для бала бутыль донского и кучу бутербродов. Лизавета должна была лучше одеваться. Петя стал понимать в винах, чаще ездили в рестораны. Но того юношески-свежего, веселого, что бывало в их вечерах на Арбате, уже не повторялось. Меньше спорили, меньше волновались из-за отвлеченных вопросов. Кончился и бурный период в искусстве.

Самое же важное было то, что ухудшились отношения с Лизаветой. Они видели, как рушатся, ни с того ни с сего,

---

[1] «Лови день» *(лат.)*.

отношения между парами, казалось, созданными друг для друга. Лизавета нередко была раздражительна. Ей тогда представлялось, что ее любовь с Петей кончилась, что он интересуется другими. Что их союз так же распадется, как у других. А в Пете иногда ослабевал тот дух любви, благожелательности, который отогревает утомившиеся сердца. Он был с ней холодноват. Казалось ему временами, что и он может в кого-нибудь влюбиться, и были даже случаи, когда он начинал романтически вздыхать. Тогда, в пику ему, Лизавета заводила флирт, и все кончалось тяжелыми объяснениями, где обе стороны были неправы — и Петя в особенности,— но каждая считала правой себя.

Тогда они сидели по своим углам хмурые, несчастные. Лизавета демонстративно уходила в гости, а Петя шел куда-нибудь в кафе, где меньше было знакомых, пил кофе и курил.

В эти тоскливые минуты ему казалось, что жизнь, которую за эти несколько лет сознательного существования он научился уважать и признавать философски, для него лично близка к краху. Но, несмотря на все разногласия и ссоры с Лизаветой, он знал,— и это сидело в нем глубоко,— что главнейший его якорь и опора — она, и что если она уйдет,— он завертится в пустой и чувственной жизни.

Так провели они год. Выпадали у них полосы дружных и добрых отношений, напоминавших былое, но в общем бес некоторого уныния владел ими.

Они узнали в это время, что погиб Алеша, что Степана арестовали, как только он вернулся в Россию,— и это еще больше отделило их от былого: точно оно отмирало, лист за листом.

Узнали они и то, что один из знакомых Лизаветы по революции, которому она давала квартиру для явок (нередко ночевал он у них сам),— оказался предателем и пользовался ее помещением для своих подлых целей.

Лизавета три дня горько, неутешно плакала. Ей казалось, что та маленькая «луковка», которая была в ее жизни — ее бескорыстное сочувствие и помощь революции,— осквернена и запятнана. Петя утешал ее, как мог, но и ему было тяжело.

Из всех впечатлений и чувств этой зимы лучшее все же было — встреча с Полиной: Полина бросила театр, вышла замуж, давала по-прежнему уроки и ждала ребенка. Она говорила те же фразы, что и раньше, но Пете показа-

лось, что она, как выражался покойный Александр Касьяныч, «нашла свою линию». Но она была проездом в Петербург, свидание вышло мимолетным. Провожая ее на Николаевский вокзал, Петя от души пожелал ей добра.

Между тем подходила весна. Оба они устали, были измяты до последней степени. Петя злился, чувствовал, что живет не так, как нужно, но не знал, как поставить на правильный путь свою жизнь.

В это время, Великим постом, они с Лизаветой были на одном художническом балу.

Казалось, что все было устроено со вкусом и изяществом, но дух распущенности и тусклых, маленьких чувств, господствовавших в людях их общества, здесь выступал еще сильней.

Весело плясали маски, на эстраде показывали теневые картины, девицы дунканского вида дюжиной исполняли английский танец в платьях bébé[1]. В буфете пили вино, в темных углах целовались, опять пили, ссорились и мирились — но истинного веселья не было.

Петя сильно выпил и держал себя не без развязности. Лизавета была в красном платье танцовщицы из кабаре, в рыжем парике — и что-то тяжелое, еще более чужое, чем в последнее время, было между ними. Петя чувствовал, что раздражает Лизавету болтовней с черненькой девицей, и его тоже это сердило; вместе с тем ему хотелось чего-то острого. В глубине же души было тоскливо. На́ смех ему Лизавета прыгнула на колени к какому-то господину. Петя пил брудершафт с черненькой девицей, которую видел первый раз в жизни.

В четыре часа Лизавета, бледная под румянами, тайком от Пети уехала. Он видел, как она дрожащей рукой накидывала в передней платок, и знал, что нужно выйти, сказать ей что-то настоящее, хорошее, но нервная расслабленность одолевала его, и под пронзительные звуки вальса он закружился с черной девицей.

Потом он ушел в дальнюю комнату дома — старого особняка. Видимо, это была спальня барышень, обращенная в какое-то кабаре. В окно виднелся снег, синеющий рассвет, деревья сада.

Голова у него кружилась. Он сел в кресло, ему захотелось заплакать, он почувствовал всю ложь, тоску и мучение своей теперешней жизни.

---

[1] дитя *(фр.)*.

«Неужели это все, неужели все кончается? — думал он.— Неужели я гублю и себя, и ее, и все то, что было прекрасного в нашей жизни?» Ему показалось, что он безумец, сумасшедший, расточающий богатство, доверенное ему в скромной церкви, перед алтарем. Неужели не увидеть ему рассвет тихим и чистым, как встречал он его в деревне, читая Соловьева, как бывало это в весенней, милой Москве его молодости?

Петя встал, оделся и уехал. Извозчик вез его по пустым улицам, и ему было стыдно старика извозчика, стыдно церквей, где звонили к заутрени Великого поста, стыдно рабочего народа, попадавшегося на пути.

Дома он прошел прямо в комнату Лизаветы. Она лежала на постели, без дурацкого костюма. Знакомый пробор на голове, как у девушки заплетенные косицы. Она непохожа была на накрашенную танцовщицу, прыгнувшую на колени господину в усах. Она тихо плакала.

У Пети остановилось сердце, он подошел, взял ее за руку и хотел поцеловать. Но Лизавета еще сильней забилась и оттолкнула его. Она обернулась, лицо ее было искажено ненавистью и страданием.

— Уйди,— сказала она глухо.— Пожалуйста, уходи!

Потом застонала, упала в постель и крикнула:

— Все пропало. Слышишь? Все пропало!

XLVII

Три дня продолжалось мучительное состояние, полное слез, тоски, страданий. Много надо было перемучиться и отплакать, чтобы смыть пустоту, ничтожество жизни последнего времени.

Сначала Лизавета, в припадке бурного отчаянья, решила, что уйдет от Пети. Были минуты, когда он верил этому. И так как главным виновником считал себя, то терзался вдвойне. Он казался себе ничтожеством, дрянью, неспособной ни на что.

Лежа на диване, думал, что лучше бы не жить, пустить себе пулю в лоб. Воображение разыгрывалось. Он представлял себе, что уезжает в деревню, берет дедушкину двустволку, которую помнит с детства, и уходит в овраг — якобы стрелять ястребов. На берегу реки, над обрывом, садится и, приставив дуло к груди, нажимает гашетку. Выстрел — на мгновенье он видит синее небо, падает навзничь с обрыва в воду, и на этом кончается презрен-

ная жизнь. Его радовало воображаемое горе Лизаветы.

Лизавета же фантазировала по-другому: она уходит от Пети. Петя женится,— ей непременно казалось, что на высокомерной немке, а она живет одиноко, в бедности. Распаляя свое воображение, она придумывала мелодраматические штуки; например, что Петя разрешает ей иногда приходить в гости, но с черного хода, и принимает ее в кухне.

Они чувствовали нервную необходимость друг в друге, как бы случайно заходили один к другому в комнату, и начинались бесконечные разговоры о том, кто как кого любит, и кто в чем виноват. Кончалось это слезами и смертельной усталостью. Наступала ночь,— но тогда они чувствовали, что не все еще договорено — и начинали снова.

Конец болезни обозначился тем, что на четвертое утро они проснулись обессиленные, и без мучительного желания объясняться.

Петя ощутил что-то кроткое, тихое в сердце. Здесь было сознание своей вины перед Лизаветой, жалость, сочувствие, любовь.

И когда он молча стал целовать ей руку, с разрывающимся от нежности сердцем, полным тоски — что вот она действительно могла уйти, бросить его в пустыне жизни,— Лизавета не оттолкнула его, вздохнула, погладила по голове. Это был первый проблеск солнца в те ужасные дни.

Вечером они сидели уже обнявшись, и Петя ласково целовал ее волосы. Они говорили мало, вполголоса,— о том, что нельзя дальше жить так. Вспоминали Италию, как хорошо было там вдвоем, и хотелось опять уехать куда-нибудь в благочестивое место, загладить хорошей жизнью прежнее.

Но пока ехать было нельзя. Подходила Святая, в апреле у Пети начинались государственные экзамены. Ограничились тем, что никого не стали принимать, никуда не выезжали.

Пете хотелось возложить на себя какую-нибудь епитимью. Несомненно, живи они в старые, наивные и душевные времена, они исповедывали бы свои прегрешения, молились бы и соблюдали посты.

Теперь же Петя лишь много работал, не пил и был особенно ласков с Лизаветой.

Весна в том году вышла ранняя и погожая. В половине апреля бульвары оделись зеленым пухом, зазеленели

газоны. Часто Петя с Лизаветой ходили гулять под руку, и с каждым днем этой новой, как бы благоустроенной жизни Петя чувствовал себя покойней, крепче.

Они ходили по Тверской, покупали у Филиппова калачей к вечернему чаю, смотрели на розовые закаты над Триумфальной аркой — в той стороне был Брестский вокзал, оттуда уезжали в Италию. И часто, вспоминая мелочи их итальянской жизни, пустяки, значительные лишь для них, они переживали те прелестные дни и мечтали, что, быть может, им суждено еще увидеть эту страну.

Заходили в маленькое кафе на бульваре, на свежем воздухе смотрели газеты, пили шоколад, а Лизавета читала юмористику и смеялась анекдотам. Весна дышала на них зеленоватым дыханием.

В это время случилось то, о чем они меньше всего думали, но что показалось им очень важным: Лизавета должна была стать матерью.

Никогда раньше этот вопрос не занимал их. Скорее, впрочем,— они не хотели детей. Это казалось обузой, они были небогаты, увлекались любовью, блеском и пестротой жизни.

Но когда Петя узнал теперь об этом — он был поражен и обрадован. Его смущало, не боится ли Лизавета? Но Лизавета тоже была довольна.

— Отлично,— говорила она,— будет детка, мы станем водить ее на круг, играть с ребятами. Милый,— сказала она и обняла Петю.— Не думайте обо мне, не беспокойтесь: я страшно, страшно счастлива. Я уже страшно люблю эту детку, вашу детку.

На глазах ее стояли слезы. Петя же гладил ее руку и думал, что, быть может, эта детка, которой они отдадут столько сил и забот, будет также оплотом против темных сил жизни.

В таком настроении встречали они приближавшуюся Пасху.

На Страстной неделе Лизавета говела, постилась, красила яйца и готовила куличи, будто была не полоумной Лизаветой, прыгавшей некогда на дрова, обезоружившей офицера во время восстания, а тихой женщиной старорусского образца. Петя находился в размягченном и душевно-легком состоянии.

Под Светлое Христово Воскресение они собрались к заутрени, в Страстной монастырь.

Был тихий вечер, немного туманный. На улицах мало

народу, и город имеет тот примолкший, несколько сосредоточенный и торжественный вид, который так соответствует величайшему из праздников. Целый год люди трудились, страдали, грешили, но вот настает час, когда нужно забыть все, и сосредоточиться на самом святом, что было в истории.

У входа в монастырь, в часовне они купили свечи и тронулись дальше. Церковь находилась во дворе. Двор был усажен деревьями, чуть трепетавшими листвой. Подходил народ. Петя с Лизаветой не вошли в церковь, они стали налево, в проходе между деревьями. Было так тихо, что свечи, зажженные и у них, и у соседей, даже не колыхались.

— Это всегда так на Пасху,— сказала Лизавета,— никогда в эту ночь не бывает ветрено.

Петя хотел было улыбнуться на тот убежденный тон, каким Лизавета это высказала, но не улыбнулся почему-то. Старушка, стоявшая рядом, подтвердила: пасхальная ночь всегда тиха.

На Иване Великом ударили в колокол. Звуки поплыли широко, глухо, наполняя гудением воздух. Тотчас, как далекая волна, отозвались они на всех бесчисленных колокольнях Москвы. Петя с Лизаветой стояли робко, слегка взволнованные хорошим волнением. При пении «Христос Воскресе» из дверей церкви стали спускаться по широкой лестнице монашки с высоко зажженными свечами. Среди них шло духовенство. Высокие голоса монашек, их черные клобуки, золото свечей, хоругви, плавно колыхавшиеся в воздухе,— все сливалось в одну картину, торжественную и захватывающую; казалось, силы света, великие силы христианства праздновали свою победу. «Христос Воскресе»,— говорили кругом, и целовались. Шествие спустилось вниз, и под ту же непрестанную песнь, под неумолчный гром колоколов обошло вокруг церкви. Еще лучше было, когда монашки подымались по лестнице: свечи походили тогда на золотые копья.

Наверху их не сразу пустили: двери церкви были заперты, и, когда растворились — что символизировало Воскресение,— радостный хор с новой силой устремился туда.

«Христос Воскресе»,— сказал Петя Лизавете. «Воистину Воскресе»,— ответила она, и, когда Петя трижды поцеловал ее в побледневшие губы, на глазах ее стояли слезы. Он сам чувствовал, что глаза его влажны. Почему это было? Он не знал. Но он вспомнил тот момент, когда они

перед аналоем трижды поцеловались, «свидетельствуя перед церковью о своей любви». Тогда они были еще беззаботно молоды и счастливы счастьем детей. Теперь знали уже отчасти жизнь, ее горе, соблазны,— и теперешний поцелуй, со словами о Воскресшем Христе, показался Пете еще возвышенней, значительнее тогдашнего. Освящал ли, благословлял ли Христос их союз, этого нельзя было сказать. Но как и во всей службе, в этом поцелуе была надежда, укрепление к будущему.

Возвращаясь домой, они охраняли свечи ладонями, чтобы донести непогасшими. Дома никого не было — они не хотели бы сейчас никого видеть; вдвоем съели кулича, пасхи и, не говоря сами за что именно, подняли по бокалу вина за прекрасное и настоящее, к чему стремились. Эта заутреня и разговены остались для них навсегда памятником чего-то порубежного, той черты, с которой как будто начинается новая жизнь.

Через три дня, когда праздники были уже на исходе, они получили из деревни телеграмму: дедушка скоропостижно скончался.

XLVIII

Ночь в Италии, у Сестри, на развалинах монастыря, была решающей в жизни Степана.

С нее началось его духовное возрождение. Прежде всего он почувствовал давно неиспытанный прилив силы и бодрости. Он с прежней ясностью сознавал всю тягость ответственности и заблуждений, лежавших на нем, но ему уже не казалось, что он отверженный. Зависело это от того, что теперь в его сердце сияла любовь к Евангелию, Христу. Эта любовь, принимая в себя — как море большую реку — его прежнее народолюбие и сочувствие угнетенным, освещала их необыкновенным светом. Она давала объект поклонения — жизнь Христа, она давала путь к искуплению совершенного, путь к подвигу.

Степан не перестал думать, что главная задача его деятельности есть помощь народу на пути освобождения, приближения к царству света и правды,— но теперь это освящалось именем Христа. Потому надо так делать, полагал он, что милосердие и братолюбие завещал Христос, и делать надо теми же средствами, какими делал Он: любовью и проповедью. Не рассуждая о том, насколько это приложимо к другим, Степан твердо знал, что сам он уже

неспособен на насилие. Он мог сопротивляться лишь пассивно. Это новое, чистое сознание, вместе со смутной надеждой на то, что любовь снимет бремя с его совести, давало ему светлое настроение.

С ним он уехал в Россию. Он не знал еще в подробностях, как будет проводить свои новые взгляды, хотя он и не отказывался от социализма, напротив, по-прежнему, твердо был уверен в его правде — однако, ему трудно, пожалуй, даже невозможно было бы одобрить теперь все способы действий, применявшиеся социализмом русским. В частности, он был, конечно, против террора.

Жизнь не дала ему столкнуться в решении этих вопросов с товарищами: в России его тотчас арестовали, и теперь уже как террориста. Через полтора месяца он приближался к месту своей новой жизни, каторге на реке Амуре.

Тут в первый раз пришлось ему говорить о волновавшей его теме и в первый раз, после порядочного промежутка, испытать физические страдания и издевательства.

Товарищи отнеслись к нему разно: большинство с ним не соглашалось, говоря, что хотя идеалы евангельской кротости и возвышенны, но к жизни неприменимы. Ему приводили примеры, откуда следовало, что в некоторых случаях физическое насилие необходимо. Это не колебало общего его духовного устремления. Он возражал, что социализм настолько ему ценен, насколько несет в себе начала гуманности, добра и милосердия. От террора же отдельных лиц — лишь шаг до казней, по приговорам трибуналов: что совсем принижает их идею.

Из споривших лишь один согласился с ним. Это был немолодой человек, чахоточный, не в первый раз бывший в Сибири, и в Сибири же получивший чахотку (жандарм проломил ему коленом грудную клетку) — по фамилии Типол. Худой, желтый, с нечесаной бородой, он ехал на неминучую смерть., За последние годы своей страдальческой жизни он много думал о том, как жить. Он сказал:

— Товарищ Степан прав.

Ему стали возражать, но он, лежа на своей койке и глядя куда-то вдаль темными глазами, ответил:

— Я сам раньше был террористом. Но теперь думаю по-другому. Мы не имеем права смерти над людьми. Пусть это делают те, кто за зло. Социализм гуманитарен. Жизнь человека неприкосновенна.

Он сказал это тихо. Он покашливал, отирал платком

пот со лба, и его глаза выражали что-то серьезное, большое, до чего он додумался в мучительные часы болезни и сознания скорой смерти.

Этот разговор происходил за несколько дней до несчастия, обрушившегося на этих людей, плывших, чтобы войти в первые круги Ада и погибнуть там.

В их среде не все были настроены, как Степан или Типол. Были очень молодые, и горячие люди, которым хотелось вырваться. Для этого, по общему уговору, решили разобрать обшивку в одном месте, где она была слаба, сделать брешь, и во время ночной стоянки попытаться бежать. Работали по очереди, в величайшей тишине и тайне. Однако, на одной поверке, когда в камере произвели обыск, работа была открыта. Начальство знало, конечно, что делалось это сообща. Но почему-то, быть может, чтобы чувствительнее было наказание, решили отобрать тех, кто казался строптивее, высечь розгами и запереть в карцер. Произошла зверская сцена. Разумеется, ссыльные сопротивлялись, не желая отдавать товарищей. Сопротивлялся и Степан. Он загородил собою маленького еврея, бундиста, отчаянного и страстного мальчика, который в общей свалке был затиснут в угол. Степан уперся как бык, схватил одной рукой скобу, плечом прижался к стене и, отставив назад ноги, не давал подступу в угол.

— Возьмите лучше меня,— говорил он спокойно.— Возьмите меня.

На его глазах били прикладами его товарищей, били и его, но он стоял упрямо и твердо: он был силен физически. Среди воплей, обезображенных страданием и ударами лиц, выволокли, наконец, всех кого хотели. Тогда набросились на Степана. Солдат догадался хватить его прикладом по руке, другой по голове, и в ту же минуту кто-то ударил его кулаком по переносице: из глаз посыпались искры, он застонал и опустился вниз.

Он не потерял сознания, и видел, как в двух шагах от него били Типола, но правая рука у него не двигалась, он лежал ничком на полу. Бундиста, истерически сопротивлявшегося, выволокли, как галчонка. Ткнули Степана несколько раз сапогами, потом захлопнули двери. Через несколько минут Степан встал и отер кровь с разбитого лица.

Случись все это три, четыре года назад, Степан испытывал бы бешеное желание борьбы, мщения, как тогда перед Казанским собором, как когда готовился к покуше-

нию. Теперь этого не было. Свои собственные мучения не удручали его нисколько; было жаль большой и глубокой любовной жалостью товарищей; но то, что произошло, представлялось ему актом длительной и тяжелой драмы, ежеминутно разыгрывающейся в мире: актом борьбы добра и зла. Так как он знал, что он и его товарищи, каждый по-своему, стоят на стороне добра, то то, что они выносят и будут еще выносить истязания, он считал законным и нужным. На их стороне была правда, был Бог любви и Бог страждущих: в этом их большое счастье.

В камере было тихо. Все молчали, кое-кто лежал на нарах, некоторые рыдали. Ссыльный Любенко, нервный человек с жилистыми руками, высунулся в окно и кричал:

— Негодяи! Негодяи!

Когда на палубе началась экзекуция, и стоны истязаемых стали слышны внизу, опять, как электрическим током взбуженная, вскочила камера, и кто чем попало, стали все колотить в стены, в дверь, и кричали. Эти крики людей, мучимых утонченной казнью — сознанием, что рядом страдают товарищи,— были еще ужаснее того, что происходило наверху. У Типола шла горлом кровь. Он лежал на наре, отвернувшись лицом к стене, плакал, и колотил рукой в стену. На его наре сидел Степан. Правая его рука, вероятно, вывихнутая ударом, висела недвижно. Он молчал. Он знал, что бесцельно кричать в пустыне, где шел пароход. Знал, что в этих местах засекали насмерть девушек, как это было в восьмидесятых годах, пристреливали людей, как собак, что тут люди травились, голодали в виде протеста, и все это не смягчало ничьих сердец. Знал он, что на каторге, куда их везут, в прошлом году тыкали лицами в параши арестантов за то, что они недовольны были тухлой пищей. В этом краю зверей, управляемом зверьми, некому было жаловаться; неоткуда было ждать пощады.

Он сидел молчаливо, подперев левой рукой голову. Ему было жаль, что не его наказывают наверху. Наконец, все кончилось. Слышно было, как избитых людей поволокли в карцер. В окошечко высунулась голова смотрителя, он крикнул:

— Будете скандалить, всех перепорем.

Любенко успел плюнуть ему в физиономию. Несомненно, его ждала та же участь.

К десяти часам вечера все утихло. Ссыльные молчали, лишь по временам раздавались вздохи, то тут, то там.

— Товарищ,— сказал Степан Типолу,— дайте я подложу вам поудобнее под голову.

Типол взял его за руку и сказал:

— Не надо, спасибо.

Он помолчал немного и прибавил:

— Я скоро умру, все равно, товарищ. Да мне и лучше это. Тяжело жить.

— Тяжело,— ответил Степан.— Но все же нужно.

— Значит, вы не так еще устали, как я. Я верю,— говорил Типол, откашливаясь,— что в жизни побеждает добро, человечность и свет. Но я утомился ждать этой победы. Пусть уж она приходит, когда меня не будет. Ну, а как вы теперь, с вашим евангельско-толстовским учением?

— Я по-прежнему,— ответил Степан.— Я, товарищ, тоже не очень молод, и тоже немало пережил, как и вы. Я думаю, что то, к чему я пришел, есть истина,— и есть, поэтому, последнее, к чему можно прийти.

Типол пошевелил губами и прошептал:

— Быть может, вы и правы.

Было уже поздно, когда Степан стоял у окошка и глядел на ночное небо. Знакомые, северные созвездия сияли на нем. По палубе ходил часовой, река струилась внизу, колеса шумели. Степан вдыхал свежий воздух, в сердце своем он ощущал нечто громадное, объемлющее весь мир, очень печальное и возвышенное. Ему казалось, что все вокруг тонет в этом чувстве, а оно несет его вверх — с силой и легкостью, каких он и не предполагал. «Бог любви,— шептали его губы.— Бог любви!»

XLIX

Когда ссыльные прибыли на место назначения, их поместили в бараке — постоянной тюрьмы здесь не было. Работы их заключались в проведении колесной дороги по реке Амуру.

С первых же дней началось удивительное существование, напоминавшее быт рабов на плантациях.

С зарей их выводили на работу — в болотистую местность, где, нередко по колена в воде, устраивали они гать. Вокруг, куда ни глянь, леса. С утра до вечера носятся тучи комаров, почва зыбкая, нога мягко ухает в торф, из него проступает коричневая жидкость. Палит солнце, неяркое от испарений; лучи его томят, воздух влажен и без-

ветрен. Иногда где-то вдали горят леса. Тогда меньше комаров; болото окутано сизым туманом, солнце в опаловом круге, и кажется, что это зачарованное, гиблое место, откуда никуда не выйдешь. Впрочем, так оно и есть: в двадцати шагах солдат с ружьем, по всякому, отошедшему без спросу в сторону, он обязан стрелять. И жизнь состоит в том, что до полудня они работают, в полдень завтракают, а вечером их гонят назад, проверяют и дают зуботычины. Солнце всходит, заходит, со своей правильностью, и с той же правильностью, машинально, полуживые, делают свое дело люди, обреченные на пятнадцать, двадцать лет этой жизни. Их отупение, через некоторое время, доходит до того, что сопротивляться они уже не могут: был случай, когда из партии в десять человек один бежал. Караульный выстроил девять оставшихся, и перестрелял их, одного за другим: они не противились.

Из новоприбывших труднее всех приходилось Типолу. Его явная неспособность к труду была, наконец, замечена: как больного его оставляли дома, но зато он должен был ходить в лес за сучьями, топить печь и готовить. Он все это делал, и покорно, глазами замученной твари глядел на возвращавшихся товарищей.

Степан держался относительно крепко. Его спокойный характер, сдержанность, и особенное, серьезное настроение выделяли его из товарищей. Он и выглядел среди них старшим. Его выбрали старостой, и во всех делах с начальством выступал он.

Это отчасти нравилось ему. Потому нравилось, что давало бо́льшую возможность проявлять те кроткие братские чувства, которыми была полна теперь его душа; кроме того — в этой роли была и известная опасность: при любом действии скопом в первую голову отвечал он.

Но Степана это только радовало. Вообще, живя теперь, перенося физические лишения, грубость, жестокость обращения, Степан больше, чем когда-либо, ощущал душевное равновесие и спокойствие. Он искренно считал себя последним из людей, но теперь знал, что все его прежнее, все заблуждения и ошибки, остались где-то бесконечно далеко, в другом мире. В этом же новом, таком ужасном для окружающих, он живет настоящей жизнью, полной участия и благоволения. Мысль о том, что он не может больше принимать участия в борьбе за родину, теперь не угнетала его, как тогда, в первой ссылке; наоборот, ему казалось, что он тут сводит последние итоги в

счетах с родиной, и если лишен возможности активно выступать за нее, это ничего: там растут молодые поколения, которым придется встать на его путь.

Казалось, что сама судьба, увлекшая его в эту сторону, подготовляла и события, разразившиеся над амурской каторгой летом того года.

Случилось так, что однажды, в присутствии Степана, дежурный унтер ударил Типола за то, что тот ему возразил. Степан вступился, и заметил, что Типол человек больной, и что бить его — нехорошо. Вместо ответа унтер съездил по физиономии самого Степана. Степан вытер рукавом кровь, выступившую из разбитой губы, и спокойно сказал:

— За что?

Унтер плюнул, выругался и ушел. Степан не обратил на это внимания. Такие случаи бывали постоянно, и, кроме того, с позиции, на которой он стоял, меньше всего его можно было сбить зуботычинами. Напротив, все оскорбления лишь сильнее убеждали его в правоте того, к чему он пришел в результате своей жизни.

Маленькая неприятность забылась, хотя о ней знали все на каторге.

Но все приняло иной оборот, когда через три дня унтера, караулившего ночью барак, застали утром в луже крови, без признаков жизни. В бараке помещались те двенадцать человек, что приехали недавно из России, и в числе их Степан.

Начальство пришло в крайнюю ярость — это был первый случай покушения ссыльных на конвой. В том же, что это сделали они, никто не сомневался: дверь в их помещение была отперта, и объяснялось преступление так, что ночью унтера позвали в камеру, под благовидным предлогом, и едва он отворил дверь, на него бросились и зарезали.

Начались допросы. Каторжане упорно все отрицали и не меньше властей были поражены происшествием. Разница была лишь в том, что они знали, что это не пройдет им даром. О том же, что убийство, как выяснилось много позже, было совершено солдатом из мести, и ключом покойного была открыта ночью камера, чтобы отвести подозрения,— никому тогда не пришло в голову.

Больше всех из ссыльных подозревали Степана, как человека загадочного и молчаливого; кроме того, ясен был и повод к убийству — расплата за оскорбление. Но как ни

сажали их в карцеры, как ни морили и угрожали смертью, ни Степан, ни товарищи не сознавались. Тогда, в один прекрасный день им заявили, что если виновный не найдется, шесть человек, по жребию, будут расстреляны.

В камере пали духом. Лишь Степан был покоен, раздумывал ночью довольно долго, и утром, не говоря ничего товарищам и захватив с собой белый камень из Италии, и Евангелие — два самых дорогих для него предмета,— вызвался к начальству.

В конторе было светло, капитан Недзвецкий пил чай с ромом и недовольно сопел, когда ввели Степана. Остановившись недалеко от порога, Степан взглянул в окно, на залитый солнцем лес, как будто задумался, и сказал:

— Я должен сделать вам признание, капитан. Унтера Абрамова убил я.

— Мерзавец,— ответил капитан.— Я всегда думал, что ты первый мерзавец, даром, что ходишь с постной рожей. Ну, теперь ты узнаешь, где зимуют раки.

Как он и предполагал, Степан не вернулся больше к товарищам: его заперли в карцер, и те сутки, которые ему осталось жить, он провел наедине с самим собой.

Перед вечером, когда солнце коснулось вершин елового леса, Степан, глядя на него, почувствовал впервые, что и в этом краю печали есть своя красота. Закат сиял долго, победоносно золотя небольшие облачка, и этот его блеск казался торжественным и неземным. Степан вспомнил далекую страну, берег моря, по которому он ходил, и где солнце садилось так же блистательно. Вспомнил тишину в горах, у Барассо, и свою прогулку ночью, решившую его судьбу. Он вынул из кармана камень, тот скромный итальянский кругляк, который проехал с ним тысячи верст, и подумал, что девиз этот: «Dominus det tibi pacem» оказался исполненным: Бог действительно дал мир и твердость его душе. Он перевернул его другой стороной, и на ней стал обломком гвоздя выцарапывать — букву Л. Он делал это тщательно, улыбаясь про себя чему-то, точно на пороге смерти светлые видения не покидали его. Остаток дня, пока совсем не стемнело, он провел за чтением Евангелия.

Товарищи его еще спали, когда, на другое утро, его вывели в лес. С ним шел капитан, сердито зевавший, два смотрителя и несколько солдат. Степан шел легким и уверенным шагом. Казалось даже, что его фигура, обычно несколько сгорбленная, теперь распрямилась. Он смотрел

на рассвет, вдыхал пряный утренний воздух, наблюдал за комарами, вглядывался в лазурь, сиявшую ему с неба, и ему казалось, что все это — его, принадлежит ему, и все объято одной любовью, переполняющей его сердце.

Казнь должна была происходить на полянке, в полуверсте от бараков. Степан отказался от повязки и сказал, что будет стоять смирно. Его все-таки привязали к дереву. Он высвободил правую руку, перекрестился, и когда солдаты подымали уже ружья, обернулся в сторону бараков и сказал:

— Прощайте, братцы!

Надо думать, что под этим он разумел не одних товарищей по ссылке, но и вообще всех, кто был ему близок в этой жизни.

Больше он ничего уже не мог прибавить. Перед ним раскрылась вечность.

L

Это лето Петя с Лизаветой проводили в деревне, в тихом и серьезном настроении. Тяжелая зима, смерть дедушки, беременность Лизаветы — все влияло в одну сторону.

Петя был рад, что они живут одни, вдали от города, его соблазнов. Он сдал государственные экзамены, окончательно расстался со школой, формой, и своими ученическими годами.

Будет ли он служить по земству в своем уезде, или в Москве, он еще не решил, но чувствовал, что уж наступает пора работы, жизни взрослой. Как в то лето после женитьбы, он много читал, гулял и думал. Но теперь в его думах не было скачков от восторга к отчаянью, сомнений, трудностей и мучений. Многое осталось неясным, и главные вопросы — по-прежнему не решенными. Взамен — у него явилось определенное жизненное чувство. Прав ли Кант или Соловьев в теории познания — этот вопрос отошел от сердца. Сердце его говорило, что он, Петр Ильич Лапин, еще недавно студентик Петя, будет стоять в рядах людей культуры и света и, насколько дано ему,— проводить в окружающее эти начала. В этом его, как и вообще всякого человека,— назначение.

Когда он глядел на поля своей родины, на убогую, скорбную народную жизнь, в нем просыпался старый пат-

риотизм, он с улыбкой вспоминал мечты своей ранней юности о борьбе со злом. Но теперешняя его улыбка не была насмешливой; то, о чем он некогда поэтически фантазировал, была правда, и сейчас он думал то же, лишь спокойней и с бо́льшим сознанием собственных сил. Он не воображал уже, как своими блестящими речами раздавит подлое зло — смертные казни. Но знал, и с гордостью чувствовал, что в здание русской культуры и он положит свой — пусть скромный — камень.

Много думал он теперь и о революции. Уединение, чистая жизнь прояснили его взгляд на это дело. И он все больше убеждался, как не правы те, кто пел отходную русской эмансипации. Не мог Петя не улыбнуться на те свои надежды, что пылали в нем в момент московского восстания.

Но как ни тяжело, сколь ни заливают землю кровью и ни уснащают виселицами, сколько горького, а иногда и гнусного ни обнаружили сами левые,— все же революция сделала свое дело; с теми ничтожными силами, которыми располагала, больше сделать и не могла.

Что же касается личной жизни, то он теперь твердо знал, что за Лизавету должен держаться, как за надежного проводника. Во всем том тяжелом и дурном, что происходило зимой, несомненно, виноват был один он. Ему казалось удивительным, как эта Лизавета, легкомысленная, взбалмошная девушка, какой она была в светлый год их знакомства, все больше обращается в прочного человека, с ясным взглядом на жизнь. Он думал — это оттого, что душа ее целиком охвачена любовью, и чем крепче, устойчивей в ней эта любовь, тем устойчивей ее жизненная позиция.

С тайной гордостью и радостью представлял он себе маленькое существо, которое скоро должно явиться на свет. Кто это будет — новый человек, дающий уже о себе знать легким трепетанием, как плеск рыбки? И почему приходит он именно теперь? Пете казалось, что это не случайность. Это тоже знак его, Петиной и Лизаветы зрелости, знак конца одного и начала другого. В этом чувстве была и радость, и печаль. «Так надо,— говорил себе Петя,— значит, так хорошо».

— Ты любишь детку? — спрашивала Лизавета.

— Да, очень.

— Пойди сюда.

Лизавета клала ему руки на плечи и все теми же, что

и раньше, любящими, но более серьезными глазами смотрела на него и говорила:

— Я люблю теперь тебя еще особенной, какой-то особенной любовью!

Она не договаривала, но он понимал, потому что сам так же чувствовал: любовь полудетская и беззаботная сменялась любовью взрослых — чувством, прошедшим через некоторый опыт, ошибки, страдания.

Был конец июля, когда из Сибири, через третьи руки, они получили страшное известие о Степане.

Почта пришли перед вечером. Солнце спускалось за соснами усадьбы; с балкона, где Петя с Лизаветой пили чай, были видны крестцы ржи.

Петя побледнел, читая первые строки. И чем дальше читал, тем глуше становился его голос, трудней было произносить слова: «Товарищ Степан умер геройской смертью за своих близких, как и подобает настоящему...» — последнее слово Петя выкрикнул через силу и выскочил из-за стола. Горячий клубок клокотал в его горле, лицо исказилось судорогой, и, бегая из угла в угол в своем кабинете, зажав глаза платком, глухо воя, он рыдал. За ним вбежала Лизавета.

— Господи! — кричала она. — Господи! что же это такое!

Лицо ее было залито слезами.

— Негодяи... — бормотал Петя. — Негодяи... — у него сжимались кулаки, и чувство глубочайшего бессилия лишь острее раздирало его сердце.

Солнце садилось, когда, усталые от бурной скорби, тихие и грустные, они отправились за реку. Лизавета молча гладила Петину руку, и он слабо пожимал ее в ответ. Они шли к тому кургану, который любил Степан, откуда открывался далекий вид.

Они подошли к нему и сели. Какой-то торжественный, как бы похоронный марш звучал в их душах.

— Степан, — сказал Петя, — знал, куда идет, и всю жизнь шел к одному. Может быть, и хорошо, что он закончил свою жизнь так. Он любил народ, Россию. И за них, в конце концов, умер.

Лизавета вздохнула.

— Да, конечно.

По ржам скользили последние солнечные лучи. Внизу блестел пруд, за ним деревня, церковь. Огромная цапля спускалась вниз, собираясь сесть в мокром месте. На углу стояли копны, веяло летним, медовым духом.

— Умер Алеша, умер Степан,— сказал Петя, прислонившись к плечу Лизаветы.— Милый друг, мы остались с тобой вдвоем. Видишь, как беспредельна, сурова и печальна жизнь. Нам надо идти в ней... туда, к тому пределу, который переступим в свое время и мы.

Лизавета вздыхала, глаза ее были влажны.

— Слушай,— шепнула она ему на ухо,— закажем завтра панихиду по рабе Божием Стефане... и Алексии,— прибавила она.

— Закажем,— ответил Петя.— Непременно. О рабах Божиих Стефане и Алексии.

Они возвращались домой в сумерках. Петя поддерживал Лизавету, она крепко опиралась на его руку. В роще, через которую они проходили, смутно белели березы.

Зажигались звезды, появилась голубая Вега, давно любимая звезда. Пете казалось, что в этом летнем сумраке он ведет свою подругу в далекий, неизвестный путь, за горами и долами которого скрылись уж друзья их светлой юности, скроются они сами, как скрывается все в подлунном мире. В горле его стояли слезы. Он внимательно следил, как бы Лизавета не оступилась.

1912

ПРИЛОЖЕНИЯ

БОРИС ЗАЙЦЕВ

ПРЫЖОК

(Из автобиографии)

...Я начал писать очень рано, тайком, не помногу, но из года в год, упорно и одиноко. Говорю одиноко потому, что никаких знакомых литературных не было, родители меня любили чрезвычайно, но отец все надеялся, что я буду хорошим инженером, я учился в Москве в Императорском Высшем Техническом Училище, ходил с завода Гужона на Коровий Брод, и о литературе не с кем было сказать слова. Репетиции, чертежи, проекты — Боже, как необычайно скучно, какое безнадежное для меня занятие! И вот я устроил себе подпольную жизнь: т. е. студентик с золотыми вензелями на плечах, урывая время, строчил у себя в небольшой комнатке отцовской квартиры всякие мрачные и даже очень «натуралистические» штуки. Никто ничего и не подозревал. Репетиции сдавались аккуратно, а под шумок шла переписка с Чеховым и Короленко. Оба удивлялись странной сумрачности и какой-то «немолодости» писанья. Добрый и такой внимательный к людям Короленко подробно все изъяснял неведомому автору и не брал в «Русское Богатство».

Дело сдвинулось с мертвой точки, лишь когда появился Леонид Андреев (1901). Правда, и в писании в это время произошла перемена: потянуло на те маленькие, лирические, что ли, бессюжетно-бесформенные вещицы, которые прошли затем через все в моей работе. Для «Русского Богатства» нужен был рассказ, повесть. Я писал туманные импрессии, и Леонид Андреев поддержал, первый приютил уже практически: заведуя литературным отделом газеты «Курьер», он стал меня печатать, поддерживаемый хроменьким редактором Я. А. Фейгиным — и при со-

противлении литературного критика газеты покойного Шулятникова, Фриче и др.

В одно из воскресений, утром, в столовой нашей я взял «Курьер». Перевернул страницу. Налево, внизу, «подвалом» напечатано нечто, название «В дороге». Подпись: П. Зайцев.

Окна столовой выходили в садик, там росли небольшие деревья, лежал легкий снежок, за досчатым забором паровик тащил вагоны — мы жили на заводской земле, у самых путей. Ноябрьское утро, серо-свинцовое.

И в груди ахнуло, оборвалось, поплыло что-то теплое... Ну, ошибка с инициалами, надо бы Б., а не П., но фамилия правильна, и «В дороге»-то я написал, что уж говорить. *Мое напечатано.*

Вышел отец из кабинета, как всегда живой, веселый, хорошо одетый. Я ему молча показал. Он удивился, но отнесся благодушно. «Ну, молодец...»

А потом и о другом заговорил, сейчас же. Но одно дело он, другое я. Я ушел к себе в подполье — там уж никто не достанет. Отец курил, смеялся, пил чай, а я носил что-то в себе, я был, очевидно, уже другой человек (в своих собственных глазах): писатель.

Мы в этот день ездили с отцом обедать в Измайловский Зверинец, на месячном извозчике Сергее. На санках с синей полостью, мимо Анненгофской рощи, Владимирским шоссе, где за Москвой поля начинались и перелески. Но для меня не было ни отца, ни Сергея, ни резкого зимнего ветерка: был один лист газеты в боковом кармане. Это почище вселенной.

На зимней даче в Зверинце жил правительственный инспектор Шириков, человек спокойный, светлоусый, медленно говорил и необычайно скучный. И семья эта вся такая технологическая... За обедом ели борщ, голубцы, в окна виднелись чудесные сосны Измайловские, говорили о подшипниках, о французе Бассэ, инженере на заводе, и еще о разных милых вещах. Все равно. Меня не было. Вероятно, я не отбрасывал от себя и тени, как в загробном царстве у Данте. Мадам Ширикова наливала мне кофе после обеда, и я машинально пил и даже на вопросы отвечал. Впрочем, раз вместо того, чтобы сказать: «в отношении торговли», сказал: «в торговом отношении» — и вдруг как будто вторично прыгнул в ледяную бездну: хорош писатель, по-русски говорить не умеет!

Дорогой назад я страдал от своей неловкости, но еще глубже неловкости лежала и тайная, почти сладострастная радость... Ну, вот, отец будет подбрасывать дров в камин, а я уйду к себе в комнату и разверну... «Курьер», переверну страницу, а там, слева в углу, под чертой...

И когда спать будешь, то газета все-таки рядом в столе, и там появилось какое-то новое существо, оно и отдельно, и будто бы я, но и я прежний перестал существовать, а бухнулся в какой-то иной мир, и уже дышу и хожу не так, как прежде.

Это день первого напечатанья. В то, что мне, напечатав, еще и заплатят, уж никак не верилось. Я не предпринимал никаких мер, чтобы получить деньги. Так продолжалось с год. За это время прошло в «Курьере» моих 3—4 рассказа, и, наконец, летом, по чьему-то указанию, я решился: поехал в Петровские линии и, мучаясь стеснением и боязнью — а вдруг скажут: ну, это мы так, для затычки печатали, за такие вещи не платят,— подымался по лестнице в контору. Барышня за конторкой равнодушно выглянула, полистала какую-то книгу.

— Вам сорок три рубля девяносто...

Выдала золотыми монетами, так они у меня и звенели в кармане, пока Солянками, Николо-Ямскими, мимо Андрония, ехал домой на извозчике. Заплатили за первый рассказ по три копейки строчку, за следующие по пятаку. Это была вторая часть посвящения, и последняя: раз гонорар получил, то конец, пролетят все экзамены и чертежи, все Технические, Технологические, Горные и тому подобные. Началась «Новая Жизнь».

1921

ВАЛЕРИЙ БРЮСОВ

〈ЭТО ЛИРИКА В ПРОЗЕ〉

Борис Зайцев. Рассказы. СПб., изд. «Шиповник», 1906.

Рассказы г. Зайцева вовсе не задаются целью доказать какой-либо тезис, как то часто бывает у Л. Андреева или г-жи Гиппиус; нет в них и повествовательного замысла, мощной логики событий, которая увлекает в первых рассказах М. Горького; нет, наконец, и попыток, как у Ф. Сологуба, проникнуть в психический мир человека, в тайники души. «Идея», «сюжет», «характеры» — эти три элемента, которые часто считаются самыми существенными для рассказов, совершенно отсутствуют у г. Зайцева. В его рассказах большею частью ничего не происходит, и его действующие лица мелькают как неясные, слабо очертанные тени. Если придерживаться школьных делений, придется сказать, что рассказы г. Зайцева относятся к роду не повествований, но описаний. Для г. Зайцева форма рассказа — лишь предлог, чтобы нанизать ряд не очень связанных между собой «пейзажей» или «жанровых картинок». Отдельные рассказы объединяются вовсе не тем, что в них выступают одни и те же лица или развертывается единое действие, но исключительно общностью настроения. Рассказы г. Зайцева — это лирика в прозе и, как всегда в лирике, вся их жизненная сила — в верности выражений, в яркости образов.

Г. Зайцев, по-видимому, сознает пределы своего дарования, и все его творческое внимание устремлено на частности, на отточенность слога, на изобразительность слов. Среди образов, даваемых г. Зайцевым, есть новые и удачные, являющие знакомые предметы с новой стороны,— и в этом главная ценность его поэзии. «Палевого оттенка пыль», «жгучими нитями блестят

телеграфные проволоки», «смирная церковь», «внимательная, нежная заря», «слюдяно-золотые колосики», «сумеречные отзвуки белых полей» — такие, и подобные им, определения говорят воображению, как-то убаюкивают, безвольно переливают в душу настроения автора. Заметим, что г. Зайцеву особенно удается передать чувства кроткие и нежные и что, напротив, он сбивается, когда пытается писать в тонах страстных, жгучих или мрачных, жестоких. Однако упорное искание многозначительных образов ведет г. Зайцева и к целому ряду художественных ошибок. Прежде всего он с большой неразборчивостью черпает из произведений прежних писателей. «Вещий мрак», «бледно-зеленый, девственный рассвет», «ночь сторожит нас», «пустая ночь», «звонкость утра», «слушать, как молчит горизонт», «солнечное безумие» — все это, конечно, метко и красиво, но уже не раз было сказано, иное давно — у Тютчева и Фета, иное совсем недавно — у А. Добролюбова, А. Белого, А. Блока... Затем и в собственных образах г. Зайцев порой срывается в претенциозность и надуманность. Говорить, что тело «пышет» под одеялом в «розоватом дыму» (?), что грядущие люди будут «одеты плывучим (?) телом», которое будет «мягко кипеть, пениться», что на козлах «человек», у которого «в мозгах свеже пахнущее (?) дерево»,— это только загромождает воображение не идущими к делу представлениями. Наконец, на некоторых страницах г. Зайцев переходит всякую меру в наборе все новых и новых эпитетов. Буквально при каждом существительном стоит прилагательное, а иногда и два и три. Словно идет ожесточенная охота за эпитетами, но утомленная душа читателя решительно отказывается их воспринимать.

Будем надеяться, что г. Зайцев, писатель еще начинающий, освободится от недостатков своей манеры: научится с большей строгостью относиться к источникам своего вдохновения и сумеет сдержать, по выражению Фета, «широкие размахи неопытной руки, еще не знающей края». Тогда вправе мы будем ждать от него прекрасных образцов лирической прозы, которой еще так мало в русской литературе.

ЗИНАИДА ГИППИУС

ТВАРНОЕ

Борис Зайцев. Рассказы. СПб., кн-во «Шиповник», 1907.

Маленькая, тоненькая книжка, темная — цвета земли. Язык простой и круглый, современный — но без надрывных изломов, а действительно живописный, иногда очень яркий. Так видел бы природу с о в р е м е н н ы й Тургенев, вернее, так бы он описывал ее,— Тургенев без романтизма, без нежности и... без тенденции, если сказать грубо; без осмысливания — если выражаться шире и вместе с тем точнее.

Тенденция или осмысливание — уже предполагают связь с психологией, а психология, хорошо ли, плохо ли,— связь с Личностью. Личности должно у художника отражаться «тенденцией»; тенденция в искусстве —одно из самых неудачных отражений личности; возможно глубокое понимание ее — при отсутствии «тенденции», но вряд ли возможно — при отсутствии осмысливания.

Другой вопрос — насколько художнику необходимо касанье к понятию «личности». Об этом мы сейчас спорить не станем. Это — вопрос нерешенный, роль личности в искусстве многими даже отрицается, как отрицающая искусство. Другие думают обратно... Повторяю, кто тут прав — судить не буду. Я хочу только сказать, что в книжке рассказов Зайцева, сочной и неподвижно-картинной,— нет, или почти нет, ощущения личности, нет ч е л о в е к а. Есть последовательно: хаос, стихии, земля, тварь и толпа... А человека еще нет. Носится над землею дух созидающий... Но какой? Божий ли? Еще безликий. Уже есть бессмысленное, сознающее себя страдание, уже есть бессмыслен-

ная радость, и даже где-то, в каком-то невидном свете соприкасаются они, сталкиваются... А лика еще нет — и лица нет. Есть дыхание, но дыхание всего космоса, точно вся земная грудь подымается. Тот же космос вздыхает у автора и в его толпе, безликой, без единого человека. Тварь, тварь, совокупно стенающая об избавлении,— а избавления нет. Легкие, редкие лучи света не об избавлении говорят, а о смутной, тоже безликой, тихой примиренности.

«Что же они там делают такое, в этой зелени? Что видят? Не они ли в той зелени, и то зеленое не в них ли?» — «Сердце немеет и лежит распростерое...» «Из зеркальных далей, по реке, нисходит благословение горя».

Это — конец рассказа «Тихие зори». На всех его страницах лежит отблеск примиренности, единственный обет автора, зимний, не греющий сердца человеческого, луч — благословление горя.

А вот — нет и благословения горя, да и горя почти нет:

«Зерно насыпают, оно текучее, гладкое. А земляные люди рады зерну, хоть и «чужому». «Черный обворожительный ком — земля кипит и бурлит, сечет себя дождем; гонит вверх тонкие росточки зеленей, кормит мужиков и здорового, кряжистого деда».

Мне вспоминается, когда я говорю о Зайцеве, недавняя книжка стихотворений одного молодого поэта — «Ярь». Книжка, не в меру осыпанная похвалами в декадентских и неодекадентских кружках. И, главным образом, за ее «стихийность». Но уж если утверждать стихийность, космос, помимо личности,— то стихии, земли, космоса гораздо больше в книге Зайцева, и гораздо он тут подлиннее. Я не сравниваю дарований обоих писателей; я думаю — оба они талантливы; и у Зайцева язык, при всей его тяжелой красочности, далеко не безупречен: неровен, неумело обработан, с провалами в жестокую банальность; и у автора «Яри» большинство стихов написано с младенческой некрепостью; не в этом дело. У Зайцева — стихия стонет, дышит, ворочается; у Городецкого больше «стихийничанья», нежели стихийности, более звукоподражания, нежели истинных голосов непробужденной земли. Для того, кто первично воссоздает космос,— может еще родиться личность: она придет; для мистизирующего космос — она перешла. Мистика космоса без личности — не начало человека, а конец его. Описан круг.

Читая Зайцева — грустишь, но ждешь; ничто души, самой глуби ее, еще не ранит; правда, не ранит ее и «Ярь»; но только неутолимо влечет, от этой последней книги (именно потому, что автор все-таки талантлив), влечет, от его болезненной юности,

от ранней, жалобной надрывности, усилий приникнуть к земле, от этого иссякновения личности, от этих милых, иногда прелестно-тонких стихов,— к Баратынскому, к Тютчеву, к Лермонтову,— к железно-твердому «я» Баратынского прежде всего. Скорее, скорее — сдуть похотливые былинки, слабо завившие душу, развеять призраки «Барыб», встающие из призрачных болот. Есть еще правда, кровь, солнце и человек. Не за воскресенье бестаинственных, бесплотных призраков отдаст человек свою плоть, себя. Его одиночество, его сила и упор ждут не этих воскресений.

«Истина возникнет из земли, правда приникнет с небес...» И верится слову, сказанному столько веков тому назад. Да, «истина возникнет из земли», но, чтобы «истина и милость встретились»,— надо, чтобы правда «приникла с небес», а не поднялась паром холодным из болот. Нам уже нужны ви́дения, а виде́ния нам не нужны.

Зайцев хорошо сделал, что издал свою книжку: в его рассказах, собранных вместе, резче выступают все недочеты, тяжеловесности, банальности, однообразная однотонность и многие другие художественные слабости. Автору легче заметить их, освободиться от них в следующей книжке. Борис Зайцев, хотим надеяться,— еще в будущем.

ПРИМЕЧАНИЯ

Волки

Впервые опубликован в московской ежедневной газете политики, литературы и общественной жизни «Курьер». 1902, 3 марта. № 61. В марте этого же года издан в «Книге рассказов и стихотворений» (М.: Изд-во книжного магазина Торгового дома С. Курнин и К°). В этом сборнике, предназначавшемся для юношества, участвовали: Л. Н. Андреев, И. А. Бунин, Сергей Глаголь, М. Горький, С. Я. Елпатьевский, Н. Н. Златовратский, А. И. Куприн, Д. Н. Мамин-Сибиряк, Н. Д. Телешов и другие. В дальнейшем рассказ, принесший автору известность, открывал сборники 1906, 1916, 1918, 1922 гг. Чтением его Зайцев в 1902 г. успешно дебютировал на собрании московского литературного кружка «Среда», объединявшего в начале века лучшие писательские силы. Печ. по изд.: Зайцев Борис. Собрание сочинений. Кн. 1. Тихие зоры. Рассказы. Берлин; Петербург; Москва: изд. З. И. Гржебина, 1922.

Тихие зори

Общественно-политический, литературный ежемесячный журнал «Новый путь». СПб., 1904. Нояб. Печ. по изд.: Зайцев Борис. Избранные рассказы. 1904—1927. Белград, 1929 («Русская библиотека». Кн. 7).

Хлеб, люди и земля (с. 29)

Журнал «Вопросы жизни». СПб., 1905. № 4—5. Печ. по изд.: Собр. соч. Кн. 1. Тихие зори. Берлин; Пб.; М., 1922.

Миф

Журнал художественный, литературный и критический «Золотое руно». М., 1906. № 3. В этом же году опубликован в перой книге Б. Зайцева «Рассказы» (в других изданиях — «Тихие зори»). М.: Шиповник. Печ. по изд.: Избранные рассказы. 1904—1927. Белград, 1929.

Черные ветры

Общественно-политический и литературный журнал «Современная жизнь». М., 1906. № 6. В числе лучших рассказов вошел в сборник поэзии и прозы «1905 год в русской художественной литературе», составленный Ал. Богдановым (М.; Л.: ГИЗ, 1926, Ч. 1. Город). Печ. по изд.: Собр. соч. Кн. 1. Берлин; Пб.; М., 1922.

Завтра!

Журнал «Современная жизнь». М., 1906. № 1. Печ. по изд.: Собр. соч. Кн. 1. Берлин; Пб.; М., 1922.

Полковник Розов

Литературно-художественные альманахи издательства «Шиповник». СПб., 1907. Кн. 1. Печ. по изд.: Собр. соч. Кн. 1. Берлин; Пб., М., 1922.

С. 66. *Ведь ее же нужно орясиной!* — Орясина — «жердь, шест; кол, дубина; толстая и долгая хворостина» (В. И. Даль).

С. 67. *...также удалитесь в Монрепо.*— Монрепо (от фр. mon repo — мой отдых) — название многих мест развлечения и отдыха в Европе.

С. 73. *Ну Пальмерстон!* — Генри Джон Темпл Пальмерстон (1784—1865) — английский государственный деятель, сторонник репрессивных мер в борьбе против национально-освободительного движения, за расширение английской колониальной империи.

...похож на Следопыта...— Следопыт (он же Соколиный Глаз) — одно из имен-прозвищ Натти Бемпо, героя пенталогии Ф. Купера (1789—1851): «Пионеры», «Последний из могикан», «Прерия», «Следопыт», «Зверобой».

...в этой курпажине...— Курпажина (обл.) — лесные и дорожные ямки, выбоины, вымоины.

...глупый черныш «монах»...— тетерев с перьями черного, темного окраса.

Молодые

Журнал свободной мысли «Перевал», М., 1906. № 1. Печ. по изд.: Собр. соч. Кн. 1. Берлин; Пб.; М., 1922.

Сестра

Шиповник. 1907. Кн. 3. Печ. по изд.: Зайцев Б. Т. 2. Полковник Розов. Рассказы. 2-е изд. М.: Кн. изд-во писателей в Москве, 1918. Один из самых тонких ценителей и знатоков творчества Зайцева, лучше многих понявший и передавший его лирическую манеру, Юлий Айхенвальд писал: «Нежной и целомудренной мелодией звенит его «Сестра» — веет «ласковый ветерок любви и дружбы», грустит обиженное сердце оттого, что уходит жизнь; но сильнее грусти и смерти любовь, и когда молодая мать склоняется над своею девочкой, такое чувство наполняет, пере-

полняет ее кроткую и простившую душу, что этого нельзя сказать словами,— нужно молчание и молитва» (Айхенвальд Ю. Силуэты русских писателей. Т. 3. Изд. 4-е, перераб. Берлин: Слово, 1923.

Гость

Альманах под ред. Г. И. Чулкова «Факелы». СПб., 1908. Кн. 3. Печ. по изд.: Зайцев Б. Полковник Розов. Рассказы. 2-е изд. М.: Кн. изд-во писателей в Москве, 1918.

С. 85. *...о философе Филоне.*— Филон Александрийский (ок. 25 г. до н. э.— ок. 50 г. н. э.) — иудейско-эллинистический религиозный философ: первым применил метод аллегорий в истолковании Библии и этим оказал огромное воздействие на христианских мыслителей и культуру средневековья.

...как предвечное божество гностиков.— Гностики (от греч. gnōstikòs — знающий) — последователи религиозного учения поздней античности (I—V вв.); отрицали существование единого и истинного Богочеловека, но признавали предвечного Бога, «показавшегося человеком, и человека, казавшегося Богом».

С. 90. *...эоны звенели хрустально...*— Эоны (у гностиков) — высшие божественные силы, властвующие над миром.

Аграфена

Литературно-художественные альманахи «Шиповник». СПб., 1908. Кн. 4. Печ. по изд.: Зайцев Борис. Избранные рассказы. 1904—1927. Белград, 1929. Об этой повести обстоятельные разборы опубликовали Георгий Чулков (Оправдание земли//Слово, 1908. № 448. 4 мая) и Эллис (Литературный невод//Весы. 1908. № 10). А вот мнение одного из лучших знатоков раннего творчества Зайцева — Е. А. Колтоновской: «...внутренней правдивости в совершенстве достигает Зайцев в наиболее законченном из своих произведений: «Аграфена». Это вдохновенная поэма — симфония на тему о человеческой жизни, написанная так свободно, что кажется импровизацией» (Колтоновская Е. А. Поэт для немногих//Газ. «Речь». 1909; Новая жизнь, СПб., 1910. С. 77). Юлий Айхенвальд в ранней прозе Зайцева поставил «Аграфену» на одно из первых мест. «Хотя вся повесть,— отмечал он,— написана в таком повышенном тоне молитвословия («Он пришел, пришел, черный Аграфенин день... пусть будет рассказано об этом»),— но чарами своего таланта, одновременно и сильного и нежного, Зайцев сумел спасти свой рассказ от однообразия и утомительности. Такая чистота проникает его страницы, такой лиризм обвевает его, что нельзя противиться идущему отсюда светлому настроению пантеистической примиренности и религиозной тишины. Звучит у Зайцева акафист человеческой душе» (Айхенвальд Ю. Силуэты русских писателей. Т. 3. Берлин, 1923. С. 217).

С. 101. *Много наших под Силистрией легло.*— Силистра (Силист-

рия) — портовый болгарский город на Дунае. В мае — июне 1854 г. во время Крымской войны русская армия вела кровавую осаду Силистрии.

С. 103. *...с тонкой повязкой смерти...* — В русском погребальном чине с XI в. введен новый ритуальный обычай: во время отпевания умершего его лоб повязывается венчиком — бумажной (впоследствии атласной) лентой с литографированными священными изображениями Иисуса Христа, Богоматери и Иоанна Богослова; в руки усопшему дается «разрешительная грамота» с текстом молитвы из литургии апостола Иакова.

С. 113. *...пели во ржах «Укажи мне такую обитель».* — Фрагмент стихотворения Н. А. Некрасова «Размышления у парадного подъезда», ставший популярной народной песней (напев заимствован из оперы итальянского композитора Г. Доницетти «Лукреция Борджиа»).

...читал даже Каутского. — Карл Каутский (1854—1938) — вождь и теоретик германской социал-демократии, лидер II Интернационала.

Спокойствие

Сборник Московского книгоиздательства «Земля». 1909. № 2. Печ. по изд.: Полковник Розов. 2-е изд. М., 1918. В ранней прозе Зайцева критики относят этот рассказ к числу лучших. Е. А. Колтоновская, называя его «настоящим шедевром», в котором «импрессионистская техника достигает виртуозности», далее пишет: «... этот рассказ так сложен, так ажурно тонок, что меньше всякого другого доступен неподготовленному слуху. Едва уловимые настроения, мечты, чувства, воспоминания и впечатления переплетаются в такой сказочной пестроте, что при чтении требуется большое напряжение, неослабный душевный отклик читателя... Из капризных зигзагов человеческой психологии в «Спокойствии» постепенно возникает поэма Жизни, полная гармонии и музыки» (Колтоновская Е. А. Новая жизнь. С. 82).

С. 127. *Завтра увижу я башни Ливурны...* — Из стихотворения Е. А. Баратынского (1800—1844) «Пироскаф».

С. 135. *...картины Карпаччио...* — Витторе Карпаччо (ок. 1455— ок. 1526) — итальянский живописец, представитель венецианской школы раннего Возрождения.

С. 136. *...а к Дожам надо же сходить.* — Дворец Дожей — одна из достопримечательностей Венеции.

С. 137. *Веронезе* Паоло (1528—1588) — итальянский живописец, эпохи Возрождения, представитель венецианской школы.

Тинторетто Яконо (1518—1594) — итальянский живописец, представитель венецианской школы позднего Возрождения.

С. 148. *...далеко до могилы Теодориха?* — Теодорих (ок. 454— 526) — король остготов, завоевавший Италию и основавший здесь в 493 г. свое королевство.

С. 155. *«Рог Оберона»* — из цикла сказаний о Карле Великом. Оберон — король эльфов, герой старофранцузского эпоса.

С. 158. *«Невольно к этим грустным берегам...»* — каватина Князя, открывающая вторую картину III акта оперы А. С. Даргомыжского (1813—1869) «Русалка».

Сны

Литературно-художественные альманахи издательства «Шиповник». СПб., 1909. Кн. 9. Печ. по изд.: Собр. соч. Кн. 2. Берлин; Пб.; М., 1922.

Смерть

Альманах «Шиповник». СПб., 1910. Кн. 13. Печ. по изд.: Собр. соч. Кн. 2. Берлин; Пб.; М., 1922.

Жемчуг

Литературный и общественно-политический «Новый журнал для всех». СПб., 1910. № 15. Печ. по изд.: Собр. соч. Кн. 2. Берлин; Пб.; М., 1922.

С. 206. *Он похож на Елеазара...*— Елеазар — в ветхозаветных преданиях третий сын Аарона, воспринявший его сан первосвященника и прославившийся тем, что помогал Иисусу в разделении Земли Обетованной между потомками Израилевыми.

Мой вечер

Газ. «Утро России». 1909. 25 дек. № 34 (67). Печ. по изд.: Собр. соч. Кн. 2. Берлин; Пб.; М., 1922.

С. 209. *...ты знаешь ланнеровские вальсы?* — Имеются в виду знаменитые венские вальсы австрийского композитора, дирижера и скрипача Йозефа Франца Карла Ланнера (1801—1843) — одного из создателей (наряду с И. Штраусом) этого ставшего классическим жанра танцевальной музыки.

«И месяц с левой стороны сопровождал меня уныло».— Из стихотворения А. С. Пушкина «Приметы» (1829).

Актриса

«Шиповник». СПб., 1911. Кн. 14. В этом же году в кн. 3-й «Рассказов», вышедшей также в изд. «Шиповник». Печ. по изд.: Собр. соч. Кн. 2. Берлин; Пб.; М., 1922.

Изгиание

Открывает четвертую книгу рассказов «Усадьба Ланиных». М.: Изд. К. Ф. Некрасова, 1914. Печ. по изд.: Избранные рассказы. 1904—1927. Белград, 1929. По мнению К. И. Чуковского, «обаятельный рассказ Бориса Зайцева «Изгнание», ведь это — поэтическое примирение со всякой судьбою, какая к тебе ни придет, молитвенная благодарность судьбе за

то, что она рвет и кромсает твое бедное человеческое сердце, а потом возьмет и швырнет его прочь — в какой-то загаженный угол. Amor fati[1] — не здесь ли очарование лирики этого тишайшего поэта?» (Чуковский Корней Собр. соч.: В 6 т. Т. 6. М.: Художественная литература, 1969. С. 401).

С. 244. *...и только Бёклин все же был...*— Арнольд Бёклин — швейцарский живописец-символист.

С. 245. *...слушать Оленину д'Альгейм...*— Мария Алексеевна Оленина д'Альгейм (1869—1970) — знаменитая русская камерная певица. В 1918 г. эмигрировала во Францию; в Россию вернулась в 1959 г.

...на лекции Бердяева...— Николай Александрович Бердяев (1874—1948) — выдающийся русский философ и публицист.

...кто был Фра-Анжелико.— Анджелико (Фра Джованни да Фьезоле; ок. 1400—1455) — итальянский художник раннего Возрождения.

С. 257. ...словами святого Франциска...— Франциск Ассизский (1181 или 1182—1226) — знаменитый итальянский проповедник, основавший орден францисканцев; автор религиозных поэтических произведений.

Елисейские поля

Зайцев Б. Усадьба Ланиных. Кн. 4. М.: Изд-во К. Ф. Некрасова, 1914. Печ. по изд.: Собр. соч. Кн. 3. Усадьба Ланиных. Берлин; Пб.; М., 1922.

Грех

Журнал науки, политики, литературы «Вестник Европы». СПб., 1913. № 11. Печ. по изд.: Собр. соч. Кн. 3. Берлин; Пб., М., 1922.

Студент Бенедиктов

Сборник «Слово» Книгоиздательства писателей в Москве. Вып. 1. М., 1913. Печ. по изд.: Собр. соч. Кн. 3. Берлин; Пб.; М., 1922. По мнению критиков, в том числе авторов современной «Истории русской литературы» (Л.: Наука, 1983. Т. 4. С. 628), это «один из лучших рассказов Зайцева», в котором ярко выражено главное качество его творчества: триумф жизнелюбия, оптимистического начала. Герой рассказа, выйдя из душевного кризиса, влекшего его к самоубийству, восторженными глазами смотрит теперь на мир: «В легких тучках поднималось солнце, и лучи его неслись сквозь облака, как стрелы небесного воинства. «Все мое»— чувствовал некрасивый человек, шагавший по серебряному лугу, и верно, все ему принадлежало, и он принадлежал всему. Быть может, эти минуты были высшими в его жизни».

[1] Любовь к судьбе *(лат.)*; добровольное подчинение року. Выражение принадлежит Фр. Ницше (1844—1900). В его философии это понятие выражает восприятие всего сущего как фатально предопределенного.

С. 304. *...книги Сабатье, Ергенсона, «Fioretti»...* — Поль Сабатье (1858—1928) — французский ученый-теолог, автор книги «Жизнь Франциска Ассизского» (Париж, 1893), переведенной на многие языки. И. Юргенсон (Ергенсон; 1866—1950) — датский писатель, автор книги «Жизнь Франциска Ассизского». *«Fioretti»* — сборник легенд о Франциске Ассизском; памятник итальянской литературы XIV в. В русском переводе А. П. Печковского издан в 1913 г. под названием «Цветочки Франциска Ассизского» (репринт: М., 1990).

Актерское счастье

Литературно-политический ежемесячник «Северные записки». СПб., 1913. № 12. Печ. по изд.: Собр. соч. Кн. 3. Берлин; Пб.; М., 1922.

В дороге

Газ. «Курьер». М., 1901. 15 июля. № 193. В первой публикации — ошибочная подпись: П. Зайцев. «Хоть и П., а написал все-таки я»,— с иронией вспоминал этот казус писатель незадолго до кончины, в 1969 г. День писательского дебюта впоследствии празднично отмечался. Например, к 25-летию творческой деятельности Зайцева русские писатели-изгнанники устроили в Париже торжественное заседание, в газете «Последние новости» опубликовали статьи о юбиляре К. Бальмонт, М. Осоргин, П. Милюков, а в «Литературных новостях» появился очерк А. Ремизова под многозначительным названием «Юбилей великого русского писателя». В последний раз этот праздник отмечался 15 июля 1971 г., и девяностолетний патриарх русской культуры принимал поздравления со всего света, кроме одной страны, самой для него дорогой,— кроме России, которая была за «железным занавесом».

Сон

Печ. по первому изд. в журнале искусства, литературы, общественной жизни «Правда». М., 1904. Апр. Републикация: газ. «Русская мысль». Париж, 1955. 14 янв. № 728.

Май

Альманах «Шиповник». 1907. Кн. 2. Печ. по этому изд.

Лина

Литературный сб. «Друкарь»/Под ред. Н. Д. Телешова. М.: Изд-во Вспомогательной кассы типографов, 1910. На титуле пометка: «Весь сбор поступит на устройство в Москве Инвалидного Дома имени Ивана Федорова для тружеников печатного дела». Печ. по этому изд.

Густя

Журнал литературы, науки и общественной жизни «Новая жизнь». СПб., 1911. № 2. Печ. по этому изд.

И. А. Бунина, В. В. Вересаева, Н. Д. Телешова, М., 1915. Печ. по этому

Жизнь и смерть

День печати. Клич: Сборник на помощь жертвам войны/Под ред. изд.

Дальний край

Альманах «Шиповник». СПб., 1913. Кн. 20 — первая часть романа; кн. 21 — вторая часть. Отдельным изданием при жизни писателя выходил трижды: в 1915, 1916 и 1922 гг. Переведен на японский язык в 1925 г. Роман создавался в течение 1911—1912 гг., меняя название: «Друзья», «Далекий край», наконец, «Дальний край». Интересные сведения о замысле и ходе работы над первой большой вещью писателя содержатся в его письмах этого периода. 16 июля 1911 г. журналисту и поэту Е. Янтареву (Е. Л. Бернштейну, сотрудничавшему в изданиях «Русское слово», «Голос Москвы», «Рампа и жизнь», «Перевал», «Новое слово» и др.) он сообщает: «Я действительно пишу длинную вещь. Займет она не меньше года, и растянется чуть ли не на пятнадцать листов. Название — «Друзья». Тема — жизнь двух товарищей, один из них из интеллигенции, другой из народа вышел в интеллигенты. Это — главная нить; очень много побочных сцен из времен революции, из городской, деревенской и заграничной жизни. Разумеется, переплетено с романами, драмами, расхождениями, примирениями и пр. Если бы разговаривать лично, то мог бы подробнее «изрисовать», а описывать трудно. Скажу, пожалуй, еще: внутреннее содержание — развитие личности».

А через год, 25 июня 1912 г., своему другу писателю Ивану Алексеевичу Новикову (1877—1959) рассказывает: «Вчера кончил роман, порядочно меня утомивший. Все же с месяц надо будет еще поработать над ним». 23 июля он снова пишет Новикову: «Работаю сейчас порядочно. Много глав приходится перерабатывать — громоздкая вещь роман! К сентябрю кончу все, до последнего слова». И вот 10 августа тому же Новикову не без радости сообщает: «Третьего дня совершенно кончил роман, то есть рукопись годна для печати» (цит. по: Дейч Е. К. Эпистолярное наследие Б. К. Зайцева в фондах РГАЛИ//Проблемы изучения жизни и творчества Б. К. Зайцева. Первые Международные Зайцевские чтения. Калуга: Гриф, 1998. С. 119—120).

О дальнейшей судьбе «Дальнего края» читаем в письме Зайцева от 13 августа 1914 г. историку литературы, критику и поэту Николаю Сергеевичу Ашукину (1890—1972), работавшему в то время секретарем редакции в издательстве К. Ф. Некрасова в Ярославле: «Этому роману вообще не везло. В «Шиповнике» он лежал всю зиму, пока не дождался

глухого летнего сезона и вышел разорванный на части. В сущности, ему и подобает, как моему сыну-неудачнику (правильно говорят, что родители больше любят несчастливых детей, чем остальных), когда он уже решительно никому не нужен. Я чувствую, что это будет так, но препятствовать не следует». Вскоре, в 1915 г., издательство К. Ф. Некрасова первым выпустило «Дальний край» отдельным изданием (печ. по этому изд.).

Роман вызвал в прессе оживленную и острую полемику, особенно среди марксистских сочувственников минувшей (1905—1907 гг.) и грядущей революций: их, конечно же, возмутил, по существу, аполитичный роман о крахе надежд, идеалов и судеб молодых людей, романтически захваченных (как в свое время и сам Зайцев) идеями радикального переустройства общества. В дискуссии приняли участие далеко не бездарные критики: Р. В. Иванов-Разумник (Заветы. 1913. № 6), А. Б. Дерман (Северные записки. 1913. № 7), В. Л. Львов-Рогачевский (Современник. 1913. № 9), Л. Н. Войтоловский (Киевская мысль. 1913. 21 июня), А. А. Бурнакин (характерно название его рецензии: «Засахаренная революция»//Новое время. 1913. 4 окт.), В. П. Кранихфельд (В мире призраков//Современный мир. 1913. № 11) и др. Сам же писатель относил роман вместе с большой и прекрасной повестью «Голубая звезда» к лучшим своим созданиями доэмигрантского периода.

Прыжок

Газета под ред. А. Ф. Керенского «Дни». Париж, 1926. 12 дек. № 1183.

С. 583. *...шла переписка с Чеховым и Короленко.*— О характере этой переписки говорят две записки В. Г. Короленко — редактора журнала «Русское богатство» — в его «Редакторской книге»: 1 «Неинтересная история». Б. Зайцев. Хорошо написано, но история действительно неинтересная. Девица сгорает от неудовлетворенной любви и в конце концов отдается первому встречному. Возвр. Получено в Полтаве 26 февраля 1901 г.». 2. «29 марта. Мне лично. «Три дня (Из детской жизни)» Зайцева. Очень недурно, но незначительно: мальчик рассорился с отцом и заперся у себя в комнате. Возвр. Отправлено автору в апреле 1901 г.» (Российская гос. б-ка. Фонд 135, оп. 22, № 1329, л. 29 об.). А. П. Чехов о зайцевской «Неинтересной истории» отозвался телеграммой из Ялты: «Холодно, сухо, длинно, не молодо, хотя талантливо» (Чехов А. П. Полн. собр. соч. Т. 9. Письма, М., 1984. С. 526). Важность и значимость для Зайцева этой суровой оценки заключались в последних словах — «хотя талантливо», вдохновивших литературного дебютанта.

...поддерживаемый хроменьким редактором А. Я. Фейгиным...— А. Я. Фейгин (1859—1912) — первый издатель-редактор «Курьера».

С. 584. *...при сопротивлении... Шулятникова, Фриче...*— Владимир

Михайлович Шулятников (1872—1912) — критик, ведший в «Курьере» раздел «Критические этюды», Владимир Максимович Фриче (1870—1929) — литературовед, искусствовед; академик с 1929 г. В «Курьере» вел еженедельный фельетон «Очерки иностранной литературы».

С. 585. *...прошло в «Курьере» моих три рассказа...*— С 1901 по 1903 г. «Курьер» (1897—1904) напечатал семь рассказов Зайцева: «В дороге», «Земля», «Волки», «На станции», «Гора угрюмая», «Соседи», «Север» (см.: Герра Р. Борис Константинович Зайцев: Библиография. Париж, 1982. С. 91).

В. Брюсов. ⟨Это лирика в прозе⟩

Журн. «Золотое руно». М., 1907. № 1. С. 77—78. Вместо заголовка — выходные данные рецензируемой книги Зайцева.

З. Гиппиус. Тварное

Журн. «Весы». М.: Книгоизд-во «Скорпион», 1907. № 3. С. 71—73.

С. 589. *...недавняя книжка стихотворений одного молодого поэта — «Ярь».*— Сборником «Ярь» в 1907 г. ажиотажно дебютировал Сергей Митрофанович Городецкий (1884—1967). «Ваську Буслаева» русской поэзии (Д. В Философов) горячо приветствовали Вяч. Иванов. В. Брюсов, Ф. Сологуб, А. Блок, К. Чуковский.

СОДЕРЖАНИЕ

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

Из книги «Тихие зори»

Из книги «Полковник Розов»

Из книги «Сны»

Из книги «Усадьба Ланиных»

Из рассказов, не включенных в книги

ПРИЛОЖЕНИЯ

Зайцев Б. К.
З-17 Собрание сочинений: В 5 т. Т. 1. Тихие зори: Рассказы. Повести. Роман.— М.: Русская книга, 1999.— 608 с., 1 л. портр.

Эта книга открывает самое полное собрание сочинений выдающегося мастера лирической прозы, классика Серебряного века и русского зарубежья Бориса Константиновича Зайцева (1881—1972). После десятилетий забвения и запретов наше многотомное издание впервые в таком значительном объеме представит российским читателям все многообразие творческого наследия «крамольного» писателя, познакомит с десятками его произведений, никогда в России не издававшихся или изданных лишь в последние годы. Это романы Зайцева, лучшие из его повестей и рассказов, романизированные жизнеописания, три книги паломнических странствий, избранная духовная проза, мемуары, дневники, письма.

В первый том вошли ранние рассказы и повести писателя из четырех его книг, роман «Дальний край». В приложениях публикуются первые рецензии о «новой» прозе Зайцева В. Брюсова и З. Гиппиус.

ISBN 5-268-00403-4(т. 1) УДК 82
ISBN 5-268-00402-6 ББК 84Р

БОРИС КОНСТАНТИНОВИЧ ЗАЙЦЕВ

Собрание сочинений

Том 1

ТИХИЕ ЗОРИ

Рассказы. Повести. Роман.

Редактор **В. П. Шагалова**
Художественный редактор **Г. Л. Шацкий**
Технический редактор **И. И. Павлова**
Корректоры **Н. Д. Бучарова, А. З. Лазуткина**

Лицензия на издательскую деятельность ЛР № 010058 от 23.10.96. Подписано в печать 24.02.99. Формат 84×108[1]/32. Бумага писчая. На вкл. — мелов. Гарнитура Таймс. Печать высокая. Усл. печ. л. 32,03. (в т. ч. вкл. 0,11). Уч.-изд. л. 32,97 (в т. ч. вкл. 0,03). Тираж 5000 экз. С — 01. Зак. № 262. Изд. инд. ЛХ-147.

Издательство «Русская книга» Комитета Российской Федерации по печати. 123557, Москва, Б. Тишинский пер., 38.

Отпечатано в типографии «Правда Севера». 163002, г. Архангельск, пр. Новгородский, 32, с готовых диапозитивов, изготовленных на Тверском полиграфкомбинате детской литературы.